М·А·Алданов

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

М·А·Алданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 3

Москва
Издательство «Пресса»
1993

84 Р 1
45 Л

Составление и общая редакция
А. А. Чернышева

А $\frac{4702010201-2468}{080(02)-93}$ 2468—93

5—253—00378—9

Ключ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Замечания политического характера в предисловии к роману — дело довольно необычное. Они, однако, могут оказаться и небесполезными. Меня упрекали «левые» (впрочем, далеко не все) в том, что я будто бы в ложном, непривлекательном виде изобразил ту часть русской интеллигенции, которая особенно тесно связана с идеями и делами Февральской революции. Упрек кажется мне неосновательным. Думаю, что и в наименее привлекательных действующих лицах романа я, как мог, показал хорошее и дурное в меру — в соответствии с правдой. Может быть, я ошибаюсь, и мне это не удалось. Но какую бы то ни было степень злостности в изображении той или другой части нашей интеллигенции во мне предполагать было бы странно. Никаких обличительных целей я себе, конечно, не ставил. Наше поколение было преимущественно несчастливо — это относится и к радикальной, и к консервативной его части.

Упрекали меня и за «мрачность тона». Я выбрал мрачный сюжет — право каждого писателя, для нас теперь особенно естественное: очень трудно требовать большой жизнерадостности от людей, испытавших и видевших то, что испытали и видели мы.

Скажу еще о другом. Некоторые читатели говорили, что я, под псевдонимами, изобразил в «Ключе» действительно существовавших (или даже живущих ныне) людей. Это легко было предвидеть: всякий роман из современной жизни может вызвать подобное предположение, на мой взгляд, оскорбительное для автора. В «Ключе» не раз упоминаются имена людей, всем известных (Короленко, Милюков, Дурново, Горький, Плевако и другие). Я решился на это не без колебания, опасаясь налета «фельетонности» и «публицистики». Но в кругу, который выведен в моем романе, в разговорах, которые там велись, имена знаменитых современников произносились беспрестранно, и мне казалось, что именно отсутствие этих имен было бы грехом против житейской правды романа. Отсюда, полагаю, чрезвычайно далеко до изображения в беллетристической форме под ложными именами живых людей. Такой прием я считал бы весьма сомнительным и в художественном, и в моральном отношении. Между тем мне неоднократно приходилось слышать (вдобавок всегда по-разному), «с кого писаны» Горенский, Браун, Кременецкий, Федосьев и другие действующие лица «Ключа». Один критик заявил в журнальной статье, что в Федосьеве я портретно изобразил Белецкого, главу департамента полиции. Что на это ответить? Всякий, кто дает себе труд — не говорю, прочесть, но хотя бы пробежать известную записку С. П. Белецкого («Материалы Следственной комиссии»), может убедиться в том, что никакого сходства между ним и Федосьевым нет. Добавлю в качестве курьеза, что мне называли пять адвокатов, с которых будто бы писан (и тоже «портретно») Кременецкий. В этих указаниях нет ни одного слова правды. Единственное невымышленное действующее лицо «Ключа» (Шаляпин) названо своим именем.

Автор

Ноябрь 1929 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Смерть жильца квартиры № 4 обнаружила крестьянка Дарья Петрова, швейцариха, как все ее называли в доме, где она исполняла обязанности своего мужа, в прошлом году взятого на войну. Выйдя в шесть часов утра на крыльцо с ведром, тряпкой, щеткой и фонарем (еще было совершенно темно), она вдруг с испугом заметила, что два окна квартиры № 4 ярко освещены. В квартире этой никто не жил. Пожилой господин в золотых очках, который снимал ее уже почти месяц, никогда не оставался в ней до утра. Швейцариха — она потом долго с гордостью рассказывала, что сердцем сразу почуяла недоброе — поспешно поднялась на цыпочках по темной лестнице, зачем-то волоча за собой щетку; но, не дойдя до второго этажа, растерянно сбежала вниз, позвать кого-нибудь из мужчин. Однако мужчин взять было неоткуда — еще и прислуга спала во всем доме. Дарья Петрова снова выбежала на крыльцо, еще раз торопливо взглянула на освещенные окна, затем, собравшись с духом, поднялась на цыпочках к дверям квартиры № 4 и стала слушать. За дверью ничего не было слышно. Это немного успокоило швейцариху: она подумала, что, должно быть, господин в золотых очках был здесь вечером и, уходя, забыл потушить свет. Она постучала, сначала робко, потом громче. Никто не откликался. Дарья Петрова вытащила из кармана связку ключей, отыскала в ней небольшой ключ, придерживая связку, чтоб не звенела, осторожно отворила дверь и, тяжело, неслышно дыша, вошла в переднюю, выставив вперед правую руку с ключами. В передней было темно, очень тихо. Чувствовался легкий, странный запах. Дверь в гостиную была притворена; из щелей над дверью и по сторонам пробивались узкие полосы яркого света. Швейцариху охватил ужас. Прижав под мышкой левой руки палку щетки к сердцу, она правой рукой с ключами быстро потянула к себе

дверь — и сразу закричала страшным голосом, точно почувствовав, что теперь в доме можно и нужно кричать, несмотря на ранний час: на полу ярко освещенной гостиной наискось, ногами к двери лежал господин в золотых очках.

В доме поднялась суматоха. Электрические лампочки зажглись в разных местах; из дверей квартир стали показываться полуодетые люди и, услышав об убийстве, с радостным оживлением и с испугом бежали будить других, торопливо соображая в то же время, не могло ли что дурное случиться и у них дома. Жилец квартиры № 3, холостяк, статский советник Васильев, узнав о происшествии от своего лакея, сейчас же послал его в участок, а сам в туфлях на босу ногу, старательно затворив на ключ за собой дверь, поспешно вышел на площадку второго этажа. На другом ее конце, перед настежь отворенной дверью квартиры № 4, ахали кухарки. Они с надеждой, как всегда в таких случаях женщины встречают мужчин, отдались под покровительство Васильева. Статский советник боком вошел в квартиру № 4 и, морщась, взглянул на труп господина в золотых очках.

— Может, жив еще? — тихо вскрикнула одна из женщин.

Васильев пожал плечами: с первого взгляда было ясно, что господин в золотых очках умер.

— Какое жив! Не иначе, барин, как коты убили, вот помяните мое слово, — сказала мрачно другая кухарка. — Уж такая проклятая квартира!..

— Какая квартира? — спросил Васильев, недавно поселившийся в доме.

Узнав, что квартира была веселая и что господин в золотых очках (его никто не знал по имени) не жил в ней, а только приезжал с девками, статский советник с любопытством еще раз взглянул на искаженное лицо убитого и снова поморщился.

— Никого сюда не пускать до прихода полиции, — приказал он и раскланялся со спускавшимися по лестнице жильцами третьего этажа. Дама в пеньюаре страдальческой улыбкой извинила туалет Васильева. Они обменялись несколькими словами, чувствуя теперь друг к другу симпатию за то, что не были убийцами.

Внизу послышались голоса. В сопровождении не перестававшей ахать Дарьи Петровой, лакея и еще нескольких человек по лестнице поднимались молодцеватый помощник пристава, околоточный с повязанной черным платком щекой, врач, городовые. Васильев слегка поклонился, назвал себя и принялся было рассказывать об убийстве. Но помощник пристава тотчас его перебил.

— Господа, прошу разойтись! — сказал он.

Эта привычная фраза выходила у него особенно внушительно; помощник пристава очень ее любил.

II

Городовые очистили площадку от посторонних. Помощник пристава, околоточный врач, швейцариха и понятые вошли в квартиру, особенно осторожно ступая. В ту же секунду полицейские шинели с разных сторон отразились в зеркалах ярко освещенной гостиной, так что один из городовых даже попятился в удивлении назад. Дарья Петрова еще раз ахнула при виде трупа, но уже больше из приличия — теперь она боялась не тела, а полиции.

Господин в золотых очках лежал на спине, слегка повернув набок голову. Это был невысокий, хорошо одетый, довольно полный человек, лет пятидесяти, с серым лицом, которое выражало не то ужас, не то физическое мучение. Глаза у него были странно большие, выпученные. Из полуоткрытого рта виднелись желтые зубы. Помощник пристава, веселый, крепкий, жизнерадостный человек, вздохнул и кивнул головой врачу, предлагая ему заняться трупом. Привычный врач опустился на колени перед умершим и стал его осматривать.

Стены большой, высокой гостиной были почти сплошь заставлены высокими зеркалами; пол выстлан красным, местами выцветшим ковром. Мебель состояла из красных плюшевых кресел и мягких широких диванов с множеством шелковых и бархатных подушек. На потолке тоже было большое круглое зеркало, отражавшее расположенную под ним широкую, низкую кушетку. У одной стены находилось механическое пианино. Круглое зеркало на потолке было обведено зажженными лампочками. Много ламп было и по стенам, но они не горели. В углу на столе, покрытом пыльной бархатной скатертью, стояли бутылки, стаканы, тарелки с виноградом и печеньем. Помощник пристава подошел к выключателю и на мгновение потушил лампы. В комнату пробился свет начинавшегося утра. Врач недовольно оглянулся. Дарья Петрова тяжело вздохнула. Помощник пристава снова зажег лампы.

— Ты, баба, как тебя? Сколько комнат в квартире? — сурово спросил он швейцариху.

— Две, ваше благородие, спальня и гостиная, да еще ванна, горячая вода с утра до вечера,— ответила поспешно швейцариха, по привычке выхваляя квартиру, точно для сдачи ее внаем.— Да еще ватер,— добавила она застенчиво, видимо щеголяя этим словом.— Две комнаты, вот тут спальня ихняя... Пожалуйте...

Околоточный отворил дверь в другую комнату и зажег в ней свет. Спальня с нетронутой постелью была значительно меньше гостиной. Пристав, околоточный и Дарья Петрова прошли в нее, оттуда в уборную, в ванную, и снова вернулись в гостиную.

— Ну, что? Как скажете: медико-полицейское или судебно-медицинское? — спросил помощник пристава.

— Нужно вскрыть тело,— ответил врач.— Следов борьбы на теле не видно, однако отравление очень вероятно. Но до вскрытия ничего точно сказать нельзя. Необходим, конечно, химический анализ этого,— добавил он, нюхая жидкость в одном из стаканов.

— А может быть, самоубийство или просто разрыв сердца? — спросил околоточный, с усилием выговаривая слова.

— Не похоже, не думаю... Обстановка не такая, как при самоубийстве.

— Ну, нет, это не самоубийство! — сказал помощник пристава.— И по лицу видно, что убийство. Ясное дело, подсыпали яда... Здесь кроме него был еще кто-то... Эй, ты, баба, пожалуй сюда. Так тебе фамилия жильца не известна?

Дарья Петрова рассыпалась в запутанных объяснениях. Жилец снял квартиру с месяц тому назад, оставил ее за собой, приезжал изредка с женщинами и с господами, отворял двери своим ключом, оставался обыкновенно до полуночи. Она заходила по утрам убирать комнаты. Дарья Петрова все сбивалась на то, как она испугалась, заметив свет в окнах и потом найдя труп. Фамилии жильца не знала.

Помощник пристава и околоточный хмуро ее слушали. История эта была им неприятна. Они прекрасно знали, что квартира № 4 сдавалась, большей частью посуточно, господам, которые туда приезжали с женщинами, не сообщали своих имен или сообщали ложные имена и не прописывались в участке. Происшествие в квартире с непрописанным жильцом грозило и служебными неприятностями, и потерей доходной статьи.

— Сами изволите знать, какая квартира, ваше благородие,— значительным тоном говорила Дарья Петрова.

— Так не знаешь, как звали жильца? — еще строже повторил помощник пристава.— Не прописала?.. Ну, с тобой еще об этом будет разговор,— угрожающе проговорил он.— Иван Васильевич, вы всем сообщили по телефону?

— Так точно, и следователю, и товарищу прокурора, и в сыскное.

— Опять же ждать их по обстоятельствам дела нельзя. Обыск можем произвести и сами. Обыщите его, голубчик. А я буду писать протокол.

В карманах умершего человека нашлись носовой платок без метки, золотые часы «Лонжин», портсигар, бумажник с семьюдесятью рублями и в жилетном кармане немного мелочи рублевыми бумажками и марками военного времени. Больше ничего найдено не было.

— Вот так задача,— сказал угрюмо околоточный.— Ищи теперь, кто таков...

— Найдут! — уверенно ответил помощник пристава.— А в ящиках стола ничего нет?

Он приподнял скатерть и, просунув руку под стол, с трудом отодвинул тугой ящик. В ящике не было ничего, кроме сора по углам. Но в спальной в шкафу помощник пристава обнаружил кое-какие вещи, особого рода фотографические карточки.

— Ах ты...— сказал он с удовольствием, давая себе волю.— Иван Васильевич, полюбуйтесь!..

— Должно быть, из Парижа? — заметил с любопытством околоточный.— Только в Париже такое выдумают.

— Нет, не говорите, и у нас теперь это хорошо работают,— ответил помощник пристава.

III

За дверью послышались повышенные голоса. Вошел один из городовых и с видом одновременно смущенным и озлобленным подал помощнику пристава визитную карточку.

— Черт его принес! — сердито сказал помощник пристава.— Уже пронюхал, собака... Скажи, сейчас к нему выйду.

— Кто такой? — спросил околоточный.

— Певзнер, из «Зари»,— ответил помощник пристава и покосился на околоточного, подозревая, что тот из участка телефонировал о происшествии репортеру. Околоточный почувствовал подозрение и, чтобы рассеять его, сказал с горячностью, преодолевая зубную боль:

— И зачем только таких держат в столице? У нас в Харькове при Матвееве его бы в двадцать четыре часа выслали по этапу из города.

— Певзнера выслать? Легче выслать по этапу градоначальника,— ответил помощник пристава и вышел на площадку. На лестнице в отдалении, прижавшись к перилам и друг к другу, толпились люди. На площадке курил папиросу высокий худощавый человек лет сорока, с рыжей конусообразной бородой. Это был журналист Певзнер, сотрудничавший в газете «Заря» за подписью «Дон Педро». Помощник пристава приветливо протянул ему обе руки.

— Альфреду Исаевичу мое почтение,— сказал он.— Уже узнали? Экой вам Господь Бог послал талант! Вася должен бы вас озолотить.

Вася был редактором газеты «Заря».

— Вася озолотит,— кратко ответил Певзнер, не то подтверждая предположение, не то выражая безнадежный скептицизм.— Я, впрочем, зашел сюда случайно. Репортажем, как вы знаете, я давно не занимаюсь, моя специальность политическая информация и большое интервью. Но у нас как раз Гамлицкий в отпуску. Ну, говорите, кого убили?

— Да вот пока не можем установить...

— Не можете установить,— укоризненно сказал дон Педро.— А ну, покажите.

Он двинулся к двери. Помощник пристава учтиво загородил ему дорогу.

— Уж вы, пожалуйста, извините, Альфред Исаевич,— сказал он виновато и необычайно мягко.— Следственные власти еще не прибыли, я пока не могу, не имею права вас допустить в квартиру. Может, еще собачек сюда пустят, ищеек этих — вам же будет неприятно, если собачка за вами побежит, супругу встревожит. После следователя милости прошу, первым пройдете. А теперь уж, пожалуйста, извините.

— Н-да,— сказал Певзнер, признавая справедливость доводов помощника пристава.— Только вот что: я вашего следователя ждать здесь на лестнице не намерен. Тут напротив, за углом, есть трактир, пойду чай пить, кое-что напишу. А вы после следователя, будьте добры, дайте мне туда знать.

— Это с удовольствием... На войне что слышно, Альфред Исаевич?

— Мало хорошего. Гинденбург готовит к двадцатому числу прорыв на рижском фронте. Двенадцатью дивизиями...

— Ах ты, черт! И что же?

— Отступим немножко.

— Беда, просто беда. Да ведь ясное дело,— сказал, понижая голос, помощник пристава,— немцам через Гришку все известно, что у нас в штабе делается. Говорят, двести семьдесят тысяч отвалили ему немцы чистоганом. Видно, дело идет к сепаратному?

— Ну, еще не известно. В сферах вчера сказали, что сепаратного мира не будет. Возможно, впрочем, конечно... Так я буду ждать в трактире,— сказал он и хотел было направиться вниз. Но по лестнице как раз поднимался молодой красивый брюнет с маленькой головой, с черными бархатными глазами, известный сыщик Антипов. Он был одет по самой последней моде — именно так одетых людей старые опытные барышники часто останавливают на улице, предлагая им продать платье. Антипов небрежно поздоровался с Певзнером и уж совсем пренебрежительно с помощником пристава, который с уважением окинул взором его лакированные полуботинки, синие шелковые носки, трость с серебряным набалдашником. Он был без калош и в легком пальто, несмотря на холодный осенний день.

Помощник пристава в кратких словах изложил происшествие, но вид Антипова ясно показывал, что он не слушает и не желает слушать, так как ничего путного все равно не услышит.

— Ладно, ладно, посмотрю,— сказал он и прошел в квартиру № 4.

Помощник пристава последовал за сыщиком. Антипов едва кивнул головой околоточному надзирателю и врачу,

быстро окинул взором тело, комнату, заглянул в спальную, в уборную, затем вернулся к телу и долго молча на него смотрел. Помощник пристава, околоточный и даже городовые наблюдали за действиями сыщика с ироническим недоброжелательством наружной полиции к агентам тайного розыска. Сам Антипов их как бы не замечал вовсе. Затем он подошел к столу, на котором рядом с бутылками и стаканами лежали вещи, вынутые из карманов убитого, с досадой пожал плечами и внимательно все осмотрел, ничего не трогая. Помощник пристава давал ему пояснения.

— Сколько раз мы говорили вам, господа полиция, — сказал с гримасой Антипов, — нельзя ни к чему прикасаться на месте криминала. Это при царе Горохе можно было так вести дознание. Ну, какое же теперь может быть дактилоскопическое исследование?.. Вечно одна и та же история! Нонсенс!

— Да мы что же? Мы только из карманов все вынули, — сказал сухо околоточный. — Кому-нибудь надо было это сделать.

Антипов саркастически рассмеялся.

— «...только из карманов все вынули»! Прелестно! — произнес он. — По крайней мере, тело оставлено в том же положении, как найдено? И то слава Богу.

Он вынул из внутреннего кармана пальто небольшой кожаный предмет, похожий не то на дорожный несессер, не то на патронташ, осторожно положил его на стол и открыл. Внутри оказалось множество крошечных отделений, по которым были аккуратно разложены разные вещи: складной аршин, циркуль, какие-то бутылочки, пробирки, бумага. Антипов достал лупу и, нагнувшись над стаканами, долго внимательно их рассматривал.

— Вы, **конечно**, до вскрытия ничего не можете сказать? — спросил он врача.

— До вскрытия и исследования содержимого желудка медицина ничего точно установить не может, — с некоторым раздражением ответил врач, подчеркивая слово «медицина».

Антипов слегка улыбнулся.

— Ну, и после вскрытия тоже иногда толку мало, — сказал он.

— Думаю, что налицо отравление. Какой яд? Вероятно, не мышьяк. Следов рвоты не видно, правда, это еще не доказательство. Не похоже и на карболку, и на синильную кислоту, их можно было бы узнать по запаху. Может быть, сантонин или атропин, зрачки как будто расширены. Это выяснит исследование желудка... Странно, что так быстро началось разложение тела... Очень важен химический анализ. Пробы жидкости в стакане и в бутылке будут запечатаны сейчас же по прибытии следователя.

— А за песиками вы пошлете? — полюбопытствовал помощник пристава, очень любивший собак и интересовавшийся работой ищеек.

— За песиками? Теперь посылать за песиками нонсенс, — сказал сердито Антипов. — Вы бы еще сначала полк солдат протащили по этой комнате. Тоже типы, — пробормотал он.

Он немного кривил душою. Антипов не любил пользоваться полицейскими собаками, так как это был слишком простой, механический и потому неинтересный способ розыска. Кроме того, ему было обидно, что собака делает его работу.

Сыщик опять подошел к трупу и долго при помощи лупы рассматривал губы, руки, ногти. Внимательно осмотрел и ковер. Собственно, он ничего не искал на ковре, но чувствовал себя Шерлоком Холмсом и немного щеголял приемами перед публикой. Затем он вернулся к столу и осмотрел часы убитого, подняв крышку, причем что-то занес в свою записную тетрадь. Потом подошел к пианино. Сверху лежали ноты — вторая соната Шопена. Антипов с минуту подумал, отозвал Дарью Петрову в переднюю и там долго расспрашивал ее вполголоса. Помощник пристава тем временем составлял протокол, кратко описывая найденные на убитом предметы.

— Смотрите, тут вот еще что есть, — вдруг радостно сказал он. — А мы и не заметили.

В большом бумажнике убитого оказалось еще одно отделение с наружной стороны. В нем лежал свернутый вдвое листок бумаги, счет гостиницы.

— «Палас-Отель», — прочел поспешно помощник пристава. — Что я вам говорил? Вот мы и без лупы установили личность убитого. Счет на имя Фишера — это, значит, и есть Фишер... А счет, кстати, порядочный. За неделю четыреста пятнадцать целковых. Видно, был побогаче нас с вами... Да что же, наконец, следователь? Сходите вы, Иван Васильевич, в трактир и протелефоньте ему еще раз — не до вечера же нам здесь сидеть. Отсюда при нем нельзя звонить, — добавил он вполголоса. — Сходите, голубчик...

IV

Дон Педро вошел в только что отворивший двери трактир, спросил чаю с лимоном и при свете лампы расположился работать. Он вынул из портфеля несколько узеньких длинных полос бумаги, на которые были наклеены вырезки из газет. Альфред Исаевич вел отдел «Печать» в газете «Черниговская мысль». Статью надо было опустить в ящик немедленно, чтобы она ушла еще с утренним поездом. Обозрение печати было, впрочем, уже почти готово. Дон Педро средним пальцем разгладил сырую наклейку на полосе, придавливая отстававшие углы. Это были цитаты

из двух реакционных изданий, обвинявших друг друга в получении каких-то подозрительных сумм. Певзнер не без удовольствия прочел вырезки, соображая, сколько именно денег и от кого могла получить каждая газета, затем отцепил из внутреннего кармана самопишущее перо и крупным четким почерком сразу написал под второй наклейкой:

«Комментарии излишни. Вот уж действительно своя своих не познаша. До каких, однако, Геркулесовых столпов цинизма договорились наши рептилии!»

Следующая вырезка была взята из передовой статьи другой газеты, которая, как было известно Певзнеру, досталась новым акционерам и потому меняла направление. Дон Педро быстро пробежал наклеенные строчки и, опять не задумываясь, написал:

«Что, однако, сей сон означает? Уж не «эволюционирует» ли почтенная газета? А если эволюционирует, то куда и почему? Тайна сия велика есть».

Он посмотрел на часы и, сосчитав число строк, решил ограничиться тремя вырезками. Дон Педро взял из портфеля конверт с надписанным адресом, запечатал письмо и, лизнув, наклеил марку. К его удовольствию, марка сразу плотно, всей поверхностью пристала к тугому конверту. «Кажется, на углу есть ящик»,— подумал он: готовые и еще не отправленные письма всегда причиняли ему легкое нервное беспокойство. Он рассеянно положил письмо в карман и стал медленно прихлебывать чай с лимоном. Мысли у него были неприятные. Недавно в редакцию «Зари» заезжал известный адвокат Кременецкий и пригласил к себе на большой прием Васю, обоих передовиков и политического фельетониста. С ним же Кременецкий был, как всегда, любезен и внимателен — он старательно поддерживал добрые отношения с прессой, — однако на прием, где должны были собраться **сливки** петербургской оппозиционной интеллигенции, очевидно, не собирался его звать. Пришлось оказать на адвоката легкое давление. Альфред Исаевич вскользь заметил, что намерен дать отчет в газете о деле, в котором выступал Кременецкий. Приглашение было получено, но все это оставило неприятный осадок. Дон Педро опять решил, что надо навсегда покончить с репортажем, даже с политической информацией и с большим интервью.

«В передовики меня Вася не примет,— мрачно подумал он.— Но насчет места второго думского хроникера я им поставлю ультиматум. Если не возьмут, ухожу в «Слово».

Он вспомнил, как за Кашперовым, парламентским хроникером газеты, ухаживали самые влиятельные люди России, члены Думы и Государственного совета, даже министры. Известнейшие ораторы в дни своих речей с тревогой, с миндальной улыбкой искали встречи с Кашперовым. «Да, решительно поставлю Васе ультиматум»,— подумал дон Педро, допивая чай.

В трактир вошел околоточный надзиратель с повязанной щекой.

— Где тут телефон? — спросил он засуетившегося полового.

— Ну, что? — окликнул околоточного Певзнер.

— Личность выяснена.

— Поздравляю. Кто же такой? — рассеянно спросил репортер.

— Фамилия Фишер.

— Фишер?.. А имя-отчество?

— Этого пока не знаем. Живет в гостинице «Палас».

— В «Паласе»? — переспросил, встрепенувшись, дон Педро. — Неужели в «Паласе»? Почем вы знаете?.. Послушайте!.. Что, если это Карл Фишер!.. Ей-Богу, он жил в «Паласе»... Почему вы думаете, что это Фишер?

— А вы его знаете? Кто он такой?

— Знаю ли я Карла Фишера? Его все знают, кроме вас... Да не может быть! Карл Фишер убит! Послушайте, какой он из себя? Лет пятидесяти, бритый, золотые очки?.. Что вы говорите!.. Ей-Богу, это он! Человек!..

Дон Педро заторопился и стал быстро дрожащими от волнения пальцами отсчитывать деньги за чай.

— Я сейчас бегу... А что, Никифоров из «Молвы» уже там?.. Нет еще?.. Скажите, вы кому хотите звонить? Пустите меня к телефону...

— Мне надо телефонировать участковому следователю.

Певзнер саркастически рассмеялся.

— Участковому следователю? Вы думаете, что такое дело достанется участковому следователю? Тут пахнет следователем по особо важным делам. Вы можете на мою ответственность дать знать прокурору палаты. На мою ответственность!.. Что такое! Карл Фишер убит!.. Не может быть!..

Он надел котелок и взволнованно побежал к выходу.

V

Утро осеннего дня было темное и дождливое. В коридорах, общих залах и номерах гостиницы «Палас» электрические лампы горели почти непрерывно целый день. В десятом часу знаменитый химик Александр Браун, с трудом приподнявшись на постели, нашел ощупью пуговку выключателя, зажег лампу на ночном столе, взглянул на плоские часы с бесшумным ходом, снова опустил голову на подушку и долго лежал неподвижно, плотно закрывшись одеялом, хотя в комнате было тепло. Вода едва слышно шипела, входя в трубы отопления. Слабая лампа освещала те предметы, которым полагается быть в десятирублевом номере каждой гостиницы «Палас», в любой европейской столице:

малиновое сукно на полу; не идущие часы поддельной бронзы на камине, не служащем для топки; маленький, крытый стеклом стол, за которым трудно работать; диван, на котором невозможно лежать; и шатающуюся ременную скамейку для чемоданов в узкой передней, откуда боковая дверь вела в ванную комнату.

Было одиннадцать часов, когда Браун встал с постели. Он прошел в ванную, зажег лампу и там повернул краны, попробовал рукой струю, усилил ток из горячего крана, морщась, точно от боли, от шума падающей струи. Дно ванны быстро покрылось водой, звук струи изменился. Браун сел на соломенный стул, накрылся мохнатой простыней, не развернув ее, и долго внимательно глядел на кусок картона, который на четырех языках (немецкий текст был заклеен по случаю войны) излагал разные правила гостиницы «Палас». Затем опустил голову и так же упорно, внимательно следил за паром, поднимавшимся от горячей воды. Помутневшее кое-где от пара зеркало отражало острый профиль усталого, мертвенно-бледного лица с углами лба, выпукло выступавшими над глазами. Ванна наполнялась. Браун снял с полки банку и высыпал на ладонь большую горсть желтоватых, чуть расплывающихся кристаллов. Запахло лимоном и вербеной. Он поднес ладонь к лицу, жадно вдохнул воздух и бросил несколько горстей соли в воду, которая сразу помутнела. Браун разделся, вздрагивая, погрузился в воду и закрыл глаза.

Так он просидел без движения минут пятнадцать. Вода остыла. Браун пустил большую струю кипятку, подвигая ближе к ней колени. Когда вода в ванне стала жечь тело, он вышел, закутался в мохнатую простыню и долго сидел за письменным столом, перед раскрытым томом Диогена Лаэртского, внимательно читая напечатанные под стеклом объявления пароходных обществ, гостиниц и магазинов. Потом взял с окна бутылку коньяку, налил большую рюмку, выпил и занялся туалетом.

Браун был уже одет и выбрит, когда со стола раздался звонок телефонного аппарата. Управляющий гостиницы просил разрешения зайти. Через минуту в дверь постучали и появился мосье Берже, которого до войны все считали немцем Бергером и который в 1914 году оказался уроженцем Эльзаса. Вид у него был взволнованный и расстроенный, насколько может быть взволнованный и расстроенный вид у управляющего гостиницы «Палас».

— Monsieur, je vous demande bien pardon de vous déranger [1], — сказал он грустным полушепотом. — Я должен вас потревожить в связи с очень прискорбным случаем...

Браун молча вопросительно смотрел на управляющего, который говорил, запинаясь, по-французски с немецким акцентом.

[1] Мосье, извините, что беспокою вас (*фр.*).

— С одним из наших жильцов случилось вчера несчастье. Дело идет о мосье Фишере. Вы, кажется, его знали... Мосье Шарль Фишер скончался.

По мертвенному лицу Брауна пробежало выражение ужаса.

— Фишер скончался?

— Да... Это ужасно... И находящийся в его номере... следователь желал бы навести некоторые справки у людей, лично знавших покойного. Я позволил себе указать вас, так как вы были знакомы с мосье Фишером. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против этого?

— Следователь? — медленно спросил Браун. — От чего же скончался Фишер?

Управляющий замялся.

— Это и выясняется теперь следствием...

— Он умер здесь, у себя в номере?

— О нет, упаси Боже! Мосье Фишер умер на какой-то квартире, которую он, оказывается, снимал в городе... Но об этом вам, без сомнения, сообщит сам следователь, я ничего не знаю. Могу ли я доложить господину следователю, что вы готовы немедленно к нему явиться?

— Разумеется... Я сейчас приду, — сказал Браун, помолчав. — Через несколько минут.

— Благодарю вас. Так, пожалуйста, в номер шестьдесят семь... Какое печальное происшествие!.. До свидания... И, пожалуйста, извините за беспокойство.

VI

В раззолоченной гостиной большого номера из трех комнат, который занимал в бельэтаже гостиницы «Палас» умерший банкир Карл Фишер, за столом, у зажженной лампы сидел следователь по важнейшим делам Николай Петрович Яценко, еще не старый осанистый человек с очень приятным, умным лицом. Он одновременно делал два дела: просматривал бумаги, найденные в ящиках стола, и слушал стоявшего перед ним Антипова.

Следователь Яценко был человек либеральных взглядов; он читал «Русские ведомости», состоял в оппозиции высшим кругам министерства и был хорош с самыми передовыми представителями адвокатуры. Общество сыщика было неприятно Яценко — он чуть-чуть гордился тем, что оно ему неприятно. Не нравился ему и тон Антипова, как будто официально почтительный, но вместе и несколько фамильярный, даже чуть-чуть шутливый, точно Антипов все время намекал на что то забавное. Это был один из многочисленных тонов Антипова, тон, усвоенный им в обращении со следственными властями. Он так привык к переодеваниям и к ролям, что ему никакого труда не составляло совершенно изменять манеру в зависимости от того, с кем он имел дело.

— Ну, что ж, — сказал, подумав, Яценко, — продолжайте наблюдение за этим Загряцким. Улики против него довольно серьезные, и, если допрос не рассеет подозрений, я его, конечно, арестую.

— Разрешу себе информировать ваше превосходительство, — сказал Антипов, слегка улыбаясь. Яценко получил недавно чин действительного статского советника. Несмотря на его передовые взгляды, именование «ваше превосходительство» было приятно Николаю Петровичу. Он вопросительно смотрел на сыщика.

— Ну-с? — спросил он холодно.

— Разрешу себе доложить, что отказываться от немедленного ареста нам форменно нет расчета. Конечно, этот тип уже мог кое-что уничтожить из следов криминала. Но узус[1] показывает, что преступники не всегда уничтожают тотчас все. Обо всем сразу ведь и не догадаешься. Было бы много лучше, если бы мы его форменно заарестовали и произвели настоящий обыск немедленно.

— Нет, нет, — сказал, хмурясь от «мы», следователь. — Подозреваемый еще не есть виновный, а между тем арест по подозрению в убийстве вещь серьезная. Улики пока недостаточны.

— Слушаю-с, — сказал Антипов, блестя наглыми глазами. — Имею честь...

Яценко нагнулся над бумагами и стал писать, больше для того, чтобы не подать сыщику руки. Антипов весело на него поглядел и вышел из комнаты, по дороге оглядев себя в зеркало и оправив галстух.

Через минуту в дверь постучали и на пороге появился Браун. Следователь посмотрел на него вопросительно.

— Ах, вы доктор Браун? — сказал он, вставая и протягивая руку. — Очень рад познакомиться... Жаль, что по такому неприятному поводу... Пожалуйста, садитесь. Разрешите прямо перейти к делу. Банкир Карл Фишер, как вам уже, верно, сказали, сегодня был найден мертвым на какой-то странной квартире, в весьма подозрительной обстановке.

Он изложил, как и где было найдено тело Фишера. Браун слушал, не говоря ни слова.

— Мы еще ждем медицинской и химической экспертизы. Но есть все основания подозревать, что Фишер стал жертвой убийц. Директор «Палас-Отеля» из живущих в гостинице лиц, которые знали Фишера, назвал мне вас. Поэтому я позволил себе вас побеспокоить. Не знаете ли вы чего-либо, что могло бы пролить свет на дело и облегчить задачи следствия? Нет ли у вас каких-либо мыслей и подозрений, относящихся к этому делу?

— Никаких, — ответил Браун. — Никаких подозрений.

— Вы давно знаете Фишера?

---

[1] Опыт (*лат.* usus).

— Нет, не очень давно.

— Когда видели вы его в последний раз?

— Кажется, вчера утром,— сказал, подумав, Браун.— Я видел его в ресторане гостиницы.

— Вы не заметили в нем ничего особенного?

— Ничего не заметил.

— Не говорил ли он вам о своих предположениях на вчерашний день?

— Нет, не говорил.

— Не известно ли вам, могла ли вчера находиться при Фишере значительная сумма денег?

— Это мне неизвестно.

Следователь помолчал.

— Знаете ли вы также семью Фишера?

— Я встречался за границей с его дочерью, она слушала мои лекции. Его жена теперь, кажется, в Крыму.

— Ей послана телеграмма. С нею вы не были знакомы?

— Я из их семьи был знаком только с банкиром и с его дочерью.

— А с неким Загряцким?

— Разве он принадлежит к семье?

Следователь усмехнулся.

— Видите ли,— сказал он,— я в отличие от многих моих коллег не считаю обязательной для следователя чрезмерную скрытность... Для вас, вероятно, не составляет секрета, что семья Фишера не блистала патриархальными добродетелями. Я докладывал вам, в какой обстановке умер банкир. Полицейское дознание уже успело выяснить, что при его супруге в качестве признанного друга дома состоял Загряцкий. Мы **обязаны** подозревать всех тех, кому могла быть выгодна смерть Фишера. Если хотите, это с моей стороны даже не подозрение, а, так сказать, выполнение формальной служебной обязанности. Розыск, кстати, сообщает дурные сведения о Загряцком: человек без определенных занятий, с сомнительным прошлым, хотя и хорошей семьи, картежник, кутила и мот, живший за счет Фишеров, и очень хорошо живший... Вы его знаете?

— Я встречался с ним у Фишера.

— Совпадают ли ваши сведения или хотя бы ваше впечатление с той характеристикой Загряцкого, которую дает розыск?

— Не берусь вам ответить, я слишком мало его знаю... Я с большим трудом поверил бы, что он способен на убийство.

— Но все же поверили бы?

— Как поверил бы о ком угодно другом.

Следователь посмотрел на Брауна.

— Так-с... Ну, не много же вы мне сообщили. Не знаете ли вы, кто из друзей или знакомых семьи Фишеров мог бы рассказать нам побольше?

— Фишера знали очень многие. Тысячи людей знали его так, как я. Из близких же... Позвольте подумать... Нет, никого не могу вспомнить. Конечно, дочь. Но она живет за границей и не идет в счет...

В дверь постучали, в комнату вошел Берже. Он приблизился к следователю и сказал ему вполголоса:

— Один персон желайт ситшас видеть господин судья.

— Кто такой? — спросил Яценко.

— Son Excellence Monsieur Fedosieff[1],— сказал значительно управляющий гостиницы.

На лице следователя изобразилось удивление.

— Федосьев? — проговорил он.— Пожалуйста, просите...

Он встал и сказал поднявшемуся тоже Брауну:

— Вы меня извините. Его превосходительство мосье Fedosieff (он с иронией произнес эти слова) желает меня видеть... Впрочем, наш деловой разговор кончен. Может быть, мне придется еще раз вас потревожить, может быть, и не придется... Очень рад был с вами познакомиться...

Браун пожал ему руку и вышел. По освещенному электричеством коридору гостиницы в сопровождении Берже и каких-то людей подозрительного вида быстро шел высокий, седоватый, чуть сгорбленный человек в шубе с большим бобровым воротником, в меховой шапке. Это был Сергей Васильевич Федосьев, известный всей России, известный не сам по себе (о личности его почти никто ничего не знал), а по той должности, которую он занимал: он ведал политической полицией империи. Федосьев шел, нервно оглядываясь по сторонам. Проходя мимо Брауна, он вдруг остановился и спросил негромким голосом:

— Если не ошибаюсь, Александр Михайлович Браун?

Браун молча наклонил голову.

— Не знаю, помните ли вы меня? Мы когда-то учились вместе в университете. Я Федосьев.

— Я помню вас.

Федосьев быстрым, не вполне уверенным жестом протянул ему руку.

— Мы не встречались лет двадцать пять,— сказал он, любезно улыбаясь и не спуская холодных глаз с Брауна.— Но я следил за вашей карьерой, слышал, читал. О вас много писали два года тому назад, когда вы получили медаль имени Дэви...

— Вы помните и это?

— Как видите. Очень горжусь тем, что был университетским товарищем знаменитого ученого. Слышал, что вы давно поселились в Париже: у нас по глупости нашего правительства (он особенно отчетливо произнес эти слова) не сумели вас оценить. Знаю и то, что вы недавно вернулись

---

[1] Его превосходительство мосье Федосьев *(фр.)*.

в Россию и работаете в тылу и на фронте на пользу химической обороны государства. Был бы искренно рад встретиться с вами и побеседовать? — полувопросительно добавил он.

— К вашим услугам.

— Очень, очень хочу, — проговорил Федосьев. — Вы здесь изволите жить?.. До скорого свидания. Я позвоню вам по телефону. Весьма рад встрече.

Он крепко пожал руку Брауну. Дверь номера 67 отворилась. На пороге показался с некоторым беспокойством Яценко. Он с достоинством поклонился Федосьеву и пропустил его в дверь. Подозрительного вида люди остались в коридоре.

VII

Яценко понимал, что неожиданное посещение Федосьева имело отношение к делу об убийстве Фишера. Это было неприятно следователю. Он считал отрицательным явлением самое существование особой, самостоятельной и полновластной политической полиции. Ее вмешательство, хотя бы и отдаленное, в дела судебного следствия представлялось ему нарушением основных идей реформы шестидесятых годов.

Николай Петрович с официальной учтивостью поздоровался с Федосьевым и слегка придвинул ему кресло. Этот хозяйский жест должен был дать почувствовать посетителю, что в номере Фишера распоряжается он, Яценко. Федосьев, однако, не обратил, по-видимому, никакого внимания на смысл жеста и даже на самый жест. Любезно, как со старым знакомым, поздоровавшись с Яценко (которого он едва знал), он, не садясь, неторопливо и внимательно стал осматриваться в комнате. Хотя это продолжалось недолго, следователь успел два раза кашлянуть — второй раз с легким раздражением.

— Вашему превосходительству угодно было меня видеть? — сухо спросил он.

— Так точно. Прошу ваше превосходительство извинить за беспокойство, — сказал Федосьев. — Николай Петрович? — полуспросил он, садясь.

Следователь кивнул головой. Его смягчил тон Федосьева и то, что гость знал его имя-отчество. Сам он, однако, продолжал обращаться к Федосьеву официально.

— Как вы догадываетесь, Николай Петрович, — неторопливо и гладко, негромким голосом заговорил Федосьев, — я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство, и мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. Разумеется, я был искренне этому рад: ваш опыт и энергия мне, как всем, хорошо известны (Яценко молча

поклонился). И я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам для выяснения некоторых обстоятельств этого дела.

— Ваше превосходительство предполагаете, что дело Фишера может быть не чуждо политического элемента?

— О нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович,— сказал Федосьев.— Или, вернее, я a priori допускаю возможность политического элемента во всяком деле такого рода.

«Какого рода?» — спросил себя Яценко. Федосьев понял его мысль.

— Банкир Фишер,— сказал он неохотно,— был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности, с немецкой фамилией. Наше ведомство обязано хоть издали следить за подобными людьми, особенно в грозное военное время. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто нерадив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела.

— Ваше превосходительство желаете получить сведения, так сказать, в частном порядке?

Федосьев взглянул на следователя.

— О да, в частном порядке, только в частном порядке,— с некоторым нетерпением сказал он.— Если б я хотел идти путем официальным, я сказал бы об этом Н. (Федосьев назвал по имени-отчеству председателя совета министров), он обратился бы к министру юстиции, министр юстиции к прокурору палаты, а прокурор палаты истребовал бы справку у товарища прокурора, который наблюдает за вашим следствием. Согласитесь, что не стоит беспокоить столько занятых людей. Я поэтому в частном порядке прошу вас изложить мне ваши сведения и предположения о деле,— сказал он, подчеркивая слово «прошу».

— Я к вашим услугам. Так вот, видите ли, Фишер был сегодня в шесть часов утра найден мертвым в квартире на...

Федосьев прервал его мягким жестом руки.

— Обстоятельства, при которых было обнаружено убийство,— сказал он,— мне известны. Я сам как раз приехал сюда из той квартиры...

«Однако!» — подумал следователь.

— Поэтому будьте добры сообщить мне лишь данные, добытые первыми шагами дознания, а также те предположения, которые у вас могут быть.

— Очень хорошо. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад, и вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. До медицинского вскрытия тела и до производства химического исследования невозможно даже с точностью удостоверить, что Фишер умер насильственной, а не естественной смертью, хотя, конечно, все данные говорят именно об убийстве. Предположения же и подозрения у меня точно

есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажник — правда, только с семьюдесятью рублями. Это, по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Можно, конечно, допустить, что в бумажнике была гораздо большая сумма, которой и воспользовался убийца, оставив семьдесят рублей для отвода глаз. Но для этого предположения нет оснований. Затем грабитель едва ли мог воспользоваться ядом как способом убийства. Таким образом, гипотеза грабежа маловероятна. Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера.

Он остановился. Федосьев молча на него смотрел.

— Жена Фишера, — сказал следователь, — была в близких отношениях с некиим Загряцким. Личность эта, по данным, добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств («Кому говорю?» — мелькнула мысль у Яценко). Этот господин прокутил состояние, унаследованное от отца, служил, потом ушел со службы или его ушли. В последнее время он жил, по-видимому, на средства Фишера, с которым состоял в самых лучших отношениях. Знал ли Фишер о связи Загряцкого с женой, мне пока не известно. Но их часто видали вместе. Фишер занимался своими аферами днем, а вечером постоянно посещал всякого рода увеселительные места и притоны. Квартира, в которой он умер, была местом настоящих оргий. Ездил он туда в обществе очень молодых женщин, вернее было бы сказать, девочек — убитый был, по-видимому, человек весьма развращенный, — вставил Яценко. — Почти всегда его туда сопровождал какой-то мужчина или мужчины. В обществе этого мужчины его видел мельком дворник дома, в котором снята была Фишером квартира. Но было это поздно вечером, и лица спутника Фишера дворник не разглядел. Далее: по всей видимости, никакой другой мужчина не мог быть заинтересован в смерти Фишера. Заинтересованы могли быть, предполагая худшее, две женщины: его жена и его дочь. Но они обе, по данным розыска, находятся вне Петербурга. Госпожа Фишер теперь в Крыму — ей послана телеграмма, — а дочь за границей. Со смертью Фишера значительная часть его богатства, очевидно, переходит к жене. Можно предположить, что от Загряцкого зависело бы на ней жениться или просто отобрать у нее деньги. Это все, разумеется, только гипотеза. Но вот и нечто другое — факты.

Следователь опять помолчал.

— В ящике этого письменного стола, — начал он снова, — при произведенном мною беглом разборе бумаг Фишера нашлись: во-первых, шестимесячный вексель, выданный Загряцким на имя Фишера, на сумму пять тысяч рублей. Срок этому векселю истекает через две недели. Во-вторых, записка, посланная Фишеру Загряцким, в которой

он обещает быть «там, где всегда», в десять часов вечера... Записка числом не помечена. Угодно вам взглянуть? — спросил он, показывая рукой на кучу бумаг.

Федосьев сделал отрицательный жест, закрыв на секунду глаза.

— В-третьих, розыск установил путем опроса прислуги того дома, где живет Загряцкий, что он ушел вчера из дому около пяти часов вечера, вернулся поздно, а утром, часов в девять, опять ушел из дому, чего обычно не делал. Я, разумеется, не думаю, что он скрылся — это значило бы себя выдать. Но до сих пор я не мог его разыскать и допросить. Наконец, в-четвертых, квартира, где умер Фишер, отпирается особым никелированным ключом довольно сложной формы. Сыскной полиции удалось отыскать по соседству с квартирой слесаря, у которого этот ключ был заказан. Слесарь утверждает, что сделал в свое время два таких ключа, сделал по заказу господина, приметы которого совпадают с приметами Загряцкого. Вот пока все. За квартирой Загряцкого ведется наблюдение. Если этот господин на допросе не установит безусловного alibi, я его арестую... Ваше превосходительство видите, что в деле трудно предположить наличие политического элемента.

— После Фишера осталось завещание? — спросил Федосьев, не поднимая глаз и барабаня пальцами по столу.

— Здесь, в номере, завещания не оказалось. Но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса. Это выяснится не сегодня-завтра.

— Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Об этом, а также обо всем, что будет найдено в сейфе. В несколько часов вы установили очень многое. Кому поручен розыск по этому делу? Антипову?

— Да, Антипову.

— Желаю вам успеха. Он пускал полицейских собак?

— Нет еще.

— Это иногда — далеко не всегда, впрочем,— достигает цели. Я нисколько, разумеется, не настаиваю, это ваше дело. Мое дело только быть в курсе. Надеюсь, будете меня осведомлять и дальше... Еще раз вас благодарю и прошу извинить, что побеспокоил... понапрасну.

Он встал и простился. Следователь сделал несколько шагов, провожая его к выходу. У двери Федосьев остановился и спросил:

— А что же Александр Михайлович Браун? Его вы, собственно, почему к себе вызывали? Я встретил его, входя к вам.

— Он живет в этой гостинице и был знаком с Фишером, я рассчитывал кое-что у него узнать.

— И что же, узнали что-нибудь?

— Почти ничего... Ваше превосходительство его знаете?

— Мы учились одновременно в университете, правда, по разным факультетам и курсам.

— Он по происхождению из немцев?

— Не могу вам сказать. Вероятно, из обрусевших инородцев.

— Интересное лицо... Он знаком также и с Загряцким.

— Да? У нашего знаменитого ученого странные знакомства... Не у Загряцкого ли он научился пить вино с утра?..

Федосьев негромко засмеялся и вышел из комнаты.

VIII

Hall гостиницы «Палас», ярко освещенный люстрами, был переполнен. Столики сияли белоснежными скатертями, серебром. Скрипач, толстый румын с потным, оливкового цвета лицом, черно-синими волосами, на бойкой руладе оборвал модную песенку и, радостно оглядев публику, заиграл румынский гимн. Никто не поднялся. Послышался смех. Скрипач раздул черные ноздри и возвел глаза к люстре. Но, по-видимому, не слишком обиделся и принял смех как должное.

По лестнице в шубе, опираясь на палку, спустился Браун и прошел мимо hall'а. Мальчик в курточке с золочеными пуговицами повернул перед ним вертящуюся дверь. Подуло сырым холодным ветром.

На мачте Зимнего дворца ветер трепал штандарт. У колонн по сторонам от главных ворот замерли великаны часовые. Браун приблизился к дворцу и пошел к Зимней канавке. Снежная пыль, как стая мошек, вилась вокруг фонаря. Капли воды обрывались с краев герба, с фигур и ваз на карнизах, со сводов галереи. На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду.

IX

У известного адвоката Семена Исидоровича Кременецкого на большом приеме должны были сойтись не только присяжные поверенные, составлявшие его обычное общество, но также профессора, артисты, писатели, общественные деятели. Обещали приехать и несколько второстепенных сановников, склонявшихся к оппозиции с 1915 года. К Кременецкому, несмотря на его радикальные взгляды и на еврейское происхождение (он, впрочем, еще в ранней молодости принял лютеранскую веру), относились благосклонно многие сановники. Более умные из них находили, что либеральные убеждения почти так же обязательны при общественном положении Кременецкого, как консервативные взгляды в их собственном положении. Должен был прибыть на прием и видный член британской миссии в Петербурге

майор Вивиан Клервилль, с которым недавно познакомился Кременецкий. Присутствие представителя союзных армий, как думал хозяин дома, сообщало особый характер вечеру, как бы намечая то, на чем сходились теперь сановники с радикальной интеллигенцией.

Кременецкий был сторонником войны до полной победы, хотя и не слишком верил в полную победу. Он смолоду учился в Гейдельбергском университете и вывез оттуда кроме обязательного для всех бывших гейдельбержцев запаса одних и тех же анекдотов о Куно Фишере еще и уверенность в несокрушимой мощи Германии. Но он придерживался союзной ориентации, немцев недолюбливал и считал их всех мещанами.

На приеме предполагалось и музыкальное отделение с участием передового композитора и певца, тенора частной оперы. Композитор играл бесплатно — он везде и всегда был рад исполнять свои произведения, а тем более на вечере у Кременецкого, который и в музыке придерживался передовых взглядов: говорил, что для него музыка начинается с Дебюсси. Певец же получал за свое выступление четыреста рублей, уже отложенных хозяйкой в конверт (его предполагалось сунуть после ужина певцу **незаметно**, хотя сумма эта была заранее точно установлена по телефону не без полушутливого торга — певец хотел пятьсот).

По случаю большого приема обед был подан раньше обычного и продолжался очень недолго. После обеда хозяин, высокий, грузный и рыхлый блондин, походивший на актера — любимца дам, второй раз в этот день выбрился в своей роскошной спальне перед огромным трехстворчатым зеркалом. Затем он надел, морщась, туго накрахмаленную белую рубашку и смокинг. Надевая брюки, он с неудовольствием заметил, что пуговицы сошлись на животе не очень легко, хотя смокинг был сшит недавно. «После войны сейчас же надо будет съездить в Мариенбад, — подумал он. — Хлеба, говорят, нужно есть меньше».

Несмотря на то, что скоро могли появиться первые гости, Кременецкий еще сел за работу, он работал в течение десяти месяцев в году по десять часов в день регулярно, чем крайне огорчал жену и наводил трепет на помощников. Семен Исидорович прошел в свой кабинет, обставленный в строгом деловом стиле. Вдоль стен тянулись шкапы с книгами преимущественно юридического и политического содержания в темных переплетах с инициалами С. К. внизу на корешках. На шкапах и на огромном письменном столе были расставлены фотографии виднейших судебных и политических деятелей с любезными надписями хозяину. Позади письменного стола, над длинной полкой с «Энциклопедическим словарем», зажатым между двумя бронзовыми львами, висел портрет госпожи Кременецкой работы известного художника, а на противоположной стене огромная фотография, изображавшая босого Толстого. Низенькая, за-

клеенная обоями, незаметная дверь вела в канцелярию (Кременецкий так называл комнату, где работали его помощники и переписчица).

В кабинете ничто не было изменено в связи с предстоящим приемом — он и в обычное время содержался в образцовом порядке. Только на камине стояли подносы с рюмками и несколько бутылок. Это было сделано по настоянию Кременецкого — его жена находила, что незачем подавать гостям спиртные напитки до ужина. «Это, если хочешь, даже и дурной тон»,— сказала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович не вмешивался в хозяйственную сторону вечера, всецело полагаясь на жену, которая имела довольно большой опыт. Кременецкий был уже несколько лет вполне обеспеченным, даже почти богатым человеком. На спиртных напитках он, однако, настоял.

«Дурной или не дурной тон,— сказал он не без раздражения,— а без алкоголя оживления не бывает и в самом лучшем обществе. Сделай, золото мое, как я говорю».

Его желание было, как всегда, тотчас исполнено. Тамара Матвеевна боготворила своего мужа и считала его первым человеком в мире.

Семен Исидорович сел за стол и придвинул папку, заключавшую в себе документы по громкому делу, по которому он должен был выступать в суде через два дня. Кременецкий часто вел политические процессы, выступал иногда и по гражданским делам, но настоящей его специальностью, по общему мнению адвокатов, были «дела на романтической подкладке». Таково было и это дело. Семен Исидорович внимательно перелистал документы. Он всегда очень добросовестно готовился к процессам, почти не делая разницы в этом отношении между богатыми и бедными клиентами. Своей карьерой он был обязан не только таланту, но и порядочности и корректности во всем. Читая записку своего помощника, Кременецкий тотчас заметил, что в ней не хватало ссылки на важное сенатское решение. «Ох, уж этот Никонов,— подумал он,— миляга парень, но звезд с неба не хватает...». Семен Исидорович для примера помощнику разыскал нужную справку и сам с особенным удовольствием вписал ее в дело полностью. Хотя сенатские решения обычно составлялись людьми враждебных ему взглядов, Кременецкий относился к этим решениям с большим уважением, даже с любовью, он вообще страстно любил все связанное с судом.

Вписав справку, Семен Исидорович стал мысленно воспроизводить свою речь, уже почти готовую. Он обладал замечательным даром слова и не заучивал речей наизусть, но некоторые наиболее эффектные места для громких процессов подготовлял и отделывал заранее. Речью своей он на этот раз был очень доволен. Кременецкий вполголоса, но выразительно прочел ее последние фразы.

— Господа присяжные заседатели! Вам известен великий завет, которым так справедливо гордится наша родина: «Правда и милость да здравствуют в судах...» — Он помолчал, затем заговорил снова проникновенно: — Священные слова, господа присяжные! Увы, слишком часто нам, при исполнении трудного, но и отрадного долга защиты, слишком часто нам приходится просить у вас милости для людей, вверивших нам свою судьбу и жизнь. И в милости, как известно, никогда не отказывает великодушный народ русский, сочувствующий всем несчастным, всем страждущим, всем угнетенным... — Он опять помолчал. — Но в этом деле, господа судьи, господа присяжные, нам нужна не милость, а правда, одна правда и только правда! Ибо женщина, которая вон с той деревянной скамьи со страстной надеждой и горячей мольбою взирает на вас, не повинна в инкриминируемом ей преступлении. Эту женщину за что-то неумолимо преследует фатум, **мойра** древних греков, рок, таинственную и жестокую поступь которого великой совестью своей так чутко понял и бессмертным пером так вдохновенно описал наш гениальный правдолюбец и правдоискатель Достоевский. Господа присяжные заседатели, вы протянете этой женщине руку помощи!.. Судьи народной совести, властью, данной вам Богом и людьми, вы защитите от злого рока несчастную!

«Плевако, Лабори лучше не сказали бы», — подумал Семен Исидорович. За этим местом явно должны были последовать бурные рукоплескания публики и угроза председателя очистить зал заседания. Кременецкий успокоенно отложил папку, взглянул на стенные часы — было девять — и развернул лежавшую на столе вечернюю газету. Он начал читать сообщение генерального штаба, но как раз внизу страницы слева (хоть он вовсе туда и не смотрел) ему бросилась в глаза его собственная фамилия с инициалами имени-отчества. Семен Исидорович мгновенно оставил сообщение ставки. Речь шла об юбилее одного из его товарищей по сословию, старика без большой практики, которого все любили и неизменно выбирали в совет за старость, честность и представительную наружность. В числе адвокатов, вошедших в комитет по устройству чествования, был назван С. И. Кременецкий, но его фамилия стояла на седьмом месте. «Может, по алфавиту?» — беспокойно спросил себя Семен Исидорович и стал проверять, припоминая порядок букв. Однако выходило не по алфавиту: П. Я. Меннер был назван на третьем месте. «Странная вещь, — подумал с неудовольствием Семен Исидорович, — ну, Якубович мог быть, пожалуй, назван раньше меня, если не по алфавиту, но уж никак не этот карьерист...» В той же газете Семена Исидоровича недавно назвали **видным** адвокатом — и этот эпитет чувствительно задел Кременецкого; обычно его в печати называли **«известным»**, а в одной провинциальной газете, в городе, куда он выезжал для выступ-

ления в суде, было даже сказано «наш знаменитый петербургский гость». Семен Исидорович, хмурясь, вернулся к сообщениям с фронтов и быстро пробежал весь отдел «Война». Бои шли на Стоходе и у Крево... Вновь замечено употребление турками разрывных пуль... Подпоручик Шнемер сбил двадцать третий немецкий аэроплан... В общем, на фронте ничего особенного не случилось. Кременецкий вспомнил, что в скором времени предстоял его собственный двадцатипятилетний юбилей. «Это, конечно, как считать. Подогнать можно к сезону...» Семен Исидорович знал, что юбилеи почти никогда не организуются сами собой, по инициативе почитателей, и что заботиться о них необходимо либо самому юбиляру, либо его семье, меняется же только маскировка, от очень дипломатичной до очень грубой. «Ну, еще много времени»,— подумал он и перевернул страницу газеты. На второй странице два столбца было отведено новым сведениям об убийстве Фишера. Сообщалось в довольно туманных выражениях, что задержан некий Загряцкий. Против него были серьезные улики. Кременецкий прочел все очень внимательно. Он был знаком с Фишером, как со всеми в Петербурге. Смерть банкира оставила его совершенно равнодушным: Кременецкий был не молод и не стар — успел привыкнуть к чужим смертям и еще не очень думал о собственной. Но ему страстно хотелось получить это дело. «Если уж не мне, то хоть бы Якубовичу досталось, а не Меннеру и не другим шарлатанам»,— подумал он. Мысль эта взволновала Семена Исидоровича. Он встал и вышел из кабинета.

X

Гостиная, купленная за большие деньги в Вене после одного дела, на котором Кременецкий заработал сразу тридцать тысяч рублей, резко отличалась от кабинета по стилю. В этой огромной комнате были и американский белый рояль, и голубой диван с приделанными к нему двумя узенькими книжными шкапами, и этажерки с книгами, и круглый стол, заваленный художественными изданиями, толстыми журналами. На стенах висели рисунки Сезанна, не очень давно вошедшие в моду у петербургских ценителей. Была и коллекция старинных рисунков, на один из которых хозяин обращал внимание гостей, замечая вскользь, что это подлинный Николай Зафури. Еще в другом роде был будуар, расположенный между кабинетом и гостиной. Здесь все было чрезвычайно уютное и несколько миниатюрное: небольшие шелковые кресла, низенькие пуфы, качалка в маленькой нише, крошечная полка с произведениями поэтов, горка русского фарфора и портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком, искусно составленным из лавров и терний. Мебели вообще было много, и, по расчету хозяев, они могли принимать до ста человек, перенося в па-

радные комнаты лучшие стулья из других частей квартиры. Впрочем, такие большие приемы устраивались чрезвычайно редко, а балов по случаю войны не давал никто.

В хрустальной люстре была зажжена половина лампочек. Поджидая хозяев, два помощника Кременецкого, свои люди в доме, вели между собой вечный разговор помощников присяжных поверенных. Один из помощников, Никонов, был во фраке, другой, Фомин, служивший в Земском союзе, в темно-зеленом френче, с тремя звездочками на погонах.

— Что же вы думаете о деле Фишера? Убил, конечно, Загряцкий, — сказал Никонов.

— Позвольте, во-первых, не доказано, что Фишер был убит. Экспертизы еще не было.

— Какое же может быть сомнение? Без причины люди не умирают...

— Умирают на шестом десятке от тех «petits jeux» [1], которыми занимался Фишер. А во-вторых, почему Загряцкий?

— Кто же другой? Другому некому.

— Позвольте, дорогой коллега, вы рассуждаете не как юрист. Onus probandi [2] лежит на обвинении, разумеется, если вы ничего против этого не имеете.

— Да что onus probandi, — сказал Никонов. — Загряцкий убил, какой тут onus probandi! А вот что это дело от Семы не уйдет, это факт.

— Бабушка надвое сказала, и даже, passez-moi le mot [3], не надвое, а натрое или больше: если вам все равно, есть еще и Якубович, и Меннер, и Герд, и Матвеев, не говоря о dii minores [4].

— Нет, это дело не для них. Меннер хорош в военном. Якубович — да, пожалуй, при разборе улик Якубович на высоте. А все-таки, где яд, кинжал, револьвер, серная кислота, там Сема незаменим. Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, он и Грушеньку, и Настасью Филипповну запустит.

— Достоевского знает, как сенатские решения, — с уважением подтвердил Фомин.

— Если на антеллигентных присяжных, да со слезой, — никто, как Сема. Разве из Москвы Керженцова выпишут.

— Керженцов меньше, чем за пять, не приедет. Ему на славу наплевать. Il s'en fiche [5].

— Ну, и три возьмет. С Ляховского всего две тысячи содрал.

— Позвольте, ведь это когда было? De l'histoire ancienne [6]. Теперь, Григорий Иванович, цены не те.

[1] «Маленькие шалости» *(фр.)*.
[2] Бремя доказательства *(лат.)*.
[3] Простите за выражение *(фр.)*.
[4] Здесь: люди, занимающие второстепенное положение *(лат.)*.
[5] Ему наплевать *(фр.)*.
[6] Древняя история *(фр.)*.

— А вот помяните мое слово, Семе достанется дело, и он выиграет, как захочет.

— Оратор Божьей милостью...

— Да, только ужасно любит «нашего могучего русского языка»...

Фомин сделал ему знак глазами. В гостиную вошла Муся, дочь Кременецкого, очень хорошенькая двадцатилетняя блондинка в модной короткой robe chemise[1] розового шелка, открывавшей почти до колен ноги в серебряных туфлях и в чулках телесного цвета. Фомин звякнул по-военному шпорами и зажмурил от восхищения глаза.

— Мария Семеновна, pour Dieu, pour Dieu, чья это création[2], — сказал он, неожиданно картавя. — Какая прелесть!..

Муся, не отвечая, повернула выключатель, зажгла люстру на все лампочки и подошла к зеркалу.

«Какой сладенький голосок, — подумала она. — И надоели его французские фразы...»

У нее был дурной день. Накануне, часов в десять вечера, она возвращалась домой пешком (ее только недавно стали отпускать из дома одну); к ней пристал какой-то господин и долго с шуточками вполголоса преследовал ее по пустынной набережной, так что ей стало страшно. Она «сделала каменное лицо» и зашагала быстрее. Господин наконец отстал. И вдруг, когда его шаги замолкли далеко позади нее, ей мучительно захотелось пойти с ним — в таинственное место, куда он мог ее повести, — захотелось узнать, что будет, испытать то страшное, что он с ней сделает... Она плохо спала, у нее были во сне видения, в которых она не созналась бы никому на свете. Встала она, как всегда, в двенадцатом часу. Днем то разучивала «Баркароллу» Чайковского, то читала знакомый наизусть роман Колетт, то представляла себе, как пройдет для нее вечер. Впрочем, от этого приема Муся ничего почти не ожидала.

— Который час? — спросила она, не оборачиваясь и поправляя прядь только что завитых волос. «Лучше было бы розу в волосы», — подумала она.

Фомин с удовольствием взглянул на простые черные часы, которые он стал носить на браслете, надев военный мундир.

— Neuf heures tapant[3], — ответил он, незаметно оглядывая и себя через плечо Марии Семеновны. Он очень себе нравился в мундире. В зеркале отразилась фигура входившего Кременецкого. Он ласково потрепал дочь по щеке и сказал рассеянно: «Молодцом, молодцом... Очень славное платьице...» Никонов и Фомин улыбались. Семен Исидорович дружески с ними поздоровался.

---

[1] Платье-рубашка *(фр.)*.

[2] Ради Бога, ради Бога, чья модель? *(фр.)*

[3] Ровно девять часов *(фр)*.

— Ранний гость вдвойне дорог... Благодарствуйте, — сказал он (Кременецкий любил это слово).

— Мы о деле Фишера толковали, Семен Исидорович, — сказал Фомин. — Верно, вам придется защищать?

Беспокойство промелькнуло по лицу адвоката.

— Почему вы думаете? — быстро спросил он. — Я давеча читал... Будет, кажется, интересное дельце.

— По-моему, не может быть сомнений в том, что убил Загряцкий, — сказал Никонов. — Все улики против него.

Кременецкий и Фомин стали возражать. Газеты говорят о Загряцком, но настоящих улик нет.

— Дело ведет наш милейший Николай Петрович Яценко, очень дельный следователь, — сказал Кременецкий. — Он у нас нынче будет, жаль, что нельзя взять его за бока.

— Le secret professionnel, — торжественно произнес Фомин, поднимая указательный палец кверху.

— Когда выпьет крюшонцу, забудет про secret professionnel.

— Ну, он питух не из важнецких. Другой, когда выпьет, забудет, как маму звали, — сказал Семен Исидорович.

XI

Браун, несколько отставший за границей от петербургских обычаев, приехал на вечер в десятом часу. Тем не менее гостей уже было не так мало — в военное время жизнь стала проще. На пороге кабинета Брауна встретил хозяин. Вид у Кременецкого был праздничный. Он встретил гостя чрезвычайно любезно и, не помня его имени-отчества, особенно радушно назвал Брауна дорогим доктором, крепко пожимая ему руку.

— Надеюсь, вы теперь будете знать к нам дорогу, — сказал Кременецкий. Он с давних пор неизменно говорил эту фразу всем более или менее почетным гостям, впервые появлявшимся у него в доме. Но обычно он говорил ее в конце вечера, при их уходе, а теперь сказал в рассеянности, глядя в сторону передней, откуда появился еще гость. На лице у адвоката промелькнуло неудовольствие: гость был серовато-почетный, член редакции журнала «Русский ум», но явился он на вечер в пиджаке и в мягком воротничке. «Нет, все-таки мало у нас европейцев», — подумал Кременецкий.

— Я не знал, что у вас парадный прием, — сказал гость со смущенной улыбкой. — Уж вы меня, ради Бога, извините...

— Ну, вот, Василий Степанович, какой вздор! — ответил хозяин, смеясь и пожимая обеими руками руку гостя. — Вы, конечно, знакомы?.. Ну-с, что скажете хорошенького?

— Хорошенького словно и мало, судя по последним газетам...

— Вздор, вздор!.. Помните у Чехова: через двести — триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрас-

на...— Кременецкий выпустил руку гостя.— Вот что, судари вы мои, я здесь на часах и отойти никак не смею. А вам советую проследовать туда, к моей жене, и потребовать у нее чашку горячего чаю. Там больше молодежь, поэты есть,— сказал он, закрывая глаза, с выражением шутливого ужаса.— Василий Степанович, вы свой человек... Доктор, пожалуйста...

Василий Степанович, горбясь и потирая руки, прошел дальше. У дверей будуара он нерешительно остановился и стал пропускать вперед Брауна.

— Нет, нет, уж, пожалуйста, вы,— говорил он, нервно смеясь слабым смехом, точно за дверью их должен был окатить холодный душ.— Уж вы первый, пожалуйста...

Браун вошел в будуар, чувствуя по обыкновению острую тоску от всего: от тона адвоката, от расшаркивания перед дверью с Василием Степановичем, от яркого света комнат, от того, чем был густо заставлен стол в будуаре, от приветливой улыбки хозяйки и от портрета Гейне в затейливой рамке. Разговор у стола, видимо, довольно оживленный, на мгновение прервался. Собравшиеся с нетерпением и легким недоброжелательством ждали конца представлений. Хозяйка упорно называла всех полным именем.

— ...Анна Сергеевна Михальская... Софья Сергеевна Михальская... Глафира Генриховна Бернсен... Моя дочь Муся... Молодые люди, знакомьтесь, пожалуйста, сами с нашим знаменитым ученым,— улыбаясь, добавила она, давая понять молодым людям, что они имеют дело с важным гостем.

— Мы как раз говорили об умном, это у нас бывает,— громко сказала Муся, с любопытством глядя на Брауна. Она всегда говорила с новыми людьми так, точно давно и близко их знала.— Ставится вопрос: какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров... Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки.

— Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой «Голубой фарфор», ибо автор его здесь,— сказал Никонов.

— И он воплощенная скромность,— добавила Муся, обратившись к некрасивому бледному юноше с необыкновенным пробором по правой стороне головы.

— Я говорю, я взяла бы Гете и Пушкина,— сказала хозяйка.— Как хотите, вы можете считать меня отсталой или глупой, а я остановилась на классиках и в ваших декадентах ничего не понимаю. Пушкина понимаю, а их не понимаю... Вам с лимоном, Василий Степанович?

— Мама, вы ошибаетесь, это, напротив, все говорят: Гете и Пушкина. C'est très bien porté[1].

— Я, пожалуй, голосовал бы за Данте,— сказал негромко, точно про себя, Василий Степанович. Он взял у хо-

[1] Это хорошо звучит *(фр.)*.

зяйки стакан и окончательно сконфузился, пролив несколько капель на скатерть.

— Я взял бы Ната Пинкертона,— мрачно сказал с расстановкой Беневоленский, автор «Голубого фарфора».

— Ну, уж это, ах, оставьте, уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений,— возразил Никонов.

Никонов был душой общества, собиравшегося в будуаре госпожи Кременецкой. Говорил он все с чрезвычайной энергией в выражении и всегда в шутливой или полушутливой форме. Эта вечная шутливость, незаметное порождение застарелой неврастении, несколько утомляла. Однако при его появлении все изображали на лицах приветливую улыбку, что его еще более утверждало в бессознательно принятой им, не изменившейся за пятнадцать лет роли живого юноши и души общества. Женщинам Никонов нравился чрезвычайно, особенно при первом знакомстве. Он зачем-то издавна делал вид, будто влюблен в Мусю. Она прекрасно знала, что он и не влюблен ни в кого, и ни одной молодой женщины не может видеть равнодушно. Но тон его ей нравился. Ее ответной манерой была резкость, которая была бы неприличной, если бы с самого начала Мусей не было установлено, что ей все позволено.

Хозяйка любезно расспрашивала Брауна: давно ли он в Петербурге? Надолго ли приехал? Верно, нигде за границей нет такой отвратительной осени? Муся, не без беспокойства глядя на мать, прислушивалась к их разговору.

— Ах, вы остановились в «Паласе»? У нас будет сегодня еще гость оттуда. Может быть, вы его встречали: майор Клервилль из английской военной миссии...

— Да, я его знаю.

— Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане «Паласа»,— сказала Муся.— Он был в штатском. Какой очаровательный!

— Очаровательный.

— Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов, ну просто с ума схожу!..

— Муся, перестань говорить глупости...

— Мама, что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона...

— Все англичане шпионы,— подтвердил медленно поэт.— Шекспир тоже был шпионом.

— Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион, а, должно быть, присматривается к тому, что у нас делается, как же иначе? — сказал Никонов.— Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови.

— Ох, Господи, все слышали эту шутку сто раз, — сказала Муся, затыкая уши.

— Напротив, майор Клервилль обожает Россию,— сказал Браун.— Он ведь сам из intelligentsia. Прежде англичане из русских слов знали только zakouski и pogrom, те-

перь знают еще intelligentsia. Все равно, как у нас все знают: если англичанин, значит, контора и футбол. Майор Клервилль — самая настоящая интеллигенция, с сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается. Он сомневается почти во всем... Ну, не во всем, конечно: в победе Англии, наверное, не сомневается.

Хозяйка улыбалась, кивая одобрительно головой.

— А ведь слово «интеллигенция» выдумал почтеннейший Боборыкин, — сказал негромко Василий Степанович.

— Ничего подобного, оно встречается в «Анне Карениной», — возразил Никонов.

— Нельзя говорить «ничего подобного», — поправила Муся.

— Оставьте, пожалуйста, отлично можно... И потом, помните, еще Столыпин сказал, что это только инородцев интересует, как можно и как нельзя говорить: **мой** язык, как хочу, так и говорю.

— Ну вот, вы известный антисемит, — несколько озадаченно сказала Муся.

— Я антисемит на немцев... Знаете, кстати, почему у меня репутация антисемита? Меня одна барышня спрашивает: «Григорий Иванович, вы женились бы на еврейке?» — «Смотря на какой», — говорю. Вот за это меня ославили антисемитом. Что ж, по-вашему, я обязан жениться на **всякой** еврейке?

— И все неправда! Никакая барышня вас ни о чем таком не спрашивала... этот анекдот я в Москве слышала два года тому назад. И «антисемит на немцев» тоже слышала...

— Лопни мои глаза!.. Отсохни у меня руки и ноги!.. Чтоб я тут на этом самом месте провалился!..

— Господи! Григорий Иванович! — страдальчески улыбаясь, сказала хозяйка.

Поэт, загадочно глядя на шею своей соседки Анны Сергеевны, спросил вслух сам себя, какое слово лучше передает ощущение женской кожи: peau veloutée или peau satinée[1]. Из передней слышались звонки. Из кабинета доносился радостный голос хозяина. Хозяйка поддерживала разговор, следя за чаем и косясь в сторону столовой. Там, за дверьми, нанятые клубные лакеи делали свое дело, с презрением глядя на напуганных горничных хозяев.

— Он в самом деле так красив, этот англичанин? — спросила Мусю вполголоса Глафира Генриховна.

— Прямо на выставку англичан! — сказала Муся, закатывая глаза. — Он похож на памятник Николая I... А фрак, фрак!.. Григорий Иванович, отчего на вас так не сидит фрак?

— Это вам так кажется, потому, знаете, что лордова порода, — обиженно сказал Никонов. — Верно, фрак как фрак.

---

[1] Кожа бархатная или кожа атласная *(фр.)*.

— А зовут его Вивиан... Григорий Иванович, отчего вас не зовут Вивиан?

— Оттого, что разумный человек не может так называться, несерьезное имя. Вот послушайте: Гри-го-рий Иванович, как это хорошо звучит — серьезно, солидно, приятно... Я очень доволен... Только кретинический лорд может себе позволить быть Вивианом.

— Разве он лорд? — спросила Анна Сергеевна.

— Кажется, нет... Впрочем, не знаю. Знаю, что я погибла!

— Я знаю из верного источника, что он не лорд и не аристократ, — сказала желтолицая Глафира Генриховна, которая все знала из верного источника.

— Вешать шпионское отродье! — сказал Никонов и сделал страшные глаза.

XII

В одиннадцатом часу вечера гостиная и кабинет стали быстро наполняться; звонки следовали почти беспрерывно. Среди гостей были люди с именами, часто упоминавшимися в газетах. Были и богатые клиенты, которых Кременецкий награждал за дела знакомством с цветом петербургской интеллигенции (это и у него, и у них выходило почти бессознательно; однако банкиры и промышленники ценили связи своего юрисконсульта, а иных известных людей из его салона заполучали и в свои). Прибыл и английский майор. Его приезд произвел маленькую сенсацию. Он явился в походном мундире — это доставило удовольствие хозяину. Еще приятнее было то, что англичанин понимал русскую речь и даже, видно, любил говорить по-русски, по крайней мере, он на первую же, заранее приготовленную фразу Кременецкого, начинавшуюся со слова «аншанте» [1], ответил: «О, я очень рад действительно» — с такой любезной улыбкой, что Кременецкий сразу растаял. «В самом деле красавец, хоть картину пиши, — подумал он, — недаром Муська о нем три дня трещит...» Английского гостя Кременецкий проводил в гостиную, познакомил его там с Тамарой Матвеевной и усадил рядом с Мусей. Она устроилась так, что возле нее как раз оказался свободный стул. Разговор у них сразу покатился как по рельсам, и Кременецкий счел возможным оставить англичанина в гостиной, хотя большинство видных гостей-мужчин находились в кабинете.

Майор Клервилль был очень доволен тем, что попал на вечер к адвокату, у которого, как он знал, собиралась передовая петербургская интеллигенция. Его в первую минуту немного удивило то, что на русском вечере почти все было, как на английских вечерах. Разве только, что в передней шубы не клались на стулья, а вешались; да еще

[1] Я очень рад (*фр.* enchanté).

один из гостей был в пиджаке, а не во фраке и не в костюме, который здесь, как, впрочем, везде на континенте, назывался смокингом. Мужчины вообще были одеты хуже, а дамы лучше, чем в Англии. Среди дам было много хорошеньких — больше, чем было бы на английском вечере. Особенно понравилась Клервиллю та барышня, рядом с которой его посадили: она была именно такова, какой должна была быть, по его представлениям, девушка из петербургской передовой интеллигенции. Правда, заговорила она для начала не о серьезных предметах, но говорила так забавно и мило-кокетливо, что майор Клервилль просто заслушался и сам не торопился перейти к серьезным предметам.

«Ну, что ж, теперь с Божьей помощью можно загнуть и музыкальное отделение»,— подумал Кременецкий и незаметно показал жене глазами на рояль. Тамара Матвеевна чуть наклонила утвердительно голову. Кременецкий обменялся любезными фразами с барышнями, поговорил с Беневоленским.

— Верно, вы сейчас творите — уж такой у вас вдохновенный вид!.. Что ж, может быть, когда-нибудь в вашей биографии будет упомянуто, что вы у нас задумали шедевр,— сказал он шутливо поэту и вышел очень довольный.

«Отлично идет вечер, потом ужин, от шампанского еще лучше станет»,— подумал Семен Исидорович.

— Кого я вижу!.. Не стыдно вам, что так поздно! — воскликнул он радостно, протягивая вперед руки. Ему навстречу шли новые гости, Яценко с женой, высокой, энергичного вида дамой; за ними следовал юноша в черном узеньком пиджаке. «Это еще кто такой?» — с недоумением спросил себя Кременецкий и вспомнил, что его жена, бывшая три дня тому назад в гостях у Яценко, с чего-то пригласила на вечер также их сына, воспитанника Тенишевского училища. С такого мальчика и смокинга требовать было невозможно.

— Все вы молодеете и хорошеете, Наталья Михайловна,— сказал Семен Исидорович, целуя руку даме.— Зачем так поздно, ай, как нехорошо, Николай Петрович!.. Это ваш сынок? Очень рад познакомиться, молодой человек. Вас как зовут?

— Виктор...

— Значит, Виктор Николаевич... Прошу нас любить и жаловать.

— Ну, вот еще, какой там Виктор Николаевич! Уж сделайте милость, не портите его,— сказала Наталья Михайловна.— Витя он, а никакой не Виктор Николаевич.

— Да, пожалуйста,— произнес мальчик. «Очень любезный человек»,— подумал он. Витя в первый раз выезжал в свет. Приглашение госпожи Кременецкой и поразило его, и испугало, и обрадовало. Он готовился к вечеру

все три дня. Особенно его беспокоил костюм. Мундира в Тенишевском училище не полагалось, и отношение к гимназическому мундиру у тенишевцев было вполне отрицательное. Витя сделал заведомо безнадежную попытку добиться того, чтобы ему был заказан смокинг: их портной брался сшить в три дня. Но из этого ничего не вышло.

— Вот еще, шестнадцатилетнему мальчишке смокинг, — сказала возмущенно Наталья Михайловна, убавляя год сыну. — Только людей насмешишь... Да и твой черный пиджак совсем под смокинг сшит, издали и отличить нельзя.

Черный пиджак в самом деле походил на смокинг, но только издали. Пришлось, однако, надеть пиджак, украсив его новеньким модным галстухом, купленным за три рубля в лучшем магазине. Витя взволнованно вошел в гостиную — он всего больше боялся покраснеть. Гости, по-видимому, отнеслись равнодушно к его костюму. У хозяев по лицу тоже ничего нельзя было заметить. Первая минута, самая страшная, сошла благополучно. «Кажется, совсем не покраснел», — облегченно подумал Витя, садясь. Для его рук нашлось вполне надежное место под столом. К тому же в ту минуту, как они вошли в гостиную, там начиналось музыкальное отделение, и хозяйка могла только улыбкой показать Наталье Михайловне, что приветствия и разговоры откладываются — уже слышались звуки рояля. Часть гостей на цыпочках перешла из кабинета в гостиную. Перед роялем, грациозно опершись на его край левой рукой и держа в правой ноты, стоял певец, толстый, величественного вида человек с тщательно прилизанными волосами. За роялем сидела Муся. Предполагалось, что музыкальное отделение вечера составилось само собой, неожиданно и потому аккомпаниатора не пригласили. Муся с улыбкой, выражавшей крайнее смущение, предупредила певца, что будет аккомпанировать «не просто плохо, а ужасно». Она очень хорошо играла. Певец снисходительно улыбался, выпячивая грудь колесом.

— А ноты кто будет перелистывать? — спросила Муся.

— Витя, садись ты... Он очень музыкален и отлично играет, — сказала Наталья Михайловна.

— Ах, пожалуйста!

— Что вы, мама!.. Я, право...

— Ну, чего ломаешься, садись, видишь, дамы просят.

Виктор Яценко, замирая, уселся сбоку от Муси, чуть позади нее. В передней послышался слабый звонок. Хозяин на цыпочках поспешно вышел из гостиной. Певец выпятил грудь и торжествующим взором обвел публику.

«Время изменится», — сказал он, когда движение в зале улеглось совершенно. Англичанин, сидевший против Муси, удовлетворенно кивнул головою: за время своего пребывания в Петербурге он раз пять слышал «время изменится». Муся улыбнулась ему глазами и опустила руки

на клавиши. Витя, упершись руками в колени, смотрел на ноты через ее плечо. Кровь прилила у него к голове. Муся, на мгновение повернувшись, увидела его взволнованное, еще почти детское лицо. Ей сразу стало смешно и весело. Она нарочно стерла с лица улыбку и изобразила строгость. «Тот чурбан тоже хорош», — подумала она, поглядывая на певца. Ей сбоку были видны его богатырская грудь, неестественно подобранный живот, цепочка, протянутая из кармана брюк. Из передней слышался негромкий звук голосов. Хозяйка строго смотрела в сторону двери. Туда же невольно смотрели и гости. Дверь отворилась. По гостиной пробежал легкий, тотчас подавленный гул. Певец побагровел. В сопровождении радостно-взволнованного хозяина в гостиную вошел Шаляпин. Он на мгновение остановился на пороге, чуть наклонив свою гигантскую фигуру, приложил палец к губам и сел на первый стул у двери. Это заняло лишь несколько секунд. Всякий другой, войдя в гостиную во время пения, сделал бы то же самое. Однако бывший среди гостей художник Сенявин подумал, что этот вход в гостиную — подлинное произведение искусства, в своем роде почти такое же, как выход царя Бориса или появление Грозного в «Псковитянке». Он подумал также, что каждое движение этого человека — Божий подарок художнику. «Время изменится, ту-ча рассеется», — пел певец несколько ниже тоном. «И грудь у него уж не таким колесом выпячивается», — подумала Муся. Тенор наконец кончил, послышались аплодисменты, довольно дружные. Шаляпин, не аплодируя, направился к хозяйке. Все на него смотрели, не сводя глаз. В гостиной появились еще гости. Простая вежливость требовала, чтоб и он похлопал хоть немного. Но он, видимо, не мог этого сделать. Кременецкий подошел, улыбаясь и аплодируя, к певцу и горячо просил его продолжать. Певец смущенно отказывался. Хоть ему было заплачено за выступление, хозяин не настаивал.

— Чудно, великолепно, дорогой мой, — сказал он. — Очаровательно!

XIII

В кабинете в одной из наиболее оживленных групп шел перед ужином политический разговор. В нем участвовали Василий Степанович, молодой либеральный член Думы князь Горенский и два «представителя магистратуры», как мысленно выражался дон Педро. Прихлебывая коньяк из большой рюмки, дон Педро сообщал разные новости. В этом салоне, в который он попал с трудом, дон Педро одновременно наслаждался всем: и коньяком, и своими новостями, и собеседниками, в особенности же тем, что он был правее князя и в споре с ним выражал государственно-охранительные начала.

— Это уж начало конца... Нет, право, таких людей надо сажать в сумасшедший дом, — сказал возмущенно князь, имея в виду министра, о разных действиях которого рассказывал дон Педро.

— Disons[1]: надо бы уволить в отставку с мундиром и пенсией, — сказал Фомин.

— Можно и без пенсии.

— В такое время, подумайте, в такое время! — укоризненно сказал дон Педро. — Когда все живые силы страны должны всемерно приложиться к делу обороны. Эти люди ведут прямехонько к революции!

— И славу Богу! Не вечно же Федосьевым править Россией. Моя формула: чем хуже, тем лучше, — сказал Горенский.

— Да, но подождем конца войны. Во время войны не устраивают революций.

— Ах, разве война когда-нибудь кончится, полноте!

— Война кончится тогда, когда социалистам воюющих стран будет дана возможность собраться на международную конференцию, — сказал убежденно Василий Степанович, который в кабинете за серьезным политическим разговором чувствовал себя много свободнее, чем с дамами в гостиной.

— Что же они сделают? Объявят ничью?

— Да уж там видно будет.

— Ну, с сотворения мира войны вничью не бывало. Неужто, однако, князь, можно защищать сухановщину? — осведомился дон Педро, с особенной любовью произнося слово «князь».

— Позвольте, при чем здесь сухановщина. Я не пораженец.

— К тому же сухановщина весьма неопределенное понятие, Ленин излагает те же, в сущности, мысли гораздо последовательнее, — заметил Василий Степанович.

— Кто это Ленин? — спросил представитель магистратуры.

— Ленин — эмигрант, глава так называемого большевистского и пораженческого течения в российской социал-демократии, — снисходительно пояснил Василий Степанович. — Как-никак выдающийся человек.

— Его настоящая фамилия Богданов, правда? — спросил дон Педро.

— Нет, Богданов другой. Фамилия Ленина, кажется, Ульянов.

— Ах да, Ульянов... Не скрою от вас, князь, — сказал дон Педро, — я к пораженчеству и ко всей этой сухановщине вообще отношусь довольно отрицательно.

— А к милюковщине как относитесь? Положительно?

---

[1] Скажем *(фр.)*.

— Вы хорошо знаете, Василий Степанович, что я значительно левее Павла Николаевича, — несколько обиженно сказал дон Педро. — Но не в этом дело.

— Война до полной победы? Дарданеллы?.. Слышали!

— Ах, где же ее взять, полную победу? — заметил со вздохом дон Педро. Он хотел рассказать о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями. Но его прервал Фомин.

— Позвольте, наши доблестные союзники уже взяли дом паромщика, — сказал он.

Кто-то засмеялся. К разговаривавшим подошел хозяин. Его лицо так и сияло.

— Ну, что? — сказал он восторженно. — Ведь это гений! Другого слова нет!..

— Шаляпин? — переспросил дон Педро. — Да, мировая величина... Удивительно, что он согласился спеть: он больше не поет в частных домах.

— Уж и приготовили вы гостям сюрприз!

— Помилуйте, это для меня первого был полный сюрприз! Я в мыслях не имел просить его петь. Разве можно просить об этом Шаляпина!

— Это все равно что попросить человека подарить вам три тысячи рублей.

— Вот именно, — сказал, смеясь Кременецкий. — Нет, он сам пожелал, видно, нашло... Спел и уехал! Даже не уехал, а отбыл — о королях надо говорить «отбыл».

— Однако отчего он поет такие заигранные вещи? — спросил Горенский. — «Два гренадера», «Заклинание цветов»... Ведь это банальщина! Не хватало только «Спите, орлы боевые»!.. И почему «Фауста» петь по-итальянски?

— Vous êtes difficile, prince[1], — сказал Фомин. — Мне французы говорили, что они «Марсельезу» стали понимать лишь тогда, когда услышали, как Шаляпин поет «Два гренадера»...

— Да, мороз по коже дерет от его «Марсельезы»... Вы, видно, не очень любите музыку, князь, — сказал Кременецкий и отошел к другой группе. У камина, заставленного бутылками, Яценко разговаривал с Никоновым. Григорий Иванович выпил и был еще веселее обыкновенного. Около них в глубоком кресле сидел Браун. Здесь же, при отце, находился и Витя.

— Николай Петрович нем, точно золотая рыбка, — сказал Кременецкому Никонов. — Я, видите ли, хочу взять его за цугундер, как говорил один мой гомельский клиент. Нескромнейшим образом пристаю к Николаю Петровичу по делу Фишера: кто убил? зачем убил? почему убил? Просто сгораю от любопытства!

Кременецкий с беспокойством посмотрел на Яценко. Семену Исидоровичу фамильярный тон его помощника по-

---

[1] Вам трудно угодить, князь (*фр*).

казался весьма неуместным. Но Николай Петрович был в благодушном настроении и нисколько не казался обиженным — его, по-видимому, забавлял выпивший Никонов, которого он давно знал.

— И что же Николай Петрович? — спросил Кремецкий.

— Молчит, потому Фемида.

Никонов, улыбаясь, налил себе большую рюмку ликера. Семен Исидорович невольно следил за движениями его руки, слегка дрожавшей над бархатным покрывалом камина.

— Скажите, Фемида, будьте такие миленькие, кто убил Фишера? Cur? quomodo? quibus auxiliis? [1]

— Да, право же, я сам ничего не знаю, господа. Вы читали в вечерних газетах: задержан некий Загряцкий. Но я его еще не допрашивал.

— А вы допросите. Нет такого закона, чтобы людям сидеть под арестом, не зная, за что и почему... Хотя, конечно, он убил...

— Завтра допрашиваю. Его задержала полиция в порядке двести пятьдесят седьмой статьи устава уголовного судопроизводства. Вы бы прочли эту книжку, Григорий Иванович, полезная, знаете, для юриста книжка.

— Вот еще, стану я всякие глупости читать. Статья архаическая.

— Разве у нас есть habeas corpus? [2] — спросил, краснея, Витя Яценко.

— Я знаю только то, что напечатано в газетах, — сказал серьезно Кременецкий. — Насколько по газетам можно судить, настоящих улик против Загряцкого нет.

— Это какой же Загряцкий? — осведомился подошедший Фомин. — Мой покойный отец, сенатор, знавал одного Загряцкого. Они встречались у Лили, у графини Геденбург... Не из тех ли Загряцких?

— Не знаю, верно, не из тех. Кажется, попросту опустившийся человек, — сказал нехотя следователь. — Вместе развлекались с Фишером.

— А развлечения были забавные? Расскажите, Николай Петрович. Не слушайте, молодой человек.

— Отчего же? Впрочем, если я лишний, — сказал, вспыхнув, Витя и хотел было отойти, но отец засмеялся и удержал его за руку.

— Однако вполне ли доказано, что Фишер убит? — спросил Фомин.

— Экспертиза будто бы установила отравление растительным ядом, — пояснил Кременецкий. — Но вы знаете, хуже экспертов врут только статистики. Да и наши газет-

---

[1] Кто? Каким образом? С чьей помощью? *(лат.)*

[2] Конституционный акт, гарантировавший права граждан в Англии; принят в XVII в.

чики любят подпускать андрона, не в обиду будь сказано милейшему дон Педро, — добавил он вполголоса, оглядываясь. — Вот вы, доктор, — обратился он из вежливости к Брауну, который молча слушал разговор. — Вы что нам можете разъяснить по сему печальному случаю?

— Я не видал данных анализа и ничего не могу разъяснить.

— Однако, если я не ошибаюсь, химическая экспертиза не всегда может вполне точно установить факт отравления?

— Вы не ошибаетесь, — холодно сказал Браун. Почему-то все, кроме Никонова, почувствовали себя неловко.

— Позвольте, герр доктор, — сказал Никонов, — я, конечно, не химик свинячий... Тысяча и одно извинение, э о из Чехова... Я, конечно, профан, но в «Русских ведомостях» читал, что химический анализ может обнаружить одну тысячную или даже десятитысячную миллиметра яда... А? В чем дело? Виноват, я хотел сказать, миллиграмма. Сам читал в газетах.

— В газетах, может быть, — сказал Браун. — Впрочем, иногда в самом деле анализ обнаруживает и десятитысячную, но не всегда и не при всяких условиях. В человеческом организме химические реакции идут сложнее, чем в стеклянном сосуде.

— Как же нас лечат разными медикаментами? — спросил Яценко.

— Плохо лечат.

— А вы говорите: купаться, — сказал весело Кременецкий.

— Я и не говорю: купаться... Нет, право, господа, я ничего пока не знаю, — сказал Яценко, решительной интонацией отклоняя продолжение разговора.

— Франц-Иосиф-то каков, а? — спросил Кременецкий. — Поцарствовал, поцарствовал, да и умер.

— В самом деле, всего каких-нибудь семьдесят лет поцарствовал и умер, чудак этакой!

— Шибко стал умирать народ! Вот и Направник скончался. Кого мне жаль, это Сенкевича...

— Зато я, господа, твердо решил: буду жить еще пятьдесят шесть лет и три месяца, — заявил Никонов, подливая всем ликера.

XIV

Стоя на площадке перед отворенной дверью, Семен Исидорович провожал последних гостей, все повторяя полушепотом:

— Спокойной ночи, дорогая моя... Спасибо... Слева дверь внизу, постучите швейцару, да он, верно, не спит... До свиданья, Николай Маркович, нижайший привет матушке, скажите, чтоб поправлялась поскорее... До завтра, Григорий Иванович, благодарствуйте...

Внизу наконец тяжело стукнула дверь. Кременецкий погасил свет на лестнице.

— Уж, конечно,— сказал он радостно, входя в кабинет.— Правда, все сошло отлично?

— Отлично или не отлично, а до весны отдохнем,— отозвалась Тамара Матвеевна, брезгливо глядя на пепел, просыпавшийся по ковру кабинета.— Кажется, штук десять пепельниц им расставили, нет же, все на ковер...

— Оставь, Маша завтра уберет... Право, было очень хорошо. Муся, ты как находишь?

— Да, папа,— устало отозвалась Муся.

Тамара Матвеевна повернула выключатель, оставив зажженной только одну лампочку в люстре.

— Скоро пятый час... Наши милые петербургские обычаи!..

— Очень устала, золото мое? — спросил Кременецкий, целуя жену в волосы. Она вспыхнула от удовольствия и быстро оглянулась на Мусю.

— Всякая усталость проходит, когда я подумаю, что со всеми расквитались, со всеми. Больше ни перед кем не в долгу.

— Ни перед кем... Разве перед Михайловыми? Жаль все-таки, что они не пришли.

— Это мне все равно, была бы честь предложена...

— Разумеется. Не устраивать же для них особый раут.

— Благодарю покорно... Муся, ты бы спать пошла, ты так утомилась, бедная.

— А ты? Неужто ты будешь еще порядок наводить, в пятом часу?

Тамара Матвеевна только взглянула иронически на мужа и махнула рукой.

— Порядок наводить! Здесь нам с Машей и Катей завтра часа на три работы.

— Лакеи ушли?

— Сейчас же после ужина ушли... Я им дала по два рубля на чай, кажется, были очень довольны... Надо бы серебро пересчитать...

— Ну что ты, клубные лакеи... Нет, серьезно, все сошло прекрасно... Шампанского не маловато было за ужином?

— Оставь, пожалуйста. У твоих Михайловых дают по бутылке на десять человек, мне их француженка говорила, лакеям велят на аршин поднимать бутылку над бокалами, чтоб больше было пены,— и ничего. А у нас маловато!

— Так то Михайловы: по Ивашке рубашка... А шампанское, правда, можно было смело все взять русское, это ты была права... Написано «Grand Champagne», и все равно никто не умеет различать, какое русское, какое французское. На следующий раут возьмем все русское.

— Ох, ради Бога, не говори о следующем рауте, дай передохнуть... Муся, ты, конечно, узнала платье Глафиры

Генриховны? Это та самая модель Бризак, только ихняя Степанида сделала воротник крепдешиновый вместо point de Venise[1], я сейчас узнала... И такой же пояс с камеей. По-моему, так себе, а? А Анна Сергеевна совсем невестой разрядилась для своего Скворцова, только он на нее и не смотрит, со стороны совестно.

— Бросьте говорить о тряпье и косточки дамам перемывать... Какой молодец Шаляпин!.. Это очень удачно вышло, я и думать не смел, что он будет петь. Он нигде не поет... Ведь мировая величина!.. Три тысячи за спектакль пожалуйте. А у того, бедного, голос маленький, но препоганенький.

— Это твоя была выдумка. Жаль четырехсот рублей.

— Не деньги нас, а мы их нажили. Ничего, все были очень довольны, гораздо легче с музыкальным отделением. А англичанин произвел страшный эффект, я видел. Хорошо, подлец, форму носит, на Фомине земгусарский мундир сидит хуже...

— Мусенька, у тебя глаза слипаются, иди спать, моя милая. Впечатления завтра...

— Да, я иду... Спокойной ночи...

— А поцеловать маму?.. Спокойной ночи, мой ангел...

— И не купайся сейчас, Мусенька, отложи на завтра... А ты еще посидишь со мной, золото, я папиросу докурю?.. Ты знаешь, я окончательно убедился, что Николай Маркович — просто недалекий человек. Вообрази...

— Большое открытие, я всегда говорила, что он дурак.

Муся прошла в свою комнату и, не зажигая света (лампочка горела в коридоре), села на край кушетки. Ее комната тоже была приведена в полный порядок — на случай, если б сюда во время приема пожелала заглянуть какая-нибудь гостья. Пахло земляникой — от крема, которым пользовалась «маникюрша». Муся так сидела несколько минут, затем встала, сняла платье, вытянув вверх руки, и открыла шкаф, из которого пахло духами. Хотела было повесить платье, но остановилась перед такой затратой энергии и бросила платье на стул, затем занялась своим сложным дамским хозяйством. Она распустила волосы, зажгла свет над туалетным столиком. Хрустальные флаконы на столике вспыхнули разноцветными огнями. Осветилась мебель белого дерева, крытая белым атласом, кровать с белым кружевным одеялом, яркие переплеты книг в этажерке, маленькое пианино в углу. Муся очень любила свою комнату, но пианино ей подарили родители ко дню рождения уже два года тому назад, туалетный столик с хрустальным прибором годом раньше, а белая мебель была заказана еще тогда, когда они только стали богатеть и выходить в люди. Мусе вдруг захотелось плакать. «Нет, положительно, я глупею... — подумала она. — Ведь ничего ре-

[1] Венецианское кружево *(фр.)*.

шительно не случилось, ничегошеньки, как говорит папа. Только еще один безрезультатный вечер...— Она сквозь слезы улыбнулась газетному слову «безрезультатный».— Какой же мог быть результат? Сто таких вечеров было и еще сто будет. Не из-за этого же плакать...»

Она обрызгала себя духами из пульверизатора, оглянулась на холодную нарядную постель — ей не хотелось ложиться. Муся подошла к пианино и бесшумно подняла крышку. Нечего было и думать о том, чтобы играть в такой час. Муся порылась в нотах, отыскала «Заклинание цветов» и одним пальцем почти неслышно тронула несколько клавишей. «E voi — o fiori,— dall' olezzo sottile,— она мысленно переводила итальянские слова.— Vi-faccia-tutti-aprire — La mia man maledetta...» [1] Какая-то дьявольская сила из него лилась, когда он это пел, мурашки пробегали. И смотреть на него было страшно... Настоящий демон... В ту минуту, когда Шаляпин пел знаменитую фразу, рядом с Мусей находился Клервилль. Позади них, немного сбоку, откинувшись на спинку стула, сидел Александр Браун. Она почувствовала на себе его взгляд, оглянулась и почему-то вздрогнула. «La mia man maledetta,— повторила негромко Муся.— Англичанин красавец, но глупостей я из-за него не сдалала бы... Впрочем, это только в романах барышни делают глупости... Во всяком случае, не у нас. Так, видно, и проживу без глупостей и без ivresse [2], а об ivresse буду читать у Колетт... Тот мальчишка, кажется, в меня влюбился,— вспомнила она с внезапно выступившей улыбкой.— Вот это победа — его еще в угол ставят... Да, безрезультатный вечер»,— подумала Муся и опустила крышку пианино.

XV

— В сотый раз говорю: не засиживаться так поздно, самой себя стыдно, ей-Богу,—сказала Наталья Михайловна, как только полуодетый швейцар, не смягченный полтинником Николая Петровича, сердито затворил за ними дверь.

— Что ж, было очень приятно, они все-таки хорошие люди,— лениво отозвался Яценко, поднимая воротник.

— Папа, вы, кажется, мало дали швейцару.

— Ты сколько дал? Полтинник? Предостаточно. Этак от всех ему сколько набежит... Тебе когда завтра на службу? В котором часу проклятый допрос?

— Днем. Успею выспаться,— нехотя ответил Яценко, недовольный тем, что жена его вмешивалась в служебные дела.

— А уж тебе, Витя, совсем ни к чему ложиться с петухами. Вот ведь завтра опять в училище не пойдешь...

[1] «О вы, цветы, благоухающие нежно, повелевает нам раскрыться моя проклятая рука ..» *(ит.)*

[2] Страсть *(фр.)*.

— Что?.. Да... Ничего, мама, — сказал рассеянно Витя.

Он был очень взволнован. «Неужели влюбился? Неужели это так может быть?» — спрашивал он себя. Муся на прощание крепко пожала ему руку и спросила, примет ли он участие в их любительском спектакле, если спектакль состоится. «Я буду счастлив!» — сказал Витя. «Неужели будет спектакль? Тогда на репетициях будем видеться постоянно...» Витя чувствовал себя к концу вечера победителем, от его смущения не оставалось и следа. Этот вечер начинал его карьеру светского человека.

— Извозчик! — закричал Яценко. — Извозчик!.. Поместимся на одном?

— Вы с мамой поезжайте, а я пешком приду... Хочется пройтись...

— Ну вот, оставь, пожалуйста! Незачем тебе в шестнадцать лет одному прохаживаться ночью по улицам...

Сзади блеснул свет, дверь снова отворилась, на улицу вышел Браун, за ним Клервилль. «Кажется, не могли услышать», — тревожно подумал Витя. Яценко приподнял меховую шапку в ответ на их поклон и сказал: «Мое почтение». Витя сорвал с себя картуз и высоко помахал им в воздухе. Англичанин раскуривал папиросу. Витя почти весь вечер, с отъезда Шаляпина, с восторженной завистью следил за майором Клервиллем. Он никогда не видел таких людей. Фигура англичанина, его уверенные точные движения, его мундир с открытым воротником и с галстухом защитного цвета, все казалось Вите необыкновенным и прекрасным. Он вообразил себя было английским офицером — не вышло, да и извозчик подъехал. Николай Петрович помог жене сесть в дрожки. Витя покорно полез за ними и кое-как поместился посредине. «Точно на руках... — скользнула у него неприятная мысль. Он вдруг перестал сознавать себя светским человеком и почувствовал еще большую, чем обычно, зависть к взрослым свободным людям. — Может, они вовсе и не домой теперь, а куда-нибудь в такое место...»

— По Пантелеймоновской прямо, — сказал извозчику Николай Петрович.

— Любили ли вы этот вечер? — спросил майор Клервилль, продолжая говорить по-русски, как в течение всего приема.

Англичанин был в возбужденно-радостном настроении, почти в таком же, как Витя.

— Любил, — мрачно ответил Браун.

— Этот человек Шаляпин! Я восхищаюсь его... Идем пешком в отель!

— Что? Что вы говорите? — вздрогнув, спросил Браун, точно просыпаясь.

Англичанин посмотрел на него с удивлением.

— Я говорю, может быть, нам немного гулять пешком?

— Нет, я устал, пожалуйста, извините, меня, — ответил Браун по-английски. — Я поеду.

Они простились.

Ночь была лунная, светлая и холодная. Клервилль с папиросой во рту шел быстрым крупным шагом, упруго приподнимая на носках свое усовершенствованное мощное тело. Он сам не знал, отчего был так бодр и весел: от шампанского ли, оттого ли, что шла великая, небывалая война за правое дело, в которой он, английский офицер, с достоинством принимал участие на трудном, ответственном посту, или оттого, что ему так нравились снег, морозная ночь и весь этот изумительный город, не похожий ни на какой другой. «Та девочка, бесспорно, очень мила». Здесь что-то было, впрочем, не совсем в порядке в мыслях майора Клервилля, но ему было не вполне ясно, что именно. «Шаляпин пел изумительно, другого такого артиста нет на земле. — Клервилль был рад, что видел вблизи Шаляпина и обменялся с ним несколькими словами. — Доктор Браун явно не в духе и даже не слишком любезен, однако он замечательный человек. Хозяева очень милы, особенно эта барышня... Но ведь Биконсфильд тоже был еврей и граф Розбери женат на еврейке», — неожиданно ответил майор Клервилль на то, что было не совсем в порядке в его мыслях. Он остановился, пораженный, и громко расхохотался: так смешна ему показалась мысль, что он может жениться на русской барышне, да еще на еврейке, да еще, во время мировой войны. «Что сказали бы в Bachelor'e?» — спросил себя весело Клервилль. Слева от него под фонарем у ворот, на уступе странно загибавшейся здесь улицы два человека в военной форме, вытянувшись, смотрели на него с изумлением. Майор нахмурился, отдал честь и прошел дальше. Открылась широкая река. За мостом было пусто и мрачно. Сбоку темнели огромные дворцы. «Fontanka gate» [1], — тотчас признал майор, останавливаясь снова и вынимая изо рта папиросу. Слева, чуть поодаль, в одном из дворцов кое-где таинственно светились в окнах огни. Клервилль слышал, что это какой-то исторический дворец, притом, кажется, с недоброй славой, вроде Worwick Castle или Holyrood Palace [2]. Но что именно здесь происходило когда-то, что было здесь теперь, этого Клервилль не помнил и с любопытством влядывался в красные огоньки дворца.

XVI

Яценко остановился перед аптекой, светившейся желтыми огнями, расстегнул шубу и не без труда вытащил из жилетного кармана часы. До начала допроса оставалось

[1] Ворота Фонтанки *(англ.)*.

[2] Варвикский замок — средневековый замок в Англии, место преступлений; Холирудский дворец — в Шотландии, там был убит любовник Марии Стюарт.

еще часа полтора. «Что же теперь делать?.. Домой идти не стоит», — сказал себе Николай Петрович. За стеклом радовали глаз огромные бутылки с синей и темно-розовой водою. «Есть в этом какая-то таинственность, даже поэзия», — нерешительно подумал Николай Петрович. Многочисленные, сверкающие огнем склянки, трубки, баночки и особенно эти огромные бутыли странной формы и непостижимого назначения шевелили приятные воспоминания в душе Николая Петровича. «Гематоген доктора Гомеля... — рассеянно прочел Яценко. — Что-то вчера рассказывал смешное этот чудак Никонов... Ах да, его гомельский клиент... Formol[1]...» Николай Петрович вдруг поморщился, точно вновь услышал запах формалина, карболки и чего-то еще, стоявший в анатомическом театре во время вскрытия тела Фишера. Дама с озабоченным видом вышла из аптеки, неестественно держа в руке пузырек, завернутый в белую бумагу с торчащей лентой рецепта. За аптекой начинался длинный хвост людей, тянувшийся к лавке съестных припасов. Стоявшая последней в хвосте, плохо одетая женщина с усталым и наглым лицом смотрела исподлобья на даму, на барина в шубе. «Да, им еще хуже нашего, все меньше становится продуктов», — подумал, отходя, следователь.

У Яценко не было состояния; он жил исключительно на жалованье, и сводить концы с концами становилось все труднее. Хотя Николай Петрович нисколько не был скуп, с женой, с Витей уже бывали разговоры о расходах и необходимости соблюдать строгую экономию. От этих разговоров Яценко испытывал чувство унижения, которое тщетно пытался сам себе объяснить. «Конечно, бедность не порок, это и повторять смешно... Но все-таки неловко, нет, хуже чем неловко: прямо стыдно, что я, седой человек, за двадцать пять лет, работая как каторжник, не скопил ровно ничего... Тысяч пятнадцать, пожалуй, можно было скопить, если б жить расчетливей...» Впрочем, Николай Петрович всегда жил достаточно расчетливо, да и трудно было жить иначе при его четырехтысячном жалованье. «Теперь Наташа во всем себе отказывает, ни туалетов, ни драгоценностей, ничего у нее нет, — подумал печально Яценко. — Вчера у Кременецких все были наряднее, чем она... Да и Витя не очень-то роскошествует на пять рублей в месяц...» Сам Николай Петрович целый год не заказывал себе платья, не покупал больше книг и старался быстрее проходить мимо витрин книжных магазинов. Вернувшись осенью с дачи, Наталья Михайловна предложила мужу отпустить горничную, а кухарку сделать «одной прислугой». Это предложение означало бы предел бедности, и Николай Петрович велел жене «не выдумывать». Но цены все росли, жалованья не прибавляли, и теперь Яценко ждал, что же-

[1] Формалин *(фр.)*.

на опять об этом заговорит. Он тяжело вздохнул. «Разве к антиквару зайти, отсюда два шага», — пришла мысль Николаю Петровичу. У антиквара Яценко не боялся соблазнов, так все там было недоступно для него по ценам. Но ему неловко было часто заходить в магазин, где он никогда ничего не покупал.

Магазин этот в последнее время вошел в моду. В двух густо заставленных комнатах было все: гравюры, картины, фарфор, безделушки, книги. Всего больше было старинной мебели. Спрос на все старинное рос беспрерывно. «Журнал красивой жизни» имел в обществе огромный успех, и люди, желавшие красиво жить, собирали трубки, табакерки, миниатюры, фарфор, коробочки, первые издания книг и делали на толкучем рынке самые изумительные находки. Не было ни одного хорошего дома, ни одного модного романа без карельской березы, резного дуба, «пузатых комодов» и «золоченой гарнитуры» (полагалось говорить в женском роде: гарнитура).

В магазине у Яценко оказались знакомые, которых он накануне видел на приеме у Кременецкого: Фомин и князь Горенский. Молодой адвокат, то отступая на шаг, то приближаясь, рассматривал висевший на стене портрет красивой дамы в бледно-зеленом платье.

— Неплохая, неплохая штучка... По-моему, это Иван Никитин позднего периода, — говорил Фомин. — Есть в этой фигуре какая-то пасторальная взволнованность Louis XV, правда, князь?.. Я голову на отсечение дам, что это времен Анны Иоанновны...

Фомин считал Людовика XV сыном Людовика XIV, а Анну Иоанновну немкой, не то курляндской, не то какой-то другой. Однако он собирал старинные вещи и считался их знатоком. Кременецкий в салонных разговорах при случае рекомендовал Фомина как «взыскателя старины, страстно в нее влюбленного»... Семен Исидорович и своего Николая Зафури купил по совету Фомина. Мебель у Кременецкого была style moderne, но он отдавал должное духу времени и, услышав от помощника о Николае Зафури, сразу по интонации почувствовал, что, если такую штуку предлагают за двести пятьдесят рублей, нужно, не разговаривая, выложить деньги.

— Есть, есть взволнованность, — подтвердил князь, впрочем, вполне равнодушно.

— А, Николай Петрович, — сказал Фомин, увидев входившего Яценко. — Тоже бываете в этой обираловке?

— Меня не очень-то оберут, — ответил, улыбаясь, следователь. — Картины покупаете, Платон Иванович?

— Платон Михайлович...

— Простите, Платон Михайлович... Это ведь в «Горе от ума» Платон Михайлович?..

— Нынче ничего не куплю. А вот на днях купил, и за гроши, за триста рублей, Андрея Матвеева, ni plus ni mo-

ins! Entre nous soit dit, j'ai roulé le bonhomme[1], — сказал Фомин, показывая глазами на подходившего антиквара. Николай Петрович нахмурился: он никогда не слышал об Андрее Матвееве и триста рублей для него отнюдь не были грошами. Впрочем, он догадывался, что это не гроши и для Фомина. Молодой адвокат не нравился Николаю Петровичу. «И очень уж плюгавый, как, кажется, почти все они, эстеты», — неожиданно обобщил Яценко.

— Ваше превосходительство давно к нам не захаживали, — сказал следователю хозяин, сутуловатый и кривой человек в запыленном пиджаке, с узеньким, съехавшим набок черным галстуком.

— Что ж у вас время отнимать? Ведь вы знаете, я ничего не покупаю — не по карману.

— Зачем покупать? Покупать не обязательно. Всегда рады такому гостю. Иной раз нам и продавать не хочется. Вот Платону Михайловичу все чуть не даром отдаю...

— Знаем мы вас, — сказал Фомин, очень довольный.

На лице у хозяина появилась хитрая улыбка.

— Как ваше превосходительство заняты сейчас одним делом, в газетах пишут, — сказал он, — то разрешите обратить внимание на эту штучку.

Он снял с полки тяжелый серебряный канделябр и не без труда поставил его на стол.

— В чем дело?

— Это шандал из того дома, где был, сказывают газеты, убит господин Фишер. Дом этот принадлежал господам Баратаевым, угасший дворянский род. Я купил шандал на аукционе, года четыре будет тому назад, у последнего в роде по женской линии. Как этот дом достался купцу, тот этаж надстроил и весь дом разбил на квартиры, так что от него, проще говоря, ничего не осталось. А прекраснейший был дом.

— Вот как, — с удивлением сказал Яценко.

— Это какие же Баратаевы? — озабоченно спросил князя Фомин. — Баратаевы, как Фомины, есть настоящие и не настоящие...

— А кто их знает, я его пачпорта не видел, — сказал князь. Фомин подумал, что слово «пачпорт» нужно будет усвоить: князь, как его предки, говорил «пачпорт», «гошпиталь», «скрыпка».

— Интересное это дело Фишера и характерное, — сказал князь. — Характерное для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем.

— Я наш строй не защищаю, — сказал Яценко, — но при чем же он, собственно, в этом деле?

— Как при чем? На правительственный гнет страна отвечает падением нравов. Так всегда бывало, вспомните

---

[1] Не больше, не меньше! Между нами говоря, я облапошил этого господина (*фр.*).

хотя бы Вторую империю. Поверьте, общество, живущее в здоровых политических условиях, легко бы освободилось от таких субъектов, как Фишер.

Яценко не стал спорить. На него вдобавок, как почти на всех, действовал громкий трещащий голос Горенского, его резкая манера разговора и та глубокая уверенность в своей правоте, которая чувствовалась в речах князя даже тогда, когда он высказывал мысли, явно ни с чем несообразные.

— Наш Сема спит и во сне видит, как бы заполучить это дельце, — сказал Фомин, слушавший князя с тонкой усмешкой.

Николай Петрович ничего не ответил. Он не любил шуточек над людьми, в доме которых бывал.

— А книг у вас, верно, прибавилось? — спросил Николай Петрович хозяина и, простившись со знакомыми, направился во вторую комнату магазина.

— Обратите внимание, там чудесный Мольер издания тысяча семьсот тридцать четвертого года, — сказал ему вдогонку Фомин. — Знаете, **то** издание, ну просто прелесть.

Николай Петрович кивнул головой и скрылся за дверью. Во второй комнате от вещей было еще теснее, чем в первой. Яценко взял со стола фарфоровую девицу с изумленно-наивным выражением на лице, погладил ее по затылку, бегло взглянул на марку и поставил девицу назад. Перелистал гравюры в запыленной папке, затем раскрыл наудачу одну из книг. Это было старое издание стихов Баратынского, его недавно кто-то вновь открыл. Николай Петрович прочел:

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им...

«Как же это понимать? — спросил себя Николай Петрович, не сразу схвативший смысл стихов. — Думам покориться или снам?.. Да, по улыбчивым снам и жить бы, а не вскрывать разлагающиеся тела...»

Верьте сладким убеждениям
Нас ласкающих очес
И отрадным откровениям
Сострадательных небес...

Слово «очес» тронуло Николая Петровича, стихи его взволновали. «В самом деле, поехать бы туда, под сострадательные небеса, в Испанию, что ли?» Яценко никогда не бывал в Испании и представлял ее себе больше по «Кармен» в Музыкальной драме. Но Ривьеру он видал и любил. В памяти Николая Петровича проскользнули жаркий свет, кактусы, бусовые нити вместо дверей, малиновое мо-

роженое с вафлями, женщины в белых платьях, в купальных костюмах — полная свобода от забот, от дел, от семьи... Наталья Михайловна и Витя вдруг куда-то исчезли. Яценко побывал в Монте-Карло года за два до войны, проиграл там семьдесят пять рублей и был очень недоволен собою. Наталья Михайловна придумывала для игорного дома самые жестокие сравнения: называла его и позором цивилизации, и раззолоченным притоном, и болотным растением, и пышным **махровым** цветком — почему «махровым», этого она, вероятно, не могла бы объяснить. Но теперь, на расстоянии, и раззолоченный притон был приятен Яценко. Ему вспомнились сады из непривычно прекрасных змеистых растений, здания нежного желтовато-розового тона с голубыми куполами, с причудливыми окнами, балконами, статуями, в том стиле, над которым принято было смеяться как над вполне безвкусным и который Николай Петрович в душе находил приятным и своеобразным. «Хоть книгу купить и на досуге вечером почитать стихи...» На переплете изнутри была написана карандашом цена: 20, с какой-то развязной скобочкой. «Четырехмесячное «жалованье» Вити, все развлечения мальчика за треть года», — подумал со вздохом Николай Петрович. Он положил книгу на место и вышел из магазина.

XVII

Швейцар у вешалки первого этажа радостно-почтительно приветствовал Николая Петровича. Осанистый, дородный адвокат с нетерпением на них поглядывал. Только повесив шубу Яценко и убрав в стойку его калоши с отскочившей вкось буквой «Я», швейцар обратился к адвокату. Монументальный адвокат оставлял на чай щедрее, чем следователь, но швейцар делал поправку на огромную разницу в их средствах.

Яценко неторопливо поднялся по лестнице, ровно-любезно здороваясь со знакомыми. В ярко освещенном здании суда было очень много людей. На площадке второго этажа следователя задержали сослуживцы, выходившие из гражданского отделения. Пребывание в суде, где все его очень уважали, было неизменно приятно Николаю Петровичу. Он любил суд, считал общий тон его чрезвычайно порядочным и джентльменским, возмущался нападками на судей, попадавшимися и в передовой, и в реакционной печати. Поговорив с приятелями, Николай Петрович поднялся в прокурорский коридор, где находился его кабинет, и поздоровался со своим письмоводителем, Иваном Павловичем.

— Владимир Иванович звонил, что никак не может нынче быть, просил его не ждать, — сказал письмоводитель. Яценко кивнул головою. Владимир Иванович был

товарищ прокурора, наблюдавший за делом Фишера, Николай Петрович предпочитал вести допрос без свидетелей. Он часто обходился даже без письмоводителя и сам отстукивал показания допрашиваемых на пишущей машине. Это было его нововведением, которого письмоводитель не одобрял. Теперь Ивану Павловичу особенно хотелось присутствовать при допросе.

— Здесь вас этот ждет, Антипов,— сообщил письмоводитель.— Если правду говорить, сыскное отделение могло бы поручить розыск по такому делу чиновнику для поручений, ведь Антипов без всякого образования человек, простой надзиратель... Для научного розыска необходимы люди с известной научной дисциплиной.

— Он у них, говорят, новое светило. Пожалуйста, позовите его.

Сыщик вошел с веселой улыбочкой, окинул быстрым взглядом комнату и поклонился.

— Честь имею кланяться,— сказал он.

«Говорит: «честь имею кланяться», а так нагло-фамильярно, точно «наше вам с кисточкой»,— сразу раздраженно подумал Яценко.

— Здравствуйте,— сухо ответил он.— Что скажете?

— Презумпция остается прежняя: не иначе, как тот тип Загряцкий эту штучку сделал. Больше некому!

— Есть новые данные?

— Я так скажу, учитывая факты: девочек на этот раз у Фишера не было, не вышел номер. Та баба, Дарья Петрова, прямо говорит: не было. Когда бывали, то часам к девяти приезжали и она всегда видела — бабье любопытство, известное дело,— вставил игриво сыщик.— А теперь, нет, не видала. И другую прислугу в доме я спрашивал, никто не видал.

— Да ведь Дарья Петрова Загряцкого тоже не видала и думала, что Фишер ушел... Что же это доказывает? Она могла и не заметить, как пришли женщины.

— Насчет Фишера она, ваше превосходительство, потому так полагала, что ночью всегда можно незаметно уйти; надо ведь учитывать, что ночью люди простого положения спят. А вечером за женщинами она всегда следила... Не было женщин! — решительно сказал Антипов.— И по комнате видно, что не было. Не успел, значит, он их вызвать, как тот фрукт его прихлопнул.

— Он их как вызывал? По телефону?

— Должно быть, что по телефону... Никто как Загряцкий убил, ваше превосходительство. И грабежа тут никак быть не могло. Я в гостинице и по ресторанам информировался: никогда Фишер денег при себе не держал, разве сотню-другую. Он и в гостинице чеками платил.

— Однако писем госпожи Фишер вы у Загряцкого не нашли. Следовательно, наглядных доказательств их связи нет. А без этого мотив преступления непонятен.

— Про мотив, ваше превосходительство, и без писем известно. У кого хотите в их квартире спросите: жил он с ней? Всякий скажет: а то как же? Понятное дело, жил. Он с ней и в Крым ездил. Это надо учитывать.

— Дактилоскопические снимки с бутылки готовы?

— Обещали в сыскном к шести приготовить, да, верно, надуют, — с внезапной злобой сказал Антипов. — Я сейчас туда иду. Покорнейше прошу, ваше превосходительство, не отпускайте вы этого фрукта...

— Я уже сказал вам, что арест будет зависеть от результатов допроса. Точно вы не знаете закона.

Антипов выслушал слова о законе с унылым выражением на лице, ясно говорившим: ни к чему эти пустяки.

— Вдруг он докажет, что был в момент преступления в другом месте? Как же я его арестую?

— Алиби? — оживился Антипов. — Не докажет, ваше превосходительство, Антипов вам говорит: не докажет. Я последний дурак буду, если докажет!

— А не докажет, так мы посмотрим... Вы сейчас идете в сыскное отделение? Прошу вас прямо оттуда вернуться сюда, наверное, нужно будет проверить его показания. Иван Павлович, как только господин Антипов вернется, дайте мне знать...

— Слушаю-с.

Антипов удалился. Письмоводитель с улыбкой глядел ему вслед.

— Хороший они тоже народ, — сказал он. — А ведь Загряцкий будет упираться, Николай Петрович?

— Что?.. Да, вероятно, — ответил рассеянно Яценко.

— Трудное положение, — сказал письмоводитель, интересовавшийся психологией. — За границей, я слышал, их измором берут: круглые сутки допрашивают, напролет, пока не сознается. Сами сменяются, а ему спать не дают.

— Не знаю, как за границей, не думаю, чтобы это так было, хоть и я такие рассказы слышал. У нас, во всяком случае, эти способы не допускаются, и слава Богу.

— Я потому говорю, что здесь сложное и показательное психологическое явление. В самом деле, как быть, если он упрется: не хочу показывать, устал, завтра приходите. Ведь тогда следователь будет в дураках: не пытать же его... А между тем факты свидетельствуют, преступники этого не говорят. Или расцените, Николай Петрович, явление сходного порядка: военнопленных. В газетах мы постоянно читаем: пленные показали то-то и то-то, где у них какие части стоят. Почему они показывают? Ведь не изменники же они и не ребята и пытать их тоже не пытают.

— Да, непонятная вещь, — сказал со вздохом следователь.

— Я думаю, психологический эффект,— объяснил письмоводитель.— Очень показательны факты, наблюдаемые в Америке: там следователь сидит наверху, а преступник внизу и должен смотреть вверх. Это тоже оказывает психологический эффект.

— Какой вздор! — сказал Николай Петрович. Он не верил в театральные приемы, не верил ни в высокое кресло, ни в лампу, которую ставят так, что ярко освещается лицо допрашиваемого, а допрашивающий остается в тени. Но разговор, поднятый письмоводителем, был неприятен Николаю Петровичу. Яценко имел большой опыт в своем деле и пользовался репутацией превосходного следователя. Тем не менее никакой теории допроса обвиняемого у него не было. Читая «Преступление и наказание», он находил, что в Порфирии Петровиче все выдумано: и следствие так, по-домашнему, никогда не ведется, и следователя такого не могло быть даже в дореформенное время. Однако самому Яценко случалось при допросах сбиваться на тон Порфирия Петровича; он видел в этом лишь доказательство того, как прочно засели книги великих писателей в душе образованных людей. Метод же пристава следственных дел в «Преступлении и наказании» Яценко считал совершенно неправильным. У Николая Петровича в ящике письменного стола уже больше года лежала тетрадь с начатой работой «Проблема гуманного допроса». Он предполагал прочесть на эту тему доклад в Юридическом обществе, но все не мог подвинуть работу, как ему казалось, по недостатку времени, на самом же деле потому, что никакого ответа на проблему гуманного допроса у него не было. Закон прямо запрещал следователю домогаться сознания обвиняемого при помощи разных ухищрений. Однако долгий опыт говорил Николаю Петровичу, что в громадном большинстве случаев при запирательстве преступника следователь должен прибегать к ухищрениям. Жизнь научила Николая Петровича устраивать допрашиваемым ловушки, но признать их гуманным способом допроса ему не позволяла совесть. Опыт говорил ему также, что в большинстве случаев при некотором уме и ловкости для преступника гораздо выгоднее упорное запирательство, чем чистосердечное признание вины. Между тем по своей должности Яценко вынужден был внушать преступникам обратное. Это, конечно, оправдывалось интересами правосудия и общества, но Яценко в таких случаях всегда чувствовал себя неприятно.

— Записывать сами будете, Николай Петрович? — спросил для верности письмоводитель, заметив, что следователь пододвинул к себе бумаги.— Так я вам пока не нужен?

— Нет, благодарю вас. Пожалуйста, дайте мне знать, как только приведут Загряцкого.

Оставшись один, Яценко взял лист бумаги и написал следующее письмо:

«Доверительно.

Ваше Превосходительство,

Милостивый государь,

Сергей Васильевич.

Согласно желания Вашего Превосходительства честь имею сообщить, что мною произведен осмотр сейфа, принадлежащего Карлу Фишеру. При этом выяснилось, что завещания Фишера там не имеется, как не имеется и никаких других бумаг. В сейфе оказались лишь различные драгоценные вещи и золотая монета на сумму двенадцать тысяч шестьсот (12 600) рублей.

Равным образом уведомляю Ваше Превосходительство, что в Военно-медицинской академии в моем присутствии полицейским врачом произведено вскрытие тела Фишера. Вскрытие это выяснило с несомненностью, что смерть последовала от отравления ядом. Химический анализ внутренностей, а равно и жидкостей, найденных на столе в комнате, в которой было обнаружено тело, еще не закончен. Протокол вскрытия, составленный мною с приобщением специального протокола врача, может быть предъявлен Вашему Превосходительству, буде Ваше Превосходительство усмотрите в этом необходимость.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем совершенном уважении и преданности».

Яценко прочел про себя письмо и остался доволен. Тон был вполне официальный. Это подчеркивалось родительным падежом после «согласно» и особенно словом «буде». «Буде», может быть, и слишком», — подумал Николай Петрович. Он немного пожалел, что вставил в заключительную фразу слово «преданность». Было достаточно и «совершенного уважения». Но переписывать письмо Николаю Петровичу не хотелось. Яценко запечатал конверт, надписал адрес, затем снял клеенчатый чехол с пишущей машинки и бережно придвинул ее к себе. Он очень любил свой «ремингтон» и содержал его в большой чистоте, все в машинке так и блестело. Николай Петрович достал из ящика новую синюю папку с черной четырехугольной каемкой. На ней было напечатано: «Дело судебного следователя по важнейшим делам Петербургского окружного суда №...» Яценко не без труда ввел папку под валик и, подогнав каретку, проставил на точках за значком № число 16, затем тремя строчками ниже простучал большими буквами:

Дело о смерти Карла Фишера

Буква «ш» была слегка засорена. Николай Петрович заботливо прочистил ее иголкой, вынул папку из-под валика и вложил в нее все скопившиеся по этому делу бумаги, начиная с прокурорского предложения, которым ему передавалось дело. При этом Николай Петрович еще раз пробежал некоторые из бумаг. Он к трудным допросам готовился серьезно и план всегда вырабатывал заранее. На этот

раз план у него был уже готов. Для памяти Яценко наметил на клочке бумаги пять основных пунктов допроса:

Отнош. с Фиш. Векс.

,, ,,женой Фиш.

«Там, где всегда».

Ключ.

Alibi.

Порядок этих пунктов был не вполне ясен Николаю Петровичу. Впрочем, он имел обыкновение вначале вести допрос «начерно», не углубляясь в ответы, и лишь потом сосредоточивал внимание на главных пунктах. Но для допроса начерно нужна была система.

В дверь постучали.

— Привели, — взволнованно сказал письмоводитель.

— Отлично. Пусть войдет. И вот что еще. Иван Павлович: это письмо, будьте добры, сейчас отправьте с курьером по адресу.

— Слушаю-с.

Письмоводитель взял письмо, прочел адрес на конверте, и, повторив не без удивления «слушаю-с», вышел из кабинета.

XVIII

В комнату быстрыми небольшими шажками вошел хорошо одетый, среднего роста человек лет тридцати, с мелкими чертами желтого лица, бритый, плешивый, с поднятыми кверху черными усиками. Он гордо и как-то неестественно поклонился следователю, хотел что-то сказать и оглянулся на вошедшего с ним городового. И в ту же минуту Николаю Петровичу стало совершенно ясно, что перед ним находится преступник.

Как добрый и благожелательный человек, Яценко видел в людях преимущественно добро, то, что обычно выставляют напоказ, а скрывают гораздо реже. Зло, которым люди гордятся сравнительно не часто, было ему менее доступно. Но, постоянно в течение долгих лет имея дело с преступниками, он все же многому научился и верил собственному впечатлению, «первому шоку», как он любил говорить. Здесь первый шок был резкий, мгновенный, определенный: в облике вошедшего человека было что-то и хищное, и подленькое, и преступное.

— Садитесь, пожалуйста, господин Загряцкий, — учтиво произнес следователь, показывая рукой на стул. — Вы подождите в коридоре, — обратился он к полицейскому, взяв «препроводительную» и расписавшись в разносной книге. Николай Петрович говорил «вы» даже городовым.

— Господин следователь, что же это такое? — повышенным тоном, хотя и не очень громко, произнес, не садясь, Загряцкий, как только дверь за городовым закрылась. — Разрешите спросить вас, что же это такое? Ни с то-

го ни с сего полиция хватает ни в чем не повинного человека, объявляет ему, что его подозревают в убийстве! И не ему одному объявляет, что он убийца, а всем в его доме: хозяину, швейцару, дворнику!.. Что же это, в самом деле, такое? Я жаловаться буду, у меня, слава Богу, найдутся связи... Дело не в допросе — здесь, очевидно, какое-то странное недоразумение, которое тотчас выяснится. Но в каком, позвольте спросить, положении я буду теперь у себя дома? Ведь на меня каждая торговка будет пальцем показывать! Извольте ей объяснять, что здесь было недоразумение и что вы распорядились меня задержать раньше, чем нашли возможным со мной объясниться... Кажется, я никуда бежать не собирался!..

«И негодование наигранное,— подумал Яценко.— Так в кинематографе у оскорбленных актрис высоко поднимается грудь. Верно, он часто бывает в кинематографе, это всегда сказывается на людях...»

— Пожалуйста, садитесь,— спокойно повторил следователь.

Загряцкий сел.

— Я не отдавал распоряжения о вашем аресте,— сказал Яценко.— Полиция имеет право задерживать людей в известных случаях, оговоренных законом. Я же вас допрашиваю как свидетеля. **Пока** как свидетеля,— повторил он, подчеркнув слово «пока».— Прошу вас поэтому не волноваться и отвечать на вопросы, которые я вам буду ставить.

— Но я не могу не волноваться, когда меня позорят!

— Уверяю вас, что никакое пятно на вашу честь без вины не ляжет... Я буду записывать ваши показания. Разумеется, я предъявлю вам запись после допроса. Если я в чем ошибусь, вы будете иметь полную возможность внести поправку. Ваша фамилия Загряцкий? Имя-отчество?

— Вячеслав Фадеевич.

— Вячеслав **Фадеев,**— повторил следователь и застучал на машинке. Загряцкий уставился на него, полуоткрыв рот. Николай Петрович задавал первые, формальные вопросы, продолжая писать.— Так-с... Полиция вам сообщила,— сказал он, отрываясь от машинки,— полиция вам сообщила, что задержание ваше связано со смертью Карла Фишера. Что вам известно по этому делу? Предупреждаю вас, что на вопросы, которые могли бы вас уличить, вы отвечать не обязаны.

— Но мне решительно ничего не известно по этому делу, господин следователь,— опять повышенным тоном сказал Загряцкий.— Уличать меня! В чем уличать, Господи!..

— Ничего не известно? — протянул Яценко, глядя на волосатую тонкую, украшенную огромным ониксовым перстнем руку Загряцкого.

— Ничего. Решительно ничего.

— Так-с...— Николай Петрович помолчал.— Вы были близко знакомы с Фишером?

— Это как сказать... Очень близко не был. Я был с ним знаком.

— Имели с Фишером дела?

— Нет, дел не имел.

— Никаких?

— Никаких.

«Что же он, о векселе забыл? Как будто не из очень сильных малый», — подумал Яценко. Николай Петрович быстро застучал на машинке. Загряцкий смотрел на него так же напряженно.

— На какой почве состоялось ваше знакомство?

— Простите, я не понимаю вопроса. На той же почве, на какой я знаком со всем Петроградом.

— Вы часто встречались с Фишером?

— Нет, не очень.

— Примерно как часто?

— Случалось, и раз в неделю, и два. Случалось, и подолгу не видели друг друга.

— А в последнее время?

— И в последнее время точно так же.

— Где вы встречались с Фишером?

— Да в разных местах. В увеселительных заведениях... Был и в той квартире, в которой он умер... Мне сказали, где он умер...

— Были и в той квартире? К этому мы вернемся... Когда вы его видели в последний раз?

— Когда? Боюсь ошибиться, — сказал с расстановкой Загряцкий. — Одну минуту...

— Постарайтесь не ошибиться. Это очень важно, — с угрозой в голосе произнес следователь. Загряцкий сердито пожал плечами, точно услышал вздор, на который не стоит возражать.

— Кажется, я его видел в последний раз три дня тому назад.

— Кажется или наверное?

— Да, наверное, три дня тому назад.

— Где именно это было?

— В hall'е «Паласа».

— В котором часу?

— Днем. Часов в пять.

— Благодарю вас... Так-с... Записано... Знаете ли вы, господин Загряцкий, жену Фишера?

— Знаю.

— Близко знаете?

— Да. Мы хорошо знакомы.

Следователь немного помолчал.

— По имеющимся у меня сведениям, вы были в связи с госпожой Фишер.

— Это неправда.

— Вы это отрицаете?

— Самым категорическим образом.

— Напрасно. У меня имеются доказательства. Было бы лучше, если бы вы не отрицали факта.

«...Верьте сладким убеждениям нас ласкающих очес...» — неожиданно промельнули стихи в памяти Николая Петровича. Он нахмурился и нервно перевел каретку «ремингтона».

— Я решительно это отрицаю. Если у вас есть доказательства, скажите, какие.

— Вы это узнаете в свое время. Так вы отрицаете?

— Самым решительным образом отрицаю.

Яценко с неудовольствием отстучал несколько строк.

— Так-с, отрицаете... Теперь потрудитесь рассказать о квартире, на которой было найдено тело Фишера. Так вы бывали на этой квартире?

— Бывал.

— Много раз?

— Не то чтобы много, но бывал.

— С Фишером бывали?

— Ну да, с Фишером, всегда там бывал с ним.

— Когда вы там были в последний раз?

— В понедельник.

— В понедельник. Для чего вы бывали в этой квартире?

Загряцкий подумал с минуту.

— Господин следователь, — сказал он, — вы должны знать, какая это была квартира и для чего Фишер ее снял. Я не аскет и за аскета себя не выдаю. Я бывал там для того же, для чего и Фишер. Он приглашал туда знакомых, приглашал и меня, и я принимал его приглашения. Хорошего тут мало, я не спорю. Но не я первый, не я последний.

— На этой квартире происходили оргии. Вы в них участвовали?

— Оргии, оргии! Это пышное слово, господин следователь.

— Предлагаю вам, господин Загряцкий, не уклоняться от вопросов и точно отвечать на них.

— Я не могу отвечать на такой вопрос. Он касается частной, интимной жизни, и я отвечать не буду. В этой области откровенничать не обязательно.

— В какой области?

— Ну да в этой, сексуальной, что ли... Вы и сами, верно, не отшельник.

— Меня потрудитесь оставить в покое, — сказал, вспыхнув, Яценко. — Так вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?

— Об оргиях? Отказываюсь.

— В ваших интересах отвечать со всей откровенностью.

— Я поступаю так, как мне велит совесть.

— Так-с... Бывал ли на этой квартире еще кто-нибудь?

— Вероятно, бывали многие.

— «Вероятно»? Вы встречали там много людей?

— Нет, кроме Фишера и девиц, я никого там больше не видал. Фишер любил там бывать вдвоем.

— Имена бывавших там женщин вам известны?

— Разве можно всех запомнить? Сколько их там перебывало, они менялись каждый раз... Одна из них, верно, и привела туда убийцу.

— Следствие это выяснит, вам незачем указывать ему путь... В вашей квартире полиция нашла ключ от этой квартиры. Каким образом он у вас оказался?

— Мне дал его Фишер.

— Почему?

— Потому, что прислуги в этой квартире не было и открывать дверь было некому, да и ему не хотелось беспокоиться.

— Вы, однако, сказали, что приезжали туда всегда с Фишером?

— Вы ошибаетесь, господин следователь, я не говорил, что **приезжал** туда всегда с Фишером, я сказал, что **бывал** там с Фишером, это не одно и то же. Мы иногда назначали там свидание друг другу и являлись туда из разных мест. Случалось, я приезжал раньше, чем он, таким образом, мне необходимо было иметь ключ... Я сам этот ключ и заказал слесарю по образцу, который получил от Фишера, так как прежде в квартире было всего два ключа. Имени этого слесаря я не помню, но мастерскую могу разыскать, если вам понадобится...

— Не трудитесь, слесарь, у которого вы заказывали ключ, уже найден,— сказал Николай Петрович.

— Вот как! Очень рад, что сам вам об этом сказал.

— Откуда же вам так хорошо известно, что в квартире было два ключа? — спросил как бы невнимательно Яценко, меняя бумагу в машинке.

— Не помню, откуда известно. Верно, мне Фишер сказал.

— Итак, вы признаете, что по поручению Фишера заказали еще ключи?

— Признаю, отчего же мне этого не признать? Пожалуйста, занесите в протокол, что я сам вам об этом сказал.

— Не беспокойтесь, занесу. Вы сказали, что не были близки с Фишером. Однако исполняли такого рода его поручения?

— Я, кажется, не говорил, что не был близок... Впрочем, что такое «был близок»? Это очень неопределенно. Да и ничего дурного в том поручении не было.

— Сколько ключей вы заказали?

— Три.

Яценко поднял голову от машинки.

— Слесарь утверждает, что вы заказали два ключа.

— Два? Нет, помнится, три. Да, именно три. Я оставил один себе, а остальные отдал Фишеру.

— Вы твердо помните, что заказали три ключа?

— Право, вы меня смутили... Нет, конечно, три. Я помню, что отдал Фишеру два ключа. Впрочем, я думаю, это не существенно.

— Вы напрасно так думаете. Это очень существенно. Итак, вы настаиваете, что заказали три ключа?

— Нет, если это так важно, я не решаюсь настаивать, может быть, и два, — сказал Загряцкий.

— Очень хорошо. Так и запишем.

— Так, пожалуйста, и запишите.

— Хорошо-с... Записано... Вы сказали, что в последний раз были на квартире с Фишером в понедельник, правда?

— Так точно.

— Вероятно, тогда же вы условились и о следующей встрече?

— Нет, мы не уславливались.

— Когда вы предполагали снова развлекаться с Фишером?

— Это зависело от него: он посылал мне приглашение, когда хотел устроить сеанс.

— Ах, это называется сеансом? Так... Приглашение всегда исходило от него? — небрежно спросил следователь.

— Разумеется. Ведь его была квартира, он все и устраивал.

— Так что вам никогда не случалось проявлять инициативу, то есть приглашать Фишера на сеанс, как вы изволите выражаться?

— Никогда.

— Вы говорите неправду, господин Загряцкий, — быстро, резким голосом произнес Яценко.

— Я никогда не говорю неправды, господин следователь.

— Ваши слова находятся в полном противоречии с теми данными, которыми я располагаю. У меня имеется записка, которой вы приглашаете Фишера быть вечером **там, где всегда.** Вот она...

«Кажется, подействовало», — подумал Яценко.

Лицо Загряцкого покрылось пятнами. Он наклонился над запиской, которую, не выпуская из рук, показывал ему следователь. Но Яценко не дал ему прочесть то, что в ней было сказано.

— Это ваша подпись? — спросил он.

— Да, моя. Я забыл об этой записке... Правда, был такой случай, когда я предложил Фишеру прийти на квартиру... Я просто забыл об этом случае.

— Или же вы не предполагали, что Фишер сохраняет такие записки?.. Когда это было?

— Недели три тому назад.

— Это опять неверно. Квартира была снята Фишером всего месяц с лишним тому назад. Между тем в записке

вы предлагаете встретиться **«там, где всегда»**. Это не могло быть сказано через неделю после снятия квартиры, особенно если вы устраивали **сеансы** не часто, как вы сами утверждаете.

— В первую неделю мы там встречались чаще.

— Сказать можно что угодно. Я советовал бы вам, однако, быть откровеннее, господин Загряцкий.

— Я и так говорю вполне откровенно... Покорнейше благодарю за совет...

С минуту они смотрели друг на друга злыми глазами в упор. Следователь сдержался.

— Так-с... Теперь потрудитесь сообщить мне, что вы делали позавчера.

— С самого утра что делал?

— Да, пожалуй, начните с самого утра.

— Я встал около десяти часов...

— Виноват, вы обычно встаете в это время?

— Да, обычно. Затем, напившись кофе, я отправился к воинскому начальнику. Видите ли, я белобилетчик — у меня плохое зрение,— и нас скоро должны подвергнуть переосвидетельствованию. Я заходил за справкой, в присутствии могут подтвердить, что я был у них утром. Я довольно долго разговаривал с чиновником... Белобрысый такой чиновник, он сидит в первой комнате, слева от входа. Вы можете у него узнать, я назвал свою фамилию, и он, наверное, помнит.

«Уверенно как говорит: к alibi, видно, подготовился»,— подумал Яценко.

— Это не существенно,— сказал он сухо.— Затем что делали?

— Потом я отправился завтракать к Пивато.

— Всегда там завтракаете?

— Нет, не всегда, завтракаю где попадется. Но лакеи у Пивато меня знают в лицо и по фамилии, они подтвердят, что я там был.

— После завтрака что делали?

— После завтрака я вернулся домой и прилег отдохнуть, у меня от присутствия разболелась голова. Спал часов до шести. Затем пошел к Рейтеру — знаете, кофейня на Невском,— там встретил знакомых, сначала смотрел, как играют в шахматы, затем сам сыграл партию с некиим Левичем... Это биржевик, он живет на Большом Проспекте, номера не помню, но вы его легко найдете.

— До какого часа вы играли в шахматы?

— Кажется, до семи или семи с четвертью... Затем я поужинал. Рейтер — не ресторан, но там всегда можно получить дежурное блюдо, а я по вечерам мало ем. Я спросил сосиски с картофелем и бутылку пива. Но, право, не знаю, должен ли я вам это сообщать, господин следователь,— добавил с улыбкой Загряцкий,— ведь это подводит кофейню: спиртные напитки теперь запрещены. Мне

по знакомству дают пиво... Надеюсь, вы не сделаете из этого истории.

— Долго ужинали?

— Нет, минут двадцать.

— Так... Дальше? — рассеянно спросил Яценко, перебирая бумаги в папке и как бы потеряв интерес к предмету разговора.

— Затем я отправился в кинематограф.

— В кинематограф? — повторил Яценко. — В какой именно?

— В «Солей».

— Так-с. Оставались там до конца спектакля?

— До самого конца. Я всегда остаюсь до конца, хоть и глупо, конечно, смотреть всю эту дребедень. Но я люблю, отдыхаешь все-таки.

— Когда кончился спектакль?

— Думаю, так в половине двенадцатого или еще немного позже.

— Верно, вы и в кинематографе встретили знакомых?

— Знакомых? — переспросил Загряцкий. — Нет, там знакомых не встретил.

— Жаль, именно там важно было бы кого-нибудь встретить. Никого не встретили?

— К сожалению, никого.

— Жаль... Но, может быть, вас видели служащие? Вы билет взяли при входе?

— Разумеется... Только едва ли кассирша могла меня видеть. Она из-за своей сетки ни на кого не смотрит, занята билетами и сдачей.

— Как же вы наперед знаете, что она вас не видела? Но если не кассирша, то уж, верно, капельдинер вас видел, показывая вам место?

— Может быть... Впрочем, я несколько опоздал к началу и вошел, когда в зале было темно.

— Экая досада! Так и капельдинер не видел?.. Какой билет вы взяли?

— Кресло, в рубль двадцать. Это в среднем пролете.

— Вы твердо помните цену?

— Да, я всегда беру в рубль двадцать.

— Значит, вы часто бываете в этом кинематографе?

— Да, довольно часто.

— Довольно часто, — повторил Яценко, удовлетворенный тем, что подтвердилась его догадка, впрочем, не имевшая отношения к делу. — Так... В антрактах между картинами зал освещается, вы, верно, заметили, с кем вы сидели рядом?

— Кажется, слева был какой-то господин с седой бородой. А с другой стороны никого не было — я сидел у прохода.

— Вы не разговаривали с вашими соседями?

— Нет. Кто же разговаривает с незнакомыми?

— Отчего, бывает, могли обменяться несколькими словами. Может, с теми, кто сидел спереди или сзади вас? Там какие люди сидели?

— Не помню. Кажется, спереди и вообще никого не было.

— Так вы за весь вечер ни с кем не обменялись словом? Ну, может быть, толкнули кого-нибудь и извинились. Может, было что-либо такое, что дало бы нам возможность вызвать ваших соседей посредством публикации в газетах?

— Нет, кажется, ничего такого не было.

— Очень жаль. Это чрезвычайно досадно.

— Согласитесь, однако, господин следователь, я не мог предвидеть, что на следующий день меня заподозрят в убийстве и что мне придется устанавливать alibi.

— Разумеется, но согласитесь и вы, что это довольно странное стечение обстоятельств: весь день, с утра, вы были на людях, вы помните точно все расписание дня по часам... Даже удивительно, правду сказать, до чего вы точно это помните, ведь для вас это был самый обыкновенный день, такой же, как другой, а вы все часы и минуты так хорошо помните... Право, можно было подумать, будто вы знали заранее, что надо будет все это сказать точно.

— Позвольте, позвольте, господин следователь, я никаких **минут** не называл. Я указывал только часы, и, разумеется, лишь приблизительно. Это было позавчера, я могу помнить, что позавчера делал. А если бы я не помнил и не мог указать часов, то уж это вы, наверное, обернули бы против меня. Что ж это такое получается!..

— Я хочу сказать, что вы твердо помните все расписание дня и можете удостоверить свидетельскими показаниями, где вы были до самого вечера. Везде вас знают и в лицо, и по фамилии, а где не знают, как, например, в воинском присутствии, там вы по случайности называете фамилию. Но вот вечером, как раз в часы, когда был убит Фишер, вас решительно никто не видел и вы никого не видели. Это странно... Впрочем, может быть, вы напрасно думаете, что никто вас там не видал. Вы как были одеты?

— Так же, как сейчас.

— А господин с седой бородой как был одет?

— Кажется, был в темном пальто.

— Точно не помните?

— Нет, не помню.

— В каком ряду вы сидели?

— Я сидел в среднем пролете, а ряда не знаю — в кинематографах ряды не обозначаются.

— Мы расспросим служащих кинематографа и дадим публикацию в газеты... Когда вы вышли от Рейтера, какая была погода?

— Скверная...

— Вы, вероятно, взяли извозчика? Может, он вас признает?

— Нет, я пошел пешком. «Солей» помещается в Пассаже, это очень близко от Рейтера.

— Так... «Солей» в Пассаже... Да, да... Позвольте, вы сказали, что кончили игру в шахматы в семь часов... Ужинали минут двадцать — видите, вы указали и минуты... А к началу спектакля в кинематографе вы опоздали, хотя до Пассажа от Рейтера в самом деле очень близко. Когда же начинается представление в «Солей»? Мне кажется, что в кинематографах спектакль начинается значительно позднее. Это легко будет удостоверить.

Загряцкий вдруг побледнел. Следователь не спускал с него глаз.

— Я не помню, я могу ошибиться в минутах. Кажется, я еще прошелся по Невскому.

— В такую дурную погоду?

— У меня, как я вам сказал, с утра болела голова.

— Я думал, головная боль у вас прошла. Или вы играли в шахматы с головной болью?.. Ну-с, хорошо... Что давалось в этот день в кинематографе?

— Давалась кинодрама «Вампиры».

— Какие артисты в ней участвуют?

— Что?.. Сейчас вам скажу. В главной роли Наперковская, а из мужчин Марсель Левен и Жан Эм.

— Еще кто?

— Еще?.. Других не помню... Запоминаются только имена главных актеров.

— Да... И в газетных объявлениях печатают тоже только имена главных актеров. Потрудитесь рассказать мне содержание этой кинодрамы.

— Вы серьезно?

— Очень серьезно. Впрочем, вместо того чтобы рассказывать, благоволите написать мне содержание этих «Вампиров»... Вот вам перо и бумага.

— Сделайте одолжение.

«К этому, видно, приготовился... Может, накануне был в этом кинематографе,— подумал Яценко.— Нет, ловкая бестия...»

— Пожалуйста, напишите возможно точнее и подробнее,— добавил, вставая, Николай Петрович.

Он отворил дверь. Городовые вскочили и вытянулись. Яценко позвал письмоводителя.

— Иван Павлович, господин Загряцкий должен кое-что написать. Посидите, пожалуйста, здесь. Мне необходимо позвонить по телефону.

— Только что как раз Антипов пришел,— сказал тихо письмоводитель.

— А, пришел! Очень кстати...

XIX

Николай Петрович быстро прошел по коридору до дверей, затем нервно повернул назад, сам не зная зачем. Он находился в возбужденном состоянии. Яценко не был удовлетворен результатами допроса начерно. Он прекрасно понимал, что материала для обвинения допрос дал пока немного, несмотря на провалы в показаниях допрашиваемого. Загряцкий занял ту позицию, которая была для него всего выгоднее: свою связь с женой убитого он отрицал решительно; это обстоятельство давало его показаниям некоторый оттенок рыцарства и, главное, лишало самое обвинение основы. По вопросу о ключе объяснения Загряцкого могли быть признаны удовлетворительными. Записка, найденная у Фишера, почти ничего сама по себе не доказывала. В запасе у Николая Петровича еще оставался, правда, вексель, но этой улике он сам придавал второстепенное значение. Вместе с тем убеждение в виновности Загряцкого еще выросло у Николая Петровича. «Однако, если alibi не будет опровергнуто и дактилоскопия ничего не даст, пожалуй, придется его отпустить... Да, ловкий, ловкий человек... Сразу схватил положение»,— сердито сказал себе Яценко, обдумывая план дальнейшего допроса. Он испытывал почти такое же ощущение, как рассказчик, который уже сообщил слушателям смешную часть анекдота и видит, что они не смеются, а ждут чего-то еще. «Теперь надо будет заняться его денежными делами»,— подумал следователь. Он остановился, вспоминая, куда и зачем идет. В нескольких шагах от себя Николай Петрович увидел насмешливое лицо Антипова. «Да, проверить alibi...»

— Ну, что?

— Как Антипов сказал, так и есть, ваше превосходительство, не готовы снимки,— ответил сыщик.— Говорят, завтра будут, к пяти часам.

— Хорошо... Вот что, надо в срочном порядке проверить показания Загряцкого. Он говорит, что был в кинематографе «Солей»...

Николай Петрович дал Антипову точную инструкцию, затем направился к канцелярии прокурора суда, в которой находилась телефонная будка. В это время из приемной вошел в прокурорский коридор дон Педро.

— Здравствуйте, Николай Петрович... А я к вам... Только на пару слов...

— Здравствуйте. Что прикажете?

— Не прикажу ничего, ваше превосходительство,— шутливо сказал журналист.— И не пугайтесь, даже ничего не попрошу... Разве сами сообщите, что слышно новенького?

Он лукаво показал глазами в сторону двери, у которой стояли городовые.

— Нет, уж вы меня извините.

— Я шучу, разве я не знаю? — тотчас согласился дон Педро. — Ведь вы и другим ничего не скажете, правда? Никифорову, например, это очень прилипчивый субъект... Кое-какие сведения, каюсь, я получил окольным путем. Как, это мой секрет... Но я вас хотел побеспокоить по другому делу.

— К вашим услугам, но не теперь, я занят...

— Всего одну минуту, и я уйду... Видите ли, я устраиваю для «Зари» анкету: об англо-русских отношениях и о влиянии английской культуры на русскую, в настоящем, прошлом и будущем, — скороговоркой сказал дон Педро, видно, уже не в первый раз произнося эту сложную фразу. — Хочу просить и вас, — добавил он с приятной улыбкой. — Надеюсь, вы не откажете поделиться со мной вашими мыслями на эту животрепещущую тему? Не здесь, конечно, я пока зондирую почву, анкета еще не организована.

— При чем же здесь я? Об этом надо спросить у политических деятелей.

— У меня намечены и политические деятели, и писатели, и ученые, и представители магистратуры. Вы один из виднейших наших судебных деятелей, и я к вам обращаюсь как к таковому...

— Право, я не знаю. По-моему, никому не интересно, что я думаю...

— Об этом уж позвольте судить мне, — мягко сказал дон Педро.

— Папа, я к вам... — вдруг произнес молодой голос. Яценко обернулся и увидел Витю. Веселое, оживленное лицо его радостно поразило следователя после мрачного допроса, и он с особенной силой вдруг почувствовал, как любит сына.

— Ты что здесь делаешь? Ничего не случилось?

— Ничего не случилось... Я вас ждал там, потом думаю, зайду-ка сюда... Здравствуйте, господин Певзнер, не узнаете меня? Мы с вами встречались в обществе.

— Как же, вчера у Кременецких... Отлично узнаю.

— Папа, мама просила меня заехать к вам и сказать, что обед вас будет ждать хоть до ночи и чтобы вы ни за что не шли в ресторан... Это мама так говорит. Я на вашем месте непременно пошел бы в ресторан, у нас сегодня обед на три с минусом...

— Да я как раз хотел позвонить маме по телефону, что очень опоздаю, — сказал с улыбкой Николай Петрович. — Больше ничего?.. А ты куда таким франтом?

— Я в оперу, разве вы не помните? До свидания, папа, я и так опоздал... Прощайте, господин Певзнер.

— Какой славный юноша ваш сын, — сказал со вздохом дон Педро. Он не имел детей и страстно желал иметь их. — Не в гимназии?

— Тенишевец...

— А, тенишевец... Ну, не буду отнимать вашего драгоценного времени... Так я твердо рассчитываю, что вы и другим газетам ничего не сообщите?

— Будьте спокойны. Никому ничего не скажу и права на то не имею...

— Я понимаю... Разве я не понимаю? — подхватил, откланиваясь, дон Педро.

XX

— Вот, пожалуйста, получите, я написал содержание «Вампиров», — старательно-ироническим тоном сказал Загряцкий, протягивая следователю бумагу. — Может, в чем и ошибся, эта дребедень в памяти не остается, ходишь так, отдохнуть...

— Благодарю вас... Теперь мы перейдем к другому вопросу. Вы имеете средства?

— Я теперь человек небогатый. Прежде было приличное состояние, но его, увы, больше нет. Однако на жизнь мне хватает.

— Мне нужны более точные сведения. У вас есть наличный капитал? Или дом, или, быть может, имение?

— Нет, ни капитала, ни дома, ни имения у меня нет.

— Значит, вы живете своим трудом?

— Да, живу своим трудом.

— Насколько я могу понять, вы ведете светский образ жизни. Это стоит недешево. Сколько приблизительно вы зарабатываете в год?

— Точно затрудняюсь вам сказать, мой заработок сильно колеблется.

— А в среднем?

— В среднем, я думаю, тысячи три.

— А проживаете сколько?

— Столько же примерно и проживаю.

— При светском образе жизни, с ресторанами и с увеселительными местами? Не более того?

— Не более того. Все это стоит не так дорого. Конечно, иногда приходится туго. У меня есть и долги.

— Есть и долги? Какие же именно?

— Я должен портному несколько сот рублей, еще кое-кому... Да вот я и Фишеру был должен.

На лице следователя промелькнуло неудовольствие.

— И Фишеру были должны? Какую сумму?

— Кажется, пять тысяч.

— «Кажется»? Вы точно не помните.

— Да, пять тысяч. Я выдал ему вексель.

— Вы, однако, сказали, что не имели с Фишером никаких дел?

— Это не дела. Просто я взял у него взаймы.

— Почему же он дал вам взаймы столь крупную сумму?

Загряцкий презрительно улыбнулся.

— Это не крупная сумма. Для Фишера пять тысяч ровно ничего не значили.

— Но для вас это крупная сумма, она превышает ваш годовой доход. Да и богатые люди не так уж швыряют деньгами... Вы и от других лиц получали подобные суммы?

— Я не ко всем обращался, господин следователь, да и не все так богаты, как Фишер. Он к тому же не подарил мне эти деньги, а дал взаймы.

— Вы, значит, предполагали ему отдать эти пять тысяч?

— Разумеется, предполагал отдать.

— Когда именно?

— Ну, при первой возможности.

— При первой возможности... Векселя, однако, имеют срок. Когда наступал платеж по этому векселю?

— Точно не помню.

— Я могу вам напомнить. Ваш вексель найден в бумагах Фишера. Его срок истекает через две недели.

— Что из этого?.. Я решительно вас не понимаю, господин следователь!.. Вы сказали, что будете допрашивать меня как свидетеля. Но ведь, слава Богу, я не ребенок. Я сам по образованию юрист... Вы самым серьезным образом меня подозреваете в убийстве Фишера... Клянусь вам, господин следователь, вы жестоко заблуждаетесь. Ваше следствие идет по ложному пути...

— Об этом предоставьте судить мне. Я пока ничего и не утверждаю.

— Уверяю вас честью... Вы первый будете смеяться над своей ошибкой...

— Нет, господин Загряцкий, смеяться я не буду и вам не советую. Здесь дело не шуточное. Здесь убийство, господин Загряцкий.

Николай Петрович замолчал. Загряцкий обмахивал шапкой свое потное, изредка дергавшееся лицо. Он волновался все сильнее.

— Так вы признаете, что вы по векселю должны были заплатить Фишеру пять тысяч рублей через две недели?

— Я признаю... То есть что же именно мне признавать? Ну, предположим, я не заплатил бы Фишеру, я и в самом деле не мог бы, вероятно, ему заплатить в срок, что ж, вы думаете, он описал бы мое имущество? Платье мое продал бы с молотка, что ли?.. Ведь это курам на смех, господин следователь. Надо было знать Фишера, для него пять тысяч были все равно, что для меня пять рублей. Скорее всего он просто забыл бы о сроке моего векселя. А в крайнем случае, потребовал бы, чтоб я вексель переписал. И то больше по коммерческой привычке потребовал бы... Только и всего... Наконец, от смерти Фишера вексель ведь законной силы не теряет, вот ведь вы его на-

шли... Я вас прямо спрашиваю, господин следователь, что вы, собственно, хотите доказать?

— Об этом мы пока не говорим. Сейчас мне от вас нужны более подробные и точные сведения о ваших средствах. Вы сказали, что проживаете около трех тысяч в год. Меня удивляет, как вы могли сводить концы с концами при этом доходе и при том образе жизни, который вы, насколько я могу судить, ведете. Вы за квартиру сколько платите?

— Шестьсот рублей в год.

— Имеете прислугу?

— Имею, недорогую.

— Значит, на жизнь вам в месяц остается меньше двухсот рублей. Вы обедали в дорогих ресторанах...

— Не всегда в дорогих... Стол мне не стоит и ста рублей в месяц. К тому же меня часто приглашают.

— Сто рублей в месяц на стол... Значит, на все остальное остается примерно столько же? Сюда входят и увеселительные места, и развлечения, и платье — вы хорошо одеты, — и все? Летом вы никуда не ездили?

— Ездил в Крым.

— Вот и в Крым ездили. Это все на сто рублей в месяц?

— Я бухгалтерии, господин следователь, не веду... Мне трудно вам представить точный бюджет, да еще сразу, без подготовки... Надо вспомнить и сообразить...

— Да, необходимо вспомнить, господин Загряцкий, это важный вопрос... Когда вы с Фишером посещали рестораны и увеселительные места, вы за себя платили?

— Иногда платил... Чаще за все платил он. Это так естественно при его богатстве и моих скромных средствах.

— Чаще он, но иногда платили и вы. Тоже, очевидно, из тех ста рублей?

— Я не скрываю, это бывало редко.

— Может быть, даже и никогда не бывало?

— Вы хотите сказать, что я жил на средства Фишера? Это неверно, господин следователь... И потом, если я жил на его средства, зачем же было мне желать его смерти?

— Вы говорите, что ездили летом в Крым. Вы там были один?

— Я не понимаю вопроса. У меня в Ялте было много знакомых.

— Я говорю не о знакомых... Госпожа Фишер была в то время в Ялте?

— Господин следователь, я категорически заявляю, что о госпоже Фишер я говорить не намерен и отвечать на инсинуации не буду.

— Я просил бы вас быть сдержаннее в выражениях, — сказал резко Яценко. — Вы говорите с должностным лицом, и вас допрашивают по делу об убийстве, господин Загряцкий.

— Вы, однако сказали, что допрашиваете меня как свидетеля! Сказали вы это, господин следователь? Что ж это?

— Предлагаю вам прямо ответить на вопрос, была ли госпожа Фишер в Ялте одновременно с вами?

— Ну да, была.

— Вы жили в одной гостинице?

— Да, в одной и с нами еще сто человек.

— Вы вместе обедали?

— Иногда и вместе.

— Иногда и вместе...

Эти повторения последних слов допрашиваемого не то в утвердительном, не то в полувопросительном тоне входили в обычай Яценко: он замечал, что они, как и небольшие остановки после ответа, действуют на допрашиваемых.

— Когда вы обедали вдвоем, платила тоже чаще всего госпожа Фишер?

— Это неправда... Это неверно.

— Мы постараемся это выяснить... Оставим вопрос о ваших расходах и перейдем к вашим доходам. Итак, вы зарабатываете около трех тысяч в год. Потрудитесь указать, как вы зарабатываете эти деньги.

— Коммерческими делами.

— Какими именно?

— Разными... Я был посредником, получал куртажные.

— Какие именно сделки вы совершали и для кого?

— Я так сразу не могу ответить на такой вопрос. Надо вспомнить...

— Вы не помните, чем вы занимались?

— Вам угодно играть словами, господин следователь... Я сказал, что занимался посредническими делами, а назвать сразу все сделки — это не то же самое. Это не значит не помнить того, чем занимался.

— Но имена людей, которые вам давали работу, вы, я полагаю, помните?

— Я работал для разных лиц... Для Фишера...

— Вы сказали, что не имели с Фишером никаких дел.

— Я позабыл... Да это ведь небольшие дела, просто он давал мне заработок.

— Вы говорите: для разных лиц. Кто еще вам поручал дела, кроме Фишера, который умер?.. Может, и из живых людей кого-либо назовете?

— Сейчас не могу вспомнить... Я очень взволнован, господин следователь... Наконец, это коммерческий секрет... Только у нас в России существует такое неуважение к человеку!..

— Для следствия нет коммерческих секретов. Не можете вспомнить?

— Сейчас не могу... Я вспомню позже, — упавшим голосом сказал Загряцкий.

— Или придумаете ответ... Какие сделки вы совершали для Фишера?

— Я продавал и покупал для него бумаги.

— Какие?

— Разные... Акции банков... Мальцевские...

— Такие сделки обычно совершаются через банки или через профессионалов. Не назовете ли вы людей, которые могли бы подтвердить, что вы совершали эти сделки для Фишера?

— Я сейчас ничего не могу указать... Вы меня оглушили этим нелепым обвинением... Я плохо себя чувствую и не могу вообще отвечать.

— Кроме посреднических сделок у вас были еще какие-то источники дохода?

— Нет... Были кое-какие сбережения.

— В каком приблизительно размере?

— Сумма менялась... Я постепенно тратил... Одно время было несколько тысяч.

— Где они находились? В банке?

— Нет, у меня дома.

— Вы без нужды хранили дома несколько тысяч?

— Да, дома. Прислуга у меня надежная... Да и деньги небольшие... Банки платят ничтожный процент...

— Откуда же у вас собралось несколько тысяч? Значит, у вас прежде были дела покрупнее, чем теперь?

— Очевидно...

— Очевидно?.. А какие, вы не помните?

Раздался легкий стук в дверь.

— Вай-дите... В-вай-дите! — сказал с раздражением Яценко. В комнату вошел письмоводитель. Он приблизился на цыпочках к следователю и сказал ему на ухо:

— Антипов хочет вас видеть, говорит, для важного сообщения.

Яценко кивнул головой. Он записал последние показания Загряцкого.

— Посидите, пожалуйста, здесь опять, Иван Павлович, до моего прихода, — сказал он и вышел.

Николай Петрович вернулся через несколько минут. Он прошел к столу и занял прежнее место. Лицо у него было торжественное и мрачное. Загряцкий вдруг уставился на него.

Письмоводитель хотел выйти из комнаты. Яценко удержал его знаком.

— Вы сказали, — начал следователь новым, бесстрастным тоном, глядя на дрожавший слегка ониксовый перстень Загряцкого, — вы сказали, что позавчера вечером, в день убийства Карла Фишера, вы были в кинематографе «Солей» в Пассаже на Невском проспекте и оставались там до конца спектакля?

— Так точно, — сказал негромко Загряцкий, не сводя с него глаз.

— Вы сказали также, что знакомых в кинематографе не встретили... Давалась пьеса «Вампиры», содержание которой вы по памяти изложили письменно?

— Да, я изложил...

— Господин Загряцкий, вы сказали неправду, и случайности суждено было выдать вас, — подняв голову, произнес торжественно и печально следователь. — В этот вечер драма «Вампиры» была заменена другой картиной.

Письмоводитель вздрогнул, быстро взглянул на допрашиваемого и опустил глаза. Загряцкий, все больше бледнея, откинувшись на спинку стула, смотрел остановившимися глазами на следователя. На лице Загряцкого был написан страх, точно он ждал удара.

— Я болен и не то говорю... Я не могу теперь отвечать, — наконец едва слышно произнес он.

— В таком случае допрос переносится на завтра. Но отныне вы, Загряцкий, будете допрашиваться в качестве обвиняемого. По тысяча четыреста пятьдесят четвертой статье уложения о наказаниях вам предъявляется обвинение в предумышленном убийстве Карла Фишера... Иван Павлович, — сказал, вставая, Яценко, — составьте бумагу о принятии арестованного Загряцкого в Дом предварительного заключения.

XXI

Анкета об англо-русских отношениях была счастливой находкой дон Педро. Главный редактор «Зари» отнесся к ней весьма одобрительно и предложил Альфреду Исаевичу не стесняться местом.

— Момент выбран очень удачно, — сказал редактор. — Эта проблема в самом деле является в настоящее время одной из центральных, и ваша анкета, несомненно, вызовет в обществе большой интерес... Не правда ли, Федор Павлович? — обратился он к секретарю редакции, с мнением которого все в газете очень считались.

— Большого интереса ни у кого ни к чему нет, — угрюмо ответил старик секретарь, отрываясь от сырых гранок и раздавливая о пепельницу докуренную папиросу.

— Ну, как, не говорите. Читатель к тому же вообще любит анкеты, — уверенно сказал редактор. — А эта анкета может обратить на себя внимание и в Англии.

Федор Павлович только мрачно на него посмотрел. Он почти пятьдесят лет работал в газетах, страстно любил свое дело и превосходно его знал. К публике он относился приблизительно так, как рыболов к рыбе. Слово «читатель» Федор Павлович произносил с довольно сложной смесью чувств: сюда входила и любовь, и ненависть, и благодушное презрение, и суеверный страх перед чуждым, непостижимым явлением. За пятьдесят лет работы Федор Павлович не решил вопроса о том, для чего читает газеты

читатель и почему он им верит. Сказать же, что читатель любит, представлялось ему почти невозможным делом; он зато знал твердо, чего читатель не любит, и сюда прежде всего относил статьи самого редактора, считая их, впрочем, злом совершенно неизбежным: во всех газетах, в которых он работал, были политические деятели, ничего не понимавшие в газетном деле и писавшие скучные, ненужные читателю и вредные для газеты статьи, которые необходимо было печатать.

— Больше семидесяти строк на каждого из этих рекламистов я вам не дам,— мрачно сказал он Альфреду Исаевичу, когда главный редактор удалился.

Дон Педро только вздохнул: он хорошо знал, все будет так, как решит Федор Павлович, что бы ни говорил главный редактор.

— Но хоть семьдесят дадите?

— Семьдесят дам. Вы с кого из ваших приятелей начнете?

— Да я у разных буду. Вот мне как раз сегодня нужно зайти к двум человечкам... Из адвокатов я, кстати, думаю взять Кременецкого, он теперь в моде... Разумеется, его в числе других и под конец,— поспешил добавить дон Педро, увидев раздражение на лице секретаря.

— Я так и знал! Рубят леса, фабрикуют бумагу, стучат ротационки, издатель тратит сумасшедшие деньги, я не сплю ночами для того, чтоб этот болван мог высказаться об англо-русских отношениях!.. И это потому, что он вас позвал на свой вечер!.. Кременецкому больше пятидесяти строк не дам,— категорически заявил секретарь, с раздражением вытирая платком испачканные корректурой, желтые от табака пальцы.

— С портретом?

— Хоть с бюстом... Когда начнете? Ведь вы до праздников будете тянуть вашу проклятую анкету?

— Сколько найдете нужным. Я полагал бы, однако, лучше начать теперь же,— мягко сказал Альфред Исаевич, зная, чем можно взять секретаря.— Говорят, в «Утре» тоже подумывают о политической анкете. Как бы не перехватили тему, а?

— Сейчас же и начинайте,— поспешно сказал Федор Павлович. Он был страстным патриотом той газеты, которой руководил, и вполне искренне ненавидел все соперничавшие с ней издания независимо от их направления. Мысль дон Педро об анкете он тотчас оценил по достоинству и ворчал больше по привычке.— Я завтра же помещу заметку.

Федор Павлович взял узкую полосу бумаги и написал, не задумавшись ни на секунду:

«НАША АНКЕТА

В ближайшие дни на страницах нашей газеты начнет печататься большая анкета об англо-русских отношениях в настоящем, прошлом и будущем. Целый ряд виднейших деятелей политики, литературы, науки как в России, так и в Великобритании с живейшим сочувствием отнеслись к нашей инициативе и с полной готовностью отозвались на предложение сотрудника «Зари» высказаться по этому важному и жгучему вопросу современности».

Он подчёркнул красным карандашом несколько слов в заметке, затем поставил в левом углу какие-то таинственные значки. Дон Педро с удовольствием читал заметку, наклонившись над приподнятым правым плечом Федора Павловича. По просьбе Альфреда Исаевича секретарь после слов «сотрудника «Зари» вставил еще «дон Педро».

— А теперь проваливайте, господин, — сказал он со своей обычной угрюмой шутливостью, которая не вызывала никакого раздражения в ближайших сотрудниках: все они ценили самоотверженный труд, талант, опыт Федора Павловича и безропотно склонялись перед его решениями.

Дон Педро, очень довольный, спустился в первый этаж и по телефону снесся с разными лицами, в том числе и с Семеном Исидоровичем. Кременецкий тотчас изъявил готовность откликнуться на анкету.

— Вы знаете, дорогой Альфред Исаевич, что я всегда к услугам прессы вообще, а близких мне органов... Барышня, пожалуйста, не прерывайте, мы разговариваем... А близких мне по направлению органов печати в частности... Вы делаете большое дело... Но я не знаю, может ли мое скромное суждение представлять общественный интерес...

— Об этом уж позвольте судить мне, — сказал и ему с той же приятной интонацией дон Педро. — Так я на днях к вам приеду?

— На днях? Боюсь, что я должен буду уехать из Петрограда. Да вот, хотите, сегодня, сейчас я как раз свободен... Куй железо, пока горячо...

— Что?.. Не слышу... Что горячо?

— Я говорю: куй железо, пока горячо... Великолепно... Да, можно и через полчаса. Я вас жду... До скорого свидания.

«Еще бы не горячо», — подумал, отходя от телефона, Альфред Исаевич. Он был убежден в том, что все люди, за самыми редкими исключениями, жаждут **попасть в газету**. По взглядам дон Педро, это стремление было столь же естественным, как погоня за деньгами, за женщинами, за властью. Альфред Исаевич рассматривал включение в свой анкетный список почти как подарок и награждал им тех, к кому относился благосклонно или кого считал нуж-

ным за что-либо отблагодарить. Были, правда, при каждой анкете участники необходимые — их нельзя было обойти, не ослабив значения самой анкеты. Но Кременецкий к таким обязательным участникам не принадлежал.

«От адвокатуры возьму человек пять-шесть, — подумал дон Педро, садясь за стол для составления списка. — Собственно, есть много адвокатов поважнее Семы. Ну, да ничего, сойдет. От литературы... Кого же от литературы? Может быть, Короленко сейчас в городе... Политиков возьму штук десять, по партиям... От магистратуры уже обещано. Яценко — хороший человек. Но без фотографии — его мало знают... Надо еще кого-нибудь... — Дон Педро перебрал мысленно десятка два известных людей и тотчас некоторых забраковал: одни не подходили, другим он не желал делать одолжение. — От финансистов Нещеретов... А от науки? Никого как будто нет такого. Придется в Москву телефонировать Тимирязеву». Журналистам Альфред Исаевич не уделил места в анкете — он недолюбливал известных журналистов. «Ну, а где же тут Великобритания?.. Бьюкенен не даст... Разве того офицера попросить, что был у Кременецкого?.. Что ж, это будет очень хорошо...»

Составив список, дон Педро покинул редакцию и на извозчике отправился к Кременецкому.

Семен Исидорович ждал гостя в своем кабинете. Вечерний прием еще не начался. Сидя в кресле перед камином, у столика, на котором были приготовлены портвейн и сигары, Кременецкий читал книгу в кожаном переплете. Дверь кабинета была полуотворена — Тамара Матвеевна предполагала слушать из будуара ответы мужа.

— Старика Софокла перечитываю, — сказал гостю адвокат, кладя книгу на столик, — люблю, знаете, классиков. Читаешь, и так и хочется воскликнуть: «Вы, нынешние, ну-тка!»

— Н-да, конечно, — протянул неуверенно Альфред Исаевич. — Ух, холодно становится...

— Темь какая... Позвольте вам предложить портвейну, дражайший Альфред Исаевич... Ну-с, так что же именно вы желали бы от меня услышать?

— По моей инициативе, — начал дон Педро, — газета «Заря» задалась целью выяснить отношение русского общественного мнения, в лице его виднейших представителей, как политиков, так равно юристов, писателей, ученых, к проблеме англо-русских отношений в ее культурно-политическом разрезе. Значение этой жгучей проблемы в текущий момент мне вам, конечно, объяснять не приходится. Но аспектом данного вопроса и его, так сказать, рамками мы вас, разумеется, не стесняем, и если вы предпочитаете высказаться об Англии и об ее культуре вообще, то я тоже буду рад довести ваши воззрения до сведения русского общества.

Дон Педро вынул книжку, открыл стилограф и со значительным видом взглянул на Семена Исидоровича.

— Что я могу сказать об Англии? — сказал со вздохом Кременецкий. — Англия дала миру свободу и Шекспира, этим, собственно, все сказано (стилограф дон Педро побежал по бумаге; Семен Исидорович остановился и дал возможность записать свое изречение). Лично я, как гражданин, воспитан... на идеалах британского конституционного строя... Как криминалист, я еще в стенах нашей alma mater... твердо запомнил слово глубокочтимого учителя моего, профессора Фойницкого («И. Я. Фойницкого», — продиктовал он): «Современное уголовное право есть продукт правотворчества двух великих народов: английского и французского...» Это слово маститого ученого, твердо запавшее в душу... нам, безусым юнцам, стекавшимся со всех концов России... в столицу учиться праву и гражданственности... не раз вспоминалось мне и теперь в связи с трагическими событиями... свидетелями коих нам суждено было стать... в связи с пламенем Лувена и развалинами Реймсского собора... Заметьте, я не принадлежу к огульным хулителям германской культуры... Мне довелось совершенствоваться в науке... в семинарах таких людей, как Куно Фишер и Еллинек... и никто не скорбел искренне, нежели я, о том... что Германия Канта под пятой Гогенцоллернов стала Германией Круппа... Ничто не чуждо мне более, чем человеконенавистничество... и в мщении Канту за дела Круппа я вижу хулу на духа святого: Кант есть тот же Реймсский собор! — сказал Семен Исидорович и с торжеством взглянул на все быстрее писавшего журналиста. — Нет, я воздаю кесарево кесарю, но я не могу не думать и о том... что в классической стране неизбывных принципов права не могло быть сказано... святотатственное слово канцлера Бетмана-Гольвега о «клочке бумаги»...

В будуаре, сидя в кресле сбоку от полуоткрытой двери, Тамара Матвеевна вышивала по шелку, с наслаждением и гордостью слушая слова мужа.

Муся, в котиковой шубке, с горностаевыми шапочкой и муфтой, вошла в будуар. Мать быстро сделала ей знак, показывая глазами на дверь.

— Кто у папы? — спросила Муся, прислушиваясь к голосу отца.

— Интервьюер от газеты «Заря», — значительно подняв брови, ответила шепотом Тамара Матвеевна. Муся изобразила на лице ужас и восхищение.

— В-видал миндал? — сказала она. Муся как раз накануне слышала это выражение от молодого поэта. — Что ему нужно?

— Влияние английской культуры на русскую в настоящем, прошлом и будущем, — прошептала Тамара Матвеевна.

— Господи! Да ведь папа об этом знает столько же, сколько я... Уж лучше я дам ему интервью, я хоть по-английски говорю.

Мать строго на нее посмотрела. Муся вздохнула.

— ...повелительным образом указывает нам... сближение с великими демократиями Запада... — донесся из кабинета медленно диктующий голос адвоката.

— Мама, я еду кататься, мы условились с Глашей... Ах, да это дон Педро у папы, что же вы не сказали?.. Разве он пишет в «Заре»? Мама, можно зайти к ним послушать? Я помогу папе.

— Да ты с ума сошла! Разумеется, нельзя.

На пороге будуара показался Семен Исидорович. У него был сдержанно-взволнованный вид.

— Mesdames, — громко сказал он шутливым тоном. — Нельзя ли разыскать какую-нибудь мою фотографию? Газета «Заря», видите ли, зачем-то желает увековечить мои черты... Дай, золото, предпоследнюю, Буасона, — тихо добавил он жене. Тамара Матвеевна вспыхнула от радости.

— Я сейчас достану, — сказала она и поспешно поплыла к двери.

— Возьмите, мама, ту карточку, где мы сняты с папой в Кисловодске, — посоветовала Муся, — я хочу, чтобы и меня поместили в «Заре». Нельзя, папа?.. Дон Педро! — вдруг пропела она. — О дон Педро, покажитесь, ради Бога, о дон Педро...

На пороге комнаты, сияя улыбкой, появился Певзнер.

— Тамара Матвеевна... Мадмуазель, — сказал он, расшаркиваясь.

— Здравствуйте, дон Педро. Я хочу дать вам интервью о влиянии английской культуры. Этот вопрос давно меня волнует... В прошлом, в настоящем и в будущем... Вы поместите, да? Но непременно с портретом.

— Мадмуазель, ничто не могло бы лучше украсить нашу газету, — галантно сказал дон Педро. Кременецкий снисходительно улыбнулся.

— Вот разве эту взять? — сказала Тамара Матвеевна, появляясь вновь в будуаре и показывая большую фотографию, на которой Кременецкий был снят в кабинете за столом с босым Толстым на фоне.

— Ну и ладно, эту так эту, — небрежно заметил Кременецкий. — Разрешите вам презентовать сию картинку, Альфред Исаевич...

— Семена Исидоровича уже снимали раз для «Огонька» к юбилею судебных уставов... — начала было Тамара Матвеевна. Кременецкий с неудовлетворением взглянул на жену: она никак не должна была помнить об «Огоньке», точно помещение его фотографии в печати было для них событием.

— Тогда уж позвольте вас просить, Семен Исидорович, сделать надпись.

— С радостью... Но ведь это для печати? Разве на обороте надписать?

— Да, пожалуйста, на обороте.

— Охотно...

— Дон Педро, я вам скажу, к кому вы должны поехать за интервью,— сказала Муся.— К майору Клервиллю. Он живет в «Паласе».

— Это тот офицер, который был на вашем рауте, мадмуазель? Я сам о нем думал... Он живет в «Паласе»? Так я прямо от вас к нему и поеду.

— Послушайте, дон Педро, ангел, можно мне ехать с вами? Я буду отлично себя вести... Я буду вам переводить... Папа, нельзя? Отчего нельзя?.. Отчего мне не быть журналисткой, что тут такого? Ну, так я вас довезу до «Паласа», если вы меня не хотите. Меня как раз ждет внизу экипаж. Можно, мама?

Кременецкий, помахивая в воздухе фотографией, улыбался несколько натянуто.

— Разумеется, можно,— ответила с беспокойной улыбкой Тамара Матвеевна.

— Ах, Боже мой, мадмуазель, вы меня чрезвычайно обяжете,— сказал дон Педро.— Но я не хотел бы вас беспокоить.

— Для вас я готова на любое беспокойство. Если б вы знали, какую поклонницу вы во мне имеете... Мама, правда? Что я вам говорила на прошлой неделе о статье дон Педро? Папа, ваша надпись высохла. Идем... До свидания...

— Мусенька, застегнись, очень холодно. И скажи Степану не гнать... Прощайте, Альфред Исаевич, не забывайте нас.

— Благодарствуйте, Альфред Исаевич... Не забывайте же к нам дорогу,— сказал Семен Исидорович. Он проводил гостя до передней, затем из окна посмотрел, как они садились в экипаж. Вид его гнедой пары все еще доставлял ему удовольствие.— Кременецкий только в прошлом году обзавелся экипажем.— Знаешь, золото,— сказал он жене,— Муся, конечно, очень мила, но тон у нее временами немножко фривольный. Это не принято и не очень мне нравится. Ведь она почти не знает этого Певзнера... Ты бы ее побранила.

— Да, иногда с ней такое бывает,— ответила со вздохом Тамара Матвеевна.— Всегда она скромная, такая воспитанная, но вдруг точно муха ее укусит — я сейчас у ней по лицу вижу. Ах, надо ей найти жениха!

— Найдем, найдем... Не засидится у нас Муська,— уверенно сказал Кременецкий. Он был радостно настроен по случаю интервью и не хотел думать о неприятных предметах.

Муся в экипаже озабоченно расспрашивала дон Педро о Клервилле. Но Альфред Исаевич ничего о нем не знал.

— Нет, вы просто не хотите сказать,— говорила сердито Муся.— Не знаете, шпион ли он, не знаете, кто его любовница, да вы ничего не знаете! Какой же вы после этого журналист?

— Мадмуазель...— сказал дон Педро.— Клянусь вам, я этого не знаю!

— За что же вам деньги платят, если вы ничего не знаете? Нет, правда, не может быть, чтобы вы не знали, как зовут его нынешнюю даму? Послушайте, а может быть, он любит мальчиков?.. Да? Да?

Альфред Исаевич смотрел на нее, выпучив глаза. «Что это за барышни пошли,— спрашивал он себя.— В таком хорошем семействе!..»

— Помилуйте, мадмуазель,— растерянно сказал дон Педро,— откуда же я могу знать такие вещи? Согласитесь, это было бы странно, честное слово...

— А к Брауну вы не зайдете за интервью? Он тоже в «Паласе».

— Какой это Браун? Ах, да. Может быть, я о нем забыл. Вы мне подаете мысль, мадмуазель.

«В самом деле, можно взять его в представители науки,— подумал Альфред Исаевич.— Говорят, он замечательный ученый. А то годами одни и те же: Тимирязев, Мечников, Мечников, Тимирязев — это всем надоело...»

XXII

«Хорошая штучка! — подумал дон Педро, шаркнув калошами и раскланявшись с отъезжавшей в коляске Мусей.— Говорят, Сема хочет ее выдать за Нещеретова. Тоже нашел дурака... Сейчас Нещеретов на ней возьмет и женится...»

Альфред Исаевич направился по скользкому, плохо засыпанному песком тротуару к дверям гостиницы «Палас». Человек в поддевке, почтительно сняв шапку, украшенную павлиньими перьями, толкнул перед ним вертящуюся дверь. Дон Педро кивнул головой и вошел. Скрывая легкую робость под особенно самоуверенным видом, он направился к длинному столу, за которым стояли два человека в черных сюртуках.

— Майор Клервилль у себя?

Человек в сюртуке оторвался от лежавшей перед ним огромной книги, оглянулся на доску с ключами и взялся за ручку одного из телефонных аппаратов.

— Как доложить?

— Не надо докладывать, меня ждут,— поспешно ответил Альфред Исаевич. Узнав, что Клервилль живет в 103-м номере, а Браун в 264-м, дон Педро кивнул головой и солидной походкой направился к лестнице, с любопытством осматриваясь по сторонам. Все в «Паласе» очень нравилось Альфреду Исаевичу: и яркое освещение, и ком-

форт, и хорошо одетые люди, и в особенности окружающая посетителей атмосфера почета. Альфред Исаевич вдруг поспешно снял меховую шапку и поклонился: по hall'ю в сопровождении управляющего гостиницы быстро шел, размахивая руками, высокий, по-актерски гладко выбритый человек. Это был тот богач Нещеретов, о котором только что думал дон Педро. С Нещеретовым из-за столиков hall'я учтиво раскланялись, привставая, еще несколько гостей. Он окинул беглым взором Альфреда Исаевича, слегка ему кивнул и остановился, хлопнув себя по карману шубы.

— Эх, беда!.. Перчатки забыл, — сердито сказал он.

Лакей бросился за перчатками, и даже дон Педро преодолел в себе желание как-либо помочь в беде богачу. Альфред Исаевич ничего не ждал от Нещеретова, но самый вид человека, владевшего десятками миллионов, приводил его в легкое волнение. Нещеретов взял перчатки и быстро пошел к выходу. «Да, хорошо живет, — подумал Альфред Исаевич. — Князей встречают хуже. А всего каких-нибудь десять лет тому назад его бы сюда на порог не пустили!..»

У лестницы мальчик открыл перед ним дверь подъемной машины. Хотя во второй этаж было проще подняться по лестнице, Альфред Исаевич, подкупленный почтительностью мальчика, вошел в лифт и вынул из большого черного кошелька засаленную марку военного времени. На стене висела печатная надпись: «Просят не разговаривать по-немецки, — с полустертой добавкой карандашом: — И по-турецки». Машина остановилась. Дон Педро сунул марку мальчику и вышел. Разыскав 103-й номер, он постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, отворил ее.

Майор Клервилль, сидевший за столом спиной к двери, поднялся, с недоумением глядя на вошедшего без доклада посетителя. «Может быть, у них так принято», — тотчас подумал он. Лицо Альфреда Исаевича было ему знакомо, но он решительно не помнил, кто это.

— Вы, верно, меня не узнаете, господин майор, — начал Альфред Исаевич с учтивой солидной улыбкой на лице. — Пожалуйста, извините меня...

— О, я хорошо узнаю, без сомнения...

— Пожалуйста, извините, что посмел отнять ваше драгоценное время, — сказал дон Педро. Он изложил свое дело, говоря так же изысканно, но несколько медленнее и вразумительнее, чем обычно. Клервилль не все разобрал в его словах, но понял суть дела и по ней вспомнил, что этот человек был журналист, которого он видел на вечере у русского адвоката. Просьба дон Педро доставила удовольствие майору Клервиллю — к нему еще никто никогда не обращался за интервью. Он, однако, с любезной улыбкой ответил, что, как офицер, интервью давать не вправе.

Дон Педро с сожалением откинул голову, полузакрыл глаза и слегка развел руками, свидетельствуя, что подчиняется решению своего собеседника и отдает должное его доводам, хотя не разделяет их. Майор поблагодарил гостя за честь и просил заверить русских читателей, что, как все англичане, он неизменно восхищается русской армией, Россией, гением страны, которая... Клервилль хотел сказать: страны, которая дала миру Толстого и Достоевского, однако вспомнил, что Толстой был в дурных отношениях с русским правительством, и решил, что корректнее будет поэтому Толстого не называть. Об отношении Достоевского к русскому правительству майор ничего не помнил, но с одним Достоевским, без Толстого, фраза не выходила. Клервилль в общей форме сказал о гении страны, давшей миру столько великих людей... С сердцем, так широким, как эти русские степи, добавил, подумав, майор.

Альфред Исаевич выслушал его с удовольствием — он был искренним патриотом — и решил, что слова англичанина, в сущности, вполне могли заменить интервью, если их подать соответственным образом, на пятьдесят строк, с описанием обстановки и с портретом. Дон Педро крепко пожал Клервиллю руку, как бы благодаря его за Россию, и попросил дать для газеты фотографическую карточку. Это майор мог сделать, не нарушая своего долга. Увидев фотографию, дон Педро просиял: как ни хорош был в действительности Клервилль, на карточке, в парадном мундире довоенного времени, он был еще лучше.

— Не смею вас больше беспокоить, господин майор, — сказал, вставая, Альфред Исаевич. — Сердечно вас благодарю... Вы знаете, что в лице нашей газеты ваша великая страна всегда имела верного друга. В этом вся наша редакция вполне солидарна.

— О, да, я знаю хорошо, — ответил тоже с искренним удовольствием Клервилль. Он проводил гостя до дверей, и они расстались, очень довольные друг другом.

«Вот и не потерял времечко», — удовлетворенно подумал Альфред Исаевич, поднимаясь по лестнице на третий этаж. Помимо того, что сто строк от двух интервью составляли двадцать рублей (дон Педро сверх жалованья получал еще построчную плату), самый процесс составления интервью очень нравился Альфреду Исаевичу. В минуты особенно горячей влюбленности в себя он называл себя «журналистом Божьей милостью». И действительно, любовь к газетному делу была в нем сильна и неподдельна. Особенно он любил все, что имело отношение к высшей политике, в частности к иностранной. Дон Педро в действиях великих держав неизменно усматривал скрытый, макиавеллический смысл, который почему-то чрезвычайно его радовал, он и говорил о тайных замыслах разных европейских правителей всегда с радостной, почти торжествующей улыбкой. Альфреду Исаевичу нравилось, что

европейские правители были такие хитрецы и что он тем не менее проникал в их тайные замыслы в отличие от других людей, которые простодушно им верили. Анкета все больше увлекала дон Педро. «Можно даже считать, четвертная в кармане — это дудки, будто Федюша на Кременецкого больше пятидесяти строк не даст. Когда прочтет, что я напишу, даст сколько влезет...»

Альфред Исаевич направился налево по менее ярко свещенному коридору третьего этажа и вдруг, свернув за угол, увидел Брауна, который в шубе и шапке быстро шел к лестнице. «Чудная шуба, — подумал дон Педро. — Котик не котик, а выхухоль, теперь за восемьсот рублей не сошьешь».

— Здравствуйте, профессор, — сказал он вкрадчиво.

Браун вздрогнул и поднял голову.

— Здравствуйте.

— А я шел к вам... На одну минутку, только на одну минутку... Можно?

— Простите меня, я очень спешу, — сказал Браун, останавливаясь с видимым нетерпением. — Чем могу служить?

Альфред Исаевич изложил свою просьбу короче, чем в разговоре с Кременецким и Клервиллем.

— Нет, меня, пожалуйста, увольте, — сухо прервал его Браун, узнав в чем дело и не дослушав объяснений. — Я не политик и никаких интервью не даю.

— Вы наш известный ученый и в качестве такового... — начал было снова дон Педро.

— Прошу извинить. Дело это меня не касается и не интересует. Мое почтение.

Он приподнял шапку и быстро пошел дальше.

«Однако порядочный нахал этот господин, — сказал себе оскорбленно Альфред Исаевич и включил мысленно Брауна в черный список людей, которым при случае не мешало сделать неприятность. — Слава Богу, ученых и без него как собак нерезаных. Ему же честь предлагали... — Отсутствие Брауна в анкете действительно не могло быть потерей в газетном смысле. — Странный господин!.. Верно, не от мира сего... — Человек, отказавшийся от интервью, которое ему предлагали совершенно бесплатно, не мог быть от мира сего, по представлению Альфреда Исаевича: он знал столько людей, готовых заплатить за интервью немалые деньги. — Ну, и Бог с ним! Возьмем другого...» Дон Педро направился дальше по коридору, чтобы не идти вслед за Брауном и чтобы тот не подумал, будто он нарочно для него приезжал в «Палас». Навстречу Альфреду Исаевичу шел невзрачный человек в пальто с каракулевым воротником. Он быстро окинул взглядом дон Педро. Альфред Исаевич, встретившись с ним глазами, почувствовал неловкость и даже легкий испуг. Ему почему-то показалось, что это «шпик», дон Педро видал на своем

веку немало сыщиков и имел наметанный взгляд, чем иногда хвастал, разговаривая с людьми революционного образа мыслей. «Кажется, в «Паласе» шпикам нечего делать, — подумал он озадаченно. — Хотя, собственно, в наше милое время...» Альфред Исаевич посмотрел подозрительно вслед невзрачному человеку и с неудовольствием ускорил шаги.

XXIII

— Алкалоид рода белладонны, — хмурясь и морща лоб, повторил вслух Яценко. Эти слова из лежавшей перед ним бумаги ничего ему не объясняли. «Все принимаем на веру... Гросс рекомендует следователям запасаться специальными познаниями для того, чтобы входить во все подробности судебно-медицинского и химического исследования. Да, конечно, против этого требования нельзя возражать, но в пятьдесят лет трудно начать изучение химии», — подумал он со вздохом.

В камере Николая Петровича было несколько специальных руководств. Он взял одно из них, заглянул в алфавитный указатель и, разыскав нужную страницу, узнал, что алкалоидами называются особые твердые или жидкие органические вещества основного характера и сложного состава, встречающиеся в некоторых видах растений. Это было понятно, но недостаточно определенно, Николай Петрович думал, что в химии вещества классифицируются точнее. Он попробовал читать дальше, но тотчас перестал разбираться. В книге говорилось о том, что громадное большинство алкалоидов можно производить от пиридина, тогда как некоторое их число относится к жирному ряду. О белладонне Николай Петрович узнал, что заключающийся в ней атропин представляет собой тропиновый эфир альфа-фе-нил-бета-оксипропионовой кислоты. Яценко вздохнул, закрыл руководство по химии и опять внимательно прочел заключение эксперта, решившись всецело на него положиться.

Эксперт пришел к выводу, что смерть Фишера последовала от отравления растительным ядом, по-видимому, алкалоидом типа белладонны. Слово «по-видимому» снова задело Николая Петровича. «В таких случаях «по-видимому» недопустимы», — подумал он с неудовольствием, откладывая бумагу в папку № 16.

Папка эта уже очень распухла от документов. Почти все свидетели по делу были допрошены; их, впрочем, было не так много. Не хватало показания госпожи Фишер, которая еще не приехала в Петербург. Ее допросу Яценко придавал большое значение.

Николай Петрович пробежал несколько других бумаг и задумался. Он был не вполне доволен ходом следствия по делу об убийстве Фишера. Настоящих улик против Заг-

рядкого было недостаточно. Яценко нисколько не огорчался в тех случаях, когда следственные материалы складывались в пользу подозреваемого, и даже радовался, если выяснялась его невиновность. Но в этом деле у Николая Петровича после первого же допроса сложилась твердая уверенность, что Фишер был отравлен Загряцким. В недостаточности улик он видел не свою неудачу, а победу преступного начала над справедливостью.

Яценко еще раз перебрал в памяти основные положения следствия. Самоубийства быть не могло. «С чего бы, в самом деле, Фишер стал кончать самоубийством? — в десятый раз мысленно себя спросил Николай Петрович. — Ни болезни, ни материальных затруднений у него не было. Кроме того, что же ему мешало, если пришла такая необъяснимая мысль, отравиться дома, в «Паласе»? Женатый человек, дороживший приличиями, не поехал бы кончать с собой в подозрительную квартиру... Да и самая обстановка, выражение лица Фишера, все говорит, что о самоубийстве речи быть не может... Нет, здесь не самоубийство, здесь убийство, хорошо обдуманное убийство».

Система доводов, устанавливающих виновность Загряцкого, уже сложилась у Николая Петровича. В этой системе многое еще могло измениться в зависимости от показаний госпожи Фишер, от очной ставки между ней и ее любовником. Кое-что с минуты на минуту должны были внести данные дактилоскопического исследования. Но общая аргументация следствия была уже намечена и с внешней стороны выходила довольно стройной. Однако Николай Петрович все яснее чувствовал в ней слабые места. Он понимал, что каждую улику в отдельности опытный защитник сумеет если не разбить, то, во всяком случае, сильно поколебать. «Впрочем, математической ясности никогда не бывает при запирательстве преступника,— подумал Яценко. — Если не считать, конечно, уличения посредством дактилоскопии...».

В дактилоскопию Николай Петрович верил — нельзя было не верить,— но верил не так твердо, как, например, в химическое исследование. Новейшая судебно-полицейская наука основывалась на дактилоскопии, Яценко прекрасно это знал. Однако в глубине души он чуть-чуть сомневался в том, что из миллиона людей каждый имеет свой отпечаток пальца и что нет двух таких отпечатков, которые были бы совершенно сходны один с другим. «В Чикаго недавно приговорили к смерти преступника исключительно на основании дактилоскопической улики. Правда, этот приговор вызвал у многих возмущение. Что, если в Чикаго была допущена ошибка?.. В Европе нет твердо установленной практики. У нас тоже нет...» Яценко справедливо считал русский суд лучшим в мире.

Николай Петрович вынул из папки № 16 дактилограмму отпечатков, оставшихся на бутылке и на стакане в ком-

нате, где было совершено убийство. Он еще раз у лампы вгляделся в отпечаток, проявленный свинцовыми белилами. На листе бумаги довольно большой кружок был покрыт сложным овальным узором. Эксперт отметил номерами особенности узора: шесть **вилок** и четыре **островка.** В пояснительной записке приводились какие-то дроби со ссылкой на систему Вуцетича. Снимок с руки Загряцкого еще не был готов, и выводов потому быть не могло. Николай Петрович долго вглядывался в фотографию. «Да, как будто все это убедительно... Однако они в Чикаго как хотят, а я на основании этих вилок и островков все-таки не подведу человека под каторгу,— сказал он себе.— Жаль, что со всех нас не снимают отпечатков. Надо бы, чтобы это было обязательно и чтобы все снимки регистрировались. Тогда при любом преступлении — взглянул на каталог и сразу знаешь преступника... Но отчего же этого не вводят, если это так просто? — опять с сомнением подумал Николай Петрович.— Впрочем, здесь и без дактилоскопии дело ясно: да, конечно, Загряцкий убил... Убил, чтобы к его любовнице перешли богатства банкира»...

Николай Петрович еще лишь приблизительно разобрался в том, какое именно наследство оставил Фишер. Состояние, по наведенным справкам, было огромное, но запутанное, выразить его точной цифрой следователь пока не мог. Надо было выяснить стоимость разных акций, непонятные названия которых постоянно попадались в газетах.

Стук в двери прервал мысли Николая Петровича.

— К вашему превосходительству,— сказал сторож, подавая визитную карточку.

— Попросите войти. Что, еще ничего мне не приносили из сыскного отделения?

— Никак нет, ваше превосходительство

В комнату вошел доктор Браун. Они любезно поздоровались, как старые знакомые.

— Очень рад вас видеть,— сказал Яценко, крепко пожимая руку Брауну и пододвигая ему стул.— Вы ко мне по делу?

— Да, если позволите,— ответил, садясь, Браун.

— К вашим услугам.

— Я зашел к вам, собственно, для очистки совести. Видите ли, у меня осталось такое впечатление, что слова, сказанные мною вам о Загряцком при нашем первом знакомстве, могут быть неправильно вами истолкованы. Надеюсь, вы не поняли их в том смысле, что я считаю Загряцкого человеком, способным на убийство?

Яценко смотрел на него с недоумением.

— Это было бы, разумеется, неверно,— продолжал Браун.— Ничто в моем знакомстве, правда, не близком и не продолжительном, с этим господином не дает мне оснований считать его способным на преступление более других людей. Ничто,— повторил он.— Вот это я и хотел

довести до вашего сведения на случай, если я тогда выразился не вполне ясно.

— Вы ошибаетесь, — сказал Николай Петрович. — Я именно так и понял тогда ваши слова.

— Очень рад. В таком случае, мое сегодняшнее посещение не нужно. Но, видите ли, я в газетах прочел, что Загряцкий арестован и что улики против него тяжелые (он помолчал с полминуты, как бы вопросительно глядя на следователя). И я не хотел бы прибавлять что бы то ни было к этим уликам, хотя бы одно только впечатление.

— Разумеется, я понимаю ваши мотивы, — ответил Яценко. — Должен, однако, вам сказать, что мы не сажаем людей в тюрьму на основании впечатлений. У следствия действительно есть очень серьезные основания думать, что Загряцкий отравил Фишера... Отравил растительным ядом, природа которого уже выяснена экспертизой.

— Вот как... Уже выяснена? — повторил Браун. — Так быстро?

— Да... Не имею права входить в подробности следственного материала. Однако газеты уже сообщили, что экспертиза констатирует отравление алкалоидом типа белладонны. Не знаю, как журналисты все это узнают чуть ли не раньше меня, — добавил он, улыбаясь, — но это правда. Таково действительно заключение экспертизы: отравление растительным ядом рода белладонны.

— У вас очень хороший эксперт, — сказал с насмешкой Браун. — Вероятно, врач, правда? Врачи, как журналисты, тоже все прекрасно знают.

Виноват... Я не совсем вас понимаю.

Я несколько знаком с токсикологией и сам в этой области немало поработал. Должен сказать, это область довольно темная, и я потому удивлен, что ваш эксперт так быстро и точно все выяснил и установил. Сложные анализы у нас длятся часто долгие недели. Есть к тому же немало алкалоидов, совершенно сходных по действию. Повторяю, наши познания в этой области еще очень не точны... Но это не мое дело, не буду вам мешать, — сказал Браун, приподнимаясь. — Прошу меня извинить, что отнял у вас время.

— Сделайте одолжение, — любезно произнес Николай Петрович. — То, что вы говорите, весьма интересно. Мне казалось бы, однако... Войдите!

— Вам, Николай Петрович, пакет, — сказал письмоводитель, слегка кланяясь Брауну и подавая следователю большой конверт. — Из сыскного отделения только что доставили, — добавил он и подумал, что в присутствии постороннего человека лучше было бы не произносить нехорошо звучащих слов «из сыскного отделения»: он чувствовал, что это немного неприятно Николаю Петровичу.

— Благодарю вас, — сказал поспешно Яценко. — Вы меня извините, — обратился он к Брауну, распечатывая

конверт ножом. Из пакета выпала фотография. Следователь бегло взглянул на Брауна. Тот сидел неподвижно. — Вы меня извините, — повторил Николай Петрович и быстро пробежал приложенную к фотографии бумагу... «Вполне тождественным признано быть не может...» — бросилась ему в глаза фраза, отпечатанная на машинке в разрядку.

— Очень неважная погода, — сказал смущенно Брауну письмоводитель.

— Очень неважная.

— Одно слово, Петроград.

Яценко, хмурясь, читал бумагу. Эксперт докладывал, что основная форма узора, петлевая, с косым направлением петель влево и с одной дельтой справа, сходна в обоих снимках. Но вилок во втором снимке было семь, островков пять, причем две вилки и один островок на снимках не вполне совпадали по положению. Вывод эксперта заключался в том, что при несомненном сходстве отпечатков они не могут быть признаны совершенно тождественными; некоторое расхождение может, однако, объясняться и недостаточной четкостью сохранившегося на бутылке отпечатка. Николай Петрович пожал плечами.

— Распишитесь, пожалуйста, за меня в приеме пакета, — сказал он письмоводителю.

Браун поднялся.

— Еще раз прошу извинить, что вас побеспокоил.

— Нисколько не побеспокоили, но удерживать не смею. Вы еще долго пробудете в Петербурге?

— Вероятно, долго. Я завален работой.

— Да, у вас и вид утомленный. Должно быть, и наш климат нелегко переносить после Европы. Отвратительная осень, давно такой не было.

Они, уже стоя, немного поговорили о политике, о Распутине, о близком и очень занимавшем всех открытии сессии Государственной думы.

— Я получил билет в ложу журналистов, вероятно, пойду, — сказал Браун.

— Как жаль, что я не могу пойти. Да, очень тяжелые времена. Удивительна слепота нашей власти и этих безответственных кругов. Казалось бы, ребенку ясно, что мы катимся в бездну.

— Катимся в бездну, — глухо повторил Браун.

XXIV

Искры рвались за пролетом вокзала, прорезывая клубы дыма, черные у отверстия труб, понемногу светлевшие повыше. Из-под вагонов поезда с непрерывным свистом выходил белый пар и редел, обволакивая вагоны. Пахло железнодорожной гарью. По лоснящемуся черной слякотью перрону пробегали нервные пассажиры. Господин с большой коробкой в руке догонял артельщика, быстро кативше-

го двухколесную тележку. Две дамы растерянно обнялись перед отворенной дверью вагона второго класса. Слышались отчаянные свистки. По соседнему пути локомотив медленно надвигался задним ходом на сверкавший огнями вокзал. Человек с лопатой в руках работал на полотне, повернувшись к поезду спиною. Мальчик из окна с радостным ужасом смотрел на полотно. По крайнему перрону угрюмо, не в ногу шли солдаты.

Федосьев, опираясь на палку, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед, к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, сказал вполголоса:

— В первом вагоне за машиной.

Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном.

— Александр Михайлович? Приятный сюрприз,— сказал удивленным тоном Федосьев, здороваясь.— Тоже в Царское?

— Нет, я в Павловск.

— Значит, до Царского вместе... Вы в этом купе? Разрешите и мне сесть здесь, благо никого нет.

— Сделайте одолжение... Я думал, вам полагается отдельное купе или даже отдельный вагон?

— Ну, вот еще. Я никому на вокзале и не говорил, что еду... Вам все равно — спиной к локомотиву? — спросил Федосьев, кладя портфель на диван и садясь.— Так вы в Павловск?

— Да, я туда езжу по понедельникам и четвергам. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске.

— Вот ведь какая приятная встреча,— повторил Федосьев.— А я звонил в «Палас», да вас дома не было... Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Вы курите? — спросил он, вынимая портсигар.— Я без папиросы не могу прожить часа... Так как же вы к нам изволили проехать? Через Англию и скандинавские страны?

— Да, на Ньюкестль-Берген.

— Значит, всякие видали государства, и воюющие, и нейтральные. Верно, и в Стокгольме задержались?

— Несколько дней.

— Стокгольм да еще Лозанна теперь интереснейшие города: гнезда всех агентур и контрагентур мира.

— Я недавно побывал и в Лозанне.

— Так-с?.. Да, вы могли многое видеть... Ну что, как там, у наших доблестных союзников?.. Заметьте,— вставил он с улыбкой,— у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные?

— Да, у нас, кажется, не дают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции.

— Именно. А может, тут природная русская насмешливость над всякой официальной словесностью. Ведь вовсе не французы, а мы самый насмешливый в мире народ... «Над чем смеемся?..» Хоть и правда, со стороны не совсем это понятно. Подумайте, ведь у них на западном фронте вся французская армия, вся английская, вся бельгийская, да еще разные вспомогательные войска, канадские, австралийские, индусские, алжирские — и все это против половины германской армии. А мы одни, и против нас другая половина немцев, да три четверти австрийской армии, да еще турки. Может быть, если на дивизии считать, это и не совсем так. Хоть верно почти так и на дивизии. Но публика судит без цифр. Отсюда и пошло: «доблестные союзники», «дом паромщика» и все такое.

— Зато у союзников дела лучше, чем у нас. У них фронт крепкий.

— Да, да, конечно... Хоть и не такие уж у них блестящие дела. Да и снарядов, и аэропланов у союзников не то что у нас, как кот наплакал. У них могучая промышленность, флот, американская база, а у нас ничего...

Послышались звонки, свисток кондуктора. Поезд покачнулся, вокзал медленно поплыл назад.

— И живем, однако,— сказал, устало глядя в окно, Браун.

— Дивны дела твои, Господи, живем! Вот только долго ли проживем?

— Вы думаете, недолго?

— Увы, не я один думаю, все мы смутно чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо: грациозно этак, на цыпочках в пропасть и спрыгнуть.

— Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти.

— Я, Александр Михайлович, не так уж типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть,— сказал Федосьев, ускоряя речь в темп ускоряющемуся ходу поезда.

— Вот как: «с позволения сказать»?

— Да, вот как. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом еще и держимся. Кто это, Тютчев, кажется, сказал, что функции русского Бога отнюдь не синекура?.. Впрочем, что ж говорить о нашем правительстве,— сказал он, нахмурившись.— О нем нет двух мнений. А я от нашей левой общественности тем, главным образом, и отличаюсь, что и в нее нисколько не верю. У нас, Александр Михайлович, военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не в ладах с законом, буржуазия не верит в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания... Эх,

да что говорить! — махнул рукой Федосьев. — Расползается русское государство, все мы это чувствуем.

— Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали в Петербурге. Напротив...

— Я говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было. Нам все виднее, чем другим, и многое мы такое знаем, Александр Михайлович, или хоть подозреваем, — вставил он, — о чем другие люди не имеют понятия. Те же, которые понятие имеют, те не догадываются, что мы это знаем...

Оба вздрогнули и быстро оглянулись в окно — по соседнему пути со страшной силой пронесся встречный поезд. Прошло несколько мгновений, рев и свист оборвались. Сверкнули огни, телеграфная проволока быстро поднялась и, подхваченная столбом, полетела вниз. Впереди простонал свисток.

— Да, многое мы видим и знаем, — повторил Федосьев.

— Жаль, однако, что ваше ведомство не дает более наглядных доказательств своей проницательности, — сказал Браун.

Федосьев посмотрел на него и усмехнулся.

— Дадим, дадим.

— Истории оставите?

— Истории мы уже оставили.

— Это что же, если не секрет?

— Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку, года три тому назад, поданную нашим человеком «в сферы», как пишут левые газеты. Вы, верно, о ней слышали: записка Петра Николаевича Дурново. Не слыхали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано, решительно все, что случилось в последние годы. Предсказана война, предсказана с мельчайшею точностью конфигурация держав: с одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария, с другой — Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. Он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешавшиеся. Предсказан ход войны, его отражение у нас, тоже совершенно точно. А кончится все, по его словам, революцией и в России, и в Германии, причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической: Государственная дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно... Вот так, Александр Михайлович, предсказывает человек! Насчет войны сбылось. Вдруг сбудется также о революции, и будем мы вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое как-никак просуществовало столетия.

— Это всегда говорят в таких случаях. Довод, извините меня, не из самых сильных.

— Будто? По-моему, в политике только одно и нужно для престижа: продержаться возможно дольше... На этом пролете, Александр Михайлович, между Петербургом и Царским, два века делается история. Не скажу, конечно, чтоб она делалась очень хорошо. Но ведь еще как ее будут делать революционеры? Я, слава Богу, личный состав революции знаю: есть снобы, есть мазохисты, преобладают несмышленыши.

— А то, вероятно, есть и убежденные люди?

— Да, есть, конечно, и такие. Родились, можно сказать, старыми революционерами. Немало и чистых карьеристов: революция — недурная карьера, разумеется, революция осторожная. В среднем, немного опаснее ремесло, чем, например, военная служба, зато насколько же и выгоднее, ведь повышение идет куда быстрее. Вы, например, с молодым князем Горенским не знакомы? Его все знают...

— Да, я с ним встречался.

— Значит, незачем вам доказывать, что это далеко не орел. А какую карьеру сделал! Его общественное положение: левый князь. Ведь, не будь он левым, быть бы ему секретарем миссии где-нибудь в Копенгагене или корнетом в гвардейском полку. А теперь всероссийская величина!

— Тогда мне не совсем ясно. отчего вы опасаетесь революции. Что ж такой мелкоты бояться?

— Да ведь с обеих сторон мелкота! — с силой в голосе сказал Федосьев. — Мне бы, пока не поздно, дали всю власть для последней схватки, я не очень боялся бы, уж вы мне поверьте!

Он раздраженно сунул папиросу в углубление под стеклом окна и тотчас закурил другую. Браун с любопытством на него смотрел. Синий огонек спички пожелтел и расширился, осветив бледное лицо Федосьева.

— Я, Александр Михайлович, своей среды не идеализирую, слишком хорошо ее для этого знаю. Но многое нам как будто и вправду виднее. Вы, верно, больше моего читали, много ли вы знаете в истории таких предсказаний? Согласитесь, это странно, Александр Михайлович: умные люди, ученые люди думали о том, куда идет мир; думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все «провидцы» попадали пальцем в небо. А вот не ученый человек, не мыслитель и не поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как по-писаному. Согласитесь, это странно: в мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких один оказался зрячий — простой русский охранитель.

— Да не миф ли эта записка?

— Нет, Александр Михайлович, не миф, когда-нибудь прочтете. Я вдобавок и сам не раз то же слышал от Петра

Николаевича... Знал я его недурно, если кто-либо его вообще знал... Немного он мне напоминает того таинственного насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах. Но умница он необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера и заслуживал ее, быть может, больше, чем ваш покорный слуга. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?

— Недурно, в самом деле. Только тогда опять-таки я не совсем понимаю: какой же он зрячий в мире слепых? Ведь слепые именно это и говорят, правда, не в частных беседах, а публично, за что зрячие иногда сажают их в тюрьму... Со всем тем, не спорю, вещь удивительная. Вождь реакционеров — в душе сторонник английского конституционного строя! Правду говорят, что Россия — страна неограниченных возможностей.

— Да, правду говорят... Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю: возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить: возможен, очень возможен. А то думаю другое: возможно ли в России восстановление крепостного права? И тоже вынужден честно ответить: отчего бы и нет, вполне возможно... Не все ли равно, какие домики строить из песка? У нас ведь все парадоксы. Мы и гибнем, если хотите, из-за парадокса... То, что сейчас политически необходимо, психологически совершенно невозможно — мир с Германией, — сказал Федосьев поспешно, точно не желая дать собеседнику возможность вставить слово. — А лагерь нашей интеллигенции весь живет в обмане, хуже, в самообмане, Александр Михайлович. У нас очень немногие твердо и точно знают, чего именно они хотят. Может быть, Константинополя и проливов, а может, социалистической республики? Или социалистической республики, но с Константинополем и с проливами? Каюсь, я не очень высоко ставлю нашу интеллигенцию. Могу о ней говорить правду: я сам русский интеллигент. Учился в русской гимназии, в русском университете, читал в свое время те же книги, которые все читали. Паскаля не читал, а Николая-она[1] читал... Вы смеетесь? Не верите, что читал? Даю вам слово, выписки делал.

— Вполне верю. Но ведь русская интеллигенция никогда не возбраняла читать и Паскаля. Если кто возбранял что бы то ни было читать, то никак не она.

— Это, конечно, правильно, но очередь на книги устанавливала не власть, а именно интеллигенция. Паскаль или,

[1] Николай-он — псевдоним Н. Ф. Даниельсона (1844—1918) писателя-экономиста, переводчика и популяризатора «Капитала» К. Маркса.

например, Шопенгауэр в мое университетское время значились в третьей очереди, если вообще где-либо значились. А вот Николай-он (его теперь и по фамилии никто не помнит) или позже какой-нибудь Плеханов, тех читать было так же обязательно, как, скажем, в известном возрасте познать любовь. Мы расшибали лбы, молясь на Николая-она!

— Не сами же все-таки расшибали? Может быть, вам кто-нибудь расшибал?

— Да, может быть, — рассеянно повторил Федосьев, теребя меховую шапку, лежавшую у него на коленях. — Может быть... Все было бы еще сносно, если б Николай-он-то хоть был настоящий. Боюсь, однако, когда-нибудь выяснится, что и Николай-он был подделкой. Боюсь, выяснится, что все, чем жила столько десятилетий русская интеллигенция, все было обманом или самообманом, что не так она любила свободу, как говорила, как, быть может, и думала, что не так она любила и народ и что мифология ответственного министерства занимала в ее душе немногим больше места, чем, например, премьера в Художественном театре. Люди сто лет проливали свою и чужую кровь, не любя и не уважая по-настоящему то, во имя чего это якобы делалось. Поверьте, Александр Михайлович, будет день, когда этот символический Николай-он окажется подделкой, самой замечательной подделкой нашего времени. Будем мы тогда, снявши голову, плакать по волосам... Верно, и тогда преимущественно по волосам будем плакать.

— Не понимаю, — сказал Браун, пожимая плечами. — Люди хотят свободы, им ее не дают да еще возмущаются, что они любят свободу недостаточно. Извините меня, при чем тут символический Николай-он? Допустим, в одном лагере знали только Николая-она. Да ведь и в лагере противоположном не все читали Шопенгауэра — больше Каткова и «Московские ведомости»...

— С этим я нисколько и не спорю. У нас, говорят, страна делится: «мы» и «они». Что ж, если они знают цену **нам**, то и **мы** еще лучше знаем цену им.

— Да вы вообще узко ставите вопрос, уж если на то пошло, — сказал Браун. — Почему русский интеллигент? Сказали бы в общей форме: человек есть животное лживое. Толку, правда, немного от таких изречений. Да и произносить их надо непременно по-гречески или по-латыни, иначе теряется эффект... Я, кстати, очень хотел бы знать, что такое русский интеллигент. Точно главные ваши вожди к интеллигенции не принадлежат. Обычно русскую интеллигенцию делят довольно произвольно, и каждый лагерь — ваш в особенности — берет то, что ему нравится. Казалось бы, всю русскую цивилизацию создала русская интеллигенция.

Федосьев опять засмеялся.

— Петр, например? — спросил он. — Правда, типичный интеллигент? А он ведь принимал участие в создании русской цивилизации... Любил ли он ее или нет, любил ли вообще Россию, твердо ли верил в нее и в свое дело, наш голландский император, это другой вопрос. Говорил по должности разные хорошие слова, но... Я шучу, конечно, какое может быть сомнение в самоотверженном патриотизме Петра? Вам не приходилось читать его последние указы? Они удивительны. В них такая душевная тоска и неверие, чуть только не безнадежность. Подумайте, и этакий великан у нас устал! Должно быть, у Петра под конец жизни немного убавилось веры. Во все убавилось, даже в науку, которую он так трогательно любил. Ведь этот гениальный деспот был, собственно, в известном отношении первым человеком восемнадцатого столетия, пожалуй, больше чем Вольтер. А вот на европейца все-таки не очень походил. Я думаю, его любимые голландцы на этого Саардамского плотника смотрели с большой опаской... Переодеваться в чужое платье мы любили испокон веков. У нас большинство великих людей, от Грозного до Толстого, обожали духовные маскарады. Москвичей в Гарольдовом плаще в нашей истории не перечесть. Вот только мода на плащи меняется...

— Никак я не предполагал, — сказал Браун, — что у людей власти может быть так развито чувство иронии, как у вас.

— Чувство иронии? — переспросил Федосьев. — Не скажу, что это смех сквозь слезы, уж очень было бы плоско. Что делать? И для смеха, и для слез у нас теперь достаточно оснований. Но для слез оснований много больше.

Они помолчали.

— Вы говорите, мы гибнем, — сказал Браун. — Возможно... Во всяком случае, спорить не буду. Но отчего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций. А наша — одна из величайших, одна из самых необыкновенных... На меня после долгого отсутствия Россия действует очень сильно. Особенно Петербург... Я хорошо знаю самые разные его круги. Многое можно сказать, очень многое, а все же такой удивительной, обаятельной жизни я нигде не видал. Вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения. Я порою представляю себе Помпею в ту минуту, когда вдали, над краем кратера показалась первая струя лавы.

— С той разницей, однако, что извержение вулкана вне человеческой воли и власти. У нас еще, пожалуй, все можно было бы спасти.

— Чем спасти? Князь Горенский, может быть, и глуп, но противопоставить ему у вас, по-видимому, нечего. Для власти всякий энтузиазм пригоден, кроме энтузиазма нигилистического. За Горенского, по крайней мере, история... Или вы тоже думаете, что все можно было бы спасти «мифологией ответственного министерства»?

— Как вам сказать? Я не отрицаю, что это один из выходов. Однако есть еще и другой... Трудно спорить, конечно, с историей, с миром. Но мой опыт — по совести, немалый — говорит мне, что устрашением и твердостью можно добиться от людей всего, что угодно.

— За чем же дело стало? Отчего не добились?

Федосьев развел руками.

— Какая же у нас твердость, Александр Михайлович? Да у нас и власти нет, у нас не правительство, а пустое место!

— Плохо дело, вы правы. Фридрих-Вильгельм жаловался на Лейбница: «Пустой человек, не умеет стоять на часах!» Никто не требует от наших министров, чтоб они были непременно Лейбницами. Но хоть бы на часах умели стоять!.. Впрочем, может быть, вас призовут в последнюю минуту?

— Поздно будет, — сказал Федосьев. — Да и не призовут, Александр Михайлович, — добавил он, помолчав, — вы напрасно шутите. Мое положение и то очень поколеблено, у журналистов спросите. Не сегодня завтра уволят...

Дверь отворилась. Кондуктор спросил билеты и с поклоном вышел.

— Ну, а как же на Западе, Александр Михайлович? — спросил Федосьев, взглянув на часы. — Иногда меня берет сомнение: много ли прочнее и Запад? Вдруг и в Европе решительно все возможно? Вы как думаете? Я Европу плохо знаю. Ведь и там революционные партии хорошо работают?.. Вы ко всему этому не близко стояли?

— К чему?

— К работе революционных партий. Наблюдали?

Браун смотрел на него с удивлением и с насмешкой.

— Конечно, как тут ответить? — приятно улыбнувшись, сказал после недолгого молчания Федосьев. — Если и стояли близко, то не для того, чтоб об этом рассказывать.

— Особенно государственным людям, — с такой же улыбкой произнес Браун.

— О, я ведь говорю только о наблюдении, притом об иностранных революционных партиях, их деятельность меня мало касается... Не настаиваю, конечно... Не скрою от вас, впрочем, что некоторые из ваших научных сотрудников меня интересовали и, так сказать, по делам службы. Да вот хотя бы дочь этого несчастного Фишера, о котором теперь так много пишут, она ведь у нас работала, — быстро сказал Федосьев, взглянув на Брауна, и тотчас продолжал: — Приходилось мне слышать и о вашем политическом

образе мыслей, вы из него не делаете тайны. И признаюсь, я несколько удивлялся.

— Можно узнать, почему? Тайны я не делаю никакой. Кое-что и писал... Не знаю, видели ли вы мою книгу «Ключ»? Она была перед войной напечатана, впрочем, лишь в отрывках.

— Я отрывок читал... Правда, это работа скорее философского характера. Надеюсь, вы пишете дальше? Было бы крайне обидно, если б такое замечательное произведение осталось незаконченным. Не благодарите, я говорю совершенно искренно... Удивлен же я был потому, что хотя по должности я, кажется, не могу быть причислен к передовым людям, но с мыслями ваших статей согласен — не говорю, целиком, но, по меньшей мере, на три четверти.

— Я очень рад, — сказал, кланяясь с улыбкой, Браун. — Поистине это подтверждает ваши слова о том, что в России юристы не верят в закон, капиталисты — в право собственности и т. д. Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения: в политической работе и в частной жизни. И ни один искренний политический деятель против этого возражать не будет.

— Вы думаете? Однако возвращаюсь к вам. Со взглядами, изложенными в ваших статьях, конечно, трудно править государством, но участвовать в революции, по-моему, еще труднее.

Впереди прозвучал свисток локомотива. На лице Федосьева скользнула досада. Поезд замедлил ход. Сквозь запотевшие стекла стали чаще мелькать огни, показались вереницы пустых вагонов.

— Вот и Царское, — сказал с сожалением Федосьев, протирая перчаткой запотевшее стекло. — Так и не удалось побеседовать с вами... До другого раза? — добавил он полувопросительно и, переждав немного, спросил: — Не сделаете ли вы мне удовольствие как-либо пообедать со мной или позавтракать?

— К вашим услугам. Спасибо.

— Вот и отлично... Вам все равно, у меня или в ресторане? Если, конечно, обед у меня не слишком повредит вашей репутации, — сказал, улыбаясь, Федосьев.

— Мне все равно.

— Очень хорошо. Я вас предуведомлю заблаговременно.

Он встал, простился с Брауном и, опираясь на палку, вышел на площадку вагона. Поезд с протяжным свистком остановился. Федосьев нетерпеливо надавил ручку тяжело поддававшейся двери. Ветер рванул сбоку, слепя глаза Федосьеву. Он, ежась, надвинул плотно меховую шапку и осторожно сошел по мерзлым ступеням на слабо освещенный перрон. Шел снег крупными тающими хлопьями. Носиль-

щик бежал вдоль поезда, вглядываясь в выходивших пассажиров. В окнах вокзала светились редкие огни. Где-то впереди рвались красные искры. За ними все утопало в темноте.

XXV

— Так ты заедешь к Нещеретову? — значительным тоном спросила в передней мужа Тамара Матвеевна. — Пожалуйста, не забудь: в любой день, кроме среды на будущей неделе. Не забудь также сказать о нашем спектакле. Может быть, ему будет интересно...

— Да, да, я не забуду, — с легким нетерпением ответил Кременецкий, надевая шубу. Тамара Матвеевна оправила на нем воротник и поцеловала мужа в подбородок.

— Застегнись, ради Бога, ужасная погода. Теперь у всех в городе грипп.

— Пустяки... До свидания, золото...

Раздался звонок. Горничная отворила дверь и впустила людей, которые, тяжело ступая, внесли в переднюю какую-то огромную деревянную штуку.

— Это еще что? — с неудовольствием спросил Семен Исидорович, глядя на неклонявшихся, угрюмых носильщиков, топтавших и пачкавших мокрыми сапогами аккуратную дорожку на бобрике передней.

— Ах, это рама, — заторопившись, сказала Тамара Матвеевна. — Это для нашего спектакля. Пройдите, пожалуйста, туда... Маша, проводите же их...

Семен Исидорович слегка пожал плечами и направился к двери, с демонстративной досадой обходя носильщиков, как если бы они совершенно загораживали выход. Спектакль устраивался с разрешения и даже с благословения главы дома; однако Кременецкий всегда в подобных случаях принимал такой тон, точно все приготовления очень ему мешали и были вдобавок совершенно не нужны: спектакль мог отлично устроиться сам собою. Семен Исидорович следовал этому тону больше по привычке, но Тамара Матвеевна невольно ему поддавалась и чувствовала себя виноватой.

Своей быстрой походкой энергичного делового человека Кременецкий спустился по лестнице. На улице он с обычным удовольствием окинул хозяйским взглядом лошадей, кивнул жене, смотревшей на него из освещенного окна, сел в сани и сказал кучеру:

— С Богом!

Визит к Нещеретову, которого он должен был пригласить на обед, был не совсем приятен Семену Исидоровичу. Дон Педро не ошибался. Кременецкий действительно подумывал о том, что хорошо было бы Мусе выйти замуж за Нещеретова. Семен Исидорович, однако, не подозревал, что эти его тайные планы могут быть кому бы то ни было

известны. И вправду, трудно было понять, откуда пошел о них слух: ничего для осуществления своей мысли Кременецкий еще не сделал, да и самая мысль была довольно смутной. Семен Исидорович в глубине души несколько ее стыдился, хотя Нещеретов был блестящей партией. Разве только по годам он не совсем подходил для Муси. Ему было лет тридцать восемь, а то и все сорок. Но разница в возрасте в пятнадцать, даже в двадцать лет между мужем и женой была довольно обычным явлением, и к рано женящимся мужчинам в Петербурге относились шутливо, особенно в том обществе, в котором жил Кременецкий. Сама Муся постоянно говорила, что для нее мужчины моложе тридцати лет «вообще не существуют», она и называла их пренебрежительно мальчишками. Семен Исидорович отлично знал, что женитьба Нещеретова на Мусе вызвала бы в их кругу взрыв зависти. Это было приятно. С особенным удовольствием Кременецкий представлял себе лицо Меннера, когда он получит французскую карточку с извещением о помолвке Муси. И все-таки Семену Исидоровичу было немного совестно. «Человек с положением Нещеретова не может не иметь врагов и завистников, все равно как я. Это более чем естественно при его сказочном богатстве, — думал Кременецкий. — Но ничего плохого никто о нем сказать не может...»

Нещеретов вышел в большие люди лишь в последнее время, особенно со второго года войны, на которой он наживал огромные деньги. Говорили, что он **зарабатывал** не менее миллиона рублей в месяц — счет его доходам велся уже не по годам, а по месяцам. Дела у него были самые разнообразные. Он изготовлял снаряды, приобретал и перепродавал нефтяные, суконные, металлургические предприятия, скупал дома, имел в каком-то банке «контрольный пакет» (слова «контрольный пакет» произносились не очень осведомленными людьми с некоторым испугом, совсем же неосведомленные не сразу могли догадаться, что это такое). Каждый день приносил новые известия о Нещеретове. Последнее из них заключалось в том, что он хочет играть политическую роль. Это, впрочем, особенного удивления в обществе не вызывало: как раз в то время чуть ли не все петербургские банкиры и промышленники почему-то стали подумывать о политической роли, открывали политические салоны, покупали газеты, финансировали разные партии или давали взаймы деньги влиятельным людям.

— Для Нещеретова выбросить миллион-другой на газету — все равно что, например, мне, рабу Божьему, дать на общественное дело десять или двадцать тысяч рублей — скромно, но с сознанием собственного своего немалого положения говорил накануне в обществе по поводу этого слуха Семен Исидорович. — Я знаю из достоверного источника, что он давно перевалил за пятьдесят миллионов. Скоро его и за сто не купишь. Время деньгу дает.

Слышавший его слова старый финансовый туз немедленно изобразил на лице насмешливую улыбку, давние петербургские богачи вообще с подчеркнутой иронией относились к Нещеретову, к его делам и богатству.

— Помяните мое слово, — сказал доверительным тоном финансист, — этот блеффер кончит крахом и страшнейшим скандалом. У него пассив превышает актив и, если как следует разобраться, то ни гроша за душою.

Семен Исидорович, однако, ясно чувствовал, что его собеседник сам не вполне уверен в своей иронической улыбке и что за ней скрывается тревожная мысль: «Черт его знает, может, блеффер, а может и не блеффер: вдруг и в самом деле пятьдесят миллионов? Теперь все возможно...» (Фразу «теперь все возможно» по самым разным поводам произносили в последнее время все.) Люди, не принадлежавшие к финансовому миру, но тесно с ним соприкасавшиеся, как Кременецкий, плохо верили, что можно, не имея ни гроша, скупать десятками дома и заводы.

О Нещеретове по столице ходило много анекдотов. В прежние времена их охотно повторял и сам Семен Исидорович. Теперь это было ему неприятно, и, слушая такие рассказы, он снисходительно смеялся, а затем уверенно заключал: «Разумеется, это вздор! Нещеретов — культурнейший человек, европеец в полном смысле слова. Однако se non è vero...» [1]

Нещеретов и в самом деле был европейцем. Происхождения он был довольно темного, но говорил прилично на трех языках, прекрасно одевался, брил усы и бороду, занимался боксом, фехтованием и другими видами спорта, мало принятыми в России. «Нет, плохого ничего нет. Это во всяком случае, человек с большими достоинствами, — неуверенно думал Кременецкий. — Да, конечно, он страшно богат, но, слава Богу, я не продаю Мусю... Мы выше злобствований разных клеветников и завистников, на них нечего обращать внимание. Муся и сама не бедна. Хотя, конечно, что такое ее приданое по сравнению с этим сказочным богатством».

Кременецкий рассчитывал дать дочери в приданое сто тысяч рублей, а, если она выйдет еще не скоро, то и двести, разумеется не так просто, наличными на руки мужу, а закрепив и обеспечив за Мусей деньги. Это была немалая сумма, и доход с нее мог быть прекрасным подспорьем для молодой четы. Семен Исидорович с гордостью вспоминал, что сам он женился, ничего не имея, на девушке без состояния, вначале им приходилось довольно туго. «Да, прекрасное подспорье, но жить на это нельзя, по крайней мере, так, как Муся привыкла жить у меня», — подумал он, хотя, собственно, Муся не могла привыкнуть у него к роскош-

[1] «Если это и неправда...» Полностью итальянская поговорка такова: «Если это и неправда, то хорошо выдумано».

ной жизни: Семен Исидорович еще не очень давно был небогатым человеком; его образ жизни лишь в последние годы стал быстро меняться. Никонов острил, что к сорокапятилетию Тамары Матвеевны муж купил ей фамильное серебро, эта шутка стоила бы должности Григорию Ивановичу, если б стала известна его патрону. «Для Нещеретова и сто, и двести тысяч ровно ничего не составляют. Ему, разумеется, ничего не надо было дать, просто смешно было бы», — сказал себе Кременецкий. Но это соображение не имело для него значения: Семен Исидорович не был скуп. «Да, бесспорно, Нещеретов — замечательный человек... Он будет когда-нибудь министром, и, быть может, скоро... Чем черт не шутит!»

Нещеретов держался значительно более правых взглядов, чем Семен Исидорович. Однако это обстоятельство было скорее приятно Кременецкому. Он даже хотел бы, чтобы его зять делал «бюрократическую карьеру». У некоторых людей, близких по кругу и по взглядам Семену Исидоровичу, были родственники с немалым служебным и даже придворным положением, но родство с ними только увеличивало престиж этих людей.

«Разумеется, не в деньгах счастье и Муся нуждаться у меня не будет. Главное, чтоб они понравились друг другу. Но разве такой ребенок, как Муся, может знать цену людям, может разбираться в чувствах? И разве она понимает, как скрашивает жизнь богатство», — думал Кременецкий с легкой, чуть горькой, чуть растроганной улыбкой человека, который не отказался от идеалов молодости, но, умудренный жизнью, научился делать к ним поправки. Хотя Семен Исидорович часто с умилением говорил о золотых днях юности и о радужной весне жизни, он был теперь гораздо самоувереннее и потому счастливее, чем в молодые годы. Искренне любя дочь, Кременецкий не мог не желать ей выйти замуж за богача. «Конечно, все это, в сущности, еще вилами по воде писано. Муся для него приличная партия, и только. Может, он княжну ищет, — с неприязненным чувством подумал Семен Исидорович. — От обеда он, конечно, не откажется... А вдруг откажется? — мелькнула у него тревожная мысль. — Очень это досадно, что он как раз уехал в Москву, когда у нас был раут. Нет, от обеда он не может отказаться».

Эти соображения и то, что в связи с ними требовалось делать, были неприятны Кременецкому, так все это не походило на его обычные мысли и занятия. Посоветоваться было не с кем. Тамара Матвеевна знала о планах мужа, думала о них точно такими же мыслями, как он, и умилялась, что столь замечательный человек входит в дела, вполне доступные ее собственному разуму. Она первая и навела мужа на эти мысли, сказав ему вскользь после какого-то вечера, что Муся, кажется, очень нравится Нещеретову. По-настоящему они, однако, об этих планах никогда не говорили.

Дня за два до того Кременецким во время обеда принесли от Нещеретова билеты на концерт, устраиваемый в пользу благотворительного общества, во главе которого он стоял. Тамара Матвеевна так поспешно и с таким значительным видом предложила послать двести рублей, что Семен Исидорович почувствовал некоторую неловкость. Обычно в подобных случаях они давали от десяти до пятидесяти рублей, в зависимости от того, кто присылал билеты. Кременецкий, однако, немедленно согласился с женой, быстро перевел разговор на другой предмет и после завтрака, не глядя на Тамару Матвеевну, дал ей для отсылки две сторублевые ассигнации.

Муся лишь чуть заметно улыбнулась при этом разговоре. Ей родители о замужестве вообще никогда не говорили. У них давно было решено, что если заговорить с Мусей о том, как выдать ее замуж, то произойдет нечто страшное, настолько далека девочка от таких мыслей. В действительности Муся немедленно догадывалась о семейных планах, но не показывала вида, что догадывается: так было удобнее и спокойнее. Она очень трезво с разных сторон обдумывала всякую намечавшуюся у родителей комбинацию. Нещеретов не нравился ей и не был ей противен. Однако эти планы сразу показались Мусе несерьезными, и она почти не остановилась на них в воображении. Ей даже захотелось было сказать отцу, чтобы он не тратил даром времени. Но такое замечание, очевидно, открыло бы возможность разных ненужных и неприятных разговоров и сразу вывело бы ее из удобной роли девочки, стоящей бесконечно далеко от подобных дел. Муся ничего не сказала.

XXVI

Сани съехали на мост. Подуло холодом. Семен Исидорович, ежась и прижимая руки к груди, плотнее запахнул шубу и окинул взглядом сверкавшие огнями дворцы, испытывая, как всегда, привычное петербуржцам чувство гордости столицей и Невою. Кременецкий жил в большой квартире, в одной из хороших частей города, но мечтой его было поселиться на набережной в собственном доме. Лет через пять эта мечта могла осуществиться — дела Семена Исидоровича шли все лучше. Мысли Кременецкого перешли на новый предмет, на дело о смерти Фишера. Семен Исидорович достаточно часто выступал в сенсационных процессах. Но почему-то это дело чрезвычайно его занимало. Улики против Загряцкого, известные Кременецкому из газетных сообщений, казались ему не слишком тяжелыми. При чтении газет у Семена Исидоровича невольно складывался план защиты. В последние дни он не раз подолгу возвращался мысленно к этому делу, точно Загряцкий уже пригласил его в защитники. В жизни Кременецкого, как

у многих деловых и занятых людей, праздные мечтания занимали немало места.

Большая публика, постоянно встречая имя Кременецкого в газетах, относила Семена Исидоровича к верхам столичной адвокатуры. В адвокатских кругах, однако, знали, что он к настоящим верхам не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Наиболее заслуженные, выдающиеся адвокаты считали его красноречие несколько провинциальным по тону и относились к нему иронически. Но одно свойство его таланта — мастерство и блеск характеристик — признавали все второстепенные адвокаты. Семен Исидорович очень любил свою признанную особенность и порою в застольных речах или в разговорах скромно вскользь упоминал о своих «судебных характеристиках, к которым так незаслуженно благосклонно относятся товарищи, равно как и некоторые наши виднейшие судьи, мнение которых мне особенно дорого». Или говорил о том, что он «обычно, по крайней мере в лучших своих делах, исходил не столько из фактов, сколько из образов». Этих образов он, собственно, почти не выдумывал, он как-то бессознательно их заимствовал из неизвестно кем составленной сокровищницы, к которой имел доступ.

Так и при первом знакомстве с делом Загряцкого образы у Семена Исидоровича наметились сами собой и мгновенно облеклись в надлежащую словесную форму. Загряцкий был «выходец из отжившего класса, человек, ушибленный жизнью, однако не лишенный благородных зачатков, слабый, безвольный, бесхарактерный тунеядец — да, если угодно, туне-ядец, господа присяжные, в самом буквальном смысле этого старого прекрасного нашего слова, человек, втуне вкушающий хлеб, втуне коротающий никому не нужные дни, человек, втуне живущий, не знающий цели жизни, чуждый ее высшим запросам, но не убийца, нет, не убийца, кто угодно, что угодно, но не убийца, нет и тысячу раз нет, господа судьи, господа присяжные заседатели!»... Противоположностью Загряцкому был Фишер, «энергичный, самоуверенный, боевой делец, стрэглысфорлайфер[1] западной складки, европеизированный, или точнее, американизированный, Колупаев, старый русский Колупаев в новом виде, выбритый, надушенный, отесанный, но зато и лишившийся того немногого, что было ценно, что было привлекательно в Колупаевых и Разуваевых — их здоровья, их силы, происходящей от близости к толще народной, — да, надвигающийся на нас, грозный, интернациональный, я чуть было не сказал, космический Колупаев, скрывающий под безукоризненным фраком, под белоснежной манишкой где-то в глубине заложенный очаг душевного гниения»... Все это можно было ярко развить и разработать. Загряцкий был «чичероне Фишера в вихре столично-

[1] Борец за существование *(англ.)*.

го разгула, в пьяном угаре кутежей, своего рода Вергилий при этом малопривлекательном Данте, — с горькой усмешкой говорил на суде Кременецкий, — да простит мне неподобающее сравнение тень великого поэта»...

Здесь Семен Исидорович предполагал нарисовать мрачную картину столичного притона, квартиры, в которой был найден убитым Фишер, изобразить в допустимых пределах то, что там происходило и что, «словно в насмешку над священной колыбелью человеческой культуры, над сокровищницей светлого духа Эллады, называлось афинскими вечерами». Затем он переходил от образов к разбору улик. В этой части его речи тон должен был совершенно перемениться, он становился строго-деловым и лишь порою негодующе-ироническим — в тех местах, где надлежало коснуться результатов следствия. Разбирая одну за другой все улики против Загряцкого, Кременецкий отказывался заниматься вопросом, кто убил. Он только бросал самые общие намеки. Убить Фишера могла в порыве отчаяния одна из женщин, которых он лишал образа и подобия человеческого, мог убить его на почве мести, ревности, денежных расчетов или шантажа сутенер, приведенный женщинами. «Что сделало следствие в этом направлении, господа судьи? Ничего, ничего и трижды ничего!..»

Наконец, в заключение Кременецкий хотел бы осторожно, но достаточно ясно коснуться общественно-политической стороны дела об убийстве Фишера. «Эта бульварная драма могла разыграться лишь в нездоровой общественной атмосфере, которою, увы, все больше живет, все тяжелее дышит град Петра и даже вся наша многострадальная родина, господа присяжные заседатели» (Семен Исидорович имел в виду «распутинщину»). Здесь явно нужен был особый ритм, мощный подъем речи. Семен Исидорович часто называл себя последователем Плевако, что чрезвычайно раздражало людей, которые Плевако знали и слышали. В разговорах о своем «учителе» Кременецкий всегда закатывал глаза и называл его по имени-отчеству — Федор Никифорович, все равно как люди говорят просто — Лев Николаевич. Ритм конца своей речи Кременецкий намечал в духе знаменитейших речей Плевако. Особенно нравилось ему: «Выше, выше стройте стены, дабы не видно было совершающихся за стенами дел!» — именно что-либо такое следовало бы пустить и здесь. Но Семену Исидоровичу и в мечтах еще было неясно, какие тут могли бы быть стены и кому, собственно, надлежало их строить. Кроме того, обличительное заключение речи зависело и от того, кто будет председательствовать. «Если Горностаев, то не очень разговоришься», — подумал огорченно Кременецкий.

Замечтавшийся Семен Исидорович вдруг с досадой вспомнил, что дела этого он еще не получил и, весьма возможно, не получит, — легко могла пропасть даром вся потраченная работа мысли и художественного инстинкта. Не-

довольно морща лоб, Кременецкий взглянул на часы. Дни Семена Исидоровича были строго распределены в записной книжке по часам, если не по минутам, и эта перегруженность делами, приводившая в отчаяние Тамару Матвеевну, составляла одну из главных радостей его жизни, летом на курортах после недели-другой отдыха он неизменно начинал скучать.

В этот день Кременецкий не выступал ни в суде, ни в сенате. Он все утро дома принимал клиентов, затем после завтрака долго работал со своим помощником Фоминым, которого он ценил больше, чем Никонова. Семен Исидорович был уверен, что помощники боготворят его, и тон Фомина в деловых разговорах поддерживал в Кременецком эту уверенность. Впрочем, Фомин действительно отдавал должное ораторскому таланту и познаниям Кременецкого, а еще больше его умению держать себя с богатыми клиентами: Семен Исидорович, часто выступая бесплатно по делам бедных людей, с богатых брал все, что можно было взять; но всегда выходило так, точно он оказывал им одолжение, принимая на себя их дела или становясь их юрисконсультом.

Закончив работу с Фоминым и по случайности располагая двумя часами свободного времени до вечернего приема, Семен Исидорович и решил сделать нужный визит. Нещеретов жил в отдаленной от центра части города, что очень огорчало многочисленных маклеров, комиссионеров и других людей, имевших с ним дела, он и свою контору поместил в особняке, в котором жил. Это было не по-европейски и не по-американски, но и в этом как бы чувствовалось могущество, сознание того, что к нему все придут куда угодно: не ему нужны люди, а он им нужен. То же ощущение большой силы Семен Исидорович испытал при виде двухэтажного дома, перед которым стояло несколько автомобилей и экипажей. «Совсем министерство, только будочников не хватает»,— подумал Семен Исидорович. В доме был ярко освещен весь первый этаж, в котором помещалась контора. «Верно, он еще за работой,— сказал себе Кременецкий, входя в огромную стеклянную дверь.— Так и у Ротшильдов на банке нет никакой вывески...»

Внутри тоже было как бы министерство: в залах сложного устройства за полированными, красного дерева столами работали десятки людей; другие люди в шубах и калошах, дожидаясь, сидели на скамьях вокруг мраморных колонн; трещали телефоны, стучали пишущие машинки, мальчики пробегали из одного отделения в другое. Слева из-за решетки, на которой была надпись «Касса № 2», мимо Семена Исидоровича быстро куда-то проскользнула по длинной проволоке корзинка с бумагами. Кассир сбоку сердито выкрикнул номер, так что Семен Исидорович вздрогнул. Какая-то дама сорвалась со скамейки у колонны, взглянув на металлическую пластинку в руке, и поспешно

направилась к кассе. «А тот говорит: ни гроша за душою!» — подумал благодушно Кременецкий. Он спросил у служителя в ливрее, как пройти в кабинет Аркадия Николаевича, и узнал что Нещеретов принимает у себя наверху.

— Только ежели вам не назначено, то принять не могут, — сказал швейцар, в тоне которого также чувствовалось могущество фирмы. Седые бобры Кременецкого, видимо, не произвели на него впечатления.

В это время один из главных служащих, немного знакомый с Семеном Исидоровичем, увидев его, вышел из стеклянной камеры, любезно с ним поздоровался и, узнав, что он по личному делу к Нещеретову, посоветовал послать наверх визитную карточку.

— Вас, **вероятно**, Аркадий Николаевич примет, — сказал он. Мальчик взял карточку, которую не без тревоги вручил ему Кременецкий, побежал с ней из залы. Знакомый Кременецкого, как оказалось, состоял **вице-директором** в одном из предприятий, помещавшихся в этом здании.

— Да, у вас настоящее министерство, — сказал, улыбаясь, Семен Исидорович.

— В нынешней атмосфере лучше работать здесь, чем в министерстве, — сказал вице-директор, пользуясь случаем для того, чтобы поговорить о политическом положении с известным адвокатом. Слегка понизив голос, он рассказал, что на днях собственными глазами видел записку Распутина, адресованную через просителя одному из министров: «Милай сделай Григорий». — Вот как нынче дела делают! Хорошо, правда?

— Да, недурственно, — ответил, пожимая плечами, Кременецкий.

Он вспомнил ходившие по городу слухи, будто сам Нещеретов не то завязал, не то хочет завязать связи с Распутиным.

— Положительно надо удивляться слепоте этих людей, — сказал он. — Ведь дошутятся... Шутил Мартын и свалился под тын...

— Именно, — подхватил вице-директор. — Лично я вижу выход только в ответственном министерстве.

— Во всяком случае, без устранения всей этой камарильи, без привлечения живых сил страны... — начал Семен Исидорович, но к ним как раз подбежал мальчик, относивший карточку.

— Пожалуйте, — сказал он.

Семен Исидорович вздохнул с облегчением: ему было бы неловко и перед вице-директором, и перед самим собой, если б Нещеретов его не принял.

— Да, как бы не свалились под тын, ушибиться можно, — сказал он и, пожав руку своему собеседнику, пошел вслед за мальчиком. Они поднялись во второй этаж по ярко освещенной лестнице, по сторонам которой стояли огромные фигуры закованных в латы рыцарей.

XXVII

Лакей саженного роста по звонку встретил с поклоном Кременецкого на верху лестницы проводил его в гостиную зажег огромную хрустальную люстру и попросил гостя немного подождать Эта большая комната была обставлена старинной мебелью Семен Исидорович кивнул головой Он твердо отстаивал свое право на style moderne но знал что старинная мебель все же считается выше и догадывался в какие деньги влетели Нещеретову эти ободранные кресла и диваны В доме небогатого человека рваный шелк засаленные обюссоны[1] показались бы Кременецкому просто рваными засаленными но у такого богача как Нещеретов не могло быть ненастоящей мебели как не могло быть у него дешевых то есть дурных картин на стенах Семен Исидорович старательно залюбовался одной «бержерой»[2] которую без большой уверенности отнес к стилю Louis XVI Эту «бержеру» он предполагал особенно выделить и похвалить если б с хозяином зашел разговор о мебели Кременецкий прошелся раза два по комнате осмотрел все картины под которыми можно было кое как разобрать подпись и затем сел в менее ободранное кресло

Настроение у Семена Исидоровича ухудшилось Его заставляли ждать от чего он несколько отвык Визит внезапно показался ему глупым ненужным даже несколько унизительным и для него самого и для Муси — Кременецкий нежно любил дочь «Ну догадаться он правда не может — морщась, подумал Семен Исидорович — Да и не о чем ему догадываться какой вздор! Понравятся они с Мусей друг другу — хорошо а не понравятся — слава Богу и без Нещеретова проживем В конце концов это все таки разбогатевший спекулянт и только Торгует Россией оптом и в розницу » — сказал себе Кременецкий думая с раздражением что ждет не менее пяти минут (на самом деле он ждал минут десять) Дверь наконец отворилась и на пороге появился хозяин странно одетый не то в белый костюм не то в белье необычного вида

— Очень рад прошу меня извинить — сказал он чрезвычайно крепко пожимая руку гостю — Я в эти часы всегда занимаюсь гимнастикой Пожалуйте сюда

Они вошли в ярко освещенную комнату Семену Исидоровичу бросились в глаза гири шары какие то странные сооружения и у одного из них дон Педро с приятной улыбкой протягивавший Кременецкому обе руки «Этот что здесь делает?» — с усилившимся чувством раздражения подумал Семен Исидорович Вид дон Педро был ему неприятен — оттого ли что его заставили ждать ради такого незначительного человека или потому что Альфред Исаевич был этому свидетелем Кременецкий сухо поздоровался с журна

---

[1] Диванный валик *(фр)*

[2] Глубокое кресло *(фр)*

листом, ничего не ответив на его слова: вот так приятная встреча!

— Всегда в эти часы занимаюсь гимнастикой, — повторил Нещеретов, показывая гостю на стул и садясь в странное сооружение: это была лодочка, поставленная на рельсы, которые наклонно шли от пола почти до потолка комнаты. — Рекомендую и вам... Р-раз! — Он налег на весла, лодочка высоко взлетела вверх по рельсам и затем плавно спустилась. Кременецкий смотрел на хозяина с изумлением. — Два, — с удовольствием сказал Нещеретов. — И три!..

Дон Педро даже крякнул от удовольствия. Гимнастика сама по себе мало его соблазняла, но ему все нравилось в том, как живут богачи.

— Это, должно быть, очень здорово, — сказал он. — Ну, не буду вам мешать, — добавил он, вопросительно глядя на хозяина и, видимо, ожидая, что его пригласят остаться.

— Я **ему** интервью дал об англо-русских отношениях, — сказал с усмешкой Нещеретов. — Пусть подработает малость.

Неприятное чувство у Семена Исидоровича все росло. Ему было досадно, что дон Педро обратился за интервью к Нещеретову: богатые люди без общественно-политического ценза не должны были вторгаться в ту область, которая составляет достояние верхов интеллигенции.

— И чрезвычайно интересное интервью, — подтвердил Альфред Исаевич. — В высшей степени конкретное, с цифрами и выкладками, ввоз, вывоз... Просто удивительно, как вы все это помните... Это будет интереснейшее интервью в моей коллекции... Вместе с вашим, Семен Исидорович, — любезно добавил он.

— А, у **него** уже были, — сказал Нещеретов и снова взлетел на лодочке. «Однако довольно неотесанный человек! Нет, я не допущу, чтобы Муся за него вышла, — подумал Семен Исидорович, точно кто-то другой убеждал его согласиться на этот брак. — Надо оставаться в своем кругу... Он мог бы, кстати, гимнастику свою отложить и переодеться. Невоспитанный человек!»

— Так я не буду вам мешать, господа, — повторил дон Педро. Он повернулся боком, откинул назад голову и, слегка прищурившись, слабо толкнул кулаком черный резиновый шар для бокса, стоявший на гибком металлическом пруте. Шар отскочил, отскочил и Альфред Исаевич. — Очень здорово. Ну, мне пора в редакцию. Еще раз спасибо от имени нашей газеты.

— Только одно, ничего не привирать в интервью, — сказал с усмешкой Нещеретов. — От себя что хотите, а за меня уж, пожалуйста, собственными моими словами.

Альфред Исаевич слегка засмеялся. Видимо, и его немного покоробило это замечание.

— Будьте покойны. Точность информации принадлежит к лучшим традициям нашей газеты.

Он простился и вышел почему-то на цыпочках, плотно притворив за собой дверь.

— Хорош гусь! — сказал хозяин, выходя из лодочки и вытирая лоб полотенцем. — Они-то создают репутации... Так он и у вас был за интервью?

— Да, полчаса отнял, злодей. Но как от них отделаешься?

— Шестая держава, — подтвердил хозяин, садясь. — Вы меня, пожалуйста, извините, что так вас принимаю. Я человек привычек. Чаю не прикажете ли? Ваша супруга как изволит поживать?

— Тамара Матвеевна? Слава Богу, здорова.

— А Марья Семеновна все хорошеет, — сказал, улыбаясь, Нещеретов. — Имел удовольствие ее видеть в театре, на «Борисе Годунове». Хорош Шаляпин, ох, хорош!

— Федор Иванович? — небрежно вставил Семен Исидорович. — Да, другого такого днем с огнем не сыщешь. Здесь в искусстве предел, его же не прейдеши. Он у нас на днях был и пел, пел, как сорок тысяч сирен. Жаль, что вас не было в Питере.

— Да, я в Москву уезжал. Оппозицию всю московскую видел, будущее наше правительство. Что ж, дай им Бог! Дело говорят люди... Не во всем, разумеется...

Чувство обиды у Семена Исидоровича понемногу прошло, особенно после того, как Нещеретов сразу и очень охотно принял приглашение на обед. Разговор стал весьма приятным. Семен Исидорович нашел случай вскользь и кстати упомянуть о близком своем знакомстве с известнейшими политическими деятелями, дав понять, как высоко они его ценят. Нещеретов, внимательно его слушавший, тоже знал этих людей. Его замечания о них показались Кременецкому неожиданными, но верными и меткими. «Очень неглупый все-таки человек, надо ему отдать справедливость», — подумал Семен Исидорович. Он заметил, что об этих деятелях, левых и правых, Нещеретов говорит не совсем так, как о большинстве своих знакомых. В тоне его звучало уважение, быть может, относившееся к тому, что людей этих нельзя было купить при всем богатстве Нещеретова. Разговор коснулся войны, общего политического положения. Кременецкий неожиданно перешел на роль слушателя — это с ним в обществе случалось редко. Нещеретов говорил так умно, хорошо и интересно, что Семен Исидорович просто заслушался. «Нет, право, умница, — сказал он себе. — Если его отшлифовать как следует, будет фигура...» Кременецкий и не заметил, как в разговоре прошло полчаса. Он раза два приподнимался, чтобы уйти, но Нещеретов все просил посидеть еще — во второй раз он мог этого не делать, и Семен Исидорович, уже вполне растаявший, оценил любезность хозяина.

— Да, тяжелые времена. Народ наш говорит: «Дай-то, Боже, чтобы все было гоже», — сказал со вздохом Креме-

нецкий и встал в третий раз окончательно.— Нет, мне недосуг, у меня вечерний прием... Пожалуйста, не трудитесь меня провожать, я найду дорогу,— Семен Исидорович не был уверен, что хозяин его проводил бы без этой просьбы.— Так вы не забудете? В семь часов, пожалуйста.

Нещеретов, чуть прищурившись, смотрел на него с той же, вновь выступившей усмешкой.

— Забыть едва ли забуду, а для верности в тот день не поленитесь, протелефоньте мне,— произнес он, и внезапно что-то в его усмешке, в сказанной им фразе, в слове «протелефоньте» опять кольнуло Кременецкого. Нещеретов проводил его до лестницы, и Семен Исидорович уехал, вполне довольный визитом, собственный экипаж вдобавок всегда успокаивал его нервы. «Да, странный человек, но умница, настоящий самородок»,— думал он на обратном пути.

Нещеретов оделся, вышел в свой рабочий кабинет и, усевшись за огромный письменный стол, стал внимательно просматривать приготовленные ему секретарем документы — отчет и устав намеченного к покупке сахарного завода в одной из южных губерний. Он никогда не видал этого завода, да и не предполагал его осматривать, зная, что завод останется в его владении очень недолго. Главным источником обогащения для Нещеретова в пору войны была покупка и перепродажа разных предприятий, которым он в короткое время умел придавать двойную, а то и тройную цену. Нещеретов читал отчет, как командующий войсками в ставке читает донесения подчиненных с фронтов. Цифры, разделы отчета, слова «амортизационный капитал», «запасный капитал», «резервный фонд» (значившие для обыкновенных людей, собственно, одно и то же) вполне заменяли ему ознакомление с делом на месте. При заводе были имение, лес, мельница — все находилось явно в запущенном состоянии. Продавец, бестолковый балтийский барон, ни из чего не умел извлечь выгоды. Нещеретов предполагал в течение весны и лета выстроить при заводе рафинадное отделение, при имении спичечную фабрику и создать производство химических продуктов первой необходимости, которые из-за войны дорожали с необыкновенной быстротой. Бывшие при заводе механические мастерские можно было расширить и взять большой заказ на стаканы для шрапнелей.

Без карандаша, в уме Нещеретов прикинул несколько цифр и пришел к выводу, что продажа этого предприятия через год даст ему не менее трех миллионов чистой прибыли, если рубль не обесценится еще больше. Он этого обесценения не желал, хотя от падения ценности рубля выгода сделки должна была очень увеличиться: Нещеретов не предполагал вкладывать в дело собственные деньги. При

своих связях он уверенно рассчитывал получить под заказ на стаканы для шрапнелей большой аванс от Военно-артиллерийского управления. Деньги на химическую фабрику должен был дать Военно-промышленный комитет. Самая же покупка сахарного завода производилась на средства банка, в котором у него был контрольный пакет. Эта покупка контрольного пакета была самым счастливым делом Нещеретова. По-настоящему он именно после нее стал магнатом делового мира. В силу финансовой механики, которую тоже не так легко было понять обыкновенным людям, Нещеретов, затратив четыре миллиона на покупку акций банка, получил возможность распоряжаться десятками миллионов для других своих предприятий.

Он читал отчет и чувствовал себя приблизительно так, как за гимнастикой во время высокого взлета лодки. Под ним в первом этаже дома полным ходом работала созданная им огромная машина. Все было ему теперь открыто и доступно, впереди больше не было пределов: сто, двести, триста миллионов состояния — эти цифры в его мыслях уже не имели фантастического характера, во всяком случае, к ним было теперь неизмеримо ближе, чем к тому, из чего он вышел. Но не одна нажива увлекала Нещеретова. Самая работа его мощной машины доставляла ему подлинное наслаждение. Он видел, что его труды в общем итоге идут на пользу государству, и это сознание тоже что-то задевало по-настоящему в душе Нещеретова, хотя он не любил говорить о своем патриотизме. Он работал, правда, чаще всего на чужие деньги, но без него, без его размаха и таланта деньги ничего не могли бы создать. Что бы ни утверждал тот сердитый революционер-литератор в никелированных очках, смешавший в их недавнем разговоре кокс с торфом, именно ему, Нещеретову, много больше, чем работавшим у него инженерам и рабочим, Россия могла быть благодарной и за спички, и за химические продукты, и за рафинад, и за стаканы для шрапнелей, и за все, о чем он думал беспрестанно — у себя в рабочем кабинете, на гимнастике, за обеденным столом, даже в постели в бессонные, тревожные ночи.

«Ну, здесь они приврали, не стоит, верно, их «реманент» [1] таких денег»,— подумал Нещеретов, улыбаясь при чтении этого странного слова «реманент». Отчет, в общем, был близок к истине, и возможные неправильности, собственно, не имели значения сравнительно с выгодой дела. Окончательно решив купить завод, Нещеретов снял трубку домашнего телефона и приказал секретарю вызвать на следующее утро главного юрисконсульта фирмы. При этом Нещеретов подумал, что, вероятно, и Кременецкий хочет получить у него должность юрисконсульта. «Поэтому так любезничает и на обеды зовет. Что ж, посмотрим...» Его

[1] Остаток (*лат.*).

правилом было: жить самому и давать жить другим, но так, чтобы другие это чувствовали, ценили и показывали, что ценят.

Нещеретов привстал, чтоб положить трубку домашнего телефона, и вдруг почувствовал колющую боль в правом боку. Он слегка побледнел, быстро положил трубку на стол и застыл, закусив губу. «Опять это раздражение?.. — тревожно спросил себя он, осторожно подавливая бок рукою и кривясь все больше. — Может, это от гимнастики? Уж не прав ли в самом деле Тихоницкий?..»

Из двух известных врачей, которые следили за его организмом, один предписал Нещеретову гимнастику ввиду его перегруженности умственным трудом и сидячего образа жизни, а другой гимнастику запретил вследствие появлявшихся иногда у пациента болей не вполне ясного происхождения. Нещеретов последовал указанию первого врача, так как гимнастика ему доставляла и физическое, и душевное удовлетворение. Он посидел минуты две неподвижно. Боль прошла. Нещеретов нащупал пульс и стал считать, внимательно глядя на часы. Пульс был как будто нормальный. Для верности он посчитал еще раз. «Да, нормальный... Верно, просто мускульная боль», — с некоторым облегчением подумал Нещеретов. Он взял трубку другого телефона — городского — и уже без помощи секретаря вызвал профессора, разрешившего ему гимнастику.

— Да, сегодня, если можно, Иван Юрьевич, — сказал он необычным для него, просительным тоном. — Благодарю вас, так я в девять буду ждать... И пожалуйста, никому ни слова: боюсь визитов и звонков, уж это, знаете, мне участие! — пояснил он.

Почему-то (однако не из-за визитов и знаков участия) он не желал осведомлять людей о своем нездоровье, точно подозревая, что оно доставит им удовольствие.

XXVIII

«Ох, клиенты по мою душу», — подумал Семен Исидорович, подъезжая к дому. Окна его приемной были ярко освещены. «Как бы Никонов не наболтал пустяков, мастер врать малый...» На вечернем деловом приеме у Кременецкого ему по заведенному порядку помогал Никонов. Семен Исидорович взошел на крыльцо, поскреб о железную сетку калошами, поднялся по хорошо освещенной, крытой ковром лестнице в бельэтаж и позвонил **своим** звонком — один раз довольно продолжительно, затем тотчас вторично, коротко. Тамара Матвеевна встретила его в передней — ей всегда становилось спокойнее при этом звонке.

— Ну, что, застал? — не без волнения спросила она вполголоса. — Как он тебя принял?

— Как принял? Что за вопрос? Прекрасно, разумеется. Как же он мог меня принять? Рассыпался в любезностях.

— Он понимает, конечно, с кем имеет дело. Слава Богу, тебя все достаточно знают!.. Тут одна дама ждет, — добавила еще тише Тамара Матвеевна, показывая глазами на дверь приемной. В голосе и в глазах Тамары Матвеевны вдруг проскользнула легкая тревога, и по ней Семен Исидорович сразу понял, что дама красивая. Беспричинная, тщательно и плохо скрываемая ревность жены всегда немного забавляла Кременецкого, а с некоторого времени ему и льстила.

— Хорошенькая? — спросил Семен Исидорович, игриво подмигнув жене.

— Ничего, так себе, я издали видела. Она в трауре, плохо видно. Да, скорее красивая, — старательно-равнодушно ответила Тамара Матвеевна. — Зубы очень длинные... Так он приедет обедать?

— Кто? Ах, Нещеретов. Разумеется, приедет. В четверг на той неделе. Он был так рад. Очень вам кланялся... Она давно ждет?

— Дама? Минут десять. Никонова, конечно, еще нет. Маша ей передала, что ты будешь в шесть. Она сказала, что подождет.

— Надо будет в самом деле серьезно поговорить с Никоновым. Это становится невозможным.

Семен Исидорович прошел в свой кабинет, выровнял на полке слишком глубоко вдвинувшиеся тома «Энциклопедического словаря», бегло оглянул себя в зеркало и, подтянув брюшко, чуть выпятив грудь, отворил дверь приемной.

— Сударыня, — сказал он, кланяясь.

С дивана, стоявшего наискось, особняком, как ставится мебель на сцене, поднялась высокая дама в трауре и поспешно направилась к Кременецкому. Семен Исидорович пододвинул ей тяжелое кресло.

— Пожалуйста, садитесь... С кем имею честь?.. — спросил он, также садясь и вглядываясь в даму. Она в самом деле была хороша собой и очень элегантно одета. Даже траурная вуаль на ней, опущенная через плечо, с белой полоской у лба, была особенная. «Эффектная женщина! Уж не артистка ли?» — подумал Кременецкий. Дама на него взглянула, затем опустила глаза, видимо преодолевая волнение.

— Я Елена Фишер, — сказал она тихо.

Что-то дрогнуло в лице и в душе Семена Исидоровича.

— Госпожа Фишер? — повторил он. — Вы не супруга ли... не вдова человека, так трагически погибшего на днях?

— Да, это я, — прошептала дама.

Семен Исидорович приподнялся в кресле и крепко пожал руку госпоже Фишер.

— Я немного знал вашего покойного мужа, — глубоким негромким голосом сказал он. — Разрешите выразить вам мое искреннее сочувствие и соболезнование...

Дама низко наклонила голову. Семен Исидорович помолчал минуту из участия.

— Могу ли я быть вам чем-либо полезен? Поверьте, все, что в моих силах...

— Да... Я хотела просить вас... Мне посоветовали обратиться к вам. Разумеется, я и прежде о вас слышала... Мне посоветовали обратиться к вам за руководством. В этом деле... — Голос ее дрогнул. — В этом ужасном деле мне придется... Я хотела просить вас быть моим представителем... Гражданским истцом...

Что-то неясное в душе Семена Исидоровича слегка отравило радость. Мысль его заработала напряженно. Но это длилось лишь мгновение. Семен Исидорович вдруг словно повернул в себе ключ. Теперь он смотрел на даму с неподдельным участием, с жалостью, почти с нежностью. Все лучшие свойства Кременецкого тотчас в нем пробуждались, когда клиент вверял ему свою участь. В кабинете наедине с клиентом, все равно как на заседании суда, Кременецкий становился талантливым, чутким, многое понимающим человеком. В нем проявлялись и всеми признанная за Семеном Исидоровичем безукоризненная корректность, и благородство тона, отсутствовавшее у него в обыденной жизни. Его интересы всецело сливались с интересами клиента. Кременецкий недаром так любил свое дело и так гордился судом.

— Сударыня, — сказал он мягко. — Простите, ваше имя-отчество? Елена Федоровна... Мое — Семен Исидорович... Елена Федоровна, я могу сказать вам лишь то, что отвечаю всегда всем, ко мне обращающимся: расскажите мне ваше дело. Только узнав его в деталях, я могу дать вам ответ.

Кременецкий говорил искренно — он нередко отказывался от выгодных дел, а дел грязных не принимал совершенно. Однако он чувствовал, что от этого дела едва ли откажется.

— Я поняла вас, Семен Сидорович, — ответила госпожа Фишер значительным тоном, точно он сказал нечто весьма загадочное. — Но я, право, не знаю, как начать, как все передать... Извините меня, ради Бога... Вы поймете мое волнение, это несчастье свалилось на меня так неожиданно...

— Несчастья всегда неожиданны, Елена Федоровна, — со вздохом, как выстраданную мысль, произнес Кременецкий первое, что пришло ему в голову. — Тогда не разрешите ли вы мне предлагать вам вопросы? Может быть, так вам будет легче?

— Да, пожалуйста, — поспешно сказала госпожа Фишер.

— Вы давно замужем?

— Восемь лет... С 1908 года.

— Заранее прошу извинить, если я коснуть тяжелых сторон жизни и воспоминаний. Но это необходимо... Вы были счастливы в супружеской жизни?

Елена Федоровна помолчала.

— Счастлива? Нет... Нет, я не была счастлива. Мой несчастный муж был гораздо старше меня. Он вел вдобавок такой образ жизни... Это вы, впрочем, знаете.

— Его образ жизни вызывал протесты с вашей стороны?

— Вначале да, потом я махнула рукой. Любви между нами все равно больше не было.

— Так, я понимаю. А прежде была любовь?

— Была... С его стороны, — сказала, вспыхнув, Елена Федоровна, и ее смущение еще больше тронуло Кременецкого.

— Детей у вас не было?

— Нет, не было.

— Я понимаю, — повторил Семен Исидорович и тотчас с неудовольствием подумал, что здесь эти слова, собственно, были не совсем уместны. — Теперь разрешите спросить вас, — продолжал он, показывая интонацией, что переходит к самому больному вопросу. — Вы давно знаете того человека, который арестован по подозрению в убийстве вашего мужа? Этого Загряцкого?

— Да, давно, два года, — резко сказала дама.

Семен Исидорович замолчал, поглаживая большой нож из слоновой кости. Он слегка волновался, несмотря на многолетнюю привычку к разговорам на самые мрачные темы. По долгому опыту он знал, что вопросы в подобных случаях надо ставить осторожно. Для общей картины дела характер отношений между госпожой Фишер и Загряцким имел, конечно, огромное значение. Но Кременецкий был адвокатом, а не судьей и не следователем и часто говорил, что, кроме интересов правосудия, для него существуют еще интересы клиента. Полная откровенность обвиняемого не всегда ему была выгодна, а защитника порою ставила в тяжелое положение. Поэтому Семен Исидорович в разговорах с подзащитными, неизменно начиная с предложения рассказать **все**, старался не доводить их до полного сознания, если только по обстоятельствам дела не считал сознание на суде наиболее выгодным для своего клиента. Здесь, впрочем, он имел дело не с обвиняемым, а с потерпевшим. Но и в этом случае очень много зависело от признаний госпожи Фишер. Быстро соображая обстоятельства дела, Кременецкий решил предоставить инициативу клиентке. Он ждал не менее минуты, внимательно глядя на Елену Федоровну. Она, однако, молчала, не сводя глаз с босого Толстого.

— Когда вы видели Загряцкого в последний раз?

— Мы в июне с ним уехали из Петербурга в Ялту.

— Так, так, — произнес Кременецкий, точно находя это сообщение совершенно естественным. Он постучал о бювар

головой Наполеона, составлявшей ручку ножа. — Разрешите прямо вас спросить: считаете ли вы Загряцкого виновником смерти вашего мужа?

— Этого я не знаю. Но я считаю его низким, на все способным человеком, — с энергией в голосе сказала госпожа Фишер.

— На чем же основано такое ваше мнение?

— На знакомстве с Вячеславом Фадеевичем.

— Вячеслав Фадеевич — это Загряцкий? Так... Но есть ли у вас какие-либо сведения или хотя бы предположения, которыми еще не располагает следствие?

— Об этом я сегодня уже все сказала...

— Кому?

— Следователю, господину Яценко.

— Ах, так вы уже были у следователя? Тогда, пожалуйста, изложите мне содержание вашей беседы с ним. О чем он вас расспрашивал?

— О моих отношениях с Вячеславом Фадеевичем. Я сказала ему, что он ошибается, как ошибались еще раньше многие другие... Тяжело, Семен Сидорович, говорить обо всем этом... — Она приложила к глазам платок. — Я совершенно измучена.

— Ради Бога, успокойтесь, Елена Федоровна. Если вам слишком тяжело, мы можем отложить наш разговор...

— Нет, ничего... Следователь ошибается... Загряцкий ухаживал за мною, как и многие... Я себя не обеляю и не оправдываю, Семен Сидорович. Но этот мосье Яценко ошибается. Вячеслав Фадеевич провожал меня в Ялту с согласия моего мужа, даже по его просьбе.

— Так, так, я понимаю... Когда же вы с ним расстались?

— Мы поссорились с ним... Я потом все вам расскажу... Я поймала его на том, что он читал мои письма. Разумеется, я вспылила, и мы расстались. Он вернулся в Петроград еще в июле.

— И с тех пор вы его не видали?

— Нет.

— Значит, с тех пор у вас с ним были дурные отношения?

— Да, дурные... Никаких отношений. Я больше не хотела его знать...

Кременецкий смотрел на нее удивленно.

— В таком случае, позвольте... — начал он и остановился, не зная, как поставить вопрос. Неудобно было спросить: «В таком случае, зачем же ему было убивать вашего мужа?» Семен Исидорович знал и по газетам, и по ходившим рассказам, что целью убийства считается желание Загряцкого завладеть богатством, которое должно было достаться его любовнице. Он положил нож на бювар и откинулся на спинку кресла. — Еще раз извините мою настойчивость, Елена Федоровна, но я не вполне понимаю... Ду-

маете ли вы, что у Загряцкого были основания желать смерти вашего мужа?

— Вы мне задаете те же вопросы, что следователь, — с некоторым неудовольствием в тоне сказала госпожа Фишер. — Основания? Может быть, и были. Даже наверное были.

— Какие же именно?

— Этого я, конечно, не знаю.

Семен Исидорович вздохнул: привык к бестолковости клиенток.

XXIX

— ...Состояние вашего мужа теперь перешло к вам?

— Я наде... Я предполагаю, — тотчас поправилась Елена Федоровна. — У моего мужа есть дочь от первого брака, но она не может наследовать...

— Почему?

— Дочь моего мужа крайняя социалистка и живет за границей. Революционерка, — значительным тоном пояснила госпожа Фишер.

— Она лишена прав состояния?

— Не знаю, лишена ли... Но она неблагонадежная, эмигрантка и, значит, ничего не получит.

— Ну, это еще ничего не значит, — сказал, слегка улыбнувшись, Кременецкий. Последние ответы госпожи Фишер чуть-чуть изменили его тон.

— Мой муж от нее совершенно отказался в последнее время. Она живет в Париже, участвует в каких-то кружках и занимается, кажется, химией у одного русского, у профессора Брауна.

— Вот как, у Александра Михайловича? Он теперь здесь. Мы с ним приятели... Ведь завещания ваш муж, кажется, не оставил?

— Следователь мне сказал, что не оставил, но этого не может быть. Муж всегда говорил, что все останется мне. Наверное, где-нибудь есть завещание, надо только поискать хорошенько. Я так и сказала следователю. Но он такой тяжелый человек, этот мосье Яценко. Если бы вы знали, как он меня измучил своими вопросами. — Она говорила о следствии как о деле, имевшем целью ее потревожить и расстроить.

— Во всяком случае, будет ли найдено завещание или нет, я не вижу, какую выгоду мог извлечь Загряцкий из убийства вашего мужа.

Дама молчала. Кременецкий смотрел на нее вопросительно.

— Вы изволили сказать, — терпеливо начал он снова, — что считаете его способным на убийство и что у него могли быть для убийства основания. Я вынужден к этому возвратиться. Какие именно мотивы могли быть у Загряц-

кого? Быть может, мотивы не материального характера? Ненависть, например, или, предположим, ревность?

— Да, может быть, и ревность, — ответила быстро госпожа Фишер.

— Он читал ваши письма к мужу?

— Да... И рылся в моем чемодане... Вообще я убедилась в том, что это человек недостойный.

— Понимаю. Но есть ли у вас какие-либо соображения, которые можно было бы привести в доказательство того, что он убил вашего мужа?

— Доказательств у меня нет, я так и сказала следователю. Но разные **косвенные** доказательства могут быть, — ответила дама, видимо, с удовольствием употребляя слово «косвенные».

— Ах, этого мало, Елена Федоровна, — сказал с сожалением Семен Исидорович. — О косвенных уликах существует классический афоризм нашего великого адвоката Спасовича: «Сколько бы беленьких барашков вы ни привели, из них одной белой лошади не сделаете». Впрочем, и косвенные доказательства могут, конечно, иметь значение. Не будете ли вы добры изложить мне ваши соображения?

— Ради Бога, не теперь, — сказала Елена Федоровна. — Если бы вы знали, как меня измучил этот следователь! Все это на меня обрушилось так ужасно... Я предполагала вернуться в Петроград в самый разгар сезона. То есть сезон мне, конечно, не нужен, вы сами понимаете. Но это такой неожиданный удар. Теперь это следствие... Эта камера...

Она опять поднесла платок к глазам и на этот раз заплакала по-настоящему. Семен Исидорович расстроенно на нее смотрел. Образ клиентки выходил менее привлекательным, чем хотелось бы Кременецкому, однако она вызывала в нем искреннее участие. «Птичка Божия», — подумал он, и сразу на это определение у него стали нанизываться мысли, слова, образы.

Тут только Семен Исидорович ясно понял, что было ему неприятно в предложении госпожи Фишер. Неприятна была теперь та работа мысли, которую он проделал, представляя себя защитником Загряцкого. Образы, очевидно, были намечены неправильно. «До ознакомления с делом во всей полноте я, конечно, ни к чему не мог прийти, да и теперь еще далеко не пришел», — тотчас успокоил себя Семен Исидорович. К тому же решительно никто не мог знать о работе его воображения — мало ли что, не выливаясь наружу, проходит в мыслях самого порядочного человека. Семен Исидорович вообще предпочитал выступать защитником, чем гражданским истцом. Но он чувствовал, что в этом деле и в роли гражданского истца сумеет показать чудеса. Интересы его клиентки, ее судьба и репутация были в надежных руках. «Настало время для Вячеслава Загряцкого дать отчет Богу и людям в темных его делах и

делишках», — вдруг откуда-то выскочила фраза в уме Семена Исидоровича. И одновременно перед ним мелькнуло лицо Меннера, который, конечно, дорого дал бы, чтобы получить это дело. «Разве Загряцкий пригласит его в защитники?.. Нет, вряд ли... Верно, Якубовичу достанется. Будет борьба титанов».

— Пожалейте себя, успокойтесь, Елена Федоровна, — сказал он, перегибаясь через угол стола и прикасаясь к руке госпожи Фишер. — Вам тяжело, и это так естественно. Отложим наш разговор на завтра. Я тем временем наведу в частном порядке кое-какие справки.

— Так я могу на вас рассчитывать, Семен Сидорович, — сказала дама почти спокойным голосом, отнимая платок от глаз и, видимо, изъявляя согласие пожалеть себя.

— Я дам вам окончательный ответ после ознакомления с делом во всех подробностях. Но в принципе, по тому, что я вижу, я рад принять на себя защиту ваших интересов. Я полагаю, что денег вы с Загряцкого не ищете?

— Нет, нет, ради Бога, никаких денег, — с жаром сказала Елена Федоровна. — Мне от него ничего не нужно... Да у него ничего и нет. Я хочу только выяснения истины.

— Я именно так вас и понял. В таком случае, мы заявим иск в какой-нибудь ничтожной сумме. Ваши права истицы совершенно бесспорны: наш закон не дает прямого определения понятия об убытках при взыскании гражданского иска, однако он отнюдь не имеет в виду только имущественный ущерб... Вы пока вызваны на следствие в качестве свидетельницы, нужно будет указать, что вы намерены заявить иск. Следователь просил вас, вероятно, явиться к нему еще раз?

— Да, это так ужасно! Он сказал, что устроит мне очную ставку. Можно подумать, что он и меня подозревает!.. Не могу сказать, как все это тяжело.

— Надо взять себя в руки, Елена Федоровна. Вы можете быть, впрочем, вполне спокойны: Николай Петрович Яценко — немного формалист, как они все, но это честнейший, благороднейший человек, и традиции нашего суда стоят очень высоко. Огорчения могут быть причинены вам желтой печатью. Что ж делать, ваша частная жизнь стала на время достоянием улицы. Но это надо в себе преодолеть, Елена Федоровна.

Госпожа Фишер на него взглянула с благодарностью.

— Я вам верю, — прошептала она.

— Да, верьте, — ответил проникновенно Кременецкий.

«Настало время для Вячеслава Загряцкого...» — снова победно пропела фраза в душе Семена Исидоровича.

В канцелярии Никонов с отвращением писал какую-то бумагу. Он всю ночь напролет играл в карты, сначала в винт, потом с рассвета в покер, проиграл восемьдесят руб-

лей — почти все, что у него было, выкурил полсотни папирос и выпил стаканов пять крепкого чаю чуть ли не пополам с коньяком. Днем он спал и оделся лишь в шестом часу. У него болела голова, во рту было нехорошо. Дело, которое он делал, как и жизнь вообще, представлялось ему совершенно ничтожным, скучным и нелепым. Григорий Иванович опоздал к приему, ждал неприятного разговора с Кременецким и чувствовал себя школьником-мальчишкой.

«Лучше всего было бы сегодня же сказать Семе, что, к большому сожалению, вынужден отказаться от должности его помощника,— думал он, как всегда, успокаивая самого себя искусственно-шутливым тоном мысли.— «Григорий Иванович, вы меня не так поняли, я очень сожалею...» — «Я тоже сожалею, Семен Исидорович, но это неизбежно, и я ухожу вовсе не вследствие нашего разговора, а просто эта работа не по мне». Тут хорошо было бы сказать, что мне предлагают должность редактора «Вопросов философии и психологии», или консультанта в Художественном театре, или что-нибудь еще в таком роде. Да ничего подлецы не предлагают, и деться будет некуда, если от Семы уйти... Что это Тамарочка места себе не находит, все по коридору шлепает?.. Да, надо было бы переменить жизнь. По утрам работать, читать, например, диалоги Платона — греческий язык можно восстановить в памяти. Хотя все забыл, ни черта не помню. Шляпа был наш Дивишек, бапто эбафен [1]. Надо было подучиться и французскому языку, а то перед Мусей неловко. Фомин нарочно всегда с ней заговаривает по-французски, зная, что я не умею. Взять вечером вместо карт какого-нибудь Стендаля и читать со словарем — в два месяца очень насобачишься... И брюки тоже надо чаще утюжить... И поехать куда-нибудь в Италию или на Кавказ лучше было бы, чем писать эту идиотскую справку для очередного шедевра Семы... Эх, тот том сенатских решений остался у него в кабинете, без него ничего путного все равно не напишу... Собственно, Сема прав, нельзя систематически опаздывать и его подводить. Человек он неплохой, но как он, право, может жить по часам, скука какая! Ведь одним тщеславием живет, чудак, ему и деньги уже девать некуда...»

Состояние Кременецкого казалось пределом богатства Григорию Ивановичу: для него и сотни, и даже десятки тысяч были, собственно, астрономическими числами. «Восьмидесяти рублей жаль — все тот проклятый флешройяль подвел. Но счастливее от восьмидесяти рублей я не стал бы. Все равно когда-нибудь помру. Сам Сема и тот помрет со всеми своими деньгами. Некрологи какие шикарные будут в газетах, не то что по мне грешном. Один Альфред Исаевич в память о ликерах что накатает! Жить

[1] Крашу, был окрашен *(древнегреч.)*.

бы да жить после таких некрологов, а вот Сема, бедный, и не прочтет. Зато Тамарочка будет над ними заливаться слезами... Вот она опять, неприкаянная... Да, в кармане пустовато. Перебьюсь как-нибудь... Самое главное, конечно, связать себя с каким-нибудь большим идейным делом... Надо наконец выяснить, могу ли я жить, писать эту справку и играть в покер без ответственного министерства?.. Ответственного перед народом и перед Семой... Как это, в самом деле, Сема еще не в Думе?.. К эсерам разве примкнуть? Нет, все помощники присяжных поверенных примыкают к эсерам. Пусть к ним примыкает Фомин. Он, впрочем, не примкнет, потому дворянство не позволяет, да и сто вторая статья опять же... А, вот и Сема. Ишь ты, какая эффектная клиентка... Кто бы это?»

Семен Исидорович, провожая госпожу Фишер, только бросил недовольный взгляд на своего помощника. Задержавшаяся в дверях Тамара Матвеевна не успела скрыться. Вопреки своему обычаю Кременецкий познакомил клиентку с женой. Елена Федоровна гордо кивнула головой — обе дамы, видимо, не знали, что сказать друг другу. Тамара Матвеевна не сразу сообразила, кто эта клиентка и как важен ее визит.

— Разрешите вам представить и одного из моих помощников. Григорий Иванович Никонов... Елена Федоровна Фишер... Извозчики стоят справа за углом, всегда найдете.

— Меня ждет автомобиль. Благодарю вас... Так до завтра...

— Так точно...

«Елена Фишер! Матушки! — подумал Никонов. — Ай да Сема! Дурак я буду, если с него сегодня не получу вперед за январь. За декабрь, кажется, все взял? Да, конечно, взял, все сто двадцать пять», — припомнил печально Григорий Иванович.

XXX

Будильник прозвонил, как ему полагалось, в три четверти восьмого. Это было точно рассчитано на основании многолетнего опыта: если после звонка пролежать в постели еще пять минут — но ни одной минутой более — и затем достаточно быстро проделать все, что требовалось, то можно было, не прибегая к извозчику, попасть в училище без опоздания, уроки на старших семестрах начинались без пяти девять.

Витя растерянно оторвал голову от подушки, вытаращил глаза, повернул спросонья выключатель и, мигая с болезненной гримасой, уставился на будильник. Вытянутый треугольник длинной стрелки уже выходил из черного пятнышка над цифрой IX. Хотя Витя еще ничего ясно не понимал, положение стрелки вызывало в его сознании нечто печально привычное: три четверти восьмого. Он

злобно надавил пружину. Отвратительный треск прекратился. Витя опустил снова голову на подушку, закрыл глаза и, морщась, рукавом заслонил их от матовой лампочки, насмешливо светившей всеми своими шестнадцатью свечами. Две жизни еще боролись в его мозгу. Но на смену той, уже непонятной, быстро и неумолимо приходила другая, в которой все было ясно и отвратительно: и будильник — его тиканье вдруг стало слышным, — и ночной столик, и стул с платьем у стены под утыканной флажками большой географической картой. Всего отвратительнее был, конечно, сложенный листок бумаги на ночном столике. Этот листок был в обеих жизнях, но в **той** что-то как-то его скрашивало; **как** именно скрашивало, Витя уже с трудом мог вспомнить. Еще несколько мгновений назад все там было ясно и логично. Теперь немногое, что еще вспоминалось, поражало нелепостью: Муся Кременецкая не могла иметь никакого отношения к письменному по тригонометрии, Анатэма еще менее. «Ах, да, Анатэма», — радостно вспомнил Витя и улыбнулся. Он отвел руку, зевнул и широко раскрыл глаза, вызывающе взглянув на матовую лампочку.

Сомнений быть не могло. Желтый томик Леонида Андреева, лежавший на коврике у постели, был такой же действительностью, как листок с тригонометрическими формулами. Жизнь была сложна, и неприятности вроде письменного, к счастью, не сплошь ее заполняли. «Ну, мы еще поборемся!» — решительно сказал себе Витя. Он даже подумал было, не пожертвовать ли борьбе остающимися тремя минутами. Но это было все-таки слишком обидно. Будильник неприятно тикал. Кончик стрелки, упорно ползший к цифре X, только переползал на средину третьей черточки. Витя повернул голову к окну. Там, над порванной кистью, где немного отставали шторы, было совершенно черно. «Холод, верно, отчаянный», — содрогаясь, подумал Витя. В его комнате по гигиеническим соображениям родителей по утрам тоже было холодно, градусов десять. «Да, надо еще многое обдумать... Значит, решено: удрать после пятого урока... Затем в библиотеку, оттуда к Альберу... Это очень кстати, что Маруся заболела... Денег достаточно... В ресторан, пожалуй, в «голландке» не пустят, значит, надеть пиджак... Ну, да, конечно, могут скалить зубы сколько им угодно». В классе всех, менявших «голландку» на платье взрослых, обычно встречали овацией. Стрелка надвинулась на пятнышко цифры X. Витя откинул одеяло и, дрожа от холода, стал одеваться. Теперь самое неприятное было позади.

Умывшись, одевшись, проделав гимнастические упражнения, нужные для развития мускулов и силы воли, Витя на цыпочках прошел в полутемную столовую. Горничная подтвердила, что кухарка больна и что настоящего обеда, верно, не будет, барыня велели купить ветчины и яиц. Ви-

тя поручил горничной сказать, что он плотно закусит в училище и чтоб его к обеду не ждали. Затем он вошел в свою комнату, развернул лежавший на ночном столике листок и, закрыв рукой правую сторону, принялся себя проверять. На тангенсе 2а он сбился, и пришлось заглянуть в правую сторону листка. «Да, конечно, два тангенс «а», деленное на единицу, минус тангенс квадрат «а»... Теперь буду помнить», — бодро утешил себя Витя. Он тщательно сложил листок в крошечный квадратик, потянулся рукой к тому месту, где был карман на «голландке», и не без гордости вспомнил, что на нем пиджак. Витя спрятал листок в жилетный карман. Впрочем, он предполагал этим листком воспользоваться только в самом крайнем случае, так как вопреки школьным традициям считал это не вполне честным. «Разве уж если затмение найдет, как тогда перед третьей четвертью...»

Витя сложил книги и тетради в портфель (в Тенишевском училище ранцев не полагалось, что составляло предмет зависти гимназистов), сосчитал деньги в кошельке — было три рубля девяносто копеек — и вышел в переднюю. В кабинете Николая Петровича из-под двери уже светился огонь. «Много работает папа, все больше в последнее время, — огорченно подумал Витя. — Верно, дело Фишера» (дело это очень занимало и тревожило мысли Вити). Перед уходом он взглянул в почтовый ящик — нет ли для него писем (хоть получал он письма раза два в год)? В ящике ничего не оказалось, кроме «Речи» и «Русских ведомостей». Витя хотел было пробежать официальное сообщение, но махнул рукою: времени больше не оставалось, да и официальные сообщения теперь были неинтересны. Он и флажков давно не переставлял на карте — в первые месяцы войны делал это с необычайным интересом и знал фронты не хуже главнокомандующего.

У него был занятой день. Накануне ему позвонила по телефону Муся и просила его прийти к ним вечером на совещание о любительском спектакле. Наталья Михайловна поворчала, — что ж это, ходить в гости каждый день, когда же уроки готовить? — но благодаря протекции Николая Петровича Витю отпустили.

Пришел он к Кременецким именно так, как следовало, с небольшим, тонко рассчитанным опозданием, чтобы не быть — избави Боже! — первым. Муся вышла к нему навстречу и крепко, с очевидной радостью пожала ему руку.

— Я очень, очень рада, что вы **согласились** играть, — сказала она, медленно вскинув на него глаза, как делают в «первом плане» кинематографические артистки. Витя так и вспыхнул от счастья и от гордости. На Мусе было зеленое, расшитое золотом закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами, его заметили все гости, а Глафира Генриховна была им, видимо, потрясена. Это в самом деле было в осенний сезон **удар-**

ным платьем Муси — портниха Кременецких скопировала последнюю модель Ворта, еще никому не известную в Петербурге.

Совещание происходило в будуаре. Гостей собралось немного. Преобладала молодежь. Был, однако, и князь Горенский, принятый молодежью как свой. В плотном, красивом, очень хорошо одетом человеке, сидевшем на диване под портретом Генриха Гейне, Витя с радостным волнением узнал известного актера Березина, которого он знал по сцене и по газетам, но вблизи видел впервые. Этим знакомством можно было похвастать: Березин, несмотря на молодые годы, считался одним из лучших, передовых артистов Петербурга.

— Сергея Сергеевича вы, конечно, знаете? Сергей Сергеевич согласился руководить нашим спектаклем,— сообщила Вите Муся.

— Ах, я ваш поклонник, **как все**,— сказал комплимент Витя. Он потом долго с удовольствием вспоминал это свое замечание. Березин снисходительно улыбнулся, склонив голову набок. Признанный молодежью актер был со всеми ласков, точно заранее благодаря за восхищение, которое он должен был вызывать у людей, в особенности у дам.

Вслед за Витей в будуар вошел медленными шагами, с высоко поднятой головою, со страдальческим выражением на лице поэт Беневоленский, автор «Голубого фарфора».

— Ну, теперь, кажется, все в сборе,— сказала, здороваясь с ним, Муся.— Мы как раз были заняты выбором пьесы. Платон Михайлович Фомин предлагает «Флорентийскую трагедию» Уайльда. Но Сергей Сергеевич находит, что она нам будет не по силам. Я тоже так думаю.

— Трудно **нам** будет,— подтвердил, качая головой, Березин.

— Не трудно, а просто невозможно.

— Alors, je n'insiste pas...[1] Со мной, как с воском,— сказал Фомин.

— А что бы вы сказали, господа, об «Анатоле» Шницлера? — осведомился князь Горенский.

— Играть немецкую пьесу? Ни за что!

— Ни под каким видом!

— Господа, стыдно! — возмущенно воскликнул князь.— Тогда ставьте «Позор Германии»!

— Давайте, сударики, сыграем с Божьей помощью «Медведя» или «Предложение»,— сказал Никонов своим обычным задорным тоном горячего юноши. Фомин пожал плечами.

— Лучше «Хирургию»,— язвительно произнес поэт, видимо, страдавший от всех тех пошлостей, которые ему приходилось слушать в обществе.

— Мы не в Чухломе.

---

[1] Хорошо, я не настаиваю... *(фр.)*.

— Вы бы в самом деле еще предложили «Меблированные комнаты Королева», — набросилась на Никонова Муся.

— И расчудесное дело!..

— Перестаньте дурачиться... Господа, я предлагаю «Белый ужин»...

— Rostand? — спросил Фомин. — Хорошая мысль. Но тогда, разумеется, по-французски?

— Разумеется, по-русски, что за вздор!

— Есть прекрасный перевод в стихах.

— Стихи Ростана! — тихо простонал Беневоленский.

— Конечно, по-русски.

— По-русски так по-русски, со мной, как с воском.

— Я нахожу, что Ростан...

Березин постучал стальным портсигаром по столу.

— Господа, — произнес он с ласковой улыбкой, — на некоем сборище милых дам председательница, открывая заседание, сказала: «Mesdames, времени у нас мало, а потому прошу всех говорить сразу, одновременно». — Он переждал минуту, пока смеялись слушатели, тихо посмеялся сам и продолжал: — Так вот, чтоб не уподобиться оной председательнице и оному собранию, рекомендую ввести некий порядок и говорить поочередно.

— Я присоединяюсь.

— Я предлагаю избрать председателя, — сказала Глафира Генриховна.

— Сергея Сергеевича!.. Сергей Сергеича!..

— Ну, разумеется.

— Сергей Сергеевич, берите бразды правления.

— Слушаю-с, беру.

— Прошу слова по личному вопросу, — сказал князь Горенский. — Господа, если вы выберете пьесу в стихах, честно говорю заранее: я пас. Воля ваша, я зубрить стихи не намерен.

— Ну, вот еще!

— Князь, вы прозаик, — пошутил Фомин.

— Никакие личные отказы не принимаются, — заявила Муся. — Сергей Сергеевич, предложите всем высказаться о «Белом ужине»... Виктор Николаевич, вы самый младший... Ведь в Думе всегда начинают с младших, правда, князь?

— То есть ничего похожего!

— Я предлагаю предварительно выработать наш наказ, — воскликнул Никонов.

— И сдать его в комиссию для обсуждения.

— Господа, без шуток, ваше остроумие и так всем известно... Я начинаю с младших. Виктор Николаевич, вы за или против «Белого ужина»?

— Я не знаю этой пьесы, — сказал, вспыхнув, Витя и счел себя погибшим человеком.

Березин опять постучал по столу.

— Господа, я с сожалением констатирую, что Марья Семеновна узурпирует мои функции.

— Это возмутительно!

— Призвать ее к порядку!

— Ах, ради Бога! Я умолкаю...

— Молодой человек прав, — продолжал Березин. — Никто не обязан помнить «Белый ужин». Насколько я помню, пьеса вполне подходящая. У нас вдобавок есть чудесная Коломбина, — сказал он, комически торжественно кланяясь Мусе. — Но ведь «Белый ужин» — вещица очень короткая?

— Помнится, два акта, — сказала Глаша.

— Даже один, если вам все равно, — поправил Фомин.

— Этого, разумеется, мало. Какие есть еще предложения?.. Нет предложений? Тогда я даю слово самому себе... Господа, я буду говорить без шуток. — Лицо его внезапно стало серьезным, Муся тоже сразу приняла серьезный вид. — Господа, это очень хорошо — поставить милый, изящный французский пустячок, но ограничиться ли нам этим? Я знаю, у нас любительский спектакль, пусть! Однако всякий спектакль, не осиянный подлинным искусством, это — вы извините меня, господа — балаган! Пусть мы неопытные актеры, все же я прямо скажу: для меня в служении искусству нет разницы между любительским спектаклем и большой сценой!

— Браво! Браво!

— Я предлагаю поэтому, господа, в дополнение к «Белому ужину» взять что-либо свое, настоящее, полноценное! — с силой сказал Сергей Сергеевич.

— «Балаганчик»? — озабоченно спросила Муся.

— Да, хотя бы «Балаганчик». Впрочем, я выбрал бы другое. Господа, что вы скажете об «Анатэме»?

— «Анатэма» Андреева?

— Вы не шутите?

— Но ведь это длиннейшая вещь!

— Это очень vieux jeu [1], «Анатэма», старо! — возразил пренебрежительно Фомин. Березин быстро к нему повернулся.

— Старо, может быть, — отчеканил он, — но я за последним словом не гонюсь — было бы подлинное искусство!

— Браво!

— Все это хорошо, однако кто из нас решится играть Анатэму после Качалова? — спросил Горенский. Березин на него покосился. Но Муся тотчас загладила неловкость князя.

— Как кто? — возмущенно сказала она. — Это превосходная мысль! Господа, Сергей Сергеевич в роли Анатэмы, да это будет сенсация на весь Петербург.

---

[1] Старо *(фр.)*.

— Ах, да, разве сам Сергей Сергеевич...
— Кто же другой?
— А вы, князь, будете Давид Лейзер.
Послышался смех.
— Нет, господа, я предложил бы поставить только один акт, ну, максимум, два... Целое, конечно, нам не под силу. Скажем, пролог, где всего два действующих лица: Анатэма и Некто, ограждающий входы. Потом ещё какую-нибудь сцену... Сознаюсь вам, что у меня давно вертятся кое-какие мысли об этой пьесе. Кажется, выйдет недурно и свежо.
— По-моему, прекрасная мысль,— заявила Глафира Генриховна.
— Мало сказать, прекрасная! — воскликнула Муся.— Господа, наш спектакль станет событием!
В этот момент в будуар вошла Тамара Матвеевна. Гости поднялись с мест. Вслед за тем горничная подала чай, и совещание было скомкано. За чаем участники спектакля «в принципе» согласились поставить «Белый ужин», акт из «Анатэмы» и, быть может, что-либо еще, так чтобы для всех нашлись роли. Было постановлено собраться снова на следующий день, восстановить пьесы в памяти и приступить к распределению ролей.

После пятого урока Витя выбежал на передний двор и присоединился к кучке товарищей, собравшейся по обыкновению в воротах; это с давних пор называлось «поглазеть на Горемыкина» — против ворот Тенишевского училища находился дом председателя совета министров. Когда прозвонил звонок, означавший конец малой перемены Витя незаметно скользнул на Моховую.
В библиотеке нашелся «Белый ужин», но за истекший месяц абонемента с Вити взяли шестьдесят копеек. Этот непредвиденный расход уменьшил его капитал до трех рублей. Витя, однако, рассчитывал, что на обед у Альбера, во всяком случае, должно хватить денег. Цены были ему, в общем, известны — ему давно хотелось пообедать в хорошем ресторане. У Альбера было не очень дорого, но, по словам знатоков, кормили вполне прилично. Витя счел возможным отделить от своего капитала двугривенный и взял извозчика — в ресторан лучше было подъехать на извозчике.
На углу Невского и Морской извозчик поспешно задержал лошадь — впереди на Морскую съезжала карета, запряженная великолепными лошадьми, с лакеем в красной ливрее на козлах. Витя, перегнувшись из саней, вглядывался в окно кареты. Хоть он был настроен довольно революционно и знал, что эти люди так жили «на народные деньги», двор внушал Вите жадное любопытство. Но он ничего не увидел — день кончался, на улице давно горели фонари.

В зале ресторана было жарко и душно. Витя, скрывая волнение, с видом привычного человека прошел в самый край залы, уселся за столик, нервно развернул накрахмаленную салфетку и взял карту. К его ужасу, оказалось, что напечатанные на карте цены (те самые, которые ему называли) зачеркнуты и вместо них всюду проставлены другие, более высокие. Витя спешно занялся вычислением — лакей, к счастью, долго к нему не подходил. Дешевле других блюд стоили супы. Их было два — борщок и консомэ. Оба названия нравились Вите. Он остановился на консомэ, так как борщок был, очевидно, разновидностью борща, который часто подавали и дома. На второе Витя выбрал телячью котлету — это было привычное, но вкусное блюдо; а главное, стоило оно не очень дорого и вместе с тем не было самым дешевым, так что лакей ничего не мог подумать. Очень его соблазняла гурьевская каша, но против нее значилось: 1 р. 20. Сосчитав мысленно все, Витя решился на гурьевскую кашу: денег хватало и по повышенным ценам, включая копеек сорок на чай; должен был даже образоваться еще небольшой остаток. Витя успокоился, положил карту на стол и нерешительно постучал ножом о стакан. Сказать «человек!» он не решился.

Лакей подбежал с салфеткой под мышкой и почтительно принял заказ. В спешке, чтоб не заставлять ждать лакея, Витя вместо телячьей котлеты по ошибке заказал бифштекс с картофелем. Но изменить заказ было явно неудобно. Впрочем, бифштекс стоит столько же, сколько телячья котлета.

— На третье гурьевскую кашу... Слушаю-с... Пить что изволите?

Витя похолодел — этого удара он никак не ожидал, о напитках он не подумал.

— Квасу **нашего** не прикажете ли? — с значительной интонацией в голосе спросил, улыбаясь, лакей.

— Нет... Сельтерской воды, — сказал Витя. — Я пью только воду, — добавил он, чтобы как-нибудь себя спасти во мнении лакея.

— Слушаю-с.

Сельтерская вода, наверное, стоила очень дешево, этот расход можно было покрыть из запаса. Витя принялся рассматривать зал. «Хорошеньких женщин что-то не видать...» Ему становилось скучно. Он вспомнил о «Белом ужине» и, достав книгу из портфеля, принялся ее пробегать. На террасе мраморной виллы над заливом слушала последние аккорды серенады Коломбина, «вся в белом, похожая на большой букет новобрачной»... На Витю вдруг нахлынула непонятная радость — от этих образов, оттого, что он был взрослый и один обедал в ресторане, что перед ним открывалась жизнь, что у него уже была своя Коломбина... «Я очень, очень рада», — вспомнил он, замирая. Веселый Пьеро, перескакивая через перила, бросался к Коломбине «с долгим

раскатом смеха». Витя еще не знал, отчего Пьеро так весело, но он понимал его и вместе с ним испытывал радость. Дворецкий позвал Коломбину к «роскошно сервированному столу под пинией» — Вите как раз подавали суп.

...Довольно, посмотри, как стол накрыт красиво,
Как изменяются все вещи прихотливо!
Лагуной кажется хрустальное плато,
В сияньи серебра цветами обвито;
Арбуз, нарезанный на пурпурные доли,
Напоминает мне по форме о гондоле,
Кианти старое себе вокруг брюшка
Надело юбочку из прутьев тростника... [1]

Консомэ оказалось самым обыкновенным жидким бульоном — по совести, Маруся готовила суп вкуснее. Миска с надбитым ушком не казалась лагуной, и решительно ничто на столе никак не напоминало о гондоле. Но Пьеро с Коломбиной тоже начинали белый ужин с консомэ, что усилило аппетит Вити. Он ел суп и, скосив глаза, читал книгу. Пьеро «вонзал толедский нож в хрустящий бок паштета» — Витя с наслаждением ел тощий бифштекс. Дворецкий разливал мадеру, шато-икем, марго, мускат — Витя бодро пил сельтерскую воду.

Лакей принес гурьевскую кашу. Витя осторожно придвинул к себе обжигавшее пальцы блюдо и вдруг у противоположной стены со смешанным чувством гордости и беспокойства увидел знакомого. Это был доктор Браун. Лицо его поразило Витю своей бледностью и мрачным выражением. «Да это он коньяк так хлещет... Здорово!» Браун что-то подливал в бокал из кофейника, Витя знал, что в кофейниках подаются запрещенные крепкие напитки. «Поклониться, что ли? Нет, лучше не надо... Он, впрочем, почти не знаком с нашими... Да это и не важно, разумеется. Какой он, однако, страшный!» — тревожно думал Витя.

XXXI

— ...А вы знаете, Александр Михайлович, — сказал, улыбаясь, Федосьев, когда лакей унес блюдо, — ведь я за вами в свое время чуть-чуть не установил наблюдения.

— Вот как? Когда же это?

— За год или за два до войны. Вы тогда читали в Париже публичные лекции на философские темы, и лекции эти, я слышал, имели большой успех?

— Я действительно был в моде в течение некоторого времени. Потом, кажется, надоел и перестал читать. К тому же я тогда начал печатать в журнале свою книгу «Ключ», многое из лекций в нее вошло. Но почему мои лекции вызвали такое ваше заботливое внимание?

---

[1] Здесь и ниже стихи из пьесы Э. Ростана «Белый ужин» в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

— Видите ли, у вас репутация очень левого человека. Лекции же ваши усердно посещались людьми, которыми мое ведомство интересуется И — не у меня, но в Париже — возникла мысль, что, быть может, это не совсем случайно... Я потому так откровенно говорю, что мысль **оказалась** нелепой... Я вдобавок интересовался вами как университетским товарищем. Из вашего «Ключа» мне довелось прочесть лишь один отрывок, и я мог убедиться в том, что революционность ваша сомнительная и что ультралевым вас можно назвать разве только для смеха... Вы не сердитесь?

— Нисколько. Мне, впрочем, не совсем ясно, что такое значит «ультралевый». В области практической я предъявляю к государству довольно скромные требования, приблизительно те, которые осуществлены в Англии и с которыми вы так усердно боретесь. Но этого я в «Ключе» почти не касался. Моя книга, как вы изволили сказать, философская, во всяком случае, теоретическая. Я подвергаю критике разные наши учреждения и догматы. Отношение мое к ним какой-то остроумец назвал аттилическим: я, мол, как Аттила, все предаю мечу и огню. Но это очень преувеличено. Притом, повторяю, у меня чистая теория.

— Вот, вот... Я один ваш аттилический отрывок читал с истинным наслаждением и охотно признаю, что у него два равно отточенных острия, направленных в противоположные стороны. Левым ваша книга, должно быть, еще неприятнее, чем правым, и это меня, конечно, утешает. Но... Простите тривиальное замечание: я вообще боюсь не столько бисера (бисер — вещь вполне безобидная), сколько его отражения в мозгу свиней. В современном мире и без того очень развиты аттилические инстинкты. Вот и у нас, я думаю, когда купцы бьют в ресторанах зеркала, это происходит от излишнего аттилизма.

— Очень может быть,— ответил, смеясь, Браун,— вероятно, купец пьяным инстинктом чувствует, что и ресторан дрянной, и зеркала дрянные.

— Поверьте, ничего подобного. Он потому их и бьет, что они дорогие и хорошие: денег куры не клюют, разбил, вставь, с... с... новые! Но если слушатели ваших лекций начнут бить разные зеркала, то, боюсь, новые будет вставить трудно. Поэтому, может быть, мы не так неправы, относясь подозрительно к людям с аттилическим инстинктом, разумеется, если они не чистые теоретики... Но вы кушайте...

Федосьев, тоже смеясь, пододвинул Брауну блюдо. Разговор шел в столовой Федосьева. Он жил в частной холостой квартире, обставленной небогато и без всяких претензий. Видно, и квартира, и ее обстановка мало интересовали хозяина. Ковер, буфет, кожаные стулья были куплены в первом магазине по соседству с домом. На покрытом дешевенькой салфеткой столике стоял большой граммофон. На

стене были развешены фотографии в золоченых рамках. «Не хватает канарейки,— подумал, войдя в столовую, Браун.— Вот и суди по обстановке...» Впрочем, когда он присмотрелся к квартире, кое-что показалось ему характерным для Федосьева. Лампы давали много меньше света, чем было бы нужно, и уюта, несмотря на мещанскую обстановку, не было. Обед был хорош, без лишних, предназначенных для гостей блюд. Подавал лакей в серой тужурке, без перчаток, с бегающими воспаленными глазами. «Верно охранник...»

— Так вы читали «Ключ»? — спросил Браун, кладя себе на тарелку кусок индейки.— Как это у вас хватает на все времени?

— На все не на все, а на чтение хватает... Для меня, Александр Михайлович, как, впрочем, извините меня, и для вас, начинается тяжкая подготовительная школа по изучению ремесла старости... Салата советую взять... Или вы по-французски едите салат отдельно?.. Скорей подавай,— приказал он лакею,— барин спешит. Как могу, скрашиваю жизнь; книги вообще очень помогают, но в последнее время все меньше. А вам? Ведь вы, Александр Михайлович, насколько я могу судить, человек нервный и раздражительный?

— Есть грех.

— И не без легких «тиков»?

— Не без легких тиков. Не выношу ученых дам, детей в очках, толстых мопсов... Что еще?

— Я не шучу. Как насчет «тика смерти»? Ведь люди делятся на завороженных и «небоящихся»...

— Неверное деление. Я скорее из небоящихся, а все-таки «заворожен»... Если не самой смертью, то ее приближением. По крайней мере, к каждому новому человеку — к умному, разумеется — я подхожу с немым вопросом: что дает ему силу и охоту жить? Но этого не надо принимать трагически. Человек уделяет философским мыслям час-два в сутки. Остальное время у него, слава Богу, свободно... Бывает, весной повеет свежим теплым ветерком или увидишь хорошенькую девушку, только начинающую жить, и, старый дурак, серьезно веришь в завтрашний день — вечный обман тут как тут.

— Тут как тут? — переспросил Федосьев.— И правда, слава Богу... Непременно прочту вашу книгу. Жаль, что мне из нее попалось лишь несколько глав, без начала и конца. Многого я поэтому не мог понять, даже в терминологии... Что такое, например, миры А и В?

— Это интереса не представляет, так, маленькое отступление в сторону,— ответил Браун.— Я говорил о двух мирах, существующих в душе большинства людей. Из ученого педантизма и для удобства изложения я обозначил их буквами. Мир А есть мир видимый, наигранный; мир В более скрытый и хотя бы поэтому более подлинный.

— Да ведь, кажется, обо всем таком говорится в учебниках психологии? — спросил Федосьев. — Мне знакомый психиатр объяснил, что теперь в большой моде учение о бессознательном, что ли?

— Нет, нет, совсем не то, — ответил Браун. — Ваш психиатр, верно, имел в виду венско-цюрихскую школу: Брейера, Фрейда, Юнга. Это учение теперь действительно в большой моде, но меня оно не интересует и многое в нем — гипертрофия сексуальной природы, эдипов комплекс, цензура снов — кажется мне весьма сомнительным... Нет, благодарю вас, больше не угощайте, я сыт... Я совершенно не занимаюсь областью бессознательного и подсознательного. Точно так же не занимают меня и учебники психологии — Ich und Es, the pure Ego, les personnalités alternantes[1] и так далее Я не жду объяснения человеческих действий от профессоров психологии. Некоторых из них — весьма известных я знаю лично. Это беспомощные младенцы, ровно ничего не понимающие в людях... Впрочем, может быть, мои мысли и не новы, гарантии новизны я не даю.

— Что же все-таки за миры, если не секрет? — спросил без большого, впрочем, интереса Федосьев.

— Точными определениями не буду вас утруждать, лучше кратко поясню примером из той области, которая вас интересует. Я знал вождя революционной партии — иностранной, иностранной, — добавил он с улыбкой. — В мире А это «идеалист чистейшей воды», фанатик своей идеи, покровитель всех угнетенных, страстный борец за права и достоинство человека. Таким он представляется людям. Таким он обычно видит себя и сам. Но с некоторым усилием он, вероятно, может себя перенести в мир В, внутренно более подлинный. В мире В это настоящий крепостник, деспот, интриган и полумерзавец...

— Почему же «полу»? — спросил Федосьев. — Утешьте меня, может быть, совсем мерзавец, а? Так и психологически эффектнее.

— Настоящих мерзавцев на свете так мало... Не выношу тех плохих писателей, которые в своих книгах все выводят подлецов и негодяев, что за насилие над жизнью! Ты возьми среднего порядочного человека и, ничего не скрывая, покажи толком, что делается у него в душе... Этот не средний и не порядочный, однако не могу вас утешить: только полумерзавец. Что у него в мире В? На первом плане тщеславие, властолюбие, ненависть. Есть ли хоть немного любви к человечеству, «идеализма чистейшей воды»? Есть, конечно, но немного, очень немного. Был ли он когда-либо другим? Не думаю, он как та старуха у Петрония, которая не помнила себя девственницей. Тяготится ли он жизнью в мире мелкой злобы и интриги? Конечно, нет, как рыба не страдает морской болезнью. Но видит ли он

[1] Я и Оно, чистое Я, меняющиеся личности (*нем., англ., фр.*).

свой мир В? Мог бы отлично видеть, ничего бессознательного тут, повторяю, нет. Скорее, однако, не видит или видит весьма редко — мысль у него ленивая. В мире А она, впрочем, бойкая: человек он довольно невежественный, но в его невежестве есть пробелы. Он жует свою полемическую жвачку, произносит страстные речи и обделывает свои делишки так хорошо, что просто любо смотреть. А вот подумать о своем подлинном, несимулированном мире ему трудно, да и некогда... Впрочем, не берусь утверждать, какой мир подлинный, какой призрачный. Симуляция, длящаяся годами, почти заменяет действительность, уже почти от нее не отличается. Опытный зритель понимает смысл пьесы, угадывает ее развязку, режиссер видит артистов без грима, но для актера привычка делает главной реальностью сцену. А если б актер играл каждый день одну и ту же роль, то для него жизнь перестала бы совсем быть реальной. Таков и этот человек. Он потерял ключ из одного мира в другой.

— Разве обязательно иметь ключ?

— Не знаю,— сказал Браун.— Может быть, лучше и не иметь... Или забросить его куда-нибудь подальше. Мой революционер, конечно, крайний случай, но примеров можно привести много в самом различном роде. У меня вошло было в привычку: угадывать мир В по миру А. Сначала это забавляло.

— Да, это, должно быть, иногда забавно,— небрежно сказал Федосьев.— Почтенный человек говорит о высоких предметах, о чистой тургеневской девушке — это, оказывается, мир А. А в мире В у него старческие слюнки текут от разных тургеневских и нетургеневских девочек. Очень забавно... Вы сыра не едите? Тогда фруктов?.. И что же, у всех людей, по-вашему, есть мир В?

— Благодарю... У большинства, должно быть. Есть люди без мира В, как есть люди без мира А, какой-нибудь Федор Карамазов, что ли... Не надо, впрочем, думать, будто мир В всегда хуже мира А, бывает и обратное. Бывает и так, что они очень близки друг к другу. Я бы сказал только, что мир В постояннее и устойчивее мира А. По взаимоотношению этих двух миров и нужно, по-моему, изучать и классифицировать людей. Все иррациональное в человеке из мира В, даже самое будничное и пошлое, в иррациональном ведь есть и такое, скупость, например. Кто из нас не знал истинно добрейшей души людей, которые, чтоб не расстаться с ненужными им деньгами, дадут умереть от голода ближнему — ближнему не в библейском, а в более тесном смысле слова. Душа у них рвется на части, но денег они не дадут. Это мир В.

Федосьев смотрел на него задумчиво. «А как же ты мог Фишера отравить, в мире А или в мире В?..».

— Ну, и что же?

— Только и всего.

— Так это чистая психология? — разочарованно протянул Федосьев. — Какая же связь этой главы с вашими аттилическими теориями?

— О, связь лишь косвенная и абстрактная, — сказал Браун и взглянул на часы. — Однако мы засиделись! Вы меня извините, но я вас предупредил, что тотчас после обеда должен буду уехать.

— Предупредить предупредили, правда, а все же еще посидите. Я так рад случаю побеседовать... Косвенная связь, вы говорите?

— Да, несколько искусственная... Я, быть может, злоупотребил этой тяжелой и претенциозной терминологией. Но было соблазнительно перейти от человека к государству. У общественных коллективов тоже есть свой не симулированный мир. Я рассматриваю войну, революцию как прорыв наружу черного мира. Приблизительно раз в двадцать или в тридцать лет история наглядно нам доказывает, что так называемое культурное человечество эти двадцать или тридцать лет жило выдуманной жизнью. Так, в театре каждый час пьеса прерывается антрактом, в зале зажигают свет — все было выдумкой. Эту неизбежность прорыва черного мира я называю роком — самое загадочное из всех человеческих понятий. Ему посвящена значительная часть моей книги.

— Люди часто, по-моему, этим понятием злоупотребляют, как и понятием неизбежности. Захлопнуть бы черный мир и запереть надежным ключом, а?

— Что ж, вы такой надежный ключ и найдите.

— Возможности у нас теперь маленькие, это правда. Однако в беседе с вами жаловаться на это не приходится, — сказал Федосьев, — все равно как неделикатно жаловаться на свою бедность в разговоре с человеком, который вам должен деньги... Но что такое черный мир государства? Мир без альтруистических чувств?

— Нет, где уж альтруизм! Я так далеко и не иду. У меня славная программа-минимум. Как прекрасна, как счастлива была бы жизнь на земле, если б люди в своих действиях руководились только своими узкими эгоистическими интересами! К несчастью, злоба и безумие занимают в жизни гораздо больше места, чем личный интерес. Они-то и прорываются наружу... Я и в честолюбие плохо верю. Нет честолюбия, есть только тщеславие: самому честолюбивому человеку, по существу, довольно безразлично, что о нем будут думать через сто лет, хоть он, может быть, этого и не замечает.

— Мысли у вас не очень веселенькие, — сказал Федосьев. — Но это не беда, вы с такими мыслями сто лет проживете, Александр Михайлович. Да еще как проживете! Без греха, без грешков даже и в мире А, и в мире В. По рецепту Марка Твена: жить так, чтобы в день вашей кончины был искренно расстроен даже содержатель похоронно-

го бюро... Разрешите вам налить портвейна? Недурной, кажется, портвейн.

— Очень хороший, — сказал Браун, отпив из рюмки. — И обедом вы меня накормили прекрасным.

— Когда же, по-вашему, — спросил Федосьев, — произойдет у нас этот взрыв мира В? Или, попросту говоря, революция?

— По-моему, удивительнее всего то, что она еще не произошла, если принять во внимание все дела ваших политических друзей...

— Моих и ваших. Давайте разделим ответственность пополам. Верьте мне, это очень для вас выгодно.

— Но так как факт налицо — до сих пор никакого взрыва не было, то я твердо решил воздерживаться от предсказаний в отношении нашего будущего. Социологию России надо раз навсегда предоставить гадалкам.

— Спорить не буду, хотя насчет сроков у меня устанавливается все более твердое мнение. Но я и сам думаю, что у нас все возможно... Помнится, я вам даже это говорил... Верно, у нас с вами сходный мир В? В мире А мы, к сожалению, расходимся.

— Да, немного. Но вы и в мире А иногда высказываете мысли, которые не совсем вяжутся с вашим положением и официальными взглядами... Признаюсь, мне хотелось бы знать, высказываете ли вы эти мысли также и близким вам государственным деятелям?

— Им высказываю редко, — ответил, смеясь, Федосьев. — Не хватает «гражданского мужества»... Очень я люблю это выражение: о людях, не имеющих мужества просто, их друзья обычно говорят, что у них есть гражданское мужество... Нет, государственным деятелям не высказываю — старичков бы еще разбил удар.

— Выскажите им все на прощание, когда соберетесь в отставку. Все-таки отведете душу — я думаю, вы их любите не больше, чем нас... Но я, право, должен вас покинуть, еще раз прошу меня извинить, — сказал, вставая, Браун. — В свою очередь, буду очень рад, если вы ко мне заглянете.

— С особенным удовольствием. Что ж, больше не удерживаю, знаю, как вы спешите. Большое спасибо, что зашли...

Он проводил гостя в переднюю. Лакей в серой тужурке подал шубу.

— Ведь вы в Париж еще не скоро?

— Нет, до конца войны думаю побыть здесь.

— До конца войны! — протянул Федосьев, удерживая в своей руке руку Брауна. — Соскучитесь... Ведь у вас там друзья, ученики... От Ксении Карловны, кстати, писем не имеете? — быстро, подчеркивая слова, спросил он. — Так я надеюсь скоро снова с вами встретиться.

— Очень буду рад, — ответил Браун, опуская деньги в руку лакея. — Нет, писем не имею. Мне вообще мало

пишут... До свидания, Сергей Васильевич, благодарю вас.

— До скорого свидания, Александр Михайлович.

Дверь захлопнулась. Федосьев вошел в свой кабинет и сел у письменного стола.

«Очень крепкий человек,— подумал он.— Никакими штучками и эффектами его не проймешь. Ерунда эти следовательские штучки, когда имеешь дело с настоящим человеком. Нисколько он не «бледнеет» и не «меняется в лице»... А если и бледнеет, то какое же это доказательство! Видит, что подозревают, и потому бледнеет... Однако не фантазия ли вообще все это? Может быть, он не имеет никакого отношения к делу?» — спросил себя с досадой Федосьев.

Он встал и прошелся по комнате, затем подошел к шкафу, вынул щипцы, небольшой деревянный ящик и вернулся в столовую.

— Ступай к себе,— сказал он входившему лакею.— После уберешь.

Федосьев запер дверь, осторожно взял щипцами стакан, из которого пил портвейн Браун, и поставил этот стакан в ящик, утыканный изнутри колышками. Затем перенес ящик в кабинет, запечатал и надписал на крышке букву В. «Вот мы и посмотрим... Совсем, однако, Шерлок Холмс»,— подумал он. Эта мысль была неприятна Федосьеву — то, что он делал, не очень соответствовало его рангу, привычкам, достоинству. «Но как же быть? Другого доказательства быть не может... И такие ли еще делаются вещи и у нас, и в других странах!» — утешил себя он, перебирая в памяти разные чужие дела. Очевидно, воспоминание о них его успокоило. «Надо послать в кабинет экспертизы»,— подумал Федосьев, оправляя пальцем твердеющий сургуч на угловой щели ящика.

XXXII

Должность второго парламентского хроникера составляла мечту дон Педро. Получить эту должность было, однако, нелегко. Не все газеты имели в Думе двух представителей, и Альфред Исаевич знал, что положение в «Заре» Кашперова, первого думского хроникера, довольно крепко. Дон Педро, впрочем, под Кашперова не подкапывался — он не любил интриг. Но ему казалось, что газета с положением «Зари» должна, кроме отчетов о заседаниях Думы, печатать еще информацию о «кулуарах». Альфред Исаевич, природный журналист, спал и во сне видел этот отдел. Он придумывал для него все новые названия — либо деловые: «Кулуары», «В кулуарах», либо более шутливые: «Слухи и шепоты», «За кулисами». Из этих названий он склонялся к первому, серьезному: «Кулуары» — слово это очень ему нравилось. Альфред Исаевич предполагал даже в случае удачи избрать себе новый псевдоним: подпись «Дон Пед-

ро» для такого отдела была недостаточно серьезной. Несколько влиятельных людей обещали Альфреду Исаевичу поговорить о нем с главным редактором газеты. Но дон Педро плохо верил обещаниям, в выполнении которых люди не были заинтересованы. Вдобавок редактор, Вася, был в последнее время суховат с Альфредом Исаевичем. Дон Педро приписывал это сплетням.

— Конечно, насплетничали Васе, — объяснял дон Педро секретарю причины охлаждения к нему политического редактора. — Сто раз я себе говорил: не болтать. А тут взял и разговорился в одном доме о той передовой Васи. (У Альфреда Исаевича была привычка говорить о своих знакомствах и связях несколько таинственно: «в одном доме», «у одних друзей».)

— Вот и не болтайте, — наставительно сказал Федор Павлович. — А впрочем, сплетен бояться не надо: кто способен донести, тот может и просто о вас выдумывать, даже если вы ничего не говорили.

«Ну, это теория, — подумал Альфред Исаевич (он называл теорией все, что ему казалось чепухою). — Посплетничать одно, а выдумать другое».

— Вся моя надежда на вас, Федор Павлович, — жалобно сказал он.

Секретарь редакции был в этом вопросе на стороне дон Педро: он отлично знал, что отдел, посвященный слухам и сплетням из «кулуаров», много интереснее публике, чем самые дельные отчеты о думских прениях. Зато отчаянное сопротивление предвиделось со стороны Кашперова.

— Что ж, я действую с открытым забралом, — справедливо говорил Альфред Исаевич. — Если он из этого сделает кабинетский вопрос, это дело его профессиональной совести.

В редакции все стояли за учреждение нового отдела: веселые, благодушные, насквозь проникнутые скептицизмом и корпоративным духом люди, преобладавшие в редакции «Зари», как во всех редакциях мира, знали, что дон Педро — хороший человек, что, кроме жены, у него на содержании родственники в Чернигове и что лишние двести рублей в месяц ему очень пригодились бы.

В связи с анкетой об англо-русских отношениях дон Педро пустил пробный шар. Он заявил главному редактору, что для получения интервью от видных депутатов ему необходимо постоянно бывать в Думе, и потребовал билета в ложу журналистов.

— Вы сами понимаете, иначе они никакого интервью не дадут: они терпеть не могут, чтобы к ним ходили на дом, — сказал Альфред Исаевич, явно рассчитывая на доверчивость Васи и не смея поднять глаза на Федора Павловича, который только мрачно на него посмотрел: оба они были убеждены, что из десяти известных людей девять не

только примут у себя на дому интервьюера, но с удовольствием пешком побежали бы для интервью за город.

Главный редактор согласился с доводами Альфреда Исаевича, и для него был получен входной билет в ложу журналистов. Это было половиной победы, дон Педро, сияя, принимал поздравления.

Открытие думской сессии было назначено на 19 ноября. Альфред Исаевич явился рано в приятном и приподнятом настроении духа. Он даже оделся для этого случая несколько более парадно, чем всегда. Под мышкой у него был солидный, крокодиловой кожи портфель с инициалами А. П., а в кармане вместо старой, потрепанной новенькая записная книжка с остро очиненным карандашом в боковом кружке.

Дон Педро бывал в Таврическом дворце и раньше, знал многих депутатов, однако он не был своим человеком в Думе. Все очень ему нравилось. Приятен был самый переход с полутемной, сырой и грязной улицы в ярко освещенное, хорошо натопленное здание. Приятны были и будки по сторонам палисадника, и монументальный швейцар у входа, и думская стража в черных мундирах с тесаками, и замысловатый потолок аванзала, казавшийся куполом, а на самом деле плоский. Теперь все это — и швейцар, и стража, и купол — составляло как бы собственность дон Педро. Сторож проверял температуру у термометра. Альфред Исаевич тоном завсегдатая спросил у сторожа, собрался ли уже **народ**. Тот же вопрос он предложил проходившему по аванзалу приставу в сюртуке с серебряной цепью и получил тот же ответ, что еще нет почти никого. И сторож, и пристав отвечали чрезвычайно почтительно. Альфред Исаевич с гораздо большей силой, чем в гостинице «Палас», испытывал наслаждение от необыкновенного комфорта и почета. «Да, самая настоящая Европа»,— думал он. Дон Педро имел смутное представление об Европе, но все, что он о ней знал, совпадало с картиной Таврического дворца.

«Заре» полагалось место в нижней ложе, предназначенной для газетной аристократии. Как раз в ту минуту, когда дон Педро вошел в ложу, в зале заседаний зажглись люстры и осветили пюпитры светложелтого дерева, трибуну, золотого орла, огромный портрет императора, ходивших по залу людей с серебрянными цепями. Ложа журналистов, как и зал, еще была почти пуста. В углу в первом ряду сидел Браун. «Верно, по иностранному билету»,— подумал удивленно дон Педро. Он поклонился довольно холодно. Альфред Исаевич выбрал место во втором ряду, прислонил к спинке стула портфель и вынул газету, чтоб можно было без неловкости воздержаться от всякого разговора с мрачным профессором. «Неприятная фигура»,— подумал

дон Педро, поглядывая из-за газеты на Брауна, который с очень утомленным видом неподвижно сидел в своем кресле, опустив руки на барьер. Читать Альфреду Исаевичу не хотелось. Он посидел немного, затем поднялся, положил для верности на свой стул еще футляр от очков, пожалев, что клеенка на футляре отклеилась, и вышел из ложи в свое будущее царство в **кулуары.**

В кулуарах уже были люди; дон Педро беспрестанно раскланивался со знакомыми. Некоторые депутаты, притом не только близкого, но и враждебного лагеря, имевшие основание быть недовольными «Зарей», очень любезно здоровались с ним, называя его по имени-отчеству. Они подтвердили Альфреду Исаевичу то, что он еще раньше слышал в редакции: со стороны крайней левой ожидается обструкция против нового правительства. Дон Педро качал головой с нейтральным, неопределенным видом. В душе он нисколько не сочувствовал обструкции. Как человек пожилой и солидный, Альфред Исаевич уважал принцип власти; а в этом пышном, великолепном дворце, где все были так любезны и учтивы, обструкция казалась ему ни с чем не сообразным, неподобающим делом.

Желая хорошо ознакомиться со своим дворцом, дон Педро заглянул в зал комиссий, посмотрел почтовое и врачебное отделения, затем зашел в буфет, где, весело разговаривая, завтракали и пили чай депутаты. В пожилом человеке, закусывавшем у стойки, дон Педро с удовлетворением узнал одного из второстепенных министров, в свое время давшего ему интервью. Альфред Исаевич поклонился с достоинством — министр был министр, однако дон Педро чувствовал себя представителем «Зари»: так молодой советник посольства, заменяя посла, с особым достоинством беседует с иностранным премьером, зная, что и на второстепенной должности представляет великую державу. Тем не менее ответный поклон министра был приятен Альфреду Исаевичу. Он все яснее чувствовал, что становится частью огромного могущественного организма: благодаря кусочку картона с пропечатанной фотографической карточкой, хранившемуся у него в боковом кармане, и министр как бы ему принадлежал. Водку в думском буфете подавали без обычной маскировки. Дон Педро спросил рюмку зубровки, энергичным движением опрокинул ее в рот — он всегда пил водку с таким видом, точно брал штурмом крепость, — закусил зубровку семгой, хоть не был голоден, и в самом лучшем настроении, еще повеселев от водки, вернулся в Екатерининский зал. О его комфорте здесь очень заботились. «Только родильного отделения не хватает, — подумал он. — И совершенная ерунда эта обструкция...»

У стола с журналами толпились депутаты. Дон Педро посидел в удобном кожаном кресле, прислушиваясь к разговорам. Говорили почти исключительно о предстоящей обструкции. Одни говорили о ней сочувственно, другие воз-

мущенно, но и у тех и у других чувствовалось оживление и даже радость, точно все с удовольствием ждали нового зрелища. Дон Педро вынул записную книжку, поставил на первой странице число и набросал несколько строк. От противоположного стола, где расписывались в книге члены Думы, своей быстрой энергичной походкой подошел князь Горенский. «Уж не взять ли у него интервью?» — подумал Альфред Исаевич. Однако он тотчас признал князя слишком молодым для анкеты.

— Вы как здесь? — спросил Горенский, быстро и крепко пожимая ему руку. — Ведь от «Зари» у нас Кашперов?

— Кашперов сам по себе, а я тоже сам по себе, — ответил Альфред Исаевич. — Нашей газете необходимо отображение внутреннего мира Думы, и я, вероятно, возьму на себя этот отдел. Что, князь, будет обструкция?.. Я не отрицаю, конечно, целесообразности этого метода борьбы при известной конъюнктуре, но вопрос в том, насколько это отвечает задачам текущего момента?

— Да, наши левые твердо решили, — сказал князь. — По-моему...

Мимо них неуверенной походкой, робко и нервно оглядываясь по сторонам, прошел тот министр, который только что закусывал в буфете. Князь сухо с ним раскланялся.

— Вот она, звездная палата, — насмешливо сказал он. — Кстати, Столыпин последний из них умел носить сюртук.

— Ведь этот из простых, отец его был простой мещанин... Странно все-таки, что интересы поместного класса представляют выходцы из мещан, а интересы надцензовой демократии — кровный Рюрикович князь Горенский, — сказал, улыбаясь, дон Педро.

— А мне совершенно все равно, из простых он или не из простых, — с равнодушным видом ответил князь (хотя ему было приятно замечание журналиста). — Важно то, что и он, и они все никуда не годятся.

«Нет, я все-таки возьму у него интервью», — решил дон Педро. Он изложил князю свою просьбу. Лицо Горенского тотчас приняло серьезное, сосредоточенное выражение.

— Важная проблема, которую как нельзя более своевременно ставит газета «Заря»... — начал он. Но в эту минуту в зале зазвонил электрический звонок. — Я буду к вашим услугам после заседания, — сказал Горенский, пожимая руку Альфреду Исаевичу. По Екатерининскому залу вслед за человеком с золотой цепью шел председатель Государственной думы, за ним еще несколько человек в сюртуках. Звонок продолжал звонить. Депутаты, оживленно разговаривая, устремились в зал заседаний. Дон Педро поспешно вернулся в ложу, отыскал глазами Кашперова, корректно раскланялся и, устроив себе пюпитр из порт-

феля, положил на него книжку. Председатель Думы уже сидел на трибуне. Его голова приходилась в уровень с концом шпаги императора. Несколько ниже пристав, оглядывая быстро наполнявшийся зал, придерживал рукой пресс-папье, положенное на кнопку электрического звонка, видимо, этот прием доставлял ему удовольствие. Когда зал заполнился, пристав снял с кнопки пресс-папье. Электрический звонок оборвался, тотчас раздался другой. Председатель резким властным движением встряхнул в руке медный колокольчик.

— Заседание Государственной думы открывается.

XXXIII

«Да, это и есть наше главное окно в Европу, и отсюда могло бы прийти спасение», — думал Браун, вглядываясь в новую для него картину русского парламента. Зрелище это доставляло ему почти такое же удовлетворение, как Альфреду Исаевичу. Он вдобавок находил, что Таврический дворец превосходил великолепием и размахом западные парламенты. «Да, эти люди продолжают дело Петра, хотят ли они того или нет... Я родился европейцем, европейцем умру, в Азии мне делать нечего, и любоваться Азией я не стану, — думал он, невольно удивляясь собственному умеренному настроению. — Внешний вид Государственной думы, блеск Таврического дворца, очевидно, ничего не доказывают... Но я живой человек, а не машина для выработки «стройного образа мыслей» и, как живой человек, поддаюсь впечатлениям... Веками лилась в мире кровь для того, чтобы это создать. Что толку в шуточках Федосьева? Что может он предложить взамен этого? Что толку и в моих мыслях, разрушительностью которых я забавлялся, как юноша? Я пробовал устроиться с комфортом в пороховом погребе и еще других приглашал в гости. Но на всякий случай устроил себе и более удобную идейную квартиру, разделив стеной философию и практику. Я могу думать и проповедовать, что мне угодно, — эти учреждения, надоевшие пресыщенным людям, эти идеи, ставшие общедоступными благодаря пролитой за них крови, очень надолго переживут и мою философскую схему, и принцип одновременного жительства в нескольких идейных квартирах...

Как часто я завидовал простым, неглупым, хорошим людям, вовремя, то есть на третьем десятке лет, выкинувшим из головы идеологическую похоть и мечты о славе, честно и мужественно прожившим жизнь для семьи, для детей, для доброго имени на одно-два поколения. Я всегда чувствовал превосходство их простоты, хотя не знал, как обосновать это превосходство. Но есть, по-видимому, и идеи, подобные таким людям: честные, простые и мужественные идеи, над которыми легко издеваться и которые

заменить нельзя, не повергая себя в самое мучительное состояние».

Ложа журналистов понемногу наполнялась. Соседи смотрели на Брауна с любопытством. В зале заседаний еще почти никого не было. Браун обвел взглядом места для публики. Ему запомнился студент, сидевший в первом ряду, такое жадное любопытство, такой восторг были написаны на его лице. «Теперь по ночам во сне будет мечтать, как бы выпало счастье — стать депутатом», — подумал Браун.

— Нет, сегодня поздно начнут, я знаю, — сказал около него кто-то.

Браун вышел из ложи и, плохо ориентируясь в Таврическом дворце, пошел по коридору налево. У полузакрытой двери не было сторожа. За ней зал был пуст. Только в конце нервной походкой, видимо, кого-то поджидая, расхаживал пожилой человек в синем пиджаке. Браун направился наудачу дальше. Чиновник, сидевший за столом в галерее, окинул его быстрым внимательным взглядом, поспешно встал и направился к Брауну.

— Вам кого угодно? Правительство сейчас выходит...

Браун отошел и остановился у огромного окна. Отодвинув штору, он увидел в полутьме сад, голые деревья, печальное озеро. «Вот где должны были бы **встать тени прошлого**», — подумал он. Тени прошлого тотчас встали. Он представил себе огни, бархат, золото, гигантскую фигуру хозяина, шествие навстречу императрице... Оркестр играл Турецкий марш Моцарта. «Все же этот дворец не следовало отдавать под парламент», — подумал нехотя Браун. Электрический звонок резко прервал звуки Турецкого марша. Браун продолжал смотреть на качающиеся деревья сада. Его воображение не хотело расстаться с пышной картиной шествия... Звонок продолжал звонить однообразно, все неприятней. Господин в синем пиджаке быстро направился к дверям министерского павильона. Браун оглянулся.

Из галереи вышли несколько человек в сюртуках. Один из них неестественно улыбался, стараясь казаться спокойным. У других лица были бледные и растерянные. «Вот они, преемники Потемкина! — подумал Браун. Два шествия слились в его представлении, как два снимка на одной фотографической пластинке. — Горе власти, которая перестала себя чувствовать властью...» Надоедливый звонок оборвался. Браун направился назад в ложу. У дверей коридора теперь находился чиновник. Он удивленно посмотрел на Брауна, попросил билет и недовольным тоном, хоть учтиво, заметил, что в Полуциркульный зал могут входить только члены Государственной думы. Сильный шум вблизи вдруг прервал слова чиновника. Из залы заседаний донеслись крики, гул голосов, отчаянный стук пюпитров.

— Ложа журналистов вон там, — сказал чиновник, поспешно отходя от Брауна.

Дверь ложи была раскрыта настежь, но пробраться туда было невозможно, так была набита людьми ложа. Из зала несся бешеный крик: «Долой!.. В отставку!..» Браун остановился в недоумении. «Стоило хлопотать о билете... Не надо было выходить...» На пороге обменивались впечатлениями оставшиеся без мест журналисты.

— Безобразие!

— Исключат всех...

— Силой выведут, если не выйдут сами.

— Неслыханный позор!

— Что ж тут неслыханного? Горемыкина и не так встречали.

— Pour du chahut, c'est du chahut [1], — с некоторым удовлетворением в голосе пробормотал выходивший французский журналист. Он пожал плечами, захлопнул тетрадку и пошел по коридору направо. Браун направился за ним. В Екатерининском зале он остановился. «Что ж, уходить или еще подождать?» — спросил себя озадаченно Браун. Он сел в кресло, взяв со стола журнал. Какой-то запоздавший депутат взглянул на него с удивлением, пробегая в зал заседаний. Сквозь раскрывшуюся дверь с новой силой донеслись крики, стук, гул. По Екатерининскому залу быстро прошел отряд думской охраны. На пороге показался старый седой человек с взволнованным, бледным лицом. Увидев солдат, он схватился за голову и бросился назад в зал заседаний.

«Да, отсюда могло прийти спасение — и оно не придет. Поздно... Овладела всеми нами слепая сила ненависти, и ничто больше не может предотвратить прорыв черного мира...»

---

[1] Вот уж скандал, так скандал *(фр.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

— Николай Петрович, я вам возвращаю дело, — слегка грассируя, сказал товарищ прокурора Артамонов, входя в камеру следователя. — А у вас, кажется, лучше топят? Уж очень везде холодно... Я вам не помешаю?

— Нисколько, Владимир Иванович, садитесь, — ответил Яценко, здороваясь и кладя на стол папку № 16. — Так быстро все прочли?

— О нет, только пробежал главное. На некоторых ваших допросах я ведь был. Очень жаль, что не мог присутствовать при всех. Пока я знаю дело только в общих чертах, вот, когда кончите, займусь им вплотную... Вы, кстати, когда думаете кончить?

— Вероятно, завтра вызову Загряцкого.

Артамонов только вздохнул, глядя на папку.

— Я, правда, вам сейчас не мешаю?

— Да нет же... Опять вы нынче выступали, что-то уж очень часто в последнее время? — спросил Яценко, показывая глазами на новенький форменный сюртук товарища прокурора. Артамонов, не провинциал, а коренной петербуржец, никогда не надел бы форменного платья, если бы не выступление в суде. — У Брунста сюртук шили?

— Нет, у Дмитриева. Не хуже шьет и берет дешевле, чем Брунст.

Яценко слегка улыбнулся. Он знал, что Владимир Иванович, человек богатый и широкий, нарочно немного прибедняется в разговоре с ним, как бы для установления равенства. Эта все же чуть-чуть заметная деликатность, ничего не стоящая богатым людям, не раздражала Николая Петровича. Он любил Артамонова, хотя расходился с ним в политических взглядах: товарищ прокурора, вышедший из Училища правоведения и отбывший военную службу вольноопределяющимся в одном из аристократических полков, держался взглядов консервативных. Впрочем, в по-

следнее время он, как все, бранил правительство. Самый вид этого жизнерадостного, красивого, но немного легкомысленного барина, всегда прекрасно одетого, пахнущего какой-то необыкновенной, бодрящей lotion, был приятен Николаю Петровичу. В особенности же он ценил безупречную порядочность Артамонова. Чем старше становился Яценко, тем меньше он от людей требовал и тем больше ценил те простые, редкие качества, которые он определял словом «джентльменство».

— Чаю не хотите ли? Пошлю в буфет.

— Нет, благодарю вас, я сам только что из буфета. Там Землин и Кременецкий меня задержали.

— Землин? Ах, да, фон Боден...

— Урожденный фон Боден. Фамилию новую выхлопотал, а частицы «фон» ему жалко... Не люблю немцев... Я знаю, вы мне не прощаете германофобства.

— Дались же вам эти немцы! — сказал, улыбаясь, Яценко. Николай Петрович чувствовал, что Артамонов в душе ровно ничего против немцев не имеет, по крайней своей впечатлительности он только принял — без всякой злобы — единственное «фобство», сразу разрешенное и правой, и левой печатью.

— Кременецкий сияет, как медный грош, — продолжал Владимир Иванович. — Он при мне провожал к выходу эту самую нашу даму, госпожу Фишер... Поцеловал ей на рыцарский манер ручку, смотрит по сторонам этаким трубадуром. А красивая дама, Николай Петрович, правда?

— Ничего...

— Ничего?.. — недовольно протянул Артамонов. — Так-с... Я об этом нашем деле и хотел побеседовать. Заранее прошу сделать поправку на мое недостаточное пока знакомство с производством... Между нами комплиментов, слава Богу, не требуется, — вставил он шутливо, — разумеется, вы следствие произвели, как всегда, образцово. Но сказать, что я вполне удовлетворен результатами, по совести не могу.

— И я не могу. Никак не могу.

— Вы, однако, совершенно уверены, что убил Загряцкий?

— Я лично почти уверен... Но, во-первых, это **почти**. Во-вторых, пробелы в обвинительном материале, и по-моему, несомненны. Следствие сделало все, что могло, но вам задача предстоит нелегкая.

— То-то оно и есть. Так вот, сначала о вашей внутренней уверенности. Прежде всего, как вы себе представляете самую картину убийства? Мне кое-что в ней неясно.

— Я себе представляю дело так. Фишер приехал туда незадолго до девяти часов вечера. Это точно установлено согласными показаниями извозчика Архипенко, который его туда отвез, и двух служащих гостиницы — они виде-

ли, как он в девятом часу уехал из «Паласа». Показанием извозчика твердо установлено также и то, что Фишер приехал на квартиру один.

— Это очень существенное обстоятельство.

— Очевидно, у них было условлено, что туда же приедет и Загряцкий. Кто из них приехал раньше, сказать с полной уверенностью не могу, да это и не так важно. Я склонен думать, что раньше приехал Фишер. В своей записке Фишеру Загряцкий обещает быть «там, где всегда», в десять часов. Правда, мы не имеем доказательства, что записка относилась именно к этому вечеру: она числом не помечена, конверт не сохранился, и дня доставки выяснить не удалось. Но записка может свидетельствовать о характере их встреч вообще...

— Виноват, я вас перебью: защита, конечно, скажет, что человек, замышляющий убийство, никогда не пошлет такой записки — слишком грозная улика.

— Верно. Не всегда, правда, такие записки сохраняются, и, как вы лучше меня знаете, не всегда убийца обо всем подумает, иначе какое же преступление можно было бы раскрыть? Но я и в самом деле склонен думать, что записка относилась к одной из их предыдущих встреч. Встречались они в этой квартире не раз, и Петрова, швейцариха, признала в Загряцком человека, который бывал в доме с Фишером. Он, впрочем, этого и сам не отрицает.

— Но ведь и женщины должны же были явиться?

— Да, конечно. Здесь возможно два предположения. Либо женщин этих по уговору взялся привести Загряцкий, тогда он мог сказать Фишеру, что их что-либо задержало, что они приедут позднее. Либо женщин вызывали по телефону, тогда до телефонного звонка, должно быть, дело не дошло. Очень нетрудно и симулировать телефонный разговор: Загряцкий мог снять трубку и фиктивно пригласить женщин, якобы вызвав нужный номер... Отпечатка пальцев на телефонной трубке не найдено. Первое предположение более правдоподобно. Как бы то ни было, и сыскная полиция с Антиповым, и свидетели по дому твердо стоят на том, что женщин в тот вечер не было, и я всецело к этому мнению присоединяюсь. Не тронута была, как вы знаете, и постель. Разумеется, никакие женщины следствию и не объявлялись.

— Еще бы они объявились! — подняв брови, сказал Артамонов. — Кто же станет добровольно ввязываться в такую историю?

— У Антипова в этом мире большие связи, и никто из его осведомителей ему ничего указать не мог. Не удалось установить и личности женщин, которые бывали на квартире прежде. Это одно из слабых мест следствия, все мои усилия ни к чему не привели. И швейцариха, и дворник дома, и Загряцкий утверждают, что женщин вызывал сам Фишер и что они их по именам не знали. Отрицать такую

возможность нельзя, может, и не знали. Наш полицейский розыск оказался в этом деле кое в чем не на высоте...

— Ах да, кстати, — сказал Артамонов. — Или, вернее некстати... Вы знаете новость? Федосьев на днях увольняется в отставку.

— Неужели? Об этом, впрочем, говорят давно. Говорили, я помню, еще до убийства Распутина.

— Но теперь, по-видимому, решено окончательно, я в министерстве слышал... Извините, что перебил вас. Итак, дальше, я вас слушаю.

— Остальное ясно. Они остались вдвоем и в ожидании женщин решили выпить вина. Загряцкий незаметно всыпал яд. Смерть последовала почти мгновенно... Затем Загряцкий вышел из дому и удалился. В одиннадцатом часу Петрова уже спала, и выйти незаметно было очень легко,

— Это, однако, опять слабое место. Загряцкий вошел в дом — никто его не видел. Вышел из дома — тоже никто не видел. Точно бестелесное существо. Конечно, все это вполне возможно, но наглядности нет, вы меня понимаете? На Загряцкого прямо ничто не указывает. Ведь могли же бывать на квартире и другие люди.

— Однако швейцариха видела только его, и сам он не мог назвать никого из других людей, якобы на той квартире бывавших. Это очень неправдоподобно; веселящиеся люди такого сорта обычно знают друг друга. По своей инициативе никто из бывших там ко мне не зашел.

— Радости от огласки таких похождений мало... А правда, Николай Петрович, пошлите за чаем, я, пожалуй, выпью стаканчик.

— Конечно, выпейте.

Яценко встал и, кликнув сторожа, отдал распоряжение.

— Скорее всего, — сказал он, вернувшись и садясь снова за стол, — скорее всего, никто другой на этой квартире не бывал. Загряцкий был и главным собутыльником Фишера, и поставщиком живого товара... Милые нравы! — с отвращением сказал Николай Петрович.

— Это как во Франции в восемнадцатом веке — fournisseur de menus plaisirs[1]... Что ж, эти господа Фишеры и есть теперь настоящие короли... Так, значит, Загряцкий прибыл туда в десятом часу, проскользнул незаметно в дом и вошел в квартиру, открыв дверь ключом. Так?

— Да. Вам известны показания статского советника Васильева и его лакея Барсукова. Они, как вы помните, живут в квартире номер три, расположенной по другую сторону площадки. Оба свидетельствуют, что звонка в тот вечер в квартире номер четыре они не слышали. Между тем произведенный мною опыт показал, что звонок в квартире номер четыре резкий и сильный — его нельзя не

[1] Поставщик мелких удовольствий *(фр.)*.

услышать из небольшой квартиры Васильева... А вот открыть дверь при помощи ключа и затем запереть ее можно почти без шума. Очевидно, убийца имел ключ от квартиры.

— Виноват, почему же непременно ключ? Быть может, у них был установлен стук, что ли, по которому кто первый пришел, тот и открывал дверь.

— Все может быть, — сказал Яценко, — но я не вижу, для чего Фишеру мог понадобиться какой-то условный стук. Он от Васильева не прятался. Двери открывают либо по звонку, либо ключом. Кроме того, стук, вероятно, тоже услышал бы если не Васильев, то его слуга, комната которого расположена почти у самой площадки... Нет, я думаю, можно безошибочно сказать, что убийца отворил дверь ключом. Возникает, таким образом, вопрос, у кого был ключ от квартиры номер четыре. Прежде было всего два ключа. Один, запасной, хранился у домовладельца и в счет не идет. Другой ключ был у Петровой. Его она и давала всем, кто эту славную квартиру снимал, — снимали ее и посуточно, и на неделю. Фишеру этот порядок не понравился, вероятно, он не хотел находиться, так сказать, под контролем швейцарихи. По его предложению Загряцкий заказал у слесаря Кузьмина еще два ключа. Из них Фишер один взял себе, а другой отдал Загряцкому — вот какая у них была тесная дружба. Этот ключ, как вы помните, был найден при обыске у Загряцкого — улика серьезная.

— Если хотите, даже слишком серьезная; непонятно, почему Загряцкий не уничтожил после убийства эту улику? Надо было выкинуть куда-либо этот ключ.

— Я опять отвечаю: Загряцкий мог просто об этом не подумать, мог и не успеть это сделать. Он, наверное, никак не предполагал, что следствие так быстро до него доберется. Кроме того, Загряцкий должен был думать, что полиция разыщет слесаря, расспросит швейцариху и узнает, у кого были ключи от квартиры. Тогда, напротив, именно отсутствие у него ключа явилось бы очень серьезной против него уликой.

Владимир Иванович засмеялся.

— Темная вещь следствие, — сказал он, мягко кладя руку на рукав Николая Петровича. — Нашли вы у Загряцкого ключ — улика. Не нашли бы ключа — опять-таки улика.

— Ну, вы несколько упрощаете мою мысль, — сказал с легким раздражением Яценко.

— Я шучу, конечно...

Сторож внес на подносе два стакана, сахар, лимон.

— Вот и чай, с удовольствием выпью, — сказал Артамонов. — И у вас все-таки холодно, мне только после коридора показалось, что тепло.

— Эта улика, — начал снова следователь, когда дверь затворилась за сторожем, — была бы чрезвычайно важной, если бы не одно обстоятельство: сам Загряцкий утверждает, что заказал не два, а три ключа. Вы, кажется, были при первом допросе слесаря? Он сначала твердо сказал: заказаны ему были два ключа. Ясно сказал: два. Затем я его допрашивал вторично, уже в присутствии Загряцкого. Старик видит, что от его показания может зависеть судьба обвиняемого. Вы русского человека знаете, он начинает колебаться: как будто два ключа, а может, и вправду три. Записей у него никаких не ведется. На суде, вероятно, слесарь сошлется на запамятование, и, таким образом, одна из самых важных улик пропадет. Ясное дело, защита все построит на этом лишнем ключе: убил, мол, тот, у кого последний ключ.

— И не говорите, — сказал со вздохом Владимир Иванович, грея руки около стакана. — При бойком защитнике нет ничего хуже этих гипотетических убийц. Кто-то мог убить, значит, кто-то убил, и не угодно ли обвинению доказать обратное? Они мастера выдумывать арабские сказки... Да, кое-что неладно в этом деле, вот и дактилоскопические оттиски оказались не тождественными, — добавил он, раздавливая ложечкой лимон в светлевшем стакане.

Яценко махнул рукой.

— Ох уж эта мне дактилоскопия! — сердито ответил он. — Сходство в отпечатках, видите ли, большое, но полного тождества нет. Лишь с толку сбивают следствие. Право, прежде без дактилоскопии было лучше. Во всяком случае, на снимок с пальцев самого Фишера этот оттиск оказался совершенно непохожим.

— Я, однако, читал, будто на снимки с мертвого тела точно полагаться нельзя.

— Да и на снимки с живого человека, кажется, тоже нельзя. Что ни говорите, самое важное все-таки допрос. Должен вам сказать, на меня этот Загряцкий сразу произвел самое отталкивающее впечатление.

— На меня также.

— Есть люди, у которых преступность точно читается на лице.

— Хотя, знаете, и попасться можно здорово!

— Его объяснения были весьма неудовлетворительны по целому ряду пунктов. Так, в вопросе о записке он сбился и сразу взял свое показание назад, происхождение векселя объяснил тоже не очень правдоподобно, о своих средствах к жизни дал неверные сведения — очень важное обстоятельство. И наконец, самая главная улика: ложное alibi. Заметьте, все его показания относительно картины «Вампиры», — содержание, имена актеров — оказались точными. Значит, он действительно был в кинематографе «Солей». Там эта пьеса шла три дня и должна была идти до конца недели. Вот что может свидетельствовать о зара-

нее обдуманном намерении Загряцкий готовил себе alibi. И в самом деле, если б не роковая для него случайность, порча ленты, было бы очень трудно доказать, что он в кинематографе не был. Он солгал, солгал искусно и обдуманно, но стал жертвой редкой случайности. Вы его не видели, Владимир Иванович, в ту минуту, когда я ему сообщил, что в вечер убийства «Вампиры» были заменены другой пьесой. Это было для него страшным, потрясающим ударом...

— Сослался на нездоровье, обычная в таких случаях ссылка, — сказал Артамонов.

— Разумеется. И на дальнейших допросах он по этому вопросу ничего путного сказать не мог: не помнит, мол, где был, только и всего. Весь день помнит до мелочей, а где был вечером, не помнит. Нет, улика решающая, неотразимая! — сказал Николай Петрович.

— Неотразимая, — повторил Артамонов и, точно успокоенный, допил чай. — Вы совершенно правы. Ну, а как вы формулируете мотивы преступления? — спросил он, подумав. — Ведь векселю вы большого значения не придаете?

— Нет, большого не придаю. Срок векселя мог иметь некоторое значение для выбора момента убийства, но не больше. Загряцкий мог думать, что неуплата денег по векселю испортит его отношения с Фишером и, следовательно, затруднит выполнение дела. Однако мотивом преступления вексель, конечно, быть не мог. Мотив преступления ясен: наследницей богатства Фишера, значительной части, была его жена.

— Вы, значит, считаете ее связь с Загряцким совершенно несомненной? Но это и есть, по-моему, наиболее уязвимое место обвинения. Связь эта не доказана, да и как ее доказать? Оба отрицают категорически. Правда, здесь их интересы сходятся.

— Совершенно сходятся, — подтвердил Яценко. — Ей желательно выкарабкаться из всей этой грязи и обеспечить за собой роль благородной жертвы. А он понимает, что, пока их связь не доказана, обвинение висит в воздухе. Конечно, доказать факт связи нелегко. Впрочем, показания служащих гостиницы в Ялте вы знаете: занимали они там комнаты рядом, со сквозной дверью, вместе выходили, вместе обедали. Платила, кстати, по счетам она, это точно установлено.

— Ее писем, однако, у него на найдено.

— Конечно, он не стал бы их у себя держать.

— Заметьте, я, как и вы, не сомневаюсь в их близких отношениях, — сказал Владимир Иванович, — достаточно было их видеть вместе на тех двух допросах. Но впечатление — одно, а доказательство — другое...

— Со всем тем кое-что в их отношениях мне, правду сказать, неясно. Она, кажется, его любила. Но для Загряцкого, видите ли, она была женой его друга и покровителя,

больше ничего. В Ялту он ее сопровождал по просьбе мужа — на этом оба сходятся, — чтобы ей, мол, не скучать и не быть одной в такое тяжелое время. По-видимому, что-то в Ялте между ними произошло, какая то размолвка. Он просил у нее денег, она отказала. Затем она показывала, что застала его врасплох: он рылся в ее бумагах, в ящике. Это будто бы ее так возмутило... Здесь мне многое непонятно: зачем ему было рыться в ее бумагах? Какие-такие секреты его там интересовали? Но она мне ничего ответить не могла, кажется, она этого действительно сама не понимает. У меня было даже такое впечатление, что вопрос этот ее мучит... Я спросил, не было ли в ящике денег. Нет, деньги она носила всегда при себе, и он это знал. Кажется, ей очень хочется предположить в нем мотив ревности, — добавил Николай Петрович, — только очень это неправдоподобно, он, во всяком случае, был к ней равнодушен. Как бы то ни было, между ними тогда, в июле, произошла ссора, он уехал в Петербург, и они будто бы больше не встречались и даже не переписывались.

— Да и в то мне плохо верится, что она из-за этого с ним порвала. Что другое, а уж такие пустяки женщины легко прощают.

Яценко, улыбаясь, взглянул на Артамонова, который, по его предположениям, должен был хорошо знать женщин. Владимир Иванович имел прочную репутацию, покорителя сердец. «И очень правдоподобна эта репутация», — с легким вздохом подумал Николай Петрович.

— Да, да, да, — не совсем кстати повторил он рассеянно. Яценко повел головой и вернулся к предмету разговора. — Да, вся эта история с их разрывом довольно неправдоподобна. Что было в действительности, я, конечно, не могу сказать. Может быть, с ее стороны была ревность, а может, он проговорился перед ней о каких-нибудь своих планах... Она, разумеется, с возмущением это отрицает. Возможно, что и разрыва настоящего не было. Теперь она страшно на него зла, видимо, за то, что он впутал ее в столь неприятное, компрометирующее дело: эта милая дама чрезвычайно любит радости жизни, деньги, поклонников, платья, шампанское, любит, кажется, и эффектные роли. Теперь она твердо вошла в роль несчастной жертвы...

— То-то бенефис устроит себе Кременецкий! — сказал весело Владимир Иванович. — Какую поэзию разведет!

— Вероятно... Я, кстати, у него сегодня в гостях, у них любительский спектакль.

— Вот как? Охота вам к нему в гости ходить.

Хоть он и проявлял с начала войны некоторый либерализм, Владимир Иванович все же немного гордился тем, что не бывает у левых адвокатов.

— С большим удовольствием у него бываю, — ответил Яценко, сразу насторожившись и как бы готовясь к отпору.

— А куш он сорвет с госпожи Фишер немалый, — сказал благодушно Владимир Иванович. Николай Петрович тотчас вернулся к делу.

— Да, теперь она топит Загряцкого, но если бы все сошло гладко, то независимо от их ссоры Загряцкий отлично сумел бы на ней жениться и прибрать к рукам богатство Фишера. Во всяком случае, он мог так думать. Вот и мотив убийства.

— Мотив основательный. У покойника было, говорят, миллионов десять... Нам бы с вами, Николаи Петрович, а?

— Вам, кажется, жаловаться нечего.

— Я не жалуюсь. Хотя австрийцы захватили мою землишку, к себе мою пшеницу тащат, разбойники...

— Вернется и землишка, — сказал Яценко, слышавший, что землишки у Владимира Ивановича было тысяч пять десятин.

— Разумеется, вернется. Вы знаете, наши дела на фронте в блестящем состоянии? Снарядов у нас теперь больше, чем у немцев. Этой весной с генеральным наступлением на всех фронтах все будет кончено.

— Слышали... Дай-то Бог! — сказал со вздохом Николай Петрович.

II

В будуаре Тамары Матвеевны Кременецкой был устроен буфет. За длинным, накрытым белоснежной скатертью столом лакей во фраке разливал шампанское, крюшон, оранжад. Другой лакей и горничная Кременецких разносили по парадным комнатам подносы с бокалами, конфетами и печеньем. Первая половина спектакля кончилась, был объявлен получасовой антракт, и большая часть гостей перешла из гостиной, где ставили «Анатэму», в будуар и в кабинет хозяина. Тамара Матвеевна беспрестанно исчезала из парадных комнат. Ей предстояла самая трудная часть приема, ужин, для которого с отчаянной быстротой шли приготовления на кухне и в столовой, прислуга суетилась и волновалась еще больше, чем хозяева. Муси не было видно, о ней все спрашивали. Муся не играла в «Анатэме»; она исполняла роль Коломбины в «Белом ужине» и предпочла до того не выходить в парадные комнаты. Гостям говорили, что она гримируется в дамской **артистической.**

Первая часть спектакля сошла хорошо. На долю Березина, который по-новому в сукнах поставил «Анатэму» и исполнял в ней заглавную роль, выпал шумный успех. Сергею Сергеевичу была устроена овация. Гости были очень довольны вечером и дружно хвалили спектакль даже в отсутствие хозяев. В буфетной то и дело хлопали пробки бутылок — Семен Исидорович приказал не жалеть шампанского.

— Милая, на редкость удачный ваш вечер, — говорила Наталья Михайловна Яценко, поймав у буфета хозяйку. — Мне ужасно весело!

— Правда? Как я рада, — ответила Тамара Матвеевна, бегло и беспокойно осматривая буфет: всего ли достаточно? Но стол ломился от тортов, фруктов, пирожных. — Отчего же, милая, вы ничего не берете? Выпейте шампанского. Или, может быть, оранжада? А вы, Аркадий Николаевич, вам можно что-нибудь предложить?

— Благодарю, шестой бокал пью, — сказал, весело смеясь, Нещеретов. — Отличнейший был спектакль...

— Ах, я так рада... Правда, Березин был удивителен? По-моему, он теперь наш первый артист.

— Первый не первый, но один из первых, — сказал Фомин, отрываясь на минуту от разговора с дамой. — Нет, уж вы мне поверьте, — продолжал он, обращаясь к даме, — земляничный пирог надо покупать только у Иванова, шахматный у Гурмэ, а шоколад не иначе как у Балле.

— Наталья Михайловна, как мило играл ваш сын... Вы знаете, я в первую минуту его и не узнала: кто это, думаю, высокий? Господи, да это Витя!

— Ваш сын какую роль играл? — спросил Нещеретов госпожу Яценко, равнодушно соображая, кто эта дама. Не дожидаясь ответа, он отвернулся и взял новый бокал шампанского.

— «Некто, ограждающий входы», — поспешно пояснила Тамара Матвеевна. — Ему всего семнадцать лет. Правда, он очень мило играл, Аркадий Николаевич?

— Ничего, ничего... А где же Марья Семеновна?

— Она готовится к спектаклю... Представьте, она так волнуется...

Нещеретов выпил залпом бокал и отошел от буфета.

— Еще бы не волноваться! — сказала Наталья Михайловна. — Я бы, кажется, умерла со страху, если бы меня заставили играть... Семен Сидорович, — позвала она проходившего по будуару хозяина дома, — Семен Сидорович!..

— Золотая! — сказал Кременецкий, рассеянно, но с чувством целуя руку Наталье Михайловне.

— Вы со мной сегодня в третий раз здороваетесь...

— Я не здороваюсь, я ручку целую, разве нельзя и в тридцатый раз?

— Правда, Витя хорошо играл? — спросила мужа Тамара Матвеевна и, с улыбкой передав ему гостью, поплыла дальше.

— Божественно! — ответил так же рассеянно Семен Исидорович. Он тотчас поправился: — Очень славно играл ваш Витя, очень...

— Да вы мной не занимайтесь, Семен Сидорович, — добродушно сказала Наталья Михайловна, — идите по своим делам... Вы в кабинет шли? Можно и мне туда? Там

умные мужчины разговаривают, я ужасно люблю умные разговоры, даром что сама глупа.

— Дорогая, вы умница, и вы здесь дома.

— Так пойдем туда, я одна боюсь.

— Я гарантирую вам полную безопасность,— сказал Семен Исидорович и, взяв под руку госпожу Яценко, направился с ней в кабинет.— Правда, недурно прошел «Анатэма»?.. Как надо говорить: прошел «Анатэма» или прошла «Анатэма»?

— Хоть «прошло» говорите — пропади она пропадом! Извините меня, это я о пьесе... Вы меня убейте, Семен Сидорович, я ни одного слова не поняла! Читала и тоже не поняла ни слова. Сознайтесь, я свой человек, ведь никто не понимает? Я другим не скажу, ей-Богу!

— Ну, что вы, что вы, дорогая! Это одно из высших достижений нашего искусства,— сказал Кременецкий.— С идеями Леонида Андреева можно соглашаться или не соглашаться, но в смысле исканий и, так сказать, дерзновенности это... Вот и Николай Петрович... Теперь больше не боитесь?

— А тот высокий с ним кто, я не помню. Не страшный?

— Разве вы его не знаете? Это милейший друг наш, князь Горенский, член Государственной думы,— ответил с удовольствием Кременецкий.— Он тоже должен был у нас играть, да потом сдрейфил. Очень милый человек. Этого вы знаете, это профессор Браун, знаменитый ученый. А тот, что к ним подходит, Нещеретов, слышали? — поспешно сказал Семен Исидорович.

— Их я знаю.

— А этот молодой человек — господин Яценко,— шутливо продолжал Кременецкий, взяв за плечо неловко вошедшего в кабинет Витю.— Не бегите от нас, друг мой. Бегает нечестивый, ни единому же гонящу... Прекрасно играли, молодой человек.

— Благодарю вас... Вы это так говорите,— сказал Витя, не без труда возвращаясь после игры к обыкновенной речи.

— Ничего не так...

— Не верь, не верь, Витенька, так. И не огорчайся: твою роль самому Сальвини дай, он лучше тебя не сыграет... Что это у тебя так глаза блестят? Ах, да ты это их карандашом подвел... Я в углу сяду, Семен Сидорович, оттуда буду умных людей слушать, вон там и Анна Ивановна сидит одна-одинешенька... Теперь вы мне больше не нужны, ступайте с Богом.

— А, Витя, пожалуй сюда,— позвал сына Николай Петрович.— Ну, поздравляю, все было хорошо. Что, поволновался, ограждая входы?

— Нисколько!

— Ваша роль не очень благодарная,— сказал князь Горенский,— но вы вышли из нее с честью.

— Я вначале, кажется, зарапортовался,— ответил Витя, улыбаясь несколько принужденно.

— Ведь вы, князь, тоже должны были играть? — спросил Кременецкий.

— Нет, меня, слава Богу, с самого начала признали негодным.

— Напрасно, напрасно,— заметил подошедший Фомин.— Я уверен, князь, что вы были бы прекрасным актером. Я недавно вас слушал в Думе, у вас очень хорошая дикция.

— Понимаю, это значит, что содержание моей речи произвело на вас удручающее впечатление,— сказал, смеясь, Горенский.— Но когда же вы меня слышали?

— По-моему, в начале декабря, незадолго до убийства Распутина... Кстати,— добавил он,— вы знаете, в городе настроение становится все более тревожным. Ожидают рабочих беспорядков, забастовки... Говорят, мука у нас на исходе. Мои знакомые уже делают запасы. Я тоже подумываю.

— Да вот потому и продовольствия нет, что люди делают запасы,— сказал Яценко.

— Ну, не поэтому. Обычная тупость нашей власти,— сердито ответил князь.— Она же теперь и меняется беспрестанно. Чему я рад в этой чехарде — Федосьева, кажется, турнут.

— Это положительно злой гений России,— сказал Кременецкий.

Нещеретов пренебрежительно засмеялся.

— Какой он злой гений! Умный чиновник, только и всего.

— Нет, не говорите, Федосьев человек значительный.

— Не знаю, в чем его значительность: делал то же, что и незначительные. Всем им главного недостает: дела не умеют делать, да. Бумаги писать и по тюрьмам людей сажать — штука нехитрая.

— Разумеется! — сказал Семен Исидорович и снова отошел к Наталье Михайловне Он старался быть особенно любезным с семьей Яценко, искренно любя и уважая следователя: в последнее время их семьи еще больше сблизились. За Кременецким нерешительно последовал Витя. Ему не очень хотелось пристраиваться к матери, но там в углу было спокойнее: с Натальей Михайловной сидела пожилая, тихая, явно безопасная дама. Витя занял место сбоку и немного позади дамы: таким образом, и разговаривать было не нужно, и никто вместе с тем не мог подумать, что его оставили одного.

— Так больше не боитесь, Наталья Михайловна? — спросил Кременецкий.— Ну, слава Богу... Анна Ивановна, не скушаете ли чего? Пирожное или бутерброд? Ведь до ужина, пожалуй, далеко? — заметил он вопросительно, точно находился не у себя, а в чужом доме.

Семен Исидорович поболтал с дамами минуты две, подсадил к ним еще кого-то и вышел снова в будуар. Витя принес Анне Ивановне кусок торта и, исполнив светские обязанности, занял прежнее место, очень довольный тем, что его оставили в покое. Обилие впечатлений от игры неожиданно сказалось в нем усталостью. Лицо еще горело от грима, только что снятого вазелином. Ему было скучно — Муся все не показывалась. Что-то в воспоминании беспокоило Витю. «Да, та фраза», — подумал он. Спектакль в самом деле сошел благополучно. Но на своей первой фразе Витя запнулся. Фраза, правда, была трудная: «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии огня. Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь». На репетициях Березин требовал, чтобы в этой фразе Витя достиг **последнего предела металличности.** На репетициях фраза шла гладко, но на спектакле Витя запнулся и последнего предела металличности не достиг. «Эх, промямлил!» Если б еще это была не первая фраза, тогда не так было бы заметно... Муся едва ли слышала... Горенский, однако, похвалил... Витя попробовал прислушаться к разговору взрослых. Ему показалось, что и раньше, на первом вечере у Кременецкого, был такой же или почти такой же разговор.

— Да, это очень характерно, что все выдающиеся люди отходят от власти в нынешнее грозное время.

— Я ничего грозного не вижу, господа. Вы говорите, революция на носу? Да мы ее ждем сто лет, и все что-то ее не видно.

— Бог даст, скоро увидите.

— И рад бы надеяться, но боюсь, что наши надежды будут обмануты. Я, напротив, слышал, что брожение среди рабочих идет на убыль.

— Вы, Алексей Андреевич, не выступаете на юбилее патрона? — оглянувшись, спросил вполголоса Горенского Фомин.

— Не знаю, едва ли. Я терпеть не могу юбилейных речей.

— Да, но вам нельзя не выступить — будет лютая обида.

— Тогда я выступлю, если лютая обида. Это в какой день? Вот вам, по-моему, вам надо произнести большую речь, дать, так сказать, общую характеристику...

— Благодарю вас, я уже смеялся.

— И юбилей, и спектакль... «Слишком много цветов!» Что это они так развеселились?

— Да ведь спектакль должен был состояться еще в декабре?

— Отложили из-за болезни Тамары Матвеевны... Теперь она, бедная, совсем измоталась с хлопотами по уст-

ройству юбилея. Сегодня еще мне говорит: «Все так сочувственно отнеслись...» Elle est impayable [1].

Князь показал Фомину глазами на подходившего сзади Кременецкого.

— Мы о вашем юбилее толковали, не слушайте,— сказал Горенский.

— Ох, и не говорите, смерть моя! — ответил шутливо, замахав руками, Семен Исидорович.— Вот тоже выдумали дело: чествовать meine Wenigkeit [2], как говорят коварные тевтоны.

— Не было у бабы забот, так купила порося,— сказал Нещеретов.

— Нет, что же,— взглянув на него и на Кременецкого, поспешно заметил князь.— Вы, Семен Сидорович, отказом обидели бы всех ваших почитателей, от них же первый есмь аз.

— Князь уже готовит экспромт...

III

В комнату с видом скромного триумфатора вошел Березин. Все осыпали его поздравлениями.

— Господа, моей заслуги нет никакой,— склонив голову набок, сияя ласковой улыбкой и подведенными глазами, говорил бархатным баритоном актер.— Сердечно вас благодарю. Быть может, основная идея моей постановки, мое толкование «Анатэмы» в самом деле свежи, ну, свободны от этой, знаете, академической условности, но, право, заслуга успеха принадлежит не мне, а труппе... Вот ему и другим,— шутливо пояснил он, показывая на Витю. Князь Горенский, взяв за пуговицу Березина, тотчас вступил с ним в беседу.

«Значит, в самом деле сошло недурно,— с облегчением подумал Витя,— и Сергей Сергеич не жалеет, что поручил мне эту роль». На первом заседании участников спектакля высказывалось мнение, что «Некто, ограждающий входы» должен быть огромного роста. Березин с этим соглашался, но выбирать не приходилось: охотников взять эту роль было немного, и ее поручили Вите. «Ну, мы вас как-нибудь приспособим»,— утешил его Сергей Сергеевич.

Витю действительно с внешней стороны приспособили. По роли ему полагались «длинный меч» и «широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню». Меч Березин доставил из своего театра; а с широкими одеждами вышло трудновато. Актерам полагалось изготовить костюмы на свой счет, вернее, о расходах никто ничего не говорил. Главные участники спектакля шили

[1] Она презабавна *(фр.)*.

[2] Мою незначительность *(нем.)*.

платье у театральных костюмеров. Витя убедительно представил матери необходимость сделать то же самое. Но Наталья Михайловна твердо заявила, что таких одежд все равно никакой костюмер не сошьет и предложила сшить костюм дома и использовать для него свой старый шелковый пеньюар. От этой мысли Витя сначала пришел в ужас. Однако затем оказалось, что предложение Натальи Михайловны было не так уж нелепо. Вообще Витя с неудовольствием замечал, что в его спорах с матерью ее указания, первоначально очень его раздражавшие, оказывались часто верными. Так и на этот раз приглашенная Натальей Михайловной домашняя портниха Степанида сшила из пеньюара костюм, который на репетиции признан был вполне удачным. Заказывая одежды Ограждавшего входы, Витя с мучительной неловкостью объяснил Степаниде **идею костюма.** Но портниху удивить было трудно, вид у нее был такой, точно она всю жизнь шила — и притом из старых пеньюаров — широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню. Степанида, женщина интеллигентная, не удовлетворившись объяснением Вити, потребовала у него книгу Андреева и, одобрительно кивая головой, прочла вслух то, что относилось к внешнему облику Ограждавшего входы. «Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню, — медленно, с видом полного одобрения читала Степанида, — Он скрывает лицо свое под темным покрывалом и сам являет собой величайшую тайну. Единый мыслимый, един Он предстоит земле: стоящий на грани двух миров, Он двойственен своим составом: по виду человек, по сущности Он Дух. Посредник двух миров, Он, словно щит огромный, собирающий все стрелы, — все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал. Он облекает речь свою в безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат, и в человеческое слово...» Витя и теперь краснел, вспоминая чтение Степаниды. Он говорил всем, что чрезвычайно любит «Анатэму». «Да нет же, может, и вправду все отлично сошло? — подумал Витя, с благодарностью глядя на Березина, который, все так же склонив голову набок и снисходительно улыбаясь, говорил с князем Горенским. — Сейчас и Мусю увижу!..» Его усталость вдруг сменилась радостным оживлением. Перед угловым диваном остановился с подносом лакей. Витя залпом выпил бокал крюшона.

— Витенька! Однако! — с укором сказала Наталья Михайловна, пригрозив ему пальцем. Не раздражившись и не обратив внимания на замечание матери, Витя отошел к группе, собравшейся вокруг Сергея Сергеевича. Там все еще говорили о пьесе.

— Нет, Леонид Андреев очень талантливый человек и недаром он у нас властитель дум, — говорил ласково Березин, обращаясь преимущественно к Яценко и к Брауну,

который слушал не очень внимательно. Вид у Брауна, впрочем, был много лучше и оживленнее, чем прежде.

— Его таланта я нисколько не отрицаю, — ответил Николай Петрович, — да и человек он, кажется, очень хороший.

— Не отрицаю и я, — сказал Браун. — Он, во всяком случае, наиболее известный писатель выдающегося, даже замечательного поколения, которое волей судьбы прожило свой век на ходулях... На ходулях оно и умирало, притом порою геройски.

— Сергей Сергеевич, так ли верно, что Андреев теперь властитель дум? — вмешался Фомин. — По-моему, он был им лет пять тому назад.

— Молодежь и сейчас очень им увлекается, — сказал Яценко, думая о Вите. — А насколько я могу судить, наша молодежь, хоть и ломается немного, все же лучше и чище западной. Там только о карьере и думают да еще о спорте. Возьмите Америку...

— Возьму, возьму, нам Америке надо в ножки кланяться, — сказал с усмешкой Нещеретов.

Яценко взглянул на него холодно.

— Не во всем, я думаю.

— А я так думаю, что во всем.

— В Америке, — сказал Браун, — людям, как говорят, с детства внушают основной культ: культ богатства. Казалось бы, культ понятный и общедоступный, но человечество так косно, что ему нужно внушать даже величие доллара, и внушается оно там с необыкновенной силой, с замечательным искусством, всеми способами, вот теперь нашли новый, самый действительный: кинематограф с его картинами из жизни богачей... В лучшем случае получается Рокфеллер, в худшем — разбойник с большой дороги. Но именно благодаря прочности основного культа американцы могут себе позволить и роскошь, например, культ Вашингтона, Линкольна, Эдисона — вроде как в блестящую пору крепостного права наши помещики могли себе позволить вольтерьянство. Наблюдатели американской жизни говорят в последнее время о духовном голоде в Соединенных Штатах — я спокоен: от этого голода Соединенные Штаты не пропадут.

«Ишь, как он разговорился, молчальник», — подумал Семен Исидорович.

— В том, что вы говорите, дорогой доктор, бесспорно, много верного, — сказал Кременецкий (как все, произносящие эту фразу, он не чувствовал ее неучтиво-самоуверенного характера). — Однако разрешите мне сказать вам, что ведь и Россия не пропадет, правда?..

— Предприятие громадное, но не так чтобы слишком солидное, — вставил, смеясь, Нещеретов.

— Ну, ничего, Бог даст, не пропадем... Не пропадем, Аркадий Николаевич, — с тонкой улыбкой продолжал Се-

мен Исидорович.— И все же я думаю, что этот духовный голод, о котором вы говорили, дорогой доктор, эти мятущиеся искания, эта святая неудовлетворенность составляют лучшее украшение русского духа... Мы очень отстали от запада в смысле культуры материальной. Но по духовности, если можно так выразиться, запад отстал от нас на версту...

— Изюминки там нет, это верно,— подтвердил князь Горенский.— Положительно, эта изюминка самое гениальное, что написал в своей жизни Толстой.

— Духовный голод у нас, конечно, велик,— сказал, не дослушав, Браун.— Но у средней нашей интеллигенции этот голод несколько отзывается захолустьем. В последние пятьдесят лет у нас почти все молодое поколение воспитывалось в идее борьбы с правительством... Я не возражаю по существу,— добавил он,— но во имя чего ведется борьба? Во имя конституционного или республиканского строя, то есть ради того, что на западе давно осуществлено. Тургеневский Инсаров герой, но он провинциал безнадежный.

— Говорят, Аркадий Николаевич, что вы хотите основать свой театр? — спросил Фомин.— Поговаривают также о газете. Много вообще поговаривают.

— Вилами на воде все писано.

— Знаете, Аркадий Николаевич, кто от вас без ума? — вмешался с улыбкой Кременецкий.— Очень красивая дама... Не знаете? Елена Федоровна Фишер. Наша с Николаем Петровичем добрая знакомая.

— Та, с которой я у вас обедал? — спросил Нещеретов с интересом, несколько неожиданным для Семена Исидоровича.— Действительно, интересная дама... Что же ее дело?

— Это у Николая Петровича надо узнать.

Яценко неопределенно развел руками.

— Александр Михайлович, что такое, собственно, этот яд, которым отравлен Фишер? — спросил Брауна Кременецкий.

— Почем мне знать? Вы спросите у того аптекаря, который производил экспертизу.

— Ну, он не аптекарь,— сказал Яценко.— Это химик-фармацевт губернского правления.

— Вот у химика-фармацевта губернского правления и надо спросить.

«И об этом тогда на вечере говорили»,— опять подумал Витя.

— Александр Михайлович, кажется, не очень высокого мнения о нашей экспертизе.

— Хвалить ее действительно не за что,— резко ответил Браун.

Разговоры в кабинете стихли.

— Вы имеете основания сомневаться в выводах экспертизы? — спросил Кременецкий.

— Я очень мало о ней знаю, но чрезмерная определенность в решении вопросов, по меньшей мере темных, естественно, должна вызывать сомнение... Да и все так называемое научное следствие!.. Знаете, как дети рисуют: начнет рисовать наудачу головку, вышло немного похоже на тетю Маню, он и продолжает тетю Маню.

— Насколько я могу понять, вы вообще плохо верите в судебно-медицинское исследование, — заметил сухо Яценко — тон Брауна его раздражал. — Однако на основании такой же экспертизы людей ежедневно отправляют в нашей отсталой стране на каторгу, а на западе и на эшафот.

— Я и думаю, что процент невинно осужденных среди этих людей довольно значителен, особенно среди тех, кого осуждают на основании разных последних слов науки.

— Да это ужасно! — сказала с возмущением Наталья Михайловна.

— Позвольте, значит, вообще никогда нельзя установить правду? — спросил Горенский.

— Зачем же вообще и никогда? Очень часто можно, но далеко не всегда... Мы не знаем полной правды ни об одном почти историческом событии, хотя свидетелями и участниками каждого были сотни заслуживающих доверия людей, ведь выводы разных историков часто исключают совершенно друг друга. Но вот в уголовном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца, да еще всем предписываете, как во Франции, говорить «правду, всю правду и только правду». А они, и виновные, и невиновные, обычно не могут не лгать, потому что вся их жизнь выворачивается наизнанку на потеху публике.

— Не могу с вами согласиться, — сказал Яценко. — Порядочному человеку скрывать нечего, и он на суде под присягой лгать не станет.

— Однако в самом деле было бы ужасно предположить, что на эшафот и на каторгу часто посылают ни в чем не повинных людей! — воскликнул Горенский.

— Я это отрицаю категорически, — сказал, слегка бледнея, Николай Петрович. — Судебные ошибки составляют самое редкое исключение. Их процент совершенно ничтожен.

— Для того, кто невинно осужден, есть полных сто процентов судебной ошибки, — ответил Браун. — Но я, кроме того, позволяю себе думать, что ничтожен процент не судебных ошибок, а лишь тех из них, которые рано или поздно раскрываются. У людей, сосланных в Гвиану или в Сибирь, остается не так много способов доказать свою невиновность.

— А у казненных тем паче, — подхватил Нещеретов.

— На месте служителей правосудия я скорее утешался бы другим, — продолжал с усмешкой Браун, обраща-

ясь к Николаю Петровичу. — Конечно, очень многие порядочные люди, случалось, подходили вплотную к преступлению. Однако на скамью подсудимых в уголовном суде в громадном большинстве случаев попадают все же люди весьма невысокого морального уровня. Преступления, в котором их обвиняют, они, может быть, и не совершили, но особенно жалеть о них тоже нечего. Вот чем бы я утешался на вашем месте.

— Это довольно странная мысль, — сказал, с трудом сдерживаясь, Яценко.

— Отчего же? — вставил Фомин. — Гамлет говорит: «Если б с каждым поступать по заслугам, то кто избежал бы корки?»

— Вот это так! — засмеялся Нещеретов. — Ай да Гамлет!

Фомин тоже засмеялся и повторил по-английски старательно заученную цитату. Произнося английские слова, он как-то странно, точно с отвращением кривил лицо и губы, очевидно, для полного сходства с англичанами.

— Есть изречение еще более удивительное, — сказал, зевая, Браун. — Помнится, Гете заметил, что не знает такого преступления, которого он сам не мог бы совершить.

В гостиной зазвенел звонок.

— В зал, в зал, господа! — сказал Кременецкий. — Сейчас начнется «Белый ужин».

IV

Эстрады в большой гостиной не было, сцена отделялась от зрителей только шедшей по полу длинной белой доскою с приделанными к ней изнутри электрическими лампочками. Люстру потушили в зале минутой раньше, чем следовало. Гости уже в полутьме поспешно занимали места, расстраивая ряды взятых напрокат стульев, выделявшихся своей простотой в богатой гостиной. Слышались извинения, сдержанный смех. Потом наступила тишина. Звонок позвонил опять, короче, и занавес медленно раздвинулся, цепляясь и задерживаясь на шнурке. Одобрительный гул пронесся по залу. Сцена была ярко освещена, и все на ней — южные деревья, цветные фонарики, мебель, даже декорация с видом залива — было довольно похоже на настоящий театр. Взволнованная Тамара Матвеевна присела на крайний стул у прохода. На сцене вполоборота, почти спиной к публике, наклонившись над перилами, стояла Муся. «Марья Семен... — негромко сказал кто-то и не докончил, видимо испугавшись звука своего голоса. «Ах, как мила Муся, прелесть», — прошептала рядом с Тамарой Матвеевной госпожа Яценко. Тамара Матвеевна благодарно улыбнулась в ответ и немного успокоилась. Муся в своем белом платье Коломбины, сшитом по рисунку модного художника, была в самом деле очень красива.

Где-то в глубине заиграл рояль. «Нет, прекрасно слышно», — подумала Тамара Матвеевна: рояль после долгих споров и опытов решено было поставить в их спальной. Тамара Матвеевна тревожно обвела глазами зал, полуосвещенный ближе к сцене, более темный позади. Все гости уже разместились. В первом ряду было много свободных стульев, точно все стеснялись занять там места. Посредине первого ряда, с улыбкой глядя на Мусю, сидел, развалившись, Нещеретов. Сердце Тамары Матвеевны радостно забилось. Немного дальше, у прохода, тоже в первом ряду, она увидела в профиль Клервилля. «Какой красавец!» — почему-то испуганно подумала Тамара Матвеевна.

Рояль замолк. Муся долго разучивавшимся движением оторвалась от перил и повернулась к зрителям. Сердце у нее сильно билось. Муся знала, что очень хороша собой в этот вечер: ей это все говорили в «артистической», и по тому, **как** говорили, она знала, что говорят правду. Лицо ее, над которым при помощи лейхнеровского карандаша, помады, пудры долго работал искусный гример, было точно чужое. Но это, как маска, придавало ей смелости. Выход, она чувствовала, удался отлично. Муся сделала над собой усилие и справилась с дыханием. «Что же он не бросает букета?» — спросила себя она. Из-за перил справа к ее ногам упал белый букет. Муся слегка вскрикнула и наклонилась, поднимая цветы. И тотчас она почувствовала, что и легкий крик удался, что она сделала то самое «гибкое, порывистое движение», которое делают красивые девушки в романах. Обмахивая себя букетом, Муся вышла на авансцену. Рояль давно затих, но Муся сочла возможным немного затянуть немую сцену. Березин советовал актерам не смотреть со сцены на публику. Муся, однако, теперь была вполне в себе уверена. Она неторопливо обвела взглядом зал. Ей бросились в глаза Нещеретов, Клервилль. Заметила даже сидевшую далеко Глафиру Генриховну. «Так Глаша голубое надела», — подумала Муся, спокойно отмечая в сознании, что все видит. «Теперь начать... Если еще с полминуты тянуть, будет нехорошо...» — сказала она себе и, легким усилием поставив голос, совершенно естественно начала:

И вот уж сколько дней игра ведется эта,
И каждый день ко мне влетают два букета ..

Муся теперь почти не думала о произносимых словах. Она знала стихи отлично, множество раз повторяла их без запинки, все интонации и движения были разучены и одобрены Березиным. «Только не думать, что могу сбиться, и никогда не собьюсь, — говорила себе Муся, хорошо и уверенно делая все, что полагалось. — А вот же я об этом думаю — и все-таки не собьюсь. Какой он красавец, Клервилль... Но зачем же Глаша не надела лилового? Нищеретов ловит мой взгляд... Не надо его замечать...»

...Да, два поклонника есть у меня несмелых,
И одинаковых, и совершенно белых...

«Жаль, что Клервилль плохо понимает по-русски... Рядом с Глашей Витя Яценко... А та дама кто?.. Сейчас нужно принять «притворно-суровый вид». Потом перейти к столу... Сергей Сергеевич, верно, следит оттуда... Теперь повернуть голову направо...»

О ком же думать мне? Кто будет мне спасеньем?
Кого мне полюбить? О, сердце, рассуди,
Как хочешь, чтобы жизнь сложилась впереди:
Сплошными буднями иль вечным воскресеньем?

Взгляд Муси встретился с блестящими глазами Клервилля, и в них она, замирая, прочла то, о чем догадывалась, не смея верить. «Да, он влюблен в меня.. »

Муся закончила свой первый монолог. Перед ней находился Пьеро-веселый, которого играл Никонов. Сердце Вити сжалось от зависти и сожаления — он сам втайне мечтал об этой роли. Однако на первом же собрании актеров все тотчас сошлись на том, что Пьеро-веселого должен играть Никонов. «Совсем по вашему характеру роль, Григорий Иванович», — сказала Муся. На роль Пьеро-печального тоже сразу нашлись кандидаты, и Вите никто ее не предложил.

Печального Пьеро хотел играть Фомин. Этому, однако, под разными предлогами воспротивилась Муся, почувствовавшая смешное в том, что роли обоих Пьеро будут исполняться помощниками ее отца. У Муси был свой кандидат — Горенский. Но князь так-таки отказался зубрить стихи, пришлось его освободить от игры, к большому огорчению Муси. Горенскому, собственно, и вообще не хотелось участвовать в спектакле. Его привлекало преимущественно общение с молодежью, к которой он больше не принадлежал, в передовом кругу, частью вдобавок полуеврейском: князь Горенский в своей природной среде почти так же (только с легким оттенком вызова) щеголял тем, что бывает у Кременецких, как Кременецкие хвастали им перед своими друзьями и знакомыми. Роль Пьеро-печального досталась Беневоленскому. Фомин, хотя и продолжал говорить «со мной, как с воском», немного обиделся и отказался играть, отчасти, впрочем, из подражания князю.

Вообще, как всегда бывает в таких случаях, не обошлось без обид и неприятностей. Не приняла участия в спектакле и Глафира Генриховна, недовольная ролью Суры, которую ей предложили в сцене из «Анатэмы». Пришлось подобрать сцены так, чтоб вовсе не было ролей пожилых женщин. Не раз ворчал и сам Березин. Но потом все пошло хорошо, обиды удалось загладить и репетиции проходили весело.

При сиянии лунном,
Милый друг Пьеро,
Одолжи на время
Мне свое перо,—

пел за сценой Никонов. У него был недурной голос. По залу опять пронесся одобрительный гул. «Да, он прекрасно поет»,— прошептала Наталья Михайловна. Никонов бойко перескочил через перила — этого явления на репетициях особенно опасались: перила то и дело падали. С долгим раскатом смеха, показавшимся публике очень веселым, а Вите неприятно-неестественным, Григорий Иванович в белом костюме, осыпанный густо пудрой, с замазанными усами бросился к ногам Муси. Витя не ревновал Мусю к Никонову — он чувствовал, что Григорий Иванович ей нисколько не нравится,— но его грызла тоска по роли веселого Пьеро, которая могла ведь достаться и ему.

Витя на репетициях окончательно влюбился в Мусю. В присутствии других она обращала на него мало внимания, по совести, он не мог обидеться (вначале хотел было), ибо все без исключения другие актеры были значительно старше его. Кроме того, Муся с первого же дня заявила, что не считает участников спектакля гостями и никем заниматься не будет. «Мы здесь все у себя дома»,— сказала она. Это ей не помешало остаться хозяйкой, а гостям — гостями. Особенно любезна и внимательна Муся была только с Березиным.

Однажды довольно поздно вечером Витя после репетиции случайно остался последним гостем. Муся попросила его посидеть еще, подлила ему рома в чай и принялась расспрашивать его полунасмешливым, полупокровительственным тоном о разных его делах, начала с его родных, с училища и уроков, спросила, не **притесняют** ли его дома. Характер ее расспросов подчеркнуто ясно свидетельствовал о том, что она считает Витю ребенком. Но в интонациях Муси слышалось и другое. Она сама не знала, зачем попросила Витю посидеть еще, не знала толком, о чем с ним говорить, и вместе с тем ей было с ним интересно. Красивая наружность Вити нравилась Мусе, хотя он был «молокосос». От уроков она вдруг перешла к другому и в упор, с особенным выражением в бегающих глазах спросила Витю, был ли он когда-либо влюблен. Ироническая интонация Муси показывала, что она не совсем всерьез задает этот вопрос провинциальной барышни. Внутренний смысл вопроса был, впрочем, несколько иной: Мусе зачем-то хотелось получить ответ, узнал ли уже Витя женщин. Вероятно, она разъяснила бы свой вопрос — этот разговор на сомнительную тему с мальчиком приятно щекотал ей нервы,— и положение Вити стало бы весьма трудным: он не умел лгать, и ему пришлось бы, немного помявшись, признаться в том, что составляло главную заботу его жизни,— Витя женщин еще не знал. К его спасению, в эту

минуту в комнату вошла Тамара Матвеевна. Она тоже была с ним любезна, однако так зевала, стараясь скрыть зевки, и с таким интересом спрашивала, в котором часу ложатся спать у них дома, что Витя счел нужным проститься. Муся проводила его до дверей. Он тревожно ждал, что в передней она повторит свой вопрос. Но Муся только ласково сказала, что рада была хорошо, **по-настоящему** с ним поговорить. Витя вдруг уже перед выходной дверью поцеловал ей руку и вспыхнул. Он был хорошо воспитан и тотчас почувствовал, что сделал неловкость. Впрочем, об этой неловкости не сожалел. Муся вечером, раздеваясь, долго с улыбкой вспоминала о Вите, о своей нетрудной победе...

Спасти нас от тоски могла бы перемена,
Но не меняется наскучившая сцена.

«Да, не меняется, — подумал Витя, — а давно пора бы ей перемениться... И училище пора кончать...» Пьеса, видимо, нравилась публике. Несомненный успех кроме Муси имел и Никонов. Это раздражало Витю, хотя он не был завистлив. Веселый Пьеро уже побеждал Пьеро-печального, и близилась минута, когда он должен был поцеловать Коломбину, — сцена эта особенно украшала роль первого Пьеро в мечтах Вити. «Как скверно играет болван Беневоленский: тянет, тянет!.. Сейчас шестое явление, радостный Пьеро плачет... Ну, плачет Григорий Иванович слабо... «Вы плакать можете?..» Как она хороша... «Вы плакать можете?» Да, могу, могу, Марья Семеновна, очень могу, Муся... Вот теперь поцелуются... А я ограждал входы!..»

Майор Клервилль внимательно слушал пьесу, кое-что разобрал и искренно этому радовался. Игра Муси приводила его в восторг. Однако и ему не понравилась сцена поцелуя — он нашел ее неестественной и неудачно сыгранной. Когда «Белый ужин» кончился и раздались шумные рукоплескания, Клервилль поднялся с места и, стоя, долго аплодировал Мусе. Его высокая фигура во фраке, о котором долго потом говорили молодые люди, привлекла общее внимание зала.

Лакей внес и подал Мусе два огромных букета. Сияя счастливой улыбкой, Муся взяла цветы и поднесла их к лицу совершенно так, как это делала приезжавшая в Петербург Сара Бернар. Тамара Матвеевна знала, что один букет был от Березина. «А другой от кого? Не от Нещеретова ли?» — подумала она, густо краснея от радости. Нещеретов, сидя, снисходительно хлопал, переговариваясь со стоявшим Семеном Исидоровичем, который нежно посылал дочери воздушный поцелуй. «Из актеров никто не поднес цветов, значит, и другие не догадались или не надо», — утешал себя Витя. Муся быстро прошла за кулисы и вывела оттуда скромно упиравшегося Березина. Аплоди-

сменты еще усилились, особенно после того, как Муся грациозным жестом протянула Сергею Сергеевичу цветы. В зале долго не смолкали рукоплескания. На сцене шутливо аплодировал как бы самому себе Никонов. «Кременецкая!» — вдруг яростно заорал он, изображая галерку. Кто-то в зале со смехом подхватил это восклицание. «Браво, Никонов, бб-и-ис!» — ревел взвинченный своей игрой и успехом Григорий Иванович. Клервилль подошел к самой рампе, восторженно аплодируя Мусе.

— Это, верно, от него тот большой букет, — сказала вполголоса дама, сидевшая между Витей и Глафирой Генриховной.

— Что ж, англо-русское сближение теперь в моде, — ответила с улыбкой Глафира Генриховна. — Вот и спектакль пригодится.

— Les mariages se font dans les cieux [1].

— Семен Исидорович поможет небесам.

Витя, как раз с поклоном и извинениями надвигавшийся на дам — он тоже стремился к рампе, — слышал этот разговор, который показался ему чрезвычайно неприятным. Он оборвал извинения и быстро отошел. Глафира Генриховна впоследствии так и не могла понять, почему Витя, до того столь милый и предупредительный стал с нею вдруг нелюбезен, смотрел на нее почти с ненавистью и еле отвечал на ее вопросы.

V

Никто не мог бы назвать неудачником Яценко. Он имел заслуженную репутацию умного, образованного, прекрасного человека, был счастлив в семейной жизни, нежно любил жену и сына. Его служебная карьера, не будучи особенно блестящей, была достаточно успешной и быстрой. Однако при всем ровном характере Николая Петровича у него бывали дни, когда его жизнь представлялась ему ненужной, разбитой и бессмысленной. В такие дни Яценко по возможности избегал встреч с людьми, запирался у себя в кабинете и читал с некоторым ожесточением философские книги.

Николай Петрович понимал язык философских книг, и чтение это доставляло ему удовлетворение, но преимущественно как своего рода умственная гимнастика, как экзамен по развитию, который он всегда с честью выдерживал. Душевного успокоения эти книги ему не давали. Слишком трудно было перекинуть в его жизнь простой и короткий мост от ученых слов и отвлеченных мыслей. Наступала усталость, Яценко откладывал философские книги и раскрывал «Смерть Ивана Ильича», которая волновала его неизмеримо больше.

[1] Браки заключаются на небесах *(фр.)*.

С Толстым у Николая Петровича был старый счет. Он думал, что другого такого писателя никогда не было и не будет; в творениях Толстого видел подлинную книгу жизни, где на все, что может случиться в мире с человеком, дан не ответ, конечно, но настоящий, единственный отклик. Николай Петрович был еще молодым судебным деятелем, когда появилось «Воскресение». Любя свое дело, гордясь судом, он болезненно принял этот роман, почти как личное оскорбление. Юридические ошибки, найденные им у Толстого, даже чуть-чуть его утешили, точно свидетельствуя, что не все правда в «Воскресении». Именно отсюда и началась глухая внутренняя борьба Николая Петровича с Толстым. Однако со «Смертью Ивана Ильича» и бороться было невозможно. Яценко понимал, что уж в этой книге все правда, самая ужасная, последняя правда, на которую никто ничего ответить не может, как не может ответить и сам автор. Правда других книг Толстого была менее обязательной и общей. С Николаем Петровичем могло и не случиться то, что случалось с Болконским, Левиным, Нехлюдовым, Безуховым. Но от участи Ивана Ильича уйти было некуда, и Яценко иногда недоумевал, зачем, собственно, написан этот страшный рассказ. Самый тон, зловеще-шутливый, почти издевательский тон книги, особенно срединных глав, в которых Толстой, как убийца, **подкрадывается** к Ивану Ильичу, по мнению Яценко, свидетельствовал о полном отсутствии ответа. Николай Петрович раз двадцать читал «Смерть Ивана Ильича», и всякий раз якобы примиренная книга эта вызывала у него лишь приступ тоски. Впрочем, и это впечатление скоро проходило — чаще всего от общения с приятными людьми, от успешной повседневной работы. Николай Петрович приходил к мысли, что без твердой религиозной веры никак не может быть оптимистического миропонимания. У него твердой веры не было, настроен же он был в нормальное время оптимистически и потому в тяжелые свои дни представлялся самому себе живым парадоксом.

На следующее утро после спектакля у Кременецких Николай Петрович проснулся позднее обычного и сразу почувствовал дурной день. Легкая, о чем-то напоминавшая головная боль сразу окрасила в черный цвет его мысли. Никаких неприятностей не было, но Яценко умывался и одевался с тревожным чувством, как бы в ожидании очень неприятных происшествий. Вынутый для бритья из восковой бумажки новый «жиллет» оказался тупым, вода недостаточно согретой. Лампа плохо освещала зеркало. Галстух завязался неровно. Одевшись, Николай Петрович вышел в столовую. Перед его прибором лежали газета, два письма и сложенная вдвое записка без конверта. Это Витя, уже ушедший в училище, просил оставить ему в его комнате месячное жалованье, о чем забыл сказать отцу накануне. Витя писал без твердых знаков; в одном слове

твердый знак был по привычке поставлен и тотчас заботливо зачеркнут. Яценко с усмешкой прочел записку. Хотя жалованье полагалось Вите только через неделю (прежде он был аккуратнее), Николай Петрович исполнил просьбу сына. Войдя в еще не убранную комнату Вити, он положил в ящик ночного стола деньги. При этом он рассеянно просмотрел лежавшие на столе книги: альманах «Шиповник», том стихов Блока и тоненькую книжку Каутского об экономическом материализме. Николай Петрович усмехнулся еще сердитее. «Какой сумбур у него в голове!.. Вот у Вити уж никакой веры нет и не будет... Хорошо же моральное наследство, которое он от меня получит... О материальном и говорить нечего...»

Яценко вернулся в столовую, торопливо выпил стакан остывшего чаю, не прикоснувшись к калачу, сунул в карман неразвернутую газету, нераспечатанные письма, ожидая и от них неприятностей; затем, не будя Наталью Михайловну, вышел на улицу. День был очень темный. Горели фонари. Трамвай как раз прошел, когда Николай Петрович подходил к остановке. Вопреки своему обыкновению он нанял извозчика.

На морозном воздухе головная боль у Николая Петровича прошла, но дурное настроение осталось и даже усилилось. Извозчик вез медленно, сани очень трясло.

В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Павлович с очевидным удовольствием буравил и прошивал шелковым шнуром бумаги в одной из папок. По тому, как с ним поздоровался Яценко, Иван Павлович сразу догадался о дурном настроении следователя и, не вступая в разговор, заботливо принялся пропечатывать вытянутые концы шелкового шнура.

— Загряцкого в одиннадцать приведут? — спросил Яценко. Получив поспешный утвердительный ответ, он сел за стол. Письмоводитель тихонько вышел с папкой из комнаты. Яценко проводил его недовольным взглядом, затем распечатал и пробежал письма. В них ничего неприятного не было, но оба письма требовали ответа. Корреспонденция угнетала Николая Петровича. Он сделал над собой усилие и принялся писать. Работа пошла хорошо. Дурное настроение Яценко понемногу рассеялось.

— Загряцкого привели, — робко доложил письмоводитель.

— Отлично, пожалуйста, введите его, Иван Павлович, — сказал Николай Петрович, смягчая тон. — И пожалуйста, останьтесь в камере, сегодня вы будете записывать.

В камеру ввели Загряцкого. «Однако и изменился же он!» — подумал невольно Яценко, отвечая на неуверенный поклон обвиняемого. Осунувшееся лицо Загряцкого было совершенно серого цвета, глаза воспалены и красны.

Николай Петрович расписался в книге, отпустил городового и показал Загряцкому на стул. Загряцкий сел и опустил голову, старательно теребя среднюю пуговицу пальто, плохо державшуюся на оттянутых нитках. Этот жест, как и весь вид обвиняемого, показался следователю и жалким, и неестественным. «Впрочем, очень нелегко держать себя естественно в их положении», — подумал Николай Петрович.

— Господин Загряцкий, — сказал он, — предварительное следствие по вашему делу закончено.

— Как? Закончено? — хриплым голосом перебил его Загряцкий. — Я думал...

Он замолчал. Яценко посмотрел на него вопросительно, подождал, затем продолжал ровно, точно читая по записке:

— Согласно четыреста семьдесят шестой статье устава уголовного судопроизводства я обязан до отсылки товарищу прокурора всего следствия предъявить его вам. Вы получили копии всех следственных актов. Тем не менее, если вы пожелаете, производство будет вам прочтено целиком.

— Нет, зачем же? Я читал копии, — ответил, теребя пуговицу, Загряцкий.

Николай Петрович вздохнул с облегчением.

— По закону я также обязан спросить вас, не желаете ли вы еще что-либо представить в свое оправдание?

Загряцкий быстро взглянул на следователя, снова опустил голову и сказал тихо:

— Зачем я буду говорить? Вы все равно мне ни в чем не верите.

Яценко за долгие годы службы очень часто слышал этот ответ от допрашиваемых. Однако что-то в выражении лица Загряцкого кольнуло Николая Петровича.

— Послушайте, господин Загряцкий, — помолчав, сказал он мягким тоном. — Как вы, конечно, понимаете, я не имею никаких причин желать вам зла. Но вы видите, что все обстоятельства дела складываются решительно против вас. Следствием собран ряд подавляющих улик. Подумайте, господин Загряцкий, не в ваших ли интересах чистосердечно во всем сознаться? — сказал с силой Николай Петрович и в ту же минуту при своей искренности и прямоте почувствовал укор совести: он знал, что улики следствия далеко не подавляющие и что чистосердечное сознание отнюдь не в интересах Загряцкого.

Загряцкий засмеялся, как показалось следователю, несколько театрально.

— Я не могу сознаться в том, чего я не делал.

— Как знаете, это ваше дело, — сказал Яценко, возвращаясь к официальному тону. — Сейчас будет составлен протокол о предъявлении вам следствия. Угодно вам представить еще что-либо в ваше оправдание?

— Господин следователь,— сказал с видимым усилием Загряцкий и опять остановился.— Господин следователь, ведь вы живой человек, вы умный человек... Поймите же, что у меня не было никаких причин убивать Фишера.

— Об этом мы с вами достаточно говорили... Вы упорно стоите на том, что не были в связи с госпожой Фишер? Поймите и вы, господин Загряцкий, что отстоять эту позицию на суде вам будет трудно.

Загряцкий молчал. Николаю Петровичу вдруг показалось, что он колеблется.

— Вы же, наконец, знаете, господин следователь,— сказал нерешительно Загряцкий,— что с момента моего отъезда из Ялты между нами было порвано даже простое знакомство. Ведь мы поссорились, господин следователь.

— По этому вопросу ваши показания были особенно неубедительны,— ответил Николай Петрович, насторожившийся при слове Загряцкого «наконец».— Следствию так и осталось неясным, почему вы поссорились. Госпожа Фишер говорила о письмах, о том, что вы просили у нее взаймы десять тысяч рублей, в которых она вам отказала. Вы совершенно это отрицали... Даже с негодованием отрицали, господин Загряцкий. Вы говорили, что в материальном отношении всегда отстаивали свою полную независимость. Потом вы сказали, что вы не помните, было ли это так... Подумайте, могу ли я поверить такому ответу? Может ли человек забыть, просил ли он взаймы крупную сумму несколько месяцев тому назад? Неужели вы предполагаете, что суд этому поверит?

— Я на этом не настаиваю,— помолчав, сказал Загряцкий.— Да, я просил у нее взаймы десять тысяч.

— Отчего же вы это отрицали до настоящей минуты?

— Я давно хотел взять назад это свое показание... Я отрицал, потому что признаться в этом порядочному человеку, человеку из общества, не так легко. Хоть никакого преступления здесь нет... Вы мне в упор задали вопрос, просил ли я взаймы денег у дамы. Я сгоряча ответил: нет, не просил. Вы человек, господин следователь, вы должны это понять... Помните и то, что я был болен, когда вы меня допрашивали... Я был измучен обыском, арестом... Эти городовые, камера, этот подземный ход сюда из предварилки... Вы все умеете обернуть против меня. А отвечать на ваши вопросы надо сразу, немедленно, не думая... Я и теперь боюсь каждого слова, которое говорю! — вскрикнул он и оторвал пуговицу пальто. Видимо, это его смутило: он зажал пуговицу в кулаке, затем сунул ее в карман.— Я сказал, что не помню... Разумеется, это неправдоподобно, вы правы... Но ведь это и так несущественно, господин следователь...

— Напротив, это очень существенно... Почему же вы могли думать, что госпожа Фишер даст вам такую сумму?

— Мы были с ней в приятельских отношениях, я для нее поехал в Ялту, по просьбе ее мужа... Я думал, что она даст. Она отказала... И в этом, если хотите, одна из причин ее злобы против меня... Не то чтоб она пожалела денег, нет, она не скупа, это грех сказать... Да и денег у нее так много, я потому и попросил... Но она потеряла ко мне уважение... Она вообразила, что мне нужны были ее деньги, а не она сама, — сказал упавшим голосом Загряцкий.

Письмоводитель оторвался от протокола, поспешно взглянул искоса на Загряцкого, на Яценко и продолжал писать.

— Так, значит, до того госпожа Фишер предполагала, что вам, как вы сказали, нужна она? — спросил небрежно следователь.

— Я могу ошибаться... Это не показание, это только предположение.

— Вы, значит, отрицаете свою связь с госпожой Фишер, но допускаете, что могли ей нравиться?

— Да, я готов это допустить.

— Вы готовы это допустить, — повторил Николай Петрович. — Собственно, почему же вы это допускаете?

— Мне так казалось... Мужчины ведь всегда это чувствуют. Простите нескромность — она естественна в моем положении, — я нравился многим женщинам...

«Не без удовольствия это говорит, как ни тяжело его положение», — подумал Яценко.

— И я имел основания думать, — продолжал, несколько оживившись, Загряцкий, — что Елена Федоровна не вполне ко мне равнодушна. Она, например, явно нервничала, если я в Ялте на прогулке провожал глазами женщин... Это, каюсь, со мной бывало, — сказал он и вдруг улыбнулся победоносной улыбкой, которая на измученном лице его показалась следователю жалкой.

— С вами бывало, — повторил Яценко. — Так что госпожа Фишер немного вас ревновала?

— Да, я думаю, с ее стороны было некоторое увлечение.

— Но связи между вами не было, вы на этом стоите по-прежнему?

— Да, стою...

— Господин Загряцкий, — сказал решительно, с силой в голосе следователь, — бросьте вы это! Я прекрасно понимаю те причины, по которым вы считаете нужным скрывать правду: вы думаете, что, поскольку ваша связь с госпожой Фишер не доказана, постольку отсутствуют и мотивы преступления. Но понимаете ли вы значение того, что вы сейчас сказали? Допустим, связи не было. Однако вы признали, что госпожа Фишер вас любила, что она ревновала вас к другим женщинам. Значит, если б вы того пожелали, если б этого потребовал ваш интерес, вы всегда могли бы вступить с ней в связь или жениться на ней. Вот и мотиви-

ровка преступления. Вы, в сущности, уничтожили все, на чем до сих пор стояли. Вопрос о связи теперь отступает на второй план.

«Прихлопнул, — подумал удовлетворенно Иван Павлович. — Ну, не совсем, а все-таки прихлопнул».

Загряцкий горящими глазами смотрел на следователя.

— Да, я был ее любовником, — вдруг сказал он.

— Вы были ее любовником, — повторил Яценко. Он помолчал немного, затем заговорил с новыми, сердечными интонациями в голосе: — Так лучше, господин Загряцкий, поверьте мне, я не желаю вам зла. В вашем положении лучше всего вступить на путь чистосердечного признания.

Загряцкий опять засмеялся.

— Вы это об убийстве? Нет, я этого удовольствия вам не сделаю. Я не убивал Фишера, господин следователь.

— Вы не хотите сказать правду, это ваше дело. Но я вас предупреждаю...

— Вам не о чем меня предупреждать! И не думайте, что я попался в вашу ловушку. Если я нравился женщине, то из этого никак не следует, что я мог на ней жениться. Нет, я еще раньше решил сказать правду... Решил сказать все то, что могу сказать! — воскликнул он.

— Вы, значит, не все можете сказать? — с удивлением глядя на него спросил Яценко. Им вдруг овладело тревожное чувство.

— Нет, не все.

— Можете ли вы сказать, где вы были в вечер убийства?

— Нет.

— Можете ли вы сказать, на какие средства вы жили?

— Я все вам объяснил.

— Вы не объяснили, господин Загряцкий. К сожалению, вы не объяснили...

— Я больше ничего не могу сказать. Можете кончать ваше следствие, — хрипло проговорил Загряцкий. Вид у него был совершенно измученный. «В самом деле, точно затравленный зверь, — подумал Яценко. Тревожное чувство еще усилилось в Николае Петровиче. Он мысленно себя проверил. — Нет, напротив, теперь все в порядке...»

— Ввиду признания вами, господин Загряцкий, факта, до сих пор вами отрицавшегося, я не нахожу возможным сейчас закончить следствие. Мне, вероятно, придется вас допросить еще раз в присутствии госпожи Фишер, — сказал Яценко и невольно опустил глаза перед тем выражением острой ненависти, которое он прочел в глазах Загряцкого.

VI

Автомобиль замедлил ход, протрубил и остановился. Сидевший рядом с шофером человек в штатском платье соскочил и почтительно отворил дверцы. Федосьев вышел из автомобиля и неторопливо направился к отворившейся на-

стежь двери ярко освещенного подъезда. На мерзлых ступеньках он остановился и окинул взглядом улицу. Впереди у фонаря рядом с вытянувшимся, засыпанным снегом жандармом кто-то соскочил с велосипеда. Проезжавший извозчик лениво постегивал лошадь вожжами. По тротуару шел с мешком булочник. Еще какие-то люди медленно шли по улице. Федосьев знал, что и эти люди, и булочник, и извозчик, и велосипедист — все были сыщики, предназначенные для его охраны! он на улице всегда подвергался большой опасности. Не очень веря в меру предосторожности, он принимал их больше по привычке, как по привычке всегда носил в кармане почти бесполезный браунинг.

Федосьев с шутливым видом говорил знакомым, что процент смертности на его посту **не так уж сильно** превышает смертность в передовых окопах пехоты. Обычно знакомые при этой шутке заботливо меняли разговор. В пору войны опасность покушений ослабела. Однако Федосьев имел основания думать, что его рано или поздно убьют, и с давних пор приучил себя рассматривать каждый благополучно сошедший день как подарок Провидения. К мысли об опасности он привык, насколько к ней можно было привыкнуть, и без особого усилия принимал перед подчиненными совершенно спокойный, уверенный, даже беззаботный вид, точно самая эта мысль никогда ему не приходила в голову. Так и теперь он, нарочно задержавшись на улице, отдал не спеша распоряжения сопровождавшему его агенту. Тем не менее Федосьев вздохнул с облегчением, когда за ним захлопнулась огромная тяжелая дверь.

«Вот теперь и этого ощущения больше не будет, — подумал он, отдавая шубу увешанному медалями великану швейцару. Мысль эта не доставила ему удовольствия, как ни тягостно было то ощущение. С первых опасных постов Федосьев представлял себе свой конец во всех подробностях, не останавливаясь перед самыми страшными и самыми грубыми. Конец мог прийти от бомбы или от пули, пулю уж предпочел бы: слова «разорван на части» вызывали в нем то жуткое чувство, с которым в детстве и первой юности он читал о четвертовании. — Да, так неужели я помру, как все, в своей постели, от непродолжительной, но тяжкой болезни? Это прямо у газетчиков отбить хлеб», — с улыбкой подумал он.

Мысль об отклике в газетах на его насильственную смерть тоже часто занимала Федосьева. Он будто видел перед собой статьи — на том месте, на каком им надлежало появиться в каждой газете, где на первой странице, где на второй, где в два столбца, где всего строк на шестьдесят. «Еще одно злодеяние, при вести о котором с ужасом содрогнется Россия». «Кровавый палач народа казнен рукою героя». «Нам незачем доказывать наше принципиально отрицательное отношение ко всякому террору, откуда бы он ни исходил, и в трагической гибели С. В. Федосьева («Да,

по случаю моей смерти на радостях удостоят меня инициалов вместо буквы г.») мы усматриваем новое наглядное доказательство нашего основного положения о том, что...» Радость либеральной печати, худо скрытая под видом несочувствия террору, радость, которую он наперед читал на лицах самоуверенных, во всем преуспевающих адвокатов, больше раздражала Федосьева, чем откровенный восторг революционных прокламаций.

— Петр Богданович здесь?

— Так точно, в секретарской, ваше превосходительство, — почтительно ответил швейцар. Быстро проходивший чиновник, робея, усердно поклонился на бегу. Федосьев давно привык к почету, власти и страху, которые его окружали в этом доме. Они больше не доставляли ему удовольствия, но он знал, что и с ними расстаться будет нелегко. «Верно, еще ничего не знает... Хоть и догадываются они, должно быть», — сказал он себе, внимательно вглядываясь в кланяющегося чиновника. Слухи о его отставке ходили давно по городу, здесь же всегда знали все раньше, чем где бы то ни было. Теперь, с утра этого дня, отставка находилась в кармане Федосьева. В ней не было ничего позорного. Однако он испытывал свойственное всем уволенным людям сложное чувство злобы, обиды и стыда, которое чуть-чуть роднит уходящих в отставку сановников с рассчитанной хозяином прислугой. Федосьев не торопился сообщать эту новость подчиненным: при всем своем служебном опыте он не был уверен, что сумеет найти должный тон, одновременно и естественный, и корректный.

В этом здании, которое посторонним людям могло представляться жутким и страшным, шла повседневная будничная работа, как на почте или в адресном столе. Федосьев поднялся во второй этаж, заметив с неприятным чувством, что на площадке лестницы ему захотелось передохнуть. Зеркало отразило сгорбленную фигуру, утомленное лицо в морщинах, седоватые волосы, совершенно седые брови. «Рано бы на пятьдесят третьем году, — подумал он. — От артериосклероза, верно, и умру... Рано, да по моей службе надо месяц считать за год, как в Порт-Артуре... Впрочем, еще лет пять, вероятно, могу прожить...»

— В приемной есть кто-нибудь? — спросил он курьера, вытянувшегося у двойных, обитых войлоком дверей кабинета.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Бумаги на столе?

— Так точно, ваше превосходительство... Их высокоблагородие положили.

Минуя секретарскую, Федосьев вошел в кабинет и устало опустился в тяжелое кресло с высокой прямой спинкой. «Теперь навсегда придется с этим расстаться», — подумал он, обводя взглядом знакомый ему во всех мелочах кабинет; все в этой громадной комнате было от тех времен, ког-

да не жалели ни места, ни труда — и труд, и место ничего не стоили «Вот бы мне в ту пору и жить», — сказал себе Федосьев. Ему иногда казалось, что он любит то время, время твердой, пышной, уверенной в себе власти, время, не знавшее ни покушений, ни партий, ни Государственной думы, ни либеральной печати. Однако годы, опыт, душевная усталость, привычка скрытности с другими людьми давно довели Федосьева до полной, обнаженной правдивости с собою: любовь к прошлому не так уж переполняла его душу. Огромная энергия Федосьева, которой отдавали должное и его враги, происходила преимущественно от ненависти к тому, с чем он боролся. «Да, верно, и тогда умным людям было несладко, — сказал он себе и, не глядя, привычным движением протянул руку к тяжелой пепельнице с помещением для спичек. — Тоже, верно, от тех времен... Нет, тогда и спичек не было... — Он раздраженно чиркнул спичкой, сломал ее, бросил и взял другую. — Бумаг сколько, покоя не дают... Вот это, верно, анонимное...»

Федосьев закурил папиросу, распечатал ножом желтенький конверт и развернул листок грязноватой бумаги в клеточку. Наверху листка был нарисован пером гроб, две перекрещенные кости. «Так и есть», — равнодушно подумал Федосьев. Он поставил штемпель с числом получения и, не читая, вложил листок в папку, специально предназначенную для писем с угрозами и ругательствами. На папке было написано «В шестое делопроизводство. Кабинет экспертизы». В других, обыкновенного формата конвертах были ходатайства за пострадавших людей от родных и всевозможных заступников. Федосьев внимательно их прочел, справившись по документам там, где не все помнил (он, впрочем, помнил большую часть дел). Как ни ненавистны ему были политические преступники, на прощание он удовлетворил ходатайства, сделал пометку на письмах, поставил свои инициалы С. Ф. и отложил в папку с надписью «Для исполнения». Затем он взялся за конверты большого формата. В одном из них был перлюстрационный материал. Федосьев быстро его пробежал. В письмах не было ничего интересного: сплетни из Государственной думы, сплетни о великокняжеском дворце, сенсационный политический слух, накануне напечатанный в газетах. «Нашел что вскрывать! Выжил из ума наш старик, — подумал сердито Федосьев. — Да и ни к чему это... Хотя в самых передовых странах существует перлюстрация...» Он разорвал листы на мелкие клочки и высыпал их в корзину. Другие бумаги представляли собой служебные доклады и донесения. Он просмотрел те из них, которые были в красных конвертах, — срочные. Все они говорили об одном и том же: о близкой революции.

Федосьев знал, что революция надвигается; теперь, с его уходом, она казалась ему совершенно неизбежной. «Что ж, ставить пометки? Нет, неудобно», — ответил себе

он. То же чувство неловкости мешало ему выносить решения, которые на следующий день могли быть отменены. «Пусть Дебен и решает, или Горяинов, или кого там еще назначат на мое место», — подумал он. Зная все тонкости работы правительственного аппарата, сложные, часто меняющиеся отношения разных влиятельных людей, Федосьев приблизительно догадывался, кто мог быть назначен его преемником. Людям, которые его свалили, он приписывал мотивы личные и мелкие. Федосьев старался презирать этих людей, но презрение не вполне ему удавалось — они одержали победу. Мысль о том, какую политику они поведут, невольно его занимала, хоть он и был уверен, что революция очень близка и что его собственная жизнь уже на исходе.

Рядом с бумагами на столе лежали газеты. О его отставке в них еще не сообщалось. Федосьев пробежал одну из газет. Это чтение неизменно приводило его в состояние тихой радости. Тон статей был необычайно живой и как-то особенно, по-газетному бодрый. Казалось, что все люди, работающие в газете, дружной семьей делают общее, очень их занимающее, веселое и интересное дело. Необыкновенно искреннее сознание своего умственного и морального превосходства чувствовалось и в полемической передовой статье, и в обзоре печати, однообразно-остроумно издевавшемся над противниками. Необыкновенно весело было, повидимому, фельетонисту, он все шутил, подмигивая читателям. «Шути, шути, голубчик, дошутишься, — думал Федосьев. Ему пришло в голову, что никакой дружной работы эти люди не ведут, что, вероятно, между ними самими происходят раздоры, интриги, взаимное подсиживанье, борьба за грошовые деньги и что, быть может, они друг другу надоели больше, чем им всем их общие противники, в том числе и он, Федосьев. — Что ж у них еще?.. Какой еще губернатор оказался опричником?.. Неужели сегодня ни одного изверга губернатора?.. «Нам пишут»... Бог с ними, неинтересно мне, что им пишут, ведь все врут... «Заседание общества ревнителей русской старины»... Ревнителей, — повторил мысленно Федосьев, слово это показалось ему слащаво-неестественным и доставило ту же тихую радость... — Так, так... А этот что наворотил? — Он заглянул в подвал, отведенный под философский фельетон. Автор этого фельетона, эмигрант-социалист, когда-то на допросе поразил его необыкновенным богатством ученого словаря и столь же удивительной гладкостью лившейся потоком речи. — Теперь в писатели вышел. Так, так... «Если для Ницше характерен аристократический радикализм...» — прочел Федосьев. — Значит, для кого-то другого будет характерен радикальный аристократизм или демократический консерватизм, — зевая думал он, — не стоит читать, наперед знаю эти словесные погремушки, для них ведь этот гусь и пишет...» Он развернул другую газету, бо-

лее близкую ему по направлению, но от нее на него повеяло еще худшей скукой, лишь без того насмешливо-радостного настроения, которое дарили ему левые журналисты.

«Бог с ними со всеми!.. О чем я думал?.. Да, лет пять еще могу прожить... Что же я буду делать? Мемуары писать? — спросил себя он. Эта шаблонно-ироническая мысль о мемуарах его кольнула: он сам часто смеялся над сановниками, садящимися за мемуары тотчас по увольнении в отставку. — Даже за границу ехать нельзя из-за войны... Воевать вздумали, ну, повоюйте, посмотрим, что из этого выйдет... В деревне поселиться? Скучно... Да и имения-то без малого двести десятин... — Федосьев вспомнил, что в революционных прокламациях говорилось, будто он всякими нечестными путями нажил огромное состояние. Эта клевета была ему приятна — она как бы покрывала то, что в прокламациях клеветою не было. — Нет, в деревню я не поеду... С Брауном еще философские беседы вести? Не договоримся... Так что же? Wein, Weib und Gesang?..[1] Этим надо было бы раньше заняться, — подумал он с горькой насмешкой, вспоминая отразившееся в зеркале на площадке лестницы лицо с седыми бровями, глядя на темную сеть жил на худых руках... — Да, проворонил жизнь... Браун в лаборатории проворонил, а я здесь... Что-то надо было выяснить по делу о Брауне... Нет, не мог он убить Фишера, — неожиданно подумал Федосьев. — А впрочем?.. Эту историю с Загряцким, однако, надо распутать перед уходом. Нельзя рисковать скандалом на процессе, и не оставлять же ее Дебену... — Федосьев представил себе передачу дел преемнику и поморщился: при всей корректности, при вполне выдержанном тоне сцена передачи дел должна была у обоих вызвать неловкое, тягостное чувство. — С Дебеном они живо справятся, — сказал вслух Федосьев, распечатывая последний толстый конверт. — Вот кому я оставляю в наследство революцию!»

Из конверта выпали фотографии — подчиненное учреждение присылало портреты разных революционеров. Федосьев брезгливо перебирал не наклеенные на картон, чуть погнувшиеся фотографии. Он почти всегда находил в этих лицах то, чего искал: тупость, позу, актерство, самолюбование, часто дегенеративность и преступность. Федосьев ненавидел всех революционных деятелей и презирал большинство из них. Он вообще редко объяснял в лучшую сторону поступки людей, но действия революционеров Федосьев почти всецело приписывал низменным побуждениям, честолюбию, злобе, стадности, глупости. В их любовь к свободе, к равенству, особенно к братству, во все те чувства, которые они выражали в своих писаниях, в речах на суде, он не верил совершенно. «Этот себе на уме, ловкач, — равнодушно по лицам классифицировал он револю-

[1] Вино, женщины и песня... *(нем.)*

ционеров, перебирая фотографии.— Этот, верно, под фанатика (в фанатиков Федосьев верил всего менее)... Этот все в мире понял, все знает, а потому очень горд и доволен, марксист, из провизоров... Этот — пряничный дед революции, «цельная, последовательная натура, единое строгое мировоззрение»... То есть чужие мысли, книжные чувства, газетные слова... Так и проживет свой век фальсифицированной жизнью, ни разу даже не задумавшись над всей этой ложью, ни разу не заметив и самообмана. Для какой-нибудь «Искры» или «Зари» жил... Пустой человек! — брезгливо подумал Федосьев.— А вот у этого умное лицо, на Донского немного похож»,— сказал себе он, вспоминая человека, который долго за ним гонялся. Портрет Донского он хорошо помнил и порою смотрел на него со смешанным чувством, в которое входили и жалость, и нечто похожее на уважение, и чувство охотника, рассматривающего трофей, и удовлетворение оттого, что этого человека больше нет на свете.

Федосьев спрятал фотографии и разложил донесения по папкам. «Что ж еще надо было сегодня сделать?.. Да, то несчастное дело... Петр Богданович должен был еще поискать». Он надавил пуговицу звонка и приказал появившемуся из-за двойной двери курьеру позвать секретаря. Через минуту в кабинет вошел мягкой походкой, не на цыпочках, но совсем как будто на цыпочках, плотный невысокий почтительный чиновник средних лет с огромным университетским значком на груди. «Этот уж наверное знает о моей отставке,— решил Федосьев, взглянув на бегающие глаза секретаря. На хитреньком лице, впрочем, ничего нельзя было прочесть, кроме полной готовности к услугам.— Вот и этот опричник,— подумал Федосьев. По его суждению, Петр Богданович был не злой человек, не слишком образованный, очень любивший женщин, порою немного выпивавший.— И взяток, кажется, не берет... Зачем только он носит этот аршинный значок, кому, в самом деле, интересно, что он учился в университете?.. Да, конечно, уже знает... Ну, он и с Дебеном поладит, и с Горяиновым».

— Петр Богданович, вы навели последнюю справку о дактилоскопическом снимке?

— Навел, Сергей Васильевич, и имею маленький сюрприз,— сказал секретарь.— Если хотите, даже не маленький, а большой.

Его лицо расплылось при конце фразы в радостную, приятную улыбку. Федосьев знал, что эта улыбка нисколько не притворная, но автоматическая, связанная у Петра Богдановича с концом любой фразы, независимо от ее содержания. «Звезд с неба не хватает наш опричник... Моей отставке он едва ли рад, но и не слишком огорчен...» И тон, и выражение лица секретаря показывали, что он знать ничего не знает об отставке Сергея Васильевича, а если что

и слышал, то это не мешает ему совершенно так же почитать и любить Сергея Васильевича, как раньше.

— В чем дело?

— Снимка, тождественного с тем, что вы мне дали, за литерой В, — пояснил секретарь, мельком с любопытством взглянув на Федосьева (его, видимо, интересовала эта литера), — и в регистрационном отделе не оказалось. Я и в восьмом делопроизводстве справлялся, и в сыскное опять ездил, и в охранное, нет нигде.

— Так в чем же сюрприз?

— Сюрприз в том, что ваше предположение, Сергей Васильевич, оказалось и на этот раз правильным. Вы мне заодно приказали узнать, не соответствует ли тот отпечаток, что остался на бутылке, кому-либо из людей, производивших дознание. Я съездил на Офицерскую и выяснил: так и есть! Рука околоточного Шаврова, Сергей Васильевич!

Федосьев вдруг залился несвойственным ему веселым смехом.

— Не может быть!

— Рука Шаврова, никаких сомнений... Эти подлецы еще сто лет будут производить дознание, и так их и не научишь, что ничего трогать нельзя. Да, околоточный тронул бутылку. Я лично его допросил, и он, каналья, сознался, что, может, и вправду тронул.

— Так околоточный? — проговорил сквозь смех Федосьев. — Вот тебе и дактилоскопия!

— Он самый, Сергей Васильевич, уж я его, бестию, как следует отчитал, — сказал, радостно улыбаясь, секретарь.

— Я так и думал, — проговорил Федосьев. — Торжество науки, а? Последнее слово... А следователь-то... — Он опять залился смехом. — Либеральный Николай Петрович Яценко, а?

— В калошу сел Яценко, это верно. Ему первым делом бы надо об этом подумать — не полиция ли?

— Да ведь и нам... И нам не сразу пришло в голову!

— **Вам**, однако, пришло, Сергей Васильевич... Нет, что ни говори, отстали мы от Европы.

— А почем вы знаете, верно, и в Европе так. И то сказать, как производить дознание, ни к чему не прикасаясь? Они не духи... Не духи же они... Вы взяли оба снимка?

— Взял. Заключение эксперта: совершенно тождественны.

— Так, так, так... Ну, хорошо, — сказал, перестав наконец смеяться, Федосьев. — Больше ничего?

— Сергей Васильевич, меня все в счетном отделе спрашивают, как выписывать жалованье Брюнетки?

— Брюнетки? — переспросил Федосьев и задумался. — Об этом я, вероятно, завтра скажу.

— Слушаю-с. Не буду вам мешать.

Петр Богданович вышел, сияя счастливой улыбкой. Федосьев в раздумье взялся было за ручку телефонного аппарата и остановился в нерешительности.

«Если попросить Яценко приехать ко мне, он, пожалуй, вломится в амбицию. Независимость суда... Судебные уставы... Недопустимое вмешательство административных властей, — устало подумал он. Федосьев мысленно заключал в кавычки все такие слова. — Ну, что ж, поедем к нему...»

Он снова позвонил и приказал подать автомобиль.

VII

В этот поздний час в здании суда уже было пустовато и скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следователе, стараясь не обращать на себя внимание, Федосьев поднялся по лестнице и столкнулся с Кременецким, который выходил из коридора с Фоминым, оживленно с ним разговаривая. Семен Исидорович значительно толкнул в бок Фомина и раскланялся с Федосьевым — они были знакомы по разным ходатайствам Кременецкого за подзащитных. Фомин тоже с достоинством поклонился, оглядываясь по сторонам. Столкнулись они так близко, что Семен Исидорович счел недостаточным ограничиться поклоном. Знакомство с Федосьевым было и лестное, и вместе чуть-чуть неудобное. Его знали все выдающиеся адвокаты; близкое знакомство с ним было бы невозможным, однако совершенно не знать Федосьева тоже было бы неприятно Семену Исидоровичу.

— В наших палестинах? — подняв с улыбкой брови, спросил Кременецкий, не говоря ни «вы», ни «ваше превосходительство», как он не говорил ни «вы», ни «ты» своему кучеру. Семен Исидорович, впрочем, тотчас пожалел, что употребил слова «наши палестины» — в связи с его еврейским происхождением они могли подать повод к шутке.

— Как видите... Ведь кабинет прокурора палаты там, дальше?

— Прямо, прямо, вон там...

— Благодарю вас... Мое почтение, — сказал, учтиво кланяясь, Федосьев и направился в указанном ему направлении.

— Говорят, конченый мужчина, — радостно заметил вполголоса Семен Исидорович. — Может теперь на воды ехать, мемуары писать.

— Il est fichu![1] Я из верного источника знаю: мне вчера вечером сообщили у графини Геденбург... Elle est bien renseignée[2], — сказал Фомин; при виде сановника он както бессознательно заговорил по-французски.

— А все-таки, что ни говори, выдающийся человек.

---

[1] Конченый! *(фр.)*.

[2] Она хорошо осведомлена *(фр.)*.

— Ma foi, oui... Еще бы,— перевел Фомин, вспомнив, что Сема не любит его французских словечек.

— Я очень рад, что эта клика останется без него. Все мыслящее вздохнет свободнее...

— Ваше превосходительство ко мне по делу Фишера? — спросил Яценко, с некоторой тревогой встретивший нежданного гостя.

— Да, по этому делу... Вы разрешите курить? — спросил Федосьев, зажигая спичку.

— Сделайте одолжение.— Яценко пододвинул пепельницу.— Должен, однако, сказать вашему превосходительству, что со вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я уже отослал производство товарищу прокурора Артамонову.

Федосьев, не закурив, опустил руку с зажженной спичкой.

— Вот как? Уже отослали? — с досадой в голосе спросил он.— Я думал, вы меня предупредите.

— Отослал,— повторил сухо Яценко, сразу раздражившись от предположения, что он должен был предупредить Федосьева.— Последний допрос обвиняемого дал возможность установить весьма важный факт: связь Загряцкого с госпожой Фишер. Загряцкий сам признался в этой связи, и очная ставка, можно сказать, подтвердила его признание. Вашему превосходительству, конечно, ясно значение этого факта? Без него обвинение висело в воздухе, теперь оно стоит твердо.

— Стоит твердо? — неопределенным тоном повторил Федосьев.

— Так точно.— Николай Петрович помолчал.— Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который ваше превосходительство проявляли к этому делу. Во всяком случае, теперь, если вы продолжаетс им интересоваться, вам надлежит обратиться к товарищу прокурора Артамонову.

— Что ж, так и придется сделать,— сказал Федосьев.— Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал, теперь формальности будут сложнее.

— Формальности? — переспросил с недоумением Яценко.

— Формальности по освобождению Загряцкого из этого тяжелого дела,— сказал медленно Федосьев, заботливо стряхивая пепел с папиросы.— Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович что с самого начала следствие ваше направилось по ложному пути. Загряцкий невиновен в том преступлении, которое вы ему приписываете.

— Это меня весьма удивило бы! — сказал Яценко. Его вдруг охватило волнение.— Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова.

Федосьев, по-прежнему не глядя на Николая Петровича, втягивал дым папиросы.

— Полагаю, ваше превосходительство, я имею право вас об этом спросить.

— В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам ответить. Однако при всем желании я другого выхода не вижу... Да, Николай Петрович, вы ошиблись. Загряцкий не убивал Фишера и не мог его убить, потому что в момент убийства он находился в другом месте... Он находился у меня.

Наступило молчание. Яценко, бледнея, смотрел в упор на Федосьева.

— Как прикажете понимать ваши слова?

— Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их надо понимать так, что Загряцкий — наш агент, Николай Петрович. Агент, приставленный к Фишеру по моему распоряжению.

Снова настало молчание.

— Почему же ваше превосходительство только теперь об этом сообщаете следствию? — повысив голос, спросил Яценко.

Федосьев развел руками.

— Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете, Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится Загряцкий, у нас равносильна гражданской смерти. Лучшее доказательство то, что он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным сказать вам, где он был в вечер убийства. Не счел возможным сказать, откуда он брал средства к жизни... Разумеется, это вещь поразительная, что у нас люди предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту... Это будет памятником эпохи, — со злобой сказал он. — Но это так, что ж делать?

— Ваше превосходительство, разрешите вам заметить, что интересы этого господина, служащего, как вы изволили сказать, государству, не могут иметь никакого значения сравнительно с интересами правосудия!

— Пусть так, но принципы, которыми руководятся люди, управляющие государством, имеют некоторое значение. Мы воспитаны на том, что выдачи сотрудников быть не может [1]. А вы, как следователь, не имели бы возможности,

[1] Столкновения между интересами правосудия и принципами высшей политической полиции действительно иногда происходили в России (как и в других странах) и порою приобретали чрезвычайную остроту. Департамент полиции строго стоял на том, что он и в случае такого столкновения не должен выдавать своих сотрудников. Полковник Мясоедов (впоследствии столь известный благодаря дуэ-

да, пожалуй, и права хранить в секрете роль Загряцкого. Ну, человек пять вы уж непременно должны были бы посвятить в это дело. А какой же секрет, если о нем будут знать пять добрых петербуржцев? Это все равно, что в агентство «Рейтер» передать... Нет, я до последней минуты не мог ничего вам сказать, Николай Петрович. Я ведь рассчитывал, что в силу естественной логики вещей невиновного человека следствие и признает невиновным. Но вышло не так... Опять скажу: что ж делать! Бывает такое стечение обстоятельств. Оно бывает даже чаще, чем я думал, хоть, поверьте, я никогда не обольщался насчет разумности этой естественной логики вещей...

Яценко встал и прошелся по комнате. Он был очень бледен. «Нет, я ничем не виноват,— подумал Николай Петрович,— мне стыдиться нечего!..»

— Я остаюсь при своем мнении относительно действий вашего превосходительства,— сказал он, останавливаясь, (Федосьев снова слегка развел руками.) — Но прежде всего я желаю выяснить факты. Значит, в вечер убийства Загряцкий находился у вас, в вашем учреждении?

Федосьев улыбнулся не то наивности следователя, не то его тону.

— Со мной, но не в моем учреждении,— ответил он, подчеркивая последнее слово.— С секретными сотрудниками я встречаюсь на так называемой конспиративной квартире. Они ко мне ходить не могут, это азбука.

— По каким причинам вы приставили к Фишеру агента?

ли, процессу и казни) был в свое время уволен в отставку за то, что счел возможным на суде сообщить о принадлежности какого-то лица к охранному ведомству. Бывали и редкие исключения. Так, например, в пору процесса Бейлиса после долгих колебаний, после доклада министру внутренних дел Департамент полиции разрешил начальнику киевского губернского жандармского управления заявить на суде, что Махалин, один из важных свидетелей по процессу, в свое время состоял секретным сотрудником охраны (начальник жандармского управления, однако, этого не сделал). Слова «розыскные офицеры, в смысле выдачи сотрудников, были воспитаны в том, что эта тайна должна умереть вместе с ними: они не могли ее открыть» принадлежат одному из самых выдающихся руководителей политической полиции России, с которым, впрочем, не имеет ничего общего Федосьев, фигура полусимволическая и вымышленная.

Принцип безусловного хранения такого рода тайн, по-видимому, проводится органами высшей политической и военной полиции при любом государственном строе. Ему одинаково следовали и Третье отделение, не опубликовавшее записки Бакунина (хотя оно, конечно, могло нанести весьма тяжкий моральный удар знаменитому революционеру), и республиканские власти Германии, они, как известно, до сих пор ничего не сообщили о сношениях некоторых большевистских вождей с немецким генеральным штабом во время войны (хотя опубликование соответственных документов могло бы быть весьма выгодно германским правящим кругам). *(Автор.)*

— Я не буду входить в подробности... Впрочем, я сообщил вам при первом же нашем разговоре, почему я считал себя обязанным следить за Фишером... Он вдобавок, как вы догадываетесь, не единственный человек в России, находящийся у меня на учете.

— Значит, и письма госпожи Фишер к мужу Загряцкий читал по предписанию вашего превосходительства?

Федосьев посмотрел на следователя.

— Я предписываю установить наблюдение за тем или другим лицом, и только. Техника этого наблюдения лежит на ответственности агента и его непосредственного начальства, меня она не касается... Загряцкий мог и переусердствовать.

— Да... Вот как... — сказал Яценко. Он вернулся к столу и снова сел в кресло. Волнение его все усиливалось. — Кто же убил Фишера? — вдруг негромко, почти растерянно спросил он.

— Этого я не могу знать.

— Однако вы заинтересовались ведь этим делом не только для того, чтобы выгородить вашего агента?.. Да, ведь вы тогда меня спрашивали, оставил ли завещание Фишер, — сказал, вспомнив, Яценко. Он вдруг потерял самообладание. — Ваше превосходительство, я решительно требую, чтобы вы перестали играть со мной в прятки! Я прямо вас спрашиваю и прошу мне так же прямо ответить: вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?

— Это одно из возможных объяснений, — помолчав, ответил Федосьев. — Но уверенности у меня никакой не было и нет... Я действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами.

— Революционерами? — с изумлением переспросил Яценко. — Какими революционерами? . Зачем революционерам было убивать Фишера?

— Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери, которая, как вы знаете, связана с революционным движением.

Яценко продолжал на него смотреть, вытаращив глаза.

— Позвольте, ваше превосходительство, — сказал он. — Можно думать что угодно о наших революционерах, я и сам не грешу к ним симпатиями, но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтоб завладеть его состоянием!.. Ваше подозрение совершенно неправдоподобно! — сказал он решительно.

— Я, напротив, думаю, что оно вполне правдоподобно, — холодно ответил Федосьев. — И позволю себе добавить, что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше или даже чем мнение всей нашей либеральной интеллигенции, как-никак я посвятил этому делу всю свою жизнь. Вы спрашиваете: когда же революционеры делали такие вещи? Я отвечаю: за ними значатся гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве Шмидта? Извест-

ны ли вам дела террористов в Польше? О кровавой субботе не слышали? Об экспроприации на Эриванской площади? О лбовской организации?.. Я вам вкратце напомню...

Он заговорил, входя в подробности зверств, убийств, грабежей. Яценко смотрел на него сначала с недоумением, потом с некоторой тревогой.

— ...А Горинович, которого облил серной кислотой один из их самых уважаемых, иконописных вождей? А анархист-террорист Шпиндлер, прежде обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных изданиях? А тот — как его? — что переоделся в офицерскую форму и оскорбил действием германского консула: нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с извинениями генерал-губернатор, которого они по дороге собирались убить? А кишиневская группа «мстителей»? А донданrенские «лесные братья»? А московская «Свободная коммуна»? Не помните? Разрешите напомнить...

Обычно холодный и бесстрастный, Федосьев говорил возбужденно, увлекаясь все больше, точно этот счет чужих преступлений, это мрачное свидетельство жестокости людей, с которыми он вел борьбу, доставляли ему наслаждение. Он все валил в одну кучу: и подонки революции, и ее вожди — все точно были для него равны.

— ...А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые за компанию с министрами и генералами убивают с ангельски невинным, мученическим видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей, что затем нисколько им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик! Всегда ведь можно найти хорошие успокоительные изречения: «лес рубят, щепки летят», «любовь к ближнему, любовь к дальнему», правда? Они и в Евангелии находят изречения в пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из Священного писания... Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу, но сами на счет партийной кассы живут, и недурно живут! Грабят и убивают одних богачей, а деньги берут у других — дураков у нас, слава Богу, всегда было достаточно!.. Двойная бухгалтерия, очень облегчающая и облагораживающая профессию... Из убийств дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, неученых, ни в чем не повинных людей перебили, как кроликов. . Да что говорить! Нет такой гнусности, перед которой остановились бы эти люди... Они нас называют опричниками! Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы, да еще в отличие от нас на словах так и дышат человеколюбием. Дай им власть, и перед их опричниной не то что наша, а та, опричнина царя Ивана Васильевича, окажется стыдливой забавой!..

Яценко слушал его со странным чувством, в котором к беспокойству и недоверию примешивалось нечто похожее на сочувствие, этого Николай Петрович потом не мог себе объяснить. Многое из того, о чем говорил Федосьев, было

совершенно неизвестно следователю, кое-что он знал и смутно вспоминал по газетам. Яценко понимал односторонность нападок Федосьева, несправедливость разных его доводов, но в таком подборе и рассказе доводы эти звучали убедительно и грозно. «А все-таки здесь он ошибается... Преступление преступлению рознь... Да, то они могли сделать, а это невозможно... Притом как же они могли отравить Фишера? Ведь все это чистая фантазия... Нет, люди, ему подобные, видно, становятся маньяками», — думал Николай Петрович.

— Разрешите формулировать вашу мысль, — сказал он, когда Федосьев наконец кончил. — По вашим подозрениям, какой-то революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их на революционные цели? Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери Фишера? Но ведь она находится за границей...

Вдруг мысль о докторе Брауне поразила Николая Петровича. «Какая ерунда!» — сказал себе он.

— Не преувеличивайте значения моих слов, — уже спокойно, даже с некоторым сожалением ответил Федосьев. — Я сказал вам, что это только одна из возможностей, если хотите возможность чисто теоретическая. Вы изволили мне возразить: это совершенно неправдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели, и я изложил вам — слишком пространно, — почему я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю.

— Значит, вы не настаиваете на своем подозрении? — спросил Яценко.

— Нет, теперь не настаиваю, — ответил нехотя Федосьев. — Да я и прежде только смутно подозревал... Во всяком случае, вам виднее. И добавлю, теперь это уж никак не мое дело, — сказал он, улыбаясь. — Разрешите поделиться с вами маленькой новостью, вы о ней завтра прочтете в газетах. Мои услуги признаны ненужными русскому государству, и я, ко всеобщей радости, уволен в чистую отставку, с мундиром и пенсией, но больше ни с чем.

«Вот оно что! — подумал Николай Петрович. — То-то он так демоничен... Что ж, не сочувствие же ему выражать, в самом деле».

— Очень быстро у нас идут перемены, — уклончиво сказал Яценко.

— Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее правительство совершенно уверено в своей силе, прочности и государственном искусстве. Слава Богу, конечно... Да, так, видите ли, я не считал себя вправе оставлять своему преемнику дело о Загряцком. Я эту кашу заварил, я ее должен был и расхлебать. Скажу еще, что Загряцкий значится не за охранным отделением, там о нем ничего не знают. А у

меня он известен только под кличкой Брюнетка, которую я поэтому также вынужден вам открыть.

— Брюнетка, — повторил Яценко. Оставившее его было раздражение вновь им овладело. — Не могу, однако, не сказать вашему превосходительству, что вы напрасно называете ваши действия расхлебыванием каши. Напротив, расхлебывать ее придется нам, а эта каша с Брюнеткой невкусная, ваше превосходительство.

— Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем, оно ведь не так уж велико? Прокуратура направит дело к доследованию в порядке пятьсот двенадцатой статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации, она достаточно прочна... Я все-таки хотел бы и очень бы вас просил, чтобы настоящая роль Загряцкого осталась неразоблаченной. Очень бы просил, Николай Петрович... Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, — вставая, сказал он с подчеркнутой иронией, — то ведомству вашему, да и лично вам тревожиться нечего. Вся одиозность дела ведь падет на наше ведомство, точнее, на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее... Прощайте, Николай Петрович, я у вас засиделся.

Яценко, с трудом сдерживаясь, сухо простился с посетителем. Он счел, впрочем, необходимым проводить его до дверей коридора именно ввиду отставки и опалы Федосьева.

— Да, кстати, — добавил у двери Федосьев, — не трудитесь искать убийцу по дактилоскопическому снимку. Это рука околоточного, который производил дознание. Да, да, да... Он по неосторожности прикоснулся к бутылке... Околоточный Шавров... Я случайно выяснил... Прощайте, Николай Петрович, — любезно, почти ласково повторил он, выходя из кабинета.

Яценко растерянно смотрел ему вслед.

VIII

Банкет по случаю двадцатипятилетнего юбилея Кременецкого должен был состояться в одном из лучших ресторанов, в большой зале, вмещавшей около трехсот человек. Еще за несколько дней до банкета запись желающих принять в нем участие была прекращена за отсутствием места. Хотя в феврале было еще несколько юбилеев, день, выбранный для чествований, оказался удачным и не совпал ни с какой другой общественной или театральной сенсацией. Газетная подготовка юбилея прошла отлично: заметки в печати, вначале глухие, в две-три строки, потом понемногу все более подробные, появлялись часто. У Семена Исидоровича были враги в адвокатском мире. Но в газетных кругах, где он был чужой, к нему, в общем, относились хорошо. Он часто выступал в суде по литературным

делам и в этих случаях неизменно отказывался от гонорара, даже тогда, когда его подзащитные были люди со средствами. Правда, доброе отношение к Кременецкому у некоторых старых журналистов сочеталось с насмешкой. Так, Федор Павлович, секретарь газеты «Заря», принимал заметки о юбилее с ругательствами, но все же принимал их и печатал на видном месте. В правых газетах Семен Исидорович особой злобы не возбуждал.

Комитета по устройству юбилея было решено не образовывать, так как при этом неизбежны были жестокие обиды. Все делалось способом семейным, безымянным. Главная тяжесть работы выпала на долю Тамары Матвеевны и Фомина, им помогали близкие друзья дома. В течение месяца, предшествовавшего юбилею, у Тамары Матвеевны кроме чисто деловых заседаний происходили и небольшие обеды в тесном кругу. Сам Семен Исидорович, разумеется, не присутствовал на заседаниях, а с обедов рано уезжал, ссылаясь на неотложные дела. Но Тамара Матвеевна по вечерам наедине подробно все сообщала мужу и узнавала его мнение, которое он, впрочем, всегда высказывал отрывисто и уклончиво, ибо его это дело совершенно не касалось.

Работа была трудная и сложная. Постоянно возникали новые вопросы, то мелкие, технические, то серьезные и принципиальные. Так, на первом же обеде в тесном кругу перед устроителями встал вопрос о самом характере чествования. За кофе Тамара Матвеевна, повторяя и слова, и беглые застенчивые интонации мужа, указала, что Семен Исидорович не только один из первых адвокатов России (из приличия она не сказала — первый), он, кроме того, политик и общественный деятель. Должно ли придать чествованию характер политический? В глубине души Тамара Матвеевна предпочла бы отрицательный ответ на этот вопрос. Она боялась преследований со стороны правительства, травли черносотенных организаций. Ее мнение разделял и Фомин. Но другие участники обеда высказались решительно против этого мнения. Особенно горячо высказался Василий Степанович.

— Вы не можете не знать, дорогая Тамара Матвеевна, — сказал он решительно, подливая себе бенедиктина, — что юбилей Семена Исидоровича не только праздник русской адвокатуры — это праздник всей левой России!

«Эх, однако, хватил!» — подумал князь Горенский. Он озадаченно посмотрел на редактора. Но добрые голубые глаза Василия Степановича выражали такую глубокую уверенность в правоте его слов, что Горенский заколебался: может быть, действительно он недооценивал Семена Исидоровича и его заслуги? Быстро обдумав вопрос, князь тоже заявил, что чествованию необходимо придать характер общественно-политический. Против этого мнения осторожно возражал Фомин.

— Левая Россия — это хорошо, но Россия просто еще лучше, — сказал он. — Если мы поставим ударение на слово «левый», то магистратура, во всяком случае, не примет участия в нашем празднике.

— Тем хуже для магистратуры! — воскликнул Василий Степанович. Однако Тамара Матвеевна не могла признать, что тем хуже для магистратуры, она догадывалась, что и Семену Исидоровичу этот вывод не будет особенно приятен. В спор вмешался Никонов. Раздраженный словами Василия Степановича, он высказался со свойственной ему шутливой резкостью:

— Ну, уж там левая Россия или не левая Россия, или никакая не Россия, — сказал он (все немного смутились), — но я прямо говорю: весь смысл банкета именно в политической манифестации. Наш святой долг, господа, показать кукиш правительству!.. Поэтому и публика к нам так валит... Теперь, после убийства Гришки, настроение такое, что и магистратура к нам повалит, голову даю на отсечение!

— Может быть, вы не так дорожите своей головой, Григорий Иванович, — сказал язвительно Фомин, — но могу вас уверить, что сенатор Медведев на левый политический банкет не явится.

— Вот еще кто вам понадобился, зубр этакий! — воскликнул возмущенно князь. — Мы устраиваем банкет не для Беловежской пущи.

Василий Степанович от негодования пролил ликер на скатерть.

— Об этом надо, конечно, очень серьезно подумать, — заметила озабоченно Тамара Матвеевна, не имевшая твердого мнения до тех пор, пока не высказался Семен Исидорович.

Вечером она доложила о споре мужу.

— Фомин отчасти прав, — сказала она нерешительно. — Не только Медведев тогда не придет, Бог с ним, но и многие другие. Я не уверена даже, что придет Яценко.

— Все-таки странно, что русские люди никогда ни на чем не могут сойтись, — сказал с горечью Семен Исидорович. — Во всякой другой стране существуют бесспорные ценности: в Англии, во Франции, в Бельгии («Бельгия» сорвалась у него как-то нечаянно). Одни мы, русские, всегда без нужды грыземся... Делайте как хотите! — в сердцах отрывисто добавил он.

Расстроенная Тамара Матвеевна немедленно перевела разговор на другой предмет. Она принялась рассказывать о том, как все, решительно все стремятся попасть на банкет и в какое отчаяние приходят люди, узнавая, что мест уже нет. Семен Исидорович понемногу смягчился. Характер чествования так и остался неясным. Было решено предоставить полную свободу ораторам.

Вопросы непринципиальные Тамара Матвеевна разрешала сама. Ресторан был выбран очень дорогой, но плату за обед установили низкую — пять рублей с человека, — чтобы сделать участие в банкете возможно более доступным. При этом Тамара Матвеевна поручила Фомину доплатить ресторатору столько, сколько будет нужно, не останавливаясь ни перед какими расходами. У Тамары Матвеевны благодаря щедрости мужа уже года три были собственные деньги и текущий счет в банке. Из этих же денег она оплатила свой дорогой подарок Семену Исидоровичу: портрет Муси работы известного художника. Меню обеда было поручено выработать Фомину, который имел репутацию тонкого гастронома. Он очень хорошо справился со своей задачей, любо было смотреть на проект разукрашенной карточки с разными звучными и непонятными «Homard Thermidor», «Médaillon de foie gras», «Coupe Chantilly»[1] и т. п.

Фомину пришлось особенно много поработать по делу об устройстве чествования. Тамара Матвеевна трудилась усердно, но она по своему положению часто должна была оставаться в тени. Никонов помогал больше советами, да и то преимущественно шутливыми. Муся вначале только делала радостно-изумленное лицо и относилась к юбилею отца приблизительно так, как к приезду Художественного театра или к другому событию подобного рода, которое само по себе было очень приятно, но никаких действий с ее стороны не предполагало. Потом ее все же привлекли к общей работе. Она взяла на себя распределение гостей за столами. Столов было много: один в длину зала, почетный, и десять обыкновенных, перпендикулярных к почетному. Рассадка гостей за почетным столом была чрезвычайно трудным и ответственным делом, здесь все обдумывалось и обсуждалось сообща. Боковые же столы были поручены Мусе. Она съездила с Никоновым в зал банкета, купила огромные листы картона и начала озабоченно рисовать план столов с номерами мест. Но вскоре ей это надоело, на первом же столе все почетные лица не поместились и план так и остался недоконченным. Распределение гостей тоже перешло к Фомину. Он с ожесточением говорил знакомым, что совершенно сбился с ног, проклинал и банкет, и юбиляра, и самого себя «за глупость». Однако в действительности Фомина захватила эта работа, требовавшая опыта, такта, дипломатии и вдобавок дававшая материал для его упорного остроумия. В удачном устройстве юбилея Фомин видел как бы собственное свое торжество, хоть и не слишком любил Семена Исидоровича.

Большого такта требовал вопрос о речах на банкете. Этот вопрос, по выражению Фомина, нужно было забот-

---

[1] Названия изысканных и дорогих блюд: омары «Термидор», паштет из гусиной печени, мороженое со взбитыми сливками *(фр.)*.

ливо «провентилировать». Недостатка в ораторах не было, говорить желали многие, но, на беду, не те, кого особенно приятно было бы услышать Семену Исидоровичу. Было получено письмо от дон Педро, он заявлял о своем желании выступить с речью почти как об одолжении, которое он готов был сделать юбиляру. Альфред Исаевич принял столь самоуверенный тон больше для того, чтобы вернее добиться согласия устроителей банкета, ему очень хотелось сказать слово. Однако дон Педро был сразу всеми признан недостаточно декоративной фигурой, и Фомин в самой мягкой форме ответил ему, что, как ни приятно было бы его выступление, слово не может быть ему дано по условиям времени и места. Эту непонятную фразу «по условиям времени и места» Фомин употреблял постоянно, и она на всех производила должное впечатление. Альфред Исаевич по свойственному ему благодушию не обиделся, он лишь огорчился, да и то ненадолго: что ж делать, если условия времени и места лишали его возможности выступить?

Виднейшие политические деятели либерального лагеря любезно благодарили за приглашение, обещали непременно прийти на банкет, но не выражали желания говорить. Уклонился, в частности, самый видный из всех, что было особенно досадно Семену Исидоровичу. Он даже приписал это уклонение скрытому антисемитизму вождя Либерального лагеря. «Ах, они все явные или тайные юдофобы!» — сердито сказал жене Семен Исидорович, еще накануне восторженно отзывавшийся об этом политическом деятеле. Вместо него был единогласно намечен князь Горенский, но он никак уклонившегося не заменял. Должны были говорить Василий Степанович и Фомин. Наметились и еще несколько ораторов.

Вся эта юбилейная кухня была не очень приятна Кременецким. Помимо обид и огорчений, было беспокойство: удастся ли вообще чествование? Настроение в Петербурге без видимой причины становилось все тревожнее. Ожидали беспорядков и забастовок; говорили даже, что кое-где начинаются голодные бунты. Кременецкий сожалел, что по разным случайным причинам двадцатипятилетие его адвокатской деятельности было назначено на февраль. «Не следовало оттягивать», — думал он.

Насмешек или неприятных отзывов о чествовании он не слышал. Семен Исидорович думал, что такие отзывы непременно должны были бы до него дойти, все равно как до автора через возмущенных приятелей почти неизбежно доходят ругательные рецензии о его книгах, даже помещенные в захудалых изданиях: «А вы видели, какую гадость написал о вас такой-то?.. Просто стыдно читать этот вздор!..» Насмешки, однако, не доходили до Семена Исидоровича. Связанные с праздником мелкие огорчения потонули в той волне сочувствия, симпатии, похвал, которая к нему неслась. Письма, телеграммы, адреса стали прихо-

дить еще дня за два до юбилея. В день праздника их пришло около ста. Все утро на квартиру Кременецкого носили из магазинов цветы, торты, бонбоньерки. Приветствия, особенно от прежних подзащитных, были самые трогательные. Некоторые из них Семен Исидорович не мог читать без искреннего умиления. К тому часу дня, когда к нему на дом стали съезжаться друзья и прибыла делегация от совета присяжных поверенных, он уже пришел в состояние подлинного сердечного размягчения.

Одно приветствие особенно его взволновало. Оно было от адвоката Меннера, с которым Семен Исидорович в течение долгих лет находился в состоянии полускрытой, но острой жгучей вражды. В выражениях не только корректных, но чрезвычайно лестных и теплых Меннер поздравлял своего соперника, отмечая его большие заслуги, и слал ему самые добрые пожелания. Кременецкий не верил своим глазам, читая это письмо: он ждал от Меннера, в лучшем случае, коротенькой сухой телеграммы. В одно мгновение исчезла, растаяла долголетняя ненависть, составлявшая значительную часть интересов, действий, жизни Семена Исидоровича В том размягченном состоянии, в котором он находился, их вражда внезапно показалась ему нелепым и печальным недоразумением. Больше того, это поздравительное письмо в каком-то новом свете представило ему самую жизнь. «Да, надо быть безумцем, чтоб отравлять себе существование всеми этими мелочными дрязгами», — подумал он. Тамара Матвеевна также была взволнована письмом Меннера.

— Конечно, он во многом перед тобой виноват, — сказала она. — Особенно в том деле с Кузьминскими... Но он все-таки выдающийся человек и адвокат... Не ты, конечно, но один из лучших адвокатов России!

— Один из самых лучших! — с горячим чувством признал Семен Исидорович.

По его желанию Тамара Матвеевна позвонила по телефону Меннеру, сердечно его поблагодарила — «Пока только я!» — и просила непременно приехать вечером на банкет. Семен Исидорович во время их разговора приложил к уху вторую трубку телефона.

— Я сам очень хотел быть, но я слышал и читал, что все триста мест уже расписаны, — ответил взволнованно Меннер.

— Все триста пятьдесят мест давно расписаны, но для Меннера всегда и везде найдется место, — сказала Тамара Матвеевна, за долгие годы она усвоила и мысли, и чувства, и стиль своего мужа. Семен Исидорович взглянул на жену и с новой силой почувствовал, что эта женщина — первый, самый преданный, самый главный из его ныне столь многочисленных друзей. Яснее обычного он понял, что для Тамары Матвеевны никто, кроме него, на свете не существует, что жизнь без него не имеет для нее смысла.

Слезы умиления показались на глазах Кременецкого, он порывисто обнял Тамару Матвеевну. Она застенчиво просияла.

Семен Исидорович стал со всеми вообще чрезвычайно добр и внимателен. Накануне банкета он разослал по благотворительным учреждениям две тысячи рублей и даже просил в отчетах указать, что деньги получены «от неизвестного». Никто ни в чем не встречал у него отказа. Так, дня за два до банкета Кременецкий получил билеты на украинский концерт, который должен был состояться «25-го лютого, в Олександровской Залі Мійськой ради» (в скобках на «квитках» значился русский перевод этих слов). Семена Исидоровича рассмешило и немного раздражило то, что люди серьезно называли Городскую думу Мійськой радой. Тем не менее он тотчас отослал устроителям концерта пятьдесят рублей, хотя «квитки» стоили гораздо дешевле.

IX

Муся в те дни переживала почти такое же состояние счастливого умиления, в каком находился ее отец. Она была влюблена. Началось это, как все у нее, с настроений светски-иронических. Муся жила веселой иронией, и выйти из этого болезненного душевного состояния ей было очень трудно, для нее оно давно стало нормальным. Когда Муся в разговоре о Клервилле, закатывая глаза, сообщала друзьям, что она погибла, что Клервилль, наверное, шпион и что она без ума от шпионов, это надо было понимать как небрежную, оригинальную болтовню. Так друзья действительно это и понимали. Если б у Муси спросили, что на самом деле скрывается за ее неизменным утомительно-насмешливым тоном, она едва ли могла бы ответить. Что-то, очевидно, должно было скрываться, нельзя было жить одной иронией. Муся это чувствовала, хоть думала об этом редко — она была очень занята, ровно ничего не делая целый день. В откровенных беседах Муся часто повторяла: «Надо все, все взять от жизни...» В ее чувствах что-то выражалось и другими фразами: «сгореть на огне», «жечь жизнь с обоих концов», «отдаваться страстям», но это были провинциальные фразы довольно дурного тона, которых не употребляла и Глаша.

Впрочем, дело было не в выражении мысли — ее некому и незачем было выражать. Тягостнее было то, что в действительности Муся брала у жизни очень немногое. Флирт с Григорием Ивановичем, отдаленное подобие флирта с Нещеретовым, сомнительные разговоры с Витей — все это щекотало нервы, но заполнить жизнь никак не могло. Страх, общий уклад жизни, привычки, брезгливость мешали Мусе пойти дальше. Ей было двадцать два года. Она знала, что не останется без жениха. Но с ужасом чувствовала, что все легко может кончиться очень прозаично и

буржуазно, уж без всякой грациозной иронии. Муся как-то прочла у Оскара Уайльда: «Несчастье каждой девушки в том, что она рано или поздно становится похожей на свою собственную мать». От этой фразы Муся похолодела, хотя любила Тамару Матвеевну и очень к ней привыкла.

Клервилль появился так неожиданно. Он не укладывался в привычные настроения Муси, но буржуазности в нем не было или если была, то другая. Слово «буржуазность» часто употреблялось в кружке Муси, правда, в несколько особом смысле: так, дама из буржуазного общества, ездившая со светскими людьми в отдельные кабинеты первоклассных ресторанов, тем самым уже возвышалась над рядовой буржуазностью. Возвыситься над буржуазностью можно было, читая определенные книги, восхищаясь надлежащими писателями, артистами, художниками и презирая надлежащих других, живя врозь с мужем или называя его на «вы». Вообще это было нетрудно и часто вполне удавалось даже на редкость глупым женщинам (мужчинам удавалось еще легче). Клервилль не возвышался над буржуазностью, он был как-то от нее в стороне, этому все способствовало — от мундира и боевых наград до его имени Вивиан, до его чуть пахнущих медом английских папирос. И Муся могла говорить, что она погибла, без риска оказаться ниже своей репутации.

Так было при их первом знакомстве. Но после любительского спектакля в их доме Муся почувствовала, что она влюбилась, влюбилась по-настоящему, в первый раз в жизни, почти без заботы об ощущениях, без всякой мысли о том, буржуазно ли это или нет.

Клервилль занимал ее воображение целый день, и в мыслях о нем теперь заключалось ее лучшее наслаждение. Прежде Муся была не в состоянии провести вечер дома одна. Теперь она предпочитала одиночество и, возвращаясь после театра домой, с радостью вспоминала, что сейчас в ванне, в постели останется с мыслями о нем одна, что, быть может, он приснится ей ночью. Муся проверяла свои чувства по самым страстным романам и с гордостью убеждалась, что это и есть та любовь, которую почти всегда совершенно одинаково и совершенно верно описывали романы. Прежде Мусе было страшно подумать, что ей, быть может, предстоит за всю жизнь знать только одного человека. Теперь эта боязнь казалась ей одновременно и смешной, и гадкой. От счастья она стала добрее, не отвечала на колкости Глаши, была ласкова с матерью, больше не старалась кружить голову Вите: он под разными предлогами забегал к ним так часто, что в кружке уже смеялись, а Тамара Матвеевна полушутливо грозила ему пальцем. Муся теперь говорила с Витей «так, как могла бы говорить с братом любящая старшая сестра», этот новый книжный тон беспокоил и сердил Витю. Никонов говорил, что в доме Кременецких установился дух **первых времен** христианст-

ва, и притом с некоторым опозданием, ибо Семен Исидорович крестился двадцать пять лет тому назад.

Клервилля Муся видела довольно редко. Он сделал им визит, был с Мусей на выставке «Мира искусства», слушал с ней Шаляпина в опере у Аксарина. После третьей встречи с английской легкостью в сближении он попросил разрешения называть ее по имени и произносил ее имя забавно старательно. Это очень ее удивило, она думала, что все англичане «чопорны». Слово «Вивиан» звучало волшебно. Клервилль был не только красавцем. Он оказался милым, любезным, обаятельным человеком. «Умен он или нет?» — не раз спрашивала себя Муся, и вначале ей было трудно ответить на этот вопрос: Клервилль, очевидно, не был умен в том смысле, в каком были умны сама Муся, Глаша или Никонов. Но Муся догадывалась, что в этом смысле Гете, Наполеон, Пушкин тоже не были, пожалуй, умны. Муся скоро все узнала о Клервилле, о его родных, о его планах. Как-то в присутствии ее матери он упомянул о том, что не богат. Это несколько расхолодило Тамару Матвеевну, она сама начинала неопределенно думать о Клервилле .Ей, впрочем, объяснили, что в Англии человек, имеющий состояние в сто тысяч фунтов, не считает себя богатым. Мусе теперь было почти безразлично, богат ли или не богат Клервилль. Ее гораздо больше беспокоил вопрос, зачем он сказал об этом, надо ли отсюда заключить, что он «сделает ей предложение» (это слово, прежде неприятное Мусе, теперь звучало иначе). Клервилль не делал предложения, но после спектакля Муся почти не сомневалась в том, что он предложение сделает.

Она не могла привыкнуть к этой мысли. В их кругу никто никогда не выходил за англичанина. Клервилль в разговоре упомянул о том, что его, быть может, пошлют после войны в Индию. Муся не представляла себе жизни вне Петербурга и невольно улыбалась, воображая себя в Бомбее женой боевого английского офицера. Но и в этой мысли было что-то, волновавшее Мусю, она, смеясь, говорила друзьям, что родилась с душой авантюристки. «Неужели, однако, всю жизнь говорить с мужем на чужом языке?.. Да правда ли еще, что он влюблен?.. Но когда же, когда? Говорят, война скоро кончится... Это, однако, говорят уже три года...» Муся вспомнила частушку, которую газеты откопали где-то в Рязанской губернии:

Девки, очень я сердита
На германца сатану!
Дролю отдали в солдаты
И угнали на войну...

Муся с сочувственной улыбкой думала о «девке», которая тосковала по дроле. Ей была приятна мысль, что она сама похожа на эту девку, и она от всей души желала ей найти с дролей счастье.

Семен Исидорович ничего не знал о новом увлечении Муси. Тамара Матвеевна едва догадывалась, она в мыслях примеривалась ко всем неженатым мужчинам, бывавшим у них в доме. Родителей Муси все еще занимала мысль о Нещеретове. Однако здесь их постигло разочарование. Нещеретов был любезен, но решительно ничто не свидетельствовало о его увлечении Мусей. Им вдобавок сообщили, что Аркадий Николаевич стал часто бывать у госпожи Фишер. «Очень нужно было его с ней знакомить», — с досадой думал Кременецкий. Он вообще был недоволен своей клиенткой, как и ходом ее иска. Дело Загряцкого было направлено к доследованию. В связи с этим какие-то темные слухи поползли по Петербургу. Но в те дни ходило по столице так много самых удивительных слухов, что им большого значения не придавали.

У Кременецких в феврале бывало особенно много гостей, частью в связи с предстоявшим торжественным днем, частью оттого, что в их доме всегда рады были гостям и не жалели денег — из-за росшей дороговизны многие в Петербурге начинали сокращать расходы. Настроение в столице, несмотря на войну и тяжелые слухи, было после убийства Распутина необыкновенно приподнятое и радостное. Особенно оживлена была молодежь, точно гордившаяся бессознательно тем, что историческое убийство, столь нашумевшее во всем мире, совершили блестящие молодые люди.

Муся часто выезжала в театр. В театрах тоже шли очень веселые пьесы — где «Наша содержанка», где «Веселая вдова», где «Любовь... и черти... и цветы». После спектакля она нередко заставала дома гостей. Ужинали в два часа ночи «чем Бог послал», как неизменно говорил Кременецкий. Кружок Муси имел текучий состав и часто совершенно изменялся в течение года. Теперь в него входили преимущественно участники их любительского спектакля. Молодежь собиралась отдельно, мостом между нею и старшими был князь Горенский. К старшим Муся редко выходила надолго и в своем кружке, когда ее звали в гостиную к Тамаре Матвеевне, со вздохом, закатывая глаза, терла пальцем щеку, что по-парижски должно было означать «La barbe!» [1] (Муся знала argot лучше уроженцев Монмартра). Для некоторых старших она, впрочем, делала исключение, в особенности для Брауна: почему-то он ее интересовал и даже немного беспокоил.

Зимой в комнате Муси по ее просьбе был поставлен отдельный телефон. Аппарат стоял на письменном столе, так что Муся могла разговаривать, сидя в своем любимом атласном кресле. Телефонные разговоры поздним вечером, когда в доме и на улице устанавливалась тишина, стали новым удовольствием Муси. Без всякого дела она вызы-

---

[1] «Скучища!» (*фр*).

вала — кого было можно — в двенадцатом, в первом часу ночи и болтала подолгу, часто дурача собеседника. Она по телефону говорила негромко, особенно отчетливо, и ей приятно было слушать красивый, выразительный звук своего голоса. Что-то в этом напоминало хороший модный театр.

Как-то раз, набравшись храбрости, Муся вызвала по телефону Клервилля. Она давно собиралась пригласить его на банкет. Кружку Муси было отведено место в конце последнего бокового стола. Этим подчеркивалось, что они свои люди и что для них в отличие от остальной публики не могло иметь значения, где сидеть. Муся шутливо называла его Камчаткой. Разумеется, для нее самой место было отведено там же, а не рядом с родителями, как предлагала Тамара Матвеевна. «И вот еще что, друзья мои, — объявила Муся незадолго до праздника, — так как, между нами, будет, верно, очень скучно, то мы оттуда едем все на острова! Идет?» Это предложение было немедленно принято: Никонов взял на себя заказать тройки — по просьбе дам не розвальни, а обыкновенные четырехместные сани. Тамара Матвеевна вначале слабо возражала, что не совсем прилично ехать на острова дочери с банкета в честь отца, гораздо лучше было бы им втроем вернуться из ресторана домой и еще потом посидеть немного, поболтать, обменяться впечатлениями в семейном кругу. Но обмен впечатлениями в семейном кругу не соблазнил Мусю, и Тамара Матвеевна уступила.

— Может быть, тогда и Нещеретов с вами поедет? — вскользь осведомилась она.

— Нет, Нещеретов с нами не поедет, — сердито ответила Муся.

— Вот ты хочешь сидеть на банкете Бог знает где... Если уж не с нами, то не лучше ли тебе отвести двадцать второй номер? Он еще свободен, это рядом с Аркадием Николаевичем... Он такой приятный собеседник, а?

Муся хотела было огрызнуться, но ей пришло в голову, что Клервилля никак нельзя будет посадить с молодежью на Камчатку. «Как я раньше не сообразила!» — с досадой подумала она.

— Нет, двадцать второго номера я не хочу, — сказала Муся. — Но мы действительно неудачно выбрали место... Я думаю, нам лучше быть за первым столом или около него. Так в самом деле будет приличнее, я скажу Фомину.

В этот вечер Муся вернулась домой раньше обычного, в одиннадцать. Перебирая бумаги в ящике, она наткнулась на старый иллюстрированный проспект пароходного общества, как-то сохранившийся у нее от поездки за границу перед войною. Муся рассеянно его перелистала. На палубе в креслах сидели рядом молодой человек и дама. Перед

ними на столике стояли бокалы, бутылка в ведерке со льдом. Изумительно одетый молодой человек держал сигару пальцами с изумительно отделанными ногтями, влюбленно глядя на изумительно одетую даму. Вдали виднелся берег, какие-то сады, замки. Мусю внезапно охватило страстное желание быть женой Клервилля, путешествовать на роскошном пароходе, пить шампанское, говорить по-английски. «Ах, Боже мой, если бы кончилась эта проклятая бойня!» — в сотый раз подумала она с тоскою. Муся положила проспект и, замирая от волнения, вызвала гостиницу «Палас». Клервилль был у себя в номере. По первым его словам — голос его звучал в аппарате так странно-непривычно — Муся почувствовала, что он не «шокирован», что он счастлив.

— ...Да, непременно приезжайте, — говорила она, понижая голос почти до шепота. — Будут политические речи, это, наверное, вас интересует.

В ту же секунду Муся инстинктом почувствовала, что поступила неосторожно. Ее последние слова встревожили Клервилля. Он смущенно объяснил, что, в таком случае, ему, как иностранному офицеру и гостю в России, лучше было бы не идти. Муся заговорила быстро и сбивчиво, забыв о модуляциях голоса. Она объяснила Клервиллю, что никакого политического характера банкет, конечно, иметь не будет.

— Вы догадываетесь, что иначе я бы вас и не приглашала... Я прекрасно понимаю, что вы не можете участвовать в наших политических манифестациях... Нет, будьте совершенно спокойны, Вивиан, я ручаюсь вам, — говорила она, с наслаждением называя его по имени. — Нет, вы должны, должны прийти... Впрочем, может быть, вы просто не хотите?.. Тогда я, конечно, не настаиваю, если вам скучно...

Клервилль сказал, что будет непременно, и просил посадить его рядом с ней.

— Я плохо говорю по-русски, и мне так, так хочется сидеть с вами...

Муся обещала исполнить его желание, «если только будет какая-нибудь возможность».

Они простились, чувствуя с волнением, как их сблизил этот ночной разговор по телефону. Муся положила ручку аппарата, встала и прошлась по комнате. Счастье заливало, переполняло ее душу. Ей казалось, что никакие описывавшиеся в романах ivresses [1] не могли бы ей доставить большего наслаждения, чем этот незначительный разговор, при котором ничего не было сказано. Муся подошла к пианино и почти бессознательно, как в тот вечер знакомства с Клервиллем и Брауном (почему-то она вспомнила и о нем), взяла несколько аккордов, чуть слышно повторяя слова:

[1] Здесь: обольщенная *(фр.)*.

«E voi — o fiori — dall'olezzo sottile — vi faccia — tutti — aprire — la mia man maledetta!..»

Майор Клервилль весь этот вечер провел у себя в номере за чтением «Братьев Карамазовых», иногда отрываясь от книги, чтоб закурить свою Gold Flake[1]. В комнате было тепло, однако радиатор не заменял настоящего, жарко растопленного камина. Удобств жизни, того, что иностранцы называли комфортом и считали достоянием Англии, в Петербурге было, пожалуй, больше, чем в Лондоне. Но уюта, спокойствия не было вовсе, как не было их в этой необыкновенной мучительной книге.

Клервилль читал Достоевского и прежде, до войны — в том кругу, в котором он жил, это с некоторых пор было обязательно. Он и выполнил долг, как раньше, в школе, прочел Шекспира с тем, чтобы навсегда отделаться и запомнить наиболее знаменитые фразы. К жизни Клервилля Достоевский никакого отношения иметь не мог. Многое в его книгах было непонятно Клервиллю, кое-что казалось ему невозможным и неприличным. Национальный английский писатель не избрал бы героем убийцу, героиней проститутку; студент Оксфордского университета не мог бы убить старуху процентщицу, да еще ради нескольких фунтов стерлингов. Клервилль был умен, получил хорошее образование, немало видел на своем веку и знал, что жизнь не совсем такова, какою она описана в любимых английских книгах. Но все же для него убийцы и грабители составляли преимущественно достояние «детективных» романов, там он их принимал охотно. Достоевский защищал дело униженных и оскорбленных, Клервилль искренно этому сочувствовал и не видел в этом особенности русского писателя — такова была традиция Диккенса. Сам Клервилль кроме профессиональной своей работы, кроме увлечения спортом и искусством интересовался общественными вопросами и даже специально изучал дело внешкольного образования. Он понимал, что можно быть недовольным консервативной партией, можно принадлежать к партии либеральной или даже социалистической. Но знаменитая страница о джентльмене с насмешливой физиономией, который по установлении всеобщего счастья на земле вдруг ни с того ни с сего разрушит хрустальный дворец, столкнет разом к черту все земное благополучие единственно с целью, чтобы опять пожить по своей воле, страница эта была ему непонятна, он чувствовал вдобавок, что Достоевский, ужасаясь и возмущаясь, вместе с тем в душе чуть-чуть гордится широтой натуры джентльмена с насмешливой физиономией. Клервилль искренно восторгался «Легендой о Великом инквизиторе». Однако его коробило и даже оскорбляло, что высокие философские и религиозные мысли высказывались в каком-то кабаке странным человеком —

[1] Сорт сигар *(англ.)*.

не то отцеубийцей, не то подстрекателем к убийству. Это чтение досталось Клервиллю нелегко, и он был искренно рад, когда со спокойной совестью, с надлежащей дозой восхищения отложил в сторону обязательные книги Достоевского.

Но это было давно. С тех пор все изменилось — и он, и мир. Достоевский был любимым писателем Муси. Она сказала об этом Клервиллю и постаралась вспомнить несколько мыслей, которые от кого-то слышала, о «Братьях Карамазовых». Клервилль немедленно погрузился в книги ее любимого писателя. Ему стало ясно, что он прежде ничего в них не понимал. Только теперь через Мусю он по-настоящему понял Достоевского. Он искал и находил в ней сходство с самыми необыкновенными героинями «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Бесов», мысленно примерял к ней те поступки, которые совершали эти героини. В более трезвые свои минуты Клервилль понимал, что в Мусе так же не было Грушеньки или Настасьи Филипповны, как не было ничего от Достоевского в ее среде, в ее родителях. Однако трезвых минут у Клервилля становилось все меньше.

Потом эти книги и сами по себе его захватили. То, что он пережил в годы войны, затем долгое пребывание в Петербурге было как бы подготовительной школой к Достоевскому. Он чувствовал, что его понемногу затягивают в новый, чужой, искусственный мир. Но это волшебство уже не так его пугало, ему искусственной казалась и его прежняя жизнь, от скачек дерби до народных университетов. Оглядываясь на нее теперь, Клервилль испытывал чувство некоторой растерянности, как человек, вновь выходящий на обыкновенный, солнечный свет после долгого пребывания в шахте, освещенной зловещими огнями. Самые бесспорные положения, самый нормальный склад жизни больше не казались ему бесспорными. У него уже не было уверенности в том, что составлять сводки в военном министерстве, лезть на стену из-за боксеров и лошадей, платить шальные деньги за старые марки, за побитый фарфор XVIII века — значило жить в естественном мире. Не было уверенности и в обратном. Он только чувствовал, что прежний мир был несравненно спокойней и прочнее.

Клервилль не понимал, что вопрос о естественном и искусственном мире сам по себе не имеет для него большого значения. За размышлениями по этому вопросу в нем зрела мысль о женитьбе на Мусе Кременецкой. Только Муся могла осветить ему жизнь. Клервилль подолгу думал о значении каждого ее слова. Он все записывал в своем дневнике, и там словам Муси об инфернальном начале Грушеньки было отведено несколько страниц комментариев. Муся не всегда говорила Клервиллю то, что логически ей могло быть выгодно. Она и вообще не обдумывала своих слов, говорила все, что ей в первую секунду

казалось милым и оригинальным. Как-то раз она ему сказала, что **просто не может понять** обязательства верности в браке. Но именно вырывавшиеся у нее слова, о которых Муся потом сама жалела, всего больше возвышали ее в представлении Клервилля. По понятиям его старого английского мира, женитьба на Мусе была почти таким же диким поступком, как действия героев Достоевского. Но в новом мире все расценивалось по-иному. Клервилль за чтением думал о Мусе в ту минуту, когда она его вызвала, и в эту минуту его решение стало бесповоротным. Он только потому не сказал ничего Мусе, что было неудобно и неприлично объясняться в любви по телефону.

X

Браун не предполагал быть на банкете, но в заботах занятого дня забыл послать телеграмму и вспомнил об этом, лишь вернувшись в «Палас» в седьмом часу вечера. Можно было, на худой конец, позвонить Тамаре Матвеевне по телефону. Поднявшись в свой номер, Браун утомленно опустился в кресло и неподвижным взглядом уставился на пол, на швы малинового бобрика, на линию гвоздей, обходившую по сукну мраморный четырехугольник камина.

Так он сидел долго. Вдруг ему показалось, что стучат в дверь. «Войдите!» — вздрогнув, сказал он. Никого не было. Браун зажег лампу и взглянул на часы. «Однако не оставаться же так весь вечер,— угрюмо подумал он, взял было со стола книгу и тотчас ее отложил — он проводил за чтением большую часть ночей.— Пойти куда-нибудь?.. Куда же?..— Знакомых у него было немного. Браун перебрал мысленно людей, к которым мог бы поехать.— Нет, не к ним, тоска... Пропади они совсем... Разве к Федосьеву поехать? — Он подумал, что по складу ума этот враг ему гораздо интереснее, да и ближе друзей.— Сходство в мире В... Нет, разумеется, нельзя ехать к Федосьеву...— Он снова вспомнил об юбилее Кременецкого. Теперь звонить по телефону было уже неудобно.— Разве туда отправиться? Скука!..» Но он подумал об ожидавшем его длинном, бесконечном вечере.

Из камина выползло большое буро-желтое насекомое и поползло по мрамору. Браун вздрогнул и уставился глазами на многоножку. Она замерла, притаилась, затем зашевелила ножками и быстро поползла назад в камин.

«Так и я прячусь от людей, от яркого света... Этим живу, как живет Федосьев своей мнимой ненавистью к революционерам, которых ненавидеть ему трудно, ибо они не хуже и не лучше его. Невелика и моя мудрость жизни, не много же она принесла мне радости. Нет, ненадежно созданное мной perfugium tutissimum [1], и наверное, не здесь, не здесь скрывается ключ к свободе...»

[1] Совершенное убежище (*лат.*).

Банкет, как всегда, начался с опозданием, и Браун приехал почти вовремя. В ту минуту, когда он поднимался по лестнице, музыка впереди заиграла туш. Раздались бурные рукоплескания — Семен Исидорович, бледный и растроганный, как раз входил в зал под руку с Тамарой Матвеевной. Браун перед растворенной дверью ждал конца рукоплесканий и туша. Вдруг сзади, покрывая шум, его окликнул знакомый голос. В другом конце коридора у дверей отдельного кабинета стоял Федосьев. Он, улыбаясь, показывал жестом, что не желает подходить к дверям банкетной залы.

— Я увидел вас из кабинета,— сказал, здороваясь, Федосьев, когда рукоплескания наконец прекратились.

— Вы как же здесь оказались?

— Да я теперь почти всегда обедаю в этом ресторане,— ответил Федосьев.— По знакомству и кабинет получаю, когда есть свободный, мне ведь не очень удобно в общем зале. Так вы тоже Кременецкого чествуете? — с улыбкой спросил он.

— Так точно.

— А то не заглянете ли потом и сюда, ко мне, если не все речи будут интересные?

— Если можно будет выйти из залы, загляну... Вы долго еще останетесь?

— Долго, я только что приехал и еще ничего не заказал. Мне вдобавок и торопиться некуда, теперь я свободный человек.

— Да, да...

— Свободный человек... Ну, торопитесь, вот и туш кончился.

— Так до скорого свидания.

Гости рассаживались по местам. Пробегавший мимо входной двери Фомин остановился и взволнованно-радостно пожал руку Брауну.

— Ваш номер сорок пятый,— сказал он,— вон там, на краю главного стола, рядом с майором Клервиллем... Ведь вы говорите по-английски?.. А по другую сторону я, если вы ничего против этого не имеете...

Он побежал дальше. Браун прошел к своему месту. Клервилль радостно пожал ему руку. Англичанин занимал первый стул по боковому столу. По другую сторону Клервилля сидела Муся. К неудовольствию Фомина, который находил неудобным менять все в последнюю минуту, кружок Муси был переведен с Камчатки. Сам Фомин занимал место около кружка, но за почетным столом; собственно, по своему положению он не имел на это права (очень многие претендовали на места у этого стола, и из-за них вышло немало обид), но роль Фомина в устройстве чествования была так велика, что его претензия никем не оспаривалась.

«Хоть разговаривать, кажется, не будет нужно,— угрюмо подумал Браун, взглянув на Клервилля и на Мусю.—

Слава Богу и на том...» Весь вид банкетного зала вызвал в нем привычное чувство тоски. Он взял меню и принялся его изучать.

XI

Муся приехала в ресторан с родителями, но отделилась от них тотчас же по выходе из коляски. У парадных дверей Семена Исидоровича и Тамару Матвеевну окружили распорядители и боковым коридором проводили их в небольшую гостиную, откуда по заранее выработанному церемониалу они позднее должны были совершить торжественный выход в залу банкета. О Мусе распорядители не подумали, а Тамара Матвеевна была так взволнована, что тоже забыла о дочери, едва ли не первый раз в жизни. Недостаток внимания чуть-чуть задел Мусю: какая пропасть ни отделяла ее от родителей, в этот день она гордилась славой отца и сама себя чувствовала именинницей. Муся прошла в раздевальную, где у отделявшего вешалки барьера с шубами и шапками в руках толпились люди. Она скромно стала в очередь, но ее тотчас узнали. Какой-то незнакомый ей господин с внушительной ласковой интонацией сказал очень громко:

— Господа, пропустите мадмуазель Кременецкую!

На Мусю немедленно обратились взгляды. С ласковыми улыбками гости вне очереди пропустили ее к барьеру, помогли ей отдать шубу и получить номерок. По выражению лиц дам Муся почувствовала, что и ее платье произвело должное впечатление. Она быстро оглядела себя в зеркале, поправила прядь волос и, провожаемая сочувственным шепотом, вышла из раздевальной.

Гости собирались в большой комнате, примыкавшей к банкетному залу. Парадная толпа гостей еще не освоилась с местом. Невидимые музыканты где-то наверху настраивали инструменты. Несмотря на привычку к обществу, Муся испытывала смущение от нестройных звуков музыки, от симпатии и восхищения, которые она вызывала, от того, что она входила в зал одна. Вдруг у нее забилось сердце. Ей бросилась в глаза высокая фигура Клервилля. Он увидел ее и, изменившись в лице, поспешно к ней направился.

— Я сижу с вами? — спросил он по-английски. — Это необходимо...

Тот механизм кокетства, который работал в Мусе почти независимо от ее воли, должен был изобразить на ее лице удивленно-насмешливую ласковую улыбку. Однако на этот раз механизм не выполнил своей задачи. Муся растерянно кивнула головой. Клервилль, видимо, хотел сказать что-то очень важное. Но в эту секунду Мусю увидели **свои.** Здесь были Глаша, Никонов, Березин, Беневоленский, был и Витя, смертельно страдавший от своего пиджака, единствен-

ного на этот раз в зале. Витя все время с тоскливой надеждой смотрел на входивших: неужели никто, никто другой не окажется в пиджаке? Последний удар нанес ему Василий Степанович: он явился во фраке, который на тощей сутуловатой его фигуре сидел так, как мог бы сидеть на жирафе.

Среди своих Муся быстро успокоилась, страстно-радостное чувство не покидало ее, но ушло внутрь, все освещая счастьем. Теперь механизм работал правильно. Тон его работы означал: «Хоть и очень странно и забавно, что мы, **мы** оказались среди этих странных и забавных людей, но, если уж так, давайте развлекаться и в их обществе...» В этот тон не мог попасть один Клервилль. Он просиял, когда Муся пригласила его принять участие в поездке на острова.

— Да, мы будем ехать,— сказал он по-русски с волнением.

Князя Горенского в кружке на этот раз не было. Он явился с небольшим опозданием и привез тревожные известия. На окраинах города все усиливалось брожение. С минуты на минуту можно было ждать взрыва, выхода рабочих на улицу. Горенский даже решил по дороге в ресторан не сообщать там своих сведений, чтоб не волновать людей на празднике. Однако он не удержался и рассказал все еще в раздевальной. Его новости мигом облетели комнаты ресторана, но настроения отнюдь не испортили. Напротив, оно очень поднялось, хотя не все понимали, почему на улицу должны выйти именно рабочие.

— Ох, дал бы Господь! — сказал Василий Степанович, ежась в оттопыренной, туго накрахмаленной рубашке.— Не будете нынче говорить? — сказал он значительным тоном, который ясно показывал, что от речи князя на банкете кое-что могло и зависеть.

— Да, я скажу,— взволнованно ответил Горенский.

— Князь, при такой конъюнктуре ваша речь, я чувствую, может стать общественным событием,— сказал убежденно дон Педро.— Я жду ее со страстным нетерпением.

Послышался звонок, гул усилился. Двери банкетной залы растворились настежь.

— Ну, пойдем садиться, леди и джентльмены,— воскликнул весело Никонов, хватая под руку Сонечку Михальскую, хорошенькую семнадцатилетнюю блондинку, последнее приобретение кружка.— Милая моя, вы идете со мной, не отбивайтесь, все равно не поможет!

— А Марья Семеновна с кем сидит? — небрежно осведомился Витя.

— Разумеется, с Клервиллем,— ответила Глафира Генриховна.

На пороге банкетной залы показался озабоченный Фомин. Звонок продолжал звонить. Все направились к сто-

лам. При виде этих столов тревожное настроение сразу у всех улеглось — ни с какой революцией такие столы явно не совмещались.

Туш и рассаживание кончились, гости удовлетворили любопытство, где кто посажен, и обменялись по этому поводу своими соображениями. Вдоль стен уже шли лакеи. Фомин объяснял соседям, что он нашел компромисс между русским и французским стилем: будучи врагом системы закусок, он все же для оживления оставил водку и к ней назначил canapés au caviar[1]. Вместо водки желавшим разливали коньяк, по словам Фомина, столетний. Этот коньяк гости пили с особым благоговением. Витя сказал, что никогда в жизни не пил такого удивительного коньяка. Никонов заставил пить и дам.

В кружке сразу стало весело. Муся, к большому восторгу Клервилля, выпила одну за другой две рюмки. «Нет, кажется, было не очень смешно, — говорила себе она, вспоминая выход родителей (Муся побаивалась этого выхода). — Вивиан, во всяком случае, не мог найти это смешным... Да он только на меня и смотрел... Кажется, и платье ему понравилось», — думала она, с наслаждением чувствуя на себе его влюбленный взгляд. Никонов, бывший в ударе, сыпал шутками, его, впрочем, немного раздражал англичанин. Березин с равным удовольствием ел, пил и разговаривал. Витя тревожно себя спрашивал, как понимать слова этой ведьмы: «Разумеется, с Клервиллем». Глафира Генриховна делала сатирические наблюдения. Фомин то озабоченным хозяйским взглядом окидывал столы, гостей, лакеев, то, волнуясь, пробегал в памяти заготовленную им речь. Браун много пил и почти не разговаривал с соседями, изредка со злобой поглядывая на Клервилля и Мусю.

Обед очень удался, праздник шел превосходно. Речи начались рано, еще с médaillon de foie gras[2]. Вначале говорили присяжные поверенные, восхвалявшие адвокатские заслуги юбиляра. Это все были опытные, привычные ораторы. Они рассказывали о блестящей карьере Семена Исидоровича, упомянули о наиболее известных его делах, отметили особенности его таланта. Говорили они довольно искренно: над Семеном Исидоровичем часто подтрунивали в сословии, но большинство адвокатов его любили. Кроме личных врагов, все признавали за ним качества оратора, добросовестного, корректного юриста, прекрасного товарища. Прославленные адвокаты благодушно разукрашивали личность Кременецкого в расчете на то, что публика, вероятно, сама сделает должную поправку на юбилей, на вино, на превосходный обед. В этом они ошибались: большая часть публики все принимала за чистую монету; образ

[1] Булочки с икрой *(фр.)*.
[2] Паштет из гусиной печени *(фр.)*.

Семена Исидоровича быстро рос, приняв к десерту истинно гигантские размеры.

Ораторы говорили недолго и часто сменяли друг друга, так что внимание слушателей не утомлялось. Всех встречали и провожали аплодисментами. Семен Исидорович смущенно кланялся, обнимал одних ораторов, крепко пожимал руку или обе руки другим. Тамара Матвеевна, имя которой не раз упоминалось в речах, сияла бескорыстным счастьем. Лакеи едва успевали разливать по бокалам шампанское.

— Странный, однако, ученый, смотрите, как он пьет, — шепнула Никонову Глафира Генриховна, не поворачивая головы и лишь быстрым движением глаз показывая на Брауна. — Говорят, он умный, но он всегда молчит. Может быть, умный, а может быть, просто мрачный идиот. Я знаю из верного источника, что он человек с психопатической наследственностью.

— Нет, он молодчина! — сказал Никонов. — Он всегда пьет, как извозчик, и никогда не пьянеет.

— Не то что вы.

— Я! Пьян? А ни-ни!

— Дать вам зеркало? Глаза у вас стали маленькие и сладкие, — заметила уже громко Глафира Генриховна.

— Низкая клевета! У меня демонические глаза, это всем известно. Правда, Мусенька?.. Виноват, я хотел сказать: Марья Семеновна.

— Самые демонические, стальные глаза, — подтвердила Муся. — Прямо Наполеон! Но много вы все-таки не пейте, помните, что мы еще едем на острова.

— Да, на острова, — сказал Клервилль.

— И на островах тоже будем пить. Возьмем с собой несколько бутылок...

— О, да, будем пить.

— И выпьем за здоровье вашего короля... Он и сам, говорят, мастер выпить, правда?

На это Клервилль ничего не ответил. Он не совсем понял последние слова Никонова, но шутка о короле ему не понравилась. Муся тотчас это заметила.

— Господа, мы постараемся улизнуть после речи князя, — сказала она. — Как вы думаете, а? Ведь она самая интересная... Как и речь Платона Михайловича, — добавила Муся: ей хотелось в этот день быть всем приятной.

— Fille dénaturée[1], это невозможно, — возразил польщенный Фомин, отрываясь от мыслей о своей близящейся речи, — вы никак не можете улизнуть до ответного слова дорогого нам всем юбиляра.

— Ах, я и забыла, что будет еще ответное слово... Ничего, папа нас простит.

---

[1] Бесчувственная *(фр.)*.

— Да он и не заметит, ему не до нас, — сказал Березин.

За почетным столом председатель, старый знаменитый адвокат, постучал ножом по бокалу.

— Слово принадлежит Платону Михайловичу Фомину.

Муся энергично зааплодировала, ее примеру последовал весь кружок; рукоплескания все-таки вышли довольно жидкие — Фомина мало знали. Он встал, повернулся к Кременецкому и, криво улыбнувшись, заговорил. Фомин приготовил речь в том невыносимо шутливом тоне, без которого не обходится ни один банкет в мире.

— ...Личность глубокоуважаемого юбиляра, — говорил он, — столь разностороння и, так сказать, многогранна, что лично я невольно теряюсь... Господа, знаете ли вы, как зачастую поступают дети с дорогой, подаренной им игрушкой, сложный механизм которой зачастую превышает их способность понимания? Они разбирают ее на части и изучают отдельные кусочки (послышался смех; Семен Исидорович смущенно улыбнулся, Тамара Матвеевна одобрительно кивала головой). Так и нам остается разбить на грани многогранный образ Семена Исидоровича, который ведь тоже есть в своем роде, так сказать, произведение искусства. На мою долю, mesdames et messieurs, приходится лишь одна скромная грань большой фигуры... Милостивые государыни и государи, я вынужден сделать ужасное признание: господа, я ничего не понимаю в политике! (Фомин улыбнулся и победоносно обвел взглядом зал, точно ожидая возражений, — в действительности он считал себя тонким политиком.) Согласитесь, что это столь печальное для меня обстоятельство имеет, по крайней мере, одну хорошую сторону: оно оригинально! Ибо, как известно, политику понимают все... Но я, господа, будучи в некотором роде уродом, я лишен этой способности и потому лишен и возможности говорить о Семене Исидоровиче как о политическом мыслителе и вожде. Это сегодня сделает, господа, со свойственным ему авторитетом мой друг, князь Алексей Андреевич Горенский. Моя задача другая... Увы, господа, здесь я немного опасаюсь, как бы со стороны моих недоброжелателей не последовало возражение, то возражение, что я ничего не понимаю и в юриспруденции! (Он улыбнулся еще победоноснее, снова послышался смех; Никонов закивал утвердительно головою.) Господа, вы молчите, я констатирую, что у меня нет недоброжелателей! По крайней мере, я хочу думать, что ваше молчание не есть знак согласия!.. Как бы то ни было, я не намерен говорить о нашем глубокоуважаемом юбиляре и как об юристе — это уже сделали с несравненной силой и красноречием наши старшие товарищи и учителя. Моя задача скромнее, господа! Мое слово будет не о большом русском адвокате Кременецком, а о моем дорогом патроне, наставнике и, смею сказать, друге («Семе», — подсказал Нико-

нов, Фомин на него покосился), о моем старшем друге Семене Исидоровиче...

Так он говорил минут пятнадцать. Он говорил о Семене Исидоровиче как об учителе младшего поколения, о его дружеском, внимательном отношении к помощникам, о той работе большого адвоката, которой не видели посторонние: «О ней, — сказал Фомин, — кроме меня может судить только один человек в этой зале, и я не сомневаюсь, что мой дорогой коллега, Григорий Иванович Никонов, присоединяется к моим словам со всей силой убеждения, со всей теплотой чувства». («Впрочем, за здоровье его благородия», — пробормотал Никонов, изобразив на лице умиление и восторг.)

Со всей теплотой чувства, хотя и в почтительно-игривой форме, Фомин коснулся семейного быта Кременецких, сказал несколько лестных слов о Тамаре Матвеевне, о Марье Семеновне, в любви и преданности которых Семен Исидорович находит забвение от бурь юридической, общественной и политической деятельности, как успокаивается в тихой пристани после большого плавания большой корабль. О Мусе до Фомина не говорил никто. Раздались шумные рукоплескания. Неожиданно для самой себя Муся смутилась и покраснела. Как ни мучительны были потуги Фомина на шутливость и заранее подготовленные сердечные ноты, речь его имела успех. В ней было все, что полагалось: мост между двумя поколениями служителей прав, смена богатырям старшим, неугасимый факел, доблестно пронесенный, передаваемый молодежи Семеном Исидоровичем, и многое другое. На неугасимом факеле Фомин и кончил свою речь. Под громкие рукоплескания зала он прошел к середине почетного стола, обнялся с Семеном Исидоровичем и поцеловал руку сиявшей Тамаре Матвеевне, которая с искренней нежностью поцеловала его в голову. «Я так вас за все благодарю, дорогой!.. — прошептала она. Затем Фомин вернулся к своему месту, где к нему тоже протянулись бокалы. Один Браун выпил свой бокал, не дождавшись возвращения Фомина и даже до конца его речи.

— Чудно, чудно, — говорила Муся. — Каюсь, я не знала, что вы такой застольный оратор!..

— Да и никто этого не знал, — добавила Глафира Генриховна.

— Помилуйте, он уже светоч среди богатырей младших, — сказал Никонов. — Что будет, когда он подрастет!.. Дорогой коллега, разрешите вас мысленно обнять. Это было чего-нибудь особенного!

— Чего-нибудь особенного! — с жаром подтвердил Клервилль, чокаясь с Фоминым. Улыбки скользнули по лицам соседей. Витя сердито фыркнул: он не любил Фомина, а Клервилль, прежде очень ему нравившийся, теперь вызывал в нем мучительную ревность. Фомин, скромничая, благодарил, он не сразу мог вернуться к своему обычному

тону. Лакеи разливали по чашкам кофе и разносили ликеры.

— Ну, теперь остался главный гвоздь, речь князя Горенского, — сказала Глафира Генриховна.

— А вы знаете, князь волнуется. Посмотрите на него!..

— Его речь будет политическая и, говорят, очень боевая.

— Он докажет, что в двадцатипятилетии Семена Исидоровича кругом виновато царское правительство, — сказал Никонов. — Господа, на кого похож Горенский? Вы какой бритвой бреетесь? Вы, Витя, еще совсем не бреетесь, счастливец. А вы, милорд?.. — Клервилль посмотрел на него с удивлением. — Доктор, вы, наверное, бреетесь «жиллетом»?

— «Жиллетом», — подтвердил Браун, очевидно, без всякого интереса к следовавшему за вопросом пояснению.

— Ну, так вы знаете: на обертке бритвы печатается светлый образ ее изобретателя. Горенский — живой портрет мистера Жиллета. То же бодрое, мужественное выражение и то же сознание своих заслуг перед человечеством.

— Совершенно верно, я видела, — сказала, расхохотавшись, Муся.

— Очень верно, — подтвердил Клервилль.

За почетным столом опять постучали.

— Слово имеет Алексей Андреевич Горенский, — внушительно сказал председатель, для разнообразия несколько менявший свою фразу. Легкий гул пробежал по залу и тотчас затих. Настроение сразу изменилось, и улыбки стерлись с лиц. Князь Горенский встал, видимо, волнуясь и с трудом сдерживая волнение. В левой руке он нервно сжимал салфетку. Князь начал без обычного обращения к публике или к «глубокочтимому, дорогому Семену Исидоровичу».

XII

Князь Горенский пользовался в обществе репутацией превосходного, вдохновенного оратора. Все сходились на том, что особенность его красноречия заключается в богатом темпераменте. Горенский, веселый, остроумный и благодушный человек в обыденной жизни, совершенно изменялся, всходя на ораторскую трибуну. О чем бы он ни говорил, им неизменно овладевало сильнейшее волнение. Он редко готовил речь наперед и только набрасывал в нескольких словах ее общий план да еще иногда выписывал цитаты, о которых, впрочем, часто забывал в процессе речи. Не заботился он и о литературной форме, предоставляя полную свободу падежам, родам, числам; иногда и отдельные слова у него выскакивали довольно неожиданные. Но большинство слушателей этому не улыбались: волнение оратора, его мощный, с надрывом голос, резкая, энергич-

ная манера — все это обычно заражало аудиторию, особенно слушавшую его впервые. В Государственной думе, где князь выступал часто, и свои, и чужие не всегда очень внимательно его слушали. Горенский принадлежал к умеренно-либеральной партии, но ее основную линию нередко обходил то справа, то слева. Глава партии, тот самый, который уклонился от выступления на юбилее Семена Исидоровича, несколько опасался речей своего младшего товарища. Вождь либерального лагеря, человек чрезвычайно умный, проницательный и опытный, очень хорошо разбирался в людях и знал каждому из друзей и врагов настоящую человеческую цену. Но свое мнение он обычно держал про себя, а в общественной жизни принимал и расценивал людей исключительно по их идейным ярлыкам. При этом неизбежны бывали ошибки, однако в общем счете он признавал такую расценку наиболее верной, простой и целесообразной. В огромном, все разраставшемся партийном хозяйстве нужны были или, по крайней мере, могли пригодиться безупречный ярлык князя, его совершенная порядочность, его знатное имя и связи в земских, аристократических гвардейских кругах. Однако вождь партии считал Горенского человеком без царя в голове и всегда с неприятным чувством удивлялся успеху, выпадавшему на долю речей князя.

Муся от волнения, от выпитого вина не сразу сосредоточилась и не расслышала первых слов Горенского. Вначале она только смотрела на него в упор. Затем Муся напрягла внимание и стала слушать.

— Да, прав был Фомин, — говорил князь, — тысячу раз прав был Фомин (Горенский произносил эту фамилию с непонятным надрывом, как-то: Ф-фами-ин), утверждая, что в лице юбиляра русская общественность... чтит не только большого адвоката, но и большого общественного деятеля, одного из своих идейных руководителей! Как часто нам, волей судьбы профессиональным политикам... в бурях и тревогах повседневной политической... каши (князь употребил это существительное, не найдя в волнении другого) приходилось и приходится на него с тревогой оглядываться!.. Как часто, принимая то или иное решение, нам приходилось и приходится себя спрашивать: а что скажет на это Семен Сидорович? И всякий раз, когда мы узнавали, что Семен Сидорович нас одобрил... что он с нами, — радостно вскрикнул князь так громко, что Муся невольно вздрогнула, — ...точно камень скатился с горы... с души!.. Его разумное, мудрое слово имело для нас огромное, часто решающее значение... Он стоял под грозою, как непоколебимый кряжистый дуб...

Характеристике Семена Исидоровича Горенский посвятил начало своей речи. Юбиляр тихо, застенчиво улыбался, опустив голову. Раскрасневшаяся Тамара Матвеевна мле-

ла от восторга. «Как все-таки человеку не стыдно!» — думал начинавший злиться Никонов.

— ...Господа, кто из нас теперь ежедневно не вспоминает проникновенных слов поэта: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Его призвали Всеблагие, как собеседника на пир...» Нам, господа, дано было стать зрителями и участниками одной из самых роковых минут... быть может, самой роковой минуты в истории рода человеческого. Нам довелось приобщиться к титанической борьбе за право и свободу! Быть может, впервые в истории... столкнулись с такой силой два начала, Ормузд и Ариман. Германский милитаризм бронированным кулаком... наступил на маленькую Бельгию. Сила поставила себя выше права!.. Но зло, господа, пробуждает добро. Против права силы мощно поднялась сила права! На борьбу с чертополохом грубой солдатчины выступила лучшая часть человечества! Она погибнет или восторжествует! Ибо третьего не дано, не дано историей, господа! Рука об руку с англо-саксонской, с латинской расой довелось подняться на величайшую борьбу и нам, русским. Но, господа, господа! — вскрикнул он с яростью. — Надо заслужить... заслужить!.. Моральное право участвовать... в святом деле освободительной борьбы за право! И этого права мы, увы, не имеем, не имеем не по нашей вине!..

Князь обладал замечательной способностью произносить фразы, которые все тысячу раз читали в газетах, совершенно так, как если бы они только что впервые зародились у него в голове и еще никому не были известны. Лицо Горенского побагровело. Слова о бронированном кулаке он бросил с чрезвычайной силой. Раздались бурные рукоплескания, затем снова настала напряженная тишина. Смысл этой части речи князя заключался в том, что в то время, как Семен Исидорович сразу разобрался в борьбе Ормузда с Ариманом и занял в ней надлежащую позицию, на сторону Аримана стала звездная палата и камарилья. Прогнившая насквозь власть бросила вызов всему народу русскому, в частности, рабочему классу, требующему со всей силой убеждения новой энергии, новых путей, новых методов войны за освобождение народов!

Зал затрясся от рукоплесканий. Горенский вытер лоб платком и остановился, глядя на слушателей налитыми кровью глазами. Рукоплескания всегда его пьянили. За минуту до того он еще не знал, что скажет дальше. Теперь речь его потекла свободно. Слова о народе русском (он в речах для красоты слога обычно ставил прилагательное после существительного) неожиданно дали ему возможность попутно набросать характеристику русской души. Он высказал мысли о русском народе как о носителе идеи вечной правды, которую лишь бессознательно чувствовал серый русский мужик и которую за него выражали его духовные вожди, в том числе Семен Исидорович.

— ...Да, господа, эта «святая серая скотинка» медленной, тяжелой, но упорной тропою... идет к тем же высшим началам права и справедливости... к каким во всеоружии опыта гражданственности... несутся англо-саксонская и латинская расы. И кто знает, господа, не суждено ли нам их опередить? Я верю, господа, в прыжок из царства необходимости в царство свободы! Больше того, господа, с риском быть обвиненным в утопизме я не верю вообще в царство необходимости! Человечество властно кует свое будущее!.. Господа, я верю только в царство свободы!

Рукоплескания гремели все чаще. Теперь их вызывала почти каждая фраза. Муся аплодировала изо всей силы. От нее не отставали другие. В кружке презирали политику, но на этот раз все были взволнованы. Витя восторженными глазами уставился на оратора. Горенский уже с трудом связывал фразы. Он задыхался. Из дверей на него с испугом смотрели лакеи. За дверьми толпились люди.

— ...Господа!.. Имеющий уши да слышит!.. Но эти слепцы явно не слышат!.. Господа, в эти трагические дни... да будет повторено слово великого писателя земли русской: «Не могу молчать»!.. Да, господа, есть минуты, когда молчать — преступление, которого не простит нам потомство, как не простит народ русский!.. Выйдите на окраины города!.. Взгляните, взгляните же вокруг себя!.. Переполняется вековая чаша терпения народного!.. Приходит позорный конец миру кнута и мракобесия!.. Завтра, может быть, уже будет поздно! Господа, Ахерон выходит на улицу!.. Нет, не аплодируйте, — вскрикнул князь, подняв руку, — вы не смеете аплодировать! Завтра, может быть, прольется кровь!.. (Рукоплескания мгновенно оборвались.) Господа, никто из нас не знает, что его ждет. Но в эти жертвенные дни да будет же девиз наш: Sursum corda![1] Господа, имеем сердца горé! Вершины духа человеческого с нами!.. С нами люди, подобные Семену Сидоровичу... С нами и те, кто выявляет во вдохновенном творчестве тончайшую духовную эманацию толщ народных! Господа, в эти дни обратимся мыслью к нашим провидцам! Писатель, который со всей справедливостью может быть назван совестью народа русского, из толщи и крови которого он вышел, — я назвал Максима Горького (несмотря на просьбу оратора, загремели долгие рукоплескания)... — писатель этот во вдохновенном прозрении своем пророчески воспел... грядущий, близящийся Ахерон.

Князь поднял с тарелки лист бумаги.

— Вы помните, господа, дивную аллегорию Горького? Птицы ведут между собой беседу... Здесь и солидная пуганая ворона, и действительный статский снегирь, и почтительно-либеральный старый воробей, птица себе на уме, которая тихо сказала: «Да здравствует свобода!» и тотчас

[1] Откройте сердца! *(лат.)*

громко добавила: «В пределах законности!» (Послышался смех...) И этим, с позволения сказать, пернатым — имя же им легион в трижды печальной русской действительности — грезится вдохновенный образ другой птицы... Слушайте!

Он развернул листок и, из последних сил справляясь с дыханием, прочел с надрывом в громовом голосе:

— «Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает.

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют.

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!»

Князь Горенский отступил на шаг назад и бросил на стол салфетку. Зал стонал от рукоплесканий. Все повставали с мест.

Браун незаметно прошел к выходной двери.

XIII

— Что ж, пообедали? — спросил он, входя в кабинет Федосьева. — Я думал, вы давно кончили и ушли...

— Кончаю. Вас поджидал, мне торопиться некуда. Вы пили кофе?

— Пил.

— Выпейте еще со мною. Я и чашку лишнюю велел подать в надежде, что вы зайдете. Для меня готовят особый кофе... Вот попробуйте. — Он налил Брауну кофе из огромного кофейника. — Предупреждаю, заснуть после него трудно, но я и без того плохо сплю... Если выпить на ночь несколько чашек такого кофе, можно себя довести до удивительного состояния. Тогда думаешь с необычной ясностью, видишь все с необычной остротой. Мысли скачут как бешеные, все несравненно яснее и тоскливее дневных.

— Да, я это знаю, — сказал Браун. — В пору этакой ночной ясности мыслей очень хорошо повеситься.

— Очень, должно быть, хорошо... Интересные были речи на юбилее?

— Ничего... Я, впрочем, не слушал... Кофе действительно прекрасный.

— Я немного знаю Кременецкого, — сказал, улыбаясь, Федосьев. — Разумеется, любой столоначальник имеет пра-

во на юбилей после двадцати пяти лет службы, однако мне не совсем понятно, почему именно этот **праздник революции** так у вас раздувается. Ведь Кременецкий — второй сорт?

— Третий. Но юбилейное красноречие, как и надгробное, никого ни к чему не обязывает. Вы что ж, принимаете всерьез и некрологи?

— Поверьте, публика все принимает всерьез.

— Вы думаете? Возможно, впрочем, что в этом вы и правы. Если у нас в самом деле произойдет революция, то главные неприятности могут быть от смешения третьего сорта с первым. Несчастье революций именно в том и заключается, что к власти рано или поздно приходят люди третьего сорта, с успехом выдавая себя за первосортных. В этом они легко убеждают и историю, ее даже, пожалуй, всего легче... Но ведь и вы, собственно, всех валите в одну кучу. Нетрудная вещь ирония. И нетрудное дело обобщение. «Праздник революции»? Нет, все-таки не революции, а того пошлого, что в ней неизбежно, как оно неизбежно и в контрреволюции. Герцен — революция, и Кременецкий — революция. Но, право, Герцен за Кременецкого не отвечает. Говорят о пропасти между русской интеллигенцией и русским народом — общее место. По-моему, гораздо глубже пропасть между вершинами русской культуры и ее золотой серединой. На крайних своих вершинах русский либерализм замечательное явление, быть может, явление мировое. А на золотой середине... — Он махнул рукой. — И «Фауста» подстерегло оперное либретто... Что до низов... Волей судьбы вершины нашей мысли сейчас указывают то самое, чего хотят низы, и это наше счастье. Но, может быть, так будет недолго, связь ведь, в сущности, случайная, и это наше несчастье. Иными словами, вполне возможно, что в один прекрасный день низы нас с нашими идеями пошлют к черту. А мы их.

— Непременно так и будет. Только вы их пошлете к черту фигурально, а они вас без всяких метафор.

— Не радуйтесь, то же самое и в вашем лагере. Чем грубее идеология, тем легче ее приукрасить. Так Сегантини посыпал золотой пылью краски на своих «Похоронах». Невыгодный прием: золото от времени почернеет, картина потеряет репутацию.

— Нашей картине и терять нечего. Репутация у нее твердая.

— Я этого не говорю. В области чистого отрицания русская реакционная мысль достигла большой высоты. Но только в этой области. Зато, когда вы начинаете умильно изображать человека с положительными идеалами, у меня всегда впечатление странное, вот как в старых повестях, когда писатель так же умильно изображает, что думает кошечка или о чем переговариваются между собой березки... Бросьте вы, право, «созидание»...

— Что ж, для созидания вы придете нам на смену, — сказал Федосьев. «Очень сегодня разговорчив, — подумал он. — И, по обыкновению, отвечает больше самому себе, чем мне... Опять придется издалека начинать, надоели мне философские беседы. А пора, давно пора довести до конца этот глупый разговор... Но как? Ох, театрально...» — Разрешите налить вам еще чашку... Я говорю, **вы** придете, в самой общей форме: вы, левые. Личные ваши взгляды мне, как я уже вам говорил, весьма не ясны, — добавил он полувопросительно, глядя на необычно оживленное бледное лицо Брауна.

— Личные мои взгляды?.. Гете на старости как-то сказал Эккерману: «Со всем моим именем я не завоевал себе права говорить то, что я на самом деле думаю: должен молчать, чтоб не тревожить людей. Зато у меня есть и небольшое преимущество: я знаю, что думают люди, но они не знают, что думаю я...» Цитирую, вероятно, не буквально, однако довольно точно передаю мысль Гете. Так вот, — добавил он, заметив насмешку в глазах Федосьева, — то Гете в семьдесят пять лет, на вершине мировой славы. Куда ж нам, грешным, соваться, если бы даже и было что сказать!

— Да ведь очень трудно удержаться, Александр Михайлович, хочется иногда сказать и правду. Разумеется, вредишь прежде всего самому себе — что ж, за удовольствия всегда приходится платить. Ничего не поделаешь. Верно, и Гете не всегда следовал своему правилу... Я, кстати, не знал этой его мысли. Надо будет перечитать на досуге Гете. Благо досуга у меня теперь достаточно.

— Как же вы это переносите?

— Солгал бы вам, если бы сказал, что я очень доволен. Но выношу гораздо лучше, чем думал. Я думал, будет совсем плохо... Знаете, в известном возрасте человек должен начать заботиться — ну, как сказать? — о зацепках, что ли... Какую-нибудь надо придумать зацепку, чтоб поддержать связь с жизнью. Лет до сорока можно и так прожить, а потом становится трудно. Нужно обеспечить себе для отступления заранее подготовленные позиции... Начиная с пятого десятка человек и морально растрачивает накопленное добро. У большинства людей есть семья — самая простая и, вероятно, самая лучшая зацепка. Но я человек одинокий, а другими зацепками не догадался себя обеспечить, когда еще было можно.

— Я в таком же точно положении... Положительно, мы очень похожи друг на друга, — добавил Браун, неприятно улыбаясь, — все больше в этом убеждаюсь.

— Немного похожи, правда, я очень польщен. Однако положение наше разное. У вас есть наука, вы «Ключ» пишете...

— Вот, поверьте, плохое утешение.

— Неужели? — Федосьев с любопытством взглянул на Брауна. — Я думал, утешение немалое. Подвинулся «Ключ»?.

— Нет, не подвинулся.

— Очень сожалею как читатель. Но вы можете к нему вернуться... А у меня нет ничего, — медленно, точно с удовольствием проговорил Федосьев. — Ничего! Пробовал было читать астрономию, казалось бы, лучше чтения нет. Прочтешь, например, о спиральных туманностях, что в них около миллиона миров, что луч света идет от них к нам, кажется, двести тысяч лет. Ведь это должно очень убавить интереса к земле, к политике, к жизни — не говорю, к собственной, но хоть к чужой. А вот, что поделаешь, не убавляет. Откроешь после астрономии газету — и где твоя новая мудрость? Неприятное назначение по министерству так же бесит, как если б не читал о спиральных туманностях.

— Нет, здесь никакая астрономия не поможет. Вы теперь вроде тех «лишних людей», о которых так сокрушались наши беллетристы, точно не все люди лишние... А сознайтесь, все-таки неприятно быть не у дел, с астрономией и без астрономии, — сказал Браун, он как бы задирал Федосьева. — Так, я думаю, писатель, которому вернули рукопись или которого изругали критики, считает себя **гонимым чернью.**

Федосьев засмеялся.

— Охотно сознаюсь.

— Казалось бы, незачем огорчаться. Невелика ведь радость быть политическим деятелем. Всю жизнь вас ежедневно враги поливают грязью, а друзья больше молчат, да и чаще всего не так уж за вас огорчаются. Раза два в жизни, в юбилейные дни, вас славословят, радости от этого тоже немного; вот и Кременецкого славословили не хуже. Да еще в день ваших похорон противники «отдают должное», «обнажают голову», и тоже плоско, и не без колкостей. Надо иметь огромный запас искреннего презрения к людям, чтобы, занимаясь профессионально политикой, долго на его счет жить. Необходимо также запастись большой долей снисходительности к самому себе. Это если говорить теоретически. А на практике у больших политических деятелей, кажется, ничего такого нет, а есть чаще всего природная и благоприобретенная толстокожесть, да еще, как ни странно, разливанное море благодушия. Я всегда любуюсь, какие они все оптимисты! Ведь для меня оптимизм и глупость нечто вроде синонимов... Нет, что и говорить, политика — ремесло среднее. Но вот, подите же, ничто так не влечет людей, даже у нас, где ванны из помоев обычно не компенсируются удовольствиями власти. А вы, реакционеры, хотите бороться с этим повальным запоем! Вы, в сущности, запрещаете политическую борьбу, то есть рассчитываете закрыть людям доступ к самой увлекательной

из игр. Вы, господа консерваторы, мечтатели и утописты похуже юношей революционеров.

— А если бороться не для чего? — в тон Брауну спросил Федосьев. — Вдруг у нас такая умная, благородная, проницательная власть, которая как раз все то и делает, что нужно России? Не лучше ли тогда оттеснить немного юношей? Пусть в самом деле выберут себе какую-либо другую, более безобидную игру — свет на политике не клином сошелся.

— Утописты, — повторил Браун. — В цивилизованных странах нарочно организуют для народа такие игры. Люди и тогда заранее придумывают, на чем бы им разойтись, а затем, выдумав, дают страстный бой друг другу...

— Стилизация в устах левого человека неожиданная, — сказал Федосьев. Он позвонил. — Меня, впрочем, трудно удивить и скептицизмом, и пессимизмом. Когда я читаю, как левые ругают правых, я думаю: совершенно верно, но мало, стоило бы ругнуть их хуже. А когда я читаю, как правые ругают левых, я думаю приблизительно то же самое. Правительство наше и наша общественность напоминают мне ту фигуру балета, когда два танцовщика, изображая удалых молодцов, с этаким задорным видом, с самой хитрой победоносной улыбкой то наскакивают друг на друга, то вновь отскакивают, подняв ручку и этак замысловато семеня ножками. Меня эта фигура и в балете всегда очень смешила. Ну, а если подумать, что здесь не удалые молодцы, а беспомощные калеки так весело изображают ухарей!.. Скоро Мальбруки сойдутся, будет «сильно комическая, тысяча метров, гомерический хохот в зале»... Кровавый водевиль, но водевиль.

— С высоты орлиного полета обе стороны, конечно, равны и крошечны. Но вы обладаете способностью видеть во вражеском лагере только то, что вам видеть угодно... Я скажу, как Мария-Терезия, некрасивая жена Людовика XIV. Когда ей представляли новых людей, она им объясняла: «Смотреть надо не сюда, — показывала на свое лицо, — а сюда», — показывала на свои бриллианты. Вы не видите бриллиантов «освободительного движения».

— Полноте, какие уж тут бриллианты... Я, впрочем, готов допустить, что демократическая лавка выше, то есть лучше знает, как вербовать клиентов. Вот и настоящие лавочники очень хорошие психологи. Они не скажут в объявлении: продается сукно, скажут: **оставшееся** сукно продается. И цену назначат не рубль, а непременно девяносто пять копеек — так покупателю приятнее: все же не полный рубль... «Война до полной победы, с наименьшим количеством жертв», — со злобой произнес Федосьев. — Правда, хорошо? Оставшееся сукно и крайне дешево, девяносто пять копеек аршин... Счет, — сказал он вошедшему лакею. — А все-таки люди много столетий жили гораздо спокойнее, когда этот клапан был умной властью закрыт

наглухо. Скажу вам больше: современный государственный строй во всех странах света в такой степени основан на обмане, угнетении и несправедливости, что всякая, даже самая лучшая власть, заботящаяся о «поднятии политической самодеятельности и критической мысли масс», — кажется, так у вас говорят? — тем самым собственными руками готовит свою же гибель. Это не всегда заметно, но только потому, что процесс постепенного самоубийства весьма длителен.

— Разрешите теперь мне сказать: стилизация в устах правого человека неожиданная. Но мы терпимее вас.

— Ах, ради Бога, не говорите о терпимости: для нее существуют особые дома, как сказал какой-то французский дипломат... Так что же было на банкете? Кто говорил? Горенский? Верно, о том, что проклятое правительство вопреки воле армии собирается заключить сепаратный мир.

— Кажется, говорил и об этом.

— Дурак, дурак, — с сокрушением сказал Федосьев. — Солдаты в нашей армии, да и во всех воюющих армиях спят и во сне видят мир — общий, сепаратный, какой угодно... Если не все, то девять десятых. Разумеется, не высшее офицерство, оно и в мирное время мечтает о войнах, как же может быть иначе? Возьмите какого-нибудь Гинденбурга — кто бы он был, не случись война? Заурядный, никому не известный генерал в отставке. А теперь национальный кумир! Как же им не желать войны? Но другие!.. Если б князек хоть лгал, лгал по демагогическим мотивам! Нет, он возмущается совершенно искренно. А катастрофа именно в том, что правительство наше не хочет заключить мир. Поверьте, камарилья думает о коварном германце совершенно так же, как князь Горенский. Я эту камарилью, слава Богу, знаю, вот где она у меня со своей политикой сидит!

— Да, может, он именно вас имел в виду.

— Полноте, я человек маленький и вдобавок отставной.

— Уж будто вы не рассчитываете вернуться к власти?

— К власти? — удивленно переспросил Федосьев. — Помилуйте, какое уж там возвращение к власти! Революция — дело ближайших месяцев... Ну, а ваши планы каковы, Александр Михайлович? — спросил он, меняя сразу и разговор, и тон.

— Трудно теперь делать планы. До конца войны буду заниматься тем же, чем занимаюсь теперь.

— Противогазами?

— Да, химическим обслуживанием фронта.

— Но разве вы точно для этого сюда приехали?.. Только для этого? — поправился Федосьев.

В эту минуту издали донеслись рукоплескания. Лакей вошел со счетом. Федосьев приподнял с подноса листок, бегло взглянул на него и расплатился.

— Вы как, располагаете временем? — обратился он к Брауну, повышая голос (рукоплескания все росли). — Еще посидим или пойдем?

— Я предпочел бы пройтись. Мне трудно долго сидеть на одном месте.

— Это, не в обиду вам будет сказано, считается в медицине признаком легкого душевного расстройства, — сказал весело Федосьев. — У меня то же самое.

Семен Исидорович подготовил заранее свое ответное слово, но во время банкета, слушая речи, решил кое-что изменить. Он не хотел было касаться политических тем, чтобы не задевать людей другого образа мыслей, которые, правда, в незначительном меньшинстве присутствовали на банкете. Однако теперь Кременецкий ясно чувствовал, что не откликнуться вовсе на речь князя Горенского невозможно. У него сложился план небольшой вставки. В ее основу он положил ту же антитезу начал Ормузда и Аримана в русской общественной жизни. Но, как на беду, Семен Исидорович забыл, какое именно начало воплощает Ормузд и какое Ариман. Эту трудность можно было, впрочем, обойти, строя фразы несколько неопределенно. Несмотря на весь свой ораторский опыт, Семен Исидорович волновался. Он и впитывал в себя с жадностью все то, что о нем говорили, и вместе желал скорейшего конца чужих речей, так ему хотелось говорить самому. Имея привычку к банкетам, перевидав на своем веку множество юбиляров, Кременецкий, несмотря на усталость и волнение, вел себя безукоризненно: застенчиво улыбался, ласково кивал головой жене, Мусе, друзьям, в меру пил, в меру переговаривался с соседями, а во время речей слушал ораторов с особенно застенчивой улыбкой, опустив голову; он твердо знал по книгам, что люди от смущения всегда опускают голову. Волнение его, однако, росло. В ту минуту, когда председатель дал слово глубокоуважаемому юбиляру, раздались «бурные аплодисменты, перешедшие в настоящую овацию», так написал на полоске бумаги дон Педро, спешно готовивший газетный отчет об юбилее. Кременецкий встал и, бледный, долго раскланивался с гремевшим рукоплесканиями залом. Он еще волновался, но уже вполне ясно и радостно чувствовал, что скажет вдохновенную речь.

Браун долго ждал в коридоре лакея, посланного за шубой. Федосьев, выйдя из кабинета, исчез. Дверь зала теперь была растворена настежь. Перед ней на цыпочках теснились несколько посторонних посетителей побойчее. Браун подошел к двери.

— ...О, я не заблуждаюсь, господа, — говорил Семен Исидорович. — Я прекрасно понимаю, что в моем лице чествуют не меня или, разрешите сказать, не только меня, а те идеи, которым...

Лакей подошел к Брауну с шубой.

— Их превосходительство велели сказать, что ждут на улице,— прошептал он. Браун кивнул головою.

— ...И буду, как каждый рядовой, в меру скромных сил служить своему знамени до последнего издыхания! До «ныне отпущаеши», господа!

Зал снова задрожал от рукоплесканий.

XIV

Снег светился на мостовой, на крышах домов, на ограде набережной, на выступах окон. Розоватым огнем горели фонари. Облака, шевеля щупальцами, ползли по тяжелому, бесцветному, горестному небу. На страшной высоте, неизмеримо далеко над луною, дрожала одинокая звезда. Ночь была холодна и безветренна.

В веренице экипажей, выстроившихся у подъезда ресторана, маскарадным пятном выделялись две тройки. Редко, нерешительно и неестественно звенел колокольчик. Слышался невеселый, злобный смех. Извозчики разочарованно-презрительно смотрели на вышедших господ. Браун и Федосьев шли некоторое время молча. «Теперь, или уж не будет другого случая,— подумал Федосьев.— Грубо и фальшиво, но надо идти напролом...»

— Хороша ночь,— сказал Браун, когда они перешли улицу.

— И не очень холодно.

— Ну, и не тепло...

— Так как же, Александр Михайлович, вы все не имеете известий от вашей ученицы, Ксении Карловны Фишер? — спросил Федосьев, подчеркивая слова «так как же», явно не вязавшиеся с содержанием всего их разговора.

— Нет, не имею никаких,— ответил не сразу Браун.— Вы второй раз меня о ней спрашиваете,— добавил он, помолчав.— Почему она, собственно, вас интересует?

— Да так. Не столько интересует, сколько интересовала... Меня очень занимает дело об убийстве ее отца... Ведь вы не думаете, что его убил Загряцкий? — спросил Федосьев.

— Мне-то почем знать?

Федосьев помолчал.

— По-моему, не Загряцкий убил,— сказал он.

— Почему вы думаете? Кто же?

— Вот то-то и есть — кто же?

Голос его звучал намеренно странно.

— Я слышал, что против Загряцкого серьезных улик не оказалось,— сказал опять не сразу Браун.— Ведь дело направлено к доследованию.

— Да... Кажется, теперь следствие предполагает, что убийство имеет характер политический.

— Неужели?.. Значит, это по вашей части?

— Прежде действительно было по моей части, но тогда следствие еще думало иначе... Символическое дело, правда.

— Отчего символическое?

— Разве вы не чувствуете? Объяснить трудно.

— Не чувствую... Вам бы, однако, следовало найти и схватить преступника.

— Да вы все забываете, Александр Михайлович, что я теперь в отставке. Притом, скажу правду, это меня теперь меньше всего интересует.

— Почему?

— Почему? Потому что в ближайшее время в России хлынет настоящее море самых ужасных преступлений, из которых почти все, конечно, останутся совершенно безнаказанными. Странное было бы у меня чувство справедливости, если б я уж так горячо стремился схватить и покарать одного преступника из миллиона. Нет, у меня теперь к этому делу чисто теоретический интерес. Вернее, даже не теоретический, а как бы сказать?.. Да вот, бывает, прочтешь какую-нибудь шараду. Вам, по существу, глубоко безразличны и первый слог, и второй слог, и целое, а попадется вам такая шарада, можно сна лишиться. Эта же шарада, вдобавок, повторяю, символическая.

— Как вы сегодня иносказательно выражаетесь!

— Наша профессиональная черта, — пояснил, улыбаясь, Федосьев. — Ведь в каждом из нас сидят Шерлок Холмс и Порфирий Петрович... Кстати, по поводу Порфирия Петровича, не думаете ли вы, что Достоевский очень упростил задачу своего следователя? Он взвалил убийство вместе с большой философской проблемой на плечи мальчишки-неврастеника. Немудрено, что преступление очень быстро кончилось наказанием. Да и свою собственную задачу Достоевский тоже немного упростил: мальчишка убил ради денег. Интереснее было бы взять богатого Раскольникова.

«Хорошо напролом! О Достоевском заговорил», — подумал он, с досадой ощущая непривычную ему неловкость.

— Может быть, было бы интереснее, но от житейской правды было бы дальше, — ответил Браун. — Скажу по собственному опыту: из всего того зла, горя, несчастий, которые я видел вокруг в жизни, наверное, три четверти так или иначе имели первопричиной деньги.

— Какая тут статистика! Во всяком случае, в моей бывшей профессии я этого не наблюдал... Мне обо всем этом поневоле приходилось думать довольно много. Ведь одна из моих задач, собственно, заключалась в том, чтобы перевоплощаться в них, революционеров. Разновидность этой задачи, частная и личная, но не лишенная интереса, сводилась к следующему вопросу: как бы я поступал, ес-

ли б главная цель моей жизни заключалась в том, чтобы убить Сергея Васильевича Федосьева?

— Правда? Это, должно быть, хорошая школа.

— О да, прекрасная: жить изо дня в день, вечно имея перед собой этот вопрос, зная, что от верного его разрешения зависит то, разорвут ли тебя бомбой на части или не разорвут... Это, разумеется, предполагало и многое другое. В самом деле, перевоплощаясь в революционера технически, я не мог отказаться от соблазна некоторого психологического перевоплощения. Тогда вопрос ставился так: почему мне, революционеру Икс, страстно хочется убить Сергея Федосьева?

— Я думаю, этот вопрос мог повлечь за собой интереснейшие заключения, — вставил Браун. — Федосьев, разоблаченный Федосьевым...

— Так вот, видите ли, денежные побуждения не могли играть особой роли в действиях революционера Икс. Трудно мне было объяснить целиком его действия и побуждениями карьеры: рискованна карьера террориста, многие обожглись... Само собой, Иксы бывали разные. Для иных несмышленышей вопрос, может быть, и в самом деле ставился очень просто: Сергея Федосьева надо убить, потому что он изверг и палач народа. Или: Сергея Федосьева надо убить, потому что так приказали мудрые члены Центрального комитета. Мы-то с вами, слава Богу, знаем, что эти святые и гениальные люди за столиками в парижских и женевских кофейнях почти одинаково озабочены тем, какого бы к кому еще подослать убийцу, и тем, где бы перехватить у буржуя на кабачок сто франков сверх полагающегося обер-убийцам партийного оклада. Но несмышленыши этого не знают. Центральный комитет вынес боевой приказ, чего ж еще! — Он весело засмеялся. — Удивительно, как засела в душе у этих «свободных людей», «антимилитаристов», обличителей «грубой солдатчины» самая пышная военная терминология. У них все: бой, знамя, победа, дисциплина, тактика. Прямо юнкера какие-то! Они и партию себе выбирают, как другие юноши полк: по звучности названия, по красоте идейного мундира... Но это случай менее интересный.

— А более интересный какой?

— Более интересный вот какой, — сказал медленно Федосьев. — Я представляю себе революционера, не мальчика-несмышленыша, а пожившего, умного, очень умного человека с душой, скажем поэтически, несколько опустошенной. Такие революционеры в истории бывали, хоть и не часто. Я бы сказал даже, что это не профессионал революции, а человек, изведавший другое, очень многое взявший от жизни, хорошо ее знающий, хорошо знакомый и с так называемыми правящими классами. Мне ведь о красоте правящих классов говорить не надо, имею о них твердое мнение... Жизнь этому человеку очень надоела, его

кривая начинает опускаться... Изведано, испробовано почти все. Что делать? Где взять силу и терпение, чтобы жить? В былые времена такие люди отправлялись в новые земли с разными Кортесами и Пизарро; у нас позднее шли воевать на Кавказ. Теперь новых земель больше нет. Кавказ завоеван, а окопная война скучнее скучного. В Америке, например, таким людям совершенно нечего делать, прямо хоть в Ниагару бросайся. Но в Европе — у нас в особенности — судьба послала им в последний подарок революцию. Ведь романтика конспираций, восстаний, террора пьянит — увы! — не только мальчишек. Для современного Пизарро, прямо скажу, нет лучше способа «возродить себя к новой жизни». А если для этого, например, нужно отправить к праотцам такого злодея, как Сергей Федосьев, то уж, конечно, грех был бы стесняться. Этот спорт очень захватывает, Александр Михайлович. Ведь революционный Пизарро, должно быть, так же перевоплощается в меня, как я перевоплощаюсь в него. Выслеживает он меня — ощущение, из подворотни прокрадывается к моему автомобилю — жгучее ощущение, наконец выстрел, грохот снаряда — сильнейшее ощущение... Вообще для современного человека с душою Пизарро только две, в сущности, и остались карьеры: революционная — и моя.

Он остановился и поднял бобровый воротник шубы, глядя с усмешкой на Брауна, который внимательно его слушал. Они стояли у моста над Зимней канавкой. По Миллионной длинным ровным рядом мерцали желтые огни. Два высоких фонаря по сторонам от Эрмитажного подъема заливали дрожащим светом фигуры каменных гигантов с заломленными за голову руками. Впереди на белом поле темнела тень колоссального дворца. Свет луны играл на снежной пелене Зимней канавки. За нею справа делился матовыми пятнами бесконечный синеватый простор, где-то далеко мигавший разбросанными огоньками.

— А если Пизарро гурман, — сказал Федосьев тоном вместе и вкрадчивым, и грубым, — то он бомбы и браунинги предоставит светлой молодежи. Сам Пизарро сумеет сблизиться с тем человеком, жизнь которого мешает народному счастью, будет дружелюбно с ним беседовать и в нужный момент «за чарой вина» возьмет и подольет ему белладонны...

— Да, может быть, — сказал Браун, глядя вниз через перила моста. — Мы как пойдем, по Мойке или по Морской? В «Палас» Мойкой, пожалуй, ближе.

— Как хотите, — ответил Федосьев, скрывая разочарование. — По-моему, всего приятнее прямо, к Александровскому саду.

Они пошли цепью прекраснейших в мире площадей. Облака рассеялись, в небе появились бледные звезды. Верх колонны печально поблескивал голубоватым светом. В строгом полукруге штаба кое-где светились окна. По-

средине гигантского полукруга таинственно чернело отверстие арки. У горевшего багровым пламенем костра городовой подозрительно оглядел прохожих. Мимо них пронеслась длинная тень, низкие сани быстро проскрипели полозьями по твердому снегу. Лихач придержал рысака, вопросительно оглянулся на господ и понесся дальше.

— Так вы думаете, что Фишера отравил какой-нибудь революционный Пизарро? — спросил после долгого молчания Браун.

— Это допустимая рабочая гипотеза. Дочь Фишера участвует в революционном движении, всей душой ему предана. Она наследница богатства отца. У ее друзей возникает мысль: хорошо было бы помочь умереть Фишеру. Мысль на первый взгляд злодейская, но ведь как рассудить? Фишер был, вероятно, человек скверный. Деньги же пойдут на цели самые возвышенные — на низвержение тирании, на освобождение человечества. Как смотреть? Нет такой злодейской мысли, которую при некотором логическом навыке нельзя было бы облагородить. А на известном, очень высоком умственном уровне, вероятно, все вообще довольно безразлично... Вы как думаете?

Браун молча на него смотрел.

— Вот оно что! — наконец сказал он точно про себя.

Он снова замолчал.

Слева бесконечной огненной стрелою сверкнул Невский проспект.

— И давно у вас эта рабочая гипотеза?

— Давно, — ответил Федосьев. — По-вашему, она не годится?

— По-моему, никак не годится, — сказал Браун. — Нельзя, конечно, отрицать a priori, что возможен и такой Пизарро, который для сильных ощущений готов отравить знакомого банкира. Но это был бы весьма исключительный случай. Людей со столь редкостными ощущениями можно не принимать в расчет при составлении рабочей гипотезы.

— Вы забываете главное: есть ведь и идейная сторона... Притом... Вы помните, Диоген Лаэртский говорил: все ощущения равноценны по качеству, дело лишь в их остроте... Ведь это, кажется, ваш любимый философ? Его книга и тогда у вас лежала на столе.

— И тогда? — переспросил Браун. — Когда? Да, лежала...

Он нахмурился.

— А вам откуда это известно?

— Помнится, вы мне сказали.

— Нет, помнится, я вам не говорил.

— Значит, я слышал от кого-либо из общих знакомых.

— Вот как, — хмурясь все больше, сказал Браун. — Вот как!..

— Ведь вы были хорошо знакомы с Фишером? — спросил Федосьев.

— Да, я его знал. — Браун недолго помолчал, затем продолжал равнодушно: — Мало замечательный был человек. Не без поэзии, конечно, как большинство из них, дельцов, вышедших в большие люди. Они ведь все считают себя гениями. Вы читали книги, которые пишут в назидание человечеству разные миллиардеры? Совершенно одинаковые и необыкновенно плоские книги. Все они нажили миллиарды, главным образом, потому, что вставали в шесть часов утра и отличались крайней честностью. Я понимаю, впрочем, что деловая стихия захватывает не меньше, чем политика или война. Но, по моим наблюдениям, эти Наполеоны из аферистов не слишком интересны.

— Да, да... Я слышал, вы бывали у него на той квартире? — спросил Федосьев с особой настойчивостью в тоне, как бы показывая, что он все-таки вернет разговор к своей теме.

— От общих знакомых слышали?

Федосьев не ответил. Они подходили к освещенному подъезду «Паласа».

— Может, зайдете?.. Давайте тогда еще поговорим, — предложил Браун.

— Давайте, правда, закончим этот разговор... Если вы не очень утомлены.

— Весь к вашим услугам.

XV

В hall'е гостиницы почти все огни были погашены. За столиками никого не было. Ночной швейцар окинул взглядом вошедших, снял с доски ключ и подал его Брауну. Мальчик дремал на скамейке подъемной машины. Он испуганно вскочил, сорвал с себя картуз и поднял гостей на третий этаж, со слабым четким стуком закрыв за ними дверь клетки. В длинном узком, слабо освещенном коридоре у низких дверей неприятно выделялись выставленные сапоги и туфли.

— Простите, я войду первый, — сказал Браун, открывая дверь в конце коридора. Он зажег лампу на потолке, осветил небольшую неуютную комнату и пододвинул Федосьеву кресло. — Хотите коньяку? — спросил он. — У меня французский, старый.

— Спасибо, не откажусь, — ответил Федосьев, садясь и закуривая папиросу.

Браун взял с окна бутылку, рюмки, тарелку с сухим печеньем, затем зажег лампу на столе.

— Вы что ищете? Пепельницу?

— Да, если есть... Благодарю... У вас можно разговаривать? — спросил Федосьев. — Не обеспокоим ли соседей так поздно? Впрочем, ваш номер ведь угловой.

— Да, угловой,— сказал Браун, садясь на диван.— Вот ведь какая у вас была рабочая гипотеза. Что ж, я должен признать, она не так дика... На первый взгляд она, правда, может легко показаться признаком профессиональной мании. Какие-такие Пизарро! Уж очень вы демоничны — и порою, извините меня, по-дешевому. В вас в самом деле есть, есть Порфирий Петрович. И разговоры у вас, оказывается, не совсем бескорыстные,— добавил он, засмеявшись.— Вы как та девица из газетных объявлений, которая дала обет посылать всем желающим замечательное средство для ращения волос... А я думал, благородный спорт разговора. Но, если вдуматься, ваша рабочая гипотеза допустима. Натянута, но допустима.

— Не правда ли?

— Правда. Однако почти всегда можно придумать несколько рабочих гипотез. Иначе еще, пожалуй, арестовали бы какого-либо человека, в котором следствие заподозрило бы Пизарро?

— Знаю, что моя гипотеза слаба. Я сам в нее теперь верю плохо. Но другой гипотезы я так и не придумал.

— У меня некоторые соображения есть. Если хотите, я с вами поделюсь.

— Сделайте милость.

— Вы совершенно уверены в том, что Фишер был отравлен?

— Ах, вы хотите отстаивать версию самоубийства? Я долго ее взвешивал и должен был решительно ее отвергнуть. В этом следствие не ошиблось. У Фишера не было никаких причин для самоубийства. Кроме того — и главное,— он никак не поехал бы кончать с собой в ту квартиру, это полная нелепость.

— Нет, я версию самоубийства не отстаиваю... Я вообще ничего не отстаиваю и отстаивать не могу... У Фишера в самом деле **как будто** не было причин кончать с собою. Я говорю: как будто. С уверенностью ничего сказать нельзя. Но, может быть, не было ни убийства, ни самоубийства? Могло быть случайное самоотравление.

— Очень трудно случайно проглотить порцию белладонны. Экспертиза ясно констатировала отравление ядом рода белладонны.

— Да, мне это говорил Яценко. Именно эти слова мне и показали сразу, что экспертизе грош цена. Белладонна есть понятие ботаническое, а не химическое. Это растение из семейства пасленовых. В его листьях и ягодах содержится не менее шести алкалоидов. Из них хорошо изучен атропин, на него есть чувствительные реакции. Атропин, однако, действует не слишком быстро. Смерть обычно наступает далеко не сразу, лишь через несколько часов... Другие же алкалоиды белладонны... Темная эта материя,— сказал Браун, махнув рукой.— А что такое яд **рода белладонны,** это остается секретом эксперта.

— Я все-таки не совсем вас понимаю. Вы, значит, предполагаете, что Фишер умер естественной смертью? — спросил Федосьев. Он перестал играть рюмкой, положил докуренную папиросу в пепельнцу и откинулся на спинку кресла.

— Нет, не совсем естественною. Но я думаю, что смерть последовала не от «белладонны».

— От чего же?

— Целый ряд ядов могли дать при вскрытии приблизительно ту же картину: некоторую воспаленность почек, расширение зрачков, венозную гиперемию мозга и т. д. А химический анализ желудка, по-видимому, производился весьма грубо. Эти господа за все берутся, вот как теперь на войне врачи ускоренного выпуска делают сложнейшие операции, перед которыми прежде останавливались знаменитые хирурги.

— Однако какой-то яд был все же при анализе обнаружен.

— Да, но какой?

— В конце концов, это не так важно. Ведь яд не мог сам собой оказаться в желудке Фишера.

— Есть ряд ядовитых алкалоидов, которые употребляются в качестве лекарств. Предположите, что Фишер ошибся дозой. При слабом сердце его могло убить сравнительно небольшое увеличение дозы. А сердце у него было слабое, это я от него слышал.

— Лекарства принимают больные, — ответил Федосьев. — Если б Фишер чувствовал себя плохо, он не поехал бы, вероятно, на ту квартиру. К тому же людям с сердечной болезнью даются врачами безобидные вещества и в очень ничтожных дозах. Чтобы умереть от такого лекарства, Фишер должен был бы, вероятно, проглотить добрый десяток пилюль или целую скляпку жидкости. Такая ошибка с его стороны маловероятна.

— Маловероятна, пусть, но все же возможна, — сказал Браун. Он еще помолчал, всматриваясь в Федосьева. — Возможно, наконец, еще и другое, — сказал он. — Есть яды, которые веселящимися людьми употребляются с особой целью. Тогда ваше возражение падает. Вполне возможно и правдоподобно, что, отправляясь на ту квартиру, Фишер принял одно из таких средств. Да вот кантаридин. Есть такой яд особого назначения, ангидрид кантаридиновой кислоты... Он вообще мало изучен, и немногочисленные исследователи чрезвычайно расходятся насчет того, какова смертельная доза этого вещества. Яд этот должен был бы дать при вскрытии приблизительно те же симптомы, что и «белладонна».

Федосьев передвинулся в кресле, отпил глоток коньяку и закурил новую папиросу.

— Но как же?.. — начал было он и замолчал с некоторым замешательством. — Это, конечно, неожиданное

предположение. Но отчего же вы?.. Отчего следствие не направилось по этому пути?

Браун саркастически засмеялся.

— Ваш вопрос не по адресу,— сказал он. — По-моему, здесь та же стадность, о которой мы с вами говорили. Полиция первая решила, что произошло убийство. Для полиции преступление — естественная гипотеза... Эта ее уверенность немедленно повлияла на следствие. Следователь, однако, допускает возможность самоубийства... Заметьте, здесь тоже некоторая косность мысли: либо убийство, либо самоубийство. Ему не приходит в голову, что возможно и случайное самоотравление. Далее вступает в свои права экспертиза... По-моему, это язва современного правосудия. Проблемы, от разрешения которых зависит жизнь человека, следовало бы поручать светочам науки. Но светочи науки ими заниматься не могут или не желают, и они обычно достаются ремесленникам второго, если не третьего сорта, которые вдобавок, как все полуученые люди, слепо верят в безошибочность своих заключений и в последнее слово науки...

— Следователь, однако, имеет право привлечь к экспертизе самых выдающихся специалистов.

— Имеет право, но не всегда имеет возможность: вероятно, и денег для этого у него недостаточно, да и трудно ему беспокоить людей, занятых другим делом. Следователь к тому же, верно, думает, что у всякой экспертизы есть простые безошибочные методы на любой случай. Фактически экспертиза в первое время следствия всегда в руках ремесленников. Позднее, особенно когда дело сенсационное и когда на этом настаивают адвокаты, которые у нас вдобавок не допускаются к предварительному следствию, позднее привлекаются и выдающиеся специалисты. Но тогда в большинстве случаев уже почти невозможно произвести надлежащую экспертизу.

— Однако и рядовые эксперты, занимаясь всю жизнь одним и тем же делом, в конце концов, не очень сложным, должны же ему научиться?

— Вы напрасно думаете, что это несложное дело. Чрезвычайно сложное и трудное, Сергей Васильевич. Оно часто требует самостоятельного научного творчества. А у этих людей ничего нет, кроме веры в учебник анализа да еще в последнее слово... Заметьте, в науке большие люди чуть ли не каждый год бросают новые последние слова, и по каждому из этих последних слов маленькие люди, ремесленники, производят десятки и сотни исследований — подтверждают гипотезу, укрепляют теорию, berechnet, beobachtet[1]... Затем гипотеза неизбежно умирает естественной смертью, а десятки работ, которые ее подтверждали, пропадают совершенно бесследно. О них просто забы-

---

[1] Производят расчеты и наблюдения (*нем.*).

вают, потому что незачем и неловко вспоминать. И ведь все-таки то ученые... А в уголовном суде на основании работы ремесленников отправляют человека на смерть или в каторжные работы! Лучше всего то что обычно обвинение вызывает одних экспертов, защита — других, мнения их почти всегда противоположны друг другу, но это доверия к экспертам нисколько не подрывает.

— Как вы, однако, все это хорошо изучили и обдумали, — сказал Федосьев.

— У меня не каждый день отравляются знакомые. И не каждый день другие знакомые арестовываются по подозрению в убийстве.

— Да, правда, ведь вы знали и Загряцкого... Вы, однако, знали все общество Фишера?

— Нет, только самого Фишера и Загряцкого.

— Говорят, он охотно принимал от Фишера денежные подарки, и немалые? Так ли это?

— Не знаю. Очень может быть... Вид у него был горделивый, и он часто называл разных знакомых «мещанами». Это признак почти безошибочный: люди, любящие жить на чужой счет, всегда зовут мещанами тех, кто на чужой счет жить не любит.

— Так, так, так...

Федосьев помолчал. Мысль его работала напряженно. «Если он говорит правду, то, быть может, все объясняется. Но возможно и то, что он тут же сочинил или заранее подготовил эту версию и заметает следы. Это актер первоклассный...»

— Если б я был на месте Фишера — сказал он снова после довольно продолжительного молчания, — я бы обратился за нужными разъяснениями о разных химических средствах к какому-нибудь специалисту из хороших знакомых, что ли?.. Но ведь этот специалист, узнав о смерти Фишера и об аресте Загряцкого, вероятно, счел бы своим долгом сообщить следователю о данной им консультации?

— Может быть, — равнодушно ответил Браун.

Федосьев опять замолчал.

— Если же он этого не сделал, то у него, верно, были какие-нибудь причины. Можно предположить, например, что он сам вместе с Фишером развлекался на той квартире.

— Да, можно предположить и это, — сказал Браун.

— Тогда, в самом деле, зачем бы он стал откровенничать со следователем? Огласка таких дел всегда чрезвычайно неприятна. А тут еще разные медикаменты, да откуда они взялись, да кто дал рецепт? Печать непременно подхватила бы, как всегда у нас, левая — если этот специалист правый, правая — если он левый. Ученый человек, быть может, с большим именем, ну, общественная репутация, ну, борода до колен — и вдруг такие похождения! Нехорошо!.. Самые свободные духом люди чрезвычайно боят-

ся подобных историй. В Англии видный государственный деятель покончил с собой, чтобы избежать огласки одного дела. А на легкий компромисс с совестью не беда пойти... Очень может быть, что дело было именно так. Но, с другой стороны,— продолжал с досадой Федосьев,— все это ведь только предположения, и притом ни на чем не основанные. Следствие, пожалуй, поступило бы правильно, если б не дало сбить себя с пути. Может быть, все-таки перед нами убийство и Фишера убил Пизарро?

— Конечно... А может быть и то, что прав следователь: не Загряцкий ли в самом деле убил Фишера? Вот уж, стало быть, есть целые четыре гипотезы: следователя, ваша и две мои. И все они более или менее правдоподобны. Если вдуматься, ваша самая интересная... Очень может быть, что вы ближе всего к истине.

Лицо Брауна было холодно и спокойно. Только в глазах его, как показалось Федосьеву, мелькала злоба.

— Что ж,— продолжал Браун,— вам, верно, приходилось читать сборники известных уголовных процессов? Почти во всех, от госпожи Лафарг до Роникера, правда так и осталась до конца не выясненной. Во Франции за десять лет было двести отравлений, в которых до разгадки доискаться не удалось.

— А вдруг здесь как-нибудь узнаем всю правду до конца?

— Вдруг здесь и узнаете,— повторил Браун.— Ведь и разгадки шарады иногда приходится ждать довольно долго.

— Что ж, подождем.

— Подождем... Куда торопиться?..

Он вдруг насторожился, повернув ухо к окну. Федосьев тоже прислушался.

— Мне показалось, выстрелы,— сказал Браун.

— И мне показалось. Революция, что ли,— усмехнувшись, ответил Федосьев.— Ну, что ж, пора... То есть это мне пора, а не революции,— пошутил он.— Вам, верно, давно хочется отдохнуть.

— Нет, я не устал.

— И разговор был такой интересный... Я прямо заслушался.

— Все удовольствие, как говорят французы, было на моей стороне,— ответил Браун.

XVI

На острова должен был ехать почти весь кружок, кроме Фомина, который никак не мог оставить банкет. Ему предстояла еще вся довольно сложная заключительная часть праздника: проверка счетов, начаи и т. д. В последнюю минуту, ко всеобщему сожалению, отказался и Горенский. Князю и ехать с молодежью очень хотелось и

остаться в тесном кругу друзей было приятно — он был теперь вторым героем дня. Кроме того, дон Педро хотел предварительно прочесть Горенскому свою запись его речи.

— Вините себя, князь, что вам докучаю, — шутливо пояснил он. — Ваша речь — событие... Завтра будет в нашей газете только первый краткий отчет, а подробный, разумеется, послезавтра.

Семен Исидорович, услышавший эти слова, поспешно поднялся с места и, крепко пожимая руку дон Педро, увлек его немного в сторону.

— Я хотел бы вам дать точный текст своего ответного слова, — озабоченно сказал он. — Зайдите, милый, ко мне завтра часов в одиннадцать, я утречком набросаю по памяти... Будьте благодетелем... И пожалуйста, захватите весь ваш отчет, я желал бы, если можно, взглянуть, — прибавил он вполголоса.

Альфред Исаевич встревожился: в черновике его отчета ответная речь Кременецкого была названа «яркой». Теперь, при предварительном просмотре, о таком слабом эпитете не могло быть речи. Альфред Исаевич тотчас решил написать «блестящая речь юбиляра», но он почувствовал, что Семен Исидорович этим не удовлетворится. «Как же ему надо? «Ослепительно блестящая»? «Вдохновенная»? — спросил себя с досадой дон Педро. — Пожалуй, можно бы, черт с ним! Но все равно Федя никакого «ослепительно» не пропустит, еще будет полчаса лаять... Дай Бог, чтоб «блестящую» пропустил. — Альфред Исаевич решил не идти дальше «блестящей». — Ну, в крайнем случае, добавлю «сказанная с большим подъемом»...»

— С удовольствием зайду, милый Семен Исидорович, — сказал он. В обычное время дон Педро не решился бы назвать Кременецкого милым. Но теперь, как автор отчета об юбилее, он чувствовал за собой силу и намеренно подчеркнул если не равенство в их общественном положении, то, по крайней мере, отсутствие пропасти. Семен Исидорович еще раз пожал ему руку и вернулся на свое место.

— Конечно, поезжай, Мусенька, — нежно сказал он дочери, целуя ее в голову. — Вам, молодежи, с нами скучно, ну, а мы, старики, еще посидим, побалакаем за стаканом вина... «Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»... — с легким смехом добавил он. — Пожалуйста, не стесняйтесь, господа. Спасибо, Григорий Иванович... Дорогой Сергей Сергеевич, благодарствуйте... Майор, от всей души вас благодарю, я очень тронут и горжусь вашим вниманием, майор... Вы знаете к нам дорогу...

— Ради Бога, застегнись как следует, — говорила дочери Тамара Матвеевна. — Григорий Иванович, я вам поручаю за ней смотреть... Не забывайте нас, мосье Клервилль.

— До свидания, мама. Я раньше вас буду дома, увидите...

Клервилль, Никонов, Березин поочередно пожали руку юбиляру, поцеловали руку Тамаре Матвеевне и спустились с Мусей вниз. Глафира Генриховна, Сонечка Михальская, Беневоленский и Витя уже находились там в шубах — они с разрешения Муси сочли возможным уйти, не простившись с ее родителями. Муся рылась в шелковой сумке. Витя выхватил у нее номерок, сунул лакею рубль и принес ее вещи. Он помог Мусе надеть шубу, затем, опустившись на колени, под насмешливым взглядом Глафиры Генриховны надел Мусе белые фетровые ботики. Застегивая сбоку крошечные пуговицы, Витя коснулся ее чулка и, точно обжегшись, отдернул руку.

— Готово? — нетерпеливо спросила Муся, завязывая сзади белый оренбургский платок; по новой, немногими принятой моде она носила платок, как чалму, делая узел не на шее, а на затылке. Это очень ей шло.

Витя поднялся бледный. Муся с улыбкой погрозила ему пальцем. Она почти выбежала на улицу, не дожидаясь мужчин. От любви, шампанского, почета ей было необыкновенно весело. Кучер первой тройки молодецки выехал из ряда на середину улицы. У тротуара остановиться было негде. Муся перебежала к саням по твердому блестящему снегу и, сунув в муфту сумку, легким движением, без чужой помощи села в сани с откинутой полостью.

— Ах, как хорошо! — почти шепотом сказала она, с наслаждением вдыхая полной грудью разреженный холодный воздух. Колокольчик редко и слабо звенел. Глафира Генриховна, ахая, ступила на снег и, как по доске над пропастью, перебежала к тройке, стараясь попадать ботиками в следы Муси. Муся протянула ей руку в белой лайковой перчатке. Но Глафиру Генриховну, точно перышко, поднял и посадил в сани Клервилль, она даже не успела вскрикнуть от приятного изумления. К тем же саням направилась было и Сонечка. Мужчины громко запротестовали:

— Что ж это, все дамы садятся вместе...

— Это невозможно!

— Мальчики протестуют! Через мой труп!.. — закричал Никонов, хватая за руку Сонечку.

Вторая тройка выехала за первой.

— Господа, так нельзя, надо рассудить, как садиться, — произнес внушительно Березин, — это вопрос сурьезный.

— Мосье Клервилль, **конечно**, сядет к нам, — не без ехидства сказала Глафира Генриховна. — А еще кто из мальчиков?

Муся, не успевшая дома подумать о рассадке по саням, мгновенно все рассудила: Никонов уже усаживал во вторые сани Сонечку. Березин не говорил ни по-французски, ни по-английски.

— Витя, садитесь к нам, — поспешно сказала она, улыбнувшись. — Живо!..

Витя не заставил себя просить, хоть ему и неприятно было сидеть против Глафиры Генриховны. Ее «конечно», он чувствовал, предназначалось в качестве неприятности и Мусе, и ему, и англичанину. В последнем он, впрочем, ошибался: Клервиллю неприятность не предназначалась, да он ее и просто не мог бы понять. Швейцар застегнул за Витей полость и низко снял шапку. Клервилль опустил руку в карман и, не глядя, протянул бумажку. Швейцар поклонился еще ниже.

— По Троицкому мосту...

— Эй вы, са-ко-олики! — самым народным говорком пропел сзади Березин. Колокольчик зазвенел чаще. Сани тронулись и пошли к Неве, все ускоряя ход.

За Малой Невкой тройки понеслись так, что разговоры сами собой прекратились. От холода у Муси стыли зубы, она знала и любила это ощущение быстрой езды. Сдерживая дыхание, то прикладывая, то отнимая ото рта горностаевую муфту, Муся смотрела блестящими глазами на проносившиеся мимо них пустыри, сады, строения. «Да, сегодня объяснится», — взволнованно думала она, быстро вглядываясь в Клервилля, когда сани входили в полосу света фонарей. Глафира Генриховна перестала говорить на трех языках неприятности и только вскрикивала при толчках, уверяя, что так они непременно опрокинутся. Клервилль молчал, не стараясь занимать дам, он был счастлив и взволнован необыкновенно. Витя мучился вопросом: «Неужели между ними вправду что-то есть? Ведь та ведьма-немка все время намекает» (Глафира Генриховна никогда немкой не была). Витя упал духом. Он ждал такой радости от этой ночной поездки на острова.

Развив на Каменном острове бешеную скорость, тройка на Елагином стала замедлять ход. У Глафиры Генриховны отлегло от сердца. Из вторых саней что-то кричали.

— Ау! Нет ли у вас папирос?

Клервилль вынул портсигар, он был пуст.

— Папирос нет... Не курите, простудитесь! — закричала Глаша, приложив к губам руки.

— Да все равно нельзя было бы раскурить...

Никонов продолжал орать. Спереди подуло ветром.

— Так холодно, — проговорил Клервилль.

— Сейчас Стрелка, — сказала Муся, хорошо знавшая Петербург. Тройка пошла еще медленнее. «Стрелка! Ура!» — прокричали сбоку. Вторые сани их догнали и выехали вперед, затем через минуту остановились.

— Приехали!

Все вышли, увязая в снегу, прошли к взморью и полюбовались, сколько нужно, видом. На брандвахте за Старой Деревней светился огонь.

— Чудно! Дивно!
— Ах, чудесно!..
— Нет, какая ночь, господа!..

Все чувствовали, что делать здесь нечего. Березин, возившийся у саней, с торжеством вытащил ящик. В нем зазвенело стекло.

— Тысяча проклятий! Carramba!
— Неужели шампанское разбилось?
— Как! Еще пить?
— Нет, к счастью, не шампанское... Разбились стаканы.
— Кто ж так укладывал! Эх, вы, недотепа...
— Что теперь делать? Не из горлышка же пить?
— Господа, все спасено — один стакан цел, этого достаточно.
— Узнаем все чужие мысли.
— То-то будут сюрпризы!
— А если кто болен дурной болезнью, пусть сознается сейчас, — сказал медленно поэт, как всегда, вполне довольный своим остроумием. Муся поспешно оглянулась на Клервилля.
— Давайте в снежки играть!
— Давайте.
— Разлюбезное дело!
— Что же раньше? В снежки или шампанское пить?
— Господа, природа — это, конечно, очень хорошо, но здесь холодно, — сказала Глаша.
— Ах, я совсем замерзла, — пискнула Сонечка.
— Сонечка, бедненькая, ангел, — кинулся к ней Никонов, — трите же лицо! Что я вам приказал?
— Мы согреем вас любовью, — сказал Беневоленский.
— А что, господа, если б нам поехать **дальше?** Мы, правда, замерзнем.
— О да! — сказал Клервилль. — Дальше...
— Куда же? В «Виллу Родэ»?
— Да вы с ума сошли!
— Ни в какой ресторан я не поеду, — отрезала Глафира Генриховна.
— В самом деле, не ехать же в ресторан со своим шампанским, — подтвердил Березин, все выбрасывавший осколки из ящика.
— А заказывать там — сто рублей бутылка, — пояснила Глафира Генриховна.
— Господа, в ресторан или не в ресторан, но я умру без папирос! — простонал Никонов.
— Ну и умрите, — сказала Сонечка, — так вам и надо.
— Жестокая! Вы будете виновницей моей смерти! Я буду из ада являться к вам каждую ночь.
— Пожалуйста, не являйтесь, нечего... Так вам и надо.
— За что, желанная?

— За то, как вы вели себя в санях.

— Сонечка, как он себя вел? Мы в ужасе...

— Уж и нельзя погреть ножки замерзающей девочке!

— Гадкий, ненавижу...

Сонечка запустила в Никонова снежком, но попала в воротник Глаше.

— Господа, довольно глупостей! — рассердилась Глафира Генриховна. — Едем домой.

— Папирос! Убью! — закричал свирепо Никонов.

— Не орите... Все равно до Невского папирос достать нельзя.

— Ну, достать-то можно, — сказал Березин. — Если через Строганов мост проехать в рабочий квартал, там ночные трактиры.

— Как через мост в рабочий квартал? — изумился Витя. Ему казалось, что рабочие кварталы отсюда за тридевять земель.

— Ночные трактиры? Это страшно интересно! А вы уверены, что там открыто?

— Да, разумеется. Во всяком случае, если постучать, откроют.

— Ах, бедные, они теперь работают, — испуганно сказала Сонечка.

— Как хорошо говорил князь! Я, право, и не ожидала...

— Господа, едем в трактир... Полцарства за коробку папирос!

— А как же снежки?

— Обойдемся без снежков, нам всем больше шестнадцати лет.

— Всем, кроме, кажется, Вити, — вставила Глаша. Витя взглянул на нее с ненавистью.

— А вам... — начал было он.

— Мне много, скоро целых восемнадцать, — пропела Сонечка. — Господа, в трактир чудно, но и здесь так хорошо!.. А наше шампанское?

— Там и разопьем, вот и бокалы будут.

— Господа, только условие под самым страшным честным словом: никому не говорить, что мы были в трактире. Ведь это позор для благородных девиц!

— Ну, разумеется.

— Лопни мои глаза, никому не скажу!

— Григорий Иванович, выражайтесь корректно... Так никто не проговорится?

— Никто, никто...

— Клянусь я первым днем творенья!

— Да ведь мы едем со старшими, вот и Глафира Генриховна едет с нами, — отомстил Витя. Глафире Генриховне, по ее словам, шел двадцать пятый год.

— Нет, какое оно ядовитое дитё!

— В сани, в сани, господа, едем...

Ехали не быстро и довольно долго. Стало еще холоднее, Никонов плакал, жалуясь на мороз. По-настоящему веселы и счастливы были Муся, Клервилль, Сонечка. Муся знала твердо, что этой ночью все будет сказано. Как, где это произойдет, она не знала и ничего не делала, чтоб вызвать объяснение. Она была так влюблена, что не опускалась до приемов, которые хоть немного могли бы их унизить. Муся даже и не стремилась теперь к объяснению: он сидел против нее и **так** смотрел на нее, ей этого было достаточно; она чувствовала себя счастливой, чистой, расположенной ко всем людям.

Старый, низенький, грязноватый трактир всем понравился чрезвычайно. Дамы имели самое смутное понятие о трактирах. В большой теплой комнате, выходившей прямо на крыльцо, никого не было. Немного пахло керосином. Со скамьи встал заспанный **половой**, которого Березин назвал **малый** и **братец ты мой**, дамы окончательно пришли в восторг, и даже Глафира Генриховна признала, что в этом заведении есть свой стиль.

— Ах, как тепло! Прелесть!

— Здесь надо снять шубу?

— Разумеется, нет.

— Отчего же нет? Mesdames, вы простудитесь, — сказал Березин, сдвигая два стола в углу. — Ну, вот, теперь прошу занять места.

— Право, я страшно рада, что нас сюда привезли. А вы рады, Сонечка?

— Ужасно рада, Мусенька! Это прямо прелесть!

— Господа, я заказываю чай. Все озябли.

— Папирос!

— Слушаю-с. Каких прикажете?

— Папирос!..

— Ну-с, так вот, голубчик ты мой, перво-наперво принеси ты нам чаю, значит, чтоб согреться, — говорил Березин, он теперь играл купца, очевидно, под стиль трактира. Дамы с восторгом его слушали.

— Слушаю-с. Сколько порций прикажете? — говорил еще не вполне проснувшийся половой, испуганно глядя на гостей.

— Сколько порций, говоришь? Да уж не обидь, голуба, чтоб на всех хватило. Хотим, значит, себя чайком побаловать, понимаешь? Ну, и бубликов там каких-нибудь тащи, што ли.

— Слушаю-с.

— Папирос!..

— А затем, братец ты мой, откупори ты нам эту штучку. Своего, значит, кваску привезли... И стаканы сюда тащи.

— Слушаю-с... За пробку с не нашей бутылки у нас пятнадцать копеек.

— Пятиалтынный, говоришь? Штой-то дороговато, малый. Ну да авось осилим... И ж-жива!

Отпустив малого, Березин засмеялся ровным негромким смехом.

— Нет, право, он очень стильный.

— Здесь дивно... Григорий Иванович, положите туда на стол мою муфту.

— Ага! Прежде «ну, и умрите», а теперь «положите... на стол мою муфту»?.. Бог с вами, давайте ее сюда, ваше счастье, что я такой добрый.

— И такой пьяный.

— Вам нравится здесь, Вивиан? Вы не сердитесь, что мы все время говорим по-русски?

— О, нет, я понимаю... Мне так нравится!..

Клервилль действительно был в восторге от поездки, в которой мог наблюдать русскую душу и русский разгул. Самый трактир казался ему точно вышедшим прямо из «Братьев Карамазовых». И так милы были эти люди! «Она никогда не была прекраснее, чем в эту ночь. Но как, где сказать ей?» — думал Клервилль. Он очень волновался при мысли о предстоящем объяснении, об ее ответе, однако в душе был уверен, что его предложение будет принято.

— Мосье Клервилль, давайте поменяемся местами, вам будет здесь удобнее, — предложила Глафира Генриховна. — Григорий Иванович, несут ваши папиросы. Слава Богу, вы перестанете всем надоедать.

— Господа, кто будет разливать чай?

— Глаша, вы.

— Я не умею и не желаю. И пить не буду.

— Напрасно. Чай — великая вещь.

Никонов жадно раскуривал папиросу.

— Григорий Иванович, дайте и мне, — пропела Сонечка. — Я давно хочу курить.

— Сонечка, Бог с вами! — воскликнула Муся. — Я маме скажу.

— А страшное честное слово? Не скажете.

Она протянула руку к коробке. Никонов ее отдернул, Сонечка сорвала листок.

— Господа, это стихи!

— Стихи? Прочтите!

— Отдайте сейчас мой листок.

— Григорий Иванович, не приставайте к Сонечке. Сонечка, читайте.

В дни безвременья, безлюдья
Трудно жить — кругом обман.
Всем стоять нам надо грудью,
Закурив родной «Осман».

— «Десять штук — двадцать копеек», — прочла нараспев Сонечка.

Послышался смех.

— Как вы смели взять мой листок? Ну, постойте же,— грозил Сонечке Никонов.

— Господа, ей-Богу, эти стихи лучше «Голубого фарфора»!

— Какая дерзость! Поэт, пошлите секундантов.

— Господа, несут шампанское!

— Несут, несут, несут!

— Вот так бокалы!

— Наливайте, Сергей Сергеевич, нечего...

— Шампанское с чаем и с баранками!

— Я за чай.

— А я за шампанское.

— Кто как любит...

— Кто любит тыкву, а кто офицера.

— Ваше здоровье, mesdames.

— Господа, мне ужасно весело!

— Вивиан...

— Муся...

— Сонечка, я хочу выпить с вами на «ты».

— Вот еще! И я вам не Сонечка, а Софья Сергеевна.

— Сонечка Сергеевна, я хочу выпить с вами на «ты»... Ну, погодите же!

— Григорий Иванович, когда вы остепенитесь? Налейте мне еще...

— Mesdames, я пью за русскую женщину.

— О да!..

— Лучше за того, кто «Что делать?» писал!

— Выпила бы и за него, да я не читала «Что делать?».

— Позор!.. А я и не видела!

— Можно и не читамши и не видемши.

— Мусенька, какая вы красавица. Я просто вас обожаю,— сказала Сонечка и, перегнувшись через стол, крепко поцеловала Мусю.

— Я вас тоже очень люблю, Сонечка... Витя, отчего вы один грустный?

— Я нисколько не грустный.

— Отчего ж вы, милый, все молчите? Вам скучно?

— Атчиго он блэдный? Аттаго что бэдный...

— Выпьем, молодой человек, шампанского.

Сонечка вдруг пронзительно запищала и метнулась к Никонову, который вытащил из ее муфты крошечную тетрадку.

— Не смейте трогать!.. Сейчас отдайте!

— Господа, это называется «Книга симпатий»!

— Сию минуту отдайте! С-сию минуту!

— Что я вижу!

— Муся, скажите ему отдать! Сергей Сергеевич...

— Григорий Иванович, отдайте ей, она расплачется.

— Господа, здесь целая графа: «Боже, сделай так, чтобы в меня влюбился...» Дальше следуют имена: Александр Блок... Собинов... Юрьев... Не царапайтесь!

Все хохотали. Сонечка с бешенством вырвала книжку.

— Сонечка, какая вы развратная!

— Я вас ненавижу! Это низость!

— Я вам говорил, что отомщу. Мессалина!

— Я с вами больше не разговариваю!

— Сонечка, на него сердиться нельзя. Он пьян так, что смотреть гадко... Налейте мне еще, поэт.

— Поверьте, Сонечка, ваш донжуанский список делает вам честь.

— Господа, а вы знаете, что здесь был убит Пушкин? — сказал Березин.

Наступило молчание.

— Как? Здесь?

— Не здесь-здесь, а в двух шагах отсюда. С крыльца, может быть, видно то место. Хотя точного места поединка никто не знает, пушкинисты пятьдесят лет спорят. Но где-то здесь...

Большинство петербуржцев никогда не были на месте дуэли Пушкина. Муся полушепотом объяснила по-английски Клервиллю, что сказал Березин.

— ...Наш величайший поэт...

— Да, я знаю...

Он действительно знал о Пушкине — видел в Москве его памятник, что-то слышал о мрачной любовной трагедии, о дуэли.

— Место, на котором был убит Пушкин, ничем не отличается от места, на котором никто не был убит, — произнес с расстановкой Беневоленский.

— Это очень глубокомысленное замечание, — сказала Муся, не вытерпев. Она встала. — А вы знаете, господа, здесь очень душно и керосином пахнет. У меня немножко кружится голова.

— У меня тоже.

— На воздухе пройдет... Но поздно, друзья мои, пора и восвояси...

— В самом деле, пора, господа... Так вы говорите, с крыльца видно?

Муся отворила дверь. Пахнуло холодом. Березин подозвал полового. Муся вышла на крыльцо. Справа жалостно звенел колокольчик отъехавшей тройки. Слева у соседней лавки уже вытягивалась очередь. Дальше все было занесено снегом.

«Нет, ничего не видно... Он, однако, не вышел за мною...» — подумала Муся. Вдруг сзади сверкнул свет и она, замирая, увидела Клервилля.

— Ах, вы тоже вышли, Вивиан? — спросила она по-английски. — Нет, отсюда ничего не видно!.. Смотрите, это очередь за хлебом. Бедные люди, в такой холод! Верно, у вас в Англии этого нет?

Он не сводил с нее глаз.

— Какая прекрасная ночь, правда? — сказала она дрогнувшим неожиданно голосом. «Да, сейчас, сейчас все будет сказано», — едва дыша, подумала Муся.

— Я вышел, чтоб остаться наедине с вами... Мне нужно вам сказать... Нам здесь помешают... Пройдем туда...

Видимо, очень волнуясь, он взял ее под руку и пошел с ней в сторону, по переулку. Через минуту он остановился. Снизу приятно пахло печеным хлебом. Было почти темно. Людей не было видно. «Неужели у места дуэли Пушкина?.. Это было бы так удивительно, память на всю жизнь... Нет, это простой переулок... Стыдно думать об этом... Сейчас все будет кончено... Но что ему сказать?» — пронеслось в голове у Муси.

— Муся, я люблю вас... Я прошу вас быть моей женою.

Слова его были просты и банальны. Муся не могла этого не заметить, как взволнованна она ни была, какой торжествующей музыкой ни звучали эти слова в ее душе. «Так с сотворения мира делали предложение. Но теперь мне!.. Сейчас ответить или подождать?.. И как сказать ему? Лишь бы не сказать плоско... И не сделать ошибки по-английски...»

— Я не могу жить без вас и прошу вас стать моей женой, — повторил он, взяв ее за руку. — Согласны ли вы?

— Я не могу отказать вам в таком пустяке.

Он не понял или не оценил ее тона, затем с усилием засмеялся, смех оборвался тотчас.

— Вы говорите правду?.. Вы шутите?

— Это была бы довольно глупая шутка.

Он поцеловал ей руку, затем обнял ее и поцеловал в губы. Она чуть-чуть отбивалась. Опять с еще гораздо большей силой, чем при их телефонном разговоре, счастье залило душу Мусе, вытеснив все другое. «Надо стать достойной его!»

Они молча пошли назад. Не доходя до крыльца, Муся остановилась. «Так нельзя войти... Все сейчас догадаются по нашим лицам, уж Глаша, конечно... Ну и пусть! Нет, не надо», — подумала она. Как она ни была счастлива и сердечно расположена ко всем людям, Муся не хотела так сразу же открыть Глаше...

— Оставьте меня, Вивиан... Я хочу побыть одна.

Он взглянул на нее с испугом, затем, по-видимому, както очень сложно объяснил ее слова. Наклонив голову, он выпустил ее руку и отошел, взбежал на крыльцо своим легким, упругим шагом. Муся вздохнула легче. «Да, все решено. Неужели может быть так хорошо? — книжной фра-

зой выразила она самые подлинные свои чувства.— Он изумительный...»

Теперь все было другое — дома, снег, эти оборванные люди. Конец очереди у фонаря был от нее в двух шагах. «Бедные, бедные люди...» Муся оставила сумку в муфте, да и в сумке почти не было денег, она все раздала бы этим людям. «Нет, теперь и им будет житься легче, идут новые времена»,— подумала Муся, вспомнив речь Горенского. Она ясным, **бодрящим**, сочувственным взглядом обвела очередь, встретилась глазами с бабой и вдруг опустила глаза, такой ненавистью обжег ее этот взгляд. Мусе стало страшно. Она быстро направилась к крыльцу.

— Шлюха! — довольно громко прошипела баба.—...в шубе...

В толпе засмеялись. У Муси подкосились ноги. На крыльце сверкнул свет, появились люди. Колокольчик зазвенел. Тройки подъехали к крыльцу.

— Мусенька, что же вы скрылись? Вот ваша муфта,— сказала Сонечка.

Назад ехали скучно. Было холодно, но по-иному, не так, как по дороге на острова. Клервилль сел во вторые сани, по-видимому, сложное объяснение слов Муси включало и эту деликатность, дався ему нелегко. Вместо него рядом с Витей на скамейку сел Никонов. Он начинал скисать — петербургская неврастения в нем сказалась еще сильнее, чем в других. Глафира Генриховна была крайне озабочена, даже потрясена. Она сразу все поняла. В том, что, по ее догадкам, произошло, она видела завершение блестящей кампании, которую Муся мастерски провела собственными силами, при очень слабой помощи родителей. «Да, ловкая, ловкая девчонка, нельзя отрицать»,— думала Глаша. Она думала также о том, что ей двадцать седьмой год, что жениха нет и не предвидится и что для нее выход замуж Муси — тяжкий удар, если не катастрофа. Глафира Генриховна сразу приняла решение перегруппировать фронт и сосредоточить силы на одном молодом адвокате, который, правда, не мог идти в сравнение с Клервиллем, но был очень недурен собой и уже имел хорошую практику. «Что ж делать... Да, она очень ловкая, Муся. И молчит, будет мне теперь подавать его по столовой ложке...»

«Рассказать или нет? — спрашивала себя Муся.— Зачем рассказывать? Глупо... В такую минуту плюнули в душу... За что? Что я им сделала?..» Она говорила себе, что не стоит об этом думать, но ей хотелось плакать. Ее разбирала предрассветная мелкая дрожь. Чуть-чуть жгло глаза.

Хотелось плакать и Вите. Не глядя на Мусю, он молчал всю дорогу, думая то о самоубийстве, то о дуэли. «Вот и Пушкин послал тому вызов... Нет, дуэль — глупость, конечно. Да он и не виноват, если она его любит... И са-

моубийство — тоже глупости... Не покончу я самоубийством... Но, может быть, ничего и не было? Вот ведь она сидит грустная... Может, она ему отказала?»

Глафира Генриховна для приличия время от времени говорила что-то скучное. Муся, Никонов скучно и коротко отвечали.

Они подъезжали к Неве. Луна скрылась, стало совершенно темно. Вдруг слева где-то вдали гулко прокатился выстрел. Дамы вскрикнули. Никонов поднял голову. Встрепенулся и Витя. Кучер оглянулся с испуганным выражением на лице. За первым выстрелом последовали другой, третий. Затем все стихло.

— Что это?.. Стреляют?.. — шепотом спросила Муся.

— Ну да, стреляют. Р-революция, — угрюмо проворчал Никонов, как полушутливо говорили многие из слышавших первые выстрелы Февраля.

«Ах, если бы вправду революция! — вдруг сказал себе Витя. В его памяти промелькнуло то, что он читал и помнил о революциях: жирондисты, Дантон, Дмитрий Рудин. Витя увидел себя на баррикаде, со знаменем, с обнаженной саблей. Баррикада была под окнами Муси. — Да, это был бы лучший исход... Ах, если бы, если бы революция!.. Только **гроза** может принести мне славу и сделать меня достойным ее любви!.. А если не славу, то смерть», — с тоской и страстной надеждой думал Витя.

XVII

Николай Петрович почувствовал себя нездоровым в день юбилея Кременецкого и должен был отказаться от участия в банкете, поручив своей жене передать извинения юбиляру. На следующий день Яценко не пошел на службу, ничего не ел с утра и за обедом не прикоснулся к супу — вид и запах еды вызывали в нем отвращение. Сославшись на острую головную боль, он заявил, что не будет обедать. Наталья Михайловна, которая как раз собиралась с толком, подробно рассказать о банкете, обеспокоилась.

— Ну, да, в городе свирепствует грипп. Вот что значит так работать, — не совсем логично сказала она мужу. — Сколько раз я тебе говорила: никто, никто не работает десять часов в сутки. Конечно, это от переутомления, оно всегда предрасполагает к гриппу... Хоть супа поешь, я тебя умоляю...

Николай Петрович работал в последнее время не больше обычного. Усталость его была преимущественно моральная и сказывалась в крайней раздражительности, которую он сдерживал с большим трудом. Ничего не ответив на предложение поесть хоть супа, он ушел к себе в кабинет и лег на твердый кожаный диван, взяв первую попавшуюся книгу. Но книги этой он не раскрыл. У него очень болела голова, ломило тело. Наталья Михайловна принесла

и подложила ему под голову большую подушку. Измученный вид мужа ее расстроил.

В спальной в огромном, красного дерева шкапу среди разложенного в чрезвычайном порядке тонкого белья (к которому имела слабость Наталья Михайловна); между высокими стопками полотенец и носовых платков с давних времен хранился семейный термометр. Наталья Михайловна осторожно его вынула из футляра, глядя на лампу и морщась, необыкновенно энергичным движением сбила в желтеньком канале столбик много ниже красного числа, затем с испуганным и умоляющим выражением на лице вошла на цыпочках в кабинет. Николай Петрович знал, что у него сильный жар, и не хотел пугать своих. Однако, чтоб отделаться от упрашиваний, он согласился измерить температуру и даже о минутах не очень торговался. Оказалось 39,2 — больше, чем предполагал сам Яценко. Наталья Михайловна перепугалась не на шутку. Ее авторитет немедленно вырос, и, несмотря на слабые протесты Николая Петровича, по телефону был приглашен домашний врач Кротов.

Витя, узнав о болезни отца, зашел в полутемный кабинет, но по настоянию Натальи Михайловны — грипп так заразителен — должен был остановиться в нескольких шагах от дивана. Николай Петрович, слабо и ласково улыбаясь, успокоил сына:

— Да, да, конечно, пустяки. Завтра буду совершенно здоров... Иди, иди, мой милый.

Николая Петровича и трогали, и немного раздражали заботы близких. Он всегда в шутливых спорах с женою уверял, что одинокому человеку и болеть гораздо легче. Теперь ему хотелось, чтоб его оставили одного и чтоб ему дали чаю с лимоном. Наталья Михайловна, однако, сомневалась, не повредит ли чай больному. Николай Петрович от усталости и раздражения не настаивал. Он лежал на диване, глядя усталым, неподвижным взглядом на висевшие против дивана портреты Сперанского, Кавелина, Сергея Зарудного. Мысли Яценко беспорядочно перебегали от Загряцкого и Федосьева к его собственной неудавшейся жизни. «И следователь, оказывается, плохой... Нет, так нельзя ошибаться... А тот негодяй, Загряцкий, по формальным причинам все еще в тюрьме, хоть я знаю, что он невиновен в убийстве... Вот она, формальная правда»,— думал он. Почему-то ему часто вспоминался Браун, его визит, его странные разговоры, он тотчас с неприятным чувством гнал от себя эти мысли. «Да, нехорошо, очень нехорошо!..» — вслух негромко сказал Яценко, прикрывая рукой глаза. Единственное светлое был Витя. Но и с мальчиком что-то было неладно. От Вити Яценко переходил мыслью к судьбам России. «Всюду грех, ошибки, преступления,— тоскливо думал Николай Петрович, вглядываясь в лица своих любимых политических деятелей.— Они бы до этого не

довели... Но они умерли... И я скоро умру... Какое же мне дело до всего этого?» Голова у него мучительно болела.

В десятом часу вечера прибыл Кротов, добродушный старик, крепкий, лысый и краснолицый. Он признал болезнь инфлюэнцей, прописал лекарство и строгую диету; чай с лимоном, однако, разрешил, но не иначе, как очень слабый. Наталья Михайловна попросила доктора приехать и на следующее утро.

— Вот еще, стану я приезжать, у меня есть больные и посерьезней, чем он, — сказал весело Кротов, с давних пор свой человек в доме; он знал, что для Яценко пять рублей деньги и что о бесплатном лечении — «Ах, полноте, какие между нами счеты» — не может быть и речи. — Денька через два загляну... Если буду жив, — сказал он Наталье Михайловне, — так, миленькая, всегда говорил Толстой, наш ненавистник... Не любил нас, ругал, а у нас лечился всю жизнь, Лев Николаевич (доктор произносил по-старинному: Лёв; речь у него вообще была старинная, хоть он щеголял разными новыми словечками и прибаутками). И прав, ведь я же романов не пишу, а ругать романистов ругаю.

— И поделом, — сказала Наталья Михайловна.

— Разумеется, поделом. Как их, теперешних, не ругать: какие-то пошли Андреевы, Горькие, Сладкие. Ну-с, так аспиринцу сейчас скушаем, а то, второе, что я пропишу, через час. И завтра будем здоровы...

Кротов говорил с Николаем Петровичем так, как мог бы говорить с Витей. Недоброжелатели утверждали, что старик давно выжил из ума и перезабыл все лекарства. Однако практика у него была огромная, так бодрил больных его тон.

— Натурально, пустяки, — сказал он Наталье Михайловне, садясь в столовой писать рецепт. — Через три дня может идти на службу... Ну-с, а наши почки как, миленькая?

Наталья Михайловна не прочь была за те же пять рублей спросить доктора и о своем здоровье. Он дал успокоительные указания.

— Сто лет гарантирую, миленькая, больше никак не могу, себе дороже стоит... А вы знаете, в городе беспорядки, — сказал доктор, вставая и помахивая в воздухе бумажкой. — Еду сюда, идут мальчишки, рабочие, поют, дурачье... Как это, «Варшавянка», что ли? Дурачье!.. А ночью даже постреливали.

— Да, мне Витя говорил, он на островах катался и слышал стрельбу. Только я не пойму, кто в кого мог ночью стрелять?

— Стреляли, стреляли, — радостно повторил старик. — Вдруг в самом деле революция, а?

— Вздор! Семьдесят лет живу, никакой революции не видал. Я сам в шестьдесят первом году что-то пел, болван этакий, да не допелся... Нет, верно, это было позже, в шестьдесят четвертом... Не будет революции, пропишут им казачки «Варшавянку», все и кончится,— решительно сказал доктор.— А засим мне все равно, посмотрю и на революцию... Давно пора и тех господ проучить, звездную палату... Так вот, миленькая, это отдайте Марусе... А, Витька, здравствуй, ты как живешь?

Наталья Михайловна вышла с рецептом в кухню. Доктор подвел упиравшегося Витю к лампе.

— Нехорошо,— сказал он.— Под глазами круги. И глаза красные... Плакал, что ли?

Он задал несколько вопросов, от которых Витя густо покраснел.

— Гимнастику надо делать, балбес,— сказал строго Кротов.— Я, кажется, старше тебя, да? Чуть старше — пошел семьдесят первый год (с некоторых пор он остановился в возрасте), а каждый день делаю гимнастику. Каждый день, чуть встаю, еще перед гошпиталем. Вот так...— Он присел действительно довольно легко, поднялся и сделал несколько движений руками.— Раз-два... Раз-два-три... Обливание и гимнастика, гимнастика и обливание... И спать на твердом тюфяке... И о юбках меньше думать, слышишь? И ни на какие острова по ночам не ездить... Зачем вы его на острова пускаете? — обратился он к вошедшей Наталье Михайловне.— Ну-с, до свидания, миленькая... До свидания, Витька... Послезавтра, хоть и не нужно, заеду, если буду жив.

— Да вы моложе и крепче нас всех!

— Не жалуюсь, не жалуюсь...

Демонстративно отказавшись от помощи хозяев, он сам надел древнюю норковую шубу, еще пошутил и ушел, оживив весь дом, наглядно и несомненно доказав пользу медицины. «Прямо удивительный человек, таких больше не будет, не вам чета!» — с искренним восторгом сказала Вите Наталья Михайловна. Успокоенная врачом, она взяла дом в свои руки, чувствуя приступ особенной энергии и жажды деятельности,— теперь все было на ней. Николай Петрович разделся и перешел в спальню, где к кровати был приставлен низенький, покрытый салфеткою столик. Горничная поставила самовар. Маруся побежала в аптеку.

Утром на службу дали знать о болезни Николая Петровича. Болезнь эта, разумеется, не была серьезной. Однако в нормальное время несколько человек, ближайших друзей и сослуживцев (родных у Яценко не было), наверное, тотчас зашли бы его «проведать» или, по крайней мере, справились бы по телефону. На этот раз никто не зашел, что не совсем приятно удивило Наталью Михайловну; визиты были совершенно не нужны, скорее мешали,

но они входили в обычный уютно-волнующий церемониал неопасных болезней.

В этот же день Маруся вернулась с базара в большом возбуждении. Она радостно повторяла, что народ совсем взбунтовался — на Выборгской стороне разгромили лавки. Глаза Маруси сияли торжеством. Хотя Наталья Михайловна разделяла либеральные взгляды своего мужа, ее первое впечатление от слов прислуги и особенно от ее бестолково торжествующего вида было неприятное. Съестных припасов Маруся принесла очень немного, на базаре ничего не было; курицу для бульона больному барину удалось достать лишь по доброму знакомству с торговкой, у которой они всегда покупали. Наталья Михайловна не поверила, что ничего нельзя получить, и сама пошла за покупками. Но поблизости от их квартиры лавки в большинстве были закрыты наглухо. Кое-где торговля еще шла, однако Наталья Михайловна, к собственному удивлению, не решилась стать в длинную очередь, такой недружелюбный вид был у стоявших там женщин. Когда она с пустыми руками возвращалась домой, по улице на рысях, с отчетливым, волнующим топотом проехал казачий отряд. Сердце у Натальи Михайловны забилось сильнее обыкновенного. Швейцар с тем же бестолково-торжествующим видом вполголоса ей сообщил, что фараон с угла куда-то ушел и что на Невском, слышно, разбили трамвайные вагоны. Такие же известия привез из Тенишевского училища взволнованный Витя. На улицах были столкновения толпы с полицией.

Наталья Михайловна не решилась сказать Николаю Петровичу о том, что происходило, боясь его взволновать. Витя после скучного обеда куда-то исчез. Наталья Михайловна расположилась в кресле у высокой стоячей лампы и раскрыла утреннюю газету. Она прочла отдел мод, хронику, телеграммы, лениво подумала о том, что могло быть на месте белого просвета (к просветам привыкли), просмотрела интересные объявления и список недоставленных телеграмм, приступила было к думскому отчету и задремала — плохо спала ночью. Вдруг ее разбудил какой-то грохот. Наталья Михайловна вскрикнула и бросилась к окну. Люди бежали с растерянным видом по слабо освещенной печальной улице. Пальба трещала четко и часто. Один из бежавших по мостовой метнулся в сторону и укрылся в подворотне. За ним то же сделали другие. В это мгновение в комнату вбежала в волнении горничная Маруся. Затем явился швейцар, уже бывший навеселе. По его словам, это били пулеметы на Невском. Однако он радостно советовал не подходить к окнам.

Тут Наталья Михайловна с ужасом подумала, что Вити нет дома. Она заметалась по квартире, бросилась было к мужу, но остановилась у дверей, Николай Петрович спал — спальня выходила окнами во двор, и там стрельба

была менее слышна. Наталья Михайловна вспомнила о телефоне и принялась звонить товарищам Вити. Везде телефон был занят, приходилось долго ждать соединения. Вити нигде не было. Прислуга ахала. Задыхаясь от отчаяния, Наталья Михайловна уже себе представляла, как по лестнице несут на носилках тело Вити. Вдруг раздался звонок и Витя появился, живой и невредимый. Никаких приключений с ним не было, но он тоже слышал вблизи стрельбу, видел бегущих людей и понял, что дома будут о нем беспокоиться.

Наталья Михайловна набросилась на сына. От шума взволнованных голосов проснулся Николай Петрович. Он чувствовал себя гораздо лучше. Наталья Михайловна сочла возможным рассказать мужу о событиях. Витя привез новости, восходившие через три промежуточные инстанции к Государственной думе. Все партии объединились в общем порыве к освобождению страны. Войска заперты в казармах, очевидно, правительство никак не может на них положиться. Офицерство на стороне народа. Волнение Николая Петровича было радостным, почти восторженным — эти события точно разрешили что-то тяжелое в его личной жизни. Николай Петрович не сомневался в победе страны над правительством. Остаток вечера они провели в спальне втроем в таком сердечном, любовном и приподнятом настроении, которого, быть может, никогда не испытывала их дружная семья. Это в представлении Натальи Михайловны как-то соединилось с происходившими событиями и повлияло на ее отношение к ним.

На следующий день Николай Петрович почти совсем оправился, температура упала до 36 градусов. В городе же начались невиданные и неслыханные дела. Газеты не вышли. Только тут петербуржцы почувствовали, какое огромное место газеты занимали в жизни и какую тревогу вносило в нее их отсутствие. Телефон заработал, передавая самые удивительные известия. Закрылось все: фабрики, магазины, учебные заведения. Но радость и оживление в столице были необычайные. Наталья Михайловна телефонировала друзьям мужа. Разговор о впечатлениях был тоже бестолковый и восторженный. Люди без всякого стеснения говорили по телефону о таких вещах, о которых прежде в тесном кругу разговаривали, понижая голос. Друзья Николая Петровича принадлежали преимущественно к либеральному лагерю. Однако так же восторженно высказался о событиях консерватор Артамонов, считавшийся «несколько правее октябристов». Он еще больше волновался, чем другие.

— Что? Болен? — кричал он по телефону. — Ну, разумеется, пустяки... События-то каковы, а? Давно пора убрать всех этих швабов и германофилов!.. Что?.. Сердечно поздравьте Николая Петровича... Как с чем?.. Уберем господ Штюрмеров и всем народом дружно возьмемся за

войну... Да, впряжемся с новой силой!.. Армия должна сказать свое слово... А? Что?.. Кто говорит?

Наталья Михайловна помнила, что Штюрмер ушел и что у власти находятся люди с русскими фамилиями. Но желание понять происходившие события как патриотический бунт армии против германофилов было, видимо, слишком сильно в Артамонове. В эту минуту с ним соединили кого-то еще. Наталья Михайловна услышала новый взрыв восторженных речей Владимира Ивановича. Она повесила трубку и радостно пошла передавать поздравления мужу.

Все было бы хорошо, если б не Витя. С ним с утра произошел неприятный разговор. Наталья Михайловна решительно заявила, что только сумасшедший человек может в такое время выходить на улицу. Витя не менее решительно ответил, что, если все так будут рассуждать, некому будет вести борьбу.

— Обязанность каждого гражданина приобщиться к делу и принять в нем личное участие, — горячо сказал он.

По существу, Наталья Михайловна ничего возразить не могла, но заперла на замок меховую шапку сына. Это не помогло. Витя, в последние месяцы отбившийся от рук, ушел из дому тайком в летней шляпе. Николай Петрович в ответ на страстную жалобу жены сказал ей, что понимает сына. Наталья Михайловна только махнула рукой. Впрочем, теперь поблизости от их квартиры стрельбы не было слышно и это ослабляло ее тревогу. Однако телефон приносил все более грозные известия. В разных частях города действовали пулеметы. Некоторые, приукрашивая, даже говорили «идут бои» — совсем как в сообщениях ставки. К удивлению Натальи Михайловны, почти все знакомые, к которым она звонила за сведениями, оказывались у себя дома. Позвонила она и к Кременецким, и оттуда ей в том же тревожно-восторженном тоне сообщили новости, шедшие прямо от князя Горенского. В войсках настроение явно сочувственное Государственной думе, ждут с минуты на минуту их перехода на сторону революции. Наталья Михайловна тут впервые услышала в применении к происходившим событиям слово «революция», брошенное твердо, как самое естественное.

— Ну, слава Богу! — сказала она и поделилась с Тамарой Матвеевной своей тревогой. Узнав, что Витя ушел из дому, Тамара Матвеевна ахнула.

— Но как же вы его отпустили? Господи!.. Все сидят дома... Я...

Тамара Матвеевна чуть не сказала, что она утром прямо вцепилась в Семена Исидоровича, который **рвался** в Государственную думу. «Именно теперь ты должен беречь себя... Теперь такие люди, как ты, особенно нужны России!» — сказала она мужу. Семен Исидорович уступил, но почти не отходил от телефона, беспрерывно сносясь с известнейшими людьми столицы.

— Но что же можно было сделать? Он тайком удрал... Ошалел мальчишка, не в чулан же было его запереть! — сказала в отчаянии Наталья Михайловна, тревога которой опять усилилась от слов Тамары Матвеевны.

— Ну, Бог даст, ничего не случится. Но, когда он вернется, заприте вы его и не выпускайте. Это безумие!..

— Милая, — умоляющим тоном сказала Наталья Михайловна, — я ему велю позвонить вам. Скажите вы ему, ради Бога! Пусть ему Муся скажет, она имеет на него влияние... Спасибо, родная. Ну, прощайте... Господи!..

Витя опять вернулся вполне благополучно и даже победителем. Вид у него был измученный и потрясенный, хотя торжествующий. На этот раз он принимал участие в огромном уличном митинге на Невском проспекте, у здания Городской думы. На митинге этом произносились такие речи, от которых в передаче Вити у Натальи Михайловны остановилось сердце. Появилась полиция. В толпе запели одновременно «Марсельезу» и «Вихри враждебные». Произошло столкновение. Откуда-то раздался выстрел, и тотчас затрещали пулеметы. Все бросились врассыпную. На глазах у Вити свалились несколько человек. Витя весь дрожал, рассказывая, хотя старался **спокойно улыбаться.** Он подумывал о том, чтобы обзавестись оружием; у него даже был на примете револьвер, «правда, не браунинг и не парабеллум, а «смит-вессон», но хороший и большого калибра». Наталья Михайловна с ужасом слушала сына. Теперь ей все было безразлично, лишь бы кончились такие дела и вернулась спокойная жизнь. Она сказала Вите, что Муся Кременецкая звонила по телефону и просила ее вызвать. Витя немедленно это сделал. Муся подошла к аппарату, выслушала его рассказ и прочла ему наставление.

— Да, да, если вы хоть немного обо мне думаете, — сказала она и тотчас поправилась, — о нас всех, о ваших родителях... Вы уже исполнили свой долг, и довольно. Сделайте это для меня, Витя, если вы не думаете о себе.

Необыкновенно тронутый и взволнованный ее словами, Витя обещал больше не выходить из дому, пока все немного не успокоится. «Нет, ничего с Клервиллем не было!» Он сдержал слово. На улицах пальба грохотала день и ночь. В соседнем доме разгромили квартиру какого-то генерала. Об этом с тем же торжествующим, даже несколько вызывающим видом рассказывала господам Маруся. Однако в доме Яценко стало спокойнее. Николай Петрович обедал с семьей. Обед был источником веселья. Подавали то, что можно было найти в кладовой да еще в соседней лавке, открывавшейся иногда часа на два: шпроты, «альбертики», ветчину, варенье.

Затем стрельба ослабела. Стали приходить приятели, знакомые; среди них были и такие, фамилий которых не

помнили хозяева. Зашел нотариус, живший в первом этаже дома, никогда до того у них не бывавший. При встрече люди поздравляли друг друга и обнимались, точно это был какой-то вновь установленный обряд. Сначала это показалось Яценко странным и неестественным; потом он привык, первый обнимал друзей и чуть не обнялся с нотариусом. Николай Петрович был совершенно здоров и собирался выйти, но не знал, куда отправиться: о службе не могло быть речи, идти «в гости» не хотелось.

Вечером Яценко сказали по телефону, что горит здание суда. Это столь неожиданное известие потрясло следователя. Он немедленно надел шубу и вышел на улицу, несмотря на протесты и просьбы Натальи Михайловны.

XVIII

Стрельба затихла. На улицах было оживление необыкновенное. Толпы народа валили с Невского по Литейному, по Надеждинской, по Знаменской. Шли и по мостовой, хотя было достаточно места на тротуарах ярко освещенных улиц. Яценко вглядывался в проходивших людей и не узнавал петербургской толпы. Одни шли, как на сцене статисты во время победного марша, другие — так, точно неслись куда-то на крыльях. Восторженное волнение выражалось на всех лицах. У многих было даже **молитвенное** выражение, которое показалось Николаю Петровичу неестественным.

Вид этой толпы немного изменил его настроение. События по-прежнему переполняли его душу радостью, но уже меньше, чем дома. Он еще неясно сознавал эту перемену и несколько ее стыдился. «Нельзя быть впечатлительным, как нервная дама! — сказал себе Яценко. — Все радуются освобождению страны и совершенно правы. Сбылась мечта декабристов, мечта десятка поколений... И все-таки что-то не то... Вот и после взятия Перемышля такая же была радость на улицах — искренняя и не совсем искренняя. Собственно, настоящий восторг может быть только от событий личных», — нерешительно подумал он. Загораживая дорогу Николаю Петровичу, два человека заключили друг друга в объятия. Он раздраженно на них взглянул, пытаясь короткими шажками обойти их то справа, то слева.

— ...Да, как же, у казарм войска **братаются** с народом! — восторженно сказал господин в котиковой шапке. — Я сам видел!..

— Господи, неужели это окончательно? Довелось же дожить!.. Из тюрем выпустили **узников**, которые там **томились...**

«Как, однако, неестественно стали говорить люди, — подумал Яценко, проходя. — Разумеется, прекрасно, что вой-

ска отказываются стрелять в народ, но «братаются»!.. Как это делают? Что такое «братаются»?» Он едва ли не впервые услышал тогда это слово.

Казачий отряд проехал легкой рысью, разрезая проход на улице. Отшатнувшаяся к тротуарам толпа смотрела на казаков с тревожным чувством, как бы еще не выяснив своего отношения к этому явлению. У казаков вид был тоже странный, чуть растерянный и вместе молодцеватый более обычного, словно и они еще не решили, что нужно делать: не то **брататься** с толпою, не то взяться за нагайки. Николаю Петровичу показалось, что и то, и другое одинаково возможно. Казаки свернули в боковую улицу и скрылись. Все вздохнули свободнее. «По Литейному, пожалуй, не пройти,— сказал себе Яценко,— надо выйти на Шпалерную... Не может быть, однако, чтобы сгорел суд...» Он думал о своей камере, о делах, о документах. Вдруг впереди раздались рукоплескания. В одно мгновение они распространились по улице и смешались с криками «ур-ра!..». Справа медленно выезжал грузовик с фонарями и красным флагом. На нем сидели и стояли солдаты с ружьями в самых странных позах: свесив ноги, как с телеги, на коленях, на корточках, во весь рост. Высокий солдат стоял на грузовике, приложив ружье к плечу, несколько прищурив глаз. Рядом с Николаем Петровичем молодые люди с яростью аплодировали изо всей силы и что-то ревели. Яценко вдруг хлопнул раза два в ладоши — на нем были толстые ватные перчатки, аплодировать было невозможно, но и этого случайного поступка он потом долго себе не прощал. Грузовик проехал к Невскому, мимо Николая Петровича прошло дуло ружья, он невольно уклонился с неприятным чувством. Ему навсегда запомнился у фонаря этот высокий скуластый и прыщеватый солдат с фуражкой набекрень, с пулеметной лентой через плечо; лицо у него было тупое, испуганное и злобное. «Нет, не то, не то...» — тоскливо подумал Яценко.

По Шпалерной пройти было легче. Николаю Петровичу попадались в толпе знакомые лица. Он шел довольно быстро. Волнение его все усиливалось по мере приближения к суду. Впереди снова послышались крики «ура!». Приближался странный шатающийся огонь. Николай Петрович увидел молодых рабочих, бежавших по мостовой с **факелом.** У факела, подняв левую руку и оглядываясь по сторонам, неестественно большими шагами шагал человек в тулупе, в правой руке он держал обнаженную саблю. За ним толпа несла на плечах, с трудом поспевая за факельщиками, странно одетых людей, которые кричали и махали шапками, то неловко поднимаясь, точно в стременах, то хватаясь за плечи и шеи несущих. Процессия поравнялась с фонарем. Яценко остановился, лицо его дернулось — среди людей, которых несли на руках, он узнал Загряцкого.

Суд, по-видимому, был подожжен давно. Здание горело изнутри. К небу валил густой рыжеватый дым. Мостовая была засыпана грудами бумаг, осколками стекол. На противоположном тротуаре Литейного стояла толпа. Но никто и не пытался тушить пожар. Здесь было тише, чем на прилегавших улицах. Одно из окон здания ровно светилось бледным светом. Там еще горела уцелевшая лампа, этот ровный свет не могли забыть люди, видевшие пожар суда. На углу Захарьевской Николай Петрович увидел знакомых адвокатов, они озабоченно суетились около больших портретов, прислоненных к стене дома. Яценко, чувствуя слабость и дрожь в ногах, пробрался к углу и поздоровался со знакомыми. Здесь были Кременецкий, Фомин. Семен Исидорович молча, крепко и взволнованно сжал руку следователя. В нескольких шагах от них у фонаря неподвижно стоял Александр Браун. В глазах Николая Петровича скользнул испуг. Браун смотрел на пожар холодным, почти безжизненным взглядом.

— Положительно, злой рок преследует все творения Баженова, — говорил сокрушенно Фомин. — Вспомните Царицынский дворец или Кремлевский... В этом чудесном здании намечалось возвращение к нашему удивительному, еще не оцененному барокко. Я думаю...

— Ах, полноте, до того ли теперь? — сказал, морщась, Кременецкий. Оглушительный треск прервал его слова. Полуовальное окно второго этажа лопнуло, стекло повалилось на улицу. Семен Исидорович схватился за голову. — Все-таки здесь прошла наша жизнь, — сказал он. Голос его вдруг дрогнул от искреннего волнения. Яценко увидел слезы в глазах Семена Исидоровича и почувствовал, что у него у самого подходят к горлу рыдания. «Да, здесь прошла наша жизнь... Может быть, и всему конец... Ведь это Россия горит! — подумал Николай Петрович. Пламя метнулось в окно, изогнулось, лизнуло фреску над овалом, изображавшую какой-то профиль. — Пусть же хоть дети наши будут счастливее, чем были мы!..»

Огонь вырвался наружу и охватил здание, стены, крышу, отсвечивая заревом в небе, освещая невеселый праздник на развалинах погибающего государства.

Бегство

ПРЕДИСЛОВИЕ

Критики называли «Ключ» — «Бегство» историческим романом. Думаю, что это неверно. Во всяком случае, мой замысел был иной: на фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей.

Возьму для примера главы «Бегства», действие которых происходит в Киеве. Едва ли нужно объяснять, что если б я хотел подойти к украинским событиям в качестве исторического романиста,— я очень расширил бы эти главы и построил бы их совершенно иначе. В действительности, моей целью, конечно, не была картина большого и разнородного движения, в котором принимало участие много достойных людей. Мне важно было лишь выяснить, как поведут себя в связи с событиями на Украине некоторые действующие лица романа, оказавшиеся в 1918 году в Киеве.

С гораздо большим правом можно было бы сказать, что я подошел, как исторический романист, к большевизму. Однако и здесь меня меньше интересовали события, чем люди и символы,— очень внимательный читатель заметит и то, что их связывает с моей исторической тетралогией.

К людям «Ключа» — «Бегства» я, быть может, вернусь.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Между двойными стеклами окон осенью не положили ваты, не поставили стаканчиков с серной кислотой. Паркетов не натирали три месяца, субботних уборок не делали. Но работы у Маруси было больше, чем прежде. После смерти барыни горничная ушла, и Маруся осталась у Яценко одной прислугой. Доходы ее от этого не увеличились; на чай теперь почти никто не оставлял; в передней, уходя, гости надевали шубы без помощи Маруси и, стараясь на нее не глядеть, смущенно выходили на улицу. Маруся у дверей строго-пристально на них смотрела, впрочем, больше потому, что этого требовал профессиональный долг. В действительности чувства ее были сложные: ей и жалко было господ, но было и приятно, что все они разорились. Такое же чувство, только еще более тонкое, Маруся испытывала и в отношении Николая Петровича. Соболезнование в ней преобладало: она искренно любила барина, Витю и заливалась непритворными слезами, когда от новой болезни, называвшейся испанкой, скоропостижно умерла Наталья Михайловна (хоть ее прислуга любила значительно меньше). Тем не менее Маруся говорила теперь с Николаем Петровичем грубовато-фамильярным тоном, который прежде был бы невозможен. Жалованья ей давно не платили. Питались они все хуже. Съестные припасы трудно было доставать в Петербурге и за большие деньги, а у них в доме денег было очень мало. Витя завтракал в училище, обедал и жил у Кременецких, которые на время взяли его к себе после смерти Натальи Михайловны. Николай Петрович был теперь ко всему равнодушен. Вид у него был ужасный, — все к нему приходившие говорили это в один голос, чувствуя, что такие слова приятны Николаю Петровичу.

Об ужасном виде Яценко в этот темный зимний день сказал с силой, точно требуя каких-то выводов из своих слов и соответственных действий, Владимир Иванович Ар-

тамонов, забежавший к ним на минуту. В ту зиму 1917—18 гг. люди не просто приходили друг к другу в гости, а забегали на минуту, о чем тотчас, еще в передней, предупреждали, как бы успокаивая хозяев. Это нисколько не мешало оставаться долго, до позднего вечера: делать всем было нечего. Впрочем, и поздний вечер теперь наступал в десять или в одиннадцать. Прежде в эти часы настоящие петербуржцы еще подумывали у себя дома, не пойти ли попозднее куда-нибудь скоротать вечерок. Теперь после полуночи выходить на улицу было неприятно: из уст в уста ежедневно передавались рассказы о ночных нападениях и грабежах в лучших частях города.

Приятели часто бывали у Яценко. Дома никому не сиделось, а к Николаю Петровичу ходить было естественно, никакого предлога не требовалось: приходили его развлекать после случившегося с ним тяжкого несчастья. «Да, доброе дело посидеть с ним, хотя, знаете, бывает и тяжело,— говорили друзья,— ведь совсем разбитый конченый человек...» Развлекали Яценко по-разному: одни старались разговаривать о посторонних предметах, другие, напротив, умышленно говорили о покойной Наталье Михайловне и, в отсутствие Николая Петровича, доказывали, что именно так и нужно поступать: «Что ж с ним о политике разговаривать, это фальшь: у него ведь только покойница на уме и, наверное, ему гораздо приятнее, когда говорят о ней».

Впрочем и те, которые так думали, скоро с воспоминаний о Наталье Михайловне переходили на другой предмет, единственно всех тогда занимавший: говорили о том, что надо уезжать, что «быть Петербургу пусту» (кто-то разыскал и пустил это старинное предсказание), и сообщали новые слухи о **них**, об их делах и намереньях (большевиков в столице называли не иначе, как **они**). Маруся, подав чай без сахара и хрустальную вазочку с вареньем, оставшимся от барыни в большом количестве, у порога открыто прислушивалась к разговорам господ, что, конечно, также было бы невозможно прежде.

— А вот, помяните мое слово, дражайший Семен Сидорович, больше двух месяцев они не продержатся,— горячо говорил Артамонов Кременецкому, тоже зашедшему проведать Николая Петровича.— Два месяца и каюк, попомните мои слова!

— Попомнить попомню и, разумеется, все это мыльный пузырь и препоганый мыльный пузырь,— озабоченно отвечал Кременецкий — а все-таки пора, батенька, на юг. Ведь и два месяца надо как-нибудь прожить... Что ж делать? Болен, болен народ...

Артамонов и Кременецкий прежде никак не стали бы называть друг друга «дражайший» и «батенька». Они и знакомы были далеко не близко.

— На юг! — воскликнул Владимир Иванович и сгоряча взял еще варенья из вазочки, на которую он давно погля-

дывал (ему и хотелось сладкого, и совестно было в голодном Петербурге объедать Николая Петровича). — Чем же на юге лучше?

Завязался спор. Артамонов признавал, что народ болен, но не мог понять, почему он болен только на севере. Семен Исидорович объяснял это историческими причинами, разницей в характере землевладения в Великороссии и на Украине. Спорил Кременецкий очень учтиво, с оговорками в пользу противника, разве только чуть иронически, — так опытный оратор, отвечая в заключительном слове оппонентам, вежливо оговаривается: «вероятно, я выразился недостаточно ясно», давая, однако, понять интонацией, что дело отнюдь не в неясности его выражений, а в глупости его оппонентов.

— Я старый строй не защищаю, — кричал не совсем кстати Владимир Иванович, — многое у нас было худо, но такого, такого у нас с сотворения мира не было!..

— Да кто же говорит? — удивлялся Семен Исидорович. — Я говорю не о старом строе, а о проблеме дня.

— И я о проблеме дня!

— Факт налицо: юг сыт, а север голодает. Марфуша покушай, а Макавей поговей... И уж одно я твердо знаю — это то, что полтавские дядьки ни о каких рачьих и собачьих депутатах слышать не хотят. Поверьте мне, оздоровление придет оттуда, в результате сначала дезинтегрирующего, а потом интегрирующего процесса...

— Да что ваш юг, его и вообще, увидите, не сегодня — завтра целиком оккупируют ваши немцы! — кричал Владимир Иванович. Он все еще ненавидел немцев, но гораздо менее остро, чем прежде, и больше не называл их швабами.

— Юг, если хотите, мой, — с достоинством отвечал Кременецкий, — а немцы так же мои, как ваши.

— Вы как знаете, а я под защиту немецких штыков становиться не желаю!

— И я поверьте, не желаю, но что ж теперь делать? Разве я не говорил с первого дня революции, что этот человек погубит Россию?..

Николай Петрович не раз слышал такие споры с разными вариантами. Он устало слушал и иногда для приличия вставлял несколько слов.

Защитив свой взгляд, Семен Исидорович взглянул на часы и поднялся.

— Однако, пора, девятый час, — сказал он и простился с хозяином, особенно крепко пожав ему руку. Николай Петрович проводил гостя в переднюю и там еще раз сердечно поблагодарил Кременецкого за Витю.

— Верно, он вам в тягость..

— Да что вы, как вам не стыдно! — с чувством сказал Семен Исидорович. — Мы все с ним так сжились, он у нас теперь как родной. И вы знаете, он полезен в доме: бывает,

Муся уходит под вечер, так нам спокойнее, когда он ее провожает: все-таки не одна, вдвоем не так жутко.

— Ну, спасибо... Поблагодарите, пожалуйста, и Тамару Матвеевну. А милая невеста ваша как?.. Когда же свадьба? — спросил устало, с видимым усилием, Николай Петрович. Семен Исидорович развел руками.

— А я знаю, когда? — недовольно ответил он. — За погодьем перевозу нет. Когда война кончится, тогда и свадьба... Если она когда-нибудь кончится, проклятая. Ну, прощайте, дорогой... Ах, да, — добавил он, не совсем естественно заторопившись и поднимая со стула из-под меховой шапки что-то завязанное в бумагу. — Имею поручение, впрочем не к вам, а к Марусе. Жена велела вам сие передать. Мы с оказией получили от родных с юга целое сокровище, — смеясь, сказал он, — так вот малую толику Тамара Матвеевна просит вас принять в презент... Возьмите, Маруся.

— Спасибо большое... Но, право, это лишнее, у нас все есть.

— Как же все? Что вы! Сахару во всем доме ни кусочка, — вмешалась Маруся, с удовлетворением принимая объемистый пакет.

— Не знаю, право, как вас благодарить за вашу любезность.

— Неужели вам не совестно?.. Я вам говорю, мы целую Голконду [1] получили. Хотим даже по сему случаю устроить пир на весь мир, то есть позвать на обед вас и еще двух-трех друзей... Предупреждаю, обед и с Голкондой будет скверный: минули дни счастливые Аранжуэца [2]! Попили их кровушки, правда, Маруся?.. Очень, очень вас просим... И Вите будет так приятно.

— Спасибо...

— Значит, придете... Что ж, дорогой Николай Петрович, надо крепиться и взять себя в руки, — застегиваясь, сказал вполголоса Кременецкий. Он подумал, что в этот день ни разу в разговоре не вспомнил о Наталье Михайловне (Семен Исидорович доказывал, что надо о ней говорить с Яценко). — Близкие уходят, а нам приказывают долго жить. Я уверен, и покойница хотела бы, чтоб вы бодро перенесли это ужасное испытание... Берите пример с Вити. А уж как он ее любил! — сказал Кременецкий тем книжно-плаксивым тоном, которым теперь обычно говорили с Яценко. — Так до скорого свиданья...

Он вынул заложенную в левую перчатку ассигнацию и сунул ее Марусе, которая очень его выделяла из числа гостей.

---

[1] Государство в Индии (XVI—XVII вв.), славилось добычей алмазов.

[2] В Аранхуэрсе (Испания) произошло восстание, результатом которого было отречение монарха и отставка премьер-министра.

— До свиданья, Маруся... Если что нужно, протелефоньте.

Семен Исидорович поднял воротник, вышел, тут же забыв о Николае Петровиче, и кликнул извозчика. Экипажа у него с октября не было.

Яценко вернулся в столовую. Артамонов тоже с ним простился. Он и задержался для того, чтобы не выходить с Кременецким, которого все-таки недолюбливал, несмотря на сблизившую их общую петербургскую беду.

— И вы уходите? Спасибо, что зашли, Владимир Иванович,— безучастным голосом сказал Яценко. Артамонов взглянул на него и вдруг вспомнил Наталью Михайловну, прежний милый дом, где так были рады гостям. «Да, здесь кончено,— тоскливо подумал он.— А может, везде кончено, и старое никогда не вернется...»

— Ну, прощайте, дорогой друг,— сказал он, крепко стиснув руку Николаю Петровичу.

На кухне Маруся развернула пакет. Там было два фунта прекрасного сахара-рафинада, кофе, конденсированное молоко. Она с особым удовольствием разложила все так, как лежало при Наталье Михайловне, когда были полны стоявшие на полках фаянсовые коробки с надписанными названиями продуктов. Маруся собиралась уходить, но, не удержавшись, тут же поставила на огонь воду, насыпала кофе в мельницу и привычным движением принялась вертеть ручку. Это доставило ей такое удовольствие, что она нарочно медленно вертела, то открывая, то закрывая полукруглую крышку, под которой понемногу опускалось зерно. Когда ручка пошла легко, впустую, Маруся вытащила из мельницы ящик, с наслаждением понюхала ароматный коричневый порошок и сварила кофе. Она налила себе стакан, выпила, улыбаясь от радости, горячего кофе с двумя кусками сахару, с полной ложкой конденсированного молока. Затем поставила другой стакан с сахарницей на поднос и торжественно понесла в кабинет барина.

Николай Петрович лежал на диване. Он теперь и спал в кабинете. Вместо ночного столика у дивана стоял табурет, покрытый газетным листом, который никогда не менялся.

— Кофе принесла,— сказала Маруся радостным и гордым тоном.

— Спасибо... Поставьте сюда.

— Сейчас бы выпили... Горячий...

— Да, я сейчас выпью... Вам нужно что-нибудь?

— Денег на завтра дайте... В лавке будут с утра давать сало, если не врут,— взволнованно сообщила Маруся.— Свиное топленое по четыре двадцать, скотское по два пятьдесят.

Яценко вынул желтую ассигнацию.

— Хватит?

— Как же может на все хватить? — кисло сказала Маруся. — Ну, да я скотское куплю, самую малость.

— Да, скотское. Больше ничего? — «Прежде не говорили скотское сало, — подумал он. — Все и в мелочах стало грубее»...

— Больше ничего... А я сейчас ухожу, Николай Петрович, — сообщила для сведения Маруся и удалилась в свою комнату, не дожидаясь ответа. Яценко, наверное, разрешил бы Марусе уйти, но она не прочь была показать, что теперь никаких разрешений не требуется.

В своей комнате Маруся принарядилась, затем достала из ящика листок сероватой плотной бумаги: приглашение на бал. Наверху листка было от руки написано: «Развеселая танцулька», а внизу: «Цена пять рублев». Но Маруся не платила: ей в подарок прислал билет знакомый матрос. Одевшись, осмотрев себя в зеркало, припудрившись пудрой барыни, она потушила свет и обошла квартиру. Везде все было благополучно. Маруся спустилась по черной лестнице и вышла из дому, вздрагивая от холода и волненья: на улице было жутко.

II

Николай Петрович тотчас после февральской революции был назначен по своему ведомству на видную должность четвертого класса. Быстрый скачок по службе его смутил, — особенно неловко было перед старыми сослуживцами. Но в ту пору посыпалось очень много самых неожиданных назначений, и скрытое раздражение против адвокатов, сразу захвативших самые видные посты, было столь велико среди деятелей суда, что свой человек, хотя бы получивший необычное повышение, почти не вызывал недовольства. Никто вдобавок не мог обвинить Яценко в подлаживаньи к новому правительству: его давняя репутация либерала была всем известна.

Октябрьский переворот положил конец службе Яценко. С этим событием почти совпала по времени смерть Натальи Михайловны. Таким образом сразу разбилась и личная жизнь Николая Петровича, и жизнь внешняя, налаженная двадцатипятилетней привычкой.

Яценко проводил дома почти весь день. Хуже всего было по утрам: он просыпался в восьмом часу с чувством нестерпимой, смертельной тоски. Днем, после обеда, приходил Витя, потом являлись гости. Длинное утро было нечем заполнить. Николай Петрович много читал, преимущественно философские книги.

Вскоре после октябрьской революции ему пришлось продать часть библиотеки: книжный кооператив любителей взялся ее продать на выгодных условиях. Прежде расстаться с книгами было бы для Николая Петровича делом немыслимым. Теперь это сошло много легче, — чуть неловко

было перед Марусей и перед теми знакомыми, которые находились в лучших условиях. Откладывая в ящик толстые томы Чичерина, Градовского, Соловьева, Николай Петрович припоминал, когда и где он приобретал эти книги, как заботливо отдавал их в прочный полукожаный «с углами» переплет; он прежде надеялся, что книги эти будет когда-либо читать и Витя. Николай Петрович снимал книги с полок и заботливо укладывал их в ящик, подбирая сходные по формату томы. В правом углу ящика между двумя горками образовался глубокий провал, пригодный для книг большого формата. Яценко рассеянно окинул взором полки, подыскивая, что бы такое сюда положить. По размеру очень подходили тома «Handwörterbuch der Staatswissenschaften» [1], — стоявшие на третьей полке. Вдруг воспоминание полоснуло болью Николая Петровича: словарь был подарен ему Наташей ко дню его рождения. Он страстно хотел купить это издание, но стоило оно дорого, и Николай Петрович все не решался на покупку. Наталья Михайловна изо дня в день в течение месяцев копила деньги и, собрав нужную сумму, тайком выписала словарь, название которого едва ли могла произнести. «Из тех грошей, что я ей давал на туалеты... И это для того, чтобы как-нибудь меня порадовать, — сказал себе Николай Петрович. Рыдания подступили у него к горлу. — Да, такова была вся ее жизнь: я и Витя, Витя и я, никогда ничего, ничего для себя... Какие у нее были свои радости?..» Николай Петрович вдруг беззвучно заплакал, склонившись над ящиком и опустив голову на руки.

За книгами под вечер пришел бородатый человек в никелевых очках. Сконфуженно потирая руки — совершенно так, как актеры изображают застенчивых ученых, — он назвал себя представителем кооператива и тотчас стал рассказывать, какие люди, — князья, сенаторы, профессора, — теперь должны продавать библиотеки. «Я ведь понимаю, с библиотекой часть души уходит», — книжной фразой выразил он чувства вполне искренние. По этим словам, по сконфуженному виду представителя кооператива Николай Петрович понял глубину своего социального падения.

О том, что придется делать, когда разойдутся деньги, вырученные от продажи книг, Яценко старался не думать. Они и так берегли каждый грош и жили чуть только не впроголодь. Это было одной из причин, почему Николай Петрович согласился на временный (теперь все было временное) переезд Вити к Кременецким. Ему было неловко и совестно, но он понимал, что в доме Тамары Матвеевны мальчику будет во всех отношениях гораздо лучше. Николай Петрович не без горечи думал, что Витя сравнительно легко перенес их несчастье. «Да, юность, юность», — говорил себе со вздохом Яценко.

[1] «Карманный словарь политических наук» *(нем.)*.

Кременецкие, особенно Тамара Матвеевна, приняли живейшее участие в горе Николая Петровича. Витя был принят у них как родной сын. Семен Исидорович, тоже почти не занятый теперь, приезжал к Яценко два-три раза в неделю. Тамара Матвеевна беспрестанно звала к себе Марусю и давала ей то белую муку, то колбасу, то консервы. Из деликатности она часто брала за эти продукты деньги, «по своей цене», но всегда выходило так, что стоили они баснословно дешево.

Другие приятели тоже очень тепло отнеслись к горю Николая Петровича. Ему казалось, что в общей беде люди стали добрее. Приходили к нему даже мало знакомые люди. Так, однажды пришел Александр Браун. Этот неожиданный гость был чрезвычайно неприятен Яценко, — он сам не вполне понимал, почему именно. Вид у Брауна был, впрочем, в самом деле жуткий, и немногочисленные слова его дышали злобой. В тот вечер, когда он зашел, вскоре после кончины Натальи Михайловны, у Николая Петровича было несколько человек гостей. Говорили о новой болезни, пронесшейся в то время по всей Европе. Кто-то заметил, что процент смертности от испанки ничтожен.

— Если бы болезнь эта была смертельной, — сказал с усмешкой Браун, — в ней по крайней мере было бы возможно увидеть «перст карающей судьбы». Но как-то трудно допустить, что за грехи небывалой войны Провидение покарало нас — инфлуэнцой.

Гости замолчали. Это замечание показалось им бестактным и неуважительным в отношении Николая Петровича, у которого испанка унесла жену.

— Ах, неверие, неверие, — сказал со вздохом Кременецкий, — пора все это пересмотреть. Ведь современная наука не стоит на точке зрения материализма и позитивизма, это давно пройденная человечеством ступень. Будущее мыслится мне как своеобразный высший синтез научного и религиозного мышления... Лично я давно пришел к вере в Бога, — сказал Семен Исидорович, ободряя Николая Петровича и как бы свидетельствуя, что вера в Бога отныне не может считаться признаком отсталости, если лично он к ней пришел.

— При виде того, что творится... — начал было Яценко и не докончил. — А вы? — спросил он Брауна.

— Пока Господь Бог меня не лишит рассудка я в Него не поверю, — ответил, засмеявшись, Браун.

И опять резкость, бестактность этих слов, особенно этот неприятный, почти грубый смех кольнули всех гостей. «Атеизм с остротами, очень дешевая вещь», — подумал тоскливо Яценко. Браун тотчас встал и простился.

Николай Петрович выпил кофе, затем снял бархатное покрывало с дивана и сел на постель в раздумьи, безжизненно опустив голову на грудь. «Где же люди, с которыми

прошла моя жизнь? — спросил себя он. — Тот говорил: «часть души»... Да что же осталось теперь от моей души?.. Умер отец, умерла мать, сестра. С Наташей исчезло остальное, главное... Что осталось? Политика, служба... Выдуманный мир... Друзья детства? — Он вспомнил киевскую гимназию, радости, жгучие интересы тех дней, катящиеся вниз по улицам весенние потоки, залитый майским солнцем Царский Сад... — Кажется, никого больше нет... Может быть, иные где-либо и доживают свой век, как я. Для меня и они умерли... Кроме Вити никого и ничего нет... Да и ему я больше не нужен...» Николай Петрович припоминал все то тяжелое, что выпадало в жизни на его долю, служебные неудачи, личные обиды, разочарования в людях, которых он считал приятелями, клевету, мерзкие сплетни, пускавшиеся о нем, как обо всех, — это казалось ему теперь совершенно ничтожным. Но почти столь же ничтожным казалось ему теперь и все, что еще могло ждать его в жизни. «Ничего, ничего не осталось, — думал он, и холод все рос в его душе. — Кажется, уж и недолго ждать... Пора, пора», — сказал себе Яценко, взглянув на фотографию Натальи Михайловны, стоявшую на табурете у дивана. Николай Петрович подумал, что именно тогда, когда он смотрел на портрет жены, да еще на кладбище у ее могилы, ему всего труднее было обратить свои мысли к Наталье Михайловне: самые скорбные, щемящие душу воспоминания всегда приходили случайно.

— Да, пора, — повторил он вслух и, вздрогнув, принялся раздеваться. На табурете, вокруг лампы, уже были привычные места для часов, ключей, бумажника. Слева в углу оставалось ничем не занятое место, и там, в старом номере газеты, Николаю Петровичу неизменно бросались в глаза одни и те же строки:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: «Да, иду умирать» и т. п.».

III

Семен Исидорович с некоторой растерянностью отнесся к помолвке своей дочери: уж очень было странно, что Муся выходит замуж за английского офицера. Осложнялось дело еще и денежным вопросом. О приданом Муси теперь говорить было затруднительно. Состояние Кременецкого было вложено в государственные бумаги и в акции надежных частных предприятий. Еще год тому назад близкие люди знали, что Мусе назначено в приданое не менее ста тысяч рублей, скорее сто пятьдесят тысяч, а если потребуется, то и все двести. В 1917 году эти цифры потеряли прежнюю внушительность. За доллар приходилось платить

пять думских рублей. Никто не сомневался, что столь чудовищный курс не может продержаться долго. Однако именно теперь, как раз тогда, когда было нужно, приданое Муси выражалось в иностранной валюте невзрачной, неприятно звучащей суммой, — как назло, в Англии была такая крупная валютная единица. После октябрьского переворота дело стало еще сложнее. Правда, Семену Исидоровичу незадолго до восстания большевиков удалось, при любезном посредстве Нещеретова, перевести часть состояния в Швецию.

Жизнь Семена Исидоровича шла (хоть он об этом никогда не думал) по двум главным, параллельным линиям: по линии идейно-общественной и по линии материальных интересов. Кременецкий пользовался в делах репутацией человека безукоризненного. Однако свои интересы он всегда умел отстаивать и ограждать превосходно. Так, разговаривая с богатыми клиентами, из которых иные были связаны с ним и по общественной работе, Семен Исидирович очень легко, без всякого видимого усилия, даже почти бессознательно, переходил с одной линии на другую, если беседа вдруг перескакивала с общих вопросов на дела. Линии эти скреститься не могли: то, что Кременецкий иногда со вздохом называл своим «общественно-политическим служением», никак не мешало ему брать с богатого клиента максимальный гонорар, который клиент мог заплатить по роду дела, по своему состоянию и по своему характеру. Не мешало оно Семену Исидоровичу и получать по льготной цене разные учредительские или другие паи в предприятиях его богатых клиентов. В связи с войной прежде строго параллельные линии грозили скреститься. В первые годы войны в обществе относились несочувственно к переводу денег в нейтральные страны; да это было и запрещено. Однако по мере того, как шли события, Семен Исидорович задумывался: переводить деньги за границу было неловко (впрочем, делалось это в секрете); но и оставаться без средств до той поры, пока доллар не будет снова стоить два рубля, Семену Исидоровичу не улыбалось. Летом 1917 года Нещеретов предложил ему комбинацию, при помощи которой, без серьезного нарушения закона, можно было перевести деньги в шведский банк. Семен Исидорович высказал сомнение, — допустимо ли это по соображениям политическим. Нещеретов вытаращил глаза и с беспокойным любопытством подумал, что, вероятно, Кременецкий имеет возможность переводить деньги за границу по лучшему курсу.

В сентябре сомнения Семена Исидоровича рассеялись: у него была семья. Сумму денег он перевел довольно порядочную, однако выкроить из нее приданое для Муси было трудно. Семен Исидорович вздохнул свободнее, когда жених его дочери как-то в разговоре дал понять, что ему ничего не нужно. Из того же разговора выяснилось, что Клер-

вилль, будучи лично человеком не очень богатым, должен со временем получить наследство от чудачки-тетки, у которой было восемь тысяч фунтов годового дохода. Это сообщение чрезвычайно порадовало Кременецких. Семен Исидорович увидел в нем что-то английское: в его кругу никто не получал наследства от теток, — все имели детей, жен, мужей. Нечто приятно-английское было и в определенности самой цифры, — восемь тысяч фунтов в год: в Петербурге большинство богатых людей никак не могло бы назвать цифру своего дохода: один год — шальные деньги, другой — сидишь с чистым убытком. Кременецкие с ласково-сочувственными улыбками слушали рассказы майора о причудах старой тетки. Выяснилось, что ей семьдесят два года: это тоже было хорошо. Был разговор о деньгах и вечером в спальне Кременецких.

— Он прекрасно понимает, что ты не обидишь Мусю, — говорила мужу Тамара Матвеевна, зная, как ему неприятно отсутствие приданого у дочери. — Рано или поздно все ей достанется, мы с собой не унесем... Все говорят, что за Заем Свободы уж всякое правительство заплатит полным рублем. И потом акции банков, ведь это все равно, что золото!

— Конечно... Нет, это прекраснейший человек, из самого лучшего общества, и джентльмен с головы до пят! — бодро говорил Семен Исидорович. — Муся будет с ним очень счастлива...

Тамара Матвеевна поддакивала и вздыхала.

Нещеретов бывал в доме Кременецких очень редко. Говорили, что его увлеченье госпожой Фишер превратилось в связь, довольно дорого стоившую Аркадию Николаевичу: спорное наследство Фишера находилось под секвестром, и его вдова нуждалась в деньгах. А после октябрьского переворота ее права вообще стали довольно сомнительной ценностью. Несмотря на помолвку Муси, Кременецкие в душе не прощали Нещеретову того, что он не оправдал их надежд. Но они поддерживали с ним добрые отношения, чтобы никто и подумать не мог, будто они хотели выдать Мусю за «этого толстосума».

Общественное положение Семена Исидоровича не выросло в последний год. Он не сделал политической карьеры в пору Временного правительства. Несмотря на его связи и популярность, еще увеличившуюся в связи с юбилеем, никакого поста Семену Исидоровичу не предложили. Друзья настойчиво намекали в правительственных кругах, что Кременецкий, вероятно, согласился бы помочь правительству личным трудом. Однако из этого ничего не вышло. Семен Исидорович небрежно говорил, что никакой должности не принял бы, так как настоящий адвокат должен оставаться на своем посту. Он иронически отзывался о своих коллегах, ставших сенаторами или товарищами минист-

ра, и охотно, со всякими расписываньями, передавал анекдоты о новых сановниках, об интригах, ходатайствах, забеганьях с заднего крыльца, предшествовавших их назначению. О самом Временном правительстве Кременецкий уже летом отзывался с большой горечью, а с осени называл его «преждевременным правительством».

Октябрьская революция выбила Кременецкого из колеи, как всех. Семен Исидорович старался бодриться, однако очень нервничал, оставшись без дела. Нервничала и Тамара Матвеевна, поддаваясь, как всегда, настроениям мужа. Правда, им было гораздо лучше, чем большинству их знакомых. Некоторые прямо голодали. По доброте своей и по общему с мужем радушию, Тамара Матвеевна подкармливала друзей, находившихся в особенно трудном положении. Делали это Кременецкие незаметно, со всей возможной деликатностью, — деликатность так их самих умиляла, что они даже ее преувеличивали, как в обращении с Витей. Тамара Матвеевна видела, что им живется много лучше, чем другим; но она чувствовала, что Семен Исидорович так жить долго не может: работа, судебные речи, общественная жизнь, отзывы в газетах ему были необходимы, как воздух.

В эту пору одно небольшое обстоятельство, случившееся год тому назад, странно сказалось в жизни Кременецкого. Незадолго до своего 25-летнего юбилея Семен Исидорович получил билеты на концерт, устроенный украинской организацией, и, находясь в особенно добром настроении духа, послал тогда устроителям пятьдесят рублей. В этой щедрости организация усмотрела сочувствие Кременецкого. С тех пор ему часто посылались разные билеты, приглашения, брошюры. У Семена Исидоровича понемногу завязались украинские связи. Сам он родился в Вильне, но родители его были родом из Малороссии и гимназию Семен Исидорович окончил в Харькове. Прежде Кременецкий в разговорах об украинском движении обычно со смехом рассказывал, что в малороссийском переводе монолог Гамлета начинается словами: «буты чи не буты, от то заковыка». Теперь он избегал шуток на эту тему.

В ноябре один из новых знакомых принес Семену Исидоровичу с таинственным видом какую-то бумагу и долго с ним после того беседовал. В этой бумаге, называвшейся третьим универсалом, говорилось: «Народ украинский и все народы Украины! На Севере и в столицах идет междоусобная и кровавая борьба. Центральной власти нет. И по всему государству растут безволие, анархия и разруха. Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими оказать помощь всей России. До созыва Украинского учредительного собрания вся власть принадлежит нам, Украинской центральной раде, и правительству нашему — Генеральному секретариату Украины»...

С этого дня в разговорах с приятелями Семен Исидорович часто, с озабоченным видом, обращал их внимание на «чрезвычайно любопытный документик, Третий универсал Центральной Рады». Приятели изумленно его переспрашивали: никто не знал ни что такое Рада, ни что такое универсал, ни какие были два первые универсала. Семен Исидорович отвечал на эти вопросы быстро и сбивчиво.

— Это не суть важно, — говорил он, показывая документ, — и не в словах дело. А вот обратите, дражайший, внимание: «не отделяясь от республики Российской»... и «силами нашими оказать помощь всей России». Это не фунт изюма!

IV

Свадьба Муси была отложена на неопределенное время, что очень волновало Мусю. Она по-прежнему была влюблена в Клервилля. Тем не менее ей порою было с ним трудно и даже скучно. Приходилось подыскивать темы для разговора. Этого с Мусей никогда не бывало: она со всеми говорила, как Бог на душу положит, и всегда выходило отлично, — по крайней мере так казалось и ей, и ее друзьям.

В мире внешнем от того, что все называли блестящей победой Муси, оставались уже привычные радости: так, Глафира Генриховна лишний раз пожелтела, когда ей сказали, что Клервилль единственный наследник 72-летней богачки-тетки. «Это, конечно, приятно, но я все-таки не могу прожить жизнь назло Глаше», — говорила себе Муся. Из-за войны и политических событий почти не было приготовлений к свадьбе, подарков, заказов, скрашивающих жизнь и убивающих время. В мире же внутреннем над основой влюбленности (часто не менее страстной, чем прежде) у Муси росли неожиданные чувства. Спокойного уверенного счастья не было. Ей трудно было бы себе сознаться, что в ее сложных чувствах над всем преобладал страх, — страх перед тем неизвестным, что ее ждало.

— Когда же «enfin seuls»?[1] — ядовито спрашивала Глаша.

Муся смущенно смеялась.

— На следующий день приходи за интервью, — говорила она как бы небрежно и тотчас меняла разговор. Об «enfin seuls» Муся думала дни и ночи. Бывали минуты, когда ей хотелось, чтобы брак ее расстроился, но расстроился сам собою, лишь бы не по ее собственной воле. «Пусть все будет и дальше как было до сих пор!» — иногда со страхом и отчаяньем говорила себе Муся, забывая, как прежде тяготилась своей беззаботной жизнью. Это настроение быст-

[1] Наконец одни *(фр.)*.

ро проходило — Муся сама себя ругала «неврастеничкой» и «психопаткой». «Но ведь я **была** влюблена?» — спрашивала себя Муся и с ужасом себя ловила на этом «была». «Да нет же, и теперь все как раньше», — решительно твердила она. Все и в самом деле было как раньше, однако не совсем как раньше. Сомнения в успехе рассеялись, дело было закреплено. Клервилль стал как бы ее собственностью. Теперь надо было научиться тому, как с этой собственностью обращаться.

Больше всего Муся боялась за Клервилля, боялась, что он в чем-либо поступит не так: «сразу разрушит все», — тревожно думала она. Порою, когда они оставались вдвоем, ей стыдно было смотреть в лицо жениху, — она боялась тех мыслей и чувств, которые ему приписывала, боялась и того, что он прочтет ее собственные мысли и чувства. Иногда этот страх и стыд сказывались с такой силой, что Муся, отправляясь с женихом в ресторан, в театр, на выставку, к удивлению и легкому неудовольствию Клервилля, приглашала кого-либо из своего кружка.

Говорить с полной откровенностью Муся не могла ни с кем. Мысль об откровенной беседе с матерью пришла бы Мусе последней. С Глашей, с которой ее связывала многолетняя дружба-ненависть, в теории, «вообще», все было обсуждено также и на тему «enfin seuls», с разными подробностями, — не исключая довольно грубых. Теперь, когда Муся стала невестой, пришлось бы говорить уж не «вообще», а о Клервилле. Это было бы неловко, да и неделикатно, тем более, что у самой Глафиры Генриховны совершенно не удался роман с молодым адвокатом, которым она очень интересовалась. По словам Никонова, атака Глаши на адвоката, как наше наступление в Галиции, была отбита с уроном благодаря широко развитой сети железных дорог в тылу у противника: адвокат уехал из Петербурга. Муся весело смеялась этой шутке, уже почти забыв, что недавно она сама была в таком же положении, как Глаша, в трудной роли барышни, с беззаботным видом ловящей жениха.

— То ли дело, Мусенька, вы! Экой Перемышль штурмом взяли! — сказал Никонов.

— Перемышль очень доволен.

— Об этом мы его спросим годика через два... Что быть ему с легким украшением на голове, — с маленьким, — это, Мусенька, верно.

— Григорий Иванович!..

— Ну, что «Григорий Иванович»? Правду я говорю, Мусенька, мне ли вас не знать? Так ему, разумеется, и надо. Gott, strafe England! [1] — ужасно произнося немецкие слова, сказал со свирепым лицом Никонов. Он обращал в шутку накопившееся в нем раздражение. Это раздражение льстило Мусе, как ей льстили душевные страдания Вити.

---

[1] Боже, покарай Англию! *(нем.)*

С Витей, особенно после его несчастья, она была чрезвычайно ласкова и нежна. В сравнении с той жизнью, которая перед ней открывалась, будущее Вити представлялось бедным и тоскливым. Мусе было очень его жаль: она искренно любила Витю. «В сущности я их всех люблю,— думала Муся в лучшие свои минуты (настроение менялось у нее беспрестанно),— все-таки жизнь прошла с ними, и, надо признать, прошла не так плохо...» Мысль о том, что она покидает свое общество навсегда, угнетала Мусю. Она хорошо знала своих друзей, по природе лучше замечала в людях дурное и особенно смешное, чем хорошее. Прежде Мусю раздражали снобизм Фомина, неискренность Березина, мрачная ограниченность Беневоленского. Теперь даже они казались ей людьми хорошими, вполне порядочными. «Никонов, князь, эти просто прекраснейшие, благородные люди, а Витя и Сонечка — очаровательные дети. Но и те, право, милы, хоть не без слабостей, конечно, как все мы, грешные...» Только Глаша продолжала раздражать Мусю,— напоследок, быть может, еще больше, чем прежде.

Витя жил у Кременецких уже довольно долго. Для него революция пришла как раз вовремя. Он сам себе говорил, что «целиком ушел в общественную жизнь для того, чтобы забыться от жизни личной». К политической свободе очень кстати присоединилась собственная свобода Вити, как раз в ту пору им завоеванная. Витя состоял в разных комитетах и вошел в школьную комиссию по изучению военно-дипломатических вопросов. В этой комиссии он прочел доклад. Полемизируя с «крайностями Милюкова», Витя доказывал необходимость довести войну до победного конца в полном единении с союзными демократиями, однако борясь с чужими и собственными аннексионистскими тенденциями (от Дарданелл Вите отказаться было нелегко). Его доклад имел большой успех, принята была резолюция Вити,— правда, с существенной поправкой оппозиции,— и он был избран для связи в центр по объединению всех учащихся средне-учебных заведений,— предполагался Всероссийский съезд. Ни в какой политической партии Витя не состоял. Он смущенно говорил товарищам, что примыкает к правым эсэрам, не во всем, однако, с ними сходясь. Вопрос о необходимости вступить в партию очень беспокоил Витю. К концу лета он было решил формально примкнуть к правым социалистам-революционерам (как и все, он не замечал забавности этого сочетания слов). Но как раз в училище прошел слух, что Александр Блок «заделался левым эсэром». Это смутило Витю: он боготворил Блока. А потом стало уже не до партий.

Октябрьского переворота Витя вначале почти не почувствовал,— так все у них в доме было в те дни захвачено и раздавлено скоропостижной смертью Натальи Михайловны.

Когда Кременецкие предложили Николаю Петровичу отпустить сына к ним, Витя слабо протестовал, не желая оставлять отца, однако скоро уступил настоянию старших. Втайне ему страстно хотелось поселиться у Кременецких: мысль о том, что он будет жить в одной квартире с Мусей, очень его волновала. Это волнение стало почти мучительным, когда ему отвели комнату рядом со спальной Муси.

Кременецкие отнеслись к Вите с необыкновенной заботливостью и вниманием. В его комнату поставили большой письменный стол, кресла, диван. Тамара Матвеевна все беспокоилась, не будет ли ему неудобно,— Витя отроду не имел таких удобств. Вначале предполагалось, что он переезжает к Кременецким «на время». Но прошел месяц-другой, и не видно было, когда и почему это «на время» должно кончиться: жизнь нисколько не налаживалась; все хуже и мрачнее становилось и существование Николая Петровича. Витя никого не стеснял у Кременецких, ему все были рады. Муся же прямо говорила, когда он заикался об отъезде: «Это еще что? Ни для чего вы не нужны Николаю Петровичу, ему с вами было бы еще тяжелее. Пожалуйста, выбейте глупости из головы, никуда вас не отпустят...»

У Вити от этих слов Муси сладко замирало сердце. После октябрьской революции общественная жизнь ослабела, и его любовь зажглась с новой силой. Тенишевское училище начинало пустеть, товарищи и соперники Вити разъехались. Сообщения в городе стали труднее. Витя выходил гораздо меньше.

С Клервиллем ему было тяжело встречаться. В обществе англичанина Витя бывал мрачен и молчалив, что доставляло наслаждение Мусе. Особенно задевало Витю то, что Клервилль совершенно не замечал его ревности и был с ним очень любезен.

Зато, когда жених Муси уезжал (он уезжал из Петербурга очень часто), Витя оживал, Кременецкие теперь ложились спать рано. Муся с Витей часто подолгу вдвоем засиживались в гостиной. С ним Мусе всегда было и легко, и приятно, и интересно. Она небрежно ему говорила, что он, конечно, мальчик, но мальчик очень умный. С той поры, как репутация ума была Мусей за ним признана, Витя больше не старался быть умным, от чего очень выигрывал.

Как-то вечером Муся, жалуясь на холод в гостиной, предложила перейти в ее комнату. Постель там уже была постлана. Входя в комнату Муси, Витя из всех сил старался не покраснеть и потому покраснел особенно густо. Это тоже доставило Мусе наслаждение. Кутаясь в шаль, она села у пианино.

— Ну-с, а вы тут садитесь на ковер,— приказала Муся, чувствуя свою безграничную власть над юношей. Было совсем как в театре,— любимое ощущение Муси. Разговор не

завязывался. Но это ее не тяготило; с Клервиллем молчание всегда выходило неловким.

— Так вы в самом деле поедете потом в Индию? — спросил тихо Витя.

Муся, не отвечая, задумчиво на него смотрела. И его тихий голос, и ее задумчивое молчание тоже были как в театре.

— Ну, что ж, вы скоро поступите в университет, станете большой, у вас начнется новая, интересная жизнь, — сказала она как будто некстати, а в сущности отвечая на его мысли. Муся вдруг подняла крышку пианино.

— Скажите, вы не знаете, что теперь делает этот Браун? — будто так же некстати, без всякой связи в мыслях, спросила она и, не ожидая ответа, заиграла «Заклинание цветов»: «E voi — o fiori — dall' olezzo sottile...» — едва слышно, точно про себя, пела Муся. Окончив музыкальную фразу, она взглянула на Витю, улыбнулась и резко захлопнула крышку пианино, — только зазвенел хрусталь на бронзовых подсвечниках. Муся сама уже почти не чувствовала, где у нее начинается театр. Витя сидел на ковре, с лицом измученным и бледным. Муся быстрым ласковым движением погладила его по голове.

— Что, милый? Взгрустнулось?.. О Наталье Михайловне вспомнили? — спросила она.

Муся знала, что Витя совершенно не думал в эту минуту о матери, и Витя понимал, что она это знает. Но эта комедия его не оскорбила и, невольно ей поддаваясь, он сделал вид, будто Муся верно угадала его чувство.

V

Особняк Горенского на Галерной улице был вскоре после октябрьского переворота захвачен для какого-то народного клуба, и князь остался без квартиры. Такая же участь постигла доктора Брауна: гостиница «Палас» была реквизирована большевиками. По случайности, Браун и Горенский очутились в одном доме: им обоим предложил гостеприимство Аркадий Нещеретов. По столице ходили слухи, что во все слишком просторные квартиры будут вселены большевики, и богатые петербуржцы старались заблаговременно поселить у себя приличных людей.

Дом Нещеретова был вначале только взят на учет. Контора в первом этаже продолжала работать, но работала она очень плохо, — «на холостом ходу», как говорил хозяин. Поддерживались некоторые старые дела, однако и они чахли с каждым днем. Большинство служащих уже было уволено.

Нещеретов при Временном правительстве стал ликвидировать свои многочисленные предприятия. Дела тогда еще кое-как можно было вести, но они больше не доставляли ему удовольствия. Все стало непрочно. Хозяин не был

хозяином, закон не был законом, контракт не был контрактом, рубль не был рублем. Не доставляла прежнего удовольствия и самая нажива. Исчезло все то, о чем прежде мало думал заваленный работой Нещеретов и что само собой должно было к нему прийти рано или поздно: чины, ордена, придворное звание, Государственный Совет. В марте люди, захлебываясь от искреннего или деланного восторга, повторяли, что жизнь стала сказочно-прекрасной. Для Нещеретова же она с первых дней революции стала серой и неинтересной. Тонкий инстинкт подсказывал ему, что надо возможно скорее переводить капиталы за границу, — и он это делал. Имел он возможность уехать за границу и сам. Но Нещеретов кровной любовью любил Россию, не представлял себе жизни на чужой земле и в глубине души предполагал, что все поправится. Как все могло бы поправиться, об этом он не думал, и уж совсем не находил, что улучшение дел в какой бы то ни было мере могло зависеть от него самого. Наведение порядка было чужим делом. А так как люди, им занимавшиеся, явно его не выполняли, то Нещеретов с лета 1917 года усвоил весело-безнадежный иронический тон, точно все происходившее доставляло ему большое удовольствие. Он любил рассказывать о происходивших событиях. Говорил он хорошо, но, как большинство хороших рассказчиков, слишком пространно и потому несколько утомительно. Вежливый князь слушал его с повисшей на лице слабой улыбкой усталости. Браун обычно вовсе не слушал.

Деньги Нещеретов переводил за границу безостановочно на свое имя. Собственно, деньги эти принадлежали не ему, а банку и акционерным предприятиям, которыми он руководил. Люди, осведомленные о переводных операциях Нещеретова, в недоумении пожимали плечами, а старый финансист, его давний недоброжелатель, с подчеркнутым, преувеличенным негодованием говорил всем по секрету, что этот блеффер должен неминуемо кончить арестантскими отделениями. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что Нещеретов ничего явно противозаконного не делал. «Комар носу не подточит», — энергично утверждал один из ближайших помощников Аркадия Николаевича.

Вскоре после октябрьского переворота в контору Нещеретова явились комиссары для ревизии дел. В отличие от других банкиров, он встретил комиссаров очень любезно, с тем же весело-безнадежным видом, сам предложил взглянуть на книги и показал целую гору книг, в которых разобраться было, очевидно, невозможно. В течение двух часов, угощая гостей чаем и папиросами, он объяснял им значение своих дел и, под конец беседы, получил от комиссаров свидетельство о том, что в делах гражданина Нещеретова все оказалось в полном порядке. В конторе после этого почти ничего не изменилось; лишь процесс перевода денег в Швецию еще несколько ускорился.

Почти ничего не изменилось и во втором этаже дома. Нещеретов продолжал жить богато, доставая за большие деньги все, вплоть до свежей икры и шампанского. Но он и шампанское пил с весело-безнадежным видом. Говорил он теперь зачем-то деланно-прикащичьим языком и своих новых жильцов называл тоже как-то странно: «сэр» или «пане». Особенно иронически относился Нещеретов к Горенскому, — быть может, потому что князь, человек очень богатый, остался после октябрьской революции без гроша: он денег за границу не переводил, да и в России ничего не догадался припрятать.

Хозяин и гости не стесняли друг друга и обычно встречались только по утрам, в столовой.

— Вчера проезжал я, сэр, по Галерной улице, — ласково сказал Горенскому Нещеретов, наливая себе чаю. — Славный у вас был домик, а? Совсем хорош домик...

— Мда, — неопределенно ответил князь.

— Кажется, товарищи им довольны. Ну, и вам, верно, очень даже приятно, что ваше добро досталось народу...

— Если б мое добро действительно досталось народу, — сказал, вспыхивая, Горенский, — я, поверьте, нисколько не возмущался бы. Но дело идет не о народе русском, а о насильниках, о захватчиках, о разных псевдонимах, которые...

— Да я ничего и не говорю, — тотчас согласился Нещеретов. — Хоть, правду сказать, мне и невдомек, отчего же вы сами, сэр, до революции не отдали домик русскому народу? Ну, приют бы какой устроили для деток, а? И садик ведь есть... Премилый бы вышел приют...

— Мой дом дедовский... А вы почему своего не отдали?

— Я? — изумленно переспросил Нещеретов, поднимая брови чуть не до волос. — Помилте, зачем же я отдам хамью свое добро? У меня не дедовское... Горбом наживал, да вдруг возьму и этой сволочи отдам!.. Разве это я хотел революции, сэр? Разве это я у Семы на банкете говорил такую распрекраснейшую речь?

— Вот, вот!.. Позвольте вам сказать, что те самые люди, которые считали народ хамьем и сволочью, которые держали его в невежестве и в рабстве, те и довели Россию до нынешнего состояния... И они же теперь валят с больной головы на здоровую! Временное правительство виновато? Да?

— Помилте, князь, кто же валит? Хоть, конечно, неважнецкое было правительство... И название экое выбрали глупое: «временное правительство». Точно не все правительства временные! Ну, естественно, и оказалось оно уж очень временное... Что?.. Масла не угодно ли, князь? — ласково предлагал Нещеретов. — А вот кого, правда, жаль, это N... N... (он назвал фамилии богатых министров Временного правительства). N., говорят, отвалил два милли-

она на революцию. Теперь, кажись, сидит, горемычный, в крепости... В крепость при проклятом царском строе и дешевле можно было попасть, а? Жаль малого. Правда, пане профессорже?

— Совершенная правда, — подтвердил Браун, допивая чай.

— Профессор с нами и спорить никогда не изволил, потому знал, что придет Учредительное Собрание и уж оно все как следует рассудит. И большевиков прогонит, и немцев прогонит. Такая уж, почитай, силища!

— Одно я чувствую, — сказал с жаром Горенский, обращаясь к Брауну, — это то, что стыдно глядеть в глаза союзникам. Теперь нам двадцать пять лет нельзя будет носа показать в Париж: разорвут на улице, услышав русскую речь!

— Если победят немцы?

— Увы, не надо быть пророком, чтобы теперь это предвидеть с уверенностью... Подумайте, когда освободилась вся их сила и тиски блокады разжались с открывающейся для немцев богатой житницей Украины, они неминуемо должны задавить союзников, как задавили нас.

— На союзников мне в высокой степени начхать — вмешался снова Нещеретов. — А нас как же было не задавить? У них Вильгельм, малый совсем не глупый, а у нас батрацкие депутаты... Но позвольте, я что-то не пойму, — опять начал он, изображая на лице крайнее изумление. — Ведь вы, сэр, хотели революции? Вы Бога должны благодарить, что все так хорошо, по справедливости, вышло...

— Барин, вас спрашивают, — доложил Брауну вошедший лакей.

— Кто?

— Дама. Фамилии не сказали... Сказали, что вы их знаете.

— Не иначе, как знаете, — игриво произнес Нещеретов. — Пане профессорже, и зала, и гостиная к вашим услугам.

— Благодарю вас... Что ж, попросите эту даму в гостиную.

— Слушаю-с.

В распорядке дома Нещеретова ничего не изменилось. Лакеи ходили во фраках и выражались так же, как в былые времена.

Дама была на вид лет тридцати пяти, худая, невысокая, некрасивая. С улыбкой на желтоватом лице она повернулась к входившему Брауну и особенно-энергичным быстрым движением протянула ему руку.

— Ах, это вы? — до невежливости равнодушно сказал Браун.

— Не ждали?

— Врать не стану, не ждал...

— И неприятно удивлены? — полушутливо спросила дама, видимо, несколько смущенная приемом.

— Отчего же неприятно? — не слишком возражая, переспросил Браун. — Садитесь, пожалуйста, Ксения Карловна.

Они сели.

— Вы как узнали, где я теперь живу?

— Случайно. В нашей Коллегии работает один субъект, который, кажется, ваш приятель...

— Какой субъект и в какой коллегии?

— По охране памятников искусства и истории... Некто Фомин.

— Он мой приятель?.. Так вы охраняете памятники искусства и истории?

— Как видите... Мы не такие уж вандалы.

— Много работаете?

— Очень много... Как мы все.

— Вы все — это коллегия или партия?

— Партия... Александр Михайлович, — сказала дама, — позвольте обратиться к вам с просьбой...

— Сделайте одолжение.

— Я прошу вас, ну, очень прошу, оставьте вы ваш враждебный тон. К чему это? Ведь вы знаете, как я вас ценю и люблю...

— Покорнейше благодарю.

— Вы знаменитый ученый, мыслитель с широким общественно-политическим кругозором, ну, пристало ли вам относиться по-обывательски к нам, к партии, к ее огромному историческому делу...

Лицо Брауна дернулось от злобы.

— Вы, Ксения Карловна, быть может, пришли обращать меня в большевистскую веру? Так, зашли в гости, поговорили четверть часа с «мыслителем», вот он и стал большевиком, да?

— Нет, столь далеко мои иллюзии не идут... Хоть как бы я была счастлива, если б вы вступили в наши ряды!.. Александр Михайлович, давайте раз поговорим по душам, — с жаром сказала Ксения Карловна.

— Нет, уж, пожалуйста, мою душу оставьте. Давайте без душ говорить... У вас ко мне дело?

Дама невесело улыбнулась.

— Я думала, что в память наших давних добрых отношений вы меня примете лучше... Есть ли у меня к вам дело? И да, и нет...

— Не понимаю вашего ответа, — с возраставшим раздражением сказал Браун. — «И да, и нет»... По-моему, да или нет.

— Ну, да, есть дело... Мне поручено сказать вам, что если вы захотите, мы предоставим вам самые широкие возможности научной работы, такие, которых вы, быть может,

не будете иметь нигде в буржуазных странах Запада. Мы вам дадим средства, инструменты, выстроим для вас лабораторию по вашим указаниям, по последнему слову науки. Одним словом...

— А не можете ли вы вместо всего этого дать мне заграничный паспорт? Для отъезда в буржуазные страны Запада.

— Вы хотите уехать из России? Почему же?

— Да уж так... Знаете, в Писании сказано: «вот чего не может носить земля: раба, когда он царствует, и глупца, когда он насытится хлебом»... Жизнь меня слишком часто баловала вторым: зрелищем самодовольных дураков. Но, оказалось, первое гораздо ужаснее: «Видел я рабов на конях, и князей, ходящих пешком»...

— Вам не совестно это говорить? — взволнованным голосом сказала Ксения Карловна. — Мы положили конец рабству, а вы нас этим попрекаете! Вы, вдобавок, и не князь и никакой не аристократ, что ж вам умиляться над обедневшими князьями?

Браун засмеялся.

— Очень хорошо, — сказал он, — очень хорошо... Вы, очевидно, к моим словам подошли с классовой точки зрения. Самое характерное для большевиков — плоскость (Ксения Карловна вспыхнула). Среди вас есть люди очень неглупые, но загляни им в ум — в трех вершках дно; загляни им в душу — в двух вершках дно. А если еще добавить глубокое ваше убеждение в том, что вы соль земли и мозг человечества!.. — Браун махнул рукой. — Спорить с вами совершенно беополезно и так скучно!.. Большевистская мысль опошляет и тех, кто с ней спорит.

— Как же мне было вас понять? — сказала, видимо, сдерживаясь, Ксения Карловна. — Рабство категория экономическая... Не скрываю, я от вас ждала все-таки другого. Ваш хозяин, выстроивший эти хоромы, может так говорить, но не вы!

— Мой хозяин — «глупец, насытившийся хлебом», но он тут ни при чем. Он по крайней мере свою глупость никому насильно не навязывает. Вашей же партии я предсказываю бессмертие: такой школы всеобщего опошления никто в истории никогда не создавал и не создаст... Да, помимо всего прочего, большевистская партия — это гигантское общество по распространению пошлости на земле, — вроде американского кинематографа, только неизмеримо хуже. Людям свойственно творить гнусные дела во имя идеи, — здесь и вы, быть может, не побьете рекорда. Но иногда идея бывала грандиозной или хоть занимательной. А у вас и самой идее медный грош цена.

— Это идея раскрепощения человечества, не больше и не меньше! Как же не медный грош цена! «Занимательного», разумеется, немного, но мы...

— Полноте, все политические деятели работают на человечество, уж тут вы торговой монополии не получите... Ваши идеи, вот они,— Браун взял со стола газету.— Нет, и не трудитесь выбирать: загляните в любой столбец, ваша идея везде. Ее поймет без всякого труда и обезьяна. А уж пуделю она покажется, быть может, слишком элементарной... Почитайте, почитайте,— сказал он, нервно тыча рукой в газету.— Я когда-то в Париже, в минуты мрачного настроения, останавливался перед киосками на бульварах: газеты всех направлений, газеты на всех языках, тут и серьезное, тут и юмор, тут и политика, тут и литература.— «Какой ужас! —думал я: —девять десятых ложь, и все духовная отрава!»... Теперь, по сравнению с вашей печатью, мне передовик «Petit Parisien» кажется Шопенгауэром, а репортер «Daily Mail» — Декартом... Глупое есть такое слово, которому очень повезло в нашей литературе: «мещанство». Господи, какое мещанство вы породите в «самой революционной стране мира»! Ну, просто европейским лавочникам смотреть будет любо и завидно. А тогда вы все свалите на перспективу: посмотрим, мол, что люди скажут через пятьсот лет? Это очень удобно, и вы, вдобавок, будете правы, ибо и через пятьсот лет много будет дураков на свете.

— Я вижу, что вы очень раздражены,— сказала сухо Ксения Карловна,— и, если на то пошло, добавлю, что это характерно: бесстрашие философской мысли и отвращение к политическому действию. Безошибочный признак житейского дилетантизма, забвение всего того, чему вы служили...

— Чему я служил,— перебил ее Браун,— это вопрос другой и довольно сложный. Во всяком случае вашим сослуживцем я никогда не был и мне, слава Богу, в отставку подавать не надо. А вашей партии,— продолжал он (лицо его было бело от злобы),— вашей партии я в сущности могу быть только благодарен. Я не имел больше никаких почти интересов в жизни. Вы, как юношам у нас в провинции учителя гимназии, вы дали мне жизненную цель. Плохенькую, но дали!..

— Бороться с нами будете? Тогда, пожалуй, не очень конспиративно мне об этом заранее заявлять,— сказала со слабой улыбкой Ксения Карловна.

— Обязаны донести?

— Обязана, но не донесу, хотя бы потому, что не очень мы боимся дилетантов.

— Ну, вот, все сказано. Бросим в самом деле этот разговор.

— Хорошо, бросим... Как же вы живете?

— Ничего, слава Богу. Угла своего, благодаря вашему правительству, не имею. Как видите, живу в гостях.

— На недостаток комфорта, кажется, вы пожаловать-

ся не можете? — сказала Ксения Карловна, обводя пренебрежительным взглядом богатую гостиную.

— Да, да... А вы как устроились?.. Ведь я вас только раза два видел мельком со времени вашего возвращения из-за границы. В газетах что-то читал о товарище Каровой и вспомнил, что это была ваша кличка...

— Мы так с вами разошлись в политическом отношении, что я не решалась вас тревожить.

— Помнится, мы никогда не были близки в политическом отношении. Вы всегда были большевичкой.

— С самого основания партии, — с гордостью подтвердила Ксения Карловна. — А вы всегда были «Озлобленный ум»... Кажется, так кто-то шутит у Тургенева?.. Я, однако, посещала в Париже ваши лекции не только с удовольствием, но и с пользой.

— Еще раз благодарю... А знаете, с кем я здесь познакомился? С вашей... С госпожой Фишер, женой вашего отца.

— Она меня весьма мало интересует, — холодно-презрительно сказала Ксения Карловна.

— А сам ваш отец вас интересовал? Что ж вы меня о нем не спросите? Ведь я с ним встречался в последние месяцы его жизни...

— Мы были чужие друг другу люди. Не стану притворяться неутешной дочерью... Я принимала отца как существующий факт.

— А деньги существующего факта вас интересовали?

— Однако это уж... Вы очень не любезны!

«Если вы только теперь это заметили», — хотел было ответить Браун, но удержался. Он смотрел на Ксению Фишер со злобой и с насмешкой. «И весь твой большевизм от безобразной наружности», — подумал он.

— Любезность никогда моей специальностью не была, а теперь, я думаю, она и вообще отменена, — сказал Браун. — Когда вы освободите человечество, постарайтесь его еще немного и облагородить. Очень повысятся другие ценности. Скажем, например, ум или хотя бы наружность? С этим ведь и ваша партия ничего не поделает. Сытые захотят стать красавцами, всего не нивелируешь, правда?

— Это замечание, извините меня, сделало бы честь Кузьме Пруткову, — сказала, вставая, Ксения Карловна.

— А то все, все фальшь, — продолжал Браун, тоже вставая. — О красоте говорят уроды, о любви к людям злодеи, об освобождении человечества деспоты, об охране искусства люди, ничего в искусстве не понимающие. Неудачники и посредственности построят новую жизнь на пошлости и на обмане... Так вы уже уходите, Ксения Карловна? Очень рад был вас повидать...

Ксения Карловна взглянула на него, наклонила голову и быстро направилась к выходу.

VI

Кружок Муси скучал. Развлечений в Петербурге оставалось все меньше. В театры никто не ходил. Говорить было не о чем: писатели не писали книг, художники не выставляли картин, никто не заказывал туалетов, новых сплетен было мало; как старыми туалетами, кое-как перебивались старыми сплетнями, да и то без оживления, — почти все подобрели. Старшие говорили только о большевиках; но так как относительно большевиков все в общем сходились, то и это было скучновато. Муся легче переносила скуку, чувствуя себя отрезанным ломтем. Другие же участники кружка упали духом. Князь Горенский больше не вносил с собой обычного оживления. Он, как говорил Никонов, быстро скис под живительными лучами светлого февраля. У не подобревшей Глафиры Генриховны забота о замужестве, теперь все менее вероятном, превратилась в навязчивую идею. Никонов обыкновенно бывал мрачен, когда оставался без копейки. Вздыхала даже Сонечка Михальская. Была она и немного влюблена, — не то в Витю, не то в Клервилля, не то в Березина, — скорее всего в Березина. Березин теперь бывал у Кременецких редко, отговариваясь тем, что живет он далеко.

Веселее других был Фомин. Он после революции вошел в состав коллегии по охране памятников искусства и на этом основании поселился в Зимнем Дворце. Дворцом Фомин очень охотно угощал добрых знакомых, причем показывал его так, точно прожил в нем всю жизнь или по крайней мере всегда был там своим человеком. Жил он сначала в третьем этаже, в одной из квартир, выходивших во Фрейлинский коридор (эти квартиры Фомин называл «сьютами»). Там он свел знакомство со старыми фрейлинами, которые еще не успели выехать из дворца, ибо деться им было некуда. С ними Фомин тоже разговаривал так, точно вся их жизнь прошла в одном тесном кругу. Фрейлины лишь приятно удивлялись неожиданной любезности, прекрасному воспитанию этого молодого человека, появление которого было в их памяти связано с потопом, обрушившимся на царскую семью, на них, на дворец, на Россию. Понемногу эта связь изгладилась у старых фрейлин из памяти; некоторые из них стали даже думать, что, быть может, Фомин вправду был своим человеком и как-то случайно лишь в пору революции появился в Зимнем Дворце: теперь ведь все было так странно и необычайно. Позднее фрейлины разъехались, а после октябрьского переворота помещения третьего этажа были заколочены и самому Фомину пришлось съехать. Однако, как чуждый политике человек и незаменимый специалист, он поладил с новым начальством коллегии. Интересы искусства это оправдывали. Фомину предоставили уже не «сьют» [1], а просто комнату в первом этаже дворца.

[1] Номер «люкс» *(англ.)*.

— Кто не видел того, что краса и гордость революции проделала с покоями второго этажа, тот ничего не видел, — говорил Фомин за чаем у Кременецких. Чай был подан в будуаре Тамары Матвеевны, которая теперь часто, к большому своему удовольствию, проводила время с молодежью. Прежде Муся этого не потерпела бы; но она напоследок была гораздо внимательнее и ласковей с матерью, зная, каким горем будет разлука с ней для Тамары Матвеевны. Впрочем, порывы нежности беспрестанно сменялись у Муси раздражением. «Бедная девочка, как она нервна!» — думала огорченно Тамара Матвеевна.

— Когда же вы нам все это покажете? — спросила Глафира Генриховна.

— Ах, да, Платон Михайлович, миленький, покажите нам дворец, — тотчас взмолилась Сонечка.

— С наслаждением...

— Когда? Когда?

— Когда вам будет угодно.

— Знаем мы это «когда вам будет угодно»... Вы сто лет нам обещаете и танцульку показать, когда нам будет угодно. Нам угодно завтра, вот что!

— С наслаждением.

— Что с наслаждением: дворец или танцульку?

— Странное сочетание, Сонечка. Но, si vous ytenez [1], и то и другое.

— Что вы, Сонечка! Побойтесь Бога! — вмешалась Тамара Матвеевна. — Про дворец я ничего не говорю, если Платон Михайлович берется вам показать, но как же вам идти на какую-то ихнюю танцульку? Там все эти матросы и хулиганы... Говорят, что там делаются ужасные вещи!

У Сонечки глаза так и загорелись.

— Да нет, Тамара Матвеевна, вы совершенно ошибаетесь, уверяю вас.

— Тамара Матвеевна, сжальтесь над Сонечкой, ей так хочется посмотреть танцульку.

— Но ведь это поздно вечером! Помилуйте, господа, разве теперь можно возвращаться ночью... Это безумие! Позавчера старика Майкевича ограбили в двух шагах от Невского.

— Ну, что вы, мама, — сказала Муся чуть раздраженным тоном (Тамара Матвеевна тотчас испуганно на нее взглянула). — То старик Майкевич, а то мы. Кто же нападет на компанию из десяти человек?

— Могу вас уверить, Тамара Матвеевна, никакой опасности нет, — вмешался авторитетно Березин. — Слухи об ограблениях очень раздуваются. Разве прежде не было уличных нападений? Разве не грабят людей каждый день в Париже или в Чикаго? В одном уж надо отдать полную справедливость нынешнему правительству: с уголовными

---

[1] Если вам так хочется *(фр.)*.

преступниками оно не церемонится и расправляется с ними беспощадно.

В словах Березина не было ничего особенного, тем не менее они вызвали легкий холодок. Все замолчали. Сонечка изменилась в лице. Березин, по слухам, разговаривал с ними о каких-то гигантских театральных планах и в последнее время настойчиво твердил, что искусство по природе своей вполне аполитично.

— Разумеется, никакой опасности нет,— прервала молчанье Муся.— Итак, решено, вы нам устраиваете это на завтра, Платон Михайлович?

— Нет, право, это неудачная мысль,— продолжала слабо протестовать Тамара Матвеевна.— Гораздо лучше соберитесь завтра все у нас. Сидите за чаем хоть до поздней ночи,— предложила она, сразу забыв об опасности поздних возвращений домой: возвращаться надо было не Мусе.— А мы с Семеном Исидоровичем вам мешать не будем, мы теперь рано ложимся,— поспешно добавила Тамара Матвеевна.

— Что вы, Тамара Матвеевна, вы нас обижаете! Нам будет гораздо приятнее, если вы пробудете с ними весь вечер,— любезно возразил Фомин. Муся на него покосилась.

— Одно другому не мешает,— сказала она.— Мы придем сюда после танцульки... Мама, готовьте для нас ужин.

— Ça, c'est fort! [1] Разве можно, Марья Семеновна, в такое время взваливать на милую хозяйку такое бремя?

— Беневоленский, слышите? Он от волненья заговорил стихами: такое время, такое бремя.

— Как monsieur Jourdain faisait de la prose [2].

— Это можно было предвидеть, Платон Михайлович, что вы сейчас скажете о monsieur Jourdain,— вставила Глафира Генриховна.

— Господа, я очень рада. Нам будет очень приятно, а не бремя,— сказала Тамара Матвеевна.— Непременно все приходите возможно раньше, поужинаете, чем Бог послал.

— Ах, это будет мило!

— Но право, вам слишком много беспокойства.

— Зачем вы себя мучите?

Тамара Матвеевна уверяла, что ей никакого беспокойства не будет. Она только, к сожалению, не обещает роскошного ужина.

— Недавно один господин приехал из Киева,— со вздохом добавила Тамара Матвеевна,— и, представьте, он рассказывал Семену Исидоровичу, что там лавки ломятся от птицы, от сливок, от пирожных!

---

[1] Это уж слишком! *(фр.)*

[2] Господин Журден говорил прозой *(фр.)*.

— Не может быть!

— Сон какой-то!

— Господа, тогда я предлагаю следующее, — сказал Фомин. — Встреча у меня, во дворце, завтра в восемь часов. Я вам покажу, что можно, затем мы отправимся на танцульку, а оттуда к этим милым расточителям и безумцам.

— А как же вас искать во дворце?

— На Детской половине, разве вы не знаете? Вход с Салтыковского подъезда.

— Это, кажется, со стороны сада?

— Ну да, ну да, — снисходительно пояснил Фомин. — Кого же еще надо предупредить? Мосье Клервилль в Москве, значит только Никонова и князя?

— Никонов обещал сегодня к нам зайти, я ему скажу. А вот Горенский... Господа, кто даст знать князю?

— Если хотите, я могу, — поспешно сказала Глафира Генриховна. — Я буду в тех местах завтра утром; могу сказать Алексею Андреевичу или забросить ему записочку.

— Вот и отлично, — ответила Муся, улыбнувшись чуть заметно, но все же улыбнувшись (это от Глаши не могло скрыться). Муся догадывалась, что Глафира Генриховна стала с некоторых пор подумывать о князе Горенском: в общей катастрофе начинали сглаживаться социальные различия. Муся желала, чтоб Глаша вышла замуж, и даже искренно (почти совсем искренно) сожалела о неудаче ее замыслов, связанных с адвокатом. Но Муся не могла желать, чтобы Глаша вышла за князя Горенского, — это было бы слишком блестящим делом. «Она заела бы Алексея Андреевича... Ну, да ничего из этого, разумеется не выйдет. Глаша — княгиня! — думала Муся. — Пусть она сделает среднюю приличную партию»...

— А вы как, милый Витя? — спросила она.

— Я не пойду, — ответил, скрыв вздох, Витя. Ему очень хотелось пойти со всеми, но траур этого не позволял.

— Разумеется, он не может, что ж и спрашивать? Было бы по меньшей мере странно, если б он пошел, — сказала Глафира Генриховна.

— Собственно почему? В сущности это так условно, — начала Тамара Матвеевна, которой очень хотелось развлечь мальчика. — Я Семену Исидоровичу и Мусеньке всегда говорила и говорю: когда я умру, умоляю никакого траура не соблюдать.

— Мама, перестаньте, пожалуйста. Что ж, если Вите тяжело идти с нами... Ну, хоть ужинать будем все вместе, — утешила Витю Муся.

— Ради Бога! — глубоким грудным голосом сказал взволнованно Вите Березин, складывая у груди ладони. — Ведь я еще не выразил вам сочувствия в этой ужасной утрате. Ради Бога, простите!.. Я был так тогда поражен кончиной Надежды Максимовны...

— Натальи Михайловны, — поправила Муся.

— Натальи Михайловны, виноват, я обмолвился... Надеюсь, ваш батюшка бодро перенес это тяжелое испытание?.. Всем, всем тяжело, — заметил с глубоким вздохом актер. — А все-таки жизнь обольстительно-прекрасна! В какое необыкновенное время мы живем! Александр Блок, я слышал, говорит о таинственной музыке революции. Как я его понимаю! — с силой сказал Березин, и опять за столом почувствовался холодок.

— Значит, решено, завтра в восемь все у вас, Платон Михайлович, — сказала Муся. — Господа, и, пожалуйста, хоть раз в жизни не опаздывать.

— А может быть, и Нещеретова пригласить? — в отместку Мусе за улыбку предложила Глафира Генриховна. — Алексей Андреевич ведь живет у него в доме.

— Ах, лучше без Нещеретова, — сказала пренебрежительно Тамара Матвеевна. — Зачем он вам? Это ведь малоинтеллигентный человек. Теперь надо оставаться в своем кругу.

— Но ведь он у вас, кажется, часто бывал, дорогая Тамара Матвеевна.. Впрочем, я нисколько не настаиваю.

— Платон Михайлович, билеты на танцульку и все прочее вы, значит, берете на себя? — спросила Муся.

— Беру на себя, как ваш верный слуга.

— Что такое «все прочее»? — с глубокомысленной усмешкой вмешался молчавший все время Беневоленский.

— Я говорю: билеты.

— Вы сказали «билеты и все прочее». Что такое «все прочее»? Ну-с?

— Nuss heisst deutsch [1] орех... Теперь уже разрешаются немецкие каламбуры.

— Но желательны все-таки несколько более новые, — сказала Глафира Генриховна.

VII

Фомин исполнил свое обещание добросовестно и чуть ли не два часа водил своих гостей по Зимнему Дворцу, называя безошибочно залы, указывая главные их особенности. Первое впечатление было сильное; потом все немного утомились и уже без прежнего оживления следовали за Фоминым: он шел впереди, зажигая и гася у дверей свет в пустынных залах.

— А я бы не хотела здесь жить. Неуютно, — сказала Сонечка.

— Как, милая Сонечка, вы не хотели бы быть царицей? — спросил Фомин. — Ну, что ж, тогда мы не настаиваем. Но, помните все же, таких огромных зал, как главные залы Зимнего Дворца, в мире найдется немного.

— Будто? — усомнился Никонов.

[1] Нус по-немецки (*нем.*)

— Уж вы мне поверьте, Григорий Иванович. Конечно, Зеркальная галерея в Версале, Тронный Зал в Дольма-Бахче... И, разумеется, Бюльшой Царскосельский, тот я ставлю в художественном отношении выше... Вы не устали, mesdames?

— Как не устали? Очень устали.

— Еще бы не устать!.. И у меня в голове все ваши залы спутались.

— Немудрено: во дворце больше тысячи комнат.

— Не может быть!

— Как пусто и мрачно! Заколдованный замок.

— А где мы сейчас?

— Уже забыли, Сонечка? Это Концертная.

— Мне больше всего нравится Малахитовый зал,— сказал Горенский.

— Где это Малахитовая зала? Я забыла.

— Рядом с Арапской.

— А Арапская это рядом с Малахитовой.

— Bon[1], я вижу, что надо кончать осмотр,— сказал Фомин.— Итак, пройдем еще через Николаевский зал, затем вниз ко мне — и hinaus, ins Freie[2].

Гости послушно пошли за Фоминым. Проходивший седой лакей в серой тужурке окинул их укоризненным взглядом и, отвернувшись, сердито поправил загнувшуюся грязную дорожку.

— Вот они, мученики новых порядков! — сказал, смеясь, Фомин.— Я в аристократической среде не встречал таких убежденных монархистов, как дворцовые лакеи.

Они вошли в Николаевский зал. Фомин повернул выключатель. Гости остановились, подавленные сверхъестественными размерами зала.

— Холодом веет, мертвечиной,— произнес Березин.

— Я бывал здесь на балах в ранней молодости, когда был пажем,— сказал с легким вздохом князь Горенский.

— Ах, я и не знала, что вы воспитывались в Пажеском корпусе, князь,— заметила томно Глафира Генриховна, закатывая глаза.

— Да, в Пажеском. Но затем поступил в Университет, на естественный факультет.

— Так вы и естественник?

— Так точно. Окончил университет в тысяча девятьсот втором году.

— А в тысяча девятьсот четвертом, но не Университет, а выдержал государственный экзамен при Демидовском лицее,— сообщил Никонов.

— Разумеется. Там, кажется, было правило: ничего не делать.

— Правила не было, но я ничего не делал и горжусь этим.

---

[1] Хорошо *(фр.)*.

[2] На волю *(нем.)*.

— Кто не трудится, тот не ест.

— Может быть, поэтому я и жил студентом впроголодь, рублей на двадцать пять в месяц. Но знамя неучащейся молодежи всегда держал высоко... Меня из двух гимназий выгнали.

— Господи! За что?

— За лень и за дерзости.

— Узнаю вас, Григорий Иванович,— сказала ласково Муся.

— Мерси. Затем выгнали меня и из Петербургского университета, но это уже за политические беспорядки.

— Так вам и надо. Очень хорошо сделали, что вас выгнали,— пропела Сонечка. У нее с Никоновым была на словах кровная вражда.

— Господа, автобиографии рекомендую отложить на другое время, как они ни интересны,— сказал Фомин.— Лучше полюбуйтесь тем, что видите.

— В этом великолепии есть и некоторое безвкусие,— сказал Березин.

Муся смотрела на огромный зал, с любопытством представляя себе картину придворного бала. «И все это так и прошло мимо меня... Вивиан представлялся королю, но это не то... Где у королей нет настоящей власти, там двор тот же театр или маскарад. **Этого** больше нигде не будет»...

Муся чуть ли не с первых дней революции стала сожалеть о монархии, о дворе, и с вызывающим видом говорила это друзьям. Фомин с ней соглашался, не то шутливо, не то серьезно. Горенский сердился,— особенно вначале. Никонов был по правилу республиканцем среди монархистов и монархистом среди республиканцев. «Наш милейший парадоксалист Григорий Иванович»,— снисходительно говорил о нем Кременецкий.

— Если бы вы пришли ко мне в гости в первые дни после переворота,— сказал Фомин,— я прежде всего показал бы вам царские покои, в которых похозяйничала в октябре краса и гордость революции. Теперь многое там приведено в порядок. Надо было это видеть тогда! Все было разбито, пол был усеян стеклом, хрусталем, фарфором, окна выбиты, шкафы взломаны, картины загажены, бумаги разорваны,— быть может, документы огромной ценности. Я поднял рукоятку шпаги, из нее они выковыряли бриллианты! В комнатах Николая I от сквозного ветра носился тучами пух: краса и гордость, видите ли, сочла нужным сорвать материю с подушек, им на онучи пригодится... Господи, что они там выделывали! Я сам видел икону с выколотыми глазами...

Все замолчали.

— Да, очень еще много злобы в людях,— с мягким вздохом произнес Березин. Князь холодно на него посмотрел.

— Мерзавцы! — сказал он. — Несчастная родина наша... Я не отрицаю и нашей доли вины, — продолжал Горенский, обращаясь преимущественно к Глаше, которая слушала его с восторженным вниманием. — Народная дикость — исторический грех России, в котором мы повинны меньше, чем другие, однако повинны и мы, я этого не отрицаю.

— Виноват, я никакой вины за собой не чувствую, — ответил Никонов. — Я дворца не громил и никого не призывал громить.

— Ах, ради Бога, перестаньте! — морщась от его иронического тона, сказал князь. — И я, как вы догадываетесь, не призывал, а вы думаете, мне легко?.. Особенно здесь, где видишь перед собой былое великолепие России. Как никак, в этом заколдованном замке прошло два столетия нашей истории.

— Это кинематографический эффект: дворец до вас, дворец после вас... Я говорю о нашей интеллигенции, вот символ ее кратковременного владычества.

— Тогда позвольте вас спросить, — начал, бледнея, Горенский. Но Муся тотчас прервала разговор, принявший неприятный характер.

— А вы знаете, друзья мои, — сказала она, — в сущности то, что мы делаем, очень неделикатно. Зашли в чужой дом и бесцеремонно глазеем, как жили хозяева... Сонечка, что вы делаете? Вы с ума сошли!

Сонечка вдруг повернула выключатель. Все потонуло в темноте. Глафира Генриховна испуганно вскрикнула и схватила за руку князя. Фомин зажег снова свет и погрозил Сонечке пальцем.

— Вот я сестрице скажу.

— Почему чужой дом? — возразил Мусе Никонов. Он возражал всем по привычке и немедленно забывал то, что говорил четверть часа тому назад. — Почему чужой дом? Все это принадлежало и принадлежит русскому народу.

Князь махнул рукой. Фомин засмеялся.

— Разумеется... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», — саркастически сказал он.

Фомин повел их боковыми ходами и коридорами, все время гася и зажигая свет. Открывались таинственные лесенки, полускрытые в стенах двери. Муся все время представляла себе дам в пышных туалетах из «Пиковой дамы», мужчин в великолепных мундирах.

— Это все растреллиевских времен? — спросила она. Фомин улыбнулся.

— Нет, увы! от Растрелли осталось после пожара немного, — ответил он. — Это теперь **их** царство... Днем здесь хозяйничают они. Тут разные канцелярии.

Он остановился возле одной из дверей и, тихо засмеявшись, показал на висевший лист бумаги. На нем очень большими красивыми буквами, старательно выведенными писарскою рукою, было написано: **Предизиум.** Дальше следовало что-то еще, с новой строки, буквами поменьше.

— Этот предизиум я надеюсь как-нибудь заполучить в свою коллекцию. Для нашего будущего Carnavalet [1].

— Так у них все... Какой-то сплошной предизиум! — сказал князь. — Но чего нам будет стоить этот опыт в живом теле страны!

— Господа, ради Бога! Мы изнемогаем.

— Полцарства за стул.

— Сейчас, сейчас, теперь уже два шага.

В комнате Фомина все было в образцовом порядке. За ширмами стояла постель. На столе были аккуратно разложены книги, портфели, папки. Уютно горела под абажуром маленькая лампа на столе.

— Ах, как у вас хорошо!

— Первая жилая комната.

— Душой отдыхаешь после этих зал, от которых отлетела жизнь, — подтвердил Березин.

— Ужасно мило, не уйду от вас! — воскликнула Сонечка, падая в мягкое кресло. — Нет, просто прелесть. Кто это, Платон Михайлович? — спросила она, показывая на стоявший на столе портрет старой дамы.

— Это моя покойная мать.

— Красивая какая... Как ее звали?

— Анастасия Михайловна.

— А девичья фамилия?

— Она была рожденная Иванчук. Ее прадед был известным сановником, сподвижником Александра Первого... Господа, вы меня извините, я скроюсь за ширмы и приведу себя в надлежащий вид.

— То есть, что это значит? Смокинг, что ли, напялите или фрак?

— Напялю, как вы изволите выражаться, князь, самый старый довоенный пиджачишко.

— А ведь, правда, на танцульку надо одеться возможно демократичнее.

— Ну да, я демократически и оделась, — сказала Муся, — взяла у мамы старую каракулевую кофту.

— Я тоже, разумеется... Я в блузке и в шерстяных чулках! — стыдливо смеясь, пояснила князю Глафира Генриховна. «Какой ужас: она — и шерстяные чулки!» — с раздражением подумала Муся.

Горенский за письменным столом начертил на клочке бумаги план западного фронта. Он доказывал Никонову и Березину, что союзные армии находятся в западне.

---

[1] Карнавал *(ит.)*.

— Очень боюсь, что к лету англичане будут сброшены в море, — горячо говорил князь, тыча карандашом в бумажку. — Здесь у них смычка, и удар Людендорфа, бесспорно, будет направлен в этот узел, скорее всего с диверсией у Реймса...

— Ничто. Нивелль подведет какую-нибудь контрмину. Я его знаю!

— Какой Нивелль? Нивелль давно уволен!

— Что вы говорите? Ну, так другой гениальный генерал, — согласился Никонов. — Не наша с вами печаль, а вот мне бы хозяйке за квартиру заплатить, а то пристает мелкобуржуазная пиявка.

— Ну, господа, теперь я сознаюсь вам в крайней бестактности, — сказал, выходя из-за ширм, Фомин. — Князь, заранее умоляю о прощении.

— Что такое?

— В чем дело?

— Господа, вы были в гостях у меня. Отсюда мы идем в гости к князю.

— Как так?

— В доме Алексея Андреевича теперь одна из самых фешенебельных танцулек столицы. Принимая весь Петербург, князь не может отказать в гостеприимстве своим ближайшим друзьям.

Все покатились со смеху.

— Как? Вы ведете нас в дом князя?

— Нет, это бесподобно!

— Господа, нехорошо... Князю, может быть, это неприятно, — говорила Глафира Генриховна.

— Ничего, ничего, — с трудом сдерживая смех, сказала Муся. — То Зимний дворец, а то **ваш** дом... Алексей Андреевич, ради Бога, извините наше непристойное веселье!..

Горенский натянуто улыбался.

— Господа, я очень рад, — не совсем естественно говорил он.

Голые деревья незнакомого петербуржцам сада были покрыты снегом. Муся беспокойно оглядывалась по сторонам. Огромная тень падала на белую реку. Они вышли на площадь, еле освещенную редкими фонарями. Вдали от черного величественного дворца, освещая пасть под аркой, оранжевым светом горел костер. Около него стояли милиционеры. Больше никого не было видно.

— Однако и в самом деле жутко, — сказала Муся.

— А вы думаете, Тамара Матвеевна не была права, что не хотела вас пускать?

— Бог даст, ничего не случится. Что вы дам пугаете?

— Нам не страшно.

— Не таковские.

— Как пойдем, господа?

— Князь, как к вам всего ближе?

— Положительно, господа, мы побиваем все рекорды бестактности.

— Ах, какой жалкий песик,— сказала Сонечка, поровнявшись с фонарем, у которого, вытянув голову, лежала собака.— Верно, с голоду подыхает. Как жаль, что у нас ничего нет... Цуц, цуц...

— Людей бы, Сонечка, жалели, а не цуцов. Стыдно!

— Отстаньте, Григорий Иванович, я не с вами говорю!

— А если я за такие за слова да уши надеру?

— Посмейте!

— И посмею. Хотите сейчас?

— Посмейте!

— Еще как посмею...

— Так можно долго разговаривать... Господи, как им не надоело! — смеясь, сказала Муся. Вдруг впереди сверкнули ацетиленовые огни. С нарастающим страшным треском пронеслась мотоциклетка. Два человека в пальто поверх кожаных курток успели окинуть взглядом пешеходов.

— Видеть не могу! — с чисто физическим отвращением произнес князь. На этот раз Никонов с ним не поспорил: он испытывал такое же чувство.

— Но и работают же эти люди!.. Какая все-таки бешеная энергия! — сказал Березин. Муся с упреком и сожалением на него взглянула.

«Все-таки он к **ним** не перейдет,—подумала она.—Он славный... Ему просто нужен свой театр, как мне нужны ощущения, любовь Вивиана, власть над Витей...» — В памяти Муси вдруг, неожиданно, появился Александр Браун.— «Нет, он мне не нужен... Березин милый... Он только ничего не понимает в политике. Как бы ему посоветовать, чтоб он не говорил глупостей и не делал. Он и без **них** сумеет создать свой театр. Он не продажный человек, он очень милый, и с ним тоже тяжело будет расстаться. Так обидно, что Вивиана нет с нами... Что-то он сейчас делает в Москве? Верно, где-нибудь сидит со своими англичанами, курит Gold Flak[1] и думает обо мне. Нет, я страстно, безумно люблю его, не так как прежде, а еще больше... Лишь бы только его не послали на фронт! Что, если его пошлют во Францию? — с ужасом думала Муся.— Там убивают людей тысячами. Я умру от страха... Нет, этого не может быть!..» Она заставила себя прислушаться к разговорам своих спутников.

— Как метко и справедливо то, что вы говорите, князь! Я совершенно с вами согласна.

— Только уж там, пожалуйста, Глафира Генриховна, не называйте Алексея Андреевича князем,— сказал Фомин.

---

[1] Сорт сигар *(англ.)*.

— А что? За это могут убить? Могут расстрелять? На месте? — округляя глаза, жадно спрашивала Сонечка.

— Убить не убить, quelle idée![1] А только это ни к чему.

VIII

Слева от парадных дверей старого барского особняка висела серая афиша. «Грандиозный демократический бал... Мобилизация всех танцующих сил... Первейшие»... — начал было выразительно читать вслух Никонов. Фомин сердито на него зашикал. Они вошли в вестибюль. Дамы вздохнули с облегчением: ничего жуткого не было. Князь Горенский, вошедший последним, выругался про себя непристойными словами. Сверху доносились звуки «Катеньки». У стола продавала билеты миловидная девица; рядом с ней сидел обыкновенный, не страшный матрос, — в синей блузе с оборотами, в фуражке с лентой. Фомин вежливо поклонился и спросил о цене билетов, назвав девицу товарищем.

— Вход пять рублей, — любезно ответила девица. — И за «Почту Амура», если желаете, особо три рубля.

— Да, пожалуйста, с «Почтой Амура», товарищ, — поспешно сказал Фомин, окидывая взглядом своих спутников. — Семь билетов. пожалуйста, товарищ.

Девица отдала билеты, затем взяла из коробки семь картонных кружков с продетыми в них красными шнурками. Обмакнув перо в чернильницу, она стала писать красными чернилами номера. Матрос старательно чистил ногти другим пером. Гости переглядывались.

— Вы тринадцатого номера не боитесь? — осведомилась предупредительно девица.

— Нисколько, товарищ, это предрассудок, — тотчас ответил Фомин.

— Есть которые не любят... Бумагу имеете?

— Бумагу? О да, все в порядке, — несколько растерянно начал Фомин.

— Бумагу-конверты. Имеете? Тогда пятьдесят шесть рублей.

Фомин расплатился и взял кружки.

— Когда польты снимете, привяжите номера к пуговице. А то на шею повесьте, — объяснила им девица.

— Благодарю вас, товарищ, — набравшись храбрости, сказала Муся. Девица кивнула и ей, однако несколько менее приветливо, чем Фомину. Матрос лениво встал, проводил посетителей в маленькую прихожую и взял у них под номерок шубы. Глаша толкнула Сонечку и показала ей глазами на угол: там стояло несколько ружей. Сонечка округлила глаза. Дамы по привычке стали оправляться перед зеркалом.

[1] Что за мысль! *(фр.)*

— Что такое «Почта Амура»? — вполголоса спросила Муся Фомина.

— Si je le savais![1] — так же ответил Фомин, пожимая плечами.

— По лестнице наверх пойдете, а там сейчас направо будет зала, — сказала девица.

— Покорно благодарю. Найдем, — беззаботно ответил князь.

Они поднялись по лестнице и вошли в ярко освещенную залу. Рядом с остатками богатой мебели стояли простые некрашеные столы. — «О, Господи!» — сказал вполголоса князь. На эстраде играли музыканты. На стене висела надпись огромными буквами: «Да здравствует Третья Международная Коммуна». У стен на атласных стульях сидели девицы, солдаты, штатские. Около десяти пар танцевало польку. Осторожно обходя танцующих, Фомин, вдвинув голову в плечи, быстрыми короткими шажками, направился к концу зала, где находился буфет. Сбоку от буфета стояло несколько столиков, покрытых грязными скатертями. Из них был занят только один. Фомин усадил дам за другой столик подальше.

— Тут и разговаривать можно, если не очень громко, — сказал он, пододвигая дамам атласные стулья. Публика смотрела на новых гостей с любопытством, однако без недоброжелательства, а скоро и смотреть перестала. Видно, все были увлечены балом. Смущение гостей стало проходить. По требованию Фомина, все прицепили кружочки так, как указывала девица. Такие же картонные кружки были на большинстве гостей. Березин потребовал себе тринадцатый номер.

— Авось не пропаду, вывезет Березина кривая... Верю, верю в свою звездочку, — говорил он.

— Все-таки, что могут означать эти номера?

— Порядок, в котором будут расстреливать буржуев... Однако до того я закажу чай, — сказал Фомин, вошедший в роль предводителя какой-то охотничьей экспедиции.

— То есть, вы не заказывайте, а честью попросите, чтоб нам дали, — проворчал Никонов.

— Я с удовольствием выпью чайку.

— Я тоже... Право, господа, здесь все очень прилично.

— Да... Я даже никак не ожидала, — несколько разочарованно сказала Глафира Генриховна.

— Не печальтесь, гражданочка, вас изнасилуют в конце вечера, — любезно утешил ее Никонов.

— Григорий Иванович! Есть мера и пошлостям, и дерзостям!

— Господа, господа!..

— Товарищи, чего вы хотите к чаю? — спросил Фомин. — Я вижу на буфете бутерброды.

---

[1] Если б я знал! *(фр.)*

— Принесите нам их поскорее... И Григория Ивановича возьмите с собой, пусть и он потрудится,— сказала Муся.— Но какой удар маме, если мы здесь закусим! Ведь, по секрету скажу вам, дома у нас готовится настоящий пир.

— Одно другому не помешает,— ответил повеселевший Никонов.— Идем, товарищи мешочники.

— В самом деле что они сделали с вашим домом, Алексей Андреевич! — сказала Муся.

— Да, хорошего мало...

— Вы не очень сердитесь, что мы вас сюда привели?

— Нет, что ж сердиться? Неприятно, конечно, смотреть, но... Как вы думаете, можно ли заглянуть в другие комнаты? У меня были ценные вещи... Были и семейные портреты...

— Платон Михайлович сказал, что там живут матросы. Я думаю, лучше не пытаться.

— Господа, в буфете продают водку! Говорят, из погребов Зимнего Дворца,— взволнованно сказал вернувшийся Никонов.

— Это очень возможно,— заметил князь.— В дни пьяных погромов мне на Невском солдат предлагал дворцовый Шато-Икем, по пять рублей бутылку. Я не купил, хоть тогда еще были деньги: совестно было.

— Буржуазные предрассудки... Да, может, здесь и не из Дворца, но только водка, понимаете ли? Водка-мамочка! Правда, не пять, а восемьдесят рублей бутылка, что значительно хужее.

— Тащите! — сказал князь, махнув рукой.

— Тащите! — решительно присоединился и Березин.

— Безумцы, подумайте! Восемьдесят рублей бутылка,— слабо возразил Фомин, вернувшийся с тарелкой бутербродов.— Денег у нас теперь у всех, как кот наплакал... С текущих счетов, как вы знаете, выдают по семьсот пятьдесят рублей на душу,— добавил Фомин, у которого вряд ли был где-либо текущий счет.

— Господа, одно слово, но зато очень оригинальное,— сказала, улыбаясь, Муся.— Я знаю, оно вас удивит, оскорбит, возмутит, но вам ничто не поможет! Сегодня за всех и за все плачу я, да!

— Это в самом деле было бы оригинально!

— Какой вздор!

— Гордая англичанка хочет нас унизить!

— Господа, я из этого делаю кабинетский вопрос. Мало того, что я все это затеяла, но сегодня, быть может, наш последний общий выход... А вы все меня достаточно вывозили, кормили и поили, в частности вы, Алексей Андреевич...

— Муся устраивает в танцульке свой мальчишник.

— Именно. Если же вы не согласитесь, то, даю вам слово, я сейчас встаю и ухожу. И меня убьют на улице, и

это будет на вашей совести, и мама на вас за мою смерть почти наверное обидится.

— Не считая того, что я без Муси умру с горя, — сказала Сонечка.

— Разве согласиться, граждане и товарищи? — спросил Никонов.

— У вас нет другого выхода.

— C'est le monde renversé! [1] Идет...

— Но, уж если унижаться, то, давайте, на ейные стерлинги закажем три бутылки водки, — потребовал Никонов.

— Я согласна.

— А я нет. Посади кого-то за стол, — сказала Глаша. — А потом еще и отвози вас пьяного домой, да? На извозчика теперь и будущих Мусиных стерлингов не хватит.

Водку принесли. Никонов радостно разливал ее по рюмкам.

— Она, мамочка! Смотреть любо.

— Я тоже, каюсь, соскучился...

— Веселие Руси есть пити... Водка препоганая, господа!.. Закусить поскорее...

— Ничего. Денатурат как денатурат.

— От этого, говорят, слепнут... Господа, полька кончилась.

— Нет, рожи, рожи каковы!.. Ваше здоровье, товарищи текстильщики.

— За ваше, Григорий Иванович. Это что ж будет, кадриль?

— Похоже на то... На душе веселее стало!..

— Ничего, князь, не тужите. Мы еще у вас здесь потанцуем.

— После основательной чистки.

— Ей-Богу, хорошо играют! «Кума, шен, кума, крест»...

— Григорий Иванович, перестаньте подпевать.

— «Кума, дальше от порога... Кума, чашку разобьешь»... Хочу петь и пою, товарищ Глафира! Кончилось буржуазное засилие!

— Но хоть не так громко.

— «Что ты, что ты, что ты врешь, сам ты чашку разобьешь...» Это моя няня пела, покойница. Товарищи переплетчики, ей-Богу, та маленькая брюнетка, что танцует с матросом, недурна!

— Какая? — переспросила Глафира Генриховна. — Фи, горняшка!

— Герцогини, товарищ Глафира, не по сегодняшнему абонементу танцульки. Все маркизы остались дома... Князь, еще по рюмочке?

— Валяйте.

— Я вас очень люблю, князь... Вот только к политике я бы вас за версту не подпустил.

---

[1] Свет перевернулся! *(фр.)*.

— Ради Бога, Григорий Иванович, оставьте мою политику в покое. Ваше здоровье...

— Давайте и со мной чокнемся, Григорий Иванович. Вы страшно милый.

— Чокнемся, Мусенька, на прощанье.

— Это он милый? Он очень гадкий, Мусенька, вы его не знаете!

— Он прелесть, Сонечка.

— Сонечка, уважайте мои седины. За ваше здоровье, гражданки.

— Еще бутылочку прикажете, товарищ? — наклоняясь к Никонову, негромко спросил подошедший буфетчик.

— Не много ли будет? — усомнился опять Фомин.

— На семь человек одной бутылки мало, — решительно сказала Муся. — Дайте нам, товарищ, еще бутылку.

— Сию минуту...

— Спасибо, товарищ... Да здравствует свобода! — восторженным голосом сказал Никонов. Буфетчик засмеялся и побежал за водкой. Публика с завистью следила за кутящей компанией.

— Интересно, за кого они нас принимают?

— За советских сановников второго сорта.

— Только этого не хватало!

— Господа, это мне напоминает нашу поездку на острова в день юбилея папы.

— Хорошее было время!

— Какую речь вы тогда произнесли, Алексей Андреевич! — сказала Глафира Генриховна. — Я до сих пор помню каждое слово.

Князь, смущенно улыбнувшись, поспешно взял с тарелки бутерброд из черного с соломой хлеба с крошечным кусочком колбасы.

— Славно мы тогда на островах кутили, товарищ князь, — сказал Никонов. — Впрочем вас с нами тогда не было.

— Да, правда, вас не было. А сегодня кого из тех нет?

— Мосье Клервилля, Вити и Беневоленского.

— Бедный Витя!

— Господа, несут денатурат!

— Несут, несут, несут!..

— Говорят, его отцу совсем туго приходится?

— Да, очень.

— Отцу денатурата?

— Не остроумно... Мне одну каплю... Довольно, довольно!

— Ништо, пейте, товарищ Глафира. Эх, перемелется, мука будет...

— Что вы хотите сказать?

— Пей, пока пьется, все позабудь, товарищ Глафира Генриховна.

— Что вы хотите сказать, Григорий Иванович? А?

— Глаша, да он ничего не хочет сказать, что это тебе все в голову приходит?.. Господа, а почему не явился Беневоленский?

— Кто его разберет? Сказал, что голова болит.

— Интересничает.

— Сонечка, выпьем на «ты».

— Вот еще! И не подумаю.

— Положительно демос ведет себя образцово. Где же оргия?

— Потребуем деньги обратно!

— Между этой танцулькой и любым балом по существу нет никакой разницы,— сказал вдруг серьезно Никонов.— Вы говорите: демос. Эти люди самые обыкновенные мещане, добравшись наконец до наших радостей и теперь отдающиеся им с упоением. Взгляните на их самодовольные, счастливые лица!.. И как чинно они танцуют! Вся революция была сделана для танцульки. Какая там оргия, они больше всего на свете хотят походить на нас!.. Правду я говорю, Мусенька?

— Доля правды есть,— подтвердил князь.

— Но, значит, и мы мещане?

— Нет, не значит, но... Впрочем, а кто же мы?

— Кланяйтесь, князь Горенский,— сказал Фомин.— Все это, так сказать, если вглядеться в корень вещей. А если без корня вещей, то достаточно и того, что кавалеры не дерутся и не хватают дам за ноги.

— Эх, колорита, колорита этого, понимаете ли, нет, господа. Не красочно все это! — говорил актер.

— Вот идет колорит, Сергей Сергеевич.

Буфетчик хлопнул в ладоши и закричал: «Почтальон! Почтальон!» В залу вошел тот матрос, который сидел внизу с девицей. В руках у него была сумка. Он лениво вытащил из нее ряд конвертов с надписанными номерами и стал разносить их гостям, вглядываясь в картонные кружки. Гости разрывали конверты и медленно, с нахмуренным видом, разбирали написанное. Затем по залу началась сигнализация улыбками, кивками, воздушными поцелуями.

— Ах, вот что такое «Почта Амура»! — сказала Сонечка, с жадным интересом следившая за публикой.

— Значит, та девица предлагала бумагу для почты. Я думала, она спрашивает документы.

— Вдруг, Сонечка, вам подадут записку? Что вы сделаете?

— Это будет зависеть от того, что в ней написано...

— Смотрите, ей-Богу, он несет что-то нам!

— Нет, правда!

— Какой ужас!

Почтальон действительно шел к их столику.

— Вам письмецо,— сказал он Горенскому, подавая ему конверт.

— Спасибо, товарищ,— поспешно сказал Фомин.

Почтальон отошел, Горенский разорвал конверт. На клочке бумаги карандашом были выведены каракули!

— «Как вы и налетчики... можно... пройтиться...» — разбирал князь. — Господа, поздравляю! Нас принимают за налетчиков.

Никонов захохотал.

— В самом деле, кто же другой, кроме налетчиков, теперь задает пиры?

— Поделом нам.

— Напротив, за то нам и почтение.

— От кого письмо?

— Что вы ответите, Алексей Андреевич?

— Вы, значит, и есть главный налетчик-атаман.

— Вы знаете, господа, это не очень мне нравится, — озабоченно сказал Фомин. — Еще за милицией пошлют.

— Полноте! Здесь половина публики — налетчики.

— А тогда тем более пора восвояси. Не хочу вас пугать, mesdames, но если в нас подозревают богачей, то лучше нам убраться, подальше от греха. И, право, мне кажется, что на нас начинают косо поглядывать...

Дамы побледнели. Березин и Горенский согласились с Фоминым. Только Никонов решительно запротестовал.

— Что он дичь порет, Фомин! Сам нас сюда привел и теперь наутек. Никакой опасности нет, ерунда!

— Опасности, разумеется, большой нет, — заметил рассудительно Березин. — Но согласитесь, что и не так уж здесь интересно.

— Вернее, все интересное мы уже видели.

— Батюшки, двадцать минут двенадцатого, — сказал Фомин, взглянув на часы. — Мы обещали Тамаре Матвеевне быть не позже одиннадцати дома.

— Тогда, в самом деле, надо бежать. Мама будет очень беспокоиться, — сказала Муся. — Платон Михайлович, будьте моим кассиром.

— Уже за все заплачено, мы можем идти.

— Что за ерунда! — ворчал Никонов. — Я как раз хотел послать письмо брюнеточке...

— А того матроса с серьгой в ухе видели? Ему может не понравиться ваш слог, — сказала Глаша.

— Еще посмотрим ки-ки: же тю у тю же [1], — бормотал Никонов. — Дайте хоть водку допить.

— Допивайте живее.

— Да и не осталось ничего.

— А они на нас не нападут при выходе? — озираясь, спросила Сонечка. — Взгляните, как тот высокий у стены на нас смотрит!.. Он, верно, кокаинист?.. Правда?..

— Зачем кокаинист? Просто лакей, Сонечка.

— Господа, мы отрезаны!

— Ничего, пробьемся.

---

[1] Кто кого: я тебя или ты меня *(искаж. фр.)*.

— Ах, если б опять увидеть городового!.. Бравого статного фараона!

— Ах, какое было прелестное зрелище!

— Дивное невозвратное виденье!

— Позор!

— Господа, серьезно, я очень боюсь..

— Но ведь вы сами жаждали приключений, Сонечка.

— А теперь больше не жажду... Теперь я жажду быть в столовой Тамары Матвеевны.

— Идем, господа,— сказала Муся, вставая.

Они направились к выходу. Сонечка, замирая, жалась к Березину, Глафира Генриховна к князю. Фомин шел уверенно впереди. «Что, если в самом деле набросятся?» — подумал он, учтиво кланяясь буфетчику, который смотрел на них не без насмешки. Никонов с порога послал воздушный поцелуй брюнетке. «С-сума-сшедший» — прошипела Глаша.— «Трусишки!.. Буржуи!..» — бормотал быстро охмелевший Никонов: он очень давно не пил водки. Князь остановился в коридоре, осмотрелся и, махнув рукой, пошел вниз.

Девицы в вестибюле уже не было: она тоже пошла танцевать. Матрос разбирал за столиком новый пакет «Почты Амура». Он неторопливо встал и аккуратно, как театральный капельдинер, выдал по номерку шубы гостям.

— Прощайте, товарищи. Пока,— сказал он, открывая дверь.— Завтра бал будет еще лучше, милости просим.

— Непременно, непременно,— ответил Фомин.— Пока, товарищ.

— Вы что здесь, владелец? — не удержавшись, спросил матроса Горенский.

Матрос окинул его подозрительным взглядом и пробурчал что-то невнятное. В это время кто-то вошел в вестибюль из маленькой задней двери. Увидев Горенского, вошедший остановился у порога и выпученными глазами уставился на князя. Горенский надвинул меховую шапку и поспешно вышел на улицу вслед за Мусей.

— Только этого не хватало! Мой бывший кучер,— сказал он.

В квартире Кременецких не сразу отперли дверь на звонок. Теперь по вечерам — прислуга рано уходила — обычно отворял двери Витя, который, как мог, старался быть полезным в доме. После второго звонка послышались поспешные шаркающие шаги. Дверь отворила — сначала на цепочку — сама Тамара Матвеевна.

— Господи! Что случилось, мама? — воскликнула Муся. У Тамары Матвеевны лицо было в красных пятнах, глаза заплаканы. Гости растерянно остановились в передней.

Сбивчиво и путанно Тамара Матвеевна рассказала, что полчаса тому назад к ним прибежала Маруся, прислуга

Яценко. Николая Петровича вечером арестовали люди из этой новой Комиссии. К нему в дом ворвался отряд солдат, вооруженных с головы до ног, все перерыли, кажется, искали оружия. Затем Николая Петровича увезли неизвестно куда. Витя, сам не свой, поехал наводить справки. С ним отправился и Семен Исидорович.

— Я так за папу боюсь!.. Он решил поехать прямо туда, в эту Чрезвычайную Комиссию... Это очень опасно!.. Ах, что вы, разве я не понимаю?.. Но нельзя же было отпустить мальчика одного в таком состоянии!.. Что это за изверги такие, что он им сделал?.. Она, Маруся, плакала навзрыд... Кажется, Николай Петрович не оставил ей ни гроша... Тебя не было, я думала, что с ума сойду одна!.. Я хотела ехать с папой, но он меня не пустил, и я думала, что когда ты приедешь и никого не найдешь, ты одна с ума сойдешь!.. — говорила, вытирая слезы, Тамара Матвеевна. Ее, впрочем, очень утешил приход Муси и друзей. Гости озабоченно слушали и переспрашивали довольно бестолково. «Вот тебе и пир!.. Все-таки хорошо, что чуть-чуть перекусили на танцульке», — печально думал Березин.

IX

Николая Петровича предупреждали, что его могут арестовать: он занимал видную должность, не выполнил приказа о регистрации и числился «саботажником». В действительности Яценко было не до саботажа. Но и ходить на службу после большевистского переворота, очевидно, не имело смысла. Некому было и сдать оставшиеся немногочисленные дела.

Николай Петрович, считавший себя теперь ко всему в мире равнодушным, сам не ожидал, что неожиданное грубое вторжение чужих людей так его взволнует. Обыск был произведен в десятом часу вечера. В квартиру вошли молодой человек в кожаной куртке, два солдата с ружьями и дворник, «представитель домового комитета». Молодой человек даже не вошел, а как-то ворвался с таким угрожающим видом, точно ожидал самого отчаянного сопротивления. В руках у него был револьвер. Убедившись в том, что сопротивления не будет, он быстро подошел к Яценко вплотную, посмотрел ему прямо в глаза и, отступив на шаг, предъявил приказ об обыске и аресте. Назвался он помощником комиссара. В приказе, над точками в графе имени, за печатными буквами «граждан», были написаны от руки слова: «ина Николая Петрова Яценко». Почерк показался Николаю Петровичу знакомым, но неразборчивая подпись с резким росчерком не походила ни на какую известную ему фамилию.

— Ну что ж, — сказал, пробежав бумагу, Яценко. Руки у него дрожали от нервного волнения, и зубы чуть стучали. Больше он ничего не нашелся сказать, да и «Ну,

что ж» показалось ему глупым. Молодой человек, наклонив голову, пристально смотрел на него исподлобья. У дверей ахала Маруся, хватаясь за сердце, как настоящая дама. Солдаты, потоптавшись в кабинете, уселись рядом в столовой, неловко держа перед собой ружья и поглядывая на остатки скудного ужина.

— Они ничего, жильцы исправные,— растерянно говорил, ни к кому не обращаясь, дворник.— Барыня недавно умерла...

— Теперь нет никаких барынь... Пошляк! — сказал с силой помощник комиссара. Он быстро осмотрелся в квартире, потребовал все ключи и с решительным видом направился к письменному столу в кабинете. Молодой человек, видимо, не знал, как производятся обыски и чего именно следует искать. Он сразу озабоченно выдвинул средний ящик стола, точно ему было известно, что именно здесь находятся самые важные документы, затем стал с усмешкой выбирать бумаги, быстро их проглядывая и бормоча что-то невнятное. В остальные ящики он только заглянул, встал, осмотрел, хмуро-неодобрительно кивая головой, книги, стоявшие в шкафу на уровне его роста, и попробовал, открывается ли дверь шкафа,— опять с таким видом, будто от этого движения мог последовать взрыв адской машины. Николай Петрович, немного успокоившись, сел на диван и молча смотрел на комиссара. Молодой человек еще раз обошел квартиру, требуя разъяснений от лепетавшей что-то Маруси, перед которой снова, как при продаже книг, чувствовал неловкость Николай Петрович. Выяснив назначение всех комнат, помощник комиссара заглянул в платяной шкаф и велел солдатам отодвинуть буфет. Солдаты, отставив ружья, хмуро исполнили приказание. Под буфетом ничего опасного не оказалось.

— Полгода, кажется, полотеров не было,— бессмысленно говорила Маруся, сдувая у карниза пыль взятой со стола салфеткой.

— Потрудитесь собрать вещи,— отрывисто приказал помощник комиссара, вернувшись в кабинет.— Только предметы первой и основной необходимости. Других своей властью не разрешаю. Повторяю, первой и основной необходимости.

— Маруся, сложите, пожалуйста... Ну, платье, белье,— нерешительно сказал Яценко. Он будто не знал, может ли еще теперь отдавать распоряжения прислуге. Маруся, ахая, побежала доставать семейный чемодан. Помощник комиссара зажег свечу, растопил сургуч и, достав веревочку, стал с очень озабоченным видом пропечатывать ею концы над щелями ящиков. Печати у него, однако, не оказалось, и он, немного подумав, воспользовался печатью, лежавшей на столе у Николая Петровича, причем сначала неодобрительно попробовал эту печать на клочке бумаги.

— Вы почему меня арестуете? — спросил Николай Петрович.

— На этот конкретный вопрос, гражданин Яценко, я не обязан вам отвечать. Это безусловно выяснится на допросе, — ответил помощник комиссара. Однако тотчас разъяснил, что Яценко арестуется, как служитель старого строя и саботажник.

— Мы вправе применять драконовские меры предосторожности против людей, бывших опорой царского самодержания, — добавил он. — Драконовские меры предосторожности, — повторил помощник комиссара. Видимо, он не прочь был завязать политический спор. «Какая у них речь неестественная, — подумал Николай Петрович. — А эта кожаная куртка с наганом, прямо мундир себе завели... Смешной юноша!..» На лице помощника комиссара, довольно невзрачном, скорее благодушном, повисло выражение мрачной и вместе восторженной решительности: лицо было **бесстрастное, каменное,** но глаза **горели огнем.** Яценко догадался, что молодой человек играл большевистского фанатика. — «Все у них, кажется, подделка... Что ж теперь будет? — подумал Яценко и вдруг вспомнил о Вите. — Господи, как он перепугается»... Николай Петрович подошел к Марусе, стоявшей в передней на коленях перед чемоданом, и, наклонившись, вполголоса попросил ее тотчас предупредить Кременецких.

— Это, конечно, пустяки, я скоро вернусь... Скажите Виктору Николаевичу, чтоб не думал беспокоиться.

Маруся, ахая и дрожа, укладывала в чемодан вещи, казавшиеся ей наиболее нужными: позднее Николай Петрович нашел там свои ордена, лак для ботинок, белые фланелевые брюки, оставшиеся от поездки на море. Он, впрочем, и сам не знал, что следует брать с собой в тюрьму. «Да, книги», — вспомнил Николай Петрович. Книжный шкаф уже был запечатан. Яценко взял «Круг чтения» Толстого, лежавший на табурете у дивана, и успел положить его в чемодан поверх завернутых в газету ботинок, мыльницы и футляра безопасной бритвы. «Жиллет, кажется, только один запасной остался, — подумал он, — где же я потом возьму?..» Оживленная энергичной работой Маруся опустила крышку. Чемодан кое-как закрылся, но бородка верхней пластинки не входила в отверстие замка. Маруся с остервенением нажала на крышку и ключ удалось повернуть.

— Ключ, ключа не потеряйте, — говорила взволнованно Маруся.

— Постараюсь, — ответил, слабо улыбаясь, Яценко. Так, бывало, напутствовала его при отъездах Наталья Михайловна. Он вернулся в кабинет. Помощник комиссара писал протокол. Николай Петрович сел на диван и, нервно зевая, оперся обеими руками на табурет. На газетном листе, слева от лампы, ему попались знакомые строки:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: «Да, иду умирать» и т. п.

— Теперь потрудитесь следовать за мной, — сказал, вставая, помощник комиссара. — Гражданка, вы пока безусловно отвечаете за квартиру перед рабоче-крестьянским правительством. Объявляю вам это во всеуслышание.

Маруся неожиданно заплакала. Николай Петрович с недоумением на нее посмотрел, совершенно не зная, что ей сказать. Солдаты, выпучив глаза, глядели на Марусю. Дворник, суетясь, растерянно оттянул вверх нижнюю задвижку и отворил вторую половину выходной двери, точно надо было выносить буфет или диван. Помощник комиссара холодно окинул взглядом Марусю, свидетельствуя всем своим видом, что ничьи слезы не помешают ему исполнить долг, затем снова вынул из кобуры наган и вышел на площадку. На слабо освещенной лестнице, несмотря на поздний час, стояли люди, жена дворника, еще какие-то женщины, тотчас шарахнувшиеся к стене. Они с ужасом смотрели на Яценко, на солдат с ружьями, особенно на помощника комиссара в кожаной куртке, который, с револьвером в руке, энергичным шагом спустился по лестнице. Теперь вид его показывал, что он не даст толпе отбить арестанта. В дверях квартиры первого этажа мелькнула и тотчас скрылась испуганная фигура нотариуса в темном незавязанном халате. Дворник с чемоданом, забежав вперед, отворил настежь парадную дверь и низко поклонился не то властям, не то Николаю Петровичу. У крыльца ждал автомобиль. Помощник комиссара быстро осмотрелся на улице.

— Потрудитесь сесть, гражданин, — холодно-бесстрастно сказал он.

Автомобиль свернул раза два, прежде чем Яценко стал соображать, куда именно его везут. Окна были завешены. «Кажется, по Невскому? — спросил себя Николай Петрович. — Нет, это не Невский... Или мы едем к реке? Куда же тогда? Да не в крепость ли?..» Эта догадка вызвала в нем странное чувство, включавшее и некоторую гордость. Помощник комиссара строго молчал, недовольный тем, что Яценко не поддержал политического разговора. Молчали и солдаты на передней скамейке. «Да, конечно, в крепость везут», — подумал Яценко, увидев при повороте, сквозь щель занавески, редкие фонари на огромном просторе Невы. Автомобиль, замедлив ход, перешел через мост, потрубил два раза и остановился. Яценко неловко вылез вслед за комиссаром и оглянулся. Перед ним были крепостные ворота. Увязая в снегу, они быстро пошли вперед.

Николай Петрович знал в Петропавловской крепости только Собор, ориентироваться в темноте было трудно. Он смутно помнил, что в крепости есть старый обер-комендант-

ский дом, несколько бастионов и Алексеевский равелин. «Нет, кажется, равелин давно срыт... Еще куртины есть. Что такое куртина?..» Идти было трудно. Все было занесено давно не счищавшимся снегом. Вдруг сбоку в двухэтажном строении сверкнули длинными рядами огни. Яценко догадался, что это и есть обер-комендантский дом. «Что же у них здесь помещается?» — подумал он у крыльца. Помощник комиссара ввел его в большую, грязную, просто убранную комнату. Солдаты вошли вслед за Николаем Петровичем, положили чемодан и тотчас сели на скамью. Помощник комиссара удалился. Яценко осмотрелся в комнате. Запах керосина вдруг напомнил раннюю молодость Николаю Петровичу. На полу валялись окурки, клочки бумаги. На столе стояла лампа. Пламя, дрожа, вытягивалось вверх, оставляя полоску на стекле.

«Прикрутить? Лопнет стекло, — подумал Яценко. — Но разве здесь нет электрического освещения?.. Кажется, в этом доме допрашивали и судили декабристов. Неужели они здесь ждали допроса? Пестель, Рылеев...» Николай Петрович зачем-то стал припоминать имена казненных декабристов и пятого не мог вспомнить. «Сейчас и меня, верно, будут допрашивать... О чем? Что за ерунда!.. Верно, Витя уже знает... Нет, еще Маруся не могла добежать... Минут через десять... Бедный мальчик остался один... За могилой Наташи кто будет следить?.. Сейчас лопнет стекло... Да, как же его звали, пятого декабриста?.. Вот на этом табурете, прислонившись к этой стене, быть может, сидел Пестель...»

В комнату, в сопровождении помощника комиссара и еще кого-то, вошел человек в мундире без погон. Солдаты неторопливо поднялись с мест, но не вытянулись. Вошедший оглянул солдат, Николая Петровича.

— Этот? — спросил он.

— Этот, товарищ заместитель коменданта. Яценко, бывший царский бюрократ, — ответил помощник комиссара. Стекло в лампе треснуло. Заместитель коменданта выругался ужасной бранью и потушил огонь.

— В двадцать седьмую его отведите, — сказал он. — Сидоренко, проводи... Книгу возьми... Нет, в двадцать седьмой, кажется, какая-то сволочь сидит... Ну, там у смотрителя спросите, в Трубецком бастионе.

— Так и сделаю, товарищ, — сказал помощник комиссара, видимо, несколько смущенный. Николаю Петровичу вдруг стало смешно — от темноты, от этого начальства, от тех новых формул, которые старался придумать помощник комиссара: «Так и сделаю», очевидно, вместо «слушаю-с»...

Они вышли из комендантского дома и снова зашагали: впереди помощник комиссара, затем Яценко, за ними провожатый с фонарем и с книгой. Вдали снова показались огни, осветившие высокую решетку с остриями, ворота, длинное здание. «Так это Трубецкой бастион? Пока ничего

страшного...» У ворот электрический звонок был сорван, болтались концы проволоки. Помощник комиссара громко постучал. Минуты через две кто-то вышел и приложил изнутри глаз к щели ворот. Затем ворота открылись.

В комнате, в которую ввели Николая Петровича, было совершенно темно. Провожатый поставил фонарь на стол. Впустивший их человек, щурясь и мигая, робко вглядывался в вошедших.

— Товарищ смотритель, потрудитесь принять нового арестованного,— сказал помощник комиссара.— Товарищ Сидоренко, вы сдадите книгу товарищу заместителю коменданта.

Смотритель, наклонившись над фонарем, прочел ордер.

— Слушаю-с,— так же робко сказал он и при свете фонаря бросил испуганный взгляд на Николая Петровича.

— Прощайте, гражданин. Пока,— холодно-учтиво сказал, выходя, помощник комиссара. Смотритель вздохнул с облегчением.

— Сюда пожалуйте,— очень вежливо, даже почтительно, пригласил он Николая Петровича.— Вы можете идти,— предложил смотритель провожатому с фонарем, открывая другую дверь. За ней было светлее.

— Книгу велено сдать,— сердито сказал Сидоренко.

— Я сейчас принесу. Вот только их отведу и распишусь,— поспешно ответил смотритель.

X

«Социалистическое отечество и революционная столица в опасности. Враг у ворот. Рабочее население Петрограда, бросив мирные занятия, взялось за оружие и готово грудью защищать столицу от неприятельского вторжения...»

«Первый социалистический партизанский отряд 3-го пехотного полка в составе 175 человек продвигается по направлению к Пскову...»

«В отряд вошли матросы, пехотные части, артиллерия и кавалерия. Отряд будет действовать партизански. Вся Балтика, северная Россия и Сибирь спешно формируют отряды, которые входят в этот отряд. Всех отпускных и демобилизованных солдат отряд будет привлекать в свои ряды. Всем трусам смерть! Да здравствует революционная война!..»

В фойе послышался звонок. Стоявший у стены перед афишами высокий седобородый человек бросил папиросу и неторопливо направился в зрительный зал.

В прощальный спектакль давали старую пьесу, лучшие артисты уже уехали, тяжела была жизнь людей, составлявших обычную публику Михайловского театра, тем не менее зал был переполнен. Это было и прощаньем с поки-

давшей столицу французской труппой, и последней демонстрацией в честь союзников, — немцы только что захватили Псков после разрыва Брестских переговоров.

Актерам аплодировали с необыкновенным подъемом и восторгом. По окончании первого действия капельдинеры торжественно внесли на сцену крошечный венок, еще какие-то тощие букетики. Вид этих цветов был так жалок, и так жалка была вся зала, что видавшая виды французская артистка, прижимая к груди букет, вдруг на сцене заплакала, искренно, навзрыд, — едва ли не первый раз в жизни.

— Вы знаете, господа, — сказал в ложе князь Горенский, — у них в буфете есть рокфор! Как, почему, какими судьбами, не понимаю, но у них в буфете есть рокфор! И недорого: три рубля бутерброд. Право, это непостижимо и превышает меру понимания человеческого ума. В этом рокфоре есть что-то мистическое!

— А я думал, сэр, — лениво отозвался Нещеретов, — я думал, для вас дело не в рокфоре, а в том, чтоб довести страну до Учредительного Собрания... Вот, вот, тоже сорвался в буфет, — добавил он, показывая глазами на выходившего из ложи Брауна. — Эх вы, рокфорофилы!

— Как вам угодно, друзья мои, — говорила, смеясь, Муся в противоположной ложе бенуара, внимательно осматривая себя в зеркало пудреницы. «Нет, не блестит нос...» — Как вам угодно, а этот человек меня волнует.

— Кто? Нещеретов?

— Что ты, Муся! — начала Тамара Матвеевна, которую, ввиду торжественного спектакля, тоже взяли в театр. — Что ты, он такой неотесанный и неинтеллигентный!

Лицо Тамары Матвеевны выразило отвращение от неотесанности и неинтеллигентности Нещеретова. Муся с досадой повела бровями и спрятала пудреницу в сумку.

— Разумеется, Браун, а не Нещеретов... Положительно, этой мой грех.

— Почему? Почему? — спрашивала Сонечка.

— Я и сама не знаю, почему... Хорошо играет Полетт Пакс, правда?

— Какое старье! Нет, какое старье, какой хлам! — проникновенно говорил Березин (не знавший ни слова по-французски). — Да, если хотите, это забавно, но мертво, Боже, как мертво!

— Мертво, конечно, — согласилась Муся. — Да ведь к этому искусству и требованья другие: мило, просто, вот и все.

— Мило, просто, — укоризненно повторил Березин. — Но искуство, поймите же, по самой своей природе не мило и не просто, по крайней мере для тех, для кого оно отнюдь

не приятный отдых, не послеобеденная забава, а великий труд, подвижничество, весь смысл жизни. А это, это зовите, как хотите, только умоляю вас, не называйте это искусством!

— Ах, все-таки французские пьесы бывают такие остроумные,— робко оглядываясь на Мусю, сказала Тамара Матвеевна.— Я помню, мы с Семеном Исидоровичем в Париже прямо хохотали до упада...

— Не знаю, меня Мейерхольд в последнее время утомляет,— перебила ее Муся, рассматривая зал в бинокль.— Скорее неореализм, искания Таирова, я думаю, будущее принадлежит этому.— Муся, как всегда, говорила первое, что ей приходило в голову.

— Мейерхольд сам по себе, Таиров сам по себе, и я, если разрешите, тоже сам по себе,— склонив голову набок, сказал Березин.— Заметьте, я нисколько не ревнив и охотно отдаю кесарево кесарю... В прошлом я отдаю должное даже заслугам старика,— с легкой снисходительной улыбкой произнес он(под стариком разумелся Станиславский, Муся тотчас это поняла и улыбнулась так же ласково-снисходительно). Да, конечно, Мейерхольд сделал очень много. Я не все принимаю в арлекинаде, в возвращении к принципам Commedia dell' Arte [1], в теории масок, здесь я о многом готов спорить и спорить до последнего издыхания. Но когда — помните? — китайские мальчики бросали в зал апельсины, я чувствовал, как у меня по спине пробегает та знакомая магическая дрожь волненья, которую я всегда чувствую при высоких достижениях истинного, большого искусства; да, признаю, признаю, оргическая фантастика никем не была выявлена с большею жутью... Я ценю и заслуги неореалистов, синтетического театра с его магией освобожденного актерского тела. Очень, очень верю в трехмерное пространство, многого жду от кривых плоскостей, особенно от конических наклонов, все это так, но ведь это только эпизод в грандиозной революции театра!.. Пусть крупный, пусть значительный, но эпизод!

— Я знаю вашу собственную теорию сцены, как кристалла-тетраэдра,— поспешно сказала Муся.

— Сергей Сергеевич надеется в будущем применить ее в кинематографе,— вставила, покраснев, Сонечка.

— Ах, это замечательная теория! — сказала с жаром Тамара Матвеевна.— Хоть я, конечно, не знаток, но.., Вот идет Александр Михайлович, верно, к нам...

Браун пересекал зал по центральному проходу. Тамара Матвеевна издали улыбалась ему самой приветливой своей улыбкой. Он холодно поклонился и, отвернувшись, прошел мимо их ложи в коридор.

— Нет, какой нахал! — восторженно сказала Муся.

---

[1] Комедия масок *(ит.)*.

«К оружию, товарищи! Смертельная опасность нависла над всеми завоеваниями революции со стороны обнаглевшего германского империализма. Варвары немцы готовы затоптать драгоценные свежие ростки русской молодой свободы. Своим продвижением вперед, после согласия со стороны советской власти на мир, они готовятся похоронить русскую революцию и надолго лишить всех вольных сынов революционной России надежды на светлое счастливое будущее. Чувствуя сердцем гражданина весь этот страшно-опасный момент для страны, горячо ценя блага свободы и сознавая, что сейчас дорог каждый человек в рядах бойцов и защитников социализма...»

— Ничего, не волнуйтесь, они приглашают в тир, — негромко сказал кто-то. Браун вдрогнул и оглянулся. Седобородый человек стоял у афиши. Браун смотрел на него с изумлением.

— Да, это я... По голосу узнали? — улыбаясь, спросил Федосьев. — Надеюсь, по лицу узнать невозможно?

— Нелегко... Какими судьбами?

— Самыми обыкновенными революционными судьбами.

— Так вы в Петербурге?

— И не выезжал никуда. Хотите пройти в буфет? За мной слежки нет, а антракт длинный.

— Очень рад.

— Чаю выпьем... Хорошая вещь стенная газета... Да, это они в тир зовут, — повторил Федосьев, показывая с усмешкой на другую афишу. В ней говорилось:

«Каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин и каждая крестьянка должны уметь стрелять.

Из винтовки, из револьвера, из пулемета.

Все на курсы обучения военному делу!

Все к тирам стрельбы из винтовок и пулеметов!

Все к оружию!»

— Вот, должно быть, паника в главной квартире Гинденбурга, — сказал Федосьев.

— ...Да, но еще вопрос, искусство ли это, Сергей Сергеевич?

— Я ставлю вопрос не в таком разрезе. Все зависит от того, в чьих руках будет кинематограф. Дайте его истинным художникам и, ручаюсь вам, он ударит по струнам с неведомою силой. Надо же наконец понять, что актер есть актер! И что режиссер есть режиссер! Они по меньшей мере такие же творцы, как автор. Дайте им коснуться магии художественного создания, и они воспрянут, как Антей, соприкоснувшийся с матерью-землею. Дайте творческую свободу режиссеру, — я разумею режиссера настоящего, режиссера милостью Божьей, — и он этой свободой, как Архимедовым рычагом, зажжет великий пламень в мире! Надо бросить в печь весь этот хлам и дребедень, которыми теперь кинематографы развращают малых сих... Если хотите, дело даже не в том, что именно ставить, —

поспешно сказал он, взглянув искоса на Сонечку.— Разумеется, я предпочел бы Шекспира, Данта или столь милого сердцу моему Ибсена, но, если нужно, я готов ставить и другое, лишь бы моей творческой воле был предоставлен должный простор... Я готов даже на первое время идти на компромиссы: можно возвести в перл создания мелодраму, рассчитанную на пусть наивный, пусть неискушенный, но и здоровый, крепкий, мужественный вкус народных масс, живительная роль которых будет теперь все расти в новом творческом театре... Однако... Сейчас меня мучит один художественный замысел: «Еду ли ночью по улице темной...»

— Ах, это будет чудесно! — воскликнула Сонечка.

— Да, это будет чудесно, уж вы простите нескромность. Но я поставлю это по-своему. Новое вино не надо лить в старые мехи. Нет, я не возьму сценария ни у Сологуба, ни у Блока,— говорил Березин таким тоном, точно Сологуб и Блок убедительно просили его взять у них сценарий.— Я пойду к новым, к молодым, вот к нему,— сказал он, показывая на Беневоленского, с которым разговаривала Тамара Матвеевна.

Их было пятеро в ложе: Муся решила пригласить Березина, Сонечку и Беневоленского, потому что им всего меньше было оказано любезностей в течение последнего сезона. Никонов терпеть не мог Михайловского театра. Фомин, наверное, пошел бы, но тогда в ложе было бы шесть человек; Муся этого не любила.

— Да, у вас это может выйти **забавно**,— сказала Муся Березину. Слово «забавно» как будто не очень подходило, но Муся знала, что в ее разговоре с Березиным это слово имеет другой, технический смысл; передовому живописцу она сказала бы даже: «Это у вас выйдет **смешно**». Сонечка, еще не знавшая артистического языка, испуганно взглянула на Березина, как бы он не обиделся? — Непременно это сделайте, непременно,— рассеянно добавила Муся, прислушиваясь к тому, что говорила Беневоленскому Тамара Матвеевна.

— ...Семен Исидорович привык к егеровскому белью... Вы знаете егеровское белье? Прелестное белье, но его теперь — увы! — ни в одном магазине нельзя найти.

Тамара Матвеевна произносила: «магазин» с ударением на втором слоге, от чего у Муси всякий раз поднималась злоба. «И это «увы»!.. Ах, Боже мой, она добрая и милая, но если б поскорей от них уехать!»

— ...Вот и ее хочу попробовать,— сказал Березин, фамильярно прикоснувшись к плечу Сонечки, которая так и зарделась.

— Я слышала... Она теперь этим бредит... Это серьезно?

— Попытка не пытка. Попробуем. Вдруг из девочки выйдет толк?

— ...Вот каковы дела, о которых вы спрашивали, Александр Михайлович. Подумал я: что ж, если левые не очень-то теперь работают, так не взяться ли мне, матерому волку? Что вы скажете?

— Скажу: дай вам Бог успеха. Все лучше, чем они...

— Спасибо и на этом,— заметил, улыбаясь, Федосьев.— По-моему, есть шансы на успех. А по-вашему?

— По-моему, почти нет. Все худшее в России, естественно, повалило к большевикам, но где же все лучшее? Впрочем, я в последнее время вообще настроен безнадежно. Так Шопен после взятия Варшавы называл Господа Бога москалем...

— Однако, ведь вы взваливаете вину не на Господа Бога?

— Нет, больше на «ближних». Делю их на две основные группы: одних без разговоров и тотчас повесить, а другим, пожалуй, достаточно вырвать ноздри.

— Я надеюсь, меня вы относите ко второй категории?

— Да, можно и ко второй.

— Вы слишком гуманны... Я думаю, бесполезно продолжать наш давний спор о старом и новом строе, об ответственности деятелей того и другого? Тут мы едва ли сойдемся.

— Едва ли... Разве установить комиссию для выяснения умственных способностей этих деятелей... De lunatico inquirendo[1]? это, кажется, называлось у римлян?

— Ничего не имею против такой комиссии. Но с неограниченными полномочиями, правда? С правом исследования мозгов даже у героев освободительного движения?

— И даже у особ первых трех классов.

— Очень хорошо. О многих особах первых трех классов я, пожалуй, еще и от себя представлю в вашу комиссию материалы. Но, вы знаете, без дураков и умные дела в истории не делаются.

— Боюсь только, что вы в своих исторических делах предоставили дуракам несколько большую роль, чем требуют самые строгие исторические традиции.

— Был грех,— сказал Федосьев,— был грех. Правда, твердая, исторически сложившаяся власть может позволить себе и вольности... В лучших языках есть неправильные глаголы. Нехорошо однако, что люди революционного образа мыслей стилизовали нас всех под идиотов. Так у плохих писателей все извозчики непременно говорят: «Так што, вашество», а все евреи: «Что значит?» Но литературная стилизация несколько безобиднее политической. Будьте нам благодарны хоть за все зло, которого мы не сделали. Ей-Богу, могли сделать гораздо больше!

— Вы, право, меня растрогали! Допускаю, допускаю, могли сделать еще больше зла.

---

[1] О поисках лунатика (*лат.*).

— Что ж, о некоторых из наших преемников и этого не скажешь. Чуть только был случай сделать глупость, сломя голову набрасывались! Ни одного не пропустили... Спросите себя, Александр Михайлович, по совести, чью власть народ больше уважал: нашу или наших преемников?

— Это меня не интересует... Лакеи никогда не уважают тех, кто с ними слишком вежлив.

— Ваш демократизм всегда меня повергал в смущение, — смеясь, сказал Федосьев. — Но мы очень отклоняемся в сторону... Почему это, кстати, мы впали в такой веселый тон? Казалось бы, нечему радоваться.

— Так, привычная форма наших разговоров. Из формы не выйдешь. Я недавно читал, в 1812 году московский обер-полицеймейстер писал царю: «Имею счастье доложить Вашему Императорскому Величеству, что сего числа французская армия вступила в Москву». Вот и мы так, нам выпало еще большее счастье. Возвращаясь к делу, скажу, что, по всей вероятности, вы человек конченый...

— В политике нет конченых людей.

— ...Смотрите, что за стаканы! — пренебрежительно говорил у буфета осанистый пожилой господин с морщинистым лицом и седыми бакенбардами. — Разве так моют стаканы? Верно, бумажным полотенцем вытирают, Бог знает что такое!

— А каким надо?

— Разумеется, холщовым. Я всегда все перетираю холщовым полотенцем: от бумажного остается муть... И потом разве это чай? Зайдите завтра в нашу кофейню. Nadine вам даст настоящего чаю. Она подает, а я мою посуду... И недорого: два рубля стакан с двумя кусками сахара. Да-с, parfaitement[1], с двумя кусками! Imaginez-vous, la grande duchesse est venue hière à l'improviste comme c'est son abitude. Elle a été ravie... Mais ravie, vous dis-je!..[2]

— Я непременно зайду... «Au delice du gourmand»[3] за Думой? Я и то все хотел зайти... Mettez-moi aux pied de la comptesse...[4] Хорошо играют, правда?

— Paulette est admirable. Elle me rapelle notre chère Rèjane du temps jadis.

— N' exagerons rien![5] Была только одна Режан!.. А как вы думаете, скоро вся эта ерунда кончится?

---

[1] Вот именно *(фр.)*.

[2] Представляете, вчера совершенно неожиданно пришла великая герцогиня, у нее такая привычка. Она была в восхищении... Да, в восхищении, уверяю вас!.. *(фр.)*

[3] «Услада гурманов» *(фр.)*.

[4] Посадите меня у ног графини... *(фр.)*

[5] — Полетт восхитительна. Она мне напоминает нашу дорогую Режан былых времен.

— Не будем преувеличивать! *(фр.)*

— Я уверен, они до лета не дотянут! Надо потерпеть... Бедная Nadine стала кашлять.

— Надеюсь, ничего серьезного? Я тоже расклеился. Да, перетерпеть... Союзников очень жалко!.. А слышали, говорят, нас всех скоро погонят на какие-то работы!

— Работы так работы. Не запугаете, как говорил Петр Аркадьевич.

— ...Спор о прошлом, Сергей Васильевич, меня, признаюсь, теперь интересует мало. Однако из любопытства я вам задаю этот нескромный вопрос: вы что ж, за собой никакой ответственности не чувствуете?

— Я был не один.

— Была система, и в ней вы в свое время не последний человек.

— Это, извините меня, в марте говорила каждая кухарка, — с досадой возразил Федосьев.

— Кухарка была совершенно права. Деспотическая власть может посмеиваться над людьми, если она проницательна, если она тверда, в особенности, если она удачлива. Но деспотическая власть, ничего не предвидевшая, никаких мер не принявшая, сдавшаяся врагам без боя!.. Собственно, вы кроме пулеметов ничего и не предлагали. Это для идейного политика немного, но, не отрицаю, пулемет мудрая вещь: тысячи аргументов в минуту... Оказалось, однако, что у вас нет и пулеметов! Что же у вас было? И, как ни глупо «потомство», на что тут можно рассчитывать, Сергей Васильевич?

— На силу контраста с прелестью революционного творчества.

— Вот, разве на это... Только и здесь есть одно обстоятельство... Вы черносотенцем никогда не были, — немного покрывали черносотенцев, да стоит ли говорить о всяком неправильном глаголе? — поэтому вам не могут быть обидны мои слова. Ведь что такое большевики? Самые настоящие черносотенцы en chair et en os[1], и по умственному уровню, и по культурному уровню, и по моральному уровню, и по всем решительно уровням. Я иногда себе говорю: «Нет, сделай поправку на свою к ним ненависть, на тот вред, который они нанесли лично тебе». Делал поправку, выходит все-таки: черносотенцы. По методам, и те, и другие — погромщики. Есть, конечно, некоторая разница в целях. Идеал большевиков: сытый, послушный, самодовольный хам без различия национальности. Идеал черносотенцев: сытый, послушный, самодовольный хам русской национальности. Но ведь это не так существенно: благо ста миллионов людей идеал тоже очень почтенный. Да еще,

[1] Доподлинные *(фр.)*.

у черносотенцев не было, кажется, вождя, равного Ленину по практическому уму и силе воли. Вождей помельче, столь же ученых «теоретиков», столь же искренних «фанатиков», столь же откровенных жуликов, у черносотенцев было никак не меньше. А хороших, «вдохновенных» ораторов, пожалуй, было побольше... Вы спросиле, к чему я это говорю? Вот к чему. Черносотенцев культурный мир неизменно и откровенно презирал. Перед большевиками культурный мир расшаркивается, — иногда злобно, иногда холодно, но почти всегда «отдавая должное». Новый Гамзей Гамзеевич расселся в Пантеоне истории и, боюсь, расселся там прочно. На месте старого — я умер бы от зависти и злости.

— Если вы это говорите для того, чтобы нагляднее показать, какова цена культурному миру, то нам спорить не о чем, — сказал, пожимая плечами, Федосьев.

— Однако некоторая практическая ценность мнения культурного мира несомненна. Вы и этого приобрести не сумели! Повторяю, не вы лично, а те, которых вы порою покрывали.

— Покрывал я их чрезвычайно редко... Да, признаюсь, иногда по необходимости покрывал, — со скрежетом зубовным, со стыдом и с презрением... Что же до разницы в отношении культурного мира, то быть может, дело объясняется просто. У нас черносотенцы все-таки не добрались ни до вершин власти, ни до погребов Государственного Банка. В их распоряжении миллиардного золотого фонда не было. А то могли бы покорить культурный мир. Ей-Богу, могли бы!.. При нашем старом строе все было неизмеримо лучше поставлено, чем publicité[1]. Это не то по глупости, не то от нашего барства: в рекламе не нуждаемся, ври о нас, что хочешь...

Браун засмеялся.

— Вы очень преувеличиваете, — сказал он. — Я знаю цену культурному миру, но за деньги его так гуртом не купишь.

— О, это не делается в форме простой взятки. Деньги, власть создают престиж, открывают огромные возможности шарлатанства. Наша старая власть не оценила великую идею саморекламы.

— Нет, нужен был еще большой дар эвфемизма, свойство в политике чрезвычайно важное: надо было заставить мир назвать всероссийский погром не погромом, а освобождением трудящихся классов. А главное нужно было попасть в точку. Мир готовится — по счастью, медленно — к очень страшной революции. Революция против монархий не страшна, — страшна революция против носового платка... Я, быть может, и не знаю, куда следовало бы идти

[1] Реклама (*фр.*).

веку. Но уж во всяком случае он идет туда, куда не следует.

— Да кто же его знает, куда он идет? Черт с ним, с веком! Давайте, Александр Михайлович, отпустим, хотя бы на время, друг другу разные грехи и проделаем часть дороги вместе? Ну, хоть очень небольшую часть, а? Что, если б вы согласились нам помочь? Ведь я все к этому вел.

— То есть образуем союз конченых людей?

— Посмотрим, что из этого выйдет? Я вам сказал в начале нашей сегодняшней беседы, что мы делаем и каковы наши планы... Эх, досадно, скоро конец антракта...

— Просидим здесь до следующего.

Рукоплесканьям не было конца. Вся труппа Михайловского театра, включая артистов, не выступавших в пьесе, низко кланялась публике. И в зале, и на сцене теперь многие вытирали слезы.

Дотащившийся до рампы седой старик в потертом старом пальто, с плохо завернутым в бумагу котелком под мышкой (в таких котелках теперь продавались разносчиками на улицах домашние котлеты) истерически кричал: «Au revoir!.. Revenez!..» [1] Скептический крик передовой газеты, часто ругавший французскую труппу за рутину в игре и репертуар, вдруг тоже вынул из кармана носовой платок и поднес его к глазам. «Расчувствовался, старый дурак!.. — тотчас подумал он, стараясь себя утешить этой сердитой мыслью. — Ну, и пусть камергеры теперь поторгуют котлетами, мне что!..» Почему-то ему пришло в голову, что Петербург умирает и что он сам скоро умрет.

— Все-таки, как ни говорите, сто лет просуществовала у нас французская труппа, — сказал критику его сосед. — А теперь какое уж «Revenez!», сударь мой. — Это «сударь мой» было тоже бессознательной данью старине.

— Ну и достаточно! Хорошего понемножку, — пряча платок в карман, проворчал критик, оберегая свою репутацию желчного, беспощадного человека.

— ...Со многим из того, что вы говорите, я согласен. Но, разумеется, далеко не со всем. Многого мы вовсе не коснулись... Надо еще поговорить, и не здесь, конечно. Может, до чего-нибудь и договоримся.

— Но в принципе вы согласны работать с таким человеком, как я?

— И на это, прямо говорю, я сразу не могу ответить... Скажу только, что слякоть мне надоела, без различия направления слякоти... А вы, разумеется, человек энергичный и вдобавок, для таких дел, превосходный техник... Но

[1] До свидания, возвращайтесь! *(фр.)*

ведь я могу быть полезен только своими химическими познаниями.

— Это очень важно... Незачем вам говорить, чем все это грозит в случае провала?

— Я не ребенок.

— ...Вот то-то оно и есть, сэр... Языком чесать чесали так, что лучше не надо. А как до дела дошло, так и в кусты... Да-с.

— Нет, не да-с, — раздраженно сказал князь.

— За одно их люблю, сволочь эту, — продолжал Нещеретов. — За то люблю, что разогнали Учредительное Собрание... Молодцы!

— Не стоит, право, и возражать.

— Так и расцеловал бы этого матроса Железняка... Кстати, знаете ли вы, сэр, последнее немецкое зверство: они не хотят занять Петроград!

— Я уже слышал эту милую шутку.

— Ну-с, ладно. Надо и то в буфет сходить, побаловать чайком утробу. Вы не пройдете со мной, сэр?

— Нет, спасибо, я уже баловал утробу.

— Так до скорого, до приятного... «Пока», — говорит хамье...

— ...Смысл урока? Он, понемногу, намечается. Ставка на зависть, тупость, страх, ненависть — и только на них — оказалась далеко не безнадежной. Оказалось, достаточно сказать низам: «вы будете жить еще много хуже, чем жили прежде, но зато те, ктоторые прежде жили хорошо, будут гораздо несчастнее вас», — чтобы привлечь низы на свою сторону. Оказалось, достаточно создать на верхах атмосферу зверинца, чтобы не стало отбоя от зверей. Оказалось, что честь и совесть вытравляются без особого труда, — лишь бы у вытравляющих была готовность идти решительно на все. Государство наше рухнуло, а наша жизнь, в которой было много истинно прекрасного, такого, чего я нигде в мире не видел, наша жизнь даже не разрушилась, а просто расползлась. Так, на моих глазах, теперь расползаются вполне порядочные люди, еще вчера не подозревавшие, что и они кандидаты в зверинец... И, разумеется, то, что случилось с нами, могло случиться с Францией, Англией, Германией, — теоретические выводы мои имеют очень общий характер. Народы становятся чистыми объектами истории (простите косноязычные слова), именно тогда, когда они объявляют, что наконец-то стали ее субъектами. Или, точнее, когда им это объявляют. Самые совершенные формы рабства создаются, конечно, революциями. Я, Сергей Васильевич, никогда не собирался, как Франциск Ассизский, воспевать хвалу Провиденью за прелесть бытия и

за красоту человеческой природы. А теперь и подавно. Для меня настало время, когда ничто больше не радует, а все расстраивает и, в особенности, все раздражает... Могу уйти просто, могу уйти с шумом. И разницы большой нет... Романтично? По-моему, даже и не романтично. Но это так: полная потеря любви и интереса к жизни, только и всего. И «билет почтительно возвращать» не надо: спектакль все равно подходит к концу.

— Давно это с вами?

— Давно.

— Года полтора?.. Одним словом, не так давно?

— Нет, больше... Я говорю: давно, — подумав, повторил хмуро Браун. — И с каждым днем хуже. Ничего... Какой-то писатель сказал: «все кончится очень хорошо, — смертью»...

— А я, напротив, чем дольше живу, тем больше жить хочется... Может, потому что я мало жил для себя. Вот как если чай пить, не размешав ложечкой в стакане: чем ближе ко дну, тем слаще...

Из зала послышались бурные рукоплесканья.

— Сейчас опять нахлынет публика, — сказал Федосьев. — А я хотел вас просить еще и о другом. С вами в ложе сидел Нещеретов?

— Да, это его ложа.

— Познакомьте меня с ним, пожалуйста.

— Денег хотите? Не даст.

— И я подозреваю, что не даст. Но отчего же не попробовать?

— Попробовать можно. С удовольствием вас познакомлю, хоть он умрет от страха. Или вернее: так как он умрет от страха.

— Спасибо... И вот что еще. Вы, кажется, хороши с майором Клервиллем, членом британской военной миссии?

— Да, мы приятели.

— Вот и с ним тоже, пожалуйста, меня сведите. С англичанами у меня нет связи. К немцам есть ход, а вот к союзникам...

— Ах, так к немцам у вас уже есть ход? Об этом вы мне ничего не сказали.

— Пока ничего определенного.

— Ничего определенного? Повторяю, на это я не пойду... Но как же так? И с немцами переговоры, и с союзниками?

— Отчего же нет? Какие могут быть дурные последствия?

— Последствия естественные, — сказал Браун. — Вы мне напомнили того англичанина, который спросил знаменитого юриста: какое наказание полагается за двоеженство? Юрист ответил: две тещи... А я вас спрошу: сколько

человек было повешено в последние три года за склонность к военно-политическому двоеженству?

— Об этом я, Александр Михайлович, в шутливой форме говорить не склонен. Дело идет о спасении России, следовательно все другие соображения отпадают. Аналогия с прошлым теперь совершенно неуместна и даже невозможна. Мы собственными силами спастись не можем. Вопрос в том, кто нам поможет?

— На кого же больше надежды?

— На немцев, разумеется.

— Почему «разумеется»?

— По многим причинам. Во-первых, они умнее и решительнее. Во-вторых, они гораздо ближе: авангарды Гофмана у Орши. В-третьих, вероятно, война кончится победой немцев. В-четвертых... В-четвертых, и союзники, и немцы одинаково начинены ложью и до некоторой степени — только до некоторой степени — у нее в плену. Но условная ложь немцев, хоть и они тоже освободители человечества, легче вяжется с поддержкой черных реакционеров и служителей старого строя, вроде вашего покорного слуги... Со всем тем пробовать надо всюду. Союзные посольства уехали из Петербурга, но военные остались. Если можете, познакомьте меня с этим Клервиллем.

— Вот, значит, для чего я вам понадобился, я и то себя спрашивал... Но Клервилль не занимает важной должности у англичан.

— «Корифейка второго разряда», как были у нас в старом балете? Все-таки познакомьте меня. если вам не трудно.

— Нисколько не трудно... Вы, может быть, слышали, он женится на дочери адвоката Кременецкого и бывает у них каждый день, когда находится в Петербурге.

— Я не знал... Тогда я, пожалуй, снесусь с ним по телефону, чтобы вас не затруднять. Можно на вас сослаться?

— На знакомство со мной? Пожалуйста.

— Только на знакомство... А, может, лучше будет, если вы его предварительно спросите, стоит ли мне являться к нему для беседы... Смотрите, на ловца и зверь бежит.

Он показал Брауну глазами на Нещеретова, который появился в дверях буфета.

— Вот я его вам подкину на съедение,— сказал Браун. — Аркадий Николаевич...

Нещеретов подошел, щурясь, кивнул, как знакомому, Федосьеву и сел за стол, не ожидая приглашения. Он не помнил, знаком ли с седобородым господином, но был совершенно уверен в том, что знакомство с ним, Нещеретовым, всем доставляет удовольствие.

— Пьесу не смотрите, а чаи с сахарами распиваете.

— Вы не знакомы? — предвкушая эффект, спросил Браун. Нещеретов небрежно протянул руку Федосьеву, с

одинаковым равнодушием принимая и то, что они еще незнакомы.— Аркадий Николаевич Нещеретов... Сергей Васильевич Федосьев...

— Очень рад,— сказал Федосьев. Нещеретов изменился в лице.

— Вы не беспокойтесь,— произнес Федосьев, не понижая голоса.— За мной нет наблюдения и агентов здесь никаких нет. Положитесь на мой опыт и знание полицейского дела. Слежка у них вообще пока поставлена плохо, хоть они бесспорно подают надежды.

— Да я нисколько не беспокоюсь,— поспешно ответил, откашлявшись, Нещеретов.— Что, чай сносный? Верно, очень гадкий, не стоит и пить.

— Отличный чай,— весело сказал Браун.— Дайте, пожалуйста, еще чаю,— обратился он к проходившему лакею.

— Я рад случаю встретиться с вами, Аркадий Николаевич,— так же ровно продолжал Федосьев.— Не скрываю, это и не совсем случай: мне нужно поговорить с вами о деле.

— Очень рад, но, помилуйте, какой же здесь разговор о деле? — беспокойно оглядываясь, сказал Нещеретов; он забыл и свой купеческий стиль, и «словоерик».— Для дела можно найти и время, и место.

— Время можно, но место труднее. Разумеется, я с удовольствием зашел бы к вам, но это было бы все-таки связано для вас с некоторым риском. Здесь же совершенно безопасно. Это, кстати сказать, старый прием: известнейшие революционеры назначали друг другу свиданье в театрах, в ресторанах. Я следую великим образцам.

— Я слушаю... В чем дело?

— Дело вот в чем. Организация, во главе которой я стою, ведет борьбу с большевиками. Для борьбы нужны деньги, большие деньги. Мы надеемся, что вы не откажетесь нам помочь.

Браун смотрел то на одного, то на другого, видимо, наслаждаясь зрелищем. Нещеретов отпил глоток чаю из поданного лакеем стакана, оглянулся снова и положил ногу на ногу. Просьба о деньгах была для него привычным делом. Хоть он и раньше догадывался, что дело именно в этом, сказанные о деньгах слова тотчас вернули ему самообладание.

— Так-с,— сказал он («словоерик» опять появился).— Дать вам деньжат?

— Да.

— Так-с... Но вам, без сомнения, известно, что все мы, значит буржуазиат, разорены и пущены по миру.

— Может быть, если вы поищете, что-либо у вас найдется,— сказал Федосьев.— Например, если у вас есть деньги в иностранном банке, хотя бы в Швеции,— вставил он,— тогда это совсем просто. По вашему чеку на швед-

кий или на другой иностранный банк я могу немедленно здесь получить деньги.

— Так-с, — несколько озадаченно повторил Нещеретов.

— Больше того, если бы вы пожелали помимо тех денег, которые вы, быть может, согласились бы дать нам, разменять чек еще на другую сумму уже лично для себя, мы с удовольствием это сделаем... Впрочем, такие возможности у вас верно есть и без нас?

— Предположим, — уклончиво ответил, слегка улыбнувшись, Нещеретов. — Но есть и нечто другое, серьезнее-с. Когда даешь деньгу, то желаешь знать, кому даешь, зачем и на что.

— Разумеется, — согласился Федосьев. — Но ведь я, кажется, сказал? Или нет? Тогда прошу извинить. Кому? Организации, во главе которой я стою. Имена ее членов вам, вероятно, неинтересны... А меня вы знаете.

— Вас я, точно, знаю. Или, еще точнее, знал... С первого дня революции, вы, извините меня, как в воду канули.

— Согласитесь, было бы глупо, — сказал, приятно улыбаясь, Федосьев, — если б я в тот день явился к новому начальству: сделайте милость, арестуйте меня... Правда, так поступили некоторые из моих бывших сослуживцев, — в тоне Федосьева прозвучало презрение, — но едва ли это было очень целесообразным или достойным поступком, правда?

— А какая примерно нужна вам сумма? — прервал его Нещеретов.

— Чем больше вы нам дадите, тем лучше.

— Ясное дело. А все-таки?

— Другому крупному капиталисту я сказал бы: дайте нам на контрреволюцию столько, сколько вы в былые времена давали на революцию.

— Ну, я на революцию никогда ни гроша не давал, — отрезал Нещеретов.

— Я и сказал: другому. Вы редкое и счастливое исключение. Большинству богатых людей царский гнет не давал возможности делать дела. Стеснение инициативы, отсутствие гарантий и т. д. Надеюсь, их дела пошли лучше после революции, когда появились и гарантии, и инициатива.

— Да-с, — сказал Нещеретов. — Опять же не все и насмехаться имеют право. Я-то имею, мы Россией не управляли, как некоторые прочие.

— Не управляли, но нам мешали управлять.

— Помилуйте-с, кто вам мешал? Вы сами всем мешали... Ну, да что об этом говорить, дело прошлое. Значит, дать деньжат вашей организации. Теперь второй вопрос: на что они даются?

— На свержение большевиков.

— Дело хорошее, спору нет, а какими-такими способами?

— Да всякими, — ответил Федосьев. Он зевнул и продолжал тем же бесстрастным тоном, ничуть не понизив голоса. — Как по-вашему, убить Ленина надо? (Нещеретов помертвел и быстро оглянулся. Браун был в восторге). Ну, вот, и вы согласны, что надо. На это первым делом деньги. Далее...

— Простите, я ничего не говорил, — сказал негромко Нещеретов. — И притом... Всех этих господ не перестреляешь.

— Я и не говорил — всех. Но Ленин человек очень выдающийся, я за ним слежу давно. Заменить его им некем...

— ...Да, трогательный спектакль... И публика какая трогательная!

— Мне прямо до слез жаль, что больше не будет нашего Михайловского театра, — сказала Сонечка.

— Чудо как хорош: это серебро на черном и желтом фоне... Что-то с ним теперь будет?

— И здесь, как везде, начнется новая жизнь, — сказал с силой Березин. — Пусть мертвые хоронят мертвых! Что бы там ни было, а новое слово будет сказано нами!

— Непременно нами, — подтвердил Беневоленский.

— Я тоже думаю, — сказала Тамара Матвеевна. — Все-таки у них искусство очень устарело. Семен Исидорович как-то мне говорит...

— Мама, у вас прядь выбилась из прически...

— ...Так как же, Аркадий Николаевич, дадите нам денег?

— Ну, я еще подумаю, — сказал сухо Нещеретов, — еще очень и очень подумаю. И дело, понимаете ли, серьезнейшее, и, простите меня, руководство должно бы...

Прозвучал звонок.

— А как бы мне поскорее получить ваш ответ?

— Да вот я через профессора передам, — сказал Нещеретов, поспешно вставая. — Ну-с, надо идти в зал. Очень был рад повидать... А вы как, пане профессорже, не идете в ложу?

— Сейчас приду, — ответил Браун.

Нещеретов раскланялся и вышел из буфета, оглядываясь по сторонам. Браун засмеялся.

— Не даст, я так и думал... Вот она, буржуазия! — сказал он. — Прибавят ей два процента к подоходному налогу, она вопит так, точно ее режут. А когда ее в самом деле режут, сидит, тихенькая, все ждет, не придет ли откуда избавитель... Нет, глупее наших революционеров только наши «правящие классы». Хороши правители!..

— Не очень буду спорить.. Эти финансовые Наполеоны в политике совершенные ребята, и злые ребята. Этот если и даст, то для того, чтобы на всякий случай застраховаться... А вид у него, когда он говорит о *деньге*, о *деньжатах*, умильный и симпатичный, как у облизывающейся собаки... Как вы думаете, он хоть не донесет, не разболтает?

— Нет, не разболтает, побоится... И уж, конечно, не донесет, что вы! Он честный.

— Ох, человек по натуре предатель. Даже честный человек... Разве вы не замечали, в разговоре за глаза, да еще в полушутливой форме, лучший друг вас предаст, и даже без всяких сребреников, просто так, чтоб была тема для приятной беседы.

— Это дело другое. Мы говорили о полицейском доносе... А в вашей организации большой, я думаю, процент предателей?

— Да, надо полагать, немалый. Я, разумеется, принимаю все возможные меры предосторожности. Но риск, конечно, страшный, не скрываю... Шансов тридцать из ста, что погибну.

— А если не погибнете? Будете министром?

— Да, и на это из ста есть шанса два или три... А скорее всего буду доживать свой век после войны где-нибудь в Германии.

— Любите Германию?

— Не то что люблю, а это, кажется, единственная страна, где еще немного продержится уважение к атрибутам человека, к форме, к чину, к мундиру... Не смейтесь. По существу человека уважать не за что, — вам ли мне это говорить, Александр Михайлович? — вставил Федосьев. — А надо же что-нибудь уважать, на это и атрибуты. Так вот, и буду жить в какой-нибудь великогерцогской резиденции, с уборными первого и второго классов, с «Eingang nur für Herrschaften», с «Der unberechtigte Aufenthalt vor der Haustüre ist strengstens verboten» [1],— улыбаясь сказал он, медленно, с трудом выговаривая немецкие слова. — Заучил в свое время эти выражения, так они меня восхитили... И обер в кофейне — не просто лакей, а обер-лакей — будет мне говорить: Excellenz!.. [2] Правда, далеко не так почтительно, как немецкому генералу, а все-таки с уважением: хоть русский Excellenz, а все-таки Excellenz... Чем не жизнь, Александр Михайлович, для человека одинокого и конченого, как сами же вы сказали? Так и умру где-нибудь под забором, но хоть забор будет новенький, чистенький, и висеть будет на нем объявление о духах Lose или Schwarzlose или что-нибудь другое в этом роде... А у

[1] «Вход только для господ». «Находиться без разрешения у подъезда строжайше запрещается» *(нем.)*.

[2] Ваше превосходительство *(нем.)*.

нас министрами пусть уж будут ваши друзья, левые Геркулесы. Их и мир охотнее признает.

— Мир признает Геркулесом всякого, кто немного приберет Авгиевы конюшни, — сказал Браун. — Так как же мне вас искать, Сергей Васильевич?

Федосьев вырвал из записной книжки листок бумаги, написал несколько слов и подал Брауну.

— Вот по этому адресу, в понедельник от двух до четырех... Я, кстати, ухожу до конца спектакля. Если хотите, поболтаем еще, а потом вместе выйдем. Можно и о другом поговорить.

— С большим удовольствием.

— ...И зачем вы меня познакомили с этим типом, понять не могу. Не люблю я этих господ!

— Помилуйте, Аркадий Николаевич, я думал, вы будете в восторге. Он и по взглядам к вам близок. Вот и Временное правительство очень не любит.

— Сам тоже хорош: дела в каком состоянии оставил! Не мешало бы всем господам государственным деятелям помнить и соблюдать одно мудрое правило, что висит в иных местах: «оставляйте это место в таком виде, в каком вы хотели бы его застать, приходя»... Еще он не доложил бы о нашем разговоре куда не надо? Как вы думаете? — беспокойно спросил Нещеретов.

— Что вы! Он честный.

— От этих людей можно всего ждать. Их, говорят, в Чрезвычайке видимо-невидимо... Вы что ж шубу надеваете? Уходите? Всего одна картина осталась. Ну, как знаете. Князь пошел к Кременецким в ложу. Семы нет, все дома сидит, верно, мемуары пишет...

— ...Как однако вас, Сергей Васильевич, интересует это дело! Все к нему возвращаетесь... Да ведь оно давно заглохло?

— Заглохло, Александр Михайлович, заглохло. Бог с ним совсем. Помните, что я вам говорил в тот вечер, когда мы так хорошо с вами побеседовали... В день юбилея Кременецкого, помните?

— Что именно вы говорили? Ведь мы тогда беседовали очень долго.

— Я говорил, скоро пойдут у нас такие дела, что смешно и неловко будет разыскивать виновников разных отдельных преступлений.

— Ах, да, припоминаю... Вы еще говорили, что вас это дело интересует как шарада... Что ж, так и не разгадали шарады?

— Пока не разгадал.

— Как-нибудь к этому вернемся... Советую вам поднять воротник, на дворе холодно.

— А здесь в коридорах сквозной ветер, это специальность Михайловского театра... Вот еще что-то висит на стене...

Федосьев остановился и прочел вслух, вполголоса:

«Петроград, Смольный, Ленину, Троцкому. Как и предполагали, обсуждение условий мира совершенно бесполезно, ибо они ухудшены сравнительно с ультиматумом 21 февраля и носят ультимативный характер. Ввиду этого, а также вследствие отказа немцев прекратить до подписания договора военные действия, мы решили подписать договор, не входя в его обсуждение, и, по подписании, выехать. Поэтому потребовали поезд, рассчитывая завтра подписать и выехать. Самым серьезным ухудшением по сравнению с ультиматумом 21 февраля является отторжение от России округов Ардагана, Карса и Батума под видом самоопределения.

Карахан»

— «Потребовали поезд», — сказал с усмешкой Браун. — Вот это требование никак нельзя назвать чрезмерным.

XI

Николай Петрович читал об особом, тоскливом чувстве, которое охватывает заключенного в ту минуту, когда за ним впервые «с визгом и скрипом захлопывается тяжелая дверь». Но он этого не испытывал; он чувствовал лишь большую усталость. Как только смотритель с фонарем ушел, любезно пожелав доброй ночи, Яценко, осторожно вытянув руку вперед, добрался до койки, затем развязал галстук, снял свой высокий двойной крахмальный воротник и лег, испытывая наслаждение от постели, от одиночества, даже от темноты. Освещения в комнате не было никакого. Николай Петрович полежал минут пять, собираясь подумать о случившемся, но так и не подумал. Глаза у него стали слипаться, чувство усталости и наслаждения все росло. Он сделал над собой усилие, привстал, кое как, не без труда, разделся в темноте, снова лег и тотчас заснул глубоким сном, каким ему случалось в последнее время спать лишь после большой дозы снотворного средства.

Когда он проснулся, в камере была полутьма. Яценко приподнялся на койке, вгляделся в камеру и привел мысли в порядок. Настроение у него было довольно бодрое. Обычной утренней тоски не было. «Что ж, арестовали, не беда, скоро выпустят... И спал прекрасно... Да это санаторию выстроил царь Петр Алексеевич», — подумал, сладостно зевая, Николай Петрович и сам удивился шутливому

тону своей мысли. «И камера как камера... Конечно, не салон. Вот только света мало, читать можно, но трудно...» В углублении стены оказалась электрическая лампа без выключателя. Николай Петрович пытался ввинтить ее покрепче, — лампа не зажглась, только пальцы у него почернели от пыли. Он подошел к рукомойнику, из крана слабой, тонкой струей текла вода. Яценко вспомнил, что у него в чемодане есть туалетные принадлежности, поднял крышку, растянул ремни и стал раскладывать вещи, как когда-то в гостиницах. Поверх ремней лежали сплюснутые ночные туфли. Николай Петрович расправил их и бросил на пол у постели. «Вот только коврика нет», — подумал он почти весело. Для мыла, гребешка, зубной щетки, плоской бритвенной коробки нашлось место на рукомойнике. У койки, прислоненной изголовьем к стене, была привинчена доска. «Это ночной столик, он же у меня будет и письменный, и столовый»... Николай Петрович положил на доску «Круг чтения». Другие вещи класть было некуда, пришлось оставить в чемодане.

«Вот и отлично... Что же теперь делать?» — умывшись, с недоумением спросил себя Яценко. Делать ему ничего не хотелось. Несмотря на долгий сон, он все еще чувствовал усталость. «Который час?» Часы показывали пять. Николай Петрович поднес их к уху, часы стояли. «Экая досада, забыл вчера завести. У смотрителя надо спросить, когда он придет. Ведь придет же сюда кто-нибудь, хотя бы с едой...» Есть ему, впрочем, не хотелось. «В самом деле, чем же теперь заняться? Нужно выработать порядок, может, и с месяц придется просидеть... Вероятно, еще утро, хоть не поймешь здесь». Дома утренние часы проходили в тоскливом ожидании ненужных послеобеденных визитов. Одни и те же разговоры одних и тех же, хотя бы и приятных, людей, давно утомили Николая Петровича. Теперь ему не хотелось видеть никого, даже Витю, — лишь бы быть вполне за него спокойным. Но у Кременецких ничего дурного с Витей не могло случиться. «Марусе забыл дать денег, — вспомнил с огорчением Яценко. — Ну, да как-нибудь устроится. У Кременецких же возьмет. Они очень славные люди... Верно, можно будет послать и отсюда, если не скоро выпустят... И если не отберут денег. Пока, однако, не отобрали. Даже и обыска не было...»

На стене висела бумага: «О порядке содержания заключенных в Трубецком бастионе». Николай Петрович внимательно ее прочел, все удивляясь новой орфографии. Инструкция была составлена в либеральном духе и предоставляла заключенным немало льгот. «Совсем как в гостиницах правила, вот только не на четырех языках». Аналогия между Трубецким бастионом и гостиницей или санаторией забавляла Николая Петровича; он подумал, что надо будет рекомендовать друзьям тюремное заключение для поправки нервов. «Главное — абсолютная тишина. Это

очень успокаивает... Вот на стене еще что-то написано...» Против окна карандашом были выведены стишки. «Полковник Швец, — напрягая зрение, разбирал Яценко, — рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатам»... Это недавняя надпись... А должны быть и старые, ведь здесь люди сидели и сто лет тому назад... Потом поищу по стенам. Теперь нужно обдумать... А впрочем, право, там будет видно, когда позовут на допрос... Вот и книга лежит. Священное писание? Нет, Священного писания они, конечно, не положили бы»... Николай Петрович поднял книгу и с удивлением увидел, что это был «Круг чения», им же сюда положенный. «Странно, как я мог об этом забыть? Или голова плохо работает? Нет, не может быть... Надо будет много ходить по камере, — так делали какие-то заключенные. Сильвио Пеллико, помнится, или народовольцы? Очень хорошо, что я захватил книгу».

Яценко вспомнил, что в романах («а, может быть, и в жизни — не все ведь выдумывают писатели?») люди часто открывают какую-нибудь книгу наудачу, обычно Библию, и при этом натыкаются на важные мысли, имеющие прямое отношение к волнующим их вопросам. «Кажется, и у Толстого есть что-то в этом роде... Дай, попробую...» Николай Петрович открыл наудачу «Круг чтения». На открывшейся странице было несколько мыслей. «Какую же взять? Эту? Но вот и на правой странице тоже мысли...» Яценко прочел отрывок, начинавшийся первым под тире на левой странице. Мысль эта не имела отношения к судьбе Николая Петровича. Но была она тонкая, сложная, и говорила она о призрачности мира, — так по крайней мере ее понял Яценко.

«В самом деле все призрачно, — подумал вдруг Николай Петрович. — Вот и то, что случилось со мной, с Наташей, с Россией. Все призрачно!.. Нет, как же, однако, все? Что призрачного, например, в том помощнике коменданта? Или вот, эта стена?» Николай Петрович протянул руку, прикоснулся к холодной сыроватой стене, — и отдернул руку с сожалением: ему жалко было расставаться с идеей призрачности мира. «Еще попробовать?» Он снова раскрыл книгу. Попалась длинная мысль, уж явно не имевшая отношения к его судьбе:

«Вся деятельность людей мира состоит из скрывания неразумия жизни: с этой целью существуют и действуют: 1) полиция, 2) войска, 3) уголовные законы, тюрьмы, 4) филантропические учреждения: приюты для детей, богадельни для стариков, 5) воспитательные дома, 6) дома терпимости, 7) сумасшедшие дома, 8) больницы, в особенности сифилитические и чахоточные, 9) страховые общества, 10) все обязательные и устраиваемые на насильственно собираемые средства образовательные учреждения, 11) учреждения для малолетних преступников и многие прочие .

Яценко читал эти слова, вдумываясь в их прямой смысл, и в нем вставало то чувство недоумения, обиды, негодования, которое когда-то вызывало у него «Воскресение». Однако теперь Николай Петрович чувствовал и другое. Суд, законы, даже образовательные учреждения ставились вровень с домами терпимости! Но ужасные слова эти говорил один из умнейших, умнейших и благороднейших людей мира, и говорил он это в восемьдесят лет, у края могилы, — уж конечно не для того, чтобы удивлять или забавлять читателей парадоксами. «Как же я могу во всем этом разобраться, и можно ли обыкновенному человеку разумом понять, осмыслить жизнь?» — спросил себя Николай Петрович. Он снова зашагал по комнате. «Быть может, призрачно и неразумие жизни... Да, все, все призрачно... Не станет меня, как не стало Наташи, и где же будет то, чем мы жили? Ее смех у бусовой двери в Ницце? Наша прогулка в Царском Саду? Моя гимназия, которую я ей показывал...»

Николай Петрович остановился посредине камеры. Вдали, наверху, раздался глухой бой, затем перешедший в музыку. Призрачная, очень медленная музыка эта имела прямое отношение к его мыслям, она была в том далеком, о чем он вспоминал. Яценко сразу понял, что это играют знаменитые куранты Петропавловской крепости. Но ему не хотелось признать, что ничего таинственного собственно не произошло. «Есть здесь какая-то важная и странная связь», — думал Николай Петрович, прислушиваясь к медленно гаснущим наверху звукам «Коль славен». Сердце у него билось и на глазах были слезы.

XII

В ярко освещенном, людном hall'е гостиницы «Палас» против вертящейся двери стоял пулемет. Ксения Карловна, как всегда, с досадой окинула его взглядом: «бесполезная и потому вредная мера», и, мимо смотревших на нее с любопытством людей, поспешно направилась к лестнице. Подъемная машина в «Паласе» действовала, но Карова редко ею пользовалась, чтобы не беспокоить молодого товарища. Она жила в третьем этаже, в небольшом номере, прежде отдававшемся по восемь рублей в сутки. Теперь в таких номерах жили ответственные работники, — ответственные, но не слишком важные. Партийным сановникам были отведены номера получше. Самые же важные партийные вожди жили отдельно, не в «Паласе». Это сделалось, без умышленного распределения по чинам, само собою, — так, как новые люди располагаются на богатом курорте, где кроме просто хороших гостиниц, находящихся близко одна от другой на главной улице, всегда есть еще одна, самая лучшая, стоящая где-нибудь поодаль, особняком, и живущая самостоятельной жизнью.

Ксения Карловна вошла в свой номер, сняла пальто и повесила его на гвоздь, вбитый в дверь ванной (все вешалки исчезли неизвестно куда). Свой номер она содержала в чистоте и порядке, — на прислугу положиться было невозможно. Ванная комната служила ей и кухней: на столике находилась спиртовая лампа, а на полке разные съестные припасы. При гостинице действовал ресторан, — не прежний, первоклассный, но недурной и хорошо снабженный провизией. Ксения Карловна раз в день получала там обед из двух блюд: ужинала она у себя в номере, всегда одна, за книгой и газетами. По ее положению и связям, она могла бы устроиться гораздо лучше. Но людям, которые ей это предлагали, Карова твердо объясняла, что находит «принципиально недопустимыми бытовые привилегии ответственным работникам». Ксения Карловна не одобряла поведения многих товарищей, в том числе и видных, и говорила, что они живут теперь так, как при старом строе жили князья и плутократы, представители отжившего привилегированного класса. Слов «князья и плутократы» Карова не придумывала, — они, как и многие другие такие слова, сами собой у нее выскакивали, когда она говорила серьезно (а говорила она серьезно почти всегда).

В отличие от громадного большинства своих товарищей по партии, Ксения Карловна знала, как жил до революции привилегированный класс. Она выросла в богатстве и только лет двадцати от роду, после смерти матери и окончательного *конфликта* с отцом, стала жить по-иному. В тесном ее кругу это ей даже создавало особое положение, которого она стыдилась в разговоре с другими (чаще, впрочем, гордилась, чем стыдилась). Но и в самые последние годы Карова жила значительно менее бедно, чем жила теперь, участвуя в правительственной работе. Отец и после окончательного конфликта продолжал высылать ей деньги, ничтожные по его богатству, но вполне достаточные для жизни: почему-то он назначил ей семьсот рублей в месяц, которые с тех пор, в течение многих лет, каждое первое число, регулярно ей высылались конторой Фишера. Порывая с отцом, Ксения Карловна думала было вовсе отказаться от его денежной поддержки. Но это оказалось невозможным. В интимных беседах с друзьями Карова, опуская глаза, подчеркнуто-суровым к себе тоном говорила, что, к несчастью, она не могла отказаться сразу от всех привычек прежней жизни, — «от тех времен, когда я с матерью разъезжала по всем Европам». Платья она всегда носила простые, скромные, довольно дешевые, но белье покупала у Дусе. «К тому же, отказаться от средств моего батюшки было бы не в интересах партии», — тем же простым, сурово-мужественным тоном говорила она. Это в самом деле было не в интересах партии, и важный партийный деятель, с которым Ксения Карловна тогда сочла нуж-

ным посоветоваться, вытаращил глаза и замахал руками, узнав об ее сомнениях.

— Да это безумие! — воскликнул важный партийный деятель. — Вы, напротив, должны в максимальной степени выпотрошить папашу.

Слова эти резнули Карову, но она понимала, что, как человек партийный, ее собеседник прав. Моральную трудность можно было бы преодолеть иначе, отдавая партии все получаемые от отца деньги, — и против этого партия, наверное, ничего не имела бы. Однако Ксения Карловна не чувствовала себя способной жить на двадцать пять рублей в месяц. С тех пор, получая в Париже с неприятным чувством, каждое четвертое число, конверт с пятью сургучными печатями снаружи, с семью ассигнациями внутри, Ксения Карловна регулярно отдавала в партийную кассу четыреста рублей. Рассказывала она об этом *неохотно* только близким друзьям; но близким друзьям рассказывала непременно и всегда мужественным, суровым к себе и вместе чуть насмешливым тоном, с упоминанием и о Дусе, и о «всех Европах».

Служебный день Ксении Карловны был кончен, — обычно он кончался гораздо позже. Этот вечер был предназначен для чтения и литературно-политической работы. Ксения Карловна и то жаловалась друзьям, что практическая деятельность ее засасывает: «А между тем надо, ох, как надо, и по теории кое-что подчитать, а уж по истории я совсем швах, каюсь, запустила», — сурово-мужественно говорила она друзьям. Впрочем друзья знали, что товарищ Карова, по своей обычной скромности, преувеличивает: она всегда следила и за теорией, и за историей (разумелись теория и история партии). В партийной среде очень ценили и уважали Карову: «крупная сила и замечательный работник», — говорили о ней светочи.

На столе, под стеклом которого видны были объявления дорогих гостиниц, магазинов, пароходных обществ, лежал картонный портфель: Ксении Карловне недавно посчастливилось достать большую редкость, собрание статей Ленина. Она развязала шнурок портфеля и бережно положила на стол потрепанные синие и серые брошюры, аккуратно наклеенные на бумагу газетные вырезки. Время у Ксении Карловны было рассчитано. Она вышла в ванную комнату, открыла кран с надписью «горячая» и подставила руку под струю — вода все текла холодная. «Позор, что не могут наладить», — сердито подумала Карова. Она вообще не любила «Паласа». Ей было известно, что в этой гостинице ее отец провел последние недели своей жизни. В том большом номере бель-этажа теперь жил видный партийный деятель, и Ксении Карловне всегда бывало неприятно с ним встречаться, хоть он был очень уважаемый работник, состоял даже некоторое время цекистом, а в партии числился с 1904 года.

Карова умылась холодной водой, затем поставила на спиртовую лампу приготовленную с утра кастрюлю. Запах спирта вызвал в ее памяти лабораторию. Что-то больно кольнуло Ксению Карловну. «Да, злой бессердечный буржуа»,— сказала она себе, вспомнив свой визит к Брауну. Ксения Карловна вернулась к столу, зажгла лампу сбоку, над зеркалом, и пододвинула папиросы, бумагу,— надо было сделать из разных статей выписки и заметки для ответственного доклада. Она отвинтила крышку карманного пера,— перо не писало. Ксения Карловна сильно его встряхнула и с ужасом заметила, что капнула чернилами на брошюру «Шаг вперед, два шага назад». Кляксу кое-как удалось высосать свернутым в трубочку куском промокательной бумаги,— осталось только бледно-голубое пятнышко,— но все же было неприятно, и Карова не сразу могла сосредоточить мысли. Однако, сделав над собой усилие, она установила порядок положений доклада, приблизительно наметила, что в какой статье надо просмотреть, и, нахмурившись, стала читать.

«...Философия хвостизма, процветавшая три года тому назад в вопросах тактики, воскресает теперь в применении к вопросам организации...» — «Да, это очень важно сейчас, коль скоро бывшие хвостисты собираются поднять голову»,— удовлетворенно подумала Ксения Карловна и взялась было за перо. Из ванной запахло капустой,— Ксения Карловна забыла о супе. Она вскочила, пробежала в ванную и погасила спиртовку. Суп, шипя, переливался через край кастрюли. Ксения Карловна, морщась от боли, взялась за горячую ручку, быстро перелила суп в глубокую тарелку, захватила с собой соль, хлеб и перенесла все на стол. «Да, злой буржуа, вообразивший себя сверхчеловеком,— опять вспомнила она о Брауне.— Осмеивает все живое и борющееся... Ну, и вычеркнуть его раз навсегда из памяти...» Но Браун из памяти у нее не выходил.

Ксения Карловна познакомилась с ним давно, вскоре после разрыва с отцом. Она тогда подумывала и о науке. К Брауну у нее было рекомендательное письмо. Ксения Карловна бывала и на его лекциях, и в лаборатории. Наукой он не советовал ей заниматься, но был с ней очень внимателен и любезен, зашел с визитом, пригласил ее на обед в ресторан. Ксения Карловна охотно приняла приглашение: она и партийным друзьям говорила, что любит «минутные вылазки в старый мир». Ей — особенно в ту пору — нравились хорошо одетые, хорошо воспитанные, хорошо говорящие по-французски мужчины. Обед, впрочем, сошел неудачно. В ресторане, выпив шампанского, Ксения Карловна рассказала Брауну всю свою жизнь. Он был, однако,

в дурном настроении, слушал ее мрачно и не очень внимательно, а когда она кончила, сказал:

— Это Шекспир с примесью Вербицкой... Что, если в дальнейшем Шекспира не хватит? Тогда вся ваша жизнь пройдет по Вербицкой, а? Право, не стоит, Ксения Карловна.

— Я вам говорю чистую правду,— сказала, вспыхнув, Ксения Карловна. Вместо «чистую» у нее вышло «цистую»,— в минуты волнения она немного шепелявила; это воспоминание потом очень ее мучило.

— В этом я нисколько не сомневаюсь,— поспешно ответил Браун. Мнение Ксении Карловны об его любезности и хорошем воспитании поколебалось. Однако добрые отношения остались, тем более, что Браун, видимо, старался загладить свою резкость. Она часто о нем думала, стыдилась этого и вместе этому радовалась.

«...Знаете ли вы, читатель, что такое Воронежский комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии? Если вы не знаете этого, то прочитайте протоколы партийного съезда...» «Hôtel Héliopolis, le plus luxueux du monde, 800 chambres aves salle de bain...» [1] «Паки и паки мы должны с сожалением констатировать, что бундовцы совершенно не сводят концы с концами...» «Those Cook & sons offices, Great Britain & Ireland, Europe, Africa, Oriental...» [2] Есть и читать, скосив глаза, было неудобно,— глупые объявления под стеклом развлекали Ксению Карловну. Она поужинала, унесла тарелку в ванную, вернулась и быстро набросала тезисы доклада. Это ее оживило. Для заключительной части, где говорилось о приходе партии к власти, надо было заглянуть в прошлогодние статьи Ленина. Ксения Карловна внимательно прочла ряд вырезок и кое-что выписала. «Когда-то А. И. Герцен сказал,— быстро, крупным и четким почерком, выписывала она,— что когда посмотришь на «художества» господствующих классов России, то становится стыдно сознавать себя русским. Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом крепостничества, когда кнут и палка властвовали над нашей страной. Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят Керенские и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается с подчиненными национальностями так, что и теперь напрашиваются на язык горькие слова А. И. Герцена...»

В одиннадцать часов Ксения Карловна кончила конспект доклада, который несомненно должен был вызвать

[1] Отель «Гелиополис», самый роскошный в мире, 800 номеров с ваннами *(фр.)*.

[2] Контора «Кук и сыновья». Великобритания, Ирландия, Европа, Африка, Восток *(англ.)*.

много споров и шума в городском комитете. Она прочла конспект с начала до конца. Некоторые места в нем доставили ей немалое удовлетворение, особенно то, которое со ссылкой на Ленина, было направлено против бывших хвостистов, теперь примазавшихся к комитету и явно компрометирующих партию. Ксения Карловна завинтила самопишущее перо, аккуратно, в хронологическом порядке, сложила статьи Ленина и завязала шнурки папки. На следующий день надо было идти на работу в семь часов утра. Ксения Карловна разделась и стала проделывать шведскую гимнастику, которую ей рекомендовал один врач, — прекрасный работник, состоявший в партии с 1907 года (Ленин тоже одобрял шведскую гимнастику). Зеркало отражало ее тощую фигуру, худые повисшие руки, аккуратно, но некрасиво заплатанное белье — от Дусе. «Кожа желтая от электрического света... И наша эпоха не время для личного счастья... Злой, злой человек, и не надо о нем вспоминать, — печально и бессвязно думала Ксения Карловна, вздрагивая при мысли о своей последней встрече с Брауном. — «Повысятся другие ценности, скажем, например, наружность»... Как это плоско он сказал, и грубо, и пошло!.. Я ему ответила: «Это ваше замечание сделало бы честь Кузьме Пруткову». И очень хорошо, что так ответила, — вспомнила она, вытягивая руки и приседая. Вдруг Ксения Карловна замерла: «Что, если сказала не честь, а цесть!.. Нет, не сказала... Ах, да не все ли равно! Право, стыдно об этом и думать! Для меня этот буржуазный эстет больше не существует...»

XIII

Денежное положение Горенского становилось с каждым днем хуже. Посоветовавшись с Мусей, Фомин задумал пристроить князя в коллегию по охране памятников искусства и истории. Это было нелегко, хотя Фомин и пользовался немалым влиянием в коллегии. К нему очень благоволила Карова.

Фомин был с ней чрезвычайно внимателен и любезен, — однако без всякого подхалимства. Ксения Карловна знала, что он, как многие другие члены коллегии, относится к большевикам враждебно. Но она чрезмерной нетерпимостью не отличалась и всякие знаки внимания очень ценила. Поладить с нею было нетрудно. Фомин интересовался ее взглядами на искусство, советовался с ней не как с начальством, а как с хорошо осведомленным специалистом, и называл ее по имени-отчеству. Другие члены коллегии обращались к Ксении Карловне официально: «товарищ Карова», — она чувствовала, что в устах некоторых из них слово «товарищ» звучит насмешкой или ругательством.

Впрочем, при первой попытке Фомина поговорить о должности для Горенского, Ксения Карловна отнеслась к этому как будто несочувственно.

— Князь Горенский? Ну вот еще!

— Почему же «ну вот еще», если смею спросить?

— Ох, не люблю князей...

— Гейне говорил: «Надо быть очень осторожным в выборе своих родителей», — шутливо ответил Фомин. — Разрешите сказать вам, что вы и сами допустили маленькую неосторожность, родившись в привилегированной среде, в мире haute finance[1].

Фомин чувствовал, что это напоминание об ее принадлежности к привилегированной среде не слишком неприятно Ксении Карловне и что едва ли она уж так не любит князей.

— Но ведь этот Горенский, вдобавок, очень ярко выявленная фигура буржуазно-либерального лагеря?

— Не такая уж яркая фигура... Наконец, позвольте вам напомнить, Ксения Карловна, — сказал с достоинством Фомин, — что и ваш покорный слуга тоже отнюдь не большевик и даже не сочувствующий. Я от вас этого никогда не скрывал.

— Да, я знаю, — поспешно сказала Ксения Карловна, впадая в его тон, в тон дружески разговаривающих офицеров враждебных армий. — В общем и целом мне направление членов коллегии безразлично.

— Разница в политических взглядах не мешает нам делать культурное дело, которое и вы, и я находим полезным. Да, Горенский — князь, но такого знатока старых книг, фарфора и миниатюр у нас в коллегии нет. Ему надо было бы предоставить отдельную секцию.

— Что ж, если он ценный культурный работник, — ответила, сдаваясь, Ксения Карловна, — я отнесусь индифферентно... Тогда, я думаю, надо мне сначала с ним познакомиться?

— Непременно! Я его к вам приведу.

В согласии Каровой Фомин и раньше почти не сомневался. Главная трудность заключалась в том, чтобы уговорить князя. И Фомин, и Муся долго доказывали Горенскому, что коллегию по охране памятников искусства и старины никак нельзя причислять к большевистским учреждениям или даже с ними сравнивать.

— У нас большевиков три человека и обчелся, — убедительно говорил князю Фомин. — Я лично имею дело только с товарищем Каровой. Un numéro, celle-là[2]. Остальные члены коллегии такие же большевики, как мы с вами. И самая коллегия то же самое, что на войне был Красный Крест, только спасают не гибнущих людей, а гибнущие шедевры искусства.

---

[1] Больших денег *(фр.)*.

[2] Она единственная *(фр.)*.

— Ну да, вот именно! Вот именно! — горячо подтверждала Муся.

— Может быть, но что ж мне делать? Я этих людей видеть не могу, — отвечал мрачно Горенский. — Мне противно якшаться с ними, и руку им подавать гнусно.

— Позвольте, Алексей Андреевич, — обиженным тоном сказал Фомин. — Почему же я могу подавать им руку? Вам отлично известно, что я их люблю не больше, чем вы.

— Пожалуйста, не сердитесь на меня, Платон Михайлович, — сказал князь, — я очень ценю ваше доброе намеренье... Но вы знаете, как я теперь нервен.

— Да я нисколько не сержусь. Я только говорю: подумайте.

— По-моему, тут и думать нечего, — говорила Муся. — Платон Михайлович совершенно правильно сказал: это Красный Крест. А на Красный Крест ни бойкот, ни саботаж распространяться не могут.

— Хорошо, я подумаю, — упавшим голосом ответил Горенский.

Жить князю было в самом деле нечем. Он не мог продавать имущество, как делали другие; дом у него отобрали со всеми вещами. По текущему счету выдавали ежемесячно гроши, которых не хватало на несколько дней жизни. Не мог князь и уехать в глушь, в деревню, как хотел сделать после разгона Учредительного Собрания: землю у него тоже отобрали. Еще недавно многие богатые люди сочли бы для себя честью оказать кредит князю Горенскому. Теперь денег ни у кого почти не было, а те, у кого деньги оставались, гораздо менее охотно предлагали их взаймы. Уж очень много теперь везде было нужды. Лишенья, которым подвергались люди, прежде богатые и высокопоставленные, никого не удивляли и не трогали, тем более, что, наряду с подлинными богачами, тон разоренных революцией магнатов часто принимали люди, никогда никакого состояния не имевшие. Горенский взял взаймы три тысячи, предложенные ему Нещеретовым, был немного должен и Кременецкому. Деньги скоро разошлись, и теперь у князя не оставалось ничего.

Горенский опустился и по внешности: брился не каждый день, носил помятые воротнички, некрасиво, с торчащим изнутри язычком, расходившиеся над галстуком. Както раз Муся заметила, что у князя брюки с бахромою и сбитые башмаки. Это почему-то особенно расстроило Мусю. Впоследствии, когда она вспоминала Петербург 1918 года, в памяти у нее прежде всего вставали не аресты, не грабежи, не убийства, даже не голод, а бахрома на брюках и сбитые каблуки князя. Муся знала, что он взял небольшую сумму денег у ее отца. Семен Исидорович тогда сообщил об этом семье.

— Нынче я, друзья мои, устроил маленький заем нашему милейшему Алексею Андреевичу, — сочувственно взды-

хая, сказал Кременецкий.— Он, бедняга, чуть ли не голодает... Пустячок какой-то, не стоит и говорить... Но подумать только: князь Горенский, владелец двенадцати тысяч десятин!

Муся хотела было попросить отца опять предложить Алексею Андреевичу денег; она знала, что Семен Исидорович тотчас даст Горенскому взаймы и во второй раз, и даже даст охотно, однако не так охотно, как в первый раз,— это оскорбляло Мусю за князя. К отцу Муся не обратилась, но настойчиво потребовала у Фомина места в коллегии для Горенского. В глубине души, она сама находила, что ему лучше было бы не служить и в Коллегии по охране памятников искусства.

— Надо же, наконец, нам что-нибудь для него сделать, Платон Михайлович!

— Милая, да я и так делаю все, что могу,— сказал Фомин, задетый этим замечанием: все делал он, а Муся только советовала.— Пусть он представится товарищу Каровой, и дело будет в шляпе, я ручаюсь. Но ведь вы его знаете! Убедите его, милая.

Горенский решительно отказался представиться Каровой. По совету Муси, Фомин как бы случайно устроил встречу на нейтральной почве, у себя, во дворце.

Князь очень понравился Ксении Карловне.

— Конечно, как я и думала, махровый контрреволюционер,— снисходительно сказала она позднее Фомину.— Но образованный и умный представитель своего класса. Вы правы: ценная культурная сила должна быть утилизирована в интересах дела.

— Ведь я вам говорил.

— Да... Мы это устроим.

На князя Ксения Карловна не произвела отталкивающего впечатления.

— Кажется, работать с ней можно,— угрюмо сказал он Фомину.

— Она каждый день умывается! Мылом! — ответил Фомин.— C'est déjà quelque chose... [1] А дело, право, интересное и нужное... Вот, вчера мы опоздали, и насмарку пошел дивный фарфоровый сервиз. Его отдали в общежитие для приезжих большевиков. Этот сервиз принадлежал генералу Талызину, одному из убийц Павла I.

Через несколько дней после этого Горенский получил место в коллегии, с окладом, который давал ему возможность кое-как жить без чужой помощи. Несмотря на все доводы друзей, князь рассматривал свое поступление на службу как моральное падение. Он и при старом строе служил только по выборам, да еще в гвардии, молодым человеком. Теперь, он понимал, его голодом заставили поступить на службу к большевикам.

---

[1] Это уже что-то (*фр.*).

Горенскому было в последнее время тяжело жить не только в материальном отношении. Он не занимал никакой должности в 1917 году и не нес прямой ответственности за события. Однако падение Временного правительства, разгон Учредительного Собрания были для князя и личной драмой.

Политические интересы занимали в жизни Горенского очень большое место, быть может, отчасти потому, что для себя он почти ничего желать не мог: у него все было, положение, имя, богатство. Немногочисленные враги Горенского говорили, что высоким общественным положением он обязан именно либеральным взглядам, или, точнее, их сочетанию с именем и богатством. Однако своим взглядам князь Горенский пожертвовал другой карьерой, более медленной, зато и более блестящей, — по крайней мере с внешней стороны. Со взглядами этими он сжился очень прочно. Многие из его единомышленников увидели в событиях 1917 года крушение либеральных идей и теперь от них отрекались. Горенскому пойти на это было трудно: это значило признать бессмысленной всю свою жизнь. Проверяя себя, он перечитывал те книги (преимущественно английские), из которых выводил «свое политическое credo», — он любил и часто употреблял это выражение. В книгах ничего не изменилось; их круг мыслей продолжал казаться князю верным. У Дж. Ст. Милля все выходило хорошо. В действительности все было скверно. Нельзя было ругать Милля. Но нельзя было и хвалить действительность. Другие единомышленники Горенского, не отрекаясь от своих основных взглядов, взваливали ответственность за события на отдельных людей. Это было не в его характере, прямом и благородном. Он мог найти в прошлом такие моменты, когда расходился с людьми, стоявшими у власти, мог признать это расхождение решающим и таким образом освободить себя от всякой ответственности. Но Горенский помнил, что в общем действия Временного правительства **тогда** казались ему правильными. Помнил он и о том, что иногда сам обходил Временное правительство не справа, а слева. Правда, об этом он вспоминал неохотно и, несмотря на всю свою искренность, только про себя.

Наиболее спокойные и терпеливые из его единомышленников относились к событиям хладнокровно. Они признавали, что правительством и обществом были допущены важные ошибки, но тут же говорили: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Они указывали на культурную отсталость России и порою добавляли шутливо: «Помните, у Чехова сказано, «это тебе не Англия!» Они ссылались на гибельную роль подстрекателей, на усталость армии, на то, что народ болен. Все это могло быть верно, Горенский и сам это говорил, но жизнь его выходила бессмысленной и с этими доводами. Терпеливые наблюдатели подчеркивали сходство нового строя со старым и даже старались —

особенно вначале, — **пристыдить** этим сходством большевиков: «В их новизне старина нам слышится», — говорили они. Горенскому старина в новизне не слышалась. Собственная его судьба мешала ему ее слышать. «Да, верно: и тогда был гнет, но такого гнета никогда не было! — говорил себе он. — Нет, все равно, вплоть до мелочей...» (Прежде главными врагами являлись люди его круга, нынешние враги были **никто**. Это и было мелочью, скорее ощущением, чем доводом. Но ощущения этого князь преодолеть в себе не мог.)

Тогда все было ясно. Вполне ясно было, кто враги и кто друзья. Главной опорой, единомышленником, союзником, Горенский считал русский народ, на который и ссылался беспрестанно в своих речах. В ноябре крестьяне сожгли его дом в деревне, убили управляющего, все в усадьбе разграбили и уничтожили. В отличие от многих либеральных помещиков, князь Горенский не считал себя благодетелем своих крестьян; в молодости, читая Михайловского, он говорил, что прекрасно понимает психологию кающегося дворянина, и даже немного этой психологией гордился. Но все-таки он сделал немало: завел школу, больницу, отдавал мужикам землю в аренду на три рубля с десятины дешевле, чем другие помещики, работал в земстве, всячески отстаивал интересы крестьян при столкновениях с властями. В 1905 году в его имениях не было никаких беспорядков, и это князь с гордостью приписывал своим взглядам и действиям. Теперь все приходилось объяснять тем, что народ болен. Горенский так это и объяснял, но прежней ясности больше не было. Народ не выздоравливал, и о психологии кающегося мужика говорить не приходилось.

Моральная тяжесть, которую испытывал князь Горенский, еще увеличивалась от того, что в себе самом он теперь находил чувства, прежде совершенно ему незнакомые. Так, при новых насилиях и издевательствах большевиков, он ловил себя на мыслях о беспощадных казнях, — между тем он был всегда противником смертной казни и не раз протестовал против нее в Государственной Думе. Иногда Горенский чувствовал, как в нем поднимается антисемитизм, — чувство, которое он раз навсегда себе запретил много лет тому назад, начиная общественную жизнь. Иногда ему казалось, что он теперь ненавидит и презирает весь русский народ. Это было очень тяжело.

Нелегко ему было выносить и резкую перемену в отношении к себе окружающих. Князь Горенский прожил всю жизнь в атмосфере почета и уважения. Большинство людей либерального лагеря очень его почитало и любило; многие даже им гордились, — так рядовые провинциальные декабристы гордились своими столичными рюриковичами. В консервативных кругах, к которым принадлежала его родня, отдавали должное независимости Горенского, своеобразию

избранного им пути. Теперь либералы им не интересовались, консерваторы говорили о нем с ненавистью, в среде своих родных он стал чуть только не посмешищем. Вокруг князя образовалась и политическая, и бытовая пустота. Он сам стал избегать общества и бывал лишь у тех людей, которые, хоть по видимости, относились к нему совершенно так же, как прежде.

Особенно охотно князь Горенский беседовал теперь с Глафирой Генриховной. Она восторженно его слушала, всячески давала понять, что считает его необыкновенным человеком, а иногда прямо так и заявляла, как бы **проговариваясь** в присутствии князя. Мусю вначале забавляла эта манера; она считала ее наивно-провинциальной и называла «action direct» [1]. Сама Муся совершенно иначе говорила с мужчинами, которым хотела нравиться. Но, к большому и неприятному своему удивлению, Муся скоро стала замечать, что манера ее подруги имеет успех. Глаша, бестактная злюка — Глаша, которую в кружке самые снисходительные люди считали «недурненькой, но не более», а Никонов называл «желтым мордальоном», явно нравилась князю Горенскому! Он уединялся с ней охотнее, чем с самой Мусей. Из случайных бегло-равнодушных замечаний Глафиры Генриховны выяснилось, что она встречается с князем не только у Кременецких.

XIV

«...**У колонны.** № 35. Первый план. Из диафрагмы медленно выплывает лицо Лидии. Крупно. На нем написаны страсть и чисто материнская нежность. Она напоминает дивную статуэтку Танагра. Взгляд ее, неподвижно устремленный вдаль, гаснет. Фондю. **У колонны.** № 36. Лидия во весь рост. Она медленно подносит розу к губам, потом к сердцу. Аппарат приближается на первый план, фиксируя переживания Лидии. На среднем плане в профиль к аппарату скользит тень графа Карла фон-ундцу-Цингроде. Переход. **У колонны.** № 37. Дикая ненависть вдруг отражается на нежном лице девушки. Роза падает у нее из рук. Аппарат панорамирует навстречу. Как тигрица, Лидия стремительно бросается к графу Карлу.

Надп. — Это ты, злодей, тайный виновник его несчастья!»

Перед большим зеркалом Сонечка в двадцатый раз разучивала эту сцену. Березин считал ее центральной в роли Лидии — роль, правда, была второстепенная, — и от ее пробного выполнения зависело то, можно ли будет пригла-

---

[1] Прямое действие (*фр*).

сить Сонечку. Сонечка замирала от счастья при мысли, что будет играть в фильме. Самое разучивание сцены, по указаниям и под руководством Березина доставляло ей наслажденье, равного которому она никогда не испытывала в жизни.

Сонечку в последнее время мучили вопросы, которых она не называла «проклятыми», потому что взрослые, в особенности Муся, часто с подчеркнутой насмешкой говорили о «проклятых вопросах», и Сонечка понимала, что это очень устарелые, книжные, смешные слова. Главный вопрос, мучивший Сонечку, заключался в том, в кого именно она влюблена. Разумеется, она не была влюблена ни в Никонова, ни в Фомина, — о Беневоленском не стоило и говорить. Сонечка прекрасно знала, что любовь слепа, и все же очень ясно чувствовала, в кого можно влюбляться и в кого нельзя. Так, явно отпадал Клервилль. Он был красавец, и при других условиях в него очень можно было бы влюбиться. — Сонечка и то иногда на него заглядывалась. Но Клервилль был женихом Муси, — в него влюбляться не годилось. Иногда у Сонечки мелькало и такое демоническое настроение: «отбить любимого человека у лучшей своей подруги!..» Однако она чувствовала, что это совершенно не серьезно: Сонечка боготворила Мусю и ни за что не сделала бы ей никакой неприятности («не то что это!»). Сонечке нравился «как человек» и Горенский, нравился ей и его титул, как-то во всем придававший ему достоинств. Но опять-таки в него влюбляться не имело смысла. Незачем было влюбляться и в Витю (Сонечка и это чуть было попробовала) — «потому же, почему и в князя, но как раз наоборот», — говорила себе она: это объяснение другим могло быть непонятно; Сонечка же отлично знала, что хочет сказать. Все это в мысли, собственно, и не выливалось, но чувствовалось само собой.

Витя, вдобавок, был влюблен в Мусю. Сонечке об этом в шутливом тоне сообщила сама Муся, тут же взяв с нее честное слово, что она никогда никому ничего не скажет, — «я только вам проговорилась, больше никто решительно не знает». Сонечка свято хранила секрет дня три, пока это не стало ей совершенно не под силу, затем рассказала Глафире Генриховне. Рассказав, она ужаснулась своей низости и потребовала от Глаши клятвы в святом хранении секрета.

— Витя способен застрелиться, если об этом будут знать и шутить! — говорила Сонечка, сама себя пугая и округляя глаза. — Глаша, милая, поклянитесь... Поклянитесь своей жизнью! — Сонечка хотела было сказать: «поклянитесь моей жизнью», как требовала установленная у них в кружке формула, но почему-то подумала, что клятва ее, Сонечкиной, жизнью едва ли остановит Глафиру Генриховну.

— Отстаньте, Сонечка,— с досадой сказала Глаша.— С чего Витя будет стреляться! Все мальчишки в кого-нибудь влюблены и он, естественно, тоже. Да еще и правда ли?

— Разумеется, правда! Как Бог свят!.. Мне сама Муся сказала.

— Вот то-то и оно, что сама Муся... Я ничего не хочу сказать дурного, но Муся думает, будто в нее все влюблены. И великие князья ее на Невском заметили... Кажется, и Вильгельм ее где-то преследовал на курорте, лет восемь тому назад.

— Что вы выдумываете, Глаша? — обиженно сказала Сонечка.— Никогда Муся ничего такого не рассказывает, а восемь лет тому назад она под столом бегала.

— Не очень под столом.

— Ну да, под столом. Ей двадцать два года, значит тогда было четырнадцать.

— Скажем, что ей все двадцать четыре, значит было шестнадцать.

— Да нет же, ей двадцать два!

Глафира Генриховна улыбалась снисходительной улыбкой, означавшей: «Какая вы легковерная, Сонечка...» Она, впрочем, обещала молчать. Витя был «клоп», и его любовь была совершенно не нужна Глаше; но все же ей было неприятно, что закрепляется версия о новой победе Муси.

Разговор с Глафирой Генриховной расстроил Сонечку. Вечером она долго плакала: думала и о Березине, и о близящемся Мусином отъезде, и о том, есть ли у нее талант, и о том, что ей в жизни делать. Сонечка вообще мрачным характером не отличалась и плакала редко, всего раза два-три в месяц,—и это несмотря на печальную зиму почти без всяких развлечений, на постоянное ворчание старшей сестры Анны Сергеевны, быстро старящейся классной дамы, несмотря на увеличивающуюся в доме бедность: ни одного платья сшить не удалось,—только два старых переделали, да и то домашними силами, плохо, так что даже иные мужчины, как Фомин, и уж, конечно, все дамы, немедленно признавали в них старые. Утешением было то, что Сонечка, несмотря на все невзгоды, очень похорошела в последнее время и была необыкновенно мила. Мужчины не сводили с нее глаз,—она это видела, да ей это говорила и Муся.

— Я что, старая гвардия,—полушутливо, но и с грустью сказала ей как-то Муся в ответ на комплимент.— Теперь ваше время, Сонечка...

— Мусенька, вы вне конкурса!—восторженно ответила Сонечка.—Я никого красивее вас не видала.

Глафира Генриховна пренебрежительно улыбалась. Она не завидовала Сонечке: та была другого поколения, несмотря на малую разницу в годах.

Почему-то в эту ночь Сонечка окончательно убедилась, что влюблена в Березина. В постели она долго ворочалась, поправляла и перекладывала подушку, а наутро не без гордости утверждала, что «не сомкнула глаз всю ночь», на что Анна Сергеевна, впрочем, возражала: «Ну, и врешь, мать моя, в двенадцать как убитая спала, пушкой было не разбудить...»

К весне Сонечка была влюблена искренно и страстно. Шутки друзей тотчас это закрепили. Березин, признанный покоритель сердец, был польщен и стал уделять Сонечке немало внимания.

— Свежая, милая девочка, с душой и, кажется, не без таланта, — говорил он Мусе. — Дара сценической речи у нее нет, я пробовал, и голосок слабый-слабый. Но для Великого Немого есть большие задатки. Она чуть-чуть напоминает мне Веру Холодную... Разумеется, как распускающийся нежный бутон может напоминать пышную розу.

Березин в последнее время очень увлекался Великим Немым. Незадолго до октябрьской революции он подписал контракт с частным обществом, которое готово было дать до двухсот тысяч на постановку истинно-художественных фильм (тогда еще говорили **фильма**). Однако дело шло не гладко. Финансовый директор общества признавал чрезвычайно интересной теорию сцены, как кристалла-тетраэдра, но мрачно говорил, что наша публика еще до этой теории не доросла. Переубедить финансового директора было нелегко. Он очень ценил искусство, однако и себе знал цену: у него уже два раза в жизни дело подходило к миллиону. Вдобавок финансовый директор был туговат на ухо.

— Вы говорите, милый, что надо идти на уступки вкусам толпы, — кричал Березин (убедительные интонации его превосходного голоса несколько теряли от крика). — Я это допускаю! Больше того, я на это иду!..

— Зачем вы так кричите?.. Вы на это что?

— Я на это иду, иду на это!.. Но ведь надо же и публику поднимать до нашего уровня, поймите вы это, милый, ради самого Господа Бога!

— Почему вы думаете, что я не понимаю? Я прекрасно понимаю!

— Поймите же, что это все-таки Некрасов!.. Поднимется ли у вас рука на Некрасова?

— Понятное дело Некрасов, разве я не знаю? — отвечал директор, но в тоне его, и обиженном, и властном, чувствовалось, что у него рука поднимется и на Некрасова. — Верьте мне, Сергей Сергеевич, это я вам говорю, от одной лишней роли с Некрасовым ничего не сделается. Что?.. А я куда Зарину дену, если они с ней заключили

этот проклятый контракт!.. И потом вы же и сами все насочиняли.

— Господи! Но ведь я же развивал некрасовскую тему в полном соответствии с его духом, я развивал ее художественно! А эта ваша женщина в маске, извините меня, ни к селу, ни к городу!

Финансовый директор печально, но твердо стоял на своем и не утверждал написанного Березиным сценария «Еду ли ночью по улице темной». Временно общество занималось фильмом старого типа, тем самым, в котором должна была играть Сонечка. Это Березина не удовлетворяло.

— Нет, милая девочка, еще, видно, не доросли мы до настоящего художественного кино, — жаловался он Сонечке. — Трудно иметь дело с этими господами.

— Сергей Сергеевич, у вас все выйдет изумительно! Все!

— Посмотрим, посмотрим... А вот **они** хотят поставить фильмы на высоту, не останавливаясь ни перед какими затратами. При некоторых условиях это может быть интересно, — вскользь заметил Березин. — Разумеется, на началах аполитичности. Их дело создать материальную базу и предоставить художнику свободу. Я так им и сказал, и они на это идут, — добавил он и спохватился, заметив ужас на лице Сонечки. — Разумеется, без этого о моем участии не может быть и речи. Независимость художника мне всего дороже. И так на меня милые собратья собак вешают!

В артистических кругах действительно недолюбливали Березина. В последнее же время актеры, разделявшие общую ненависть к большевикам, отзывались о нем очень резко. «Карьерист-перевертень, — да и таланта на грош!» — говорил старый знаменитый артист.

Другие члены кружка тоже интересовались кинематографом, главным образом благодаря Березину. Беневоленский, оставшийся без заработка, был им привлечен к делу составления сценариев. К общему удивлению, автор непонятных стихов «Голубого фарфора» обнаружил в новом деле немалое дарование, быстро усвоил технику и составлял сценарии так, что сам финансовый директор чрезвычайно его хвалил и даже мягко ставил его работу в пример Березину. Беневоленский и написал, под руководством Березина, тот фильм, в котором Сонечка должна была играть роль Лидии. Муся, чрезвычайно чуткая к новым веяньям, одна из первых в Петербурге поняла, что больше не следует презирать кинематограф и называть его «пошлятиной», «позором нашего времени», — так же, как она в свое время одна из первых поняла, что надо перестать восторгаться «Миром Искусства» или (еще раньше) сборниками «Зна-

ния». Муся и прежде охотно ходила в кинематограф. Теперь она говорила об этом с несколько вызывающим видом и щеголяла разными техническими выражениями, — как подрастающие школьники щеголяют впервые заученными непристойными словами.

Очень интересовалась кинематографом и Глафира Генриховна. Вид молодых, красивых людей, имеющих автомобили, обедающих в дорогих ресторанах, приятно ее волновал. После таких фильмов она выходила из кинематографа в настроении приподнятом и бодром, готовая к борьбе (в таком же приблизительно состоянии выходил из кинематографа Витя, повидав необыкновенные приключения необыкновенно энергичных людей, отряды вооруженных всадников, с места в карьер выносящихся из ворот гациенды). Трудная жизнь Глафиры Генриховны была подобна жизни полководца, вечно ведущего войну, от которой зависит все его будущее. Так, в сложных стратегических комбинациях, с постоянной оглядкой на противника, на обстановку, на поле сражения, проходили дни и годы Глаши. Никто ее не жалел. О ней все только и знали, что она злая и любит говорить неприятности. Глафира Генриховна и сама считала себя злой. Иногда она давала себе слово больше никому неприятностей не говорить, — разве только изредка Мусе по дружбе. Но выполнить это было выше ее сил почти все люди, которых она знала, были, по ее мнению, гораздо счастливее, чем она. Менее счастливы были, вероятно, горничные, извозчики, рабочие, но с ними себя сравнивать естественно не приходилось. От удара, нанесенного ей помолвкой Муси, Глафира Генриховна так и не могла оправиться. Муся делала блестящую партию в двадцать два года (про себя Глаша знала настоящий возраст Муси). У нее же был период полного затишья. В пору своих генеральных сражений Глафира Генриховна чувствовала себя, хоть нервнее, зато и много оживленнее. Свершились мировые события, шла великая война, создалось и пало Временное правительство, пришли к власти большевики, а Глафира Генриховна помнила одно и только об этом думала: Муся блестяще выходит замуж, а у нее никого нет. Она ненавидела Мусю тихой ненавистью и делала над собой усилия, чтоб не поссориться: Глафира Генриховна понимала, что ссора для нее гораздо невыгоднее, чем для Муси.

Номера 35 и 36 выходили недурно. Сонечке казалось, что страсть и чисто материнская нежность вполне ей удаются. Но 37-й номер, самый важный, от которого зависела вся сцена, не выходил. Сонечка добросовестно старалась себе представить, как тигрица, с дикой ненавистью, может бросаться на человека, — прыжок все же не удавался. Березин требовал вдобавок, чтоб беззвучные движения губ

вполне соответствовали произносимым словам. Сонечка добросовестно исполняла и это. Однако беззвучные движения губ, соответствующие длинной надписи 37-го номера, явно вредили яростному выражению лица, да и дошептать всю фразу до зеркала было совершенно невозможно. «Нет таланта!.. Не возьмут!.. Что ж тогда?» — с ужасом и отчаяньем думала Сонечка. Участвовать в фильме это значило целый день, — да, целый день! — проводить с Сергеем Сергеевичем. — «Вдруг он в меня влюбится и сделает предложенье? Говорит же Мусенька, — она ангел, — что он в меня влюблен!.. Нет, пока еще не влюблен, я чувствую, но вдруг? За это можно полжизни отдать!..» — Сонечка честно себя проверила. — «Полжизни? Может, я семьдесят лет прожила бы, значит, до тридцати пяти лет. Шестнадцать лет осталось бы... Ну, разумеется, сейчас готова!.. Да и почему семьдесят? Вот ведь бабушке было восемьдесят два. Тогда сколько?.. И потом детские годы считать нельзя... Если с шестнадцати и до семидесяти, или до семидесяти пяти, да разделить на два, сколько выйдет?..» Сосчитать было нелегко. Однако Сонечка ясно чувствовала, что согласна. «Какая я глупая! Да сколько бы ни было, разумеется, согласна! Хоть на следующий день умереть!.. Другие тоже вчера заметили, когда он на меня там посмотрел сбоку. Но если не возьмут, что тогда? Нет, надо, чтоб взяли, я этого добьюсь!» — в припадке бодрости подумала Сонечка. Она еще раз отошла на край комнаты — для разбега все же было мало места, — перевела дыханье, изготовилась, уронила розу и стремительно бросилась на зеркало, вытянув вперед руки, искривив лицо и яростно шепча: «Это ты, злодей, тайный...»

Дверь открылась. В комнату вошла Анна Сергеевна. Сонечка сконфуженно остановилась.

— Совсем с ума сошла, мать моя, — сокрушенно сказала Анна Сергеевна.

Сонечка хотела было огрызнуться. Но вид у сестры был такой усталый, что Сонечке стало ее жаль. Она очень любила сестру, знала, что та работает целый день и имеет немало прав ворчать. У нее не было ни Сергея Сергеевича, ни кинематографа, ничего не было.

— Что? В гимназии опять что-нибудь? Неприятности? — кротко и робко спросила Сонечка.

— Трещит наша гимназия, — сказала Анна Сергеевна, села на стул и вдруг заплакала. Сонечка тоже заплакала горькими слезами.

— Ничего, ничего, скоро я начну зарабатывать... Увидишь... Вот увидишь!.. Я тебе говорю!..

— Все трещит, все! — вытирая слезы, говорила Анна Сергеевна.

XV

Аресты в городе все учащались и становились много серьезнее. В начале нового строя арестованных скоро освобождали или предавали суду Революционного Трибунала, который чаще всего приговаривал их к общественному порицанию. Но это длилось недолго. Теперь тюрьмы были переполнены, заключенные содержались в очень дурных условиях, и об их освобождении больше не было слышно.

В числе арестованных в последние дни были знакомые Семена Исидоровича. Ему самому друзья настойчиво советовали не ночевать дома и лучше всего поскорее уехать из Петербурга. Вопрос, куда ехать, теперь решался сам собою. Все стремились на Украину. То, что Украина была захвачена немцами, уже никому не казалось препятствием, — сам Артамонов решительно говорил: «Что ж, батюшка, из двух зол надо выбирать меньшее!» — эта фраза почему-то очень его успокаивала.

Украинская миссия в Петербурге выдавала паспорта неохотно, но для Семена Исидоровича, при его новых связях, дело затруднений не представляло. Ему выдали украинские бумаги немедленно, вне очереди и с особым почетом, даже как бы с торжеством. День отъезда, однако, назначен не был. Тамара Матвеевна переживала мучительную внутреннюю борьбу. Ей очень хотелось увезти мужа подальше от опасностей, грозивших ему в Петербурге; она понимала, что Семену Исидоровичу хочется ехать именно в Киев, где его несомненно ждала видная общественная роль. Однако Тамаре Матвеевне теперь было страшно оставлять Петербург. Кременецкие до войны каждое лето ездили всей семьей за границу, во время войны — в Крым или на Кавказ. Случалось Тамаре Матвеевне, с тех пор, как Семен Исидорович стал богатеть, уезжать и зимою, без мужа, вдвоем с Мусей, на Ривьеру, в Италию, — хотелось отдохнуть, заказать в Париже, в Вене новые туалеты, или просто, как говорил Кременецкий, людей посмотреть и себя показать (семья Меннера также уезжала зимою из Петербурга, но не за границу, а на Иматру, что было сортом пониже). Однако никакого сравнения с прежними путешествиями теперь, разумеется, не могло быть. Тогда все было ясно. Семен Исидорович, любивший порядок и определенность во всем, заранее заказывал билеты в международных вагонах, устанавливал дни отъезда и приезда, выписывал «аккредитив», всегда с излишком в добрую треть против того, что им было нужно, по мнению Тамары Матвеевны. «В дороге могут экстренно понадобиться лишние деньги. Или там тряпки какие-нибудь вам полюбятся», — энергично говорил он. Эту энергию, определенность и щедрость Тамара Матвеевна очень любила в Семене Исидоровиче, — они особенно ее умиляли. Ценила их в отце и Муся, назы-

вая «мужским началом». У Семена Исидоровича в дороге был всегда довольный, спокойный и уверенный вид, означавший, что все в полном порядке и что никаких неприятностей не бывает и быть не может.

Теперь все было темно. Кременецкие не знали, на сколько времени они едут. Не ясно было даже, зачем они едут. Правда, каждый, кто мог, уезжал, и жизнь в Петербурге становилась все более тяжелой, но это определенности не вносило. Хуже всего было то, что Муся должна была остаться одна в Петербурге. Тамара Матвеевна расставалась с дочерью в первый раз. Это и само по себе было ей очень не легко, а теперь казалось Тамаре Матвеевне делом чудовищным. Вначале она о разлуке не хотела слышать и решительно доказывала, что, уж если ехать в Киев, то не иначе, как всем вместе.

— Я знаю, Муся упрется как сумасшедшая, но, посуди сам, разве можно в такое время оставлять девочку одну в Петербурге? — с ужасом говорила Тамара Матвеевна мужу. — Где же это видано! Да и я там без нее с ума сойду!

Семен Исидорович не согласился с женой, хоть и сам понимал, как все это тяжело и печально.

— Муся невеста, отрезанный или почти отрезанный ломоть, — твердо сказал он, — и из этого надо сделать выводы. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— Какие выводы? Какой гуж? Все уезжают всей семьей или остаются всей семьей. Одни мы! Наконец, пусть и он едет с нами, если так... — **Он** был Клервилль.

Семен Исидорович улыбнулся.

— Как же он может ехать на Украину, где хозяйничают немцы? Ты забываешь, что он человек военный, он английский офицер.

— Ах, оставь, пожалуйста! Я уверена, что при твоих связях можно достать какое-нибудь разрешение. Разве этот Кирилленко не сказал, что для тебя они сделают все, что угодно?

Семен Исидорович только развел руками перед такой политической беспомощностью и верою в его всемогущество.

— Нет, золото, пожалуйста, не спорь: ему ехать в Киев совершенно невозможно, я тебе говорю. В Лондоне и в Берлине не будут считаться с тем, что он Мусин жених. Тогда, значит, расстаться до конца войны? Это, я прямо скажу, это было бы неблагоразумно! Он человек молодой... С глаз долой, из сердца вон, знаешь? Нельзя рисковать расстройством такой блестящей партии, всем счастьем Муси.

Тамара Матвеевна испугалась: это ей не приходило в голову.

— Лучше всего было бы, конечно, если б они теперь же, в два счета, повенчались... Если хочешь, поговори с

ней. Но это, конечно, их дело, — сказал Семен Исидорович. На его лице выразилась крайняя деликатность. Тамара Матвеевна только вздохнула. Она склонялась перед мудростью мужа во всех важных вопросах, хоть часто удивлялась тому, как этот умнейший в мире человек не разбирается в некоторых практических делах: «Устроить свадьбу Муси в два счета! Это их дело! Он говорит об этом так легко...» Сама Тамара Матвеевна еще совсем недавно связывала с мыслью о свадьбе Муси представление об обедах, приемах, о подвенечном платье, и т. д. Теперь и она готова была на уступки.

Она больше не говорила мужу, что сойдет с ума, расставшись с Мусей. Однако, когда Семен Исидорович получил украинские бумаги, Тамара Матвеевна в отчаянии сделала безнадежную попытку поговорить с дочерью.

— Я думаю, Мусенька, — начала она, улучив удобную минуту, — я думаю на всякий случай необходимо приготовить эту бумагу и для тебя.

— Какую бумагу, мама? — спросила Муся, сразу насторожившись при ласковом тоне Тамары Матвеевны. В последнее время все дома были раздражены и говорили друг другу неприятности.

— Ну, этот украинский паспорт.

— Украинский паспорт? Нет, это совершенно ненужно.

— Почему, Мусенька, дорогая?

— Потому что я не украинка. Это вы с папой украинцы, а я, слава Богу, родилась в Петербурге.

— Какие пустяки! Пойми же, ведь это одна формальность.

— Зачем же я буду проделывать такую странную формальность? Мне все равно скоро менять русский паспорт на английский, так хоть то по замужеству, и на английский, а не на украинский.

— Хорошо, но если и тебе придется бежать отсюда?

— Ах, вот что?.. Нет, мама, об этом вы и не заикайтесь. Вы отлично знаете, что я не могу уехать из Петербурга и не уеду.

— Но почему же, Мусенька?

— Потому что Вивиан остается здесь. — Мусе всегда было неловко называть жениха Вивианом в разговоре с матерью, хотя Тамара Матвеевна уже привыкла к этому и иногда сама называла так Клервилля, произнося имя «Вивиан» с особенной беззаботностью, как самое обыкновенное и ей привычное.

— Но тогда, Мусенька... — начала было Тамара Матвеевна и остановилась, увидев раздражение на лице дочери. Муся прекрасно понимала, что хотела сказать Тамара Матвеевна: «но тогда пусть он теперь на тебе женится, перед нашим отъездом».

У Муси с Клервиллем было с самого начала решено, что свадьба их состоится после окончания войны. Муся и сама не совсем понимала, почему ей нельзя было до того выйти замуж. Но так сказал Вивиан, и настаивать было больше, чем неделикатно.

— Вы, мама, обо мне не беспокойтесь, — сказала Муся. — Со мной ничего случиться не может.

— Ну, а если он уедет? — решительно спросила Тамара Матвеевна. — Ведь ихнее посольство уехало еще в феврале.

— Он мне как раз вчера говорил, что останется по всей вероятности до конца войны в Петербурге, — ответила Муся. Это тоже было больное место: о своих служебных делах Клервилль очень сдержанно говорил даже с невестой. Муся до сих пор не знала, что он, собственно, делает в России и зачем ездит в Москву.

— Это очень хорошо «по всей вероятности», — переходя в атаку, сказала Тамара Матвеевна. — Но ты должна помнить, он человек военный, он английский офицер, значит, его в любую минуту могут куда-нибудь послать. Например, не дай Бог, во Францию! Ведь в Лондоне не будут считаться с тем, что он твой жених!

— Тогда его дело будет все решить, — сухо ответила Муся, перенося на мать раздражение, которое, в связи с этим вопросом, вызывал в ней Вивиан: «все решить» значило жениться.

— Да, но пойми, что папа не может уехать, оставляя тебя в таком неопределенном положении.

— В каком неопределенном положении? Да что же может со мной случиться? Денег вы мне в тайниках оставляете больше, чем нужно, на год хватит (Тамара Матвеевна так и замерла при этом слове «год», — мысль о том, что она может целый год не видать Мусю, была нестерпима). Кухарка остается, чего же в самом деле еще? Со мной будет жить Витя, ему теперь и ехать некуда. Вы сами видите, я в надежных руках.

— Кстати, я хотела поговорить с тобой и об этом, — сказала, смущенно глядя на стол, Тамара Матвеевна. — По-моему, не совсем прилично, чтобы Витя оставался с тобой вдвоем на квартире, если мы уедем. Ведь он все-таки уже не ребенок.

Муся весело расхохоталась.

— Неужели не совсем прилично?

— Представь себе! И не я одна, а папа тоже так думает!

— Что ж, выгоните его на улицу, если он такой развратник и компрометирующий мужчина, — заливаясь смехом, сказала Муся. — Но ведь тогда я останусь совсем одна... Что же вы выиграете, мама?

Муся на этот раз не проникла в мысли матери. Тамара Матвеевна, разумеется, нисколько не желала выгонять Витю. Напротив, она была искренно рада тому, что хоть он останется с Мусей. Под хитро выдуманным предлогом Тамара Матвеевна хотела добиться другого.

— Знаете что, поселите с нами для приличия когонибудь еще, — сказала Муся, перестав смеяться. — Хотите, я приглашу Сонечку? Она будет страшно рада и ее сестра тоже: Анне Сергеевне как раз предлагают бесплатную комнату при ее гимназии. Хотите, мама, я возьму Сонечку? Тогда у меня будет совсем детский сад.

Она опять залилась смехом.

— Это, между прочим, совсем не плохая мысль, — поспешно сказала Тамара Матвеевна, — тебе с Сонечкой будет веселее, и я сама буду просить Анну Сергеевну... Но одной Сонечки мало, надо кого-нибудь посолиднее. Что ты скажешь о старике Майкевиче?

Муся вытаращила глаза.

— Помилуйте, мама! Вы, конечно, шутите? — с ужасом сказала она. — Зачем я возьму к себе этого старого идиота?

— Муся, как тебе не стыдно! Он прекрасный, честнейший человек. Папа говорит, что Майкевич наш самый старый друг. Его еще покойный дедушка знал и любил!..

— Мама, это очень хорошо, что его покойный дедушка знал и любил, я это очень ценю. Но согласитесь, это не резон, чтоб перевозить сюда старого, больного человека, за которым мне же пришлось бы целый день ходить. Нет, вы шутите...

— Ну, если ты против Майкевича, тогда надо пригласить Глафиру Генриховну, — сказала Тамара Матвеевна, открывая, наконец, свои карты. Майкевич был выдуман для того, чтобы Муся легче проглотила Глашу. Тамара Матвеевна знала, что Муся Глашу не любит, и поэтому сама не слишком ее любила. Но она очень верила в деловитость и практические способности Глафиры Генриховны: на нее можно было положиться в случае каких-либо осложнений. То, что Муся оставалась в Петербурге, было безумием, — в отчаянии Тамара Матвеевна хотела по крайней мере окружить дочь надежными людьми, постарше Вити.

«Вот оно что», — сказала себе Муся. Ей показалось было, что Тамара Матвеевна хочет поселить с ними Клервилля. На это Муся не согласилась бы ни за что: жизнь рядом с Клервиллем до замужества была бы ненужной и неприятной переходной ступенью к **настоящему** и могла б настоящее испортить. Но мысль о Клервилле не приходила в голову Тамаре Матвеевне: по ее понятиям, совпавшим внешним образом с настроениями Муси, совершенно не годилось жениху жить на одной квартире с невестой.

— Глашу? — переспросила Муся. Ей сразу представились приятные и неприятные стороны предложения. По этому вопросу Тамара Матвеевна с радостью почувствовала, что ее дело выиграно: она готовилась к энергичному отпору Муси.

— Да, Глашу. Или Майкевича, или Глашу, выбирай, — твердо сказала Тамара Матвеевна, закрепляя завоеванную позицию. — Поверь, она в гостях у тебя, на всем готовом, будет очень милая. А что она интересная и интеллигентная, это ты знаешь... Она может спать в нашей комнате, — со вздохом добавила Тамара Матвеевна. — А Сонечка в будуаре. Или лучше Витю переведем в будуар, а Сонечку в его комнату.

При всем гостеприимстве Тамары Матвеевны, ей не очень хотелось, чтобы чужие люди жили в ее спальной и в будуаре, нарушая порядок гнезда. Но делать было нечего.

— Что ж, я ничего против этого не имею, — подумав, сказала Муся. — Глаша так Глаша. Да еще согласится ли она?

— Она согласна, — проговорилась Тамара Матвеевна. — Ты ведь знаешь, она плохо живет с отцом, и он, кажется, получает финляндские бумаги и уезжает в Финляндию, а она ни за что не хочет... То есть, мы конечно, не уславливались с ней окончательно без тебя, но так, в общей форме, она согласна.

— Ах, в общей форме она согласна? — тотчас раздраженно сказала Муся. — И отлично... Но зачем же ставить и выносить кровати из комнат? Пусть она спит у папы в кабинете на диване.

— Что ты, Муся? Как у папы в кабинете! — испуганно возразила Тамара Матвеевна. На кабинет Семена Исидоровича нельзя было посягать ни при каких обстоятельствах и ни при каком строе.

— Ну, ладно... Делайте, как знаете, — ответила Муся, устало зевая, как почти всегда после длинного разговора с матерью.

Несколькими днями позднее был арестован один из адвокатов, довольно близко связанных с Семеном Исидоровичем. Выяснилось, что арестовавшие его люди в кожаных куртках, допрашивая прислугу, интересовались разными знакомствами адвоката. Между тем в телефонной книжке арестованного несомненно должен был значиться телефон Кременецкого. Тамара Матвеевна очень встревожилась и своей тревогой заразила Семена Исидоровича, хоть ему и дикой казалась мысль о том, что найденный в книжке телефонный номер может быть какой бы то ни было уликой или поводом для ареста. Друзья настойчиво советовали Креме-

нецким бежать из Петербурга возможно скорее. Семен Исидорович наконец принял решение об отъезде и велел ускорить приготовления, которые до того делались медленно. Этим тотчас занялся весь дом. Сам Семен Исидорович, несмотря на протесты и мольбы Тамары Матвеевны, принимал участие в приготовлениях и даже помог Вите и горничной снести с чердака вниз тяжелый чемодан жены. Делал он это с видом очень простым, скромным и кротким,— такой вид мог быть у императора Карла V, когда он, в Страстной Четверг, стоя на коленях, мыл из золотого кувшина ноги двенадцати нищим старцам.

— Оставь, пожалуйста, я тебя умоляю! Мы все сделаем без тебя! — взволнованно кричала Тамара Матвеевна.— Ты, кажется, забываешь, что у тебя почки!..

XVI

Послышался звонок. Витя оторвался от чемодана и пошел открывать дверь.

В переднюю вошла высокая нарядная дама. Витя поклонился. Дама окинула его взглядом,— кто-либо из семьи или прислуга? — и, решив, что кто-либо из семьи, приятно улыбнулась.

— Семен Сидорович дома?

— Нет, его нет.

— Ах, какая досада! — сказала дама. Она еще раз взглянула на Витю.— Может, он скоро придет? Я, пожалуй, подожду?

— Тогда будьте любезны, пройдите сюда,— вежливо сказал Витя и проводил гостью в кабинет, где на диване лежали папки с бумагами, портфели, книги, а на ковре перед диваном был раскрыт чемодан. Витя, по просьбе Кременецкого, укладывал те вещи, которые Семен Исидорович хотел взять с собой в Киев.

— Когда уезжает Семен Сидорович?

— Кажется, завтра,— ответил Витя, решив, что можно сказать правду, если гостья все равно знает о предстоящем отъезде Кременецких: из предосторожности отъезд решено было держать в секрете. Но эта нарядная светская дама, конечно, не могла иметь отношения к большевикам.

— Ах, какая досада! — повторила дама.— Может быть, Тамара Матвеевна дома? Нельзя ли мне повидать ее?

— Ее тоже нет... Никого нет.

— Господи, как же мне быть? А когда они вернутся?

— Вероятно, не скоро. Перед отъездом разные дела в городе,— ответил Витя и подумал, что надо было это сказать еще в передней, а не просить даму в кабинет.— Не зайдете ли вы сегодня вечером?

— Нет, нет, я никак не могу, никак,— ответила дама и даже руками замахала, точно Витя умолял ее прийти. Она неожиданно села в кресло.

— Садитесь, пожалуйста,—сказал Витя и смутился под внимательным взглядом дамы.

— А вы кто, молодой человек?—спросила дама.— Извините меня, но, может быть, я через вас могу передать? Я вас у них не встречала... Вы из их семьи?

— Нет, но я теперь живу у Семена Исидоровича. Я с удовольствием передам.

— Ах, ради Бога, передайте, я вам так благодарна,— сказала дама с силой, тоже несколько преувеличенной по значению ее слов.—Видите ли, в чем дело... Я Елена Федоровна Фишер,—сказала она, понижая голос и чуть опуская глаза, совершенно так, как после смерти мужа называла себя Семену Исидоровичу.—Вы верно обо мне слышали?

— Да, разумеется,—сказал Витя и окончательно смутился: «Не надо было говорить «разумеется», выходит намек на то дело... Так вот она какая»...

— Вот в чем дело. Позавчера уехал в Киев мой добрый знакомый Аркадий Николаевич Нещеретов... Вы запомните эту фамилию?

— Да, как же, я встречал здесь Аркадия Николаевича,—сказал Витя. Он слышал о связи госпожи Фишер с Нещеретовым.—Я не знал только, что он уехал.

— Да, позавчера уехал и, представьте, как-то очень экстренно, неожиданно. Я даже боюсь, уж не случилось ли что-нибудь? Мы были хороши с Аркадием Николаевичем,—стыдливым тоном сказала госпожа Фишер, искоса быстро взглянув на Витю,—и я никак не могла подумать, что он уедет, не простившись со мной. Но, очевидно, он не успел, говорят, ему угрожал арест. Хотя я не понимаю, почему он... Одним словом, он уехал. Между тем мне совершенно необходимо с ним снестись. Какое теперь сообщение с Киевом, вы знаете. Только и есть, что оказии, и вот я так обрадовалась, услышав вчера, что Семен Сидорович едет в Киев. Ради Бога, упросите его взять с собой это...—Она вынула из сумки письмо.—Я надеюсь, Семен Сидорович согласится оказать мне эту услугу?

— Передать письмо? Семен Исидорович, наверное, охотно это сделает, он много писем везет... Адрес на конверте?

— Нет, в том-то и дело. Я понятия не имею об адресе Аркадия Николаевича, знаю только, что он уехал в Киев. Но я уверена, что разыскать его там будет очень легко, ведь его все знают... Решительно все!

— Да, конечно... По крайней мере, я думаю.

— Но только одно, это очень спешно... Очень! Я умоляю Семена Сидоровича, как мне ни совестно, разыскать

Аркадия Николаевича возможно раньше. Это так спешно и так для меня важно!

— Я передам.

— Ради Бога, передайте!.. Вы тоже едете с ними в Киев?

— Нет, я остаюсь здесь.

— Ах, вы остаетесь здесь, — с видимым интересом сказала госпожа Фишер. — Простите меня, как ваше имя?

— Яценко.

На лице Елены Федоровны выразилось удивление.

— Яценко? Вы не сын ли бывшего следователя?

— Да...

— Вот как? То-то ваше лицо показалось мне знакомым: вы очень похожи на вашего батюшку... Я встречалась с вашим отцом, — сказала она неодобрительно. — Правда, в такой обстановке... По тому делу, вы верно слышали, хотя вы и очень молоды... Мне говорили, что ваш батюшка арестован? — спросила госпожа Фишер, не очень искусно стараясь выразить в тоне вопроса огорчение и участие.

— Да.

— Он тогда меня допрашивал. Ну, я не сомневаюсь, что его скоро выпустят... Так вы, должно быть, поэтому и живете у Семена Сидоровича? Да, я помню, они приятели с вашим отцом. Очень рада с вами познакомиться, молодой человек. — Она протянула Вите руку. — Вы и после их отъезда будете жить на этой квартире?

— По всей вероятности, — ответил почему-то Витя, хотя он должен был жить у Кременецких не по всей вероятности, а наверное.

— Один? Совсем один?

— Нет, дочь Семена Исидоровича тоже остается в Петербурге. И здесь будут жить еще две ее подруги, — добавил неохотно Витя: слово «подруги» показалось ему глупым.

— Вот как? Значит, вы будете жить в женском царстве, — вдруг игривым тоном сказала Елена Федоровна. — Я знаю, она очень хорошенькая, дочь Семена Сидоровича. Муся, кажется, ее зовут?.. Вам сколько лет, молодой человек?

— Девятнадцатый год.

— Господи, какой вы старый!

«Кажется, авансы мне делает, но что-то уж очень провинциальный тон, — подумал Витя. — Что бы такое ей ответить?»

— Но ведь у меня и к вам будет громадная просьба, — продолжала Елена Федоровна. — Очень вас прошу, как только Семен Сидорович уедет, зайдите ко мне и подтвердите, что он согласился взять мое письмо... Ради Бога! Это для моего успокоения! — сказала она таким тоном, точно ее успокоение не могло не быть важным и для Вити.

«Собственно, и по телефону бы можно», — подумал Витя. Но внимание Елены Федоровны ему льстило, и он тотчас, не без удовольствия, согласился. Госпожа Фишер не слишком ему нравилась. Он знал однако, что она считается очень красивой женщиной. Недаром сам Нещеретов остановил на ней свой выбор.

Елена Федоровна горячо его поблагодарила. Она взяла из сумки изящный золотой карандаш и записала свой адрес. В передней опять прозвучал звонок.

— Может быть, это Семен Сидорович?

— Нет, у него ключ, — ответил, выходя в переднюю, Витя. Он по звонку узнал Мусю. Тамара Матвеевна не раз предлагала Мусе тоже носить с собой ключ от квартиры: «Все-таки совестно, теперь Витя всегда выбегает на звонок», — говорила она. — «Вот еще, мне нисколько не совестно, пусть побегает», — отвечала Муся.

Елена Федоровна спрятала карандаш и встала с приятной улыбкой. Муся, в каракулевом жакете и в бархатной, отделанной каракулем, шляпке, вошла в комнату. Она довольно холодно поздоровалась с Еленой Федоровной.

— Очень рада вас видеть, — еще приятнее улыбаясь, сказала госпожа Фишер. — Зашла по делу к вашему батюшке. Но я уже объяснила этому милому молодому человеку... Я хотела просить Семена Сидоровича взять с собой в Киев письмо... Для Аркадия Николаевича Нещеретова, — значительным тоном сказала она. — Он позавчера уехал в Киев.

— Отец, разумеется, охотно передаст ваше письмо, — сухо сказала Муся. Витя взглянул на нее с удивлением. Муся никогда, даже в разговоре с чужими людьми, не называла Семена Исидоровича «отцом».

Елена Федоровна заговорила о том, как теперь все сложно, неприятно и трудно; однако, не встретив со стороны Муси желания продолжать разговор, простилась. Витя проводил ее в переднюю. Муся в переднюю не вышла, но постояла на пороге кабинета.

— Будьте совершенно спокойны, ваше письмо будет тотчас передано Аркадию Николаевичу. Его, наверное, легко найти, — уже любезнее сказала она. «Еще, чего доброго, подумает, что я ее ревную к Нещеретову!» — подумала Муся. В глазах Елены Федоровны, когда она разговаривала с Мусей, в самом деле скользило некоторое торжество.

— Так вы, «милый молодой человек», принимаете дам в мое отсутствие? — погрозив Вите пальцем, спросила Муся, когда дверь захлопнулась и Елена Федоровна уже должна была отойти на достаточное расстояние.

— Так точно, надо же как-нибудь утешаться, — сгоряча ответил Витя и тотчас сам испугался своего игривого тона. «Пошляк! И об отце забыл...»

Мысль о том, что он ничего не делает для спасения отца, угнетала Витю. Вначале у него рождались самые фантастические планы освобождения Николая Петровича. Но слишком ясно было, что этих планов осуществить нельзя. Все говорили Вите, что его отца, наверное, скоро освободят, что надо ждать и только.

— Погодите, я вас теперь вышколю, — сказала Муся. — Пока что извольте укладывать вещи.

Муся взглянула на чемодан, нервно зевнула, вышла в будуар и там, не снимая каракулевого жакета, села в кресло. В будуаре тоже был беспорядок. Даже портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком висел на стене криво. Муся с гримасой смотрела на вещи, разбросанные на диванах, креслах, пуфах. «Ах, как мне все это надоело!» — опять зевая, подумала она. Ей опротивели беспорядок, отсутствие удобств, грубость жизни в Петербурге. Внезапно Мусе вспомнилась их поездка в Италию незадолго до войны, роскошная гостиница на Лидо, где они провели несколько недель: красивые бронзовые тела, раскинувшиеся на берегу моря, богатые, превосходно одетые люди, среди которых они немного стирались, несмотря на то, что Семен Исидорович сыпал деньгами, бесконечное количество почтительной, чистой, нарядной прислуги, бесшумно и быстро переносившей чемоданы, укладывавшей вещи, исполнявшей точно приказания, великолепные поезда, отходившие и приходившие минута в минуту по расписанию. Единственной заботой тогда было, как лучше поразвлечься, а главным огорчением то, что не удалось достать места на первый спектакль Карузо и пришлось взять билеты на второй. «Может, так жить было и несправедливо, но очень хорошо было, — подумала Муся, — и я за грехи мира не отвечаю. Дай Бог с Вивианом так прожить до конца в грешном мире... А теперь все скучно, грязно, бестолково...»

— Витя, — позвала она, — бросьте же, наконец, ваши глупые чемоданы. Идите сюда, поболтаем... Но сначала повесьте мой жакет в передней. Живо!

XVII

Конспиративная квартира, в которой Федосьев проводил несколько часов днем, а иногда и ночевал, находилась на Петербургской стороне. В распоряжении его организации было несколько квартир, но в эту он верил немного больше, чем в другие: на ней из участников его организации перебывало только два-три человека, как будто самых надежных, — им он вынужден был там назначать свиданья. Федосьев рассчитывал, что один предатель должен приходиться в среднем человек на десять, — впрочем, он не скрывал от себя всей произвольности такого расчета. В ту пору, когда он руководил политической полицией государства, процент изменников в лагере врагов был много ниже.

Но Федосьев учитывал и то что неопределенно шутливо называл «общим падением нравов», и неограниченные средства Чрезвычайной Комиссии. Его учреждению в свое время отпускалось гораздо меньше денег чем он требовал (в глубине души он это считал теперь одной из главных причин гибели старого строя). В расходах приходилось соблюдать экономию, и громадному большинству тайных агентов платили очень немного. Федосьев сам иногда удивлялся, как дешево, целиком, без остатка, покупалась человеческая совесть.

Квартира на Петербургской стороне имела два выхода. Двор был проходной. Тяжелая, хорошо закрывавшаяся дверь могла выдержать несколько минут осады: за это время, при некоторой удаче, можно было и скрыться. «Во всяком случае застрелиться можно с удобствами, не торопясь»,— думал Федосьев. Браунинг, всегда и прежде при нем находившийся, теперь оказывался предметом первой необходимости, и носил его Федосьев не в том заднем кармане брюк, который предназначается портными для револьвера и из которого выхватить револьвер невозможно, а в боковом кармане пиджака или пальто. Ложась спать, он даже переводил на «fire» [1] предохранитель браунинга: обыски и аресты обыкновенно производились ночью или поздно вечером.

Федосьев принимал все меры предосторожности, хорошо ему знакомые по практике старых террористов. Но он в эти меры почти не верил, как, впрочем, не верил и в технику Чрезвычайной Комиссии. «Способные, кажется, люди, но пока все очень слабо»,— говорил он, с усмешкой, своим сотрудникам. Зато главная опасность — предательство — представлялась ему неотвратимой. Всякий раз, принимая в свою организацию нового человека, Федосьев вглядывался в него с особым любопытством: «Этот ли?» Тех людей, которые с большой горячностью говорили о своей готовности погибнуть за великое дело, он считал особенно подозрительными и им никогда никаких адресов не давал. Сам же он, несмотря на все меры предосторожности, вынужден был рисковать беспрестанно и считал бы себя человеком обреченным, если б не слабая надежда на близкую развязку. Федосьев был совершенно уверен, что немцы могут задушить большевиков в несколько дней, почти без всяких усилий. Но он очень сомневался, пожелают ли немцы это сделать.

Весь этот день Федосьев провел один, отбивая на машинке длинную записку, в которой именно и доказывал, насколько выгодно, легко и просто германским властям раздавить большевиков в несколько дней. Федосьев с трудом писал на машинке; гораздо легче было бы написать бумагу пером. Но ему не хотелось, чтобы где-либо сохра-

---

[1] «Огонь» *(англ.)*.

нился такой документ, написанный его рукою, хотя он считал свой образ действий совершенно правильным и единственно возможным. Перечитывая законченную к вечеру бумагу, он поэтому оставил ошибки без правки. В одном месте записки, чтобы увеличить силу довода, необходимо было добавить несколько слов. Федосьев ввел бумагу под валик и, неумело примериваясь, отстучал на машинке между строчками эти слова, — они некрасиво загнулись, перекрестив верхнюю строчку; первые буквы шли в два этажа. Да и вся бумага, с многочисленными ошибками в буквах, придававшими ей глупый вид, с неотчетливыми порою строчками (он забывал переключать вовремя ленту), с неожиданно появлявшимися кое-где красными черточками, резала глаз Федосьева, привыкший к безупречно написанным документам. «Ничего, сойдет, — подумал он, — лишь бы только прочли внимательно теперь, пока он тут... Жаль, что написано не по-немецки. Да нет времени на перевод».

Шел шестой час. Федосьев сложил бумагу, спрятал ее в карман, затем повернул стоявшую у окна высокую этажерку, на которой лежал, чуть наискось, небольшой кожаный чемодан, набитый ненужными бумагами. Это тоже было мерой предосторожности. Федосьев рассчитывал, что, если люди из Чрезвычайной Комиссии в его отсутствие проникнут в квартиру, они первым делом накинутся на чемодан с бумагами и либо вовсе не догадаются поставить его обратно, либо поставят не совсем так, как он стоял прежде: опытных сыщиков среди них было еще немного. Этажерку с чемоданом в не очень темный день можно было увидеть со двора. Мера предосторожности была весьма ненадежна, но ей пренебрегать не следовало; сходными мерами пользовались, иногда с успехом, прежние революционеры. «А смешно, какой, на старости лет, Майн Рид пошел», — подумал Федосьев, внимательно оглядывая комнату. Все было в порядке.

Он надел пальто, расправил шарф, не застегиваясь (погода стояла теплая), положил револьвер в карман и послушал у дверей: на площадке лестницы как будто ничего подозрительного не было. Федосьев, не спеша, спустился по лестнице.

Улицы были еще оживлены, жалким и страшным оживлением 1918 года. У лотков старые, очень непохожие на разносчиков, люди торговали какими-то лепешками, сахаром, «домашним шоколадом». На заваленных коробками и чемоданами дрожках, испуганно оглядываясь по сторонам, ехали господин с дамой. Прохожие с завистью смотрели на уезжающих. «А то не уехать ли и мне? Выбраться можно, — подумал Федосьев. — Бросить все к черту? Пусть он это и распутывает... Буду по крайней мере цел... В Киев поехать? Еще место там предложили бы?.. Ох, гадко,

после того, как служил великой империи... Откуда у них, однако, столько мотоциклеток? Глупо и неудобно... Неужели узнал? Не мог узнать...» — У фонаря, закрашенного синей краской, мотоциклетка вдруг стала замедлять ход. «На меня смотришь? Ну, смотри, смотри... Перевести на «fire»?.. Не остановился», — с облегчением подумал он, провожая взглядом сыщиков. — «Нет, меня выследить еще никак не могли. Адрес знает только Браун, он не предаст... Лишь бы он не сошел совсем с ума. А то чуть ли он не заговаривается иногда в последнее время. И глаза очень странные: смотрит и не видит...»

Где-то вдали грянул выстрел, за ним другой, третий. Люди на улице заахали. Одни шарахнулись в сторону, другие ускорили шаги. Старуха, торговавшая котлетами, перекрестилась. Со стороны Невского показался конный патруль. Желтолицые косоглазые люди на худых лошаденках проехали в ту сторону, откуда слышались выстрелы. «Китайцы! Китайцы!» — послышались изумленные возгласы.

Федосьев вышел на Невский, затем свернул на Морскую. Там было гораздо спокойнее. Улицы были ярко освещены. На каждом шагу стояли милиционеры, крупные, строгие, хорошо одетые люди. «Это из моих голубчиков, — подумал Федосьев, с любопытством вглядываясь в полицейских. — Тут к хозяевам ближе, да что-то уж очень всетаки подтянуты. Как в былые времена, перед проездом государя... Или ждут кого-то? Кого же это?». Он остановился у фонаря и посмотрел на часы. — Четверть седьмого... Приду раньше, чем нужно. Ну, погуляю у дворца, посмотрю, как они живут...»

Нахмуренный милиционер вдруг вздрогнул и вытянулся. Вдали у Синего Моста сверкнул фонарь и стал приближаться, наливаясь светом. Прохожий остановился рядом с Федосьевым, полуоткрыв рот. Мимо них, очень громко трубя, проехал огромный, великолепный открытый автомобиль. Промелькнуло надменное лицо. Моложавый человек в серой, непривычной русскому глазу, шинели, в перчатках, со стэком в руке, окинул недовольным взглядом людей у фонаря. Автомобиль, не переставая трубить и все ускоряя ход, направился к Невскому.

— Граф Мирбах! — сказал взволнованным шепотом прохожий.

Окна Юсуповского дворца горели оранжевыми огнями. По сторонам огромной резной двери с короной стояли навытяжку часовые в касках. Над освещенным тамбуром развевался германский флаг. По тротуару, здесь посыпанному песком, Федосьев обогнул дворец. Ворота сада были открыты, из них выехала телега. У начищенной до блеска решетки не было часовых. Федосьев вошел в сад и направился по дорожке между черных скелетов деревьев, ориентируясь по огням дворца, игравшим оранжевыми пят-

нами на ноздреватом грязно-синем снегу. Холодный ветер дул ему в лицо. «Вот, помнится, где это было, — подумал он. — Отсюда он побежал вот к тем воротам. Там его добили...»

На месте, где добили Распутина, работал лопатой человек. Он был, видимо, очень весел и что-то пел довольно громко. Федосьев подошел поближе. Немец приветливо кивнул ему головою и продолжал петь. «Вероятно принимает меня за члена комиссии», — подумал Федосьев. «Der edle Graf von Luxemburg...» [1] — радостно пел выпивший немец, размахивая в такт лопатой. — «Да, помнится, тут он свалился. Так тогда говорили...» Федосьев постоял на дорожке. Вдали было темно. Все окна страшного дворца ярко светились. «Где же вход в канцелярию?.. Тот говорил, — пройти со двора. Да, очень все это странно!.. Немцы распоряжаются в Петербурге, в единственной столице, никогда не сдававшейся врагу... Китайская кавалерия на наших улицах. Вот, вот он, «фантастический город»! — Федосьев знал, что Петербург называют фантастическим городом, и считал это обыкновенной писательской выдумкой: ничего фантастического в Петербурге не было, была прекрасная величественная столица, которую он очень любил за имперский стиль, за барский размах, за барскую историю империи. «Да, вот до чего дожили!.. А то бросить? — опять спросил себя он. — Ведь все равно ничего не выйдет. Стоит ли унижаться? В лучшем случае пошлют мою записку в Берлин, там положат под сукно... Да не уходить же теперь? Вот, кажется, и вход», — подумал Федосьев и пошел дальше к боковому подъезду дворца. Немец радостно улыбнулся и загорланил с новым воодушевлением:

...Der edle Graf von Luxemburg
Hat all sein Geld verjuckt-juckt-juckt... [2]

XVIII

Яценко содержался в Петропавловской крепости уже довольно долго. Никакого обвинения ему не предъявляли и к допросу его не требовали. Гуманная инструкция, очевидно, не имела отношения к действительной жизни. С другими заключенными он не встречался и даже не знал точно, кто с ним сидит: многих видных политических деятелей перевели из крепости в «Кресты». Николая Петровича ежедневно выводили на прогулку в садик Трубецкого бастиона. Это было развлечением; но в первый же день стоявшие в коридоре солдаты без всякой причины осыпали Яценко грубой бранью, и с тех пор он выходил на прогул-

---

[1] Благородный граф Люксембург *(нем.)*.
[2] Благородный граф Люксембург
Все свои деньги промотал-тал-тал... *(нем.)*

ку с легким сердцебиением (сердце у него стало пошаливать еще в начале революции).

После первой недели заключения Николай Петрович решил подать властям протест против беспричинного ареста и стал было составлять бумагу. Писал он в привычных ему старых формах, логично и стройно, закругляя придаточные предложния. Но, когда Яценко прочел свой черновик, ему стало смешно. «Все, что они делают, сплошное беззаконие и издевательство, что ж тут бумаги писать?» — подумал он и разорвал свой протест на мелкие куски.

Жилось ему, однако, не худо. Николай Петрович получал пищу из ресторана. Кроме того, ему немало посылали провизии «с воли» (так говорил сторож). Записок при посылках с воли не было; Яценко догадывался, что о нем заботятся Кременецкие. «Вот, казалось иногда, смешные, а какие на самом деле добрые, прекрасные люди! — думал он. — Писать же, верно, никому не разрешают...» Спал Николай Петрович, к собственному удивлению, превосходно; он приписывал это гробовой тишине крепости. Постель была, конечно, значительно хуже, чем дома, но Яценко скоро привык и к впадине посредине койки, и к шершавому суконному одеялу, и к тому, что койка стояла не вдоль стены, а перпендикулярно к ней.

Независимо от инструкций и правил, люди в крепости были разные: были грубые и злые, были вежливые и приличные. Солдаты в коридорах ограничились первым приветствием и больше при встрече не говорили: «Даром только балуются со всякой сволочью!» — оттого ли, что они привыкли к Николаю Петровичу, или потому, что им надоело повторять столь азбучные истины. Сторожа и вовсе не ругались, а бледный, худой смотритель, с которым преимущественно имел дело Яценко, оказался очень вежливым, тихим, даже любезным человеком. Николай Петрович с улыбкой думал, что смотритель похож на труп в «Уроке Анатомии» Рембрандта: «И выражение лица у него то же: теперь можете делать со мной, что хотите...» Смотритель условился с ним о доставке пищи из ресторана за плату и предложил пользоваться книгами крепостной библиотеки. Это предложение очень обрадовало Яценко. Как ни соответствовал его настроению дух «Круга чтения», афористическая форма книги немного его утомляла.

— А у вас что есть? — недоверчиво спросил он. — Смотритель принес ему каталог — старую, потрепанную переплетеннную тетрадь, в которую, по алфавиту, разными почерками, разными чернилами, очевидно с очень давних времен, записывались книги. Вид тетради умилил Николая Петровича. Он подумал, что этими книгами пользовались Достоевский, декабристы; они же, быть может, рылись в поданном ему каталоге (хоть это было маловероятно).

— Можно заказывать две сразу, — сказал смотритель.

Николай Петрович торопливо перелистал тетрадь и выбрал философскую книгу. Другую он хотел взять из отдела беллетристики.

— Может быть, желаете Священное Писание? — спросил смотритель.

Яценко быстро на него взглянул: и самый вопрос, и особенно учтиво-равнодушный тон вопроса немного его задели. «Точно в моем положении надо это спрашивать, или точно это общее для всех лекарство», — подумал он; однако согласился на предложение смотрителя.

К вечеру сторож принес ему две книги, а также перо, бумагу и чернильницу, о которых Николай Петрович забыл попросить. Все это очень его ободрило. Теперь камера стала почти уютной. Яценко много читал, кое-что записывал. Очень трудно было примириться лишь со слабым освещением камеры и с рано наступавшей полной темнотою. После вечернего чая ждать было нечего и делать тоже. Николай Петрович, следуя примеру заключенных, о которых ему случалось читать, ходил с полчаса по камере, затем ложился — сначала так, не раздеваясь, — и долго прислушивался, все ожидая курантов. Потом умывался, раздевался, — он научился это делать в темноте — и скоро засыпал. Иногда он спал и днем. Проснувшись, Яценко лежал с открытыми глазами, с бьющимся сердцем, дожидаясь музыки «Коль славен». В медленных звуках курантов он всегда находил что-то новое, — вместе и успокоительное, и грозное.

Письма Николая Петровича сторож передавал по начальству, но Яценко не знал, доставляются ли они Вите. Из осторожности он никому не писал, кроме сына. Ответов от Вити Николай Петрович не получал. По делу о свиданиях он не мог добиться толка. Смотритель смущенно предложил ему поговорить с заместителем коменданта во время очередного обхода камер. Заместитель коменданта иногда обходил Трубецкой бастион. Это был невысокий крепкий человек с неестественно редкой и неестественно рыжей бородкой, — казалось, будто к его лицу приклеили худо сделанную вылезшую бутафорскую бороду. «Верно, и вся его жизнь была предрешена бородой», — думал Яценко. Рыжий начальник был почти всегда навеселе и ругался самыми ужасными словами, — впрочем, в форме безличной, так что Николай Петрович мог и не относить брани на свой счет. Чудовищную брань заместитель коменданта вставлял буквально в каждую фразу, причем очень редко повторялся: Николаю Петровичу казалось, что этот человек все свое свободное время и бессонные ночи посвящает выдумыванью замысловатых ругательств и, вероятно, испытывает при этом художественное наслаждение. Яценко говорил себе, что глупо обижаться на такого человека, да еще на пьяного, или расстраиваться от его ругательств; тем не менее

самый вид заместителя коменданта вызывал в нем отвращение.

— Нет, уж, пожалуйста, вы сами выясните это дело, — попросил он смотрителя.

Смотритель вздохнул. Через два дня он передал Николаю Петровичу ответ, из которого следовало, что на воле никто о свидании с ним не просил. Это было, очевидно, невозможно. Николай Петрович вдобавок знал, что другие заключенные легко получают свидания и с родными, и даже с посторонними людьми. Он опять было подумал, что надо подать жалобу, и опять от этого отказался, — тем более, что в глубине души никого не хотел видеть. Встреча с Витей в приемной крепости ни тому, ни другому из них не могла доставить утешения.

Недель через шесть на имя Яценко пришла бумага с длинным рядом разных формальных вопросов. Бумага эта представляла собой печатный формуляр, как и приказ об аресте Николая Петровича, в свое время ему показанный на квартире. Так же, как в приказе об аресте, в начале бумаги после печатных букв **«граждан»** от руки были выписаны слова **«ина Николая Петрова Яценко»**, и опять почерк, которым эти слова были написаны, показался Николаю Петровичу знакомым.

Ему было очень легко ответить на все вопросы формуляра, да они, очевидно, никакого значения не могли иметь: формуляр был одинаковый для всех заключенных. Тем не менее бумага эта вызвала странное беспокойство у Николая Петровича. Неразборчивая подпись ему ничьей знакомой фамилии не напоминала, — он к тому же ни одного большевика и не знал. Яценко получил бумагу под вечер. Он долго в нее вглядывался, пока в камере не стало совершенно темно, затем разделся с бьющимся сердцем и лег без обычного вечернего моциона. Спал он на этот раз тревожно; впадина в средине постели вдруг стала его беспокоить. Ему снились сны, что с ним бывало редко, — сны вполне нелепые, — в них почему-то проходили кинематограф, Витя, и еще журналист дон Педро, о котором Николай Петрович никогда не вспоминал и не думал.

XIX

В конце апреля газеты, в ту пору еще выходившие под менявшимися беспрестанно названьями, сообщили, что первого мая новая власть устраивает грандиозный праздник на улицах города. Муся предложила было кружку выйти в этот день пошататься всем вместе. Однако, к легкому ее разочарованию, предложение не имело успеха. Березин был занят. Глаша собиралась куда-то пойти вдвоем с Горенским, о чем сообщила Мусе в небрежно-уклончивой форме, с бегающими в глазах огоньками торжества. Занят

был даже Витя, и вид у него был тоже несколько таинственный.

Дня за три до первого мая служащие Коллегии по охране памятников искусства были приглащены на общее собрание коллективов. В Тронной Зале Зимнего Дворца собралось много народа. В конце зала стояла эстрада, покрытая красным сукном, а на ней бюст Карла Маркса, стол с графином, стаканом и колокольчиком, пять раззолоченных кресел и два ряда стульев.

Служащие негромко и смущенно переговаривались. Заседание было назначено на три часа. Около четырех приехал сановник, отнюдь не из первых, но довольно видный. Горенского удивил его костюм, — очень изысканный и нарядный: сановник, видимо, желал показать, что можно одновременно быть ревностным большевиком и вполне светским человеком. На жилете у него болтался большой красный брелок, — разглядеть его Горенский не мог, но почему-то решил, что брелок имеет в себе нечто богоборческое. В сопровождении беспокойной, суетливой свиты, сановник появился в зале, с порога окинул толпу подозрительным взглядом, сделал легкий поклон налево, легкий поклон направо и очень бодрой, раскачивающейся походкой прошел к эстраде. При виде раззолоченных кресел он слегка улыбнулся, как бы свидетельствуя, что это совершенно не нужно, затем сел с торжественно сияющим лицом. Рядом с ним на креслах и позади на стульях мгновенно разместились чины свиты и руководители коллективов, — очевидно, каждый твердо знал свой ранг. Сановник пошептался с соседями, позвонил, встал и, открыв заседание от имени правительства рабочих, крестьян и солдат, предложил собравшимся избрать председателя.

С разных сторон эстрады и из зала раздались громкие возгласы: «Просим товарища Гайского!..» «Просим вас, товарищ Гайский!..» В возгласах слышался восторг, относившийся к демократическим приемам сановника. Он кротко и скромно улыбнулся.

— Никто не возражает?.. Других кандидатов нет? — спросил он.

Других кандидатов не было, и никто не возражал. Сановник поблагодарил и принял избрание.

— В таком случае я вынужден дать слово самому себе, — сказал он с сияющей улыбкой, разве чуть смущенной от такой неожиданности. Он с минуту подождал, собираясь с мыслями, и начал: «Товарищи, граждане». Эти два слова сановник произнес с некоторой разницей в оттенках, — второе чуть суше и строже, чем первое. В дальнейшем он иногда, по привычке, говорил просто «товарищи», но тотчас поправлялся: «товарищи и граждане», показывая, что в общем собрании коллективов слушатели имеют несомненное право быть просто гражданами, хоть это нехорошо. Речь сановника была выдержана в двух тонах. Когда он

говорил о великих завоеваниях культуры, слова его имели явно либеральный характер и говорил он бархатным голосом, — это был Луначарский. Сановник даже раз назвал культуру общечеловеческой, — правда, с таким же оттенком строгости и неодобрения, как в слове «граждане». Зато, когда он говорил о мощной, величественной поступи пролетариата, о железном инвентаре первой истинно-пролетарской революции, у сановника сказался пламенный темперамент трибуна, голос его принял **металлический** характер и речь стала чеканной, — это был Троцкий. В своей речи сановник назвал не менее тридцати знаменитых философов, писателей, ученых и даже одного богослова, — назвал не без похвалы и с краткой характеристикой: у всех основное свойство заключалось в том, что они были много хуже Карла Маркса. Импровизированное обращение к Марксу явилось центральным местом речи. Как раз в нужный момент оратор оказался стоящим вполоборота к бюсту, вполоборота к публике; он встретился с Марксом глазами, на мгновенье замер, вытянув правую руку с легким уклоном вверх, и в страстном обращении к бюсту оба тона речи сановника слились, голос оратора стал как-то одновременно и бархатным, и металлическим: в облике Карла Маркса великие завоевания культуры (общечеловеческой) сливались с железным инвентарем революции (истинно-пролетарской).

В речи сановника говорилось о самых разных предметах, но главным образом она была посвящена предстоявшему празднику, — первому, грозно-торжествующему празднику освобожденного пролетариата на первой в истории свободной от тисков капитализма земле. Сановник сообщил, что «лучшие наши артистические силы, почувствовав художественной совестью своей все величие нашего дела, принимают активнейшее участие в организации народных торжищ», — и назвал несколько имен, впрочем далеко не лучших, в их числе имя Березина. Затем он выразил — бархатным голосом — радость по поводу того, что «все здесь представленные коллективы спонтанейно изъявили желание приобщиться к празднику посредством посылки делегаций», — об этом своем спонтанейном желании большинство слушателей узнало из речи сановника. И наконец сказал — металлическим голосом, — что и независимо от посылки делегаций, все товарищи — и граждане, — все члены коллективов, все работники в великом деле строительства нового мира, **должны** принять участие в славном историческом торжестве. Слово «должны» можно было понимать как угодно, но брошено оно было особенно чеканно, и сидевшие на эстраде руководители коллективов особенно значительно кивали головой, с видом полного одобрения.

— Мы ничьей совести не насилуем! — закончил громовым голосом оратор (Горенский с ненавистью следил за покачивавшимся богоборческим брелоком). — Да, не насилу-

ем в том плане и в той мере, в какой это нам дают возможность классовое самосознание пролетариата и железные законы революционного строительства! Но, товарищи и граждане, прежнюю буржуазную псевдосвободу, гнилую свободу мошны и рясы, мы, ученики и последователи Ленина, приносим в жертву свободе истинной, свободе пролетарской, великой свободе серпа и молота! Она, товарищи, вдохновляет нашу революционную совесть, и, пусть же знают наши враги: горе тем, кто посмеет поднять на нее святотатственную руку!

Речь была покрыта рукоплесканьями, впрочем гораздо менее бурными, чем, по-видимому, ожидал оратор. На его лице мелькнуло неудовольствие. Он закрыл собрание и тотчас прошел в другой зал, где был приготовлен чай. За ним туда прошли все сидевшие на эстраде, а также некоторые лица из зала.

Служащие расходились. Фомин остановился внизу, увидев Горенского, который быстро спускался по лестнице. Князь был очень бледен.

— Хорошо, правда? — негромко, со слабой улыбкой, спросил Фомин. — Березин-то наш, слышали?.. Сейчас доложу Мусе...

— Пожалуйста, скажите ей от меня, что я с этим господином больше встречаться не намерен! Меня с ним прошу больше не звать...

Горенский почти с ненавистью взглянул на смущенного Фомина и той же быстрой, решительной походкой направился к выходу.

XX

Между Великороссией и Украиной начались переговоры, о которых ходили по Петербургу веселые рассказы, — чтобы отвести душу, люди выискивали анекдотическую сторону в событиях. Толком, впрочем, почти никто ничего не знал. Лучше других был осведомлен Фомин, так как по некоторым вопросам должна была высказать суждение и его коллегия: намечался раздел произведений искусства между обеими странами.

— Я Семе посоха Петра Могилы не отдам, хоть он тресни! — говорил Фомину Никонов, что-то очень смутно помнивший о Петре Могиле. — Бунчук Наливайки, так и быть, пусть берет, а посоха не отдам: наш посох!

— При чем тут Сема? Ах, его украинский паспорт? Ну, это так... А вы знаете, мне, быть может, предложат командировку в Киев по этим делам.

— Не предложат, — решительно сказал Никонов, который очень недоверчиво относился к познаниям Фомина в области старинного искусства, да и к его деятельности в Коллегии. — Почтеннейший, где уж нам уж?..

— А вот увидите. Съезжу на юг, подкормлюсь, вам гостинца привезу...

Действительно, вскоре после этого разговора Фомину была предложена командировка. Все ему завидовали, поздравляли его и забрасывали порученьями.

— Я уверена, вы и не вернетесь в наш несчастный Петербург, — говорила Фомину Муся в последний вечер перед его отъездом.

— Ну, вот! Как это не вернусь?

— Да так, не вернетесь. Все бегут из Петербурга, назад не возвращается никто.

— Я никогда этого не сделаю, Марья Семеновна, — сказал Фомин. — Помимо всего прочего это значило бы подвести всех моих сослуживцев. Могу вас уверить, что через месяц вы меня здесь увидите... Итак, recapitulation [1]: значит, primo [2], сказать папаше, что деньги расходятся быстро и чтобы прислал еще...

— Если только он может.

— Если только он может; cela va sans dire... [3] И побольше чтоб гнал монет, — тоже если только он может...

«Как, однако, ему не надоест?» — подумала Муся. Она стала гораздо мягче, чем была до революции и до своей помолвки, лучше относилась теперь к людям. Но в Фомине ее раздражало то, что она почему-то называла «самоучителем хорошего тона» (ничто другое не могло бы сильнее задеть Фомина, чем эти слова Муси).

— Secundo [4], сказать, — продолжал Фомин, — что вы писали им три раза, а от них не имели ни одного слова.

— И страшно беспокоюсь.

— И страшно беспокоитесь... Tertio [5], уверить их, что у нас здесь все превосходно, молочные реки в кисельных берегах, и чтобы они о вас не беспокоились ничуть... Кажется, все?

— Как все! А маме насчет шубы и мехов? Ведь я в письме об этом не говорю. Нет, конечно, вы все забудете или перепутаете! Лучше я вскрою конверт и припишу...

— Не забуду и не перепутаю. Меха, буду помнить... Затем нежные поцелуи и от всех самый сердечный привет. Может, и Нещеретову что передать?

— Мою любовь.

— Vous confondez [6]: это я ему передам от Елены Федоровны.

— Которая на днях пускается за ним вдогонку.

— Обрадую его немедленно этим известием... Ну, а

[1] Резюме *(англ.)*.
[2] Первое *(лат.)*.
[3] Разумеется *(фр.)*.
[4] Второе *(лат.)*.
[5] Третье *(лат.)*
[6] Вы путаете *(фр.)*.

оттуда вам что привезти? Киевских пряников? Сухого варенья?

— Не говорите!

— Ах, Боже мой!

— Я обожаю киевское варенье, особенно розы! — сказала со вздохом Сонечка.

— Денег привезите, это главное, — посоветовала Глафира Генриховна. — А если в самом деле там все есть, — размечтавшись, добавила она, — то захватите побольше колбасы, сахару, кофе, чаю, бисквитов, разных консервов, белой муки...

— N'en jetez plus! [1] Я не мешочник.

— К чему говорить пустяки? — сказала Муся — Какая белая мука? Во-первых, нигде в мире нет и никогда не было никакой белой муки: это миф, выдумка, мечта поэта! А во-вторых, мы прекрасно знаем, что вы не вернетесь, Платон Михайлович. То есть, вернетесь, но после падения большевиков.

— И вам не стыдно!

— Это вам должно быть стыдно, а не мне. Наш Петербург гибнет, но он никогда не был так прекрасен. Просто грех его покидать ради мифа о какой-то белой муке.

Фомин получил официальное свидетельство о командировке и некоторое подобие дипломатического паспорта. Поэтому путешествовал он благополучно и даже в сносных условиях: в купе от Петербурга было всего девять человек, и в дороге присоединилось еще только трое. На границу поезд пришел поздно вечером. Оказалось, что переночевать придется в Орше. Пассажирам, одетым лучше других, на вокзале посоветовали пойти в корчму. Туда и направился Фомин с несколькими попутчиками. В корчме их приняли не слишком радостно. За табурет в общей комнате каждому пришлось заплатить вперед пятьдесят рублей. Съестных припасов не оказалось никаких.

Около полуночи в корчму зашел дозор местных разведчиков. Дремавший Фомин встрепенулся; ему, впрочем, показалось, что появление дозора вызвало у корчмаря не испуг, а злобу. Он долго взволнованно шептался с начальником, потом поочередно вызывал приезжих на крыльцо. Никто арестован не был, но с крыльца люди возвращались с растерянным видом, а лица корчмаря и его жены выражали глубокое возмущение: начальник вел себя явно неделикатно. Когда очередь дошла до Фомина, корчмарь мрачно-сочувственно прошептал, что эти разбойники требуют триста рублей с персоны.

Несмотря на свой дипломатический паспорт, Фомин собирался было безропотно заплатить деньги. Однако бу-

[1] Остановитесь! *(фр.)*.

маги просматривались до расплаты и они совершенно изменили дело. Увидев их, начальник даже несколько изменился в лице. О деньгах он не заикался, почтительно вернул Фомину паспорт и, пожелав доброго пути, вскользь спросил: «В Смольном что новенького слышно, товарищ?» А после ухода дозора корчмарь с заискивающим видом предложил Фомину перебраться из общей комнаты в другую, где больше никого не было, и поставил для гостя самовар.

Фомин напился чаю и докончил запас съестных припасов, которым его снабдила перед отъездом Глафира Генриховна. Остаток ночи он просидел в разбитом кресле, вытянув ноги на чемодан, беспокойно ожидая перехода границы. Почтительный прием большевиков еще усилил его тревогу: как зато встретят немцы? В свой дипломатический паспорт Фомин верил плохо.

На рассвете корчмарь повел Фомина в Оршу-немецкую. Другие пассажиры, по словам корчмаря должны были пройти значительно позже и проделать какие-то формальности. Фомин вывел заключение, что другим пассажирам придется еще кое-кому заплатить. «Лучше пойтить рано утречком, тогда легче, все хочут спать»,— пояснил корчмарь.

Утро было чудесное, начинался теплый солнечный день. Местечко уже просыпалось. Лаяли собаки. На главной улице стояли огромные глубокие лужи. Доски мостков шатались так, что идти по ним было жутко. Фомин волновался все больше. Не могло быть, конечно, сомнений в том, что немцы его пропустят, но в таких условиях он никогда границы не переезжал. По его штатскому представлению, с минуты на минуту должен был показаться **кордон** (он так и представлял себе длинную цепь солдат), а за кордоном **лагерь** грозной, непобедимой германской армии, четыре года наводившей ужас на весь мир. «Что, если арестуют, несмотря на все бумажонки? Кому тогда дать знать? Семе послать телеграмму?.. Нет, ведь все-таки немцы культурные люди»,— думал Фомин.

На пропускном пункте корчмарь опять пошептался с дежурным разведчиком, и тот почтительно, совсем по-военному, отдал честь Фомину, возвращая ему паспорт. Теперь с этой стороны границы все было кончено. Они свернули, и действительно впереди показались проволочные заграждения. Вид у них, однако, был гораздо менее грозный, чем представлял себе Фомин. По другую сторону заграждений ходил взад и вперед германский солдат,— немолодой, в очках, и тоже нисколько не грозного вида. Почему-то очки солдата немного успокоили Фомина. «Так здесь проходит граница»,— подумал он; слово это и в мирное время имело в себе что-то волнующее. «Вот где, значит, начинается буржуазная Украина...» Ему было не совсем ясно: выезжа-

ет ли он за границу или, напротив, из чужой страны возвращается домой.

Корчмарь окликнул часового на немецко-еврейском языке, почтительно откланялся Фомину и поплелся назад. Часовой с любопытством оглядел приезжего и позвонил в колокольчик. Фомин уже приготовился было восхищаться немецким порядком и дисциплиной. Однако на звонок долго никто не откликался; затем из будки вышел заспанный рыжий человек без мундира, в военных штанах и в огромных ночных туфлях на босу ногу. Он, зевая, проверил бумаги Фомина (часовой тоже смотрел на них, через плечо рыжего человека), затем поставил печать и пошел назад в будку, шлепая туфлями. Фомин никак не предполагал, что все сойдет так быстро, гладко и буднично, — он совершенно иначе представлял себе порядки на местах расположения германских войск. Еще более удивило его то, что часовой, осведомившись, понимает ли приезжий по-немецки, предложил ему коробку папирос и плитку шоколада, вынул их из сумки и назвал тут же цену в марках и пфеннигах. Фомин охотно согласился купить и шоколад, и папиросы; вдобавок цена показалась ему до смешного низкой после Петербурга. Немецких денег у него не было. Солдат согласился принять и русские деньги.

Как раз в ту минуту, когда Фомин расплачивался за покупку, из будки вышел другой солдат, тоже немолодой и тоже довольно невзрачный. Он должен был сменить солдата в очках. Фомин, видавший в свое время смену гвардейского караула в Берлине у Бранденбургских ворот, был совершенно поражен, — так все опять прошло буднично, сонно, не по-военному. «Это германские войска! Это германская дисциплина! Быть не может? — изумленно спрашивал он себя. — Правда, здесь в действительности ни войны, ни фронта нет, и, конечно, это не регулярные войска, а какое-нибудь ополчение восемнадцатого разряда. Но все-таки!..»

Смененный часовой предложил Фомину проводить его к меняле, у которого можно очень выгодно приобрести немецкие деньги. Меняла торговал на вокзале, начиная с восьми часов утра; однако, по словам солдата, можно было сходить к нему и на дом.

— А к поезду мы не опоздаем? — осведомился Фомин.

— Вы куда едете?

— В Киев.

Оказалось, что киевский поезд отходит очень не скоро и вдобавок всегда переполнен до отказа. Солдат посоветовал Фомину выехать другим поездом в Гомель, а оттуда спуститься в Киев пароходом по Днепру. «Немного дольше, но зато очень приятная поездка, — сказал он, — на пароходе прекрасный буфет». Эти волшебные слова решили вопрос.

До отхода гомельского поезда оставалось еще около часа. По дороге солдат расспрашивал Фомина о порядках

в России. Он, очевидно, также принимал приезжего за видного советского деятеля. Жадный, сочувственный и почтительный интерес, который читался на лице, в вопросах, в восклицаниях солдата, был для Фомина новой неожиданностью. Он отвечал очень сдержанно. «Еще схватят за большевистскую пропаганду в германских войсках, ce serait fort par exemple!..[1] А, может быть, это ловушка?» — спрашивал он себя, как ни неправдоподобно было такое предположение. — Или это так действует соседство с нами?»

Разменяв деньги, они пошли на вокзал. Солдат не отставал от Фомина и разговаривал с ним теперь уже как приятель и соучастник в каком-то недозволенном деле. Без всякого стеснения он говорил, что так дальше дело продолжаться не может и что надо всем кончать войну — «вот как вы». Изумление Фомина все росло.

По дороге им встретились бабы, несшие в крынках молоко. Фомину хотелось выпить молока — и почему-то совестно было перед немцем. Однако солдат и сам, поглядев на кувшины, нерешительно попросил Фомина справиться у бабы о цене. Получив ответ, он пришел в крайнее раздражение. Цена, показавшаяся Фомину баснословно низкой, была теперь на двадцать пфеннигов выше, чем три дня тому назад. Немец долго не мог успокоиться. «Pfui! Unanständig! — бормотал он. — So machen doch nicht ehrche Leute...»[2]

У вокзала солдат, однако, подтянулся, и выражение лица у него стало другое. Он объяснил Фомину, откуда отходит гомельский поезд и где надо взять билет, затем простился и пожелал счастливого пути. Фомин после некоторого колебания хотел было сунуть ему на чай. Но немец решительно отклонил подарок.

— Я рад оказать услугу русскому **товарищу**, — вполголоса заговорщическим тоном сказал он и, еще раз добавив «Gute Reise»[3], пошел назад.

На вокзале все гораздо больше соответствовало представлениям Фомина о германских военных порядках. Народа было немало, все происходило как в нормальное время, — только вагоны на путях были грязноватые и разбитые. По перрону расхаживал офицер совершенно такого вида, в каком всегда рисовали прусских офицеров иллюстрированные журналы. «Вот так офицер! — любовался Фомин. — Жаль, что он ходит не гусиным шагом... Перрон кажется тесным, когда он гуляет! Это я понимаю...»

У билетной кассы вдоль стены шла очередь пассажиров. Касса довольно долго не открывалась. Фомин читал

---

[1] Этого еще не хватало! *(фр.)*.
[2] Фу! Безобразие! Так не поступают честные люди... *(нем.)*
[3] «Счастливого пути» *(нем.)*.

висевшее над ним на стене объявление на немецком и на украинском языках. Это было «Оповіщення від Украіньской Центральной Ради до громадян Украінськой Народньой Республики». Рада оповещала граждан о том, что немцы и не думают вмешиваться во внутренние дела Украинского государства. «Вони приходять, як наши приятелі і помішники, на короткий час, щоб помогти нам в скрутну хвилину нашого життя», — читал Фомин, изредка справляясь с немецким текстом в трудных словах, как «скрутна хвилина». Германский канцлер граф Гертлинг совершенно подтверждал заявление Рады. «Німці ні в якім разі не мают наміру втручатись у внутрішні справи Украині». Решительно опровергались всякие злостные сомнения в намерениях немцев: «Це брехня, громодяне...» — читал Фомин, и ему было трудно поверить, что все это совершенно серьезно.

Ровно за пятнадцать минут до отхода поезда окошечко кассы открылось; очередь пришла в движение. Вдруг сзади раздался дикий крик. Фомин, вздрогнув, с ужасом оглянулся и увидел, что прогуливавшийся по перрону германский офицер страшным нечеловеческим горловым голосом орал на перепуганного до смерти вокзального служащего.

— R-r-raus!..[1] — орал офицер так, как во всем мире умеют кричать одни немцы. — R-r-raus!

Очередь у кассы подвигалась все быстрее.

На гомельской пристани измученный, голодный, но радостно и бодро настроенный Фомин очутился только под вечер. Попал он вовремя: киевский пароход отходил через полчаса. Фомин успел побриться и переодеться: по советской России было даже и не совсем удобно путешествовать в приличном виде, но в чемодане у Фомина оказалось все, что нужно. Он вообще был человек запасливый, и дорожные принадлежности у него были превосходные. Через десять минут после того, как пароход тронулся, Фомин вышел на палубу в мало поношенном дорогом костюме из английского сукна перлового цвета, в мягкой шляпе, тоже не очень потертой, с дорогой тростью, серебряный набалдашник которой изображал голову мопса (это было бы безвкусно, если б трость не была старинной). На палубе стояли накрытые столы. Фомин всегда любил обедать в вагон-ресторанах. Но в этот день вид занятого им столика, судок с уксусом и прованским маслом, баночка с горчицей, от руки написанная, с расплывшимся чернильным пятном, карта блюд, полная сахарница и особенно свежие белые булки в плетеных корзинах, — все это произвело на него одно из самых сильных впечатлений, которые он когда-либо испытывал в жизни.

[1] Вон! *(нем.)*

Каюты парохода были заняты германскими офицерами (кассир только усмехнулся, когда штатский человек по-русски попросил у него каюту). Однако, заплатив кому следовало на чай, Фомин устроился очень удобно на палубе, в парусиновом кресле с передвижной спинкой. Он закутал в плед вытянутые ноги; но ему и без пледа было тепло от выпитых за обедом двух бутылок пива, — не прежнего немецкого, а все-таки очень недурного.

Стоял светлый весенний вечер. Тишина на Днепре была необыкновенная. «Нет в мире поэтичнее реки, нет прекраснее берегов», — блаженно думал Фомин. Он родился и прожил жизнь в Великороссии, но мать его носила чисто малороссийскую фамилию. Ему было и смешно, и грустно оттого, что он здесь оказался иностранцем. «Какая чудесная страна, эта Украина, и народ какой милый, важный, вежливый, не то что у нас, где слова не скажут без матерщины, — лениво думал Фомин, без большого успеха пробуя отделить в мыслях русский народ от украинского. — Та баба с молоком была иностранка... И эти мужички в вагоне тоже все для меня иностранцы, — ласково-насмешливо думал он. «Мужичек, кстати, был презабавный. «Все паны, говорит, посказились», — это оттого, что начальство заговорило по-мужицки... И в самом деле, кажется, посказились... А тот другой, чернобородый, тот, напротив, очень мрачный: ему, кажется, хотелось бы, чтоб было как у нас... А может быть, и в самом деле это для них соблазнительно: «панов різать»? Собственно таков и есть для них весь смысл революции... Ну, не для всех, так для многих... Может, и я на их месте не отказался бы?.. Ключевский предсказывал, что наш русский мужичок последовательно надует царя, церковь и социализм — и очень ловко надует... Да, странные события... Но какая чудесная, милая, поэтическая страна!.. Где еще в мире есть такие картины: эти леса, эта лунная ночь!»

Мысли его перешли на другое. Самые непривычные настроения вдруг сказались у Фомина; он не думал, что и в дальнейшей его жизни эти новые чувства будут иметь некоторое (хоть не очень большое) значение; не думал, что воспоминание о лунном вечере на пароходе навсегда закрепится где-то у него в душе и уж не уйдет оттуда до конца его дней. «А, может быть, и действительно вовсе не в том дело, — думал Фомин, — чтобы стать знаменитым адвокатом, загребать куши и любоваться каждый день своей фамилией в газетах. И не в том, чтобы быть своим человеком у графини Геденберг... Да и нет ее больше, бедной старухи. Тот мир, разумеется, кончился навсегда... Да, я о нем сожалею, да, мне жаль, что больше никогда не будет двора, что я никогда не буду ходить в придворном мундире, что нет больше титулов, нет орденов... Так и не удалось мне пожить той жизнью: надо было родиться раньше, как мой предок, что служит при Палене. Да, жаль, что ж

скрывать от себя правду? Но тут ничего не поделаешь: над этим нужно раз навсегда поставить крест... А что, если нужно поставить крест и над адвокатурой, над судом, надо всем тем, чем жили люди моего поколения? Что же останется тогда?.. Купить здесь не имение, — какие уж теперь имения? — а дом с садом, хороший, старый дом, где-нибудь на Волыни? Чудесные там есть дома и парки, особенно у польских помещиков... Да поселиться тут, в глуши, где пока еще смирен и незлобив народ... Жениться на дочери соседа, как в пушкинские времена. И гораздо умнее жили люди, чем мы... Так и тот мой предок кончил жизнь в своем малороссийском имении».

Мысль о женитьбе давно занимала Фомина. Он не был ни в кого влюблен; многие женщины ему нравились, но всегда как-то с женитьбой не выходило. Между тем холостая жизнь, несмотря на некоторые преимущества, давно ему надоела. «Да, пора бы, — думал Фомин. — Я женюсь не иначе, как по любви, но все-таки нужно, чтобы она была из хорошей семьи и с состоянием... Отчего же в самом деле нельзя так, чтобы и по любви, и чтобы все было, как следует? Вот как Гартнер женился: умница и счастливчик... — Гартнер был его приятель, один из самых блестящих молодых адвокатов Петербурга. — Ведь не на старой деве женился, и не на безобразной вдове, а на очень милой и славной девушке, скорее даже хорошенькой. Право, ее многие находят недурной: глаза, все говорят, красивые... Конечно, ему и в голову не пришло бы на ней жениться, если б не ее триста тысяч, и если бы она не была единственной наследницей миллионера... Папаше вдобавок за семьдесят... Но кому какое до этого дело? Кто теперь об этом вспоминает? А если дураки когда и вспоминают, то собака лает, ветер носит. А какой вышел милый, приятный, хорошего тона дом: у них бывает цвет Петербурга и так все у них мило, смотреть любо. И с тестем самые добрые отношения: «живешь? ну, еще поживи, в могилу не унесешь, хоть, конечно, очень засиживаться не надо», — благодушно-снисходительно думал Фомин. — Собственно, это старые мои мысли... Сегодня я нашел что-то новое, гораздо лучшее. Но ведь и в старом, если по-новому отнестись, любовно, без зависти и без злобы, есть много верного и хорошего... Все дело во внутреннем освещении... Надо будет еще очень об этом подумать...»

Он вдруг с удивлением почувствовал, что у него просто никогда до сих пор не было времени подумать обо всем этом, о своей жизни, и о жизни вообще, и об отношении к другим людям. «Может, любознательности не было, интереса, энергии? Но ведь это и есть самое важное: как жить с людьми, какими общими правилами в этом руководиться, а не то, что сегодня так, а завтра иначе, — с какой ноги встал... Как же для этого не оказалось времени, когда для всяких пустяков хватало?» — с недоумением спросил

себя Фомин и почувствовал, что сейчас заснет, несмотря на важность этого вопроса. «До того я думал об очень приятном... Да, можно жениться и без состояния... Вот хутор все-таки хорошо было бы получить. Право, в этом-то и есть настоящее счастье: милая, красивая, добрая жена, дети, свой сад, свои лошади, своя наливка, свое варенье, все то, над чем мы так глупо смеялись сто лет... Нужна была война и революция для того, чтобы мы оценили прелесть чая в своем саду, собственного варенья, лягавой собаки, винта со столетними прибаутками... Боже, как и засну!.. Да, все обман, чем мы жили... Надоел и весь этот мой светский скептицизм: все ерунда, дешевая ерунда! Надо жить проще и добрее. И ни к чему интриги, злоба, злословие... Попробовать просто и благожелательно относиться ко всем? Ты человек, и я человек, что ж нам ссориться и рассказывать гадости друг про друга... Да, верно, это и есть самое важное... Вон там за этим лесом, может быть, есть дом с садом, то, что мне нужно... И приятные соседи, и дочь-блондиночка... Но ведь я здесь иностранец! Советский чиновник... Еду делить сокровища искусства. Боже, как все это глупо!.. Вот Сема удивится, увидев меня! Тамарочка как обрадуется, ах-ах!.. И незачем называть его Семой: со слабостями люди, но хорошие люди... А в общем, конечно, порядочные люди преобладают над подлецами... Надо бы завести такую статистику... Немцы здесь и заведут статистику... Да, посказились паны... А другой мужичок очень, очень хочет «різать»... А германский канцлер граф... Гертлинг... говорит «Це брехня, громадяне»... — думал, засыпая, Фомин.

XXI

Кременецкие перед отъездом оставили Мусе адрес киевских приятелей, по которому следовало направлять письма. Они сами не знали, где именно остановятся! носились слухи, что Киев совершенно переполнен, что главные гостиницы заняты немцами и что свободных комнат нет нигде. Поэтому Фомин прямо с пристани поехал на извозчике к приятелям Кременецких. Оказалось, что Семен Исидорович там больше не живет.

— Они действительно остановились у нас, — объяснила Фомину толстая дама, жившая в этой квартире. — Но им удалось найти хорошую комнату на Фундуклеевской улице. Это теперь очень трудно... На днях они переехали.

— Надеюсь, у них все благополучно? — осведомился Фомин.

— Кажется, все благополучно, — довольно сухо ответила толстая дама. Фомину и то показалось, что дама не слишком довольна Кременецкими. — Ведь Сема теперь важный политик, — добавила она иронически и тотчас поправилась: — Семен Исидорович.

Фомин охотно расспросил бы даму подробнее, но это было неудобно. Узнав новый адрес Кременецких, он на том же извозчике с чемоданом поехал их разыскивать. Остановиться у Семена Исидоровича было, очевидно, невозможно; Фомин, однако, надеялся на полезные указания Тамары Матвеевны.

На звонок ему отворила дверь сама Тамара Матвеевна. Впечатление, произведенное его приездом, было еще сильнее, чем предполагал Фомин. В течение нескольких минут Тамара Матвеевна только ахала и восклицала, так что нелегко было даже разобрать вопросы, которыми она засыпала Фомина.

— ...Уверяю вас, дорогая, Муся совершенно здорова, — говорил Фомин, положив на пол чемодан и оглядываясь в длинной передней. — У них все в полном порядке.

— Но как же?.. Боже мой!.. Это так неожиданно!.. Дорогой Платон Михайлович, я так рада!.. Но вы не обманываете меня?.. Она не голодает?.. У них все есть?.. Но как же... Извините меня, ради Бога!

Она вытирала слезы. Фомину и жалко было, и смешно. «Семы, верно, нет дома, — подумал он. — Отчего же она не зовет меня в комнату? Эх, ванну бы...»

— Как видите, я позволил себе так ввалиться к вам с чемоданом.

— Так вы видели ее в среду? В эту среду? Это прямо... За все время ни одного письма! Мы ничего не получили, ни бельмеса!.. Ни одного звука, — поправилась Тамара Матвеевна. — Я думала, что я с ума сойду!

— Тамара Матвеевна, дорогая, Муся вам писала три раза. Три раза! И она сама от вас за все время тоже ни одной строчки не получила.

— Господи! Я каждый день писала, каждый Божий день!

— Вот видите! Что ж тут удивляться? Вы сами понимаете, какая у нас теперь почта, какие сообщения. Ведь между Россией и Украиной проходит фронт.

— Но как у вас там?.. Как все? Вивиан с ней? Как она выглядит?

— У нее очень хороший вид.

— Ах, вы это так говорите, чтобы меня успокоить!.. Разве я не понимаю?..

— Тамара Матвеевна, дорогая, даю вам честное слово!

Такой разговор продолжался довольно долго. Фомин все недоумевал, — когда же его поведут из передней в комнаты.

— Ну, а вы как? Семен Исидорович? Его нет дома?

Тамара Матвеевна вздохнула и робко оглянулась.

— Он дома, но у него сейчас одно заседанье... Я, право, не знаю... Вы сами понимаете, как он вам будет рад!.. Дорогой Платон Михайлович, вы просто меня спасли! Я думала, я с ума сойду!.. Так вы говорите, и мясо есть, и хлеб? У нас тут писали... А какао она по утрам пьет?

— Насчет какао не могу вам сказать... Мне тоже очень хотелось бы увидеть Семена Исидоровича.

Тамара Матвеевна опять вздохнула.

— Я, право, не знаю, как быть? Зайти туда как-то... Я сама все время сижу здесь в передней, — созналась она. — Но они должны скоро кончить... Так где же это письмо, Платон Михайлович?

— Сейчас достану из чемодана... Тамара Матвеевна, нельзя ли мне у вас умыться?

— Ах, Боже мой!.. — Тамара Матвеевна опомнилась. — Конечно, можно! Извините меня, дорогой мой! Я и не подумала, ведь вы к нам прямо с вокзала! Разумеется, можно! И чаю я вам сейчас дам...

— Спасибо, я пил. Говорят, здесь теперь очень трудно найти комнату?

— Безумно трудно! Но я для вас найду, будьте совершенно спокойны, я уже все это знаю. Мне совестно, что мы не можем вас устроить у нас, но ведь у нас самих всего одна комната. Просто ужасно!

— Помилуйте, я понимаю... А вот, если б можно было у вас умыться?

— Разумеется! Идите за мной... Мы снимаем одну комнату, но с правом пользоваться ванной. Вы можете даже принять ванну. Я уверена, хозяева ничего не скажут, они очень порядочные люди...

— Ах, это было бы чудесно. А вы тем временем прочтете письмо Муси.

Фомин уже был почти готов, когда в дверь ванной комнаты постучали. На пороге появился, с сияющим видом, Семен Исидорович. Они обнялись и поцеловались три раза.

— Только не через порог... Я так рад, дорогой Платон Михайлович...

— Я тоже... Вид у вас превосходный! Вы просто реклама для Киева, Семен Исидорович.

— Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить... Я очень рад!.. Жена мне в общих чертах все сказала. Значит, у них там все сравнительно благополучно?

— Совершенно У вас видно вообще здесь немного сгущают краски относительно Петербурга.

— Краски и без того достаточно густые, Платон Михайлович. Обреченный город! — со вздохом сказал Семен Исидорович, делая мрачно-энергичный жест рукой. — Увы, дело Петра кончено! Я давно это говорю. Надо все начи-

нать сначала, все строить заново, камень за камнем... Вы, я вижу, готовы?

— Вот только побреюсь и готов. Но у вас, кажется, заседание?

— Нет, конечно. Да и не заседание было, а просто пришло несколько человек обменяться мнениями по текущим вопросам. Теперь все разошлись, остался еще только один... — Семен Исидорович назвал малороссийскую фамилию, которая не была известна Фомину; однако по тону Кременецкого он понял, что речь идет о человеке значительном. — Он, верно, тоже скоро уйдет... Так что, когда вы побреетесь, сейчас же приходите. Я вас с ним познакомлю.

— Но я вам не помешаю? Может быть, секретные дела?

— Нисколько не помешаете. Секретные дела уже кончились, — с улыбкой пояснил Семен Исидорович. — У нас всего одна комната, зато очень большая... Он, правда, что-то еще хотел мне сказать, так вы не обессудьте. Пока мы с ним будем заканчивать беседу, вас Тамара Матвеевна угостит чаем. Она, бедняжка, вам так рада, так измучилась, горемычная, без вестей о Мусеньке... Ну, так я вас жду.

Минут через пять Фомин вошел в комнату Кременецких. За круглым столом, на котором находились карандаши, бумага, полная окурков пепельница, несколько пустых чайных стаканов, Семен Исидорович разговаривал с пожилым скорбного вида человеком, очень похожим на переодетого мужика. На другом конце большой комнаты, у окна, Тамара Матвеевна читала письмо. На маленьком столе Фомин не без удовольствия увидел самовар, печенье, сливки. В комнате стояли кровати, — Фомину было странно, что Кременецкие принимают в спальной. Семен Исидорович познакомил Фомина с пожилым господином.

— Мой помощник и наш друг, Платон Михайлович Фомин, — сказал Семен Исидорович. — Только что прибыл из Петрограда... Из самого пекла.

Господин наклонил голову и ничего не сказал. Фомин отошел к Тамаре Матвеевне. Она с видимым сожалением оторвалась от письма Муси, которое перечитывала в шестой раз, и принялась наливать Фомину чай.

— Да, с двумя кусками, пожалуйста, — сказал Фомин, — хотя после Петербурга не грех взять и три... — Он вдруг оглянулся, услышав нерусскую речь.

— ...Не треба цего лякатися, — говорил с ласково-убедительными интонациями Семен Исидорович. — На це склалось багацько причин. Чого ми хочемо? Ми з одного бока хочемо...

Фомин, полуоткрыв рот, с изумлением смотрел то на сидевшего к нему в профиль Семена Исидоровича, то на Тамару Матвеевну. У нее на лице было сконфуженное выражение.

— Это... как? — произнес, наконец, шепотом Фомин (он хотел спросить: «это что? серьезно?»). — Разве Семен Исидорович умеет говорить по-украински?

— Он всегда умел, ведь он родом с юга, — таким же шепотом смущенно ответила Тамара Матвеевна. — Я тоже решительно все понимаю... Но здесь он очень быстро подучился.

— Подучился? — растерянно переспросил Фомин.

— Да, он брал уроки. Вы ведь знаете, какой он способный! Это удивительно! Мне настоящие украинцы говорили, что он теперь объясняется совершенно свободно! Конечно, с ошибками, но ведь здесь все пока говорят с ошибками... Язык еще находится в процессе создания, — убежденно повторила слова мужа Тамара Матвеевна.

— ...З німцями я вже бачився... Нехай вин им скаже: схамениться, люде, не чіпайте Раду, не развалюйте державу в саму гарячу хвилю, — все убедительнее говорил Семен Исидорович.

— Нам це до дрибничок відомо, — раздраженно ответил скорбный человек. — Ми цю людину знаемо: несміслива и слабодуха. Треба расшукати підходящих міністров и не можу без великого жалю згадати...

— Семен Исидорович занимает какой-либо пост? — осведомился Фомин со все возраставшей робостью в тоне.

— Пока нет, — несколько уклончиво ответила Тамара Матвеевна. — Ему предлагали самые важные посты, но он хочет присмотреться поближе.

— Присмотреться поближе, — глупо-растерянно повторил Фомин.

— Да... Вы не можете себе представить, как его здесь встретили, как его сразу все оценили! Он стоит теперь над всеми партиями и просто для них всех незаменимый человек, мне это говорил сам... (Тамара Матвеевна назвала новую фамилию, которую Фомин слышал тоже в первый раз в жизни). — Но теперь здесь создалось довольно тревожное положение из-за этих хліборобов, — нерешително выговорила она.

— Из-за кого? — переспросил испуганным шепотом Фомин.

— Из-за хлеборобов, — повторила Тамара Матвеевна, заменив для ясности букву і буквой е.

— Что это такое?

— Это здесь такая группа... Семен Исидорович находит ее слишком реакционной... Между прочим в ней теперь играет большое значение Нещеретов.

— Он хлебороб? У меня есть для него письмо.

— Вы его скоро увидите... Семен Исидорович находит...

— ...Чи ж це правда? Ні, ні, це наклеп прихильников старого режиму, — говорил Семен Исидорович.

Пожилой человек упрямо покачал головой и поднялся. Тамара Матвеевна тоже встала. Гость простился с ней и слегка поклонился Фомину. Кременецкий вышел за ним в переднюю.

— Теперь пойдем завтракать, скоро час дня, — сказала Тамара Матвеевна. Вид у нее был по-прежнему сконфуженный. Фомин сокрушенно молчал.

— Ну-с, вот я и освободился, — сказал с улыбкой Семен Исидорович, возвращаясь из передней. Улыбка у него была веселая, но тоже какая-то не совсем уверенная. — Так как же, любезнейший мой Платон Михайлович, а? — произнес он, взяв Фомина руками за плечи.

— Да так. Ничего, — неопределенно ответил Фомин.

— Ничего?.. Ну-с, ладно, соловья баснями не кормят. Идем, батюшка мой, в ресторан.

— Давно пора. Ты с утра ничего не ел и ты знаешь, как это тебе вредно, — начала Тамара Матвеевна. — Ты прямо губишь себя всеми этими заседаньями...

— О своем здоровьи я буду думать в менее ответственное время. Идем!

— Кстати, в ресторане мы, наверное, увидим и Нещеретова, — сказала Тамара Матвеевна. — Он всегда там обедает, так что если вам нужно передать ему письмо...

— Ну, где там он будет сейчас разыскивать письма: у него их, верно, сто, как было у нас. Идем... Нещеретов теперь чистогерманской ориентации, — пояснил Фомину Семен Исидорович. — Я, как вы знаете, всегда не очень его жаловал: толстосум и невоспитанный человек. Однако не могу отрицать: огромного размаха мужчина и в своей области прямо гений. Он здесь без года неделя, а уже вертит колоссальными делами.

— Я готова, господа.

— Я предлагаю идти пешком: недалеко и погода чудесная. Вот по дорге и покалякаем.

— Я, собственно, украинским языком не владею.

— Будем говорить на русском, на православном, — сказал, неуверенно засмеявшись, Семен Исидорович.

XXII

В зале за столом сидел Нещеретов. Семен Исидорович еще издали помахал ему рукою. Они подошли к его столу. Нещеретов едва привстал, здороваясь с Тамарой Матвеевной.

— А, и вы здесь... Какими судьбами? — небрежно спросил он Фомина.

— Да самыми обыкновенными.

— Прямо из Питера, — пояснил Кременецкий, отдавая слуге шляпу и палку. — Увы, картина там именно такова, какую я себе представлял. Это подтверждает мою мысль о том...

— Подсаживайтесь ко мне, — довольно невежливо перебил его Нещеретов. — И вы тоже, мм... — он, видимо, забыл имя-отчество Фомина. — Человек, еще три прибора, — приказал он, не дожидаясь согласия приглашенных. — Я сам только что сел... Ну-с, как же там живется?

Фомин, по дороге уже рассказывавший Кременецким, как живется в Петербурге, принялся рассказывать снова. Но Нещеретов с первых же слов его прервал:

— Водку пить будем?

— Ясное дело, — ответил Семен Исидорович. — «Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова...»

— Лучше не надо, тебе вредно для почек, — начала было Тамара Матвеевна. Однако ее не послушали. Подали водку, в бутылке от зельтерской воды, и поднос с закуской. Тамара Матвеевна, просмотрев карту, поспешно сказала, что сегодня меню очень хорошее, незачем заказывать à la carte[1]. Она в последнее время старалась сокращать расходы: почета Семену Исидоровичу было в Киеве очень много, но заработков пока не было никаких; на проценты от стокгольмских капиталов, хотя и весьма порядочных, они существовать не могли и таким образом впервые в жизни начали проживать накопленное состояние.

— Обед так обед, мне все равно. А вам, Платон Михайлович?

— А мне и подавно, после Петербурга.

— Ну-с, так как же у вас там, Платон... — еще раз спросил Нещеретов. Он больше не говорил мужицким языком; напротив, в его тоне слышались новые, генеральские интонации. В дальнейшем, слушая рассказ Фомина, он вставлял изредка иронические замечания, относившиеся, впрочем, не столько к большевикам, сколько к Семену Исидоровичу. Фомин увидел, что отношения у них недружелюбные. Нещеретов и слушал Кременецкого, и обращался к нему с насмешливой улыбкой, точно ничего серьезного тот никак не мог сказать.

— Вот к чему приводит неуважение к правам народа, — говорил, закусывая, Семен Исидорович. — Надо же понять, что демократию, законность, чувство уважения к праву надо бережно воспитывать годами, как нежное тепличное растение. Это показывает и та участь, которая — увы! — постигла Временное правительство...

— Тимчасово правытельство, — с подчеркнуто-украинским акцентом вставил Нещеретов.

— Я сейчас говорю по-русски, — с достоинством ответил Семен Исидорович. — Удивительно, что многие из нас дальше старых шуточек над «мовой» и над «гречаниками» так и не пошли. О них я могу сказать только одно: они ничему не научились и ничего не забыли! (Тамара Матвеевна обвела обедавших гордым взглядом.) Вместо того,

[1] Здесь: порционное *(фр.)*

чтобы постараться понять великое народное движение,— да, быть может, не свободное от крайностей, но в основе своей великое и здоровое,— вместо того, чтобы подметить живую струю, бьющуюся в толще народной, и так сказать канализировать ее, направить ее в русло, они отделываются каламбурами, и притом...

— Марья Семеновна как? Здорова?—спросил Фомина Нещеретов.

— Слава Богу,—ответил Фомин, смущенно оглянувшись на Семена Исидоровича, который пожал плечами.

— Князек что? Горенский?

— Тоже все в порядке... Я, кстати, имею для вас письмо. от Елены Федоровны Фишер,—сообщил Фомин.—Но, к сожалению, я его не захватил с собой, оно у меня в чемодане. Я сегодня же его вам доставлю.

— Ничего, это не к спеху. . Так воспитывать демократию, говорите?—обратился он к Семену Исидоровичу.— Может, и Раду поддерживать?

— Разумеется. Всецело и всемерно.

— Держи карман!

Семен Исидорович пожал плечами еще демонстративнее.

— Возьми еще семги, уж если заказали закуску,— сказала Тамара Матвеевна.—Чудная семга!

— Семушка не вредная... Те, которые пускают пробные шары со слухами о предстоящем будто бы перевороте, только льют воду на мельницу советских насильников,— сказал Семен Исидорович.—Поистине: кого Бог захочет погубить, у того он отнимает разум!

— Позвольте, господа,—вмешался осторожно Фомин,—извините мое невежество. Семен Исидорович, правда, немного ввел меня в курс здешней политики, но все же я еще многого не понимаю. О каком перевороте идет речь? О монархическом? Тогда что, собственно, имеется в виду! династия Мазепы, что ли?

— Было бы болото, а черти найдутся,—сказал Кременецкий.—К счастью, никакого болота нет, а есть молодая демократия, еще неопытная, но с каждым днем крепнущая, с каждым днем растущая, с каждым днем наливающаяся живительными соками. И этой силе настоящего и будущего нисколько не страшны ночные совы прошлого, вечно хрипящие: «Назад! Назад!» — Куда назад? —спрошу я.—Какой переворот? Где социальная база переворота? На какие силы он может опереться? На хлеборобов, прикрывающих своей фирмой обреченный русский помещичий класс с его неприкрытыми реституционными замыслами[1], о которых пахарь слышать не хочет! Да ведь это несерьезно, ведь это курам на смех, господа! — с силой сказал Семен Исидорович.

---

[1] Здесь: восстановление прежних порядков (от *фр.* restituion).

— Однако, мне бы казалось, — заметил Фомин, — что главная сила на Украине в настоящее время это немцы?

— Какой догадливый! — сказал весело Нещеретов. — Цикавый якой, Платон М-м...

— Ах, не будем ничего преувеличивать, — ответил с некоторой досадой Кременецкий, чуть понизив голос. — Конечно, грубая сила на стороне немцев. У них пушки и пулеметы, у нас... У нас тоже есть и то, и другое, правда, в гораздо меньшем количестве. Однако только безнадежный слепец может так смотреть на этот вопрос и сводить его к пушкам и пулеметам. Вы забываете, господа, что если нельзя сидеть на штыках, то ведь нельзя сидеть и на пулеметах! Вы недооцениваете реальную силу идей и общественного мнения, как такового. Немцы, вдобавок, и не могут пустить в ход бронированный кулак. Они слишком ангажировались перед всем культурным миром, который...

— А вы как сюда пожаловали, Платон М-м-м?.. — опять перебив Кременецкого, спросил Нещеретов Фомина. Тамара Матвеевна обменялась с мужем возмущенным взглядом. — Славную взяточку в Орше дали, а?

— Нет, у меня сюда командировка на один месяц, — ответил Фомин.

— Что? Только на один месяц? — в один голос спросили Семен Исидорович и Тамара Матвеевна. Им стало совестно, что они с самого начала не расспросили как следует своего друга, зачем он приехал. «Значит, можно будет послать с ним посылку для Мусеньки», — тотчас подумала радостно Тамара Матвеевна. И хотя она очень любила Фомина, ей захотелось, чтоб он уехал назад в Петербург возможно скорее.

Фомин объяснил, по какому делу его командировали на месяц в Киев (он, однако, смутно чувствовал, что постарается продлить командировку: уж очень здесь было хорошо после Петербурга). Узнав задачу командировки, Нещеретов расхохотался.

— Ох, уморил, не могу, — сказал он, наливая себе пива. — Я тоже об этом слышал. Они требуют, чтобы сюда доставили, во-первых, картины всех художников, которые родились на Украине, а, во-вторых, все картины на украинские сюжеты. Так-с!

Фомин поднял брови.

— Это серьезно? Что ж, тогда и репинских «Запорожцев» прикажете сюда перевезти?

— А как же? Всецело и всемерно, — весело повторил Нещеретов.

— Интересно, кто это «они»? — иронически спросил Кременецкий. — Если вы имеете в виду украинцев вообще, то, ведь, насколько мне известно, вы и сами хлібороб, Аркадий Николаевич?

— Временный, как ваше бывшее правительство. Я тимчасовый хлібороб. Мне на одной Украине тесновато.

— Откровенные речи приятно и слышать. Так и будем иметь в виду.

— Так, почтеннейший, и имейте в виду, — подтвердил Нещеретов. Однако Фомину показалось, что он не слишком доволен произнесенными сгоряча словами.

— Затем по существу, — продолжал Семен Исидорович. — Повторяю, я отнюдь не разделяю крайностей молодого национального самосознания, вполне здорового и разумного по содержанию, но чрезмерно обостренного по форме... Добавлю, обостренного кем? Разумеется, нашим старым строем, который во имя своего Молоха давил в корне все живое и угнетал украинскую национальность на наковальне гнилой государственности... Я не сторонник крайностей. Там, где патриотизм переходит в узкий национализм, мне с ним не по пути! — энергично сказал он. Тамара Матвеевна опять с гордостью взглянула на Нещеретова и Фомина. — Однако, посмотрим на вещи шире, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, также демонстративно обращаясь только к Фомину. — Посмотрим на вещи шире. Разумеется, Репин гений и, как таковой, принадлежит всему культурному человечеству. Он соль земли, а солью питаются все народы. (Семен Исидорович сделал паузу). Однако, если шедеврам французских художников, естественно, висеть в Лувре, а шедеврам итальянских в Ватикане, то почему отрицать за молодой Украиной право на то, чтобы дорогая ей картина великого мастера, родившегося на украинской земле, картина, написанная на сюжет из украинской истории, висела в Киеве, а не в Петрограде и не в Москве, — закончил длинную фразу Семен Исидорович, не помнивший точно, где именно висят «Запорожцы».

— Мы как раз перед войной хотели просить Репина написать портрет Семена Исидоровича, — сказала Тамара Матвеевна. — Мне все художники говорили в один голос: у него замечательно характерная голова.

— Так я и пропал для потомства, — с улыбкой произнес Кременецкий.

— Позвольте, Семен Исидорович, — начал было Фомин. Но он не успел возразить Кременецкому. К их столику подходил еще петербургский знакомый: журналист дон Педро.

— Какая приятная встреча, — сказал он, здороваясь с обедавшими. — Так и вы здесь, Платон Михайлович? (дон Педро, в отличие от Нещеретова, твердо помнил имена и отчества всех бесчисленных людей, которых когда-либо встречал). — Положительно вся Россия переселилась в Киев!.. Давно ли вы из Петрограда?

— Сегодня приехал.

— Вот как! Ну, расскажите, ради Бога, как же там живется?

— Подсаживайтесь к нам, — милостиво сказала Тамара Матвеевна, помнившая, что дон Педро в свое время писал отчет об юбилее Семена Исидоровича.

— Спасибо, меня ждут, — ответил Альфред Исаевич, однако тотчас сел. — Разве на одну минуту... Так как же там в Петрограде живется?

— Ничего... Как кому, — ответил Фомин. Он решительно не желал в третий раз рассказывать, как в Петрограде живется. — Во всяком случае много хуже, чем в Киеве. А вы здесь обосновались?

— Хочет газету издавать, — пояснил Кременецкий.

— Хорошее дело.

— Дело-то хорошее, но реализировать при создающейся конъюнктуре трудно... Вот получите тысяч полтораста с Аркадия Николаевича, какую газету я вам смастерю, — шутливо добавил дон Педро.

— Демократическую? — грубоватым тоном спросил Нещеретов.

— А как же...

— Ищите другого дурака.

— Вы, может быть, считаете, что я социалист? — спросил обиженно Альфред Исаевич.

— Чтоб да, так нет?

— Имейте в виду, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, — здесь теперь социалист ругательное слово. Tempora mutantur! [1] Между тем единственная возможная ориентация сейчас, конечно, на трудящиеся слои населения...

— На працюючi люд, — вставил Нещеретов.

— Да, именно на працюючiй люд, как вы изволите шутить неизвестно над чем, господин хлебороб... На трудящиеся слои и на благоразумные элементы социализма.

— Во главе с бароном Муммом и фельдмаршалом Эйхгорном.

— Удар не по коню, а по оглобле! Мы-то немецкими руками делаем украинскую политику. А вот ваши хлеборобы, они действительно опираются на немецкие штыки и только на немецкие штыки!

— Господа, довольно о политике, — сказала рассеянно Тамара Матвеевна. «Колбасы я ему дам фунтов десять, — соображала она. — Какао минимум три фунта... Потом альбертиков, она их очень любит... Муки... Если выйдет даже пуд, он для нас должен это сделать...»

Альфред Исаевич поднялся.

— Ну, до свиданья, господа.

— Куда вы? Ни одной новости не рассказали! Какой же вы журналист? — сказал Кременецкий. — Что, поведайте нам, есть ли уже у хлеборобов какой-нибудь завалящий гетман?

---

[1] Времена меняются! *(лат.)*

— Это надо узнать у Аркадия Николаевича, — с тонкой улыбкой ответил дон Педро. — Но по моей личной информации кандидат есть... Сюда приехал некто Альвенслебен, из очень важной прусской семьи, не то граф, не то князь... Я знаю из верного источника, что его делегировали сюда германские коннозаводчики, у них есть свой кандидат в гетманы, — чуть понизив голос, сказал Альфред Исаевич тем же таинственно-уверенным тоном, каким он прежде говорил о самых секретных планах европейских государственных людей или о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями.

— Позвольте, при чем тут германские коннозаводчики?

— Вы не знаете, это очень мощная группа! У них есть прочные связи с Россией, уж вы мне поверьте... Я это знаю от самого майора Гассе.

— Так кто же этот кандидат?

— Один генерал... Богатейший! — восторженно сказал дон Педро. — И у него есть, так сказать наследственные права. Ну-с, прощайте, господа, — добавил Альфред Исаевич, любивший исчезать после эффектного сообщения.

— Постойте, расскажите подробнее... Да куда вы спешите? Посидите!

— Не могу, у меня сейчас одно заседание.

— Что еще? Или вы тоже гетмана подыскиваете?

— Нет, это по нашим, сионистским делам, — скромно ответил дон Педро.

— Разве вы сионист? — одобрительным тоном спросил Нещеретов.

— Я всегда интересовался, как же. Но теперь это стало в реальную плоскость, после декларации Бальфура.

— После какой декларации?.. Впрочем все равно... Так вы уезжаете в Палестину? — спросил Нещеретов еще более благосклонно. В его тоне явно слышалось: «скатертью дорога».

— Может быть, может быть, — опять несколько обиженно ответил Альфред Исаевич. — Мне предлагают поездку в Америку. Если не удастся сорганизовать здесь газету, я верно уеду. Но это будет зависеть от событий... До свиданья, господа. Очень интересно то, что вы рассказывали, Платон Михайлович, — добавил он, хотя Фомин ничего не рассказывал. — Вечером в «Пэлл-Мэлл» не идете? Теперь у нас все ходят в «Пэлл-Мэлл», — пояснил он. — Отличное кабаре.

— Ах, мы с Семеном Исидоровичем на днях были и нам совсем не понравилось. Провинция! — сказала Тамара Матвеевна.

— Разве я говорю, что не провинция! Конечно, это не «Летучая Мышь», но все-таки весело... До свиданья, господа.

— Хорош гусь! — сказал Нещеретов, когда дон Педро отошел.

— Все это очень характерно, — ответил озабоченно Семен Исидорович. — Подавляющиеся веками национальные элементы поднимают голову, центробежные силы растут за счет сил центростремительных...

«Значит, один украинский самостийник, другой прислужник немцев, а третий сионист, — раздраженно думал Фомин, впервые в жизни чувствуя в себе задетым великоросса. — Как-нибудь при случае мы это вспомним...»

— Господа, чудная курица, — сказала Тамара Матвеевна. «Можно будет даже добиться, чтобы он взял полтора пуда, я хорошо сложу», — подумала она.

Уезжая в Киев, Нещеретов предложил Горенскому и Брауну жить и дальше у него в доме. Однако они этим предложением не воспользовались: прислугу хозяин отпустил, и дом, по словам Нещеретова, был на замечании у властей. Свободных квартир в Петербурге становилось с каждым днем все больше. По газетному объявлению, князь Горенский снял очень дешево комнату в лучшей части города, с видом на Мариинскую и Исаакиевскую площади. Большая, хорошо обставленная комната имела отдельный вход, так что с хозяевами Алексей Андреевич, к своему облегчению, почти не встречался; ему непривычно было жить с чужими людьми, да и принадлежала квартира бывшему чиновнику, который при старом строе занимал немалую должность. Горенский имел основания думать, что новые хозяева относятся к нему так же злобно-насмешливо, как почти все люди консервативного лагеря.

1-го мая рано утром к князю постучали. Не дожидаясь отклика, вошел курьер из Коллегии. Горенский, завязывавший галстук, с недоумением на него уставился. Курьер неодобрительно осмотрелся в неубранной комнате и сунул Алексею Андреевичу бумажку без конверта.

— Как вы, товарищ, вчера не были, то велено с утра занести, — сердито сказал он.

Князь накануне провел послеобеденные часы не в Коллегии: он расставлял в музее новые коллекции фарфора.

— Приказано всем быть к десяти часам, — пояснил курьер. Горенский прочел записку и вспыхнул. Это было краткое предписание — явиться на сборный пункт для участия в манифестации. «Ну вот, и слава Богу! По крайней мере конец», — тотчас сказал себе князь.

Когда курьер ушел, Горенский сел за стол и сосчитал оставшиеся у него деньги. Накануне, получив жалованье за вторую половину апреля, он внес хозяину квартирную плату за месяц вперед, расплатился в кооперативе и в мелочной лавке. Оставалось сто семнадцать рублей. Прожить до

первой получки майского жалованья было бы очень трудно. Теперь положение становилось совершенно безвыходным: с отъездом Кременецкого и Нещеретова, и взаймы взять было не у кого. Однако именно вследствие безвыходности своего материального положения Горенский не позволил себе задуматься ни на минуту: он вырвал листок из дешевенькой тетрадки и написал заявление о том, что уходит из Коллегии. Алексей Андреевич составил это письмо кратко, сухо и вежливо, с легким намеком на причину ухода. Так в былые времена он написал бы заявление о своем выходе из какой-либо организации, где к нему или к его взглядам отнеслись бы без достаточного уважения (этого, впрочем, никогда не было). И в былые времена такое заявление князя Горенского вызвало бы в организации бурю, в обществе оживленные толки, обсуждалось бы в газетах и повлекло бы за собой разные письма сочувствия и протеста. Теперь, Алексей Андреевич это знал, его уход решительно никого не мог взволновать ни в обществе — собственно общества больше и не существовало, — ни в самой Коллегии, — разве только многие тотчас пожелали бы посадить родственника на освободившееся место. «Вот как меня по дружбе посадил Фомин», — со злобой подумал Горенский. Он прекрасно понимал, что его приятель хотел оказать ему услугу; тем не менее раздражение против Фомина с той поры все росло у Алексея Андреевича.

«Ну, вот и кончено, и слава Богу», — повторил Горенский. — «Plaie d'argent n'est pas mortelle» [1]... Он вторично пересчитал деньги. сто семнадцать рублей. Найти службу вне советских учреждений было теперь невозможно. «Уехать на Юг? Это можно было с командировкой, как уехал Фомин, или с украинскими бумагами, как Кременецкий, и с его деньгами... Попытаться перейти границу нелегально? На сто семнадцать рублей не уедешь... Да и там сейчас гадко, у самостийников. Ничего, как-нибудь выпутаюсь. «Plaie d'argent n'est pas mortelle», — сказал он снова вслух — и вдруг в полном противоречии с французской фразой, у него скользнула мысль о самоубийстве.

Горенский очень устал в последние месяцы, устал физически и душевно, устал от всего, от катастрофы, так неожиданно обрушившейся на Россию, от унизительной бедности, которой он никогда до того не знал. «Да, покончить с собой, это очень просто», — подумал он, опять смутно чувствуя то же самое: прежде его самоубийство было бы сенсацией на всю Россию; теперь оно не произвело бы впечатления почти ни на кого. «Покончил с собой князь Горенский, жаль, вечная память... Другие скажут: давно бы так»... Алексей Андреевич был не слишком честолюбив и еще менее того тщеславен. Но эта пустота безнадежная глухая пустота, в которую погрузилась вся прежняя Рос-

[1] Деньги — дело наживное (*фр.*).

сия, тяжко его угнетала. «Нет, с поля битвы не бегут!.. — сказал он себе. — Хотя какая же теперь битва? Они стригут и режут нас, как баранов. Это не битва!»

В нем вдруг поднялось бешенство. — «Нет, так нельзя!.. Так нельзя! — вставая, подумал Горенский. — Чем с собой кончать, лучше пойти и застрелить, как собаку, кого-нибудь из этих господ!.. Да, но тогда уж обдумать старательно: не погибать же из-за мелкой сошки! Должны быть пути и до самых главных. А если путей еще нет, то я найду их!.. Это надо обдумать, очень, очень обдумать, — говорил он себе, быстро ходя по комнате. Он с радостью чувствовал, как кровь у него прилила к вискам и нервы напряглись — как после крепкого кофе. «Может быть, это в самом деле и есть выход? Выход и для России, и личный, для меня. На это нужны средства и на это они должны быть найдены!.. А если я ухожу в такое дело, рискуя жизнью, то нет ничего дурного или унизительного в том, чтобы из этих же денег оплачивался и нужный мне кусок хлеба...»

Поток новых мыслей, самых неожиданных и непривычных чувств хлынул в душу Горенского. Ему вспомнилось, что в их роду несколько человек погибло в сраженьях: один был убит в Турции, другой под Бородиным; очень отдаленный предок, по преданию, пал на Куликовом Поле. «То, что сделали прадеды, обязан сделать и я. Они отдали жизнь отечеству и, если ему теперь нужна моя жизнь, то и я, потомок великих князей, собирателей земли русской, должен идти на смерть, — думал Алексей Андреевич, и от самого звука этих мыслей, от сочетания выражавших их слов, кровь все сильнее приливала у него к вискам. «Да, я прежде не придавал значения всему этому, своему происхождению, древнему роду (хоть неправда: в душе всегда придавал, только не говорил, потому что было не принято). Но верно говорят французы: «bon chien chasse de race» [1]... Какая правда в этих народных изречениях, особенно во французских!.. Да, это мой долг, и я его исполню!»

Ему представились разные ходы для осуществления этих новых мыслей, люди, с которыми следовало о них поговорить. «Браун? Он ненавидит большевиков еще больше, чем я. Может быть, он знает других? Говорят о какой-то организации Федосьева. Неприятно, очень тяжело работать с таким человеком, как Федосьев, но, если он вправду что-то делает, то было бы безумно отказываться от его опыта, энергии и связей...»

С улицы послышались звуки музыки. Горенский подошел к открытому окну и ахнул. Площадь стала неузнаваема, — художники-футуристы, плотники, маляры работали всю ночь. На Мариинском дворце лиловая девица и крас-

---

[1] Породистого пса учить не надо *(фр.)*.

ного цвета мужчина в кого-то палили из винтовок. Над «Асторией» голый фиолетовый всадник мчался верхом на зеленом коне. На протянутом огромном плакате Горенский, перегнувшись через окно, прочел: «Да здравствует защита нашего социалистического отечества!» Под этим плакатом, мимо памятника Николаю I, задрапированного красными и оранжевыми холстинами, проходила со знаменами толпа людей. Лица у манифестантов были унылые и понурые.

Оркестр играл «Интернационал». От звуков бравурной музыки все росла и крепла в душе Алексея Андреевича жажда борьбы, отчаянной борьбы с безграмотными звероподобными людьми, завладевшими Россией. Подтянув на высоких нотах заключительную фразу «Интернационала», он отошел от окна. «Да, надо сегодня же повидать Брауна. Как бы к нему ни относиться, это очень умный человек. Затем сегодня же поговорить еще кое с кем...»

Горенский вдруг вспомнил, что днем у него назначена встреча в Летнем Саду с Глафирой Генриховной. «Как жаль, что ей теперь ничего нельзя сказать!..» Алексей Андреевич собрал свои сто семнадцать рублей, надел шляпу и вышел из дому.

— ...Какие все-таки странные теперешние молодые люди, — говорила Вите Елена Федоровна. — В них есть какая-то такая застенчивость... Отчего вы такой робкий?

— Я не робкий, — ответил Витя, чувствуя с досадой, что ответ мог бы быть находчивее. К вечеру этого дня он нашел много превосходных ответов на замечание Елены Федоровны. Но замечание было сделано днем.

— Нет, я вижу, вы очень, очень застенчивый!

— Нисколько! Вы меня еще с этой стороны не знаете.

— С какой стороны? — спросила Елена Федоровна с видимым интересом. Витя, однако, и сам не знал, с какой стороны и что́ собственно он хотел сказать. Он только говорил себе: «с этой женщиной надо взять циничный тон». Взять циничный тон было бы, пожалуй, легко, если б на брюках была настоящая складка. Брюки пролежали всю ночь под матрацем, тем не менее складка не вышла; или, точнее, образовались две складки, из которых одна явно подрывала эффект другой. Все остальное, — и пиджак, и мягкая шляпа Семена Исидоровича, и его же галстук, и трость, — было вполне удовлетворительно. Но складки на брюках не было.

— Как прекрасен Летний Сад! — сказала, не дождавшись ответа, Елена Федоровна. — Нет, положительно только в природе есть вечная красота, особенно по сравнению со всей этой мишурой! — Она сделала зонтиком жест в сторону Марсова Поля, на котором происходил парад.

— В самом деле это скучновато, — сказал пресыщенным тоном Витя. — Ведь вы, кажется, приглашали меня к себе? — Небрежное «кажется» было очень хорошо, однако Витя с волнением ждал ответа Елены Федоровны. он и страстно желал, чтобы она его пригласила, — у нее это, наконец, должно было произойти, — и побаивался: Витя совершенно не был в себе уверен.

— Я действительно вас приглашала, но теперь я, право, не знаю, — ответила, потупив взор, Елена Федоровна. — Вы это как-то так странно говорите.

— Да уж там видно будет, — самым циничным тоном сказал Витя. «Господи, лишь бы пронесло!» — подумал он.

— Ах, ради Бога, не говорите так со мною!.. Все-таки, как странно сделана эта декорация, не правда ли? — переменила разговор Елена Федоровна.

— Оттуда будет лучше видно. Пойдем туда, — предложил Витя.

Среди убранных ельником могил жертв февральской революции была устроена высокая трибуна, затянутая красным сукном. Над ней на высоких жердях был протянут плакат с изображением огромного подсолнуха. Стоя лицом к могилам, что-то кричал, надрываясь, невысокий толстый круглолицый человек в пиджаке. Но слышно его было плохо, только изредка ветерок доносил отдельные фразы. Толпа была молчаливая, невеселая. Елена Федоровна и Витя пробрались к отдаленному углу площади, где народа было мало.

— Вот здесь постоим, на этой площадке, — предложил Витя. — Отсюда все будет видно.

Рядом с ними устроилась няня с ребенком и небольшой старичок неопределенного вида, в неопределенном платье, не то из господ попроще, не то из простых побогаче. Няня, расширив глаза, говорила

— ...А там за углом смотрю: Господи! Мертвая лошадь лежит! И собаки жрут падаль! Так на мостовой, говорят, третий день и лежит!.. Ах ты, Боже мой!

— То ли еще будет! — радостно сказал старичок. — Скоро людей так будут жрать.

— Ах ты, Господи! До чего дожили!

— До того и дожили. Все так на мостовой будем лежать. — У старичка на лице выступила радостно-едкая улыбка. — «...Построим новую яркую красивую жизнь», — донеслось с трибуны. Старичок засмеялся и оглянулся на Елену Федоровну и Витю.

— Они тебе построят!.. А в могилах-то городовые лежат. Царские фараоны... Да...

Елена Федоровна слегка вскрикнула.

— Смотрите, это она!

— Кто она? — спросил Витя.

— Дочь моего мужа!.. На трибуне третья слева во вто-

ром ряду, видите, та, что в черном. Это Карова, большевичка.

— Ах да, я о ней слышал. С ней служат наши приятели.

— Мой бедный муж! Он не пережил бы этого... Я прежде с ней была знакома, но раззнакомилась.

— Говорят, она из более приличных?

— Что вы! Всегда была наглая, завистливая девчонка! А безобразна! Как смертный грех!

— «...К близкому торжеству светлого пролетарского будущего!» — орал невысокий человек, вытирая лоб платком. Скептический старичок, видимо, наслаждался.

— Скажите, Виктор Николаевич, что собственно означает этот подсолнух? Я не понимаю.

— Это и нельзя понять.

— Значит, так надо, — сказал услышавший их слова старичок. — Ежели подсолнух, значит, подсолнух и надо А как стемнеет, сожгут гидру контрреволюции, да...

— Кого? — с ужасом спросила няня.

— Гидру контрреволюции. Очень просто.

— Смотрите!.. Ах ты, Боже мой! — заахала няня. На площадь медленно выезжал автомобиль с красным флагом. Рядом с шофером сидел негр. За автомобилем шли две колесницы с огромными чучелами, изображавшими священников и генералов. «О Господи!» повторила с ужасом няня при виде колесницы с чучелами священников. Но чучела генералов в ней как будто возбуждали не только ужас.

— Какая гадость! — сказал Витя.

Старичок на него оглянулся. Радостная улыбка сползла с его лица.

— Крашеный! — доверительным таинственным тоном сказал он Вите.

— Кто крашеный?

— Да негр!

— Ну вот!.. Смотрите, как он зубы скалит. Вовсе не крашеный, а самый настоящий негр.

— Это ничего не значит: верьте слову, крашеный, — сказал полушепотом старичок. Витя от него отшатнулся: глаза у старичка, с неподвижными зрачками, были странные.

— Знаете что, Елена Федоровна, пойдемте отсюда. Уж очень это плоско и гадко!

— Я тоже думаю, пойдем. Я что-то утомлена.

Они кивнули старичку, няне и пошли вдоль Лебяжьего Канала.

— Значит, ко мне? — спросила стыдливо Елена Федоровна. — Но вам не будет скучно?

— Что вы! Совсем напротив. — Витя опять почувствовал, что ответ оставляет желать лучшего. — «Значит, у нее будем ужинать... Как жаль, что нет смокинга», — подумал он, представляя себя в смокинге, в лакированных бо-

тинках, в шелковых носках. Ему вспомнился итальянский кинематографический артист, небрежно отдававший почтительным лакеям в передней дорогого ресторана пальто необыкновенного покроя, шляпу, трость с прямой серебряной ручкой. «Впрочем, если мы встретились с ней днем, я все равно не мог бы быть в смокинге. А я и так вполне прилично одет. Но надо, надо во что бы то ни стало обзавестись смокингом, если уж нельзя иметь фрак», — думал Витя.

Он быстро поднял руку к шляпе, увидев знакомое лицо: в Летнем Саду доктор Браун, чуть наклонившись вперед, внимательно смотрел на то, что происходило на площади. «Собственно, он должен первый поклониться, если я с дамой. Да он нас не видит... — Вите очень хотелось, чтобы Браун его увидел в обществе госпожи Фишер. — Верно, он ее знает, — соображал Витя, нарочно замедляя шаги. — Нет, не видит...»

— ...Наше поколение обречено, Глафира Генриховна, — сказал князь. — Я имею в виду, разумеется, мое поколение: ведь я гораздо старше вас. И вас мне особенно жаль: мы хоть пожили, мы видели настоящую, прекрасную и радостную жизнь. А вы!

— И я видела, — с волнением ответила Глафира Генриховна. Она никому не говорила, что ей двадцать седьмой год, но от князя твердо решила ничего не скрывать: между ней и Алексеем Андреевичем не было места обману. Глафире Генриховне было бы все же приятнее, чтобы князь не знал ее возраста.

— Да, может быть, вы чуть коснулись той жизни, но вы не участвовали в ней. И этому рад: вы не несете ответственности за ее грехи, — сказал князь. Противоречие в его словах не укрылось и от Глафиры Генриховны, хоть ей было не до логики: она очень волновалась.

— Грехи?

— Да, ведь и то, и другое верно, — горячо сказал Горенский. — Та жизнь была обольстительна, но если б она не была в то же время насквозь проникнута грехом, то мы и не видели бы всей мерзости, которая сейчас творится на наших глазах... И я не щеголял бы перед вами в этаком виде, в стоптанных сапогах, — добавил князь, не совсем естественно улыбаясь и внимательно вглядываясь в Глашу: он не был уверен, что может теперь нравиться женщинам. Выражение его лица еще больше, чем слова, тронуло Глафиру Генриховну; она невольно взглянула на сапоги Горенского, и от этого смутилась. Ей вспомнилось, как он был богат, вспомнилась его фотография в пажеском мундире.

— Вашей вины, конечно, нет никакой, — с волнением сказала она. — А то, что вы теперь оказались... без денег (она не решилась повторить: в стоптанных сапогах), это

только делает вам честь. Дельцы и спекулянты сумели припрятать деньги.

— Я не догадался, — с той же улыбкой сказал Горенский. — И потому попал в служащие их коллегии.

— Что ж тут дурного? Ваша коллегия вполне приличная, — начала было Глафира Генриховна.

— Вы это говорите, но вы этого не думаете! — перебил он ее. — Вы не можете так думать!

Она с удивлением на него взглянула. Он вдруг взял ее руку и поцеловал. На глазах у князя были слезы.

— ...Мы рады всем приемлющим новый социально-экономический режим, — говорила на трибуне, между выступлениями ораторов, Ксения Карловна Березину, который слушал ее с почтительным вниманием. — Кто против нас, тот наш враг, и с ним пролетарская власть — увы! — должна быть беспощадной...

— Dura lex!! — сказал со вздохом Березин. — Dura lex sed lex [1].

— Но друзей пролетариата мы умеем ценить, какова бы ни была их социальная сфера в прошлом. Артистов, людей искусства, честно протягивающих руку рабочему классу, желающих пройти с ним хотя бы часть его пути, мы встретим, как товарищей и сотрудников в общем деле. Давайте же координируем работу, Сергей Сергеевич!

Березин приложил руку к груди:

— Видит Бог! — сказал он грудным низким голосом и немного смутился, сообразив, что начал неудачно. — С открытой душой говорю вам, Ксения Карловна: помыслы мои, мои чаянья художника всегда были с трудящимся народом, и в самых отдаленных моих исканьях я смутно слышал мощную поступь рабочего класса, как за сценой тяжелые шаги статуи командора. Я родился, жил и буду до последнего издыхания бойцом авангарда, Ксения Карловна! В чем другом, а уж в отсталости, в рутине, в закостенелости духа и злейший враг ни разу не упрекнул Березина!..

— Я это знаю. Мы достаточно информированы о вашей работе.

— Я всегда был в искусстве мятежником, Ксения Карловна: и тогда, когда чаял обновления сцены от прерафаэлитов, и теперь, когда я сердцем жажду живой воды пролетарского творчества. Да ведь еще как сказать? ведь все это и тесно связано: весь мой ищущий путь художника, революционера и новатора. Я всегда был верен себе, и это говорю вам прямо и честно: был Березиным, остаюсь Березиным и буду Березиным до последней своей баррикады! Отсюда и все мои недруги, и завистники, и та мелкая недостойная травля, которая против меня велась и ведет-

[1] Хотя жестокий, но закон (*лат.*).

ся... Да, ведется, Ксения Карловна. Об этом долго говорить, да и нет охоты: уж больно гадко!.. Когда-нибудь в другой раз...

— Мы вас поддержим, Сергей Сергеевич.

— Душевно благодарю... Да и как же мне не быть с вами? Когда я вижу эту молодую, свежую, тянущуюся к свету аудиторию, восприимчивую ко всему новому, живому, ко всему чуждому стариковского шаблона, чуждому академической мертвечины, когда я вижу эти горящие глаза, эти возбужденные лица, преображенные таинством искусства, я говорю, я кричу с упоением: «Да, я ваш! Березин ваш, слышь, жив человек!» Готов нести вам свой труд, свои идеи — последние, глубинные идеи, Ксения Карловна, — готов отдать вам свой дар, свое вдохновение, душу живу, все то, что у меня есть святого, что мне дано свыше...

Он осекся: конец фразы опять был нехорош. Однако Ксения Карловна не заметила неудачных выражений Березина или сразу признала их чисто метафорический характер.

— Комитет очень удовлетворен вашей активностью, в частности и по устройству сегодняшних торжеств, — сказала она. — О вас уже говорилось, — правда, пока в дискуссионном, а не резолюционном порядке, и большинство намечается в вашу пользу. Об этом сообщено также в Москву. Я уверена, что вам будут предоставлены самые широкие возможности работы.

Березин передвинул руку на груди, еще ближе к сердцу, и совсем склонил голову набок.

— Благодарю и тронут больше, чем могу выразить!

— Лично от себя я позволила бы себе только одно замечание... Вы разрешите?

— Ради Бога! Прошу вас.

— Не нравится мне вот этот плакат! Да, я понимаю идею подсолнуха, знаю, что́ можно сказать в его обоснование, Лебедев мне объяснял... Но что же делать? Мне не нравится.

— Я не защищаю этот символ безоговорочно, однако...

— Должна вам сказать, я очень отстала в живописи, я остановилась на передвижниках. Но мне кажется, что пролетариату с этим не по пути. По-моему, это скорее декадентское искусство пережившей себя мелкой буржуазии или разлагающегося люмпенпролетариата... Впрочем, оговариваюсь, это только мое персональное мнение. В Комитете это не дебатировалось.

— Ксения Карловна, я не буду спорить по существу, я готов даже допустить, что во многом вы правы... Вы очень верно смотрите на искусство...

— Ах, нет, я и не претендую.

— Очень верно и тонко, кому же и видеть, как не мне? Однако согласитесь и вы, что новое вино нельзя лить в старые мехи. В искусстве, как во всем, пролетариат должен сказать свое слово и сказать его громко, мощно, зычно, как власть имущий на весь мир!

— С этим я совершенно согласна.

— Нельзя, разбив могучим порывом старые социальные кумиры, в искусстве поклоняться отжившим, мертвым, гниющим богам! — сказал с силой Сергей Сергеевич. — Если вы бросили вызов всей земле, посягните и на духовную гущу прошлого. Будьте богоборцами до конца, и вас осенит крылом победа! Старый мир завертится волчком и запляшет, как ужаленный, Ксения Карловна, голову даю на отсечение! Пусть наш лет в будущее будет головокружительно смел, пусть он будет прекрасен великой, глубинной, святой красотою, как мощный прыжок Нижинского, как бунтарский зык Стеньки Разина!

— Повторяю, с этим я готова согласиться, по крайней мере отчасти, — сказала напуганная Ксения Карловна (прыжок Нижинского и зык Стеньки Разина не были предусмотрены программой). — Разногласия между нами скорее в сфере проблематики искусства. Ищите новых путей, Сергей Сергеевич, и планируйте ваши искания. Я уверена, что советская власть всячески пойдет вам навстречу.

— Великое вам спасибо, но лично мне ничего не нужно, помогите только моему делу. Будем строить новую жизнь, Ксения Карловна, будем создавать новое искусство, и в чаяньи его воскликнем издали: «Ей, гряди скоро!» — с чувством говорил самым глубоким своим голосом Сергей Сергеевич Березин.

— ...А отчего бы и не о самом настоящем?

— Мы не «русские мальчики», которыми старательно и непохоже восторгался Достоевский.

— Отчего бы не подумать о самом настоящем и русским старикам? Ваш фаустовский путь...

— Фаустовский?

— У нас в России были Гамлеты, Чайльд-Гарольды, дон-Кихотами хоть пруд пруди. Только Фаустов не было. Итак, ваш скорбный листок?..

— Нет болезни, нет и скорбного листка.

— Болезнь есть: чрезмерная независимость.

— Золотая середина между Юлием Цезарем и Молчалиным.

— Допустим... Значит, вы юношей начали с философии?

— Да. Тогда, как, впрочем, и теперь, как и всегда, шла борьба за существование между десятком философских систем. Я был молод, и очень хотел сделать выбор; — ведь это главная радость в жизни. Поэтому я изучал одну

систему за другой и добросовестно изучал. Обычно бывает так! в каждой системе есть основной философ, чаще всего немец, и семьдесят семь комментаторов. Высшим счастьем для каждого русского философа было стать комментатором номер семьдесят восьмой. Вот я все это и изучал. Изучал с жаром и делал вид, что восторгаюсь...

— Так, так... И на какой системе вы остановились?

— Сумбур у меня в голове был необычайный. Каждая из этих систем разбивала все другие, между тем, к моему ужасу, я в каждой находил некоторое удовлетворение и отклик, не скажу, своим мыслям, — какие уж могли быть тогда у меня мысли? — но отклик своим настроениям. Утром я читал у Канта о категорическом императиве — и восхищался. А вечером читал у Гегеля о том, что самое великое в истории есть торжество одной воли над другими, — и тоже восхищался.

— Разве Гегель это сказал?

— Сказал где-то. Я и теперь думаю, что это одна из самых соблазнительных, самых опасных идей в истории философских течений. Мысль эта в моей жизни сыграла немалую роль.

— Вот как?.. Значит, всеми восхищались поровну?

— И приписывал это, с отчаяньем, своей поверхностности, отсутствию своеобразия мысли и недостатку аналитического дара. Каждый большой философ разрушал системы своих предшественников, и обычно разрушал мастерски. Это было в порядке вещей. Но затем, изучая последовательно разные книги одного и того же философа, я стал убеждаться, что каждый из них разрушает также и свою собственную систему. Помню свой наивный подсчет, по которому выходило, что существует пять или шесть разных Ницше и не менее четырех Кантов. Это было для меня тяжким ударом. Шефтсбери как-то сказал: «Нет лучшего способа, чем система, для того, чтобы стать дураком». Я тогда еще не знал этих слов Шефтсбери. Однако у меня смутно росла простая мысль о том, что люди не машины для выработки «твердого философского мировоззрения» и что трудно выработать твердое философское мировоззрение, когда сам человек, общий знаменатель систем, — по классическому выражению, «соткан из противоречий». Если бы я был одарен в какой-либо области искусства, я туда и ушел бы. Искусство всегда выход, оно предприятие с ограниченной ответственностью: в нем своя рука владыка. Настроен хорошо — пишешь жизнерадостную повесть, настроен плохо — пишешь безотрадную повесть, и все одинаково оправдано, лишь бы было талантливо, а уж пусть там учителя словесности разбираются и «выносят за общие скобки». Искусство беззастенчиво делает то, о чем философия не смеет и думать. К несчастью, я вполне бездарен в искусстве — при очень большой восприимчивости, особенно к музыке: ее, случа-

лось, слушал запоем. Вот, например, вторая соната Шопена... Впрочем зачем примеры: вся музыка — сухое пьянство, циничный вызов разуму. Я думаю, что люди, к ней не восприимчивые, вообще не должны были бы заниматься никаким искусством. Не понимающие живописи могут заниматься литературой, или обратно. Но человек, не чувствующий музыки, пусть лучше посвятит себя торговле или скотоводству. Я перешел на точные науки. Девиз Гойя: «Aun aprendo»[1].

...«Как болит голова!.. От этого гнусного шума»...

— И что же дальше?

— Да что же еще? Больше ничего.

— Не может быть. По фаустовскому тону ясно: точные науки тоже вас разочаровали.

— Нет, точные науки меня не разочаровали. Мало верю в разум, но люблю его больше всего на свете. Я на своем могильном памятнике велю вырезать таблицу умножения.

— Только пусть ее на вашем памятнике провозглашает человек, стоящий вверх ногами. Значит, наука вас не разочаровала? Наверное?

— Наверное. Немного разочаровали ученые. Те, которых газеты называют «великими» «гениальными», «аристократами мысли» и т. д. На похвалы ученым газеты не скупятся: физика и химия никогда не задевают. Естествоиспытатели поэтому — как природа: их все хвалят. Эти гениальные люди меня, случалось, разочаровывали. Бывает, в своей области вправду замечательный человек, а заговоришь с ним о чем-либо другом, — Господи, какой обывательский вздор!.. Люди они, впрочем, хорошие, честные, трудолюбивые, вежливые. Думаю, что ученые в среднем по моральным качествам выше, чем политики, литераторы или артисты. Ниже, — быть может, чем так называемые обыватели, — эти, по моим наблюдениям, самые лучшие люди.

— Да ведь вы только что сами говорили об «обывательском вздоре»!

— Ну, вот и отнесите это на счет противоречий человеческой природы.

— Или насчет того, что вы «дразните собеседника», как неприступная красавица в дамском романе.

— Или насчет этого... Знаете, когда знаменитые ученые несут настоящий обывательский вздор? Тогда, когда они с глубокомысленным видом берутся за философские вопросы. А эта слабость у них есть, есть. Почти каждый известный ученый считает себя обязанным выпустить томик философских статей, какую-нибудь «науку и религию», «науку и нравственность», «науку и бессмертие души». У него, наверное, в ящике отыщется несколько

[1] Учусь всегда (*исп.*).

актовых речей или что-нибудь в этом роде. Публика это тоже чрезвычайно любит и ценит. В большинстве случаев — не всегда, разумеется, — этим томикам грош цена: что он обо всем этом знает? Он, может быть, и думать об этом стал впервые перед актовой речью. Ведь у науки с нравственностью нет ничего общего, а с бессмертием души и подавно. Я думал, что наука, создающая подлинные ценности, может заменить бессмертие души, но и это было вздором... И вот, заметьте, люди, в своей области независимые и замечательные, мгновенно поддаются влиянию среды, всех ее общих мест. Не то чтобы они хотели подольститься. Боже избави! Люди они вполне честные и искренние. А просто бессознательный обмен токов. Сам того не замечая, такой ученый преподносит публике те самые мыслишки, которых она от него просит... Есть такой рассказ, избитый, тысячу раз цитированный и скорее всего выдуманный Наполеон будто бы разговорился о Боге со знаменитым ученым, — обычно называют Лаланда, того, что из тщеславия ел пауков, а из любви к народу читал курс астрономии на улице толпе парижских зевак. Наполеон будто бы спросил (хоть, верно, это мало его интересовало) «Но как гипотезу, вы допускаете существование Господа Бога?». А Лаланд будто бы ответил. «Никогда не встречал надобности в такой гипотезе»...

— Разве вас такой ответ не удовлетворяет?

— Меня? О, нет, нисколько! Как — ненужная гипотеза? Напротив, самая нужная, единственная необходимая для жизни, — к несчастью, весьма неправдоподобная. Но я к тому это говорю, что Лаланд, по-моему, угадал ответ, самый удобный для его поколения, поколения бодрого, уверенного, чуть-чуть циничного. Так же всегда было у нас. В ту пору, когда у нас полагалось идти в народ, была одна такая модная научно-популярная книга: в ней, помнится, корни растения сравнивались с трудолюбивыми крестьянами, цветы с народолюбивой интеллигенцией, и цитировались некрасовские стихи. Идти в народ предписывалось ботаникой. А еще того раньше наука строго запрещала ходить в церковь и верить в Бога. А вот теперь, увидите, она, напротив, строго предпишет и то, и другое.

— Это лишь означает, что ученые — люди своего времени. Что ж тут дурного?

— Ничего дурного... Если бы только они говорили общие места не именем интегрального исчисления. И если бы вид у них был несколько менее победоносный: вот, мол, я, такой ученый, такой гениальный, такой аристократ духа, вот, мол, что я говорю — дальше общее место. И еще если б их философский новый год не оказывался непременно рецидивом позапрошлого года, в посрамление и назло прошлому году. Мне эти рецидивы неприятны, как сигара, раскуриваемая во второй раз. Мы-то, вдобавок, обычно раскуривали чужие, с запада завезенные сигары.

В этом, впрочем, никакой беды нет: только с западом и нужен нам умственный товарообмен. Россия всегда была Европой, притом Европой первосортной. Порою она таковой везде и признавалась, и это самые блестящие периоды нашей истории, как первые пятнадцать лет прошлого века.

— Это к делу не относится.

— К какому делу?

— Но у вас-то какие-нибудь верованья есть?

— Было много, осталось мало. Вот, как у того же Гойя из двадцати человек детей остался один. А ему было, кажется, совершенно все равно: он создавал ценности. Превосходно писал бой быков, развратных женщин и многое другое.

— Нравственный человек, когда же вы дойдете до настоящего?

— До какого настоящего?

— Ну, как до какого? До *дела*... Ведь и Фауст кончает делом: болота, что ли, осушает.

— Это литературная натяжка. И никогда Фауст не мог сказать мгновению: остановись, прекрасно ты!.. Правда, он тотчас и умер.

— А все-таки, агрономия пригодилась.

— Едва ли. Гете на старости лет современники уже начинали стилизовать под олимпийскую куклу. Он на мгновенье мог сам этому поддаться, хоть уж на что был и независимый, и гениальный человек.

— А если без аллегорий?.. В вас пропадает салонный конферансье на философские темы: в пять минут расправились со всеми науками.

— Довольны скорбным листком?

— Есть поучительное. Есть даже кое-что от общей болезни всей нашей интеллигенции. Немного, но есть.

— Это что же?

— Да вот то самое, что происходит на улице. Это ваше.

— Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.

— А уж если запретить ему Богу молиться!..

«...Так это все?» — думал Витя. Он совершенно иначе себе это представлял — по книгам, по рассказам товарищей. Райского блаженства не было, но не было и ужаса, волнения, раскаяния, о которых он читал. Было очень приятно; в чувствах Вити теперь преобладала гордость: «да, стал мужчиной! Больше никто ничего не может сказать...» Кое-что было неловко вспоминать, но и то не слишком неловко: все скрашивалось тоном благодушной насмешки, в котором вела дело опытная Елена Федоровна. Было и очень смешное — когда в решительную минуту под окнами квартиры оркестр заиграл «Интернационал». Впоследствии Витя никогда не мог вспомнить музыку «Интернационала» без веселой улыбки.

«Теперь начинается жизнь, — думал Витя. — Муся? Да, конечно, я влюблен в нее. Это — только пустое похождение. Но мне нисколько не стыдно смотреть в глаза и Мусе. Напротив, мне очень хочется, чтоб она об этом узнала и поскорее. Рассказать ей нельзя: в это замешан чужой секрет, даже собственно честь женщины... Моей любовницы, да, моей любовницы... Я не расскажу Мусе, это было бы очень гадко. Вот если б она узнала не от меня?.. Как же она может узнать? Браун, как назло, нас не видел... Но главное, теперь началась новая жизнь... Теперь все будет другое... Досадно все-таки, что нет смокинга», — подумал Витя, и ему стало стыдно. «Мама умерла, папа в крепости, идет революция, а у меня на уме все этот идиотский смокинг! Что, если я моральное чудовище!» — спросил он себя. На мгновенье эта мысль польстила его самолюбию, потом он ее проверил и должен был от нее отказаться. «Нет, те убивают, грабят, насилуют, а я, хоть зарежь меня, на все это неспособен. Но, значит, тогда и другие люди такие же? И у каждого человека за большими событиями, за несчастьями и катастрофами, тоже торчит какой-нибудь такой смокинг или что-нибудь в этом роде?. »

Елена Федоровна, вернувшись в спальню, прервала его глубокие размышления.

— Ты был очень мил, — сказала она, гладя его по голове. — Ты далеко пойдешь.

— Правда?

В ее устах эти слова были для него то же, что для молодого офицера похвала знаменитого полководца. Витя не был самодоволен, но он чувствовал, что, независимо от его воли, самодовольная улыбка все глупее расплывается на его лице.

— Иметь детей кому ума не доставало, — сказал он, и ему стало еще веселее: ответ показался Вите очень удачным. «Вот и находчивости теперь прибавилось...» Елена Федоровна тоже засмеялась, догадавшись, что это цитата.

Вдруг за окном послышался треск. Полутемная комната ярко осветилась от взлетевших ракет. Елена Федоровна отворила окно. Сильный гул ворвался в комнату. На площади было светло как днем: жгли гидру контрреволюции. Двухголовая гидра на огромном костре изображала Клемансо и Ллойд Джорджа. Клемансо быстро сгорел, но Ллойд Джордж держался довольно долго. Толпа ревела.

На Неве загремела салютная пальба. Витя у окна обнял Елену Федоровну за талию, совершенно так, как мог бы сделать человек, имеющий и смокинг, и фрак, и трость с прямой серебряной ручкой, и удивительное пальто с пелеринкой, которое бросал в клубе лакеям молодой маркиз ди-Санта Верона. Ракеты взлетали и рвались на страшной высоте. Ллойд Джордж не выдержал, дрогнул на жерди и повалился в костер. Толпа радостно заорала. Оркестр снова заиграл «Интернационал».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Утром неожиданно пришел почтальон и принес Мусе помятую испачканную открытку от родителей из Киева. Она пришла непонятным образом, без всякой оказии, просто по почте, — правда, недели через две после отправления, кружным путем, через Германию и Швецию. Очевидно, Семен Исидорович не очень рассчитывал, что его открытка дойдет, а просто попытал счастья. Только этим Муся и могла объяснить характер письма.

«Милая, ненаглядная дочурка! — писал Семен Исидорович. — О нашем житье-бытье ты, надеюсь, все знаешь по предыдущим маминым и моим посланиям. У нас все попрежнему, благополучны, здоровы, живем — хлеб жуем, и все было бы сносно, если б не безумная тревога наша о тебе, моя девочка, что от тебя в такое время ни слуху, ни духу. Понимаем, что это не твоя вина, никто здесь не получает писем из Питера, но нам от сего не легче, а бедная мама от волненья так измоталась, что смотреть на нее, голубушку, больно, — не спит ночами и все меня, горемычного, поедом ест, что мы тебя одну оставили...»

Открытка чрезвычайно взволновала Мусю. Она никаких писем до этого от родителей не получала, сама писала им не раз, и с оказиями, и тоже по почте, наудачу. Ни ей, ни отцу, ни матери и в голову не приходило при расставаньи, что они будут так отрезаны друг от друга. Муся только теперь поняла, как нежно любит родителей. Читая открытку, она вдруг прослезилась, несмотря на «дочурку», на «Питер», на «живем — хлеб жуем», на все то, что ее раздражало в отце.

— Сонечка, Витя!.. Глаша! — позвала она, вытерев слезы. — Идите скорее сюда!.. От папы письмо!

Послышались радостно изумленные возгласы. В столовой появилась, на ходу заплетая косу, Сонечка в пеньюаре, в туфлях на босу ногу, затем Витя в бархатном, воло-

чившемся по полу халате Семена Исидоровича, перешедшем в его собственность. Муся принялась читать письмо вслух с начала. В конце открытки, где строчки теснее наседали одна на другую, сообщалось, что дела Василия Федоровича идут хорошо и что он обосновался в Киеве надолго.

— Что такое! Я никакого Василия Федоровича не знаю! — изумленно говорила Муся.

— Да, может, это не Василия Федоровича, верно вы плохо разобрали! Может, Владимира?

— Да нет же, Сонечка!.. И потом Владимира Федоровича у нас тоже никакого нет. Смотрите: ясно сказано: Василия... Ну да, Василия Федоровича... Ведь это «Ф», Витя?

Витя с недоумением подтвердил, что написано «Василия Федоровича».

— Как странно! Немецкий штемпель, — говорил он. — И смотреть неприятно.

В столовую вошла Глафира Генриховна, одетая и причесанная, как следует. Она окинула презрительным взглядом туалеты своих друзей, взяла открытку, внимательно прочла, по общей просьбе, снова вслух и категорически заявила, что все они дураки, ребенок должен бы понять, в чем дело: под Василием Федоровичем разумеется Вильгельм, а означает это, что немцы из Киева не уйдут.

— Господи! Ну да, конечно!

— Разумеется, Вильгельм! Как мы не догадались!

— Потому и не догадались, что дураки.

Витя критически заметил, что Семен Исидорович уж очень шутливо говорит о таком тяжком для России деле, — поэтому-то мы и не догадались. Но замечание Вити сочувствия не встретило.

— У вас, голубчик, что оторвано ядром на фронте, рука или нога? — язвительно осведомилась Глафира Генриховна.

— На фронт я попасть не мог, меня не призывали и не взяли бы, — ответил Витя, покраснев. — В момент объявления войны мне не было пятнадцати лет.

— И пятнадцатилетние убегали из дому, которые похрабрее... А теперь вам, балбес, слава Богу девятнадцатый... Никто от вас не требует, чтобы вы скакали на фронт отбивать у немцев Киев, но тогда по крайней мере молчите и не лезьте! А главное, продирайте глаза пораньше и не выходите к дамам в десять часов в чужом халате.

Глафира Генриховна благодушно щелкнула Витю по носу.

— Чай, чай пить, господа, — сказала она. — Будут свежие лепешки. Сахар я достала. И масла есть немного.

— Не может быть!

— Глаша, вы гениальны!

— Да, я гениальна. Только, друзья мои, Лессинг наш на исходе, — сказала смущенно Глафира Генриховна. — Скоро придется лезть в Шиллера, а потом и под паркет... Да...

Все вздохнули.

Деньги, оставленные Мусе Семеном Исидоровичем, были тщательно спрятаны. Вопрос о тайниках перед отъездом Кременецких долго обсуждался на семейном совете. Муся хотела спрятать все в пианино. Семен Исидорович находил, что это слишком элементарно, — уж в пианино большевики непременно заглянут в случае обыска. Тамара Матвеевна предлагала поднять в гостиной под ковром квадратик паркета. Кременецкий возражал и против этого: Мусе трудно будет поднимать всякий раз квадратик, да и щель непременно станет заметной, если часто его поднимать. Решено было разделить деньги на пять частей. Одну положили под паркет вместе с ожерельем Муси, другую засунули в коридоре за отклеившиеся у печки обои; для третьей придумал место Семен Исидорович: он положил пачку ассигнаций под подушку в своей спальной! им никогда и в голову не придет, что деньги могут быть так плохо спрятаны. Семен Исидорович гордился этой своей выдумкой; Тамара Матвеевна слабо возражала: кухарка заметит, — но оценила тонкий психологический расчет мужа. Остальные деньги решено было вложить в книги, именно в сочинения немецких классиков, которые Семен Исидорович вывез в молодости из Гейдельберга. Эти книги едва ли могли понадобиться большевикам и в случае реквизиции библиотеки. Выбор остановился на третьем томе Лессинга и на пятом томе Шиллера.

— Вот увидите, я все это перезабуду, — говорила, смеясь, Муся, — и через сто лет кто-нибудь найдет клад.

— Мусенька, пожалуйста, не шути, а запомни хорошо: Лессинг третий и Шиллер пятый, — говорила Тамара Матвеевна, бодрясь и вытирая украдкой слезы. Она перед отъездом плакала беспрестанно. Мысль о разлуке с Мусей вызывала в ней все больший ужас. А когда говорили о возможности обыска, у нее кровь отливала от лица.

В пяти тайниках было оставлено столько денег, что, казалось, на год хватит. Однако после отъезда родителей деньги Муси стали таять чрезвычайно быстро. Цены на все головокружительно росли с каждым днем, а кормить надо было с кухаркой пять человек, не считая гостей, которые беспрестанно бывали в доме и проявляли необыкновенный аппетит. Глафира Генриховна старалась сокращать расходы, но Муся вначале ни о какой экономии не хотела слышать.

— Не могут выйти все деньги, вздор! — говорила она. — А выйдут, так папа вышлет еще.

Сонечка и Витя сконфуженно молчали: им было совестно, что они не участвовали в расходах. Местонахождение тайников — было, разумеется, им известно, как и всем членам кружка; его скрывали только от кухарки, относительно которой мнения расходились: одни говорили, что кухарка безусловно преданна, — в огонь и воду пойдет; другие опасались: и в преданной прислуге может сказаться большевистская стихия.

Когда вышли деньги, сданные Глафире Генриховне, первым делом взяли из того тайника, которым так гордился Семен Исидорович, — это было всего проще. Потом заглянули и в библиотеку. Между тем из Киева получить деньги было, очевидно, невозможно. Муся немного встревожилась.

— Ну, в крайнем случае возьму у Вивиана. У него валюта, фунты, — утешала она своих гостей. Это слово «валюта» уже начинало принимать волшебный характер.

В июне кухарка ушла, нагрубив Глафире Генриховне и захватив с собой деньги, тщательно скрытые за обоями в коридоре. В первый день это показалось всем катастрофой; Сонечка предлагала даже заявить в уголовный розыск: «Нельзя же так в самом деле и ведь, наконец, должны же они...» Сонечке не дали докончить, облив ее презрением.

Глафира Генриховна взяла на себя кухню и справлялась с задачей, по общему восторженному отзыву, превосходно. Муся, Сонечка, Витя наперебой с сочувственным ужасом предлагали ей свою помощь, однако не настаивали, когда она выгоняла их из кухни. Им велено было только самим убирать постели и держать в порядке свои комнаты; Витю Глафира Генриховна вдобавок посылала иногда за покупками.

В особенно трудных работах, как общая большая уборка, Глафире Генриховне обычно помогала Маруся, бывшая прислуга Яценко. Она по-прежнему жила на квартире Николая Петровича. Об этой квартире, после второго, тщательного, обыска, следственные власти, по-видимому, забыли, и в ней ничего не изменилось. Маруся поддерживала порядок (даже иногда подметала полы) и вещей не продавала. Для заработка она стала прачкой: стирала белье дома, в ванной, и гладила на большом столе Натальи Михайловны. Жилось ей в общем хуже, чем прежде, но ее общественное положение повысилось.

Клиенты у Маруси были разные. Через своего друга матроса, состоявшего видным членом клуба анархистов-индивидуалистов, Маруся завела связи в этом клубе. Главные заказы шли от барышень Кременецких, — так она для краткости обозначала Мусин кружок, — и от их знакомых. Барышнин жених доставил Марусе клиентов из английской военной миссии; это были самые лучшие ее клиенты и по

плате, и по качеству белья, на которое Маруся не могла налюбоваться вдоволь.

С барышнями Кременецкими отношения у Маруси были самые лучшие: она часто к ним приходила то для уборки, то с бельем, то просто так, обменяться впечатлениями; ее всегда встречали очень хорошо, здоровались за руку, поили чаем и сажали за общий стол даже тогда, когда были гости. От этого, впрочем, Маруся часто по скромности уклонялась сама, однако ценила завоевание революции. И барышни, и гости разговаривали с Марусей очень просто и дружелюбно. Только майор Клервилль, оказываясь иногда с ней за общим столом, испытывал такое чувство, будто рядом с ним пила чай корова, каким-то образом попавшая сюда из стойла. Впрочем, он приветливо улыбался и старательно делал вид, что все в порядке, — Маруся (как все, кроме Муси) его чувства не замечала. Барышнин жених чрезвычайно ей правился. «Красивый дядя», — думала и говорила она.

Несмотря на помощь Маруси, Глафире Генриховне приходилось работать очень много. Все оценили ее самопожертвование. Никонов где-то раздобыл и принес ей в подарок старую поваренную книгу. Из книги тут же вслух было прочтено несколько рецептов, и в столовой стоял веселый смех, когда Глафира Генриховна сдержанно-саркастически читала: «Индейка пожирнее фаршируется по вкусу трюфелями...» — или: «Стерлядь кольчиком хорошо отлить соусом, для которого берут десяток яичных желтков...» и т. п.

— Как пили, как ели, а какие были отчаянные либералы, — говорил Никонов.

II

Несмотря на лишения, на тяжелую жизнь в Петербурге, на отсутствие развлечений, молодежи было теперь очень весело, в сущности, гораздо веселее, чем прежде, до отъезда Кременецких. Муся беспокоилась о родителях, — случалось, плакала, — однако ее радовала непривычная, тревожная жизнь, с новой ролью директрисы пансиона. Сонечка освободилась от опеки старшей сестры, жила у Муси и работала в кинематографе с Березиным, — больше ей ничего не было нужно. Глафира Генриховна, по общему отзыву, стала неузнаваема: весела, добра и приветлива. Еще сама не веря своему счастью, она видела, что Горенский привязывается к ней с каждым днем все крепче. Князь бывал у них теперь очень часто. После первого мая он оставил службу в коллегии, шутливо называл себя безработным, однако, был занят в последнее время больше, чем прежде, одевался заботливее и повеселел. Наконец, и Витя поддавался общему тревожному веселью, хоть у него собственно ничего радостного не было. Его мучили

и страх за Николая Петровича, и угрызения совести: он ничего не делал ни для отца, ни для России.

Попытки Вити получить свидание с Николаем Петровичем ни к чему не привели. Все ему говорили в один голос: «Знаете, тут что-то не так, — *они* обычно легко разрешают свидания». Но указания этим и ограничивались. Прежде, при старом строе, нашлись бы связи, протекции. В большевистском мире никто никаких связей не имел, по крайней мере в кругу Вити и Кременецких.

В Тенишевском училище занятия шли очень плохо: большинство воспитанников не ходило на уроки. Говорили, что всем выдадут аттестат зрелости без экзаменов. После отъезда Кременецких перестал ходить в училище и Витя, оправдываясь перед старшими тем, что там все равно теперь не учатся и что учебный год почти кончился. В действительности он очень обленился, вставал в десятом часу, а то и позже. Муся постоянно читала ему нотации. В одно июньское утро, глядя, как Витя без дела слоняется по квартире, Муся решительно от него потребовала, чтобы он учился.

— Да ведь учебный год кончился...

— Какой вздор! Никакого учебного года у вас не было. И не читаете вы почти ничего. Вы должны заниматься, Витя. И не улыбайтесь, пожалуйста, я очень серьезно с вами говорю.

— Чем же мне заниматься?

— Все равно, чем... Вы хотите поступить на физико-математический факультет, значит, надо изучать физику и математику.

— Я в университете займусь химией.

— Отлично, так вот и занимайтесь химией теперь, до университета.

— А лабораторию где прикажете взять?

— Лабора... Гадкий мальчик, вы пользуетесь тем, что я ничего в этом не понимаю и не могу вам ответить. Я уверена, и химией можно заниматься дома, по книжкам... Ведь правда?

— Можно, конечно, но ведь и книг у вас нет. У Семена Исидоровича все по юриспруденции.

— Ничего, ничего, я достану для вас и книги... Да вот что, — сказала она, внезапно осененная счастливой мыслью. — Ведь Александр Михайлович должен все это великолепно знать...

— Какой еще Александр Михайлович? — лениво отозвался Витя.

— Браун, конечно... Ведь он гениальный химик. Ну, теперь попались! Сегодня же извольте идти к Брауну и попросите его объяснить вам, что вам надо читать и где достать книги.

— Как же я к нему пойду? Он меня почти не знает. Шапочное знакомство...

— Шапочное знакомство, — передразнила Муся. — Все, чтобы увильнуть от ученья! Ничего вам не поможет, я сама сегодня же позвоню к Брауну и попрошу его вас принять, несмотря на «шапочное знакомство».

— Да я ничего против этого не имею...

— Хотя бы и имели...

Когда Витя, Сонечка, Глаша ушли из дому, Муся — не без волнения — позвонила Брауну. Телефон действовал хорошо, и уютные долгие разговоры в кресле были у Муси последним остатком прежних привычек. Однако разговаривать теперь можно было только с Клервиллем, — все остальные ее друзья постоянно куда-то торопились, так что разговор с ними не клеился. Многие не имели больше телефона.

Браун согласился принять Витю, обещал дать книги и назначил для этого вечер в начале следующей недели.

— Ах, я так, так вам благодарна, — бархатным голосом, с театральными переливами, говорила Муся. — Вы непременно хотите вечером, Александр Михайлович?

— Да, днем я занят. Этому молодому человеку вечером неудобно?

— Нет, не то, но, правду сказать, я не очень люблю, когда он теперь выходит по вечерам... Ведь он, собственно, еще почти ребенок. А я при нем теперь как бы классная дама. Не смейтесь только вашим дьявольским смехом, Александр Михайлович, — говорила Муся, сама удивляясь и своим словам, и развязному тону. — Разумеется, он придет, когда вы укажете. В понедельник вечером, отлично...

— Если хотите, я могу принять его и утром, но тогда рано, часов в восемь. Я в девятом часу ухожу из дому и возвращаюсь только к вечеру.

— Ах, спасибо, это еще любезнее! Насчет книг вы можете быть совершенно спокойны, он будет читать очень аккуратно... А отчего бы вам, Александр Михайлович, не заглянуть как-нибудь и к нам? — набравшись храбрости, спросила Муся. Собственно для этого она полусознательно предназначала и весь разговор, и переливы голоса, и даже самое дело Вити. — Увидите нашу коммуну, навестите чуткую молодежь... Наш друг Клервилль ведь давно хочет вас к нам привести...

— Благодарю вас, я как-нибудь зайду... У ваших родителей все благополучно?

— Да, все совершенно благополучно, но я так, так беспокоюсь!.. Спасибо... Это ужасно!.. — сказала, вдруг потеряв соображение, Муся (она потом сама не могла себе объяснить, почему собственно так волновалась). — Да знаете ли что, Александр Михайлович? Вот и приходите к нам в понедельник вечером, если уж оказалось, что вы свободны... Ага, попались? — совершенно растерявшись, говорила она все более развязным тоном. — Майор Клервилль тоже

будет, он давно вас не видал и очень по вас скучает, очень, как мы все, как я в частности...

Браун поблагодарил довольно холодно.

— Тогда и Вите, значит, не надо к вам идти... Cela vous épargnera le temps qui est si précieux...[1] Или нет, простите, ради Бога, я забыла, ведь он должен взять книги... Он, конечно, зайдет, — быстро и бессвязно говорила Муся. — В какой день прикажете?

— Если утром, между восемью и половиной девятого, то в любой день.

Муся рассыпалась в любезностях. Наступило недолгое молчание. Она простилась и положила трубку аппарата в совершенном ужасе. «Что это со мной! точно затмение нашло!..» — подумала она, разрывая на мелкие кусочки какую-то лежавшую на столе бумажку (потом оказалось, нужную: счет). Муся почти никогда не сожалела о сказанных ею словах, в уверенности, что у нее все выходит очень мило, при улыбке и переливах голоса. Но в этот день лицо у нее не раз дергалось, когда она вспоминала «дьявольский смех», «ага, попались?», зачем-то по-французски сказанную фразу, и продолжавшееся полминуты молчание в конце разговора. Вечером, к чему-то придравшись, Муся назвала Витю глупым мальчишкой и сказала, что его надо драть за уши.

III

В воскресенье Глафира Генриховна с утра чувствовала себя не совсем хорошо. Тем не менее она встала и принялась за работу в девятом часу, когда все в доме еще спали. К одиннадцати чай и обед были ею приготовлены, стол накрыт, общие комнаты убраны, а сама Глаша, как всегда, аккуратно одетая, умытая, причесанная, вышла в столовую, точно и не заглядывала на кухню. Однако ее измученный вид обратил внимание друзей. У них заговорила совесть.

— Глаша, милочка, вы бы отдохнули, благодетельница наша, — подольстилась к Глафире Генриховне Сонечка, которая в воскресенье на работу не ходила.

— «Благодетельница наша...» — спела Муся из «Пиковой дамы». — «Отдохни, отдохни».

— Отдохните, Глашенька, милая...

— Вот еще. Что за нежности!

— У тебя и вправду усталый вид, — сочувственно сказала Муся. — Или голова болит?

— Да, немножко... И горло... Пустяки.

— Это надо уметь: простудиться в июне месяце, — наставительно заметил Витя. Глафира Генриховна, по привычке, хотела его ругнуть, но вдруг закашлялась, притом

---

[1] Это вам сбережет время, которое так дорого... (*фр.*)

неприятно-тяжело, так что друзья даже переглянулись. Муся предложила вызвать доктора. Витя рекомендовал Кротова. Глафира Генриховна только сердито посмеялась.

Во время обеда все усердно ей помогали. Глаша чистила на кухне селедку, жарила бифштексы и картофель, резала хлеб. Но когда она с блюдом в руках выходила из кухни, Витя бросался ей навстречу в коридор и на полдороге пытался взять у нее блюдо.

— Дайте мне, ради Бога!.. Я понесу...

— Витя, отстаньте, вы только мне мешаете... Ну, так и есть, чуть все не уронила! Отстаньте, говорю вам!

— Но ведь вы нездоровы, зачем же вы все делаете? . Дайте мне...

— Ничего, как-нибудь донесу без вас. — Глафира Генриховна, по старой привычке, попыталась уничтожить Витю взглядом. Уничтожающий взгляд отлично у нее выходил. Но уничтожить взглядом человека, держа в руках блюдо с селедкой, не может никто, — Витя остался цел.

В столовой Сонечка деловито раскладывала перед тарелками ножи и вилки. Когда эта работа была ею сделана, оказалось, что ножи и вилки не те, — она взяла настоящее серебро. Глафира Генриховна демонстративно вздохнула, подняв к потолку глаза, тотчас все уложила назад и достала из другого ящика «накладное». Ее молчание было грозно. Муся, удерживаясь от смеха, говорила сконфуженной Сонечке:

— Стыдно, моя милая, стыдно! До сих пор не знаете, где что лежит. Это, как говорит Никонов, наше фамильное серебро. Папа его купил лет десять тому назад.

После обеда Глафиру Генриховну уговорили прилечь, на ней лица не было. По настоянию Муси, решено было позвать доктора. «Ты можешь еще всех нас заразить!» — говорила Муся, делая страшное лицо. Против этого довода Глаша ничего возразить не могла, хоть понимала, что это говорится нарочно. Однако пользы от врача оказалось немного. Кротов, очень одряхлевший в последний год, просидел у них целый час, замучил Глафиру Генриховну, всем надоел и ничего путного о болезни не сказал, — прописал какие-то старые лекарства, которых в аптеках давно не было, и велел пить чай с малиной, — малину тоже достать было невозможно. Он утратил и свой прежний бодрый тон, так успокоительно действовавший на пациентов, сам больше не щеголял крепостью и Вите не посоветовал заниматься гимнастикой.

— Но это не заразительно, доктор? А то я сейчас же перееду в больницу, — говорила Глафира Генриховна, строго глядя на Мусю.

— Какая ерунда!.. Так мы тебя и отпустим.

— Какие теперь больницы! — саркастически ответил Кротов. — Вот до чего дожили, а?

Он заговорил о политике, преимущественно перечисляя людей, которых непременно следовало бы повесить. Сначала его слушали, но список подлежащих казни был такой длинный и такой неожиданный, что всем стало совестно. «Уведи ты его, ради Бога! — с умоляющим выражением на лице шепнула Мусе Глафира Генриховна. — У меня от этого вздора голова болит». Доктора повели пить чай. Он с жадностью выпил два стакана, с жадностью ел и все говорил без умолку.

— Я говорю, мерзавец на мерзавце! Надо вырезать всех...— сказал он, с трудом жуя печенье шатавшейся вставной челюстью, оглянулся и не докончил. Витя смотрел с жалостью на этого человека (он помнил доктора с раннего детства). Волосы у него над впалыми висками были непричесаны, сапоги нечищеные, воротничок надорванный и грязный. Витя подумал, что верно Кротов умрет раньше, чем все его пациенты и чем мерзавцы, которых он хотел вырезать.

После ухода доктора все вздохнули с облегчением. Дамы набросились на Витю,— его впрочем, принято было за все бранить в доме. Нездоровье Глаши было признано пустяковым и по отношению к ней взят был такой тон, будто она притворялась больною. Глаша сама невольно поддавалась этому тону и только жалобно просила, чтобы ее оставили в покое.

— Ведь я говорила, не надо звать доктора.

— Кто же мог знать? Мы думали, у тебя сыпной тиф,— разочарованным тоном говорила Муся. — И кто мог предвидеть, что у Вити и доктор окажется рамоликом.

— Уверяю вас, он еще в прошлом году был прекрасный врач,— оправдывался Витя.

— Молчите. За лекарствами вы пойдете...

Сонечка вышла из комнаты Глаши с таким видом, точно ее понапрасну задержали, оторвав от важного дела ради пустяков. Она прямо направилась к телефону: Сонечка постоянно телефонировала,— «в студию»,— поясняла она необыкновенно значительным тоном. Витю Муся послала за покупками. Вечером должны были прийти Клервилль, Никонов, Горенский, и для гостей нужно было приготовить угощение. Муся сказала, что видела у Городской Думы на лотках пирожные, как будто вполне приличные. Она дала Вите денег,— он покраснел: обыкновенно деньги на покупки выдавала ему Глаша; тогда не было стыдно.

Сонечка поговорила по телефону и ушла из дому, десять раз расцеловавшись с Мусей, что у них теперь стало ритуалом при всяком расставании, хотя бы на полчаса. Муся осталась в гостиной одна. Устроившись в кресле, она лениво взяла со стола «Знамя труда»,— там была напечатана поэма «Двенадцать». Об этом произведении у них шли оживленные споры. Березин говорил, что поэма Блока

«сверхъестественно-гениальна», Сонечка горячо его поддерживала. Горенский и Глаша утверждали, что поэма отвратительна, что о ней просто гадко думать. Муся и Витя приняли среднюю формулу: «Кощунственно, но изумительный талант».

Муся пробежала несколько строф, — те, которые обычно декламировал Витя, знавший «Двенадцать» почти наизусть. Она подавила зевок: все это было хорошо, но не имело ровно никакого отношения к ее жизни. Муся и в «Войне и мире» обычно пропускала войну, зато сцену в Мытищах, поездку ряженых, описание петербургского бала перечитывала сто раз. «Разве Толстого взять? Уютное... Охота, гумно, Пава? Нет, мне-то что? я не помещица... Да и далеко: у мамы на верхней полке...» В доме были три библиотеки. В кабинете Семена Исидоровича находились ученые и мрачные книги. У Тамары Матвеевны в гостиной и в будуаре были поэты, старинные издания Пушкина — одно очень дорогое, — труды по истории искусства, все в красивых, тисненных золотом, переплетах, по два рубля и два с полтиной за переплет (лишь старинные издания Пушкина были в «переплетах эпохи», — все, как полагается). Библиотека Муси не хранилась, а валялась. — Муся прятала только книги очень легкомысленного содержания. «Не стоит идти за уютным, и не до того теперь. Вот Блок, пожалуй, подходит...» Она сделала над собой усилие и принялась читать с начала. «Нет, это очень хорошо, — подумала Муся. — Только все-таки я тут при чем? Скоро уедем в Англию, там даже говорить об этом будет не с кем... «Поддержи свою осанку, над собой держи контроль...» Да, очень, очень хорошо... Говорят, он слышит какую-то музыку революции. А Сонечка говорит, будто она теперь чувствует, что летит куда-то на крыльях... И Березин тоже летит... Отчего же я никуда не лечу и ничего такого не чувствую? Березин врет, конечно, но ведь Александр Блок не врет...» Муся увлекалась Блоком, видала его и, как все, восторгалась его красотою. Мнение человека с таким лицом имело для нее большое значение; однако в ней все происходившее в России особого экстаза не возбуждало. «Да, огромные, грандиозные события, но события были еще грандиознее четыре года тому назад, мы привыкли и, право, хорошего понемножку... Притом, эта проза, эти вечные нестерпимые разговоры об еде!.. А что же Глаша? Надо ее проведать...»

Муся отложила «Знамя труда» и прошла к комнате Глафиры Генриховны. У порога она послушала, затем тихонько отворила дверь. Глаша спала. В ее комнате был совершенный порядок. Слегка пахло хорошими духами. Постель с белоснежными подушками была постлана образцово, точно стлала лучшая горничная, — не то, что у них у всех. Глаша лежала на кушетке, в чистеньком нарядном пеньюаре, в шелковых чулках; ровно приставленная одна

к другой туфельки стояли на полу у кушетки. «Нет, она молодец... И похорошела, право»,— с легким вздохом подумала Муся, уже почти примирившаяся с мыслью, что Глаша может выйти замуж за князя Горенского. С тех пор, как она с этой мыслью примирилась, ей стало спокойнее. В разговорах с князем Муся теперь не упускала случая лестно отозваться о Глафире Генриховне. В первый раз она это сделала с усилием, потом пошло гораздо легче. «Все-таки, может, он на ней и не женится»,— сказала себе Муся и, еще раз взглянув на бледное лицо Глаши, вышла на цыпочках из комнаты. «Хоть бы скорее пришел Вивиан»,— подумала с тоскою Муся.

Она постояла у окна, опершись на подоконник. Муся думала о том, что Клервилль все-таки ведет себя с ней не совсем хорошо. «Он не должен был бы уезжать так часто... Ну, допустим, это не от него зависит, хоть, верно, можно было бы устроиться так, чтобы его не посылали постоянно то в Москву, то в Вологду, то еще куда-то. Но уж во всяком случае мы прекрасно могли бы обвенчаться и до конца войны... В сущности, мама — бедная — вполне права... Зачем мы тут сидим? Чего ждем? Если б мы обвенчались, мы могли бы уехать за границу хоть завтра, вполне легально и спокойно... А с ними что я тогда сделаю? Все-таки это было легкомысленно, что я поселила их всех здесь... Витя, я понимаю, ему и деться некуда было. Но другие... А, может быть, это и есть настоящая жизнь и лучше мне никогда не будет?» — спросила себя Муся. Она в последнее время сама себя не понимала.— «Влюблена в Вивиана? Да, конечно... Конечно, влюблена... Однако, если б он не был вдобавок и блестящей партией, я, быть может, еще подумала бы... Стыдно, очень стыдно, но подумала бы... Чего же я хочу? Что мне нужно, кроме богатой, свободной, удобной жизни (это нужно наверное)? И, главное отчего мне скучно, скучно и с ним (да, что ж себя обманывать?), скучно даже тогда, когда как будто весело, и уж всегда после того, как было весело? Такая ли я сложная натура или, напротив, совсем несложная, без настоящей внутренней жизни?» Муся вспомнила слова, как-то сказанные при ней Брауном: «У большинства людей нет вообще психологии: у рядовых женщин нервы, у рядовых мужчин элементарные ощущения, все густо политое притворством и тщеславием,— в сущности романистам и доискиваться не до чего, если они не занимаются выдающимися людьми». (На это Горенский ответил: «Ну, настоящий романист и в самом обыкновенном человеке сумеет показать сложную душу человеческую»).— «Да, может быть, Браун прав, я рядовая женщина и за душой у меня нет ничего... Вот он! Слава Богу!» — вслух сказала Муся со счастливой улыбкой. На противоположном тротуаре показался Клервилль.— Чудо, как хорош! Я не видала красивее человека. И не все ли мне равно, что будет

с Глашей, что будет со всем миром, если он мой! Все вздор, о чем я только что думала!..»

С Клервиллем стоял другой человек, тоже очень высокий, тонкий, прекрасно одетый. И по его наружности, и по тому, как он разговаривал с ее женихом, Муся видела, что это англичанин. «Удивительная, однако, порода, лучше нигде нет, — подумала она. — Что-то в них есть общее. Нет, право, они даже похожи немножко один на другого, только мой лучше, и тот брюнет... Мой-то, однако, не очень ко мне спешит...» Муся и про себя, и в разговорах с друзьями часто называла Клервилля «мой». Это купеческое или простонародное слово доставляло ей наслаждение. — «Долго ли они еще будут разговаривать? Хоть бы на окно, разиня, попробовал взглянуть... Что это в самом деле такое?»

Клервилль весело засмеялся, другой англичанин тоже. Они пожали друг другу руки и расстались. Клервилль вошел в дом.

Муся выбежала в переднюю. Когда раздался звонок, она открыла дверь и тотчас ее захлопнула. Он засмеялся. Муся впустила Клервилля — и вдруг бросилась ему на шею.

— Кто это был с тобой? — по-французски, чтоб говорить на ты, спросила Муся.

— Вы были у окна? — сказал он по-английски. — Я не видал вас... Это мой приятель капитан Кроми, наш морской агент, очень замечательный человек... Ваших друзей нет дома?

— Сейчас все появятся... Если ты так желаешь их видеть!

— У вас вечером будет еще гость, доктор Браун. Я условился по телефону встретиться с ним здесь... Вы разрешите?

Муся неподвижным взглядом смотрела на него в упор.

— Надеюсь, вы ничего против этого не имеете? Он говорил мне, что вы его приглашали...

— Я очень рада, — проговорила медленно Муся. — Больше ты никого не звал? Может, тебе было бы приятно, чтоб нас развлекало еще несколько человек.

Он опять засмеялся.

— Так вы стояли у окна? Как же я вас не видел?

— Tu dois être myope, pauvre chéri. Ce sera commode, pour te faire cocu... [1]

Клервилль улыбался не совсем естественно. Он все не мог привыкнуть к тону Муси.

---

[1] Ты, должно быть, близорук, бедненький. Тем удобней будет наставлять тебе рога... *(фр.)*

— Ne t'en fais pas, chéri. Ce n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. C'est pour plus tard [1].

IV

Вначале все сидели в слабо освещенной комнате Глафиры Генриховны. Она чувствовала себя лучше и обещала выйти к чаю. Но разговор вокруг кушетки не клеился. Муся с Клервиллем исчезли первые. Витя стал сразу мрачен, как туча. Скоро ушел к себе в комнату и он. Затем Сонечка объявила, что хочет еще раз **просмотреть** завтрашние сцены для фильмы (это значило сыграть их перед зеркалом). С Глашей остались только Никонов и Горенский. А еще через несколько минут вышел с многозначительной улыбкой Никонов, за порогом приложив палец к губам, — об увлечении князя Глашей уже говорили в кружке с изумлением, и все теперь вели себя по отношению к ним так усиленно тактично, что выходило несколько бестактно.

Муся вскоре вошла с Клервиллем в гостиную, зажгла свечи и села за рояль. Тотчас на цыпочках появилась Сонечка, на ходу поцеловала тихонько сзади в шею Мусю, которая только плечами повела, — и забралась на диван, поджав под себя ноги. За ней неслышно вошел и Витя. Он сел на пуф в темном углу гостиной и со счастливым лицом слушал Мусю. Пришел и князь. Глаша отослала его из своей комнаты, сказав, что оденется и тоже придет в гостиную.

Клервилль сидел на стуле рядом с Мусей, закрыв глаза и сияя гордой улыбкой. Он не имел слуха, плохо помнил слышанное и ничего голосом воспроизвести не мог. Мусе казалось, что ее жених вообще не музыкален. Однако он обо всем новом в музыке слышал и читал больше, чем Муся, и чрезвычайно бойко говорил об Арнольде Шенберге, несколько щеголяя тем, что отдаст должное немецкой музыке, как если бы никакой войны не было. Однажды он с огорчением принес Мусе известие, что сэр Губерт Парри очень болен и, по-видимому, долго не протянет, — Муся о таком композиторе и не слыхала; она даже не знала, что в Англии существуют композиторы, и так и сказала жениху. Это немало его обидело.

В передней раздался звонок, Витя на цыпочках вышел из гостиной. Муся знала, что это Браун. Ее смущение после того телефонного разговора ослабело, но не прошло. «Перестать играть?.. Нет, не надо», — решила она. Полированная доска рояля между подсвечниками отразила фигуру Брауна. Муся, улыбаясь, продолжала играть еще с полминуты, затем захлопнула крышку и, быстро повер-

---

[1] Не делай этого, дорогой. Ни сегодня, ни завтра. Отложи это на более позднее время *(фр.)*.

нувшись на вертящемся стуле, встала. Ей показалось, что Браун стал еще бледнее. «Но глаза как будто оживленнее, чем прежде... Удивительные у него глаза!» Витя прибавил света в люстре. Все запротестовали.

— Не надо!.. Не надо...

— Так было отлично...

— Пожалуйста, продолжайте играть, — сказал, здороваясь, Браун.

— Конечно, продолжайте, Мусенька!

— Голос из провинции: «Конечно, продолжайте, Мусенька», — передразнил Сонечку Никонов.

Муся, улыбаясь, разговаривала с Брауном. «Ну вот, отчего же я волновалась! Он очень любезен, и ничего страшного тогда не произошло», — думала она, говоря так же спокойно, мило и уверенно, как всегда.

...— Да, представьте, только одна открытка за все время! Это удивительно! Но все, слава Богу, благополучно... Ну, а вы как? Я так рада... Ведь вы всех здесь знаете, Александр Михайлович? По крайней мере, больших... Это Сонечка Михальская, наша будущая Франческа Бертини. А это тот юноша, из-за которого я вас потревожила, Виктор Яценко...

— Мы, кажется, познакомились на юбилее вашего отца.

— Да, в самом деле... Как странно вспоминать теперь то время, не правда ли? Сейчас мы угостим вас чаем. Витя, возьмите хозяйство на себя.

— Но, я надеюсь, вы будете играть дальше?

— Мусенька, продолжайте, умоляю вас. Вы никогда так не играли.

— Полноте, Сонечка... Вы должны знать, Александр Михайлович, я играю выразительно, но скверно.

— Мне мистер Клервилль, говорил, что вы превосходно играете.

— Очень превосходно, — подтвердил Клервилль.

— Некоторое пристрастие ко мне допустимо в мистере Клервилле, — смеясь, сказала Муся. Она заставила себя просить ровно столько, сколько было нужно, и снова села за рояль. Витя убавил света. Все заняли места. Сонечка опять поджала под себя ноги на диване. — «Что бы такое?..» — спросила Муся и начала вторую сонату Шопена, которую играла без нот. Ей хотелось сыграть фразу «Заклинания цветов», но с этим точно связывалось что-то непристойное. Браун сидел сбоку, — она, играя, могла его видеть. Мусе показалось, что он вдруг изменился в лице. «Нет, это верно свет так падает... В сущности, он почти стар и некрасив, особенно рядом с моим. Но что-то такое в нем есть... Да, ток какой-то... Вероятно, он знал сотни женщин на своем веку, это всегда чувствуется... Глаза у него сумасшедшие, это Григорий Иванович правду говорил... Но как в конце концов это глупо: любить по-настоя-

щему одного и волноваться при виде другого... Кажется, я в ударе... Сейчас марш.. » — Она напрягла внимание и сыграла похоронный марш прекрасно. Когда Муся кончила, раздались рукоплескания.

— Какой чудесный марш! — сказал Горенский. — Заигранный, но чудесный!

— Ничем веселее, Мусенька, вы не могли нас развлечь. Спасибо, дорогая, — откликнулся Никонов.

— Да что же другое теперь играть? Траур по родине, — мрачно возразил Витя.

— Только, пожалуйста, не хороните Россию, — проворчал Никонов. — Бог даст, нас переживет, голубушка.

Браун ничего не сказал. Это немного задело Мусю. Она чувствовала, что играла очень хорошо.

— Вот я вас развеселю, Григорий Иванович, — сказала она и, повернувшись на стуле к роялю, заиграла вальс из «Фауста».

— Молодежь просят танцевать... Витя, откройте бал.

Несмотря на траур по родине, Витя пошел танцевать с Сонечкой вальс. На третьем туре, проходя мимо рояля, Сонечка оттолкнула Витю, быстро опять на ходу поцеловала Мусю в волосы и, вскинув руку на плечо Клервилля, продолжала вальс с ним. В гостиной стало очень весело. Муся вдруг перешла на «Заклинание цветов». E voi — o fiori — dall'olezzo sottile — vi — faccia — tutti — aprir — la mia man maledetta...» — чуть слышно пела она, вызывающе глядя на Брауна, который улыбался разочарованной Сонечке. Муся от музыки пьянела, как от вина. Витя смотрел на нее печально. Он вспомнил об отце. Ему стало совестно, что он мог танцевать.

Блеснул свет, на пороге показалась Глаша. Ее встретили рукоплесканьями.

— Слава Богу!

— Мы соскучились!

— Господа, пожалуйте чай пить, — говорила Глафира Генриховна, приветливо здороваясь с Брауном.

К чаю со скудной закуской были поданы коньяк и портвейн: спиртных напитков у Кременецких осталось еще немало, — Семен Исидорович как раз перед войной обзавелся «погребом». Глафира Генриховна занимала гостей приличным разговором. Клервилль попросил разрешения уединиться с Брауном, — им надо побеседовать по делу. Муся отвела их в будуар и отнесла им туда коньяк и рюмки.

Разговаривали они долго и вернулись из будуара, как показалось Мусе, не совсем довольные друг другом. «Какие это у них могут быть дела?» — с любопытством спросила себя Муся.

— Коньяк, видно, для тех, кто почище, — сказал Мусе ее сосед Никонов.

— Ах, бедный!.. Где же он, коньяк?.. Да, я оставила его в будуаре. Сейчас принесу.

— Зачем же вы сами? Я схожу, — начал было Никонов. — Или Витя...

— Я сейчас сама принесу, чтобы вам было стыдно, — повторила Муся, вставая. Ей было неприятно, что другие посылали с поручениями Витю. К некоторому удивлению Муси, только что откупоренная бутылка оказалась наполовину пустою. «Молодцы пить *мои*», — подумала Муся, с непонятной радостью улыбаясь этому множественному числу. Вызывающее настроение в ней все росло. Она остановилась на пороге столовой. Клервилль оглянулся на Мусю, сияя своей скульптурной красотою. Мусе захотелось его расцеловать опять. «Конечно, его одного люблю, его и больше никого!» — подумала она.

...— Возьмите учебник истории, — говорил холодно Браун, — лучше всего не многотомный труд, а именно учебник, где рассуждения глупее и короче, а факты собраны теснее и обнаженнее. Вы увидите, что история человечества на три четверти есть история зверства, тупости и хамства. В этом смысле большевики пока показали не слишком много нового... Может быть, впрочем, еще покажут: они люди способные. Но вот что: в прежние времена хамство почти всегда чем-либо выкупалось. На крепостном праве создались Пушкины и Толстые. Теперь мы вступили в полосу хамства чистого, откровенного и ничем не прикрашенного. Навоз перестал быть удобрением, он стал самоцелью. Большевики, быть может, потонут в крови, но, по их духовному стилю, им следовало бы захлебнуться грязью. Не дьявол, а мелкий бес, бесенок-шулер, царит над их историческим делом, и хуже всего то, что даже враги их этого не видят.

— Мы говорим не о действиях большевиков, а об их идеях, — перебил его Никонов.

— Идеи большевиков! Я ничего не имею против самой глубокой провинции, но все-таки смешно, что Симбирск объявил себя городом-светочем, а Елизаветград — столицей мира.

— Как понимать! буквально или фигурально? — смеясь, спросила Муся. Она не очень интересовалась спором, однако, такую фразу всегда можно было вставить, ничего не испортив. Клервилль, с трудом следивший за русской речью, засмеялся и с гордостью оглянул всех, точно призывая восхищаться замечанием Муси. У Никонова на лице появилось раздраженное выражение. «Он сейчас начнет говорить неприятности», — подумала Муся и поспешно подошла к Никонову с бутылкой.

— Еще рюмку, Григорий Иванович?

— Могу. Но с вами! Иначе — не желаю.

— Со мной, со мной.

— За папу и за маму... А бедным деткам дадим?

— Отчего же? Можно... Дети, Сонечка и Витя, выпьем, с горя.

— Совсем не нужно их спаивать,— сказала Глафира Генриховна. Она подумала, что за бутылку коньяку теперь легко получить сотни рублей, это может позднее пригодиться. Однако все выпили и даже Глашу заставили выпить полрюмки. Никонов уверял, что нет лучше средства против кашля. Стало еще веселее.

— Мусенька, я давно хочу просить вас об одной вещи, но не смею...

— Смейте, Сонечка, смейте.

— Я хочу быть с вами на ты... Можно?

Муся засмеялась.

— Я подумаю.

— Нет, правда? Вы согласны? Это не слишком дерзко с моей стороны?

— Дерзко, но я согласна... Только тогда мы пойдем дальше и выпьем на ты втроем: вы, я и Витя.

Витя вспыхнул от счастья. Они выпили еще коньяку и поцеловались. Легкое удивление скользнуло по лицу Клервилля, но он тотчас улыбнулся спокойной уверенной улыбкой и, нагнувшись к Глафире Генриховне, заговорил с ней. Браун и Горенский даже не повернулись в сторону целующихся. Никонов жаловался, что с ним ни Муся, ни Сонечка целоваться не хотят.

— Вы думаете, если мы выпили с вами на ты, я тебя перестану муштровать?—сказала Муся Вите, который еще не пришел в себя.—Погоди, гадкий мальчишка, вот усажу тебя за книжку... Ах, да я совсем было и забыла!

Она взяла его за руку и повела в угол, где разговаривали Браун с Горенским. Они тотчас оборвали разговор.

— Вы обещали, Александр Михайлович, помочь этому юноше. Он жаждет ваших указаний, как манны небесной.

— Я к вашим услугам.

— Да, я хотел бы...—сказал Витя. Лицо его горело.—Да, я очень хочу... Но мне совестно вас утруждать.

— Тогда пройдите и вы в будуар, уж если сегодня такой вечер уединений... Витя, возьмите карандаш... И все запиши, что укажет Александр Михайлович.

Браун закурил папиросу, сел и вопросительно уставился на Витю, который, запинаясь, не очень толково изложил свое дело.

...— Если б вы мне указали, если это вам не трудно, какие книги надо читать и где их достать?.. Я владею языками, французским, немецким и английским... То я, конечно, был бы вам чрезвычайно обязан...

Браун смотрел на него. «Совсем еще малыш,—подумал он,—но ведь и такие нужны».

— А вы что знаете по химии? — спросил он наконец.

Витя отвечал. Браун задал несколько вопросов.

— Так что и анализ кое-как проходили?

— Качественный даже, кажется, недурно У нас в Тенишевском училище ведь гораздо больше уделяют внимания естествознанию, чем в казенных Деляновских гимназиях, — уже бойчее ответил Витя, ввернув и Деляновские гимназии. — Количественный анализ я знаю слабее, а по органической сделал всего два-три сожжения.

— Два-три сожжения, — повторил Браун.

«Да, жаль его, конечно. Но ведь всех их жаль. И у всех есть родители, близкие... Этот по крайней мере порядочный мальчик... Не трусишка ли только?»

— Я укажу вам книги, — сказал он, помолчав. — Кое-что у меня есть, другое легко достать.

— Я право не знаю, как вас благодарить... Вы мне окажете...

— Ваш отец в крепости? — вдруг перебил Витю Браун.

— Да...

Браун опять помолчал.

— Я пытался получить с ним свиданье. Не разрешают, — смущенно сказал Витя.

— Я могу дать вам книги... Это очень похвально, что вы хотите теперь заняться наукой, — с явной насмешкой в голосе сказал Браун.

Витя тревожно вопросительно на него смотрел.

— Виноват?

— Я говорю, это очень похвально, что вы в таких грустных обстоятельствах хотите заняться наукой.

— Виноват, я не совсем понимаю...

— Тут понимать нечего, это надо чувствовать, — сказал Браун. — Вы верно знаете, что творится сейчас в России... Если б моего отца бросили так, без всякой причины, в тюрьму... Впрочем, это вам виднее.

— Что же я могу сделать?

— Дело, быть может, нашлось бы. Но для него надо быть человеком храбрым и решительным.

— Я себя трусом не считаю.

— Я и не думаю, что вы трус... Быть может, вы догадываетесь, что есть организации, ведущие борьбу за освобождение России? Это всем известно. Вот что, молодой человек, — сказал, вставая, Браун. — Здесь сейчас обо всем этом разговаривать неудобно. Но если вы готовы рисковать собою и если вы умеете держать язык за зубами, то мы можем продолжить этот разговор. Зайдите ко мне послезавтра в восемь часов утра... И книги я вам укажу, — добавил он. — Само собой разумеется, вы никому не должны говорить ни слова о нашей беседе. Никому, — подчеркнул Браун. — А теперь пойдем.

Они вернулись в столовую. Витя был очень взволнован, он ничего толком не понимал, — так много случилось с ним в этот вечер.

— Указали ему? — спросила Брауна Муся. — Ну, спасибо.

— Он послезавтра зайдет ко мне, мы еще поговорим, — ответил Браун.

— Я так вам благодарна...

V

Тамара Матвеевна не преувеличивала, когда говорила Фомину, что Семену Исидоровичу предлагают на Украине очень видные и почетные должности. Кременецкий не отклонял делавшихся ему предложений, но и не принимал их, а Тамаре Матвеевне хмуро-уклончиво отвечал, что ему еще недостаточно ясны некоторые подробности политической игры. Эта загадочная фраза внушала его жене уважение и робость. Тамара Матвеевна заранее подчинялась всякому решению мужа, но имела и свои надежды. В числе других должностей, о которых шла речь в переговорах Кременецкого с влиятельными украинскими кругами, были дипломатические посты. Тамаре Матвеевне очень хотелось, чтобы Семен Исидорович принял должность посланника. Из-за границы гораздо легче было бы снестись с Мусей, а все мысли Тамары Матвеевны были устремлены на то, чтобы возможно скорее вывезти дочь из Петербурга. Вдобавок жизнь Муси все равно должна была протекать за границей.

— По-моему, лучше всего было бы, чтобы тебя назначили посланником в Лондон, — штопая чулок под электрической лампой, говорила мужу Тамара Матвеевна в двенадцатом часу ночи перед отходом ко сну. У них в это время обычно велись разговоры о таких предметах, о которых только друг с другом они могли беседовать вполне откровенно.

— Ты забываешь прежде всего, золото, что украинская республика пока признана только германской коалицией, а не союзниками, — со вздохом ответил Семен Исидорович, снимая пиджак. Ему самому очень хотелось стать послом.

— Ах, я уверена, вы можете добиться, чтобы и союзники вас признали, — настаивала Тамара Матвеевна и слова ее звучали приблизительно так: «ты можешь добиться, чтоб и союзники тебя признали». — Сначала пусть они вас признают de facto, а потом de jure.

Эти слова Тамара Матвеевна недавно впервые услышала от видного украинского деятеля и повторяла их теперь с особенно озабоченным видом.

— Со временем они нас, конечно, признают, спора нет! Но пока мы не признаны, и следовательно о должно-

сти посланника в Лондоне рассуждать еще преждевременно... Вот проклятая запонка, наконец-то отцепил... Кроме того, есть еще минус: я по-английски не говорю, а французским языком владею недостаточно свободно,— сказал Семен Исидорович. Он всегда говорил, что недостаточно свободно владеет французским языком, хотя в действительности не владел им совершенно.

— Какое это может иметь значение?—горячо возражала Тамара Матвеевна, отрываясь от чулка.— Ллойд Джордж тоже не говорит по-французски, я сама читала. Притом разве тебе долго будет подучиться? Ведь ты же знаешь, что по-украински ты теперь говоришь как украинец.

— Это не совсем то же самое, я родился на Украине... Однако допустим,— сказал Семен Исидорович, расстегивая пуговицы панталон на животе.— Уф, легче стало!.. Тогда возникает другое «но». Ведь все-таки мое главное и подлинное призвание это адвокатура, юриспруденция, право: им я посвятил лучшие годы жизни, быть может, добился в них и кое-каких успехов,— скромно добавил он (Тамара Матвеевна только улыбнулась, отвечать было не нужно).— Значит, бросить все это и начать новое поприще? Это легко сказать, золото!

— Ты забываешь, что в Петербурге жизнь наладится еще не скоро. Пока мы можем жить в Англии... А когда жизнь там наладится, ты можешь перевестись в Петербург. Там, говорят, тоже будет украинский посол. А тебя там, слава Богу, все знают, у нас там чудная квартира... И я уверена, что это можно будет совместить с адвокатурой,— убежденно говорила Тамара Матвеевна.— А пока мы из Лондона сейчас же все сделаем, чтобы выписать Мусеньку. Ему тогда ты тоже сможешь выхлопотать какое-нибудь место в Лондоне: я уверена, что к зятю посланника будет совсем другое отношение.

Семен Исидорович с легким нетерпением махнул рукой: его немного раздражали и бестолковые мысли жены, и то, что она его политическую карьеру явно ставила в зависимость от дел Муси.

— Пока нас державы Антанты не признали, об этом говорить бесполезно.

— Но de facto они вас должны признать!

— Я не виноват, золото, они нас пока не признали и de facto... Куда запропастилась пижама?

— Вот, под второй подушкой... В таком случае ты должен стать послом в Стокгольме. Ведь Швеция, наверное, вас признает, если этого потребует Германия! А оттуда нам еще ближе будет к Мусеньке, и я уже думала, что...

— Все это разговоры,— сказал, потягиваясь, Семен Исидорович.— Получить должность посланника можно

было бы разве только в Берлине или в Вене, но назначения туда я и сам не желал бы из-за того, что было, — произнес он скороговоркой. Семен Исидорович имел в виду свое прежнее отношение к войне и долгую верность союзникам. — У меня с немцами (он чуть было не сказал, — с Германией) корректные отношения и только. Разумеется, они ценят во мне культурно-политическую силу, но это все, и больше я ничего не желаю. Так не в Болгарию же мне идти посланником?

— Этого я никогда и не предлагала! — сказала возмущенно Тамара Матвеевна: должность посланника в Болгарии явно не соответствовала значению Семена Исидоровича, и до Муси из Болгарии было очень далеко. — Конечно, в Болгарию ты не должен ехать, да они никогда и не решатся предложить тебе такой второстепенный пост.

— А если так, то я не вижу, почему мне не принять первостепенный пост, который более отвечал бы моему опыту, моим знаниям, всему моему прошлому...

— Ты берешь портфель министра юстиции? — поспешно спросила Тамара Матвеевна и, несмотря на ее желание уехать за границу, гордость за мужа так и залила ее душу.

— Ах, Боже мой, ты отлично знаешь, что пост министра юстиции занят. По секрету скажу тебе, со мной на днях говорили о должности вице-председателя Сената.

— Как вице-председателя Сената? Но ведь Сенат остался в Петрограде? — спросила, не подумав, Тамара Матвеевна.

— Я говорю, разумеется, о будущем украинском Сенате, — раздраженно пояснил Семен Исидорович. — Но это совершенно между нами, золото. Об этом проекте еще никто не знает, я только тебе сказал.

— Ты можешь быть спокоен, — ответила Тамара Матвеевна. И действительно разве лишь пытка могла бы вырвать у нее тайну, которую муж доверил только ей одной. Семен Исидорович знал это, и у него почти не было тайн от жены, — он лишь не забывал добавлять в важных случаях: «я тебе одной говорю».

— Это пока, впрочем, только предварительные разговоры... Ты еще не ложишься?

— Сейчас... Вице-председатель Сената, — повторила Тамара Матвеевна, наслаждаясь звучностью будущего титула мужа. — Но все-таки это теперь зависит от тебя?

— Да, — кратно ответил Семен Исидорович, и его «да» прозвучало как «о, да!»

— Когда выяснится? — так же кратко спросила Тамара Матвеевна.

— Скоро, — сказал Семен Исидорович. — Собственно уже выяснилось бы, если б не эти несчастные слухи о гетманщине, которые только создают нездоровую политиче-

скую атмосферу. Кучка каких-то карьеристов нервирует всю страну!..

— Это просто позор! Как можно так не понимать создавшееся положение!

— Да... Да... Со всем тем я не уверен, что они не начинают заходить к нам в тыл, — мрачно сказал Кременецкий после недолгого молчания. — Что-то очень они шушукаются с немцами.

— Я не думаю... Немцы отлично понимают, что одних пулеметов мало против общественного мнения, — высказалась Тамара Матвеевна, часто повторявшая мысли мужа с некоторым опозданием. — Немцы не станут поддерживать откровенных реставраторов.

— Собственно, реставраторами в настоящем смысле слова их нельзя назвать, — ответил без обычной уверенности Семен Исидорович. — Во всяком случае игра скоро должна выясниться, и я приму свое решение, — сказал он таким тоном, каким генерал Бонапарт мог сообщить Жозефине о предстоящем перевороте 18 брюмера.

VI

«Конечно, нам очень тяжело, что мы больше не можем сытно есть, вдоволь развлекаться, заниматься наукой, делами, политикой, летом уезжать на дачу или за границу, — устало думал Николай Петрович, не слишком веря этим мыслям. — Большевики нас этого лишили. Но ведь и при старом строе все это было уделом небольшой части населения, которая одна только и жила свободной, занимательной жизнью (не очень, впрочем, свободной и не очень занимательной). А народ питался плохо, жил грубо, по театрам не ходил, на дачу не ездил и ни в светские, ни в политические бирюльки не играл... Народу, правда, нисколько не стало лучше оттого, что нам стало гораздо хуже, но и возмущаться новым строем, очевидно, надо лишь с оговорками. Но и есть то, что можно назвать их правдой. Допустим, что эта крошечная правда окупает сотую долю зла, ненависти, крови, которые они несут в мир, — какое значение она может теперь иметь для меня?.. Какое значение может вообще иметь политика? Они умрут со своей правдой, как мы умрем с нашей. Потеряв Наташу, потеряв интерес к жизни, я был бы одинаково несчастлив и при социалистическом строе, и при крепостном... Бороться за такую правду то же самое, что вести войну из-за снежной бабы, как воюют дети... Баба, может быть, очень искусно сделана, но завтра она растает, кто бы ни остался победителем... Нет, меня все это больше интересовать не может, как взрослого человека не могут интересовать похождения героев Жюль Верна, которые так волнуют детей...»

В крепость доставлялись большевистские газеты, и Николай Петрович приблизительно знал, что происходит в России. Но он читал их не слишком внимательно, — преимущественно в те часы, когда, сдав смотрителю старые книги, ждал из библиотеки новых. Эти газеты были на редкость скучны и бездарны; однако Яценко теперь думал, что в каждом учении должна быть некоторая доля правды; точнее, он думал, что в каждом учении есть большая доля лжи. Николай Петрович и старался разглядеть правду за той стеной тупости, грубости, хамства, которую видел в газетах или перед собой в крепости. Большевистской правды Яценко так и не оценил, но ложь старой жизни теперь чувствовал яснее, чем когда-либо прежде. Его критические мысли, под влиянием «Круга чтения», окрашивались в толстовский цвет. Но и сам Толстой совершенно не удовлетворял Николая Петровича. «Что же он может предложить вместо всего того, что он у нас отбирает? Нравственное самосовершенствование, больше ничего. Допустим, что я больше любил бы Наташу, Витю, если б они были нравственно совершенны... Допустим, что я полюблю этого помощника коменданта так, как любил своих — хотя как же я могу допустить такую чудовищную неправду? Допустим. Если все это даже и верно, неужели любовь к помощнику коменданта дала бы мне то, чего не дает мне любовь к сыну? Ведь я сейчас и о Вите не думаю. Или, еще хуже, заставляю себя о нем думать».

Интерес к миру, к людям, к событиям действительно с каждым днем слабел у Николая Петровича. Иногда ему казалось, что и рассудок его медленно слабеет. О своей участи он почти никогда не думал: «не все ли равно?» Николай Петрович даже себе и не представлял, что собственно стал бы делать, если б его теперь выпустили на свободу. «С Витей бы повидался, да... Через десять минут мы не знали бы, что сказать друг другу. Ничем полезен я ему быть не могу, напротив, мое влияние теперь может быть только вредным».

Николай Петрович вспоминал, что и в последнее время перед крепостью его встречи с Витей были довольно тягостны: разговаривать им было не о чем, и оба они, стыдясь этого, желали, чтобы поскорее прошел тот час, который им полагалось проводить вместе. Иногда они даже старались (особенно Витя) сократить свидание под разными предлогами и скрашивали это притворство особой нежностью при расставании. «Сытый голодного не разумеет, — думал Николай Петрович. — Ему жить со мной рядом прямо было бы вредно. Все равно, что с покойником жить в одном доме... Кстати, и жить-то нам было бы негде. За квартиру скоро нечем было бы платить... Что ж, на юг пробраться? Там служить? Какой уж теперь суд? Да и все-таки нельзя было бы оставить Витю, оставить могилу

Наташи... Что ж я стал бы делать?» — спрашивал себя Яценко. Несмотря на то, что он и у большевиков находил теперь долю правды, мысль о поступлении к ним на службу не приходила в голову Николаю Петровичу. «Нет, положительно, очень кстати попал в крепость, — с горькой усмешкой думал он. — Не все ли равно, свои ли книги читать или крепостные, по Невскому ли гулять или по садику Трубецкого бастиона».

На допрос Николая Петровича так и не вызывали, и он по-прежнему никого не видал, кроме ближайшего крепостного начальника. Яценко знал, что со времени его ареста в Петропавловскую крепость было привезено еще много арестованных. В некоторых камерах, вследствие переполнения, теперь сидело по несколько человек. Николай Петрович без ужаса не мог и подумать о том, что кто-нибудь будет помещен в его камеру. Но к нему не посадили никого. На прогулку его выводили всегда в такое время, когда других заключенных в садике не было. Все это было странно. Однако Яценко больше об этом не думал.

Николай Петрович привык с молодости к внешне однообразной жизни; поэтому однообразие тюрьмы не слишком его угнетало. С утра до завтрака он читал, после завтрака спал около часа, затем до наступления темноты снова читал или разбирал шахматные задачи. В крепостной библиотеке было много старых журналов. В приложениях к «Ниве» Яценко нашел шахматный отдел. Как-то, в минуту бодрости, он из спичек, хлеба и кусочков сахара составил фигуры, начертил на двойном листе бумаги доску, надписал, чтобы легче было следить, буквы и номера клеток, кое-как мог разыгрывать партии знаменитых мастеров. Яценко играл не очень плохо, но теории не знал и не все понимал, — в особенности в коротких примечаниях редактора, то восторженных, то, реже, неодобрительных. В двойных колонках партии ему попадался восклицательный знак, а в сноске слова: «Гениальное пожертвование» или «Начало далеко задуманной, поразительной по красоте комбинации». Николай Петрович разыгрывал партию, думал над ходами, возвращался назад, и иногда — не всегда — доискивался до смысла. Когда ему надоедало играть или становилось несколько совестно, что он, старый человек, занимается пустяками, Яценко принимался перелистывать какой-нибудь журнал. Это всегда производило на него гнетущее действие: в книгах старых журналов волновались, спорили, ругали друг друга давно умершие люди, — их зловещая загробная перебранка опять возвращала Николая Петровича к кругу его безвыходных мыслей. Все то, что волновало умерших писателей, что прежде волновало и его самого (в сущности это было одно и то же), теперь не могло его интересовать больше, чем замысловатые шахматные комбинации; интерес к этому надо было в себе

вырабатывать, и люди; по его мнению, действительно вырабатывали в себе ко всему этому интерес, становившийся со временем из искусственного естественным, — совершенно так же, как шахматная доска понемногу все вытесняет в уме профессиональных шахматистов. Для Николая Петровича настоящей жизни в этом уже не было и не могло быть.

Настоящая жизнь могла быть и в другом, и о ней беспрестанно напоминали Николаю Петровичу куранты. Их музыка становилась для него значительнее с каждым днем, порою она точно освобождала его из тюрьмы. Сначала он это приписывал своему болезненному состоянию; потом мысли его изменились: быть может, то, о чем говорила музыка, также было обманом, но все остальное было обманом наверное. Яценко всегда ждал боя часов, и всегда этот бой заставал его врасплох. С жадным любопытством он вслушивался в музыку «Коль славен». Она замирала слишком быстро: иногда ему казалось, что еще одна минута и он все понял бы, — он сам не знал, что именно. «А, может быть для меня и куранты просто соломинка утопающего?» — изредка спрашивал себя Яценко и тогда чувствовал в душе совершенный холод.

Однажды после обеда, под вечер (летом в камере было светло часов до шести) Николай Петрович, сидя под окном читал Шопенгауэра: «Versuch über Geistersehn und was damit zusammenhängt» [1]. Одна страница в этой работе поразила Николая Петровича. Шопенгауэр говорил, что вера в призраки свойственна всем временам, всем народам, всем людям; «быть может, ни один человек не свободен от нее совершенно». Яценко знал, что Шопенгауэр человек неверующий, саркастический и злобный. В той же книге были ядовитые насмешки над религиозными людьми, над духовенством, над Библией. Тем более удивил Николая Петровича тон, в котором немецкий мыслитель говорил о призраках. Шопенгауэр, по-видимому, в них верил и даже не считал совместимым со своим достоинством опровергать то, что он называл скептицизмом невежд. Николаю Петровичу снова вспомнились его собственные мысли о призрачности мира. Дочитав работу до конца, он опустил книгу на колени и долго сидел неподвижно, думая о самых странных предметах.

Стало темно, Яценко все продолжал так сидеть. В маленьком окне у потолка показался хвост Большой Медведицы. Внезапно Николаю Петровичу представилась жизнь на звездах, где, быть может, ему суждено встретиться с тенью Наташи. Он думал об этом долго и вполне реально: вспоминая читанные когда-то научно-популярные статьи по астрономии, он стал даже себе представлять,

---

[1] «Опыт наблюдения за призраками и за всем, что с этим связано» (*нем.*).

какова может быть обстановка там, где встретятся их тени. «Кажется, ученые признают существование на Марсе атмосферы... Какие-то ледники там образуются, потом в жаркое время они тают...» Николаю Петровичу вдруг опять вспомнился Царский Сад в Киеве, где они весной гуляли с Наташей после свадьбы, потоки, несшиеся вдоль сада вниз по Александровской улице... Он вдруг вздрогнул и опомнился. «Кажется, я в самом деле схожу с ума», — подумал Николай Петрович.

VII

Слово «осложнения» произносилось в Киеве постоянно и приобретало все более таинственный смысл. Весь город говорил, что очень серьезные осложнения неизбежны в самом близком будущем. Одни говорили это озабоченно, другие скорее радостно, но ни те, ни другие не могли бы объяснить, о каких осложнениях, собственно, идет речь. Многие утверждали, что немцы больше не хотят Рады. Чего именно они хотят, этого не знал никто. Та мысль, что немцы и сами этого не знают, никому не приходила в голову, хотя она достаточно ясно следовала из сумбурных речей немецких государственных деятелей. Растерянность, уже начинавшая сказываться в Берлине, до Украины совершенно не доходила. Германская империя еще держалась престижем, который ей дали четырехлетние военные чудеса.

По Киеву ходили фантастические слухи о тайных намереньях немцев. Одни думали, что Германия хочет образовать украинское королевство с прусским принцем или австрийским эрцгерцогом на престоле. Другие таинственно сообщали, что Вильгельм требует у большевиков освобожденья царя и, вероятно, делает это не без причины! надо же помнить, что ведь все-таки Киев мать русских городов. Население, познакомившись зимой с большевиками, было согласно на все: эрцгерцог так эрцгерцог.

Семен Исидорович не состоял членом Рады, но был там своим человеком и постоянно принимал участие в совещаниях с видными депутатами и министрами Он водил на места для публики и свою жену. Настойчиво звал в Раду и Фомина.

— Вы увидите, батенька, что ваше отрицательное отношение к украинскому движению тотчас рассеется, как дым, — говорил он. — В Раде ведется очень серьезная политическая работа, которой могли бы позавидовать европейские парламенты.

— Да у меня, если хотите, нет строго отрицательного отношения.

— «Если хотите»? Я хочу.

— Я просто многого не понимаю.

— Вот потому-то я и зову вас: присмотритесь, батюшка, и ваше отношение в корне изменится.

— Очень может быть, — лениво отвечал Фомин.

— Не может быть, а наверное, — энергично утверждал Кременецкий, по профессиональной привычке всегда добивавшийся последнего слова. — Значит, послезавтра придете?

— Приду.

Фомин теперь неохотно вступал в политические споры, — отчасти из-за своих новых мыслей и настроений, отчасти просто потому, что он очень облепился и чувствовал себя, как выздоравливающий после долгой болезни. Голодная, тяжелая и мрачная петербургская зима измучила его чрезвычайно. Занятий у Платона Михайловича не было почти никаких: комиссия, в работах которой он должен был участвовать, все не могла приступить к делу, и Фомин был этому искренно рад: его командировка таким образом затягивалась; о возвращении в Петербург он не мог подумать без ужаса.

У него оказались в Киеве знакомые. Это были в большинстве петербуржцы, ухитрившиеся пробраться через границу и теперь находившиеся в таком же блаженном состоянии, как он сам. Многие из них со вздохом говорили, что им очень тяжело видеть на улицах Киева немецкие мундиры и подчиняться распоряжениям органа власти, сокращенно называвшегося «Обер-коммандо» (настоящее название было в две строки, и ни выдумать его, ни запомнить не мог никто, кроме немцев). Эти слова были искренни. Платон Михайлович чувствовал то же самое. Однако жизнь в Киеве и под властью «Обер-коммандо» была неизмеримо менее тяжела, чем в Петербурге, — не приходилось даже сравнивать.

Через Кременецких Фомин завел новые знакомства, — с разными украинскими деятелями. Вначале он относился к ним холодно и сдержанно (чем немало смущал Тамару Матвеевну). Однако почти все они очень выигрывали при более близком знакомстве. Эти люди, в большинстве молодые и никому неизвестные до революции, теперь так же наслаждались своим значением, должностями, политической игрой, как сам Фомин в первые дни по приезде в Киев наслаждался белым хлебом и пирожными. В политике они смыслили мало, ученостью не выделялись, но это не мешало многим из них быть радушными, воспитанными, способными людьми, сохранившими лучшие свойства прекрасного украинского племени. Приятное впечатление еще усиливалось у Фомина оттого, что, как ему казалось, все они, несмотря на самоуверенный тон, в глубине души чувствовали себя немного виноватыми. «А между тем это еще как рассудить? — нерешительно думал Фо-

мин. — Если они только этим путем могли себя спасти от большевиков, то, быть может, они и не так уж виноваты. Быть может, все на их месте сделали бы то же самое.., Конечно, большинство из них делает карьеру, — это им просто манна свалилась с неба: кто бы все они были в общерусском масштабе? А здесь каждый мальчишка министр, или депутат, или губернатор. Но это полбеды: кто же не делает карьеры? А я сам? Есть, конечно, и забавное...»

Забавным у этих людей ему в особенности казалось то, что, за редкими исключениями, они никогда до революции ни о какой Украине не думали, к украинской общественной деятельности себя не готовили и украинский язык знали плохо. «Если вообще существует этот язык, — думал Фомин. Он старался преодолеть в себе увеселяющее действие, которое обычно производит на русское ухо украинская речь. — Ведь, в сущности, это у нас очень глупое чувство: язык как язык»... Вполне преодолеть в себе это чувство Платон Михайлович не мог, но слушал теперь украинскую речь равнодушно и даже не без удовольствия: раздражала она его только в устах Семена Исидоровича. «Все-таки я довольно поверхностно отношусь к этому делу», — говорил себе Фомин в те минуты, когда ему удавалось побороть ненадолго лень. «Вопрос надо ставить так: существует ли действительно такое народное движение, пустило ли оно глубоко корни в стране, или же все это не серьезно и выдумано людьми, делающими на этом карьеру?» Ответить Фомин не мог. Но ему справедливо казалось, что вопрос этот очень важен и труден, и что над ним много придется подумать и поработать обеим сторонам. «Ведь далеко не вся правда на нашей, великорусской, стороне, особенно в прошлом, — думал Фомин. — Разумеется, трудно оправдать то, что они сошлись с немцами. Однако положение у них было почти безвыходное. Наконец, что же делать? Немцы рано или поздно уйдут, а нам с ними жить вместе. Придется придумать какую-нибудь федерацию или там конфедерацию, — лениво размышлял Платон Михайлович, стараясь припомнить разницу между федерацией и конфедерацией. — И уж во всяком случае раздражение нужно в себе вытравить и против украинских самостийников, и против грузинских, и против сионистов, и против всяких там других. Мы больше виноваты в прошлом, они в настоящем, значит мы поквитались. Да мы и не у мирового судьи...»

Внутренние дела украинского государства совершенно не интересовали Платона Михайловича. Он вполне равнодушно слушал критические замечания Кременецкого относительно хлеборобов. Впрочем, критика Семена Исидоровича теперь была более сдержанной, чем в день их первого завтрака с Нещеретовым. Кременецкий тоже говорил,

что возможны очень серьезные осложнения, и вид у него при этом становился озабоченный. Он допускал, что и некоторые вожди Рады не во всем оказались на должной высоте.

— Эти люди, батенька, лишены европейского кругозора и не умеют учесть реальную обстановку, — объяснял Семен Исидорович Фомину. — Я с самого приезда стараюсь им втолковать, что надо сгладить углы и усилить контакт с немцами. Компромиссы в политике неизбежны... Надо же наконец реабилитировать оклеветанную доктринерами идею компромисса, — высказал он только что пришедший ему в голову афоризм. — Разве вся жизнь не есть компромисс? Уже роды представляют собой некоторый компромисс с акушеркой, — сказал заодно и другой афоризм Семен Исидорович.

— О, да, — со слабой улыбкой ответил Фомин.

Платон Михайлович проснулся, как всегда, в десятом часу и с наслаждением подумал, что он не в Петербурге, а в Киеве. Погода была чудесная; он спал при открытом окне в комнате, выходившей в сад. Горничная принесла поднос с кофе, сливками, маслом, свежим калачом. Это больше не доставляло такого наслаждения, как в первые два дня; Фомин теперь даже делал иногда замечания, если масло казалось ему слишком соленым или кофе недостаточно горячим. Но все-таки утренний завтрак в кресле у раскрытого окна, за газетой, был очень приятен. Платон Михайлович прочитал о кровопролитии на западном фронте, о растущем голоде в Петербурге, о насилиях, обысках, издевательствах по всей большевистской России. Здесь в Киеве ничего такого не было, и это очень мирило Фомина со строем, существовавшим на Украине.

На стуле в заколотой булавками бумаге лежал новый светло-серый костюм, накануне принесенный от портного; портной уверял, что на этот костюм пошел последний, чудом у него сохранившийся, отрез настоящей английской материи. И действительно костюм после трех примерок вышел хорош. Фомин очень любил одеваться; он знал толк и в дамских нарядах (это признавала и Муся, правда с оговоркой: «насколько мужчины вообще способны что-нибудь смыслить в платьях»). Закончив свой туалет, старательно затянув галстук, очень подходивший к костюму и к носкам, Платон Михайлович, в самом лучшем настроении духа, вышел на улицу. Швейцар почтительно ему поклонился и сказал, что погода сегодня очень хорошая. Фомин это подтвердил, с удовольствием сознавая, что швейцара не надо называть товарищем и что у ворот дворник никак не может передать назначение на дежурство от домового комитета. По залитым солнцем аллеям чудесных садов Платон Михайлович спустился на Крещатик, купил еще газету, купил недурную немецкую сигару и удобно

устроился на террасе людной кофейни, где восторженно галдели с безнадежно-пессимистическим видом маклеры и обменивались радостными впечатлениями бледные, исхудалые приезжие из Великороссии. Фомин пил ледяной лимонад, лениво-блаженно пробегал газетные объявления и думал, что, если бы он был в Петербурге, то в это время дня, голодный и запуганный, вися на подножке еле движущегося трамвая, ехал бы к другим, еще более голодным и запуганным людям принимать у них фарфор, картины, мебель. «Еду в Москву, проезд обеспечен, принимаю поручения»,—читал он. Нелепость происходивших событий, сказавшаяся в этом объявлении, поразила было Фомина, но сейчас же и утонула в радостном сознании, что ему в Москву ехать не надо.

— Платон Матвеевич!.. Здравствуйте!

Фомин оглянулся с недовольным видом и тотчас поднялся, увидев перед собой Артамонова. Они не были близко знакомы в Петербурге: Артамонов был значительно старше Фомина и принадлежал к другому, более высокому кругу. Однако здесь они встретились радостно, почти как приятели; не обнялись, правда, но долго пожимали друг другу руки.

— ...Да, вид у вас, Владимир Иванович; можно сказать...

— Господи! Если б вы только знали, что это была за жизнь!.. Вы просто себе не можете представить!

— Могу, потому что я и сам недавно из Петербурга...

— Кошмар! Сплошной кошмар!.. Но какая здесь благодать! Ведь я только вчера вечером приехал!

— Через Оршу?

— Через Оршу... Это целая история, надо вам рассказать толком... Ну, я вам скажу, было!

— Да я и сам...

— Нет, вы не можете себе представить! Это не жизнь была, а прямо ад, Платон Матвеевич! Ад!

— Платон Михайлович.

— Виноват, Платон Михайлович... Ад и кошмар!

— Слава Богу, что выбрались... Подсаживайтесь, Владимир Иванович. Давайте, кофейку выпьем, здесь прекрасный кофе.

— Кофейку? Отлично! Впрочем постойте: ведь первый час, завтракать пора?.. Послушайте, вы свободны? Давайте, позавтракаем вместе, а?

— Очень рад.

— Можно бы, правда, раньше и кофейку со сливками... Хоть я два стаканчика утром выпил... Нет, завтракать так завтракать. Где же? Здесь?

— Можно и здесь. А впрочем, лучше я вас поведу в одно чудеснейшее место: в саду, над Днепром, и кормят отлично.

— Идем... Господи, что за благодать!

Через четверть часа они сидели на террасе клубного ресторана. Артамонов, почти не знавший Киева, восторженно изумлялся и саду, и Днепру, и ресторану, и виду на памятник святого Владимира.

— Нет, это просто нельзя описать, какой был кошмар! — повторял Владимир Иванович. Он точно не слышал, что Фомин тоже недавно приехал из Петербурга, или не мог усвоить мысли, что и на долю других людей могли выпасть такие лишения и невзгоды. — Я вам говорю: ад! Нет другого слова!

С Днепра веял теплый ароматный ветерок. Ресторан был переполнен. За соседними столиками оживленно болтали беззаботные, веселые, прилично, почти хорошо, одетые люди. Салат из огурцов и томатов ласкал глаз необыкновенной свежестью и красотой красок. Маленький запотевший графин был наполовину пуст. Фомин и Артамонов обменивались впечатлениями. «Да, он очень изменился, — думал Фомин. — Как осунулся и поседел, бедный... Неужели и я так сдал? Но я не знал, что он такой милый, приятный человек. И в тоне у него что-то новое...»

— Отлично, прекрасно кормят, - говорил Артамонов. — Спасибо, что сюда привели, Платон Михайлович, буду теперь сюда ходить. Но сад какой чудесный! Ведь я только теперь все оценил!

— Правда, здесь хорошо? Я почти каждый день здесь завтракаю.

— Вот и отлично. Около часу? По-моему, лучше бы раньше. У меня всегда был такой порядок: в двенадцать часов большую рюмку зубровки, закусочку какую-нибудь, и повторить... Но не более двух рюмок.

— Две рюмки? Ну, это для детей!

Они заговорили о прежних петербургских и московских ресторанах. Артамонов знал толк в этом деле, и Платон Михайлович чувствовал, что ему самому, с его книжной гастрономией, не угоняться за Владимиром Ивановичем. Глаза у Артамонова блестели, но он, как показалось Фомину, и ел, и разговаривал теперь одинаково: жадно, рассеянно и немного бестолково.

— Рябчиков пражских помните, а?

— «Прага», конечно, «Прага», но все-таки, Владимир Иванович, лучше ресторана, чем старый Донон, не было в целом мире. Даже в Париже! Впрочем, во Франции лучшие рестораны были не в Париже. Вы в Бордо Chapon fin [1] знаете?

— Ах, Франция! — сказал Артамонов и лицо его изменилось. — Бедная Франция!..

---

[1] Лакомый каплун *(фр.)*.

— Хороши мы выходим перед союзниками, правда?

— Не будем об этом говорить, — ответил Владимир Иванович. Голос его дрогнул. Фомин смотрел на него не без удивления.

— Вы думаете, мне было легко сюда ехать? И смотреть на все это?

— На что?

— Смотреть, как немцы хозяйничают в Киеве! Но я себе сказал, что из двух зол меньшее, и мой долг...

Он быстро и сбивчиво изложил Фомину те соображения, которыми, видимо, не раз сам себя успокаивал.

— Я ведь здесь буду недолго, собираюсь на юго-восток, — сказал Артамонов, понизив голос до шепота. — Осмотрюсь немного, отдохну, кое-кого повидаю, и дальше, за дело!.. Так вы думаете, тут возможны осложнения?

— Слухи идут упорные.

Фомин рассказал последние анекдоты об украинизации. От этого перешли к Кременецкому.

— Хорош гусь, — сказал Артамонов, кладя на тарелку еще жаркого. — Хорош гусь!

— Я Сему не защищаю, но должен сознаться, у меня самого нет твердого взгляда... Может быть, временно и нужно вести такую линию.

— Меру во всяком случае надо знать, меру... Пошлый человек, карьерист!.. Впрочем, нет, я ничего не говорю. Я теперь стараюсь никого не осуждать... Да, никого. Все мы хороши!.. Ведь точно по сигналу началось у нас великое повальное бегство: бегство от разума, от совести, от государства, от России!

— Да, разумеется, — сказал Фомин.

— Как вы думаете, вернется прежняя Россия?

— Прежняя не вернется, но кое-как, я надеюсь, жизнь наладится.

— Ах, дай-то Бог! Дай-то Бог! Знаю, что по грехам нашим все произошло! Сами, сами виноваты... Но все-таки, по милосердию Божию...

У него вдруг выступили слезы. Он вынул платок и приложил его к глазам.

— Что с вами?

— Нет, ничего, так... Извините меня...

— Нервы у нас у всех истрепались, — робко сказал Фомин. — Но все-таки...

— Да, нервы... Нервы... Пожалуйста, извините, самому совестно...

Они немного помолчали. Оживление прошло.

— Одна надежда на милосердие Божие! — точно не сразу решившись, сказал Артамонов. Лицо его сразу изменилось. — Знаете, что нужно? Всенародное покаяние в церквах! Да, это и только это, — быстро говорил он, внимательно и вместе растерянно вглядываясь в своего собеседни-

ка.— Вот что спасет Россию, Платон Михайлович! Я теперь много обо всем этом думал... Да, все, все виноваты!

— Очень может быть,— неопределенно отвечал Фомин. Он не понимал, как всенародное покаяние может спасти Россию, и чувствовал, что здесь можно бы и пошутить: в прежнее время он непременно так и сделал бы. У него даже шевельнулась было шутка,— вроде того, что «покаяние покаянием, а рябчики рябчиками», или «кому и каяться, как не прокурорам». Однако, взглянув на лицо Владимира Ивановича, Фомин от шутки воздержался. «Немного странный, конечно, но очень милый, хороший человек,— подумал он.— Все друг друга обвиняют, а он начинает с себя. Cela vous repose...» [1]

— Да, скверные времена,— сказал Фомин.

— Одно спасение в покаянии всем народом! Я и там буду это говорить!

— Кому?

— Всем! — горячо сказал Владимир Иванович.— Всем, кто только пожелает меня слушать,— добавил он с виноватой улыбкой.

— Дай вам Бог...

Фомин посмотрел на часы.

— Господи, я опоздал!

— Это в Раду-то? Да бросьте, голубчик.

— Не могу: условился... Человек, счет.

Они еще поговорили. Прежнего радостного оживления не было, но разговор стал задушевнее, в тон новых мыслей Фомина. Подали счет. Фомин уже немного морщился от цен, но Владимир Иванович только ахал: так все было здесь дешево.

— Разрешите мне заплатить, вы мой гость.

— Что вы, что вы... Ни за что! Значит, завтра придете?

— Непременно.

— Чудесно. Я так рад, что вас встретил... Вас первого знакомого в Киеве увидел... А то тоскливо все-таки одному со своими мыслями... Да, Бог даст, Бог даст,— повторял грустно Артамонов.

VIII

В вестибюле Фомина встретила Тамара Матвеевна. Вид у нее был встревоженный. Не слушая извинений Платона Михайловича, она таинственным шепотом сообщила ему, что Семен Исидорович его ждал, но потом был вызван на частное совещание: настроение очень беспокойное. Фомин попытался изобразить на лице тревогу и живой интерес к событиям, но это у него не вышло: после приятного завтрака с водкой и ликерами он был настроен беззаботно.

---

[1] Это вас успокоит *(фр.)*.

— Пойдемте туда, — сказала Тамара Матвеевна. — Семен Исидорович просил подождать его там... Он сейчас освободится и все вам расскажет. Я знаю только в общих чертах...

— Да в чем дело?

— Понимаете, говорят, что немцы решили ориентироваться на хлеборобов! — прошептала Тамара Матвеевна, входя с Фоминым в небольшую, просто убранную комнату, которая могла быть приемной. В комнате больше никого не было. По-видимому, зал заседаний находился отсюда очень близко: из-за стены слышался мерный неестественный голос оратора. Разобрать его слова было трудно.

— Ну, и пусть ориентируются! — тотчас согласился Платон Михайлович, вынимая портсигар. — Можно курить? Пить мне что-то захотелось... Здесь нет буфета?

— Как вы говорите: пусть ориентируются! — возмущенно сказала Тамара Матвеевна. Фомин явно не понимал, что в случае прихода хлеборобов к власти Семен Исидорович будет очень волноваться и не получит должности вице-председателя Сената. — Ведь хлеборобы это реакционеры! Они Бог знает, что могут натворить! Говорят, они сегодня хотят двинуться сюда, на Раду! Я так беспокоюсь за Семена Исидоровича... Дорогой мой, уговорите его пока уйти домой отдохнуть! Они могут каждую минуту прийти сюда!

— Полноте, Тамара Матвеевна, никогда хлеборобы ничего такого не сделают, я ручаюсь! — убедительно сказал Фомин, хоть и сам не мог бы объяснить, почему, собственно, он ручается за хлеборобов.

— Ах, от них всего можно ожидать! — сказала горестно Тамара Матвеевна, не прощавшая хлеборобам еще и того, что Нещеретов в свое время не сделал предложения Мусе.

Дверь отворилась, и на пороге показался Семен Исидорович с тем украинским деятелем, который был у него в день приезда Фомина.

— Хіба я не знав! Це була простисинька провокація! — с силой сказал в дверях Семен Исидорович. Увидев жену с Фоминым, он улыбнулся и помахал рукой. Тамара Матвеевна сразу просветлела. Украинский деятель мрачно ей поклонился и скрылся в коридоре.

— Ну, ну, что же вы решили?

— Да разумеется, все это ложная тревога, ведь я тебе говорил! — ответил Кременецкий, здороваясь. В руке у него была немецкая газета. — Вы должны знать, Платон Михайлович, что, в связи с этим несчастным земельным декретом Эйхгорна, досужие кумушки распустили провокационные слухи о каком-то походе хлеборобов на Раду, — объяснил он Фомину, улыбаясь. В эту секунду из залы заседаний донеслись рукоплескания.

— Но что же вы выяснили? Скажи, не мучь ты меня, ради Бога!..

— Выяснили то, что это было чистейшее недоразумение. Голубович поехал объясняться к немцам. Ему поручено очень серьезно с ними поговорить, и у нас есть частные сведения, что сейчас Мумм приедет сюда извиняться...

— Что ты говоришь!

— То, что ты слышишь. И ему, и Эйхгорну еще может за это очень влететь из Берлина, — хмуро-решительно говорил Семен Исидорович. — Вы не читали, здесь напечатана речь Пайера? Он всецело стоит на нашей точке зрения. Я им только что перевел из газеты, это произвело отличное впечатление...

— Ну, слава Богу! — сказала Тамара Матвеевна. — Я уже начинала беспокоиться.

— Ты всегда беспокоишься, это твое ремесло.

В зале заседаний опять раздались шумные, долго длившиеся рукоплескания.

— Это Красный говорит... Он недурной оратор, — пояснил снисходительно Семен Исидорович.

— Нет, я так и думала, что немцы отлично понимают, как им нужна Рада, — сказала Тамара Матвеевна. — Я только боялась, что хлеборобы... Ну, слава Богу!..

— Какие тут могли быть сомнения? А вы, сударь мой, опоздали, я вас ждал не дождался, — сказал Кременецкий, снисходительной интонацией подчеркивая, что он прощает это Фомину.

— Да, извините, ради Бога! Я завтракал, и знаете, с кем? С Артамоновым.

— С Владимир Иванычем? Так и он здесь? Жив курилка?

— Только вчера приехал.

— Прямо из Питера?.. Я не очень его люблю: пошловатый человечек, — сказал Семен Исидорович. — Но все-таки я рад, что и он выбрался.

— Вы говорите, он из Питера? — спросила, тотчас насторожившись, Тамара Матвеевна, — Может быть, он что-нибудь слышал о Мусеньке?

— Откуда же он мог слышать, какая ты странная! Мы и домами не были знакомы.

— Я думала, может быть, случайно... Например, через Никонова... Если б вы знали, как я волнуюсь!

— Нет, я спрашивал, — солгал Фомин, — он ничего не знает... Отчего вы говорите, что он пошловатый человек? — спросил Платон Михайлович, уже и не помнивший, что Артамонов то же самое говорил о Кременецком. — Я с вами не согласен... И знаете, он страшно изменился. Кстати, Тамара Матвеевна, я решительно стою на своем: завтракать надо только в клубе. Закуска была под водочку — мое почтение!

— Каждый день там все-таки дороговато, и мы не любим два раза в день эти пять блюд, — начала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович с неудовольствием на нее покосился.

— Как же вам нравится Рада? — спросил он Фомина. — Парламент, батюшка, что ни говорите!

— Я еще мало видел, но пока мне очень нравится, — вполне искренно ответил Фомин. Ему действительно все нравилось в этот день. — Так вы говорите, Мумму придется извиниться? — спросил Платон Михайлович. Он не совсем понимал, в чем Мумм должен извиниться, и ему даже было несколько жаль Мумма. — А как же земельный декрет Эйхгорна? — вспомнил он и сделал озабоченное лицо, хоть его менее всего на свете теперь интересовал и беспокоил земельный декрет Эйхгорна.

— Будет, разумеется, отменен. Вот о нем сейчас и говорит Красный... Пойдем послушаем, он, право, хорошо говорит: без этого невыносимого провинциального краснобайства, без митинговых фраз дурного тона, — сказал Семен Исидорович.

В эту минуту в вестибюле раздался резкий, громкий, неприятно прозвучавший голос. Кто-то вскрикнул, послышались бегущие шаги. Тамара Матвеевна вздрогнула, Кременецкий и Фомин переглянулись. Дверь приемной раскрылась настежь, и в нее ввалилось, толкая друг друга, сразу человек десять из тех, что прежде толпились в вестибюле и на лестнице. Тамара Матвеевна побледнела и ахнула.

— Немцы! — растерянно проговорил один из вбежавших. — Німці!

— Какие немцы?

— Что такое?

— Немцы или хлеборобы? — прошептала Тамара Матвеевна, схватив за руку мужа.

— Немецкие войска!

— Не может быть!

— Это, верно, простое недоразумение, — начал примирительно Фомин, но он не успел развить свою мысль: за дверью послышались мерные, четкие, отбивающие удар шаги: отряд солдат быстро шел по направлению к приемной. Вбежавшие люди попятились назад. Что-то неприятно звякнуло за дверью. На пороге появился германский офицер, за ним показались солдаты в касках.

— Руки вверх! — по-русски сказал офицер, почти не повысив голоса. В его тоне не было ничего грозного: это было скорее деловое распоряжение, отданное неприятным тоном. Все сразу подняли руки. В правой руке Семена Исидоровича чуть дрожала немецкая газета. У Фомина папироса так и осталась в зубах. «Господи! Да это восемнадцатое брюмера!» — подумал он. Платон Михайлович

растерялся, как и другие, но он чувствовал, что попал на историческую сцену. «Разгон парламента вооруженной силой! Ну да, 18-ое брюмера!.. Не оставаться же, однако, с папиросой во рту? Так и дышать трудно... Или выплюнуть ее? Тоже как-то глупо!..»

Офицер оглядел находившихся в комнате людей, затем что-то вполголоса сказал по-немецки унтер-офицеру и прошел дальше. За ним двинулись солдаты. Четкие шаги застучали снова. Унтер-офицер остался в приемной. В зале заседаний вдруг оборвался голос оратора. Шаги остановились. Донесся глухой подавленный гул, затем снова такой же возглас: «Руки вверх!» Потом настала полная тишина.

— По приказу германского командования... Рада объявляется распущенной, — по-русски, с сильным немецким акцентом, сказал офицер. При открытых дверях в приемной было слышно каждое слово. — Приказываю всем немедленно разойтись.

Унтер-офицер в приемной сделал жест, показывавший, что теперь нужно опустить руки и удалиться. Фомин вынул изо рта папиросу. «Вот тебе и 18-ое брюмера! Я совершенно не так себе представлял», — думал он, выходя из приемной вслед за Семеном Исидоровичем и Тамарой Матвеевной, вцепившейся в руку мужа и своим телом прикрывавшей его от возможных опасностей.

Они оказались на улице. Из здания Рады беспрепятственно и бесшумно выливался поток людей. На противоположной стороне улицы росла толпа зевак. Тамара Матвеевна дала волю чувствам.

— Господи! Что они делают!.. Это просто ужас! — лепетала она, не выпуская руки Семена Исидоровича, который был бледен, но спокоен. — Едем, скорее домой!.. Это безумие!

— Ну, нет, не домой! — сказал Семен Исидорович. — Надо будет сейчас же собрать где-нибудь экстренное совещание... Это так нельзя оставить!

— Не надо никакого совещания, я тебя умоляю, едем сию минуту домой! — говорила Тамара Матвеевна, задыхаясь от волнения, хотя на улице все было совершенно спокойно. — Ты еще не знаешь, что может быть!.. Может быть, сейчас начнется стрельба!

— Помилуйте, Тамара Матвеевна, какая стрельба! — говорил ласково Фомин. — Все ушли, немцы никого не арестовали и не арестуют, конечно, — поручился он и за немцев. — Я вношу конкретное предложение: идем в кофейню!.. Ужасно что-то пить хочется...

— Ах, оставьте, пожалуйста, Платон Михай... Я тебе говорю, едем домой! Я тебя умоляю! Сделай это для меня, хоть раз в жизни!.. Платон Михайлович вечером придет и все тебе расскажет.

— Да что же тут рассказывать? — бодро спрашивал Платон Михайлович, смутно чувствуя, что сам он совершенно ни при чем во всей этой истории, несмотря на поднятые руки и на папироску в зубах. Позднее Фомин с полным основанием стыдился того глупо-радостного настроения, которое им овладело: «Грубая сила лишний раз восторжествовала, что ж тут было скалить зубы? Хоть, конечно, и странный какой-то был переворот...» Но теперь на улице ему становилось все веселее.

— Ну, если что-нибудь будет...

— Да вы не огорчайтесь, Семен Исидорович, — говорил Фомин с сочувственно-убедительными интонациями. — Я уверен, что все еще может наладиться... Да, да, да... И вы тоже, Тамара Матвеевна, напрасно, право... Притом, что же вам было делать, Семен Исидорович? Не сопротивляться же было германским войскам?

— Ваш вопрос ко мне, очевидно, относиться не может, — сухо ответил Кременецкий — Я не член Рады.

— Разумеется! — с жаром сказала Тамара Матвеевна, все ускоряя шаги. — Разумеется!

— Но если вы хотите знать мое мнение, — продолжал Семен Исидорович, также давая, наконец, волю чувству, — то я вам скажу, что это одна из самых печальных ошибок истории! Она будет и для немцев иметь неисчислимые последствия! Историк сможет только повторить: «Это было хуже, чем преступление, это была ошибка!»

— Ужасная ошибка! Просто они с ума сошли!.. Вы не знаете, где тут стоят извозчики, Платон Михайлович?

— Да пойдем пешком... Отчего это мне так пить хочется? Верно оттого, что мы за завтраком ели форшмак из селедки, конечно оттого... Отличный был форшмачок...

— Они играют с огнем, и эта их карта будет бита, — сказал Семен Исидорович. — Да, эта карта будет бита!

Они втроем сидели на террасе кофейни. Терраса была переполнена. Лакеи едва успевали разносить напитки. Оживление было очень большое. Люди с беспричинно-радостным видом передавали сенсационные новости. Семен Исидорович уже успел кое с кем поговорить по телефону. По-видимому, эти разговоры несколько изменили его мысли.

— Все-таки, дорогой Семен Исидорович, — мягким голосом говорил Фомин, — все-таки откуда взялось это сообщение, что Мумм приедет извиняться?

— Ах, да не в этом дело, — мрачно ответил Кременецкий. — А дело в том...

— Кстати, из каких он Муммов? Не из тех ли, у которых шампанское? Моя любимая марка... Виноват, я вас перебил.

— Не знаю, из каких Муммов... А дело в том, что с немцами с самого начала был взят не тот тон... Не тот тон. Стратегия была правильная, но тактики они оказались никуда негодные и дали хлеборобам себя обойти, как ребята. Не надо было сразу объявлять реакционной всю эту тягу к твердой власти, будь она гетманская или там какая-нибудь другая... Они тем самым могли только бросить промышленников в объятия худшей, настоящей реакции.

— Это была ошибка, — подтвердила Тамара Матвеевна.

— Народные массы их не поддержали, значит, остается только одно: перестроить фронт и выправить линию...

— Я думаю, ты один можешь это сделать... Не пей так много кофе, это тебе вредно! Ты пьешь третью чашку!

— Не знаю, могу ли я теперь выправить линию. Приходится расплачиваться за чужие ошибки и бестактности! Разве я с первого дня не предсказывал все это нашим доморощенным Дантонам? Они меня не слушались и вот налицо результаты, — говорил Семен Исидорович.

— И вот результаты, — печально повторяла Тамара Матвеевна.

IX

Витя отмерил глицерин большим градуированным цилиндром, осторожно вылил в огромную банку и тщательно ее закупорил притертой стеклянной пробкой. Кислотная смесь была уже готова. Присев к столу, он еще раз в тетрадке проверил пропорции. На одну часть глицерина надо было взять три части азотной и пять частей серной кислоты. Расчет оказался правильным. Сосуд, чан, делительная воронка, колбы были вымыты и высушены, сначала спиртом, потом эфиром. Больше делать было нечего. Витя сел на табурет у стола, устало опустил голову на руки и задумался. «Когда же будет всему этому конец?» — спрашивал он себя.

Витя живо помнил то чувство ужаса и любопытства, с которым он впервые входил в эту комнату, месяца два тому назад. Он читал в «Былом», в воспоминаниях разных революционеров, о динамитных лабораториях, о конспиративных квартирах. Но все это он представлял себе совершенно иначе. Где-то на Петербургской стороне они с Брауном свернули с тротуара и вошли во двор, — самый обыкновенный двор, только очень, очень длинный. Они шли бесконечно долго. Витя старался все запомнить — и не видел ничего. У него стучало сердце, он боялся обморока, хотя никогда в жизни в обморок не падал. Окна в домах двора были везде открыты, слышались голоса, где-то

смеялись, где-то играли на гармонике. «Если б они знали!» — думал Витя, представляя себе картину взрыва, страшный грохот, стены, рушащиеся, как в последнем действии «Самсона и Далилы», крики, окровавленные тела... Они поднялись по лестнице во второй этаж. Браун открыл ключом дверь. Витя собрал все силы и со спокойным видом, на цыпочках, вошел в квартиру. В большой комнате с открытыми окнами и спущенными белыми шторами чем-то слегка пахло, — Витя узнал едкий запах азотной кислоты, и почему-то порадовался, что узнал его. «Где же это?» — спрашивал он себя.

— Да здесь очень уютно, — сказал он, беззаботно улыбаясь.

— Очень уютно, — подтвердил Браун, глядя на него с усмешкой.

В комнате в самом деле на вид не было ничего страшного. На большом столе стояли весы, коробки с разновесками, стеклянная посуда, разные банки и бутылки. На низком табурете в кадке с водой был укреплен большой сосуд, а над ним воронка. В углу комнаты стояло кресло, обитое веселеньким пестрым ситцем.

— Вот тут и изготовляют нитроглицерин, — объяснил Вите Браун. — Реакцию знаете? Впрочем, вы к этому отношения иметь не будете. На военных заводах изготовление нитроглицерина операция очень простая и безопасная. А при этих милых приспособлениях, если дать температуре немного подняться, то нетрудно взлететь на воздух со всем домом.

— Да, конечно, — ответил Витя и засмеялся. Он сейчас же подумал, что смеяться собственно не следовало. Браун все ему показал, объяснил, что нужно делать, затем велел повторить. Витя, однако, повторить не мог: он ничего не слышал. Браун опять усмехнулся и терпеливо объяснил все вторично. На этот раз Витя с усилием вслушался, боясь рассердить своего начальника, — он очень его боялся, — и повторил все правильно.

— Отлично, — похвалил его Браун. — Итак, вот вам ключ от квартиры. Завтра вы придете сюда уже один, в девять часов утра, и все это сделаете. Ваша работа, как видите, совершенно безопасна. **Пока** безопасна, — подчеркнул он. — Теперь вы можете идти, а я останусь здесь. Запомните хорошо дорогу во дворе. спрашивать, разумеется, никого ни о чем не надо.

Весь этот день Витя провел дома в необычайном волнении. Вступая в организацию, он никак не ожидал, что ему придется работать в динамитной лаборатории. Витя и гордился возложенным на него делом, и испытывал мучительную тревогу, которой не с кем было поделиться. В гостиной слышались голоса. У Муси сидел Клервилль.

«Если б им сказать!» — думал Витя. Внезапно ему пришло в голову, что, в случае провала организации, следствие от него легко может направиться к Мусе, к Николаю Петровичу. Эта мысль его ужаснула. — «Что же делать? — в отчаяньи спрашивал он себя. — Отказаться? Это немыслимо, это был бы позор на всю жизнь! Я ведь сам искал работы... Съехать отсюда? Но куда же? Денег нет, нет бумаг... Допустим, они дадут мне и деньги, и бумагу, — как я могу съехать? Ведь это значит вызвать расспросы, переполох в доме, не пустят!.. Притом что же это изменит? Разве следствие не обнаружит, где я жил до того? А папа!.. Но как же он мог меня привлечь, зная все это? — в ужасе спрашивал себя Витя, разумея Брауна. — Да, ему не до того!.. Он сам рискует головою, и не может обо всем этом думать. Это было мое дело... Я не ребенок и должен был знать, на что иду...» Витя провел ночь почти без сна, — все боялся проспать. Он так ничего и не придумал. Мусе он объявил, что Браун устроил его на практические работы в одну лабораторию. Муся не слишком входила в занятия Вити, поверила ему без расспросов и была очень рада, что заставила его учиться.

С тех пор прошло почти два месяца. Витя ежедневно по утрам бывал в лаборатории и готовил все, что требовалось. В двенадцать часов приходил Браун и отпускал его домой. Больше Витя ничего не знал и никого не видал из членов организации. Он не так представлял себе заговоры. Работа шла гладко. К опасным операциям Витя не допускался. Ему трудно было привыкнуть к мысли, что взрывчатое вещество чудовищной силы изготовляется из веществ безобидных, и он в первый день трогал банку с глицерином с таким видом, точно с минуты на минуту ожидал взрыва, — Браун, глядя на своего помощника, не мог сдержать улыбки. Потом Витя привык и даже кислоты переливал бойко, без воронки, так что у него на руках, несмотря на нейтрализацию аммиаком (это Витя знал еще с училища), появлялись красные пятна. К взрывчатым веществам он собственно почти не имел отношения. Браун всегда производил нитрование сам, отпустив предварительно Витю. Это немного задевало его самолюбие, однако он всякий раз вздыхал с облегчением, когда покидал страшную комнату, и даже на лестнице ускорял шаги, чтобы поскорее отойти подальше.

Витя исхудал и побледнел от вечной тревоги, от нервного напряжения. Дома все это замечали и приписывали недостаточно разнообразному питанию, — в Петербурге летом голод очень усилился. Дурной вид был почти у всех. Спал Витя очень плохо. Ему снился по ночам нитроглицерин, его преследовали кошмары. Мысль об отце и Мусе мучила Витю беспрестанно. Он сам не знал, считать ли себя героем или преступником.

Как-то раз, довольно поздно вечером, Муся с решительным видом вошла в комнату Вити. Он уже лежал в постели и читал «Vingt ans après» [1] — такие книги теперь придавали ему бодрости. В руках у Муси был поднос с двумя стаканами молока. Она поставила поднос на столик и заявила Вите, что отныне он каждый вечер будет пить молоко: так совершенно невозможно, все говорят, что у него ужасный вид. Глаша обещала доставать каждый вечер два стакана.

Витя вдруг, к удивлению Муси, потушил свет, — чтобы скрыть слезы. «Если б она знала!» — опять подумал он в отчаянии.

— Что за шутки! Зажги сейчас лампу и выпей молоко, оба стакана, слышишь? — сказала Муся.

Витя взял ее руку и поцеловал. Это у них было не в обычае. Муся в недоумении на него смотрела. Свет из открытой двери падал на подушку. Витя отвернулся к стене. Муся нагнулась к нему и поцеловала его в лоб. Она не заметила его слез, однако ею овладела смутная тревога.

— Еще заболеешь! — сказала она. — Только этого не хватало. Ну, спокойной ночи, голубчик. Так выпей же молоко.

«Что это с ним такое в последнее время?.. Верно, все думает о Николае Петровиче... Или меня ревнует? Нет, он, кажется, уже не так в меня влюблен... Или это его растрогало, что молоко дорого стоит? Какой смешной!..» — Муся улыбнулась и с легким вздохом прошла в ванную комнату.

«Но как же на войне? — думал Витя, рассеянно вынимая разновески из углублений коробки и вкладывая их назад. — Люди уходят на войну, не считаясь с тем, есть ли у них родители, невесты, жены... Я в пятнадцать лет хотел убежать на фронт, меня не пустили, а ведь то было лучше, чем это. Там по крайней мере не было слежки, ненависти, укрывательства, тайны... Но что же теперь делать?.. Разумеется, Браун не может заботиться обо всем этом. Для него Муся и папа значат не больше, чем жильцы этого дома, которые тоже без всякой вины взлетят вместе с ним на воздух, если он забудется на несколько минут и даст температуре подняться до 40 градусов... Нет, он замечательный человек... — Витя искренно восхищался хладнокровием, спокойствием Брауна, его экспериментальным искусством: работа так и кипела у него в руках. — Конечно, он воспользовался минутой, привлекая меня в организацию. Он не интересовался ни моими мыслями, ни моим положением, а сыграл на самолюбии, может, даже на том, что я в тот вечер выпил коньяку, — тогда, когда мы с ней поцелова-

[1] «Двадцать лет спустя» *(фр.)*.

лись... Нет, этого он не знал... Но он и не обязан был входить в мою душу. Мы работаем для освобождения России... Однако, кто же это мы и что, собственно, они хотят сделать. Ведь совет народных комиссаров теперь в Москве... Все-таки странно было бы погибнуть, не зная даже того, что замышлялось организацией...»

Витя в эти два месяца, постоянно думая над делом, стал ко многому относиться критически. Их задача заключалась в том, чтобы в кратчайший срок приготовить возможно большее количество нитроглицерина. По словам Брауна, из этого нитроглицерина изготовлялся особый вид динамита, называемый взрывчатой желатиной. Витя догадывался, что Браун принимает участие и в работе по изготовлению желатины. «Не проще ли было бы, однако, готовить все в одном месте? Какой смысл ему перевозить нитроглицерин с ежеминутным риском взрыва? Или это тоже делается из предосторожности: одна лаборатория хорошо, а две лучше? Или меня не хотят знакомить с другими?.. Верно, там у них какие-нибудь юнкера и начиняют снаряды? Но что же это за организация, если она не может связаться в такое время с военными кругами и достать снаряды в готовом виде? И неужели нельзя было изготовлять нитроглицерин на каком-нибудь заводе, а не здесь, при этой кадке с водой?.. Ну, хорошо, допустим, а дальше что? — мысленно спрашивал он. — Ведь из нашего нитроглицерина изготовили достаточно динамита, почему же о них ничего не слышно? И какая собственно мы организация? Та ли, которую Никонов назвал тогда Федосьевской?.. Неужели, однако, во главе организации стоит такой человек, как Федосьев, которого, я помню, все ненавидели?»

За несколько времени до того, на квартире Кременецких шел разговор о большевиках, об их неминуемом близком падении, о подпольных организациях, что-то подготовлявших по борьбе с советской властью: не то восстание, не то террористические действия. Об этих организациях тогда говорили открыто все.

— Теперь, друзья мои, — сказал Никонов, — в Петербурге заговорщик каждый третий человек старше шестнадцати и моложе восьмидесяти лет. И удивительное дело: это, по-видимому, знают все, кроме ихней Чрезвычайной Комиссии. За что ж ей платят деньги?

Витя с несказанной радостью услышал слова Никонова: значит, и многие другие были в таком же положении, как он.

— Ну, и слава Богу, что так! — сердито ответил князь Горенский.

— Слава Богу, что есть еще люди и группы, которым дорога свобода России, — подтвердила Глафира Генриховна.

— Ужасно только много этих групп, товарищ Глафира, и удивительно они болтливые группы. Вот теперь, я слышал, на защиту свободы России поднялся сам Федосьев, — помните такого? Он как в воду канул в первые же дни светлого февраля. Оказывается, жив, красавец! Мне, по крайней мере, один юнкер — ему верно лет семнадцать — на днях, под строжайшим, разумеется, секретом, сообщил, что он входит в конспиративную Федосьевскую организацию. Ей-Богу!

— Как фамилия этого юнкера? — осведомился вскользь Горенский. Никонов с любопытством на него посмотрел.

— Так я вам и сказал! Кто вас знает, Ваше Сиятельство, может, и вы входите как раз в эту самую организацию? Еще предадите моего юнкера военно-полевому суду и приговорите его к общественному порицанию? А я потом терзайся за него угрызениями совести! Нет, ищите сами.

Вите показалось, что на лице у Горенского мелькнуло неудовольствие. «Может, правда, и князь куда-нибудь входит?.. Милый князь!» — опять с радостью подумал он.

— Да что мой юнкер! — продолжал Никонов, — разве он один? И если б только мальчишки! А то теперь все, как по модным клубам, расписались по конспиративным боевым организациям. Все сановники стали террористами. Я слышал, например, что существует какой-то правый центр... Если есть и правый, то, верно, есть и левый, правда? А может, есть и центральный центр, а? Политическая геометрия у нас всегда была со странностями. Кроме центров, есть еще разные «кресты», эти больше разноцветные: «Синий крест» или нет, кажется, «Белый» или «Розовый», не помню. Потом лиги, не забывайте о лигах... Например, «Лига личного примера»... Говорят, прекраснейшая лига, не знаю только, чего они подают пример, не слыхал. А то есть еще союзы... В «Союзе Защиты Родины и Свободы» и в «Союзе Защиты Учредительного Собрания» я сам, кажется, состоял. Честное слово, два раза был на конспиративнейших собраниях, в местах мало заметных, — в Училище Правоведения и в Городской Думе, — это чтоб лучше замести следы.

— Больше не состоите? — спросила, смеясь, Муся.

— Кажется, нет. Не то я больше не состою, не то союз больше не состоит. Уже защитили и родину, и свободу, и Учредительное собрание.

— Не понимаю, над чем вы смеетесь? — сердито пожимая плечами, сказал князь. — Русская манера смеяться над самим собою!

— Я, во-первых, нисколько не смеюсь, а, во-вторых, нельзя не смеяться, дорогой мой, потому что все нужно делать умеючи, да, князь!.. А кроме того, вы знаете мое убеждение: народ с ними. Это печально, но факт.

— Простите, это не факт, а ваше голословное утверждение. А вот выборы в Учредительное собрание это дейст-

вительно факт: народ русский высказался против большевиков.

— Да мне до выборов нет никакого дела. Вчера голосовали за эсеров, а завтра, может, будут голосовать за черносотенцев.

— Помилуйте, что-нибудь одно!.. Надо же, Григорий Иванович, иметь хоть тень логики...

— Народ их ненавидит, — вмешалась Глафира Генриховна. — Если б вы знали, какие речи теперь идут в хвостах... Вчера, например, я слышу. Впереди меня стоит баба, простая баба. И вот...

Завязался обычный разговор.

Ключ заскрипел в замке. Витя вздрогнул, затем вздохнул спокойнее. «Как часы, аккуратен», — подумал он, выходя в переднюю. Браун ласково с ним поздоровался, тщательно запер за собою дверь и попробовал, хорошо ли закрыта. Затем, положив на стул светлые перчатки и соломенную шляпу, он вошел в лабораторию.

— Все приготовили?

— Кажется, все, Александр Михайлович.

— Надо не кажется, а наверное. Лед принесли? Удельный вес проверили? Кислотная смесь готова?

— Да... Вот записано...

Браун заглянул в тетрадку.

— Отлично... Никто не обратил на вас внимания, когда вы тащили лед?

— Никто, Александр Михайлович. И притом теперь так жарко, многие носят лед.

— Это верно. Ну-с, вы можете идти.

— Александр Михайлович, что ж вы меня всегда прогоняете? — сказал Витя беззаботно. — А разрешите мне остаться при нитровании.

— Нет, вы мне для этого не нужны.

— Но надо же мне хоть раз видеть, как готовится нитроглицерин?

— Совсем не надо. Самообразованием вы займетесь позднее. А если при этих штучках произойдет взрыв, — сказал Браун, показывая на кадку с водой, — то зачем же лишнему человеку погибать без всякой пользы. Добавлю, что выделяющиеся при нитровании газы очень вредны для молодого организма, как ваш.

— Позвольте вам сказать, Александр Михайлович, что я сюда пришел не для поправки организма... Согласитесь, что другой риск серьезнее. Если они сюда нагрянут, то и вам, и мне один конец: на веревке болтаться, — равнодушным тоном сказал Витя: «веревку» он пустил для эффекта.

Браун засмеялся.

— На веревке мы болтаться не будем. Если мы будем

вести себя осторожно, то они сюда нагрянуть не могут: квартира, я знаю, законспирирована прекрасно. Я говорил вам много раз, что твердо рассчитываю на вашу осторожность. Вы юноша умный... Ну, а если нагрянут, то до веревки, наверное, дело тоже не дойдет.

— Так до расстрела, не все ли равно?

— Не дойдет и до расстрела. В этом случае я непременно доставлю себе удовольствие: взорвусь на воздух вместе с гостями. «Умри, душа моя, с филистимлянами»,— медленно сказал Браун.— Я прекрасно понимаю ваше душевное состояние,— добавил он, помолчав.— Поверьте мне, я поручил вам работу, на которой вы сейчас можете быть всего полезнее. Не скрываю, мною отчасти руководили и другие соображения. Если б я ввел вас в какую-нибудь **десятку**,— он с насмешкой подчеркнул это слово,— вы имели бы все шансы погибнуть... Теперь везде эти **десятки**, и набираются они с бору да с сосенки. Нет ничего легче, как наткнуться на предателя. Между тем так о вас знают только два человека: я и глава организации, лицо вполне надежное.

— Я очень вам благодарен, Александр Михайлович,— с большим душевным облегчением сказал Витя.— Но ведь все-таки забота о моей безопасности не главное...

— Я заботился и о себе. Поверьте, я не всякого члена организации пригласил бы сюда на квартиру. В вас я совершенно уверен... Делайте то, что я говорю. Советую вам пойти погулять на острова. И гуляйте с таким видом точно у вас и не думают скрести на душе кошки... Да, вот что, я все забываю. Ведь я вам до сих пор не платил денег... У вас, верно, нет, отчего же вы мне не напомнили?

— Мне не надо,— сказал Витя. Деньги ему были очень нужны, но он предпочел бы работать в организации бесплатно.

— Как не надо? — сказал Браун.— Нам с вами, заговорщикам, деньги всегда нужны.— Он вынул из бокового кармана несколько пачек ассигнаций в бумажных оклейках бегло взглянул на них и протянул одну Вите.— Возьмите

— Этого слишком много!

— Не знаете, сколько денег в пачке, а говорите: слишком много. Здесь всего тысяча рублей... У нас молодым людям платят пятьсот рублей в месяц, а вы у меня работаете два месяца. Смотрите, всегда носите деньги при себе. Если со мной случится несчастье,— хоть я этого и не думаю,— поступите именно так, как я вам указал, и притом не откладывая ни на минуту: тогда — бежать, бежать и бежать.

В передней раздался звонок. Оба вздрогнули. Витя побледнел. Браун удивленно поднял брови и вынул из кармана браунинг.

Он вышел на цыпочках в переднюю и неслышно подойдя к двери, повернулся к ней боком, приложив к уху руку.

— Это я, — произнес за дверью негромкий голос.

— Фу ты, черт! — пробормотал Браун. Он спрятал револьвер и открыл дверь.

Вошел Федосьев.

Витя с изумлением на него уставился. Он тотчас догадался, что это глава организации. «Кажется, правда, Федосьев», — подумал он, вспоминая фотографию, которую когда-то видел в «Ниве» или в «Огоньке». Федосьев, здороваясь с Брауном, окинул Витю подозрительным взглядом.

— Здравствуйте, молодой человек, — сказал он.

— Вы можете идти, — обратился к Вите Браун. — Так до завтра.

— До завтра, Александр Михайлович, — сказал, заторопившись, Витя.

X

— Уж не случилось ли что? — спросил Браун, затворив дверь за Витей и снова ее попробовав.

— Нет, ничего... Это и есть тот ваш помощник, о котором вы мне говорили?

— Ну да, кто же другой? — нетерпеливо ответил Браун. — Вы все-таки предупреждали бы меня о своих визитах, Сергей Васильевич. Я как раз ему говорил, что в случае появления непрошеных гостей непременно взорву дом.

— Хорошо сделаете, — равнодушно ответил Федосьев. — Как бы не пришлось сделать это очень скоро... Можно сесть на этот табурет? Он не взорвется? — шутливо спросил он, садясь и с любопытством глядя по сторонам. — Собственно, почему вы так доверяете этому молодому человеку?

— Мне необходим помощник, без него все мое время уходило бы на чисто механическую работу. Надо было кому-нибудь довериться, а этот юноша вышел из среды, в которой ждать предательства гораздо труднее, чем где бы то ни было. Как я вам говорил, он сын следователя Яценко... Или вам он не внушает доверия?

— Уж очень приятное, открытое лицо. Я знаю по долгому опыту: если у человека лицо **дышит внутренним благородством**, если он говорит с **подкупающей искренностью** (Федосьев подчеркнул эти слова), то это в лучшем случае интриган, в среднем — жулик, в худшем — предатель. — Он засмеялся. — Но нет правила без исключений. Ваш-то помощник вдобавок еще совсем мальчик... Дай вам Бог не ошибиться... Плохо наше дело, Александр Михайлович, — со вздохом сказал он.

— Ведь вы говорили, ничего не случилось?

— Ничего не случилось, но я чувствую, что дело идет скверно. Начать с того, что расплодилось слишком много заговоров, и все они детские. Сами не работают, а другим только мешают. Проклятая романтика черных плащей!.. — зевнув, сказал он. — А между тем большевистская полиция делает сказочные успехи. Меня просто профессиональная зависть мучит, la jalouse de métier. Еще месяца три тому назад у них не было ровно ничего: прямо под носом можно было конспирировать. Теперь дело изменилось. Они совершенно правильно все поставили на внутреннем освещении, на провокаторах и на предателях.

— А у вас на что ставили?

— У нас было и это, но главное было все же в наблюдении со стороны и сверху. Мы, как-никак, строились на века и потому не могли систематически, пачками, развращать людей. Они же о веках не думают, — именно это, в пределах небольшого срока, сообщает их системе силу огромную, почти непреодолимую.

— Все-таки для чего вы пожаловали сюда, Сергей Васильевич? Ведь не для социологических споров, я думаю?

— Вот для чего я пожаловал и вот что я вам скажу: англичане ведут себя как последние дураки, чтоб не сказать, Боже избави, хуже. Нам денег не дают, все хотят делать сами; мы, мол, не знаем, что нужно делать, а они знают. Вот и этот Клервилль перед вами пел Лазаря: надо, мол, посмотреть, да надо сообразить, да надо подумать, да что, да как, да зачем? А в Москве их представитель затеял глупейшую игру: готовит военный переворот, подкупает воинские части и делает все это так необыкновенно искусно, что, по моим сведениям, каждый его шаг известен Чрезвычайной Комиссии!., Говорят, будто в их посольстве сосредоточены «все нити переворота». Уж я не знаю, что это за нити, а только эти господа чрезмерно рассчитывают на дипломатическую неприкосновенность. Боюсь, что к ним не сегодня-завтра прикоснутся... Сами, может быть, и выйдут сухи из воды, а других в этой воде потонет много.

— Так чего же вы хотите?

— Вот чего. Скажите вы, не откладывая, вашему другу Клервиллю... Ему, верно, кажется, что налет на английское посольство есть вещь столь же невозможная в мире, как захват грабителями луны или неприятельское вторжение на Юпитер. Уверьте вы его, пожалуйста, что это не совсем так. Не скрою, мне весьма безразлично, что случится со всеми этими Клервиллями... Пропади они пропадом, наши доблестные союзники! Из-за них погибла Россия! — с внезапно прорвавшейся злобой сказал Федосьев. — Но если в посольстве найдут русских, если там обнаружат эти самые «нити», то и наше дело будет сорвано,

и последствия могут быть ужасны... [1] Можете ли вы объяснить ему это поубедительнее?

— Постараюсь.

— Пожалуйста... Теперь другое. Горе мое ваш князь Горенский! — со вздохом сказал Федосьев. — Мне сообщили, что он ведет себя крайне неосторожно. Уж я не знаю, в какую организацию он входит, но с нами вы его связали совершенно напрасно. Это на вашей совести. Я, признаюсь, и не думал, что вы будете так усердны... Какой толк от князя Горенского?

— Такой же, как от всех. Горенский связан с большой офицерской группой.

— Ох, уж эти офицерские группы.

— Однако вести войну без офицеров трудно. Я, напротив, в последнее время убедился, что самые ценные и надежные работники в России именно офицеры... Организация Горенского переправляет своих людей на юг.

— Вот бы хорошо, если б она туда переправила и его самого. На Кавказ, в Крым, к гетману, куда угодно. Я всем рад сделать этот ценный подарок. Болтлив, вспыльчив, невнимателен, все свойства для конспирации мало подходящие. Скажите ему, ради Бога, чтобы он был осторожнее. Ведь если за ним слежка, то он наведет ее и на нас... Может быть, уже навел.

— У вас есть основания так думать?

— Оснований пока нет... Притом, что же это, наконец, такое, Александр Михайлович? — со злобой спросил Федосьев. — Что он за ерунду несет о новой войне с Германией, о новом фронте чуть ли не на Урале. Ведь это курам на смех! Какая теперь война с Германией? Какой фронт? Какой Урал? Ведь он это не союзникам рассказывает. Надоела мне эта болтовня о верности до гроба маленькой Бельгии, — не могу вам сказать, как надоела! Четыре года люди говорят одно и то же, одними и теми же словами. Меня от этих слов тоска берет, как, бывало, в глухой провинции, когда зарядит дождь.

— Мы условились с вами о высокой политике пока не говорить, — сухо сказал Браун. — Там видно будет.

— Но ведь этакой высокой политикой можно погубить все дело! Кому теперь охота воевать с Германией?

---

[1] Пишущему эти строки известно, что английские военные агенты предупреждались в июле и августе 1918 г., из кругов русских заговорщиков того времени, о возможности большевистского налета на британское посольство (намек на это есть и в иностранной мемуарной литературе). Предупреждения веры не встретили. Арест Локкарта и захват посольства по времени совпали с убийством Урицкого и покушением Доры Каплан. Вслед за этим начался террор и массовые расстрелы.

О найденной в британском посольстве «компрометирующей переписке» глухо сообщали в торжествующем тоне «Известия» в номере 3 сентября 1918 года. *(Автор.)*

— Тогда ставьте вопрос шире: кому теперь вообще охота воевать, с кем бы то ни было и за что бы то ни было? Очень может быть, все это второй крестовый поход... Вы помните, как кончился второй крестовый поход?

— Понятия не имею... Ничем, вероятно, как и другие?

— Хуже. Уцелевшие крестоносцы приняли ислам.

— Относительно себя я спокоен.

— Я тоже.

— Как у вас идет работа?

— Хорошо. За мной дело не станет.

— За другими может стать, — сказал, зевая, Федосьев. — Устал я... Где же ваш нитроглицерин, покажите.

— Сейчас начинаю реакцию. Хотите взглянуть?

— Да, любопытно бы... Меня столько раз пытались взорвать динамитом.

— С вашей стороны просто долг вежливости ответить тем же.

Они точно осуждены были говорить друг с другом в ироническом тоне, хоть тон этот порядком надоел обоим. Раз навсегда взятая привычка была теперь сильнее их воли.

Браун перелил жидкость в воронку с краном, укрепленную над сосудом, и подбавил льда в кадку.

— Вот видите, это очень просто, — сказал он. — Здесь у меня смесь азотной и серной кислоты. При взаимодействии с глицерином образуется нитроглицерин. Реакция сопровождается разогреванием смеси, и приходится постоянно охлаждать сосуд: градусах при тридцати уже начинают появляться красные пары, а если температура поднимется выше, то взрыв почти неизбежен. Ну вот, я приступаю.

Он повернул кран воронки и пустил тоненькую слабую струю, перемешивая стеклянной палочкой жидкость в сосуде. Федосьев с любопытством молча следил за операцией.

— Образовавшийся нитроглицерин отделяют в воронке, — говорил Браун, то закрывая, то открывая кран и все время перемешивая жидкость. — Затем промывают и сушат. В чистом виде он довольно устойчив и безопасен... Вот только голова болит от его паров...

— Что же вы делаете?

— Теперь немного привык... Помогает очень крепкий кофе.

— А, это по моей части, я любитель... Помните, каким кофе я вас угощал?

— Помню. Прекрасный был кофе... — Он подлил жидкости в воронку, вынул опущенный в смесь длинный термометр и снова повернул кран. — Если б охлаждение и перемешиванье можно было регулировать, опасность очень уменьшилась бы.

— А сейчас есть опасность?

— Маленькая...

— Может, лучше вас не развлекать разговорами?

— Нет, сделайте одолжение. Я слежу за реакцией внимательно.

— На недостаток самообладания вы не можете пожаловаться.

— Держу себя в руках.

— Вам, верно, часто случалось работать с опасными веществами? С ядами, например?

— Нельзя сказать, чтобы много, но случалось, — улыбаясь, ответил Браун. Он опять вынул из жидкости термометр, взглянул на него и чуть усилил струю. — Я даже специально работал по токсикологии.

— Да, вы мне говорили... Помните, тогда в связи с делом Фишера?.. А вы знаете, дочь Фишера заняла теперь у них видное положение. Товарищ Карова, ваш друг, гонимый царскими опричниками.

— Она всегда была видная.

— Теперь стала еще виднее. Вы знаете, ее назначили в Чрезвычайную Комиссию.

— Неужели? — удивленно спросил Браун, на мгновение отрывая взгляд от сосуда. — Она туда не пойдет.

— Отчего не пойти, если велит партия? Ведь она дурочка... А вот будет забавно, если она-то вас и расстреляет?

— Уж чего забавнее.

— Только вы мне до того, Александр Михайлович, расскажите историю этой вашей дружбы, — сказал Федосьев. — С ней и с ее отцом, — небрежно добавил он.

— Отчего же?.. Скажите, Сергей Васильевич... — он опять взглянул на термометр. — Ого!.. — Браун быстро закрыл кран и добавил льда в кадку. — Двадцать восемь градусов.

— Взорвемся?

— Нет, зачем же...

— Вы о чем-то спрашивали?

— Да... Я хотел спросить: у вас, верно, всегда были навязчивые идеи?

— Навязчивые идеи? Почему?

— Да так. Мне иногда кажется, что у вас должна быть склонность к навязчивым идеям, притом к весьма страшным.

— Не замечал в себе... Не замечал...

— А то надо бы лечиться, это опасно... Двадцать пять градусов, теперь все в порядке.

— Превосходные у вас нервы, Александр Михайлович, — сказал, помолчав, Федосьев.

— Нервы плохие, задерживающие центры хорошие.

— Как все это, однако, странно! Все пошло шиворот навыворот. Вы работаете со мной, с матерым опричником, против революционеров.

— Что ж делать? Если революционеры оказались главными опричниками.

— Значит «освободительное движение» продолжается?

— Ну да... Это ничего, что я теперь с вами. Потом, в случае надобности, и вас можно будет взорвать.

— Разумеется. Все дело, чтоб это вошло в привычку... А я объяснял вам по-иному, мудренее. Мне казалось, что для вас эта работа — бегство.

— Какое бегство? Куда?

— Да от себя, от своих мыслей, от своей тоски.

— О Господи! — сказал, смеясь, Браун. — Как же было не погибнуть России, если даже в начальнике полиции сидел изысканный литератор.

Федосьев тоже засмеялся.

— Все-таки я надеюсь сговориться с вами и об освободительном движении в будущем. Уж будто вы такой фанатик демократии?

— Нет, не фанатик. Демократия недурной выход из нетрудных положений.

— А положение России еще очень долго будет трудным, — подхватил Федосьев. — Для вашего успокоения мы отведем демократии место в самом конце пьесы. Вроде, как у Гоголя: когда автору больше ничего не нужно, появляется ревизор. Не Хлестаков, а настоящий.

— И всех отдает под суд.

— Это неизвестно: я уверен, городничий сговорился и с настоящим ревизором. Поднес, верно, ему какого-нибудь щенка... Вот мы и демократии в конце что-нибудь поднесем: два-три портфеля, что ли... Так не забудьте же, пожалуйста, сказать Клервиллю и князьку. До свиданья, Александр Михайлович.

— До свиданья... Извините, не провожаю.

— Не взорвитесь только. Это было бы бестактно.

— Постараюсь, чтобы вас не огорчать.

— Значит, послезавтра, в шесть часов, там же.

— Послезавтра, в шесть часов, там же, — повторил Браун.

XI

«...Нитроглицерин, символ мудрости, которая раскрывает последнюю загадку и лишает значения остальные... Я пытался основать жизнь на творчестве. На этом я построил философскую систему «Ключа». В минуты самообмана я думал, что новые ценности положат конец историческому недоразумению, затянувшемуся на тысячелетья. Теперь я занят разрушением, — им, вероятно, и кончу жизнь. Наивные люди прошлого века верили в созидающую силу разрушения. Зачем мне теперь его созидающая сила?

— Затем, что она спасет Россию. Затем, что она принесет свободу.

— Да, может быть. Я надеюсь. Я поэтому рискую головой. Однако — что это означает? Означает лишь те условия, в которых я за границей едва мог жить без всякой войны, без всякой революции. Вот что может меня ждать в лучшем случае: то, что было. Я говорил себе в утешение: задача нашего времени — создать основу творчества, внешнее, материальное благополучие людей. Я не понимал, что при осуществлении этой задачи погибнет то, для чего она осуществлялась. Все было обманом... Теперь я всему знаю цену. Чем же я буду жить? После мифа той свободы, после соблазнительной мистики творчества, какие еще ценности я введу в систему «Ключа»?

— Будешь жить, потому, что ты стал свободен по-другому. Новую свободу ты нашел тогда, когда, казалось тебе, ты все растерял со старой. Вслед за миром А опустел у тебя мир В. Твой опыт теперь достаточно богат. Что было суждено, ты испытал, и больше ничего не ждешь от жизни. Это и есть ключ, твой философский камень, твой occultum secretum. Он очищает и освобождает, — вот как эта желтая смерть!..»

Браун вздрогнул и, сорвавшись с кресла, бросился к аппарату, над которым вились красноватые пары. Он задохнулся, повернул кран воронки и взглянул на термометр. Опустившись на колени перед ведром, он быстро стал бросать в кадку лед. «Сию минуту дом взлетит на воздух!.. Сию секунду!.. — успел подумать Браун, глядя расширенными глазами на стенки сосуда. — Вылить все в кадку?.. Нет, поздно!.. Бежать? Тоже поздно...»

Мелкие куски льда резали и жгли его руки, забирались в рукава, падали на пол. Браун схватил ведро и, приподнявшись, стал лить в кадку ледяную воду. Так в согнутом положении, не спуская глаз с аппарата, он стоял несколько минут. Затем поставил ведро на пол и не сразу протянул руку к термометру.

Он перевел дух. На дне пустого ведра оставались большие куски льда. Браун бросил их в кадку и еще подождал. Лицо его дергалось. «Да, пронесло!» — подумал он и, шатаясь, отошел от аппарата.

XII

С первым представлением фильма, в котором играла Сонечка, у нее была связана драма: Муся, Глаша, Витя решительно отказались пойти на это представление.

Березин теперь имел в правящих кругах очень влиятельных покровителей. Его имя не раз отмечалось в большевистской печати с похвалами таланту, с признанием заслуг. В других газетах, еще кое-как тогда выходивших, Березина продернули с язвительной насмешкой. Это и оз-

лобило его, и окончательно толкнуло к большевикам: он почувствовал, что зашел слишком далеко, что ему не простят, что терять ему больше нечего, и открыто порвал со старыми друзьями.

Сценарий фильма был составлен давно. Березин только поправил еще не сыгранные сцены. Кинематографом в ту пору мало интересовались в советских кругах. Однако покровители Березина признали, что в фильме хорошо разоблачено духовное убожество старых правящих классов и в надлежащем свете показана их жизнь. На первый спектакль обещал явиться важный представитель Народного Комиссариата. Ожидались речи. Билеты были именные, по приглашениям.

— Надо выбирать, Сонечка, мы или они, — твердо говорила Глаша.

— Но чем же я виновата? — вытирая слезы, спрашивала Сонечка.

— Вы ничем не виноваты, виноват только этот господин (Глафира Генриховна, вслед за Горенским, так называла теперь Березина). Скажу больше, — смягчившись, прибавила она, — вы, Сонечка, по-моему, можете идти на первое представление, так как вы играете в пьесе. Но на нас, пожалуйста, не рассчитывайте.

— Да, это верно, Сонечка, — сказла Муся, смягчая тоном смысл своих слов. Ей очень не хотелось окончательно рвать с Березиным. Она знала, однако, что теперь это дело конченое.

— Я вас понимаю, Глаша... Но клянусь вам!.. Я говорю, Мусенька, в нашей фильме ничего такого нет... Разве я стала бы?.. И неужели ты думаешь, что Сергей Сергеевич... — Сонечка совсем расплакалась.

— Да я ничего такого не думаю, я отлично понимаю, — смущенно и бестолково говорила Муся.

— Главное, дальше не идите, а то с этим господином Бог знает до чего дойдешь, — добавила Глаша. Муся с укором и раздражением на нее взглянула, хотя была с ней согласна.

Сонечка не пошла на первое представление фильма: она принесла эту жертву своим друзьям, инстинктом чувствуя, что жертва даст ей некоторые права в будущем. Березину она, краснея, сказала, что была нездорова.

— Страшная мигрень!.. Пролежала целый день в постели... Ужас, как болела голова!..

Березин снисходительно потрепал ее по щечке: во время работы над фильмом они очень сблизились. Сонечка, впрочем, с огорчением видела, что Сергей Сергеевич вообще не церемонится с подчиненными ему актерами. Березина не любили в мастерской, мелкие служащие втихомолку ругали его самыми грубыми словами.

— Знаю я эту мигрень. Милые друзья не пустили, а?

— Клянусь вам, Сергей Сергеевич...

— Не клянитесь, курочка, а скажите мадмуазель Кременецкой (Березин иронически подчеркнул эти слова, он был очень зол на Мусю), скажите вы ей, чтобы она приберегла гражданскую строгость для своего папаши. Служить искусству нельзя, да? Строить новую жизнь нельзя? А продавать Россию можно? А за копейку продаваться всяким плутократам Нещеретовым можно?.. И о господине Клервилле тоже ей не мешало бы подумать... Внушить бы ему, например, чтоб он бросил свою шпионскую работу.

— Сергей Сергеевич, что вы! Бог с вами!..

— Не кудахтайте, Сонечка, я правду говорю. Мне известно, что он шпион. Как бы только не лопнуло терпение у русского народа. Да!

После первого спектакля, который сошел очень торжественно, фильм был перенесен в районы. Глаша и Муся первые заявили Сонечке, что непременно хотят ее увидеть на экране. Обещал пойти на районный спектакль и Горенский, которого тоже умилила жертва Сонечки (он очень ее любил, как все). Сонечка радостно благодарила друзей. Ей удалось достать пять билетов: это было нелегко, так как почти все места раздавались по рабочим организациям, клубам и просветительным кружкам. Билеты были взяты на субботнее дневное представление, начинавшееся в два часа: по вечерам выходить было опасно.

Накануне районного спектакля, утром в пятницу, 30 августа, в Петербурге был убит народный комиссар Урицкий. Известие это мгновенно облетело столицу, вызывая смятение и панику. Мрачные слухи поползли по городу. Говорили, что на улицах патрули обыскивают прохожих, что по домам идут массовые обыски, что на вокзалах давка: люди бегут куда попало.

— Теперь опять с Сонечкой будет история, — сказала Мусе Глафира Генриховна, когда первое волнение от известия несколько улеглось.

— Что еще?

— Да не идти же завтра в этот ее кинематограф!

— В самом деле, я и не подумала... Бедная Сонечка!

Мусе тоже было не до кинематографа. Она беспокоилась, впрочем, не о себе: Муся была уверена, что против нее никто ничего не может иметь; а если б к ним и нагрянули с обыском, то, как невесту английского офицера из военной миссии, ее тотчас отпустили бы на свободу: Клервилль, конечно, этого немедленно добился бы. Что-то в такой возможности — Вивиан спасет ее жизнь — даже ласкало воображение Муси. Но она волновалась из-за других, из-

за Брауна, Горенского, Никонова, в особенности из-за Вити: Муся сердцем чувствовала, что с ним происходит что-то неладное. Очень беспокоило ее и то, как родители узнают о петербургских событиях.

— Воображаю ужас папы и мамы, когда они в Киеве прочтут! — сказала она Глаше. — Мама от страха за меня с ума сойдет.

— Не от страха, а от угрызений совести, что оставила тебя здесь... А Сонечке уж ты как-нибудь объясни, что теперь неудобно и даже неприлично идти на спектакль.

Объяснить это Сонечке оказалось трудно.

— Ну, да, конечно, это не так интересно, — сказала она после первых же слов Муси, и слезы полились у нее из глаз.

— Сонечка, пойми же, я говорю: отложим на несколько дней.

— Нет, я прекрасно понимаю, что вам неинтересно смотреть эту фильму... И даже, может быть, неприятно: ведь я тоже большевичка, правда?

— Не говори глупостей!.. Я тебе повторяю: отложим на несколько дней, всего на несколько дней.

— Ах, оставь, пожалуйста! Вы обе меня, кажется, считаете дурой... Ты отлично знаешь, чего мне стоило достать места... Разве мне опять дадут пять билетов? Никогда!.. Это ты, вероятно, думаешь, что я у них первое лицо...

— Сонечка, милая, не плачь, я тебе объясню...

— Оставь, пожалуйста, я тебя прошу. Мне только жаль, что я так хотела тебе это показать... Чем я виновата, что кого-то убили! Потом еще кого-нибудь убьют...

Она зарыдала и убежала к себе в комнату. Муся не решилась туда за ней последовать, да ее немного и раздражил детский эгоизм Сонечки.

Позднее пришли мужчины — Горенский и Витя — с запасом свежих новостей и слухов. Новости и слухи были страшные. Однако оба они были очень возбуждены грозной победой террора.

Узнав о горе Сонечки, князь решительно принял ее сторону.

— Отчего же нельзя пойти в кинематограф? — сказал он. — Если вы говорите с точки зрения безопасности, то теперь, право, везде, а в кинематографе в особенности, гораздо безопаснее, чем дома.

— Да мы совсем не в этом смысле, — сказала поспешно Глаша, — а потому, что если случилось такое дело, то нам не до развлечений.

— Этому делу надо радоваться, а юношей этим народ русский должен гордиться.

— Я с вами согласна.

— Вот я это самое им все время доказываю, — радостно говорила Сонечка.

Князь остался ужинать. После ужина он шутливо объявил, что остался бы и ночевать, если б его пригласили. Это вызвало общую радость. Глаша побежала устраивать для Алексея Андреевича постель. Муся обещала достать пижаму из шкапа Семена Исидоровича. Витя усиленно предлагал свою комнату.

— Зачем в вашу комнату? Ни за что!

— Мы вас устроим в спальной папы...

— И в спальную Семена Сидоровича тоже не хочу, зачем нарушать порядок? Вот здесь в столовой поставим какой-нибудь диван, если есть свободный... Нет, правда, я не очень вас всех стесню?

— Страшно всех стесните! Как вам не совестно?

— Сегодня верно половина Петербурга ночует у другой половины.

— И так приятно теперь быть вместе... Значит, завтра все вместе и пойдем в кинематограф? — сказала Сонечка.

— Нет, я завтра рано утром должен буду уйти: дела.

— Какие это теперь могут быть у вас дела, Алексей Андреевич? — спросила вскользь Муся. И она, и Глаша выжидательно смотрели с минуту на князя. — Где же мы встретимся? В зале?

— Да, в зале. И заранее прошу меня извинить: я, может быть, уйду до конца спектакля.

— Ах, нет! Моя последняя сцена перед самым концом... Впрочем, это, конечно, неважно.

— Напротив, Сонечка, это очень важно. В таком случае я останусь до конца, — сказал, смеясь, князь, — но уж вас домой проводить никак не смогу.

— Что за церемонии, ведь это днем... Нас проводит Витя.

— Я тоже не уверен, что буду свободен, — сказал Витя. — Мне нужно в лабораторию.

— Ты уж молчи, — набросилась на него Муся, — надоела мне твоя лаборатория! Я ее выдумала, я с ней и покончу... На мальчике лица нет.

— Меня давно интересует: блондинка или брюнетка эта лаборатория? — саркастически осведомилась Глафира Генриховна. Все засмеялись, польщенный Витя тоже.

— Алексей Андреевич, дорогой, милый, — сказала Сонечка, с нежностью гладя Горенского по руке, — значит, я вам сейчас дам ваш билет?.. Да?.. Вот он... И помните, начало ровно в два, лучше даже прийти раньше, а то бывает, что там захватывают все места.

— Жаль, что нельзя было достать шестой билет для Григория Ивановича, — сказала Муся.

— Ну, с Никоновым идти туда было бы опасно, — ответила Глаша. — Ведь там такая публика, а он шальной, со всеми спорит и всюду лезет на скандал... Между нами,

Григорий Иванович теперь пьет немного больше, чем ему следовало бы. Уж не знаю, где он достает водку или денатурат, но я очень боюсь, как бы он не спился.

— Типун тебе на язык! — сказала Муся.

— Мне и самой жаль, я его очень люблю...

— Как вы думаете, Алексей Андреевич, — спросил Витя, — не может ли это событие отразиться на положении заключенных?

— Убийство Урицкого? Разумеется, еще как может, — рассеянно сказал князь, не заметив беспокойного взгляда Муси. — Впрочем, я не думаю, чтоб очень отразилось, — спохватился он, увидев изменившееся лицо Вити. — Их ведь должны интересовать не заключенные, а те, которые гуляют на свободе... Вот мы, грешные...

— Поэтому теперь обязанность каждого вести себя очень осторожно, — сказала как бы невзначай Муся. — Обязанность не только перед самим собой, но и перед другими.

— А вы, князь, должны быть особенно осторожны, из-за вашего титула, — подтвердила Глафира Генриховна. — Право, вам лучше бы все эти дни ночевать у нас. Ведь мы вне подозрений...

— Конечно, Алексей Андреевич.

— Поверьте, вы нас ничуть не стесните... Кстати, когда вы завтра уходите из дому? В восемь? Отлично, чай для вас будет готов.

— Что вы, помилуйте! Никакого чаю мне не нужно.

— Да все равно, я и сама встаю в это время. Или, может быть, вы пьете кофе? У нас и кофе есть.

— У нас все есть.

— Выпьете кофе, закусите и пойдете по вашим делам. А вечером опять, милости просим, к нам.

XIII

На следующее утро настроение стало еще гораздо тревожнее. Из Москвы пришло известие о покушении на Ленина. Говорили, что он умирает. На Мусю это событие произвело сильное впечатление, в особенности потому, что на жизнь вождя большевиков покушалась женщина.

Идейная женщина да еще революционерка, это, собственно, было самое скучное и неэлегантное, что только могла себе представить Муся. У них в кружке слова эти даже мысленно заключались в кавычки. **Политической дамой** еще кое-как можно было быть: тоже представлялось скучноватым, — как bas bleu [1] — но **салон** многое выкупал, особенно если в нем бывали очень видные люди. Московское событие ударило Мусю по нервам: все сразу представилось ей в ином свете. Женщина эта (ее имени

[1] Синий чулок *(фр.)*.

еще никто не знал) шла на страшную смерть наверняка. Покушение было произведено на большевистском митинге, — при таких условиях не могло быть и одного шанса из тысячи спастись бегством. У террористки были все основания предполагать, что разъяренная толпа тут же разорвет ее в клочья. В противном случае ее ждала неминуемая казнь, — быть может, и пытка, о которой со вчерашнего дня ползли по городу глухие зловещие слухи. «Какие же нервы должны быть у этой женщины и как она могла пойти на такое дело!» — содрогаясь думала Муся.

В доме все были напуганы. Князь ушел из дому с утра, еще до того, как они узнали о покушении. У Вити лицо стало бледно-зеленое, хоть глаза его сияли торжеством, точно он сам убил Ленина. Сонечка имела вид виноватый — из-за кинематографа. Глаша была очень встревожена и расстроена.

— Надо быть сумасшедшим, чтобы сегодня идти в какой-то идиотский кинематограф! — в сердцах сказала она. — Да нас и избить там могут.

— Что вы, Глаша, — робко возразила Сонечка, — как они догадаются, кто мы такие?

— Ах, я не стану спорить с вами, Сонечка! Право, было бы гораздо лучше, если бы вы просто меня слушались. Обо мне все можно сказать, но, слава Богу, глупой меня еще никто не считал, — заявила убежденно Глафира Генриховна.

«Удивительно, что это всегда говорят неумные люди», — подумала Муся.

— Скорее всего и спектакли будут сегодня отменены, если его убили, — сказала она нерешительно.

— Однако мы условились с князем, что встретимся с ним в кинематографе, — заметил Витя. — Нельзя же его подводить в самом деле...

Этот довод был решающим. Кроме того нервы у всех были так напряжены, что оставаться дома все равно было бы трудно.

— Теперь они совершенно ошалеют, — сказала Муся. — По-моему, теперь ..

Послышался звонок. Все встрепенулись.

— Вероятно, это Маруся, — вполголоса сказала Глафира Генриховна, — она должна была сегодня утром принести белье.

Витя отворил дверь. Маруся вдвинула большую корзину, затем вошла в переднюю сама. Ей тоже было известно о покушении, но ни она, ни господа не начинали об этом разговора! каждая сторона находилась в неизвестности насчет того, как относится к событию другая.

Глафира Генриховна по записочке принимала белье, которое вынимала из корзины Маруся.

— Дела какие пошли! — наконец, не вытерпев, сказа-

ла Маруся, с любопытством глядя на барышень.— Что, слышали?

— Да... Слышали,— сдержанно ответила Глаша.— Одна, две, три... Витиных носков были четыре пары, четвертой нет...

— Как же нет? Вон, под носовыми платками.

— Ах, да, четыре...

— Пора бы Виктору Николаевичу новые купить, а то совсем продранные... Что делается, а?

— Купишь теперь! — сказала Глаша.

Витя смущенно заметил, что давно собирается купить все новое.

— О папаше ничего не слышно?

— Ничего.

— Господи! Все сидит да сидит, бедный,— сказала Маруся и неожиданно вынула из кармана небольшой сверток.— Вот, будете им посылать опять провизию, так и от меня пошлите... Шоколад это, я у анархистов-индивидуалистов получила,— добавила Маруся, наконец почти заучившая трудное название организации, в которой состоял ее друг матрос.

Все были тронуты. Витя горячо поблагодарил Марусю.

— Дела какие пошли, прямо беда! — конфузливо говорила она.

— Так что же в городе о делах говорят? — решилась спросить Муся. Глафира Генриховна сердито на нее посмотрела. Конечно, Маруся была очень хорошая женщина, но в такое время и с ней не следовало вести откровенные разговоры.

— Муся, твои панталоны и combinaisons[1] тоже бы надо поштопать,— в наказание — при Вите — сказала Глаша. Наказание, однако, не подействовало на Мусю.

— Что же говорят в городе? — твердо повторила она свой вопрос.

— У Европейской гостиницы облава идет,— страшным шепотом сказала Маруся. Разговор о событиях завязался. Однако политическое настроение Маруси выяснить с точностью не удалось. Она также говорила сдержанно, хоть ей, видимо, очень хотелось знать настроение барышень. Впечатление было такое, что убийству Урицкого она сочувствует, а убийству Ленина не сочувствует.

— Это сказался «национальный момент»,— после ухода Маруси, смеясь, сказала друзьям Муся.

— Не думаю... Скорее то, что на Ленина покушалась женщина,— ответила Глаша.— Не женское, мол, дело.

— Ни то, ни другое... Вы забываете, что все-таки Ленин не шеф Чрезвычайной Комиссии.

— В такой анализ, Витенька, они входить не могут... Так как же: значит, идем в кинематограф?

---

[1] Комбинация *(фр.)*.

— Что же теперь делать, если условились с князем. Я завтрак подам ровно в двенадцать.

После завтрака, одевшись возможно хуже (это теперь всем было и не очень трудно), они вышли на улицу, обмениваясь вполголоса впечатлениями. Им показалось, что мотоциклетки носятся по городу чаще и быстрее, чем прежде, что лица у редких прохожих очень тревожные и напряженные.

— Чувствуют неладное, — беззаботным тоном сказал Витя. — Подходит их игра к концу.

— Тссс! — прошептала Глаша, зверски глядя на Витю и показывая движением головы, что сзади кто-то идет. Прохожий их обогнал, испуганно взглянул сбоку и, видимо успокоенный, побежал дальше.

— Как же можно говорить о таких вещах на улице! — набросилась Глафира Генриховна на Витю, когда прохожий ушел далеко вперед. — Вы, Витя, кажется, совсем с ума сошли! Нас могли тут же схватить!

— Да он больше всего боялся, как бы мы его тут же не схватили.

— Вы еще смеете шутить!. Почем вы могли знать, кто за нами идет?

— Все хорошо, что хорошо кончается, - примирительно сказала Муся.

Они подходили к кинематографу. Вестибюль был освещен, к великому облегчению Сонечки: значит, спектакля не отменили. Кинематограф был новый и роскошный, — так перед войной, по самому последнему слову техники, строились богатые кинематографы и банкирские дома: здание напоминало отчасти дворец дожей, отчасти берлинский универсальный магазин. В вестибюле на стенах висели портреты Ленина, Троцкого, Макса Линдера и Франчески Бертини. Посредине вестибюля еще уцелел чудом остаток бобрика, с неровно обрезанными краями. Он был засыпан семечками. Муся подумала, что в этих семечках есть что-то вызывающее, — все петербургские остряки потешались над семечками, и они точно говорили: «да, мы семечки! И да здравствует революция!»

В кинематографе настроение было гораздо менее тревожное, чем на улице, — это вошедшие тотчас почувствовали. Зал был почти полон, стоял веселый гул. Преобладала рабочая молодежь, очевидно пришедшая по даровым билетам.

Муся остановилась в проходе, отыскивая взглядом свободные места. Четырех мест рядом не было нигде.

— Ну, так вы здесь сядьте, а я пройду вон туда. Я даже предпочитаю поближе к сцене, — сказала Глаша. Муся подтолкнула Сонечку в бок. Глафира Генриховна облюбовала два места рядом, довольно далеко от них, и, усевшись, тотчас положила сумочку на стул около себя.

Места Муси, Сонечки и Вити были в одном ряду, но отделенные одно от другого; между ними устроилась компания молодых рабочих. Увидев Мусю и Сонечку, один из них, белокурый, с веселой улыбкой на благодушном лице, что-то шепнул соседу. Оба засмеялись. Витя нахмурился. Сонечка рассталась с Мусей, очень огорченная: так все удовольствие пропадало, если сидеть не рядом и не обмениваться непосредственными впечатлениями. Белокурый рабочий посмотрел на Сонечку, встал и, бросив докуренную папироску, галантно предложил барышням сесть рядом. Компания, фыркая, пересела, освободив место для Сонечки, которая рассыпалась в выражениях благодарности. Вите пришлось сесть отдельно, по другую сторону компании.

— Не стоит благодарить, барышня,— сказал рабочий,— вам друг с дружкой веселее, мы тоже понимаем.

— Какой любезный пролетарий! Это ты имеешь такой успех,— шепнула на ухо Сонечке Муся, тревога которой тотчас совершенно рассеялась.

— Почему я? Ты, конечно... Я тебе говорила, что здесь все будет совершенно спокойно.

— Может, они еще не знают об убийстве Ленина... Князя, конечно, еще нет. Он, как всегда, последний.

— Разумеется! Вот и останется без места,— огорченно сказала Сонечка,— ведь я говорила, что нужно прийти возможно раньше.

— Нет, без места он не останется. Разве ты не видишь, что Глаша обо всем подумала?

— Ах, да!— Сонечка весело засмеялась.— Я уверена, что Глаша скоро будет княгиней! Как ты к этому относишься?

— «Пусть называется»,— сказала Муся с почти искренним равнодушием.— Слава Богу, наконец, явился и он.

В дверях показалась высокая фигура князя. Он окинул зал взглядом и, разыскав друзей, приветливо помахал рукой Мусе и Сонечке, затем направился к Глафире Генриховне, которая, привстав, ожесточенно показывала ему рукой на стул с сумочкой.

— Нет, и он не последний, вот еще какой-то тип,— сказала Сонечка. Действительно, вслед за Горенским, в дверях зала появился худой, плохо одетый человек с лицом лимонного цвета. Он быстро огляделся в зале. В ту же секунду свет погас, пронесся радостный гул, и тощая пианистка заиграла «На сопках Маньчжурии».

— Теперь держись, мы тебя раскритикуем,— сказала шепотом Муся.

— Я еще не скоро,— прошептала с волнением Сонечка.

— Ты понимаешь, пролетарии сейчас тебя узнают на экране.

— Что ты говоришь!.. Я и не подумала... Нет, никогда не узнают... Им в голову не придет...

Развалившись в покойном кресле, граф Карл фон-Цингроде подливал себе ликера из бутылки, стоявшей рядом с ним на столике. У ног графа на бархатной подушке сидела его любовница, с которой он обращался холодно и презрительно. Березин ничего не пожалел для обличения графа Карла. Но рабочим, сидевшим рядом с Сонечкой, по-видимому, очень нравилась его жизнь. По крайней мере они все время сочувственно гоготали, обмениваясь вполголоса довольно неожиданными замечаниями. Напротив, тот хороший бедный человек, которого любила Сонечка и которого преследовал граф Карл, явно не вызывал сочувствия. «Эх, разиява», — говорил белокурый рабочий. — «Шляпа», — подтверждал другой. Граф выиграл груды золота в клубе и оттуда в роскошной коляске отправился в охотничий замок на свидание с другой своей любовницей. — «Ну, и живут, собаки!» — с сочувственной завистью сказал сосед Сонечки. — «Так его!.. Вот так, так!» — радостно откликнулся белокурый рабочий, когда граф ударил хлыстом провинившегося лакея. Сцена появления Сонечки приближалась. Ее волнение все росло.

— Еще три... нет, четыре номера, когда не я, а потом я, — замирая, шептала Сонечка. — Правда, она хорошо играет?..

— Так себе... Некрасивая.

— Ты находишь? По-моему, ничего, только нос длинный... Это она едет на бал...

— Какая же дама перед войной могла быть на балу без перчаток?.. Эх, вы! Неужели длинных перчаток не могли достать?

— Я не знала... Ну, вот сейчас, во втором номере была я... Только, ради Бога, Мусенька, не смейся!

Муся ахнула, увидев Сонечку на экране.

— Господи, какая ты смешная!

— Смешная? Почему смешная? — тревожным шепотом спрашивала Сонечка, вглядываясь в полумраке в лицо Муси.

— То есть не смешная, ты прелесть!

— Нет, ты правду говоришь? Ты это искренно?

— Прямо прелесть... Нет, как она на него смотрит, бесстыдница! За такой взгляд сейчас же тебя в угол!

— Ах, с этой сценой вышла целая история, я тебе потом расскажу... Теперь один номер не я... А потом я гуляю в саду с собакой и думаю о нем... Вот... Ну, что? Как?

— Чудно!.. И собачка чудная.

— Ты говори не о собачке, а обо мне.

— Я тебе говорю: прелесть! Глазенапы такие строишь!

— Четверть часа подводила... Но ты искренно? Поклянись моей жизнью, что тебе нравится!

— Клянусь! — подняв руку, сказала Муся. На нее оглянулись спереди соседи.

— Что ты делаешь?.. Спасибо, Мусенька, ты ангел... Ну, слава Богу, теперь опять долго не я...

Граф Карл фон-Цингроде сыпал деньгами, кутил и совершал поступки один предосудительнее другого. Но дурная жизнь господствующих классов положительно не вызывала возмущения у соседей Сонечки: они гоготали все веселее и сочувственнее, особенно в любовных сценах, когда граф сажал к себе на колени новую любовницу. — «Тебе бы, Федька, такую, а?.. Почище твоей лохматенькой будет», — говорил белокурый рабочий.

— Сейчас важная сцена... Они его захлороформируют, — шептала Сонечка, расширяя в темноте глаза. — Ты понимаешь, у него двойная жизнь!

— Я так и догадывалась, что граф нехороший человек.

— Пожалуйста, не издевайся... Вот из-за этой сцены в студии вышел тот скандал, помнишь, я вам рассказывала?

— Помню, — подтверждала Муся, хоть ровно ничего не помнила. Сонечка, уже всецело проникнутая корпоративным духом, постоянно рассказывала о каких-то историях в студии.

— Ну, вот теперь смотри, сейчас моя главная сцена... Номера тридцать пятый, тридцать шестой и тридцать седьмой...

Главная сцена тоже очень понравилась Мусе. Чтобы вышло правдоподобнее, она сделала и критические замечания, но такие, которые никак не могли задеть Сонечку. На минуту в зале зажегся свет. Горенский и Глаша, повернувшись в креслах, телеграфировали Сонечке знаки полного одобрения. Князь беззвучно похлопал в ладоши и послал ей воздушный поцелуй. Витя, сидевший близко, успел даже пробраться к ним и сказал Сонечке, что она играет восхитительно.

— Знаю я тебя! Еще правду ли ты говоришь? Тебе в самом деле так понравилось?

— Лопни мои глаза! Отсохни у меня руки и ноги! — подражая Никонову, сказал Витя. Рабочие шептались, оглядываясь на Сонечку. Свет опять погас. Витя вернулся на свое место.

— Я тебе говорила, что пролетарии тебя узнают, — шепнула Муся. — Вот это и есть слава.

— Ах, перестань издеваться! — сказала счастливая Сонечка и поцеловала Мусю. — Я что? Я ничего...

Она уселась в кресле поудобнее: ее сцен больше не было, и теперь она могла спокойно смотреть фильм, который, впрочем, подходил к концу. Для графа Карла приближалась расплата за грехи. Честный молодой человек торжествовал. Однако его торжество не встречало у публики восторга. Бедняки, поднятые на восстание молодым человеком, увели связанного графа Карла (у Беневоленского сценарий кончался не так, но Березин изменил развязку). «Так ему и надо», — сказал без одушевления сосед Сонечки. Веселый рабочий ничего не ответил. По-видимому, бедняки публику не интересовали, — она бедняков знала лучше, чем автор сценария.

XIV

Свет снова зажегся, поднялся гул, все повалили к выходу. Князь и Глафира Генриховна очень хвалили Сонечку. Глаша на этот раз была с ней так мила и нежна, что Муся немного насторожилась. «Уж не произошло ли что у них с Алексеем Андреевичем?» — подумала она, внимательно вглядываясь в Глашу и князя: ей показалось, что лицо у Глафиры Генриховны в самом деле счастливое и возбужденное, почти как у Сонечки.

Князь тотчас простился с дамами.

— Я предупреждал, что должен буду уйти. Уж вы меня извините, Витя вас проводит.

«И у него как будто вид растерянный, верно в самом деле произошло объяснение», — подумала Муся, подавляя в себе легкое неприятное чувство. — «Нет, мне все равно, я за нее рада», — ответила она. — «А что-то есть в нем vieux jeu[1] и скучноватое: старик Тургенев, целующий руку Полины Виардо... Надо сказать Глаше, это она Полина Виардо... Впрочем, не надо...»

— Да, Витя нас проводит, - сказала она, глядя на князя со спокойной и ласковой улыбкой. — До свиданья, Алексей Андреевич. Итак, помните, что вы у нас ночуете.

— Спасибо... Если смогу, приду.

— Нет, не если сможете, а наверное.

— Спасибо... О московском деле слышали?

— Слышали, — нехотя ответила Муся. — Тем более нужно, чтоб вы пришли ночевать. И нам будет спокойнее.

— Ну, хорошо... Тогда до скорого свиданья. Витя, передаю вам дам.

— Виноват, я тоже предупредил, что буду занят, - - говорил Витя. Князь простился и своей быстрой походкой направился дальше по улице. Муся и Глаша смотрели ему вслед. Худой человек, которого Сонечка назвала «каким-

---

[1] Устарелое *(фр.)*.

то типом», отделился от афиши и пошел за Горенским. Что-то неприятное еле мелькнуло в сознании Муси, но она не успела подумать, что такое. Глаша быстро и возбужденно говорила Вите:

— Не хотите? Ну и не надо... Как-нибудь обойдемся без вас!.. Как-нибудь обойдемся без вас, мы трое, правда, Сонечка? И вот, на зло вам, мы с Мусей и Сонечкой сейчас идем кутить.

— Это куда?

— В первый раз слышим.

— Я вас веду в кондитерскую, где подают настоящий шоколад и пирожные.

— Глаша, вы получили из Америки наследство? Сознайтесь!

— Да уж наследство или не наследство, а только я вас обеих веду в такое место, где дают настоящий шоколад и настоящие пирожные. Трубочки с желтым кремом, сама видела... Что, Витенька, может, вы бы нас проводили?

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — ответил со вздохом Витя. — «Всего», — насмешливо произнес он советское прощанье.

— Витя, а то пойдем с нами, — сияя счастливой улыбкой, говорила Сонечка. Но Витя остался тверд.

— Не позднее семи часов изволь быть дома, слышишь? — сказала Муся.

— Слушаю-с.

— Куда же мы теперь? — спросила Муся Глашу. — Ты в самом деле нас ведешь в кондитерскую?

— Царское слово обратно не берется!

— Ни царское, ни княжеское.

Глаша засмеялась. «Значит, правда, — подумала Муся. — Что ж, и слава Богу». Она вдруг повеселела.

Кондитерская была недалеко от кинематографа. Это была длинная узкая комната, разбитая перегородками на уютные отделения. Впереди у стены находился буфет с самоваром, с тарелками бутербродов и пирожных. За буфетом сидела высокая дама, — по словам Глаши, не то графиня, не то баронесса. Две барышни, разговаривавшие с хозяйкой, встали с дивана при входе гостей. Больше в кондитерской никого не было. Муся, Глаша и Сонечка конфузливо прошли по комнате и заняли последнее отделение, самое далекое от буфета. Глаша заказала шоколад, затем повела подруг к буфету выбирать пирожные и заставила их взять из-под сетки самые дорогие (цены везде были написаны).

— Еще возьмите, вот эти с кремом, должно быть, вкусные, — говорила она, искоса с любопытством поглядывая на печально улыбавшуюся даму. Сонечка конфузилась, зная, что у Глаши денег очень мало. Они вернулись в свое отделение; барышня скоро принесла им туда шоко-

лад и пирожные. Шоколад, по словам Глаши, был «так себе, на воде», но пирожные свежие и довольно вкусные. Они мгновенно съели все и, по настоянию Глаши, заказали еще три.

— Мерси, страшно вкусно, но что это вы так кутите, Глаша? — спрашивала Сонечка, с наслаждением уплетая пирожное.

Муся смотрела на Глафиру Генриховну с той же улыбкой.

— Вот что, надо будет и для Вити захватить две трубочки, — не отвечая на вопрос, объявила Глаша, — хоть он нас и бросил. Что поделаешь, лаборатория.

— Вы знаете, друзья мои, не нравится мне ваш Витька, — сказала Муся. — Что-то с ним такое происходит... А что, не могу понять.

— Верно, — подтвердила Глаша. — Я тоже замечаю.

— И я замечаю, — сказала, вытирая губы, Сонечка: ей теперь казалось, будто она тоже замечала что-то неладное за Витей. — Что же вы думаете?

— У мальчиков это бывает, — заметила Глаша, — может, ничего такого и нет.

— Помимо всего прочего, — сказала Муся, — помимо всего прочего, ведь и ответственность за него падает теперь на меня.

— Ну вот, почему же на тебя? — в один голос спросили Глаша и Сонечка.

— Да вы сами знаете... У него никого нет. Мать умерла, отец в крепости, и еще теперь неизвестно, выйдет ли он оттуда живым...

Голос Муси вдруг дрогнул. Она вынула из сумки платок и приложила к глазам. Сонечка очень расстроилась. Глаша принялась утешать Мусю.

— Ничего страшного пока нет... И даже не пока, а вообще нет. Николая Петровича, наверное, скоро выпустят...

— Нет, боюсь, не выпустят, — сказала Муся. — Я чувствую...

— Да что ты несешь! Ерунду ты чувствуешь! Мало ли людей арестовывали, а потом выпускали. Это у нас у всех нервы расшатались за время революции.

— Ты думаешь? — сказала Муся. Она спрятала платок в сумку. — Я, напротив, все удивляюсь, как мало я переменилась за это время. Разве чуть лучше стала, — уже спокойно добавила она.

— А я не стала ни лучше, ни хуже, — подхватила Сонечка. — Совсем как была, так и осталась... Ведь в самом деле это странно! Такие важные события, а люди не переменились.

— Многие переменились, — сказала Глаша. Она чуть было не сослалась на Березина, но спохватилась вовре-

мя. — Многие сильно переменились. Да вот и Витя, вы же сами говорите.

— В таком возрасте он и без всякой революции должен был перемениться за это время... Ты знаешь, — с улыбкой сказала Муся, обращаясь к Глафире Генриховне. — Сонечка, не слушай... Я уверена, что он недавно стал мужчиной. И знаешь, qui a déniaisé le jeune homme? [1] Догадайся.

— Понятия не имею.

— Je te le donne en mille [2], — почему-то по-французски продолжала Муся. — Вот догадайся.

— Да почем я могу знать? И, признаться, меня это не так интересует... Может быть, госпожа Фишер?

Муся была изумлена.

— Как ты догадалась?

— Вот тебе и «je te le donne en mille», — сказала, засмеявшись, Глафира Генриховна. — Что же тут удивительного?

— Не может быть!.. Вы ошибаетесь! — широко раскрыв глаза, говорила Сонечка.

— Я не ручаюсь, конечно, он мне не говорил, но почему-то я убеждена. Как странно: Витя и эта авантюристка, которую допрашивал его отец!

— Вполне возможно. Она тогда позвала Витю к себе, помнишь, он еще хвастал. А таким нравятся мальчишки... Только ведь теперь ее нет в Петербурге? Значит, не в ней сила.

— Уже я не знаю, в чем сила... Сонечка, перестань ахать... Вообще это не для тебя предназначалось.

— Но ведь Витя влюблен в тебя! — проговорилась Сонечка.

Муся засмеялась, совершенно забыв о том, что сама взяла с Сонечки клятву никому об этом не говорить.

— Значит, моих чар оказалось недостаточно.

Они заговорили о Клервилле. Муся просветлела, и разговор стал необыкновенно приятный, — так дружно и откровенно они никогда в жизни не разговаривали. Муся рассказала о своем романе с Вивианом, об их первом объяснении в ночь поездки на острова. Все сходились на том, что красивее и обаятельнее человека, чем Клервилль, нельзя себе представить. Затем Сонечка, набравшись храбрости, заговорила о своей любви, и Глаша не только не ругала Березина, но даже признала его большие достоинства. «Его личного charm'а [3] я никогда не отрицала, — оправдываясь перед Сонечкой, говорила она. — И притом большой талант, с этим кто же спорит?..» О себе Глаша ничего не рассказала, но дала понять, что и в ее жизни

---

[1] Кто лишил невинности молодого человека? *(фр.)*.

[2] Я могу назвать тысячу *(фр.)*.

[3] Обаяние *(фр.)*.

готовится очень важная перемена. Муся с улыбкой на все смотрела, и по этой улыбке Глаша едва ли не впервые в жизни почувствовала, что *все-таки* Муся ее любит и что *все-таки* у нее не было до сих пор более близкого друга.

Они неясно и восторженно говорили о своем будущем.

— Какая жалость, что ты после войны уедешь в Лондон,—чуть не со слезами говорила Сонечка, схватив Мусю за руки.—Нет, я не хочу, чтобы ты уезжала из Петербурга... Знаешь, пусть его назначат сюда послом!.. Или нет, не смейтесь, как это? Военным атташе...

— Вы обе к нам будете приезжать в Англию... С мужьями и надолго. Вивиан сказал мне, что у нас будет целый дом. Это в Англии, кажется, у всех.

— Ну, вот еще,—говорила задумчиво Сонечка, представляя себе, как она приедет в Лондон с Березиным. Глафира Генриховна улыбалась, думая приблизительно о том же: «Князь и княгиня Горенские...»

— Надо еще Вивиана спросить, может, ему не очень понравится такое обилие гостей.

— Что ты, он вас обеих искренно любит... Затем, подумайте, ведь хотя бы из-за папы и мамы я буду приезжать в Петербург мало, если один раз в год, скорее два раза... Нет, наша жизнь будет и дальше идти вместе...

Так они разговаривали долго. Высокая дама прошла без дела по кондитерской, поглядывая на их столик. Но им все не хотелось уходить. Наконец, Глафира Генриховна подозвала барышню и расплатилась.

— Как ты думаешь, на чай оставить?—тихо спросила она, когда барышня пошла за сдачей.

— Оставь, но скажи, что это для бедных.

Они встали. Сонечка не вытерпела и еще раз поцеловала Мусю, затем Глафиру Генриховну.

— Спасибо, Глашенька, милая, что вы нас сюда привели!.. Мне никогда в жизни не было так хорошо, как сегодня. Спасибо страшное! За все!—восторженно говорила она, точно Глаша и Муся сегодня разрешили ей любить Березина.

— А ведь, правда, было чудесно... Чаще бы...—сказала Муся, и осталось неясно: чаще бы сюда ходить или чаще бы так разговаривать.

— Я тоже очень рада... Мадмуазель, к вам, верно, иногда приходят... приходят неимущие... Разрешите вот это для них оставить.—Глаша очень покраснела, что с ней случалось редко. Прислуживавшая барышня тоже смутилась.

— Благодарю вас,— тихо сказала барышня.

Они поспешно вышли. Улица была совершенно пуста.

— Бедненькая, жалко их,—вздохнув, заметила Сонечка.

— Всех жалко.

— Как князь сказал?—озабоченно спросила Глафира

Генриховна. — Он к обеду придет или после обеда? Если к обеду, надо бы кое-что прикупить.

— Не помню, как он сказал.

— Купим, так и быть, наудачу. Хлеба нет ни кусочка.

Они свернули на другую улицу, где, по словам Глаши, в лавке продавали колбасу и консервы.

— Супа сегодня не будет, так закуску подадим: колбасу, селедку и, может, найдем что-нибудь еще, — говорила Глаша, сразу погрузившись в хозяйственные соображения. Мусю и особенно Сонечку это немного покоробило после их разговора. Они шли некоторое время молча.

— Я о той женщине думаю, — сказала вдруг Муся. — Которая в него стреляла...

— Ах, какой ужас! — содрогаясь, откликнулась Сонечка. — Неужели ее казнят?.. И этот несчастный юноша! Боже, какой ужас!

— Я думаю... — сказала Глафира Генриховна и не докончила. С соседней улицы по мостовой быстрым шагом вышел большой отряд солдат. Впереди шли люди в кожаных куртках. Один из них окинул взглядом дам, которые так и похолодели. Страшны были не солдаты, а то, что шли они так быстро, как никогда не идут в городе войска. Лица у солдат были нахмуренные и злые.

XV

Расставшись с дамами, Горенский по Мойке направился к Марсову полю. Он был взволнован своим разговором с Глафирой Генриховной и немного им недоволен: теперь он не имел права устраивать свои личные дела.

До назначенного свидания еще оставалось с полчаса. После душного кинематографа у князя болела голова. Он зашел в Летний Сад, где все было с детских лет так ему знакомо: памятник, ваза, статуи с отбитыми носами. Теперь вид запущенного сада вызывал в нем сладко-тоскливое настроение.

У Петровского дома князь остановился, снял соломенную шляпу и вытер голову платком. Почувствовав усталость, он подошел к скамейке, сел и задумался — о Глаше, о своих делах. «Отчего бы это я так устал?» — подумал Горенский, припоминая свой день. Утром было свиданье с офицерами, вновь завербованными для поездки на юг. Князь передал им деньги и сказал напутственное слово, которое они выслушали, по-видимому, без особого сочувствия. Выражение лиц офицеров, как казалось Горенскому, означало: «Да, теперь и ты говоришь хорошие слова, но надо было обо всем этом подумать раньше...» Князь знал, что он мог сказать в защиту своей прежней роли; знал и то, что можно было сказать против прежней позиции лагеря, к которому, очевидно, принадлежали офицеры. Тем

не менее выражение их лиц было ему неприятно, и он несколько скомкал свое напутственное слово.

После свиданья с офицерами была еще *явка,* — теперь опять вошли в употребление слова, которых Горенский не слышал со студенческих времен. В свою университетскую пору он ни в *явках,* ни в *массовках* участия не принимал; но товарищи его в них участвовали и рассказывали о них с видом таинственным и важным. В случае *провала* молодые революционеры подвергались тогда карам: их исключали из университета, высылали из Петербурга, сажали в тюрьму. Теперь провал означал другое. «В организации Полянского на прошлой неделе расстреляли всех. У Бонашевского, кажется, тоже .. И не то еще пойдет», — устало подумал князь.

На явке он обменялся сведениями с агентом, приехавшим из Москвы, где дела шли превосходно: переворота можно было ждать недели через две, — латышская часть была готова. «Да, все обещает нам успех, а все-таки не надо было именно теперь говорить. Я теперь себе не принадлежу... Не надо было также принимать приглашение Муси: для них я слишком опасный гость... Если схватят, то меня расстреляют, а им не избежать серьезных неприятностей», — подумал он и тотчас отогнал от себя эти мысли: Горенский не верил, что его могут арестовать; не верил в глубине души и в то, что его расстреляют, если схватят. «Да, Полянского расстреляли, но человека, как никак известного всей России, они казнить не решатся...» В воображении князя неожиданно встал суд над ним. Он представил себе речь, которую произнес бы на суде. Невольно речь эта у него складывалась в старые привычные формы: после таких речей судьям в прежнее время становилось очень не по себе, а на следующий день речи цитировались в восторженных статьях газет. «Нет, провала быть не может, — подумал Горенский, вспоминая тех людей, с которыми он вел дела в последнее время: ни один из них не мог быть предателем. — Так, хорошо, через две недели переворот, а что же дальше?»

Князь давно принял решенье — тотчас после переворота отправиться на фронт. Война с Германией должна возобновиться. «Не все ли равно, где будет боевая линия: у Пскова, у Москвы, на Урале, на Дону? Лишь бы отвлечь на нас значительные силы немцев. Их дела на Западном фронте явно нехороши и, если придется послать в Россию десяток-другой дивизий, это может иметь для войны решающее значение... И честь наша, национальная честь России, будет нами спасена», — думал князь. Это было у него на первом месте: мысль о России имела для Горенского неизмеримо больше значения, чем все другое, чем все личное. Тем не менее иногда князю приходили мысли и о собственном его будущем. Как деятельный участник заговора, как участник последней борьбы на

фронте, он мог претендовать на многое, имел на это и политические, и моральные права. Горенский не мечтал о диктатуре, хоть иногда допускал, что при некоторых обстоятельствах диктатура может быть ему предложена. Он охотнее принял бы пост в какой-нибудь директории или в коалиционном правительстве. «В конечном счете победа демократии несомненна. А там будет видно... И для мирных переговоров тоже понадобятся люди».

Князю представилась европейская конференция, где он, от имени России, должен будет решать судьбы мира, вместе с Клемансо, с Ллойд-Джорджем, с немецкими государственными людьми. Горенский тотчас отогнал от себя эти мысли, как слишком личные и честолюбивые, и снова, мучительно-нервно зевая, стал перебирать в уме подробности своего обмена мнений с агентом московской организации. «Во всяком случае в течение двух недель дело решится, и слава Богу, иначе нервы сдадут», — подумал он, взглянув на часы. Теперь уже можно было идти на свидание. Князь поднялся и направился к выходу.

Худой человек с лицом лимонного цвета встал со скамейки позади и пошел за князем, быстро его нагоняя. Горенский оглянулся, посмотрел на этого человека и слегка побледнел. «Может быт, вздор, — подумал он. — Во всяком случае надо идти дальше, не оглядываясь». Они подходили к воротам сада. Худой человек вынул свисток и свистнул.

Стоявшие за воротами люди из Чрезвычайной Комиссии мгновенно окружили князя.

— Гражданин Горенский, вы арестованы, — любезно улыбаясь, сказал один из них.

XVI

Маруся по субботам относила белье всем своим клиентам. Вернувшись от барышень Кременецких, она позавтракала, отдохнула, затем отправилась в тот особняк, в котором помещалась организация ее друга.

Анархисты были далеко не в милости у властей, но эта организация каким-то образом уцелела и после весенних арестов, и после польского восстания левых социалистов-революционеров. Ее не выселили из давно захваченного ею особняка. Только оружия у анархистов было совсем мало, — прежде особняк напоминал крепость.

Друга Маруси не было дома, но ее уже знали в особняке и свободно пропустили в комнату первого этажа, которая называлась Кропоткинской. «Эх, что с домом сделали!» — думала Маруся, поднимаясь по лестнице, выстланной черным сукном В Кропоткинской комнате на рожке лампы висел черный флаг. Бархатный ковер был засыпан пеплом, окурками, жестянками от консервов. В углу высокой кучей валялись книжки без переплета. Накурено в комнате было так, что оставаться в ней казалось в пер-

вую минуту невозможым. В этой комнате жил клиент Маруси, щуплый человек средних лет, с бледно-серым лицом, с жидкой бородкою, с пенсне, плохо державшимся на носу. В Марусе этот странно говоривший человек всегда возбуждал неудержимое веселье. Так и теперь, только его увидев, она сразу прыснула со смеху и закрылась рукавом, поставив корзинку на кресло. Анархист нисколько не обиделся.

— Здравствуй, женщина, — сказал он.

— Здрасьте... Белье вам принесла, — трясясь от смеха, сказала Маруся.

— Это хорошо. Твой свободный труд, дитя мое, заслуживает уважения, — сказал анархист, наклонившись над корзиной. Его пенсне упало на ковер, он замигал, с трудом разыскал пенсне, чуть не раздавив его ногою, поднял и снова надел. — Никифора сейчас нет, но вечером вы сойдетесь и будете свободно отдаваться утехам любви. Живите в согласии с законами природы... Где же кальсоны?

— Вот... — почти сквозь слезы произнесла Маруся.

— Я вижу одну штуку... Где другие?

— Да всего одна штука и была... Шесть галстухов дали на глажку, шесть воротничков, рубахи две и кальсоны одни... Этого не троньте, это не ваше!

— Что такое мое? Что такое не мое? — спросил анархист. — Все общее, женщина, и все ничье, неужели ты еще этого не усвоила? Мне нужны эти вещи, и я их беру, — сказал он без особенной, впрочем, решительности в тоне, и, поверх пенсне, взглянул красноватыми глазками на Марусю, с которой сразу соскочила смешливость.

— Еще что выдумаете! — грозно, повышенным голосом, сказала она. — Это капитана белье, а не ваше. У вас такого белья отродясь не бывало.

— Ну, не надо, — миролюбиво сказал анархист. — Но все же постарайся, женщина, побороть в себе собственнические инстинкты.

— Дадите стирать на неделю? Нет?.. Так денег пожалуйте... Вот записочка, — сказала Маруся, протягивая анархисту счет. Она, впрочем, знала, что это совершенно бесполезный поступок. Анархист поправил пенсне и заглянул в бумажку.

— Кажется, галстухов я дал восемь, — сказал он, опять без уверенности в тоне.

— Шесть, — сурово ответила Маруся.

— Шесть так шесть, — тотчас согласился анархист. — Денег, женщина, у меня нет. Притом, что такое пустые денежные знаки? Возьми лучше бюст нашего прежнего учителя Петра Кропоткина, — предложил он. — Или литературу? Хочешь «Черное Знамя»?

— Если денег нет, то вот что мне дайте, — сказала Маруся, не отвечая на пустяки и показывая на шелковую штору окна, которую она давно облюбовала. Маруся не

продала ни одной вещи из квартиры Николая Петровича, хоть легко могла распродать решительно все. Но здесь церемониться было бы грешно. Из шторы она рассчитывала сделать платье.

Анархист с полной готовностью согласился отдать Марусе штору и даже сам встал было на кресло, чтобы ее отцепить. Шелк треснул под его башмаками, кресло пошатнулось, с ручки свалилась аккуратно сложенная кучка пепла. Анархист слетел, сделал несколько неверных шажков и, потеряв пенсне, уцепился за Марусю. Она, фыркнув, поддержала анархиста.

— Эх, кресло даром испортили,— с сожалением сказала Маруся. Она взобралась на подоконник и отцепила штору. Анархист с удовлетворением следил за ее работой. Пока Маруся укладывала штору под белье, он опять советовал ей преодолеть собственнические инстинкты и жить согласно с природой. Маруся фыркала, впрочем смутно чувствуя, что анархист нарочно валяет дурака.

Выйдя на улицу, Маруся невольно оглянулась,— нет ли городового?—вздохнула и пошла дальше, к английскому посольству.

В посольстве ее тоже знали. Маруся поднялась по лестнице и отнесла корзину в те комнаты, где теперь помещался барышнин жених и его друзья. Горничная, говорившая по-русски, приняла по счету белье и пошла за деньгами. Маруся, огорченная тем, что не удалось на этот раз повидать ни жениха барышни, ни его друга, осталась в небольшой комнате первого этажа. Маруся всегда с удовольствием бывала в посольстве,—как-то раз ей удалось даже повидать парадные залы; роскошь их необычайно ее поразила. Но в этой комнате ничего такого не было — она была вроде кабинета Николая Петровича, даже попроще. На стене висел портрет, вид которого немного испугал Марусю: «Царь покойный? нет, будто и не царь»,— подумала она. Маруся сочувствовала революции, однако недавно при известии об убийстве царя долго плакала.

Горничная не возвращалась. Маруся подошла к окну—и испугалась. По площади, с ружьями наперевес, прямо на посольство, очень быстро шел отряд солдат. Часть отряда скрылась за углом, выйдя на набережную, другая кордоном окружала здание с площади. За отрядом видна была толпа. «Господи, что же это! Сюда идут, что ли?» — подумала Маруся. Ей захотелось поскорее уйти из этого дома. Она растерянно взяла пустую, легкую корзину, затем вспомнила, что денег еще не заплатили, поставила корзину на стол и подошла к двери.

— Деньги бы мне получить,—негромко сказала Маруся.

В коридоре никого не было. Снизу вдруг донесся шум,—как будто там скандалили. Любопытство превоз-

могло все в Марусе. Она быстро, почему-то на цыпочках, пошла по коридору, в сторону парадной лестницы, оставив на столе пустую корзину.

В посольстве в последний день месяца выдавали жалованье служащим консульства и офицерам военных миссий. В канцелярии было довольно много людей. Как везде в день получки жалованья, настроение было веселое. Шутили и не получавшие денег люди, в большинстве английские журналисты, зашедшие в посольство за новостями. Один из двух железных шкафов канцелярии был открыт настежь. Кассир, почтенный человек в очень высоком двойном воротнике, стоял у шкафа и выдавал деньги, отмечая выдачу на ведомости.

Кроме денег и способов их траты, предметом полушутливой, полусерьезной беседы было случившееся в эту ночь событие: исчезновение консула Вудгауза. Вице-консул говорил, что мистера Вудгауза задержали на улице большевики. Но молодые люди делали вид, что относятся к этому объяснению скептически. Да им и в самом деле с трудом верилось, что кто бы то ни было и где бы то ни было может арестовать великобританского консула.

— Может быть, мистер Вудгауз просто пошел погулять? Петербург — прекрасный город,— весело говорил капитан Кроми. Забавность этому предположению придавало именно его совершенное неправдоподобие.

— Он мог встретить знакомого и заговориться с ним,— в тон своему другу отвечал Клервилль.

— Или знакомую.

Кассир с легкой улыбкой слушал молодых людей, отсчитывая белые ассигнации.

— Вам какую часть русскими деньгами?— спросил он Клервилля.

— Не более двадцати фунтов. Лучше даже пятнадцать.

Кассир взялся за карандашик и принялся вычислять.

— В самом деле на большевиков валят теперь все. Это несправедливо,— уже серьезно сказал английский журналист, не сочувствующий большевикам, но отдававший им должное.

Кроми холодно на него взглянул.

— Несправедливо?— переспросил он.

— Да, многое несправедливо,— ответил журналист.— Большевики осуществляют то, о чем мечтали Оуэн, Моррис, Рескин и многие другие великие умы. И осуществляют это с энергией необыкновенной. Это мужественные люди,— решительно добавил он.

И Кроми, и Клервилль одновременно подумали, что в вопросе о мужестве штатский журналист недостаточно авторитетный судья.

— Вам, капитан, как прикажете?— спросил кассир. Кроми отошел к кассе.

— Господа, когда кончится война? — спросил уныло журналист, самой интонацией подчеркивая полную безнадежность вопроса.

— Через три года, — ответил Кроми, кладя деньги в карман.

Кассир вздохнул.

— Вашей жене приятно было бы слышать, — сказал он. — Или вашей невесте, майор.

Клервилль засмеялся.

— Франсис шутит, — сказал он. — Дела на Западном фронте складываются все лучше. Кроми, впрочем, все равно. Он и после войны выдумает что-нибудь необыкновенное. Если есть человек, не созданный для того, чтобы жить в Кенсингтоне, посещать скачки и играть в бридж, то это именно он.

— Это верно, — сказал капитан Кроми. — У меня совершенно другие планы. Скорее всего я после войны приму участие в полярной экспедиции.

Он с большой живостью принялся излагать свои проекты. Они были разные, но все отличались тем, что для осуществления их требовались нечеловеческая энергия и фантастическое счастье. Кассир, положив карандаш, с восхищением слушал капитана. Другие тоже заслушались. Капитан говорил очень хорошо и просто. У другого человека такие планы могли бы показаться хвастовством. Но в устах Кроми они хвастовством не казались.

— Я знаю, капитан, что вы человек необыкновенный, — любезно сказал журналист, желавший загладить неприятное впечатление от своего отзыва о большевиках. — Лучшее доказательство вот это, — добавил он, показывая взглядом на длинный ряд орденов, украшавший грудь Кроми. — Но все-таки для одной человеческой жизни того, о чем вы говорите, слишком много. Надо бы пять или шесть.

— Я сделаю все то, о чем говорю, — повторил капитан. И всем, журналисту, кассиру, служащим консульства, невольно показалось, что он действительно это сделает.

— Кстати о ваших орденах, капитан, — сказал один из служащих. — Этот на красной ленте я знаю, это наш D.S.O.[1] Белый рядом с ним русский Георгий, вы его получили за потопление гуннского крейсера. Но другие?

Журналист, не давая капитану ответить, принялся объяснять служащему:

— На шее это русская Анна, справа от Георгия Владимир... Капитан на своей подводной лодке прорвался в Балтийское море, наделав тысячу неприятностей гуннам.

Все штатские англичане, даже левый журналист, называли немцев гуннами. Только Кроми и Клервилль говорили «немцы».

---

[1] «За служебное отличие» *(англ.)*.

— А медали?
— Медалей и я не знаю.
— Это медаль китайского похода 1900 года,—сказал Кроми и, в ответ на общее удивление, разъяснил:— Я мальчиком принимал участие в экспедиции Сеймура.
— А это,—добавил Клервилль,—это медаль за спасение погибающих. Он вытащил кого-то из воды...
Все смотрели с ласковым любопытством на Кроми. «Вот какие у нас люди»,— с гордостью думал кассир. Служащие консульства заговорили о войне. Дела на западе шли прекрасно.
— Если удастся восстановить русский фронт, гуннам конец.
— Как же это может удаться?
— Переворот...
— Русский народ слишком пассивен для переворота. Притом русские любят деспотическую власть...
— В сущности большевики унаследовали традиции царизма.
— У нас все это было бы, конечно, невозможно.
— Вспомните русское ничего... В душе каждого славянина есть мистическое начало, которое и сказалось теперь с такой силой у большевиков. В них есть много общего с героями Толстого...
— Скорее Достоевского... Вспомните Грушеньку из этих «Братьев»... Я забыл их фамилию, проклятые русские имена! Она сожгла в печке десять тысяч фунтов.
— Неужели сожгла в печке? Собственно зачем?
— Мистическое начало.
— Или босяки Горького... Это фанатики.
— Но ведь Горький смертельный враг большевиков. Мне на днях перевели одну статью из его газеты... Помоему, его босяки скорее анархисты.
— Это одно и то же... Я, впрочем, не читал босяков. Но я знаю все это по одной очень интересной статье в Times Literary Supplement[1].
— Господа, вы мне мешаете считать. Я чуть не сделал ошибки...
— Пожалуйста, ошибитесь в мою пользу: это было бы очень кстати.
— Он, когда ошибается, то в пользу казны.
— Он, верно, думает, что казна нам платит слишком много.
— Я ухожу... Вы остаетесь в консульстве?—спросил своего друга Клервилль.
— Я тоже скоро уйду, но у меня деловое свидание.
Они простились и вышли из канцелярии. После их ухода оживленный разговор о войне и о России продолжался. Кассир выплачивал жалованье, складывал распи-

[1] Литературное приложение к «Таймс» *(англ.)*.

ски и отмечал крестами в общей ведомости тех, кто уже получил деньги.

— Вам как? — спросил он подошедшего к кассе служащего.

— ...Все-таки очень интересна эта восточная мистика, — говорил журналист. — Вы верно сказали о Толстом, но, по-моему...

Со стороны лестницы послышались повышенные голоса. Разговор в канцелярии оборвался. Все с недоумением уставились в сторону двери: так в этом здании никто никогда не разговаривал. Голоса все росли и приближались. Кассир с изумленно-вопросительным выражением на лице положил карандаш на ведомость. Из второй комнаты канцелярии вице-консул высунул голову с высоко поднятыми бровями.

— В чем дело? — недовольным тоном спросил он. Никто не успел ответить. Дверь с шумом распахнулась, и в комнату ворвалось несколько человек. У них в руках были револьверы. Кассир попятился назад и захлопнул дверцы железного шкафа.

— Руки вверх! — прокричал визгливо первый комиссар.

Все, застыв от изумления и неожиданности, выпученными глазами смотрели на вбежавших людей.

— Руки вверх! — прокричал комиссар еще громче и визгливее. Один из служащих инстинктивным движением поднял руки. Мгновенно другие сделали то же самое. Пачка ассигнаций выпала из поднятой руки кассира. Он както дернулся, чтоб ее поднять, и не поднял. С полминуты все молчали в оцепенении.

Вдруг за дверью, где-то совсем близко, гулко и четко грянул выстрел, за ним другой. Раздался отчаянный крик. Затем загремела пальба.

Маруся на цыпочках пробралась по коридору, приоткрыла дверь и ахнула. «Наши, большевички!» — подумала она с испугом и с радостью.

Вестибюль был полон солдат. Они неловко топтались на месте, напуганные роскошью посольства. Штатский человек, распоряжавшийся в вестибюле, что-то грозно говорил швейцару, который, вытянувшись, растерянно на него глядел. Здоровенный разведчик в матросской форме, с красным свежим шрамом на лице, упершись руками в бока, радостно смотрел на швейцара.

— Вы, товарищ, будете отправлены на Гороховую, там разберут... Товарищ Лисон, арестуйте его.

— Беспременно арестуем, дядя Полисенко, — отвечал человек в матросской форме, добавив несколько крепких слов. Он был навеселе. — Нарядили-то человека как, а? Вот дурак!.. Ну и дурак!..

— Прислужники империалистов, — проворчал третий комиссар. — Добрались, наконец, до них...

— Я и говорю, дурак, товарищ Шенкман. Паразит!

Полисенко и Шенкман шептались с озабоченным видом.

— В мандате сказано: арестовать всех без исключения.

— И отлично...

— Ну и дурак! ну и империалист! — говорил весело Лисон, хотя вокруг стоявшего истуканом швейцара, ливрея которого, видимо, очень его забавляла. Он даже поскреб черным ногтем позумент ливреи. В это время сверху донесся визгливый крик: «Руки вверх!»

— Так его... — радостно сказал Лисон. Крик повторился. — Так их!..

— Товарищи, нижний этаж занят, теперь идем наверх, — взволнованно распорядился Полисенко и направился к лестнице в сопровождении Шенкмана. Солдаты нерешительно тронулись за ними. Маруся несколько разочарованно смотрела из двери: скандал от нее удалялся, и был он не такой, какого она ждала.

Вдруг на площадке лестницы откуда-то сбоку появилась высокая фигура. Маруся узнала своего капитана. Лицо его было бледно. Сердце у Маруси внезапно забилось сильнее. Капитан, чуть наклонив голову, странно-пристально смотрел на подымавшихся людей. Полисенко остановился, встретившись с ним взглядом. Передний солдат попятился назад. Лисон, оставив швейцара, медленно направился к лестнице, как-то подобравшись всем телом и слегка вдвинув голову в плечи. Настала мертвая тишина.

— Кто... такое?.. Что... нужно? — спросил капитан. Он говорил медленно, с трудом подыскивая русские слова, не повышая голоса, очень спокойно и холодно.

— А ты сам кто такое?.. — спросил Лисон.

— Мы имеем мандат на обыск в британском посольстве, — сказал Полисенко. Он тотчас пожалел, что остановился и вступил в объяснения, и направился дальше. Капитан чуть передвинулся на площадке, загораживая дорогу.

— Нет... мандат... в британски посольство, — ледяным голосом произнес он, медленно кивая отрицательно головой. Глаза его были неподвижны и страшны. У Маруси кровь все отливала от лица. Полисенко снова остановился и, побледнев, оглянулся на товарищей. Солдаты, тяжело дыша, надвигались. Один из них коротким шажком поднялся ступенькой выше. То же самое мгновенно сделали другие.

— Ах, ты с... с..! А ну-ка, пропусти меня, дядя Полисенко, я ему набью морду, — негромко сказал Лисон и, отставив назад локти, наклонив голову набок, двинулся вперед. Капитан, столь же странно-пристально на него глядя, опустил руку в карман и неторопливо вынул ре-

вольвер — совершенно так, как если бы доставал из кармана портсигар или спички. Маруся негромко вскрикнула, отскочила от двери и снова высунула голову, едва дыша. Полисенко и Шенкман отшатнулись в сторону. Лисон изогнулся и с чудовищной бранью бросился на капитана. В ту же секунду грянул выстрел. Разведчик раскрыл рот, поднял руки, застыл на секунду и тяжело грохнулся назад на ступеньки лестницы, убитый наповал.

— Товарищи! Что же это! — отчаянным голосом вскрикнул комиссар Шенкман. Капитан Кроми повернулся к нему, чуть прищурив глаз, прицелился и выстрелил. Шенкман ахнул, схватился за грудь и упал, обливаясь кровью.

— Товарищи! — дико закричал Полисенко. — Товарищи!..

Передний солдат с перекосившимся лицом бросился вверх по лестнице. За ним тяжело рванулись другие.

...Уткнувшись головой в подушку, Маруся больше получаса пролежала на каком-то диване. Она рыдала, не переставая.

Солдат вошел в гостиную и, недоумевая, уставился на Марусю.

— Мадам... Здесь нельзя... Надо туды идти, — медленно, стараясь быть понятным, сказал он.

Маруся привстала с дивана и вытерла слезы.

— Да вы кто? Англичанка? — спросил, изумленно глядя на нее, солдат.

— Русская я... Прачка, — сказала Маруся.

Солдат постоял, вздохнул и пошел звать начальство. Через минуту в гостиную вошел, в сопровождении того же солдата, человек в черной куртке.

— Вы кто такая? — строго спросил он Марусю.

— Русская.. Трудящая... — тихо ответила она.

— По-английски говорите? — спросил человек, но, посмотрев на Марусю, устыдился своего вопроса. — Вы прачка посольства?.. Бумаги есть?

Маруся показала бумагу. Комиссар внимательно прочел, затем сделал внушение Марусе.

— Теперь вы сами видите, гражданка, к чему приводит услужение империалистам. Вы будете после общей поверки отпущены на свободу, но впред советую вам быть осторожнее... Отведите ее, товарищ, в приемную.

Солдат повел Марусю по залам. Везде все было разгромлено. На полу валялись осколки стекла, поломанная мебель, кучи бумаг. Проходя мимо одной из комнат, Маруся увидела в ней арестованных англичан. Сидевшая на стуле дама с повязкой Красного Креста плакала, судорожно трясясь всем телом, держа перед собой в вытянутых руках густо окровавленный платок. Маруся опять заплакала навзрыд.

Отпустили ее еще не скоро. Хоть ей и было сказано, что она свободна, стоявший у дверей вестибюля часовой никого не пропускал. «Подождешь», — с тупым упрямством говорил он всем. Маруся подняла с пола опрокинутый стул и села. Через некоторое время в вестибюле, по лестнице, на площадке забегали люди. Затем сверху повели арестованных англичан. Их было человек тридцать. Они шли по четыре в ряд, окруженные конвоем. Дверь посольства открылась настежь. С набережной донесся радостный гул, крики, затем звуки музыки. Часовой оставил свой пост и побежал вниз. Маруся выскочила за ним в вестибюль, оттуда на улицу. Контроля больше не было.

На Неве прямо против посольства, наведя на него пушки и пулеметы, стоял миноносец. На борту выстроившийся оркестр играл «Интернационал». Вся набережная была залита народом. Какой-то оратор, взобравшись на скамейку, кричал, размахивая куском синей материи с вышитыми белыми и красными крестами. Толпа, не слушая, радостно-тревожно гоготала. Перед скамейкой люди в черных куртках сваливали что-то в кучу: бумаги, картины, портреты в рамах. Марусе показалось, что тут был и тот портрет, который она видела час тому назад в небольшой приемной посольства.

— Этот символ, товарищи... — надрываясь, кричал оратор, стараясь перекричать музыку.

— Так его!.. Здорово!..

— Этот позорный символ империализма!..

— Не слыхать!.. Ори громче!..

Оратор со злобой повернулся к Неве и отчаянно замахал рукой в сторону миноносца. Матросы захохотали. Оркестр перестал играть.

— Этот символ, товарищи, советский пролетариат его растопчет ногами! — прокричал оратор. Бросив британский флаг, он соскочил со скамейки на кучу и странно на ней затанцевал. Толпа гоготала все веселее.

— Так их!..

— Пляши, пляши!..

— Империалисты проклятые!..

В верхнем этаже посольства открылось настежь огромное окно. В окне показался человек в черной куртке, за ним другой, третий, — они что-то, видимо, приготовляли. Стало тише. Люди в черных куртках скрылись, затем появились снова, таща что-то тяжелое. Они перекинули ношу через подоконник и отпустили. Что-то мягко стукнулось о стену, слегка закачалось и повисло. Гул ужаса пронесся по толпе. Из окна вниз головой висело мертвое тело, со странно опущенными, точно вывернутыми, руками, привязанное за ноги к чему-то в комнате. Лицо убитого капитана было окровавлено и изуродовано.

Внизу настала тишина. Затем оркестр заиграл «Интернационал».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Муся отворила дверь на звонок. Вошел Браун. Она почти не удивилась, точно именно его и ждала.

— Ничего не случилось? — задала обычный вопрос Муся. Так в то время все в Петербурге встречали приходивших людей. Каждый гость казался вестником несчастья и чаще всего им оказывался. Не дожидаясь ответа, Муся добавила: — Повесьте шляпу... Сюда, пожалуйста.

Они вошли в будуар. Во всей квартире слегка пахло лекарствами.

— Нет, ничего не случилось, — садясь, ответил Браун, хоть она и не повторила вопроса. — А у вас что? Уезжаете? — спросил он, окидывая взглядом будуар. На ковре, на креслах и пуфах Тамары Матвеевны лежали чемоданы, коробки, несессеры. — Очень хорошо делаете.

— Да, мы уезжаем, — ответила со вздохом Муся. — Вчера получили все бумаги, я, признаться, и не ожидала. У них ведь теперь полный хаос, верно, перед своим концом они совершенно потеряли голову: большинство англичан сидит в тюрьмах, а мистеру Клервиллю беспрепятственно выдали пропуск для отъезда. И мне тоже... Он достал такую бумагу...

— Какую бумагу?

— О том, что мы будто бы муж и жена, — сказала Муся, вспыхнув. — Мы и в самом деле тотчас обвенчаемся, как только приедем в Финляндию.

— Поздравляю вас.

Муся удивленно на него взглянула: это поздравление — в такое время — показалось ей неприятным, почти бестактным. «Но что же он мог сказать другое?..»

— Помог голландский посланник, — продолжала она, переводя разговор. — Как странно, не правда ли? Голландия защищает в России англичан!.. Вы знаете, мистер Клервилль... — Ей вдруг показалось глупым, что она на-

зывает жениха мистером Клервиллем. — Вивиан ушел из посольства за четверть часа до налета. Иначе он тоже сидел бы теперь в тюрьме... Если б не случилось хуже, как с тем несчастным.

— Вы очень хорошо делаете, что уезжаете. Советую не откладывать: голландский посланник не всемогущ, а у них все меняется каждый день. Когда вы едете?

— Думаем, завтра, — ответила смущенно Муся.

— А другие члены коммуны? — слегка улыбаясь, спросил Браун. Его улыбка тотчас объяснила Мусе, отчего она смутилась.

— Другие остаются... Сонечка плачет целый день, но об отъезде слышать не хочет. Да и в самом деле, куда она поедет?.. О, дело не в том, что у нее нет средств! — поспешно сказала Муся, вертя на пальце узкое кольцо. — Мы предлагали ей денег, предлагали жить у нас. Ведь всетаки этот ужас долго длиться не может. Ну, еще три месяца, и они падут. Должны пасть, не правда ли?

— Не знаю, — сказал он. — Вы куда поедете? В Англию?

— Вивиан до конца войны человек подневольный, он сам не знает, куда его пошлют. А я поеду в Лондон... Я просила и умоляла Сонечку ехать со мной! Не хочет ни за что! Нет, дело, конечно, не в деньгах. Но вы сами понимаете: Сонечка, это петербургское дитя, вне Петербурга! Кроме того, у нее здесь есть и магнит... — Муся улыбнулась и тотчас стерла улыбку, как неподобающую в таких обстоятельствах.

— А Глафира Генриховна?

— Ведь она больна, — сказала со вздохом Муся. — Вы не можете себе представить, как это событие на ней отразилось!

— Какое событие?

— Арест Горенского, разумеется!.. Я не буду от вас скрывать: между ней и нашим бедным князем был роман! Извините это глупое слово, ну, не знаю, как сказать... Да я и сама хорошо не знаю, что именно у них было. По-видимому, он ей сделал предложение... И представьте, в тот самый день, когда его схватили. — Голос Муси дрогнул. — Он в этот день должен был у нас обедать, не пришел. Ночевать тоже не пришел. На следующее утро она бросилась с Никоновым искать, металась по всему Петербургу, обивала пороги. Нельзя описать, какую энергию она проявила! И только то удалось узнать, что его арестовали! За что, почему, не говорят. Я уверена, он ни в чем не повинен, во всяком случае ничего серьезного. Однако вы понимаете, что значит теперь арест... Вчера Глаша свалилась! Сильный жар, и кровь пошла горлом... Доктор, правда, успокаивает, но не очень... Вы догадываетесь, каково мне теперь уезжать!

Муся вынула платок и вытерла слезы.

— С ней остаются Сонечка, Витя, а из старших Никонов, он к нам переезжает... Что же мне делать, Александр Михайлович, если Вивиану приказано выехать?

— Разумеется, вы должны ехать с ним.

— Ведь, правда, должна?.. Но так это тяжело и больно!

Она помолчала, ожидая, что Браун теперь скажет, зачем пришел.

— Как по-вашему, что может быть с бедным Алексеем Андреевичем?

— Думаю, что он погиб,— ответил кратко Браун. Муся с ужасом на него уставилась.

— Как погиб? Вы думаете, его могут... расстрелять?

— Если уже не расстреляли.

Она заплакала. Весь город говорил о начавшемся терроре, но ей не верилось, что князь может быть расстрелян.

— Извините меня...

Браун встал, прошелся по комнате и снова сел. Он, видимо, со скукой ждал, чтобы Муся перестала плакать.

— Александр Михайлович, может быть, вам что-нибудь известно и вы не договариваете?

— Нет, я ничего не знаю.

— Наверное? Дайте честное слово.

— Даю вам слово. Я знаю только, что в городе ежедневно расстреливают людей сотнями. Думаю, что все арестованные,— люди обреченные.

— Боже мой!.. Неужели ничего нельзя сделать?..— вытирая слезы, спросила Муся.

— Ничего нельзя сделать.

— Найти какой-нибудь ход?.. Александр Михайлович?.. Ведь надо же...

— Я никакого хода не знаю.

— Но ведь есть и среди них порядочные люди!.. Александр Михайлович, мне Фомин в свое время говорил, что к князю очень хорошо относится Карова, знаете? Они вместе служили... Он говорил мне, что вы с ней хорошо знакомы? Теперь она в этой Чрезвычайной Комиссии... Как вы думаете?

— Я о ней думал. Но она ничего не сделает. Попробуйте... Предупреждаю только, одна ссылка на меня погубит того, кто сошлется.

— Вот как?..— Несмотря на свое волнение, Муся с любопытством взглянула на Брауна.— Значит, неверно, что она порядочный человек? Если вообще среди них есть порядочные...

— Послушайте,— сказал нехотя Браун.— Бывает так, знаешь человека годами и думаешь, что хорошо его знаешь: хороший, порядочный, благодушный человек. А вот, в один прекрасный день, разговариваешь с ним — и вдруг, по оброненному замечанию, по брошенному взгляду, по

легкому смешку, видишь, сколько в нем мелкого, злобного, низкого... Вот так было у меня и с Каровой. Да, если хотите, она по природе недурной человек. Но это до первого прорыва другого мира. Жизнь была с ней неласкова. Она за это теперь платит, сама того не зная, сама собой любуясь.

— Я все-таки пошлю к ней Никонова.

— Это связано для него с риском.

— Григорий Иванович совершенно бесстрашный человек. Он ходит по их учреждениям и всячески их в глаза ругает... Прямо сумасшедший!.. Если б вы знали, как он себя вел в эти дни, как он работал для князя, для Глаши, которую он, кстати сказать, всегда терпеть не мог! Я только теперь оценила по-настоящему Никонова.

— Боюсь, что его попытка будет безнадежна.

— Все-таки я надеюсь, что вы ошибаетесь, когда так ужасно говорите о князе... Но если!.. Боже мой, с ней что тогда будет?

— С кем? — рассеянно спросил Браун.

— С Глашей, разумеется, — ответила Муся с некоторым раздражением. Невнимание задевало ее и теперь.

— Да, ее очень жаль... Они будут и дальше жить на этой квартире?

— Все четверо, с Никоновым. Я им все оставляю, и квартиру, и деньги.

— Сколько? — спросил Браун простым тоном, точно не находил ничего неуместного в своем вопросе.

— Я не знаю, сколько, — ответила Муся. — Все, что у меня есть. Правда, у нас осталось не так много. Папа должен был нам переводить из Киева, но...

— Сколько же у вас есть денег? — повторил вопрос Браун. Муся, невольно подчиняясь его тону, назвала приблизительную цифру: она сама плохо знала, сколько еще оставалось в тайниках.

— Я им с радостью оставила бы и свои драгоценности, но они стоят недорого, а теперь в Петербурге вообще ничего не стоят, — сказала Муся. — У Глаши тоже что-то есть: жемчуг, серьги... У Сонечки и у Вити нет ничего, однако Сонечка уже немного зарабатывает в кинематографе, и ей обещают прибавку. А из Англии я смогу им присылать. Ведь оттуда верно удастся?.. Во всяком случае на первое время они трое обеспечены.

— Вы говорите, трое, — сказал, помолчав, Браун. — Виктор Николаевич дома?

— Витя? Нет, я его послала к доктору, в аптеку, еще куда-то. Он так убит тем, что я уезжаю, — вставила Муся, и опять лицо ее осветилось той из ее прежних улыбок, которую она себе бессознательно запретила. — Но что вы хотели сказать?

— Я хотел вам сказать, что Вите тоже необходимо уехать и притом возможно скорее... Должен вам сообщить,

Марья Семеновна, он состоял в одной организации, которая теперь выслежена и разгромлена.

— Не может быть! — сказала, бледнея, Муся. — Не может быть!

— Да... Я не думаю, чтобы Чрезвычайная Комиссия знала об его участии в этой организации. Я даже уверен, что там о нем ничего не знают. Слежки за ним не было, иначе его давно схватили бы. Никто из арестованных до сих пор людей об его участии не имел понятия, так что непосредственной опасности нет. Но все-таки... Могли выяснить, что Горенский бывал у вас. Да вот, вы говорите, Глафира Генриховна открыто о нем хлопотала. Если Витю начнут допрашивать, он, по юности и неопытности, может наговорить лишнего. Тогда он погиб.

— Господи!..

— Я именно для этого к вам зашел. Повторяю, ему необходимо уехать возможно скорее и лучше всего за границу. На юг отсюда теперь пробраться гораздо труднее.

— Что вы говорите! Боже мой!

Браун, щурясь, смотрел на Мусю.

— Надо уехать за границу, — повторил он.

— Но как же это сделать?.. Бежать нелегально? Ведь это безумие! Я с ума сойду! — сказала Муся, совсем так, как говорила Тамара Матвеевна.

— Есть возможность уехать за границу легально, — ответил Браун. Он вынул из бокового кармана большой желтый запечатанный конверт. — Здесь немецкий паспорт. Главе организации удалось достать немецкие паспорта для нескольких лиц. С пропуском, со всем, что нужно. Приметы вставлены, по моим указаниям, точно. Этот паспорт может считаться вполне надежным документом. Ваш юноша вдобавок прилично говорит по-немецки. Он должен, разумеется, старательно изучить свой новый документ.

Муся смотрела на Брауна выпученными глазами. «Значит, и он принимал участие в организации! — подумала она, только теперь это сообразив. — Ну да, иначе откуда он мог бы знать? Наверное он-то и ввел князя и Витю... Какая низость! — чуть не сказала она вслух. — Мальчика повести на такое дело!..»

— Витя отсюда не уедет! Он не захочет оставить отца в крепости.

— Какая польза отцу Вити от его пребывания в Петербурге?

— Никакой, разумеется, но...

— Убедите его уехать. Вы, кажется, имеете влияние на молодого человека... Сказать правду, я думаю, что его отца уже нет в живых. Я знаю достоверно, что заключенных расстреливают ежедневно партиями, по алфавиту. Хорошо, если начали с буквы а, тогда до него далеко. Но могли начать и с последней буквы. Во всяком случае дойдут очень скоро.

Он сказал это просто и жестко. Муся молча с ужасом на него смотрела.

— Придумайте что-нибудь. Скажите, что из-за границы можно будет посылать продовольствие в крепость, что за границей можно будет найти связи. Я думаю, его обмануть нетрудно.

— Я постараюсь. Да, конечно, ему надо бежать... Но это так неожиданно...

— Если он останется здесь, то, вероятно, погибнет и притом без всякой пользы. С этим же паспортом он почти наверное проедет благополучно: на Финляндском вокзале контроля никакого, а в Белоострове пока не очень подозрительны... Кстати, ему необходимы финляндские деньги: русских не принимают даже на вокзале. В конверте, который я вам дал, кроме паспорта и пропуска от Смольного, есть три тысячи финских марок. Это то, что организация может ему дать. А дальше, мой совет ему: из Финляндии кружным путем ехать на юг России. Там он, как смелый юноша, может пригодиться.

— Ну, это мы посмотрим, — сердито сказала Муся. «Здесь чуть не довел мальчишку до расстрела и еще куда-то посылает его воевать!.. Никуда я Витю не пущу, лишь бы через границу проехал. Уж если так, то со мной и будет жить, пока Вивиан не вернется»... Этот новый план не был неприятен Мусе, он только появился слишком внезапно. У нее шевельнулась мысль, что, быть может, Вивиан будет не очень доволен. «Все равно, там увидим...»

— Но если его не пропустят и арестуют на границе? Браун развел руками.

— Все может быть, — сказал он. — Однако риск невелик. Во всяком случае оставаться в Петербурге гораздо опаснее... Вы едете завтра? Виктору Николаевичу я советовал бы тоже уехать не мешкая. Как вы едете: через Финляндию или морем?

— Мы едем в Финляндию. Вероятно, там пробудем некоторое время.

— Вот и отлично, значит там и встретитесь с Витей. Я думаю, вам удастся его убедить, — с улыбкой добавил Браун.

— Все это так ужасно! Так для меня неожиданно! Да... А вы? Вы что предполагаете делать?

— Я тоже, вероятно, уеду, — кратко ответил Браун, прекращая сухой интонацией дальнейшие вопросы. — Пожалуйста, передайте от меня Вите следующее: чтобы он, во-первых, ни в каком случае меня не искал, во-вторых, чтобы и не заглядывал туда, куда ходил до сих пор.

— Это куда?

— Туда, куда ходил до сих пор, — повторил так же Браун.

Муся испуганно на него смотрела. Ее раздражение исчезло, тон Брауна внушал ей непривычную робость. «Как он, однако, осунулся... Верно, он и сам сейчас подвергается большой опасности, — подумала она. — Боже мой, когда конец? Когда конец?..»

— Туда, куда ходил до сих пор, — покорно повторила она. — Я скажу, но...

Браун встал, не дослушав.

— Прощайте. И не сердитесь на меня. У всех есть родные и близкие, — сказал он, отвечая на ее невысказанный укор. — Желаю вам счастья.

Муся тоже встала, взглянула на него, затем опустила глаза. Она была очень взволнована.

— Постойте... Я хотела вас спросить... Сама не знаю, что... Вы не хотите ли повидать Глафиру Генриховну? Надо бы и с ней посоветоваться...

— Что ж ее беспокоить? Ведь она лежит? Передайте ей мой искренний привет и пожелания скорейшего выздоровления, — сказал Браун.

Эти сухие слова ее резнули. «Пожелания скорейшего выздоровления», точно письмо заканчивает! Какой он странный!..»

— С вами когда теперь увидимся, Александр Михайлович?.. Где?..

Он нахмурился и поцеловал ей руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. «Он все понимает... Гораздо больше, чем мне казалось», — подумала Муся. У нее вдруг опять подступили к горлу рыданья.

— Ну, прощайте... Извините, что взволновал вас.

— До свиданья, Александр Михайлович, — сказала Муся. — Дай Бог... Дай Бог, чтобы...

Она заплакала.

II

Ильич лежит в Москве, тяжело раненный при исполнении революционного долга, лишь по чистой случайности не убитый преступной женщиной, изменившей рабочему классу. Здесь в Петербурге предательски убит товарищ Урицкий. Банкиры Антанты покрыли всю пролетарскую страну густой сетью военных заговоров. Перед советской властью стоит альтернатива: погибнуть или бороться изо всей силы, никого не щадя и не останавливаясь ни перед чем. Классовое сопротивление буржуазии может быть сломлено лишь классовым насилием пролетариата, которое не может не отлиться в форму террора. Не понимать этого, сравнивать пролетарский террор с террором буржуазным или царистским, могут только люди, не имеющие представления о марксистской идеологии и о диалектике истории. С железной руки надо снять бархатную перчатку. Лицемерные принципы гуманной демократии должны быть принесены

в жертву принципам классовой революции. Вдобавок рабочие массы настойчиво требуют от партии решимости и воли. Если они их не увидят, они сами возьмутся за дело и затопят страну потоками крови врагов.

Эту схему обсуждать уже давно не приходилось, — она была одобрена партией. Однако Ксения Карловна иногда мысленно восстанавливала весь круг мыслей: схема и успокаивала ее, и ласкала в ней своей стройностью чувство красоты.

Карова мужественно-стыдливо говорила ближайшим партийным друзьям, что свою новую должность она приняла «не без тяжелой внутренней борьбы». И в самом деле, когда Ксении Карловне неожиданно предложили занять важный пост в Чрезвычайной Комиссии, она немного смутилась и попросила несколько часов на размышление. Размышлять ей в сущности было не о чем: за Карову, как почти за всех ее партийных товарищей, неизменно размышляла двадцатилетняя груда брошюр. Смутным, почти бессознательным воспоминанием о чем-то в этой груде была и самая просьба о нескольких часах на размышление. И когда вожди проникновенно говорили Каровой, что, предлагая ей боевой пост, особенно ответственный при создавшейся конъюнктуре, партия требует от нее жертвы, — это также было из брошюрной груды.

Прежде, работая в Коллегии по охране памятников искусства, Ксения Карловна руководилась другой схемой, тоже одобренной партией: пролетариат должен обогатить свою сокровищницу лучшим из того, что создало искусство буржуазного класса. Новая схема была менее привлекательна, но гораздо более драматична; Ксения Карловна очень любила драму. После нескольких часов размышлений, выйдя победительницей из внутренней борьбы, Карова заявила вождям, что видит в сделанном ей предложении доказательство высшего партийного доверия и не считает себя в праве отказаться. Об этом говорили в ответственных кругах, — Ксения Карловна знала, что говорят о ней с восхищением.

Между Каровой и ее единомышленниками непрерывно шел духовный ток, отчасти и составлявший грозную силу партии. То, что понимал Ленин, понимали все его ученики, от светочей теории до рядовых работников, — разве только ученики понимали это с небольшим опозданием, которое весьма способствовало культу учителя. На верхах партии, собственно, не очень интересовались вопросом, почему Карова согласилась пойти в Чрезвычайную Комиссию. Однако там немедленно выделился подновленный образ Каровой. Прежде всего этот образ выделился в ее собственном сознании и облекся в форму партийного некролога. В уме Ксении Карловны замелькали обрывки фраз, доставлявшие ей и моральное, и психологическое, и в особенности эстетическое удовлетворение: «...Но под этой суровой личиной

скрывалось нежное любящее сердце»... «В этом хрупком теле жил мощный дух борца за лучшее будущее»... «Внешняя суровость в отношении врагов пролетариата была лишь самоотверженно принятой маской, прикрывавшей у Каровой доброту, застенчивость, тончайшую духовную стыдливость...» Разумеется, никто из партийных товарищей не сочинял некролога Ксении Карловне; но соединявший их всех умственный ток был столь силен, что, если б любому из них действительно пришлось писать ее некролог, то он у всех непременно вылился бы именно в эти выражения.

Ксения Карловна не выполняла в Чрезвычайной Комиссии обязанностей следователя и почти не встречалась ни с теми людьми, которых казнили, ни с их близкими,— только изредка, мельком, их видала. В первое время она о прошедших мимо нее людях вспоминала с тяжелым чувством. Однако логические доводы и некрологические фразы ее немедленно успокаивали. Помогала также шведская гимнастика. Стальной стиль партии не очень позволял коммунистам делиться внутренними переживаниями друг с другом. Но испытанные работники, стоявшие выше подозрений в сентиментальности, иногда внутренними переживаниями делились,— на вечеринках или в другой благоприятной обстановке. Карова тогда со вздохом говорила, что работать «тяжело, ох как тяжело!» Одному из товарищей, написавшему брошюру о материалистической этике пролетариата, Ксения Карловна даже как-то со стыдливой искренностью **призналась,** что ее мучат кошмары: «мальчики кровавые в глазах». Стыдливая искренность и повышенная требовательность к себе составляли признанную особенность Каровой,—собеседник, тотчас оценивший красоту ее слов, с чувством пожал ей руку и напомнил о любви к дальнему и о железных человеколюбцах французского террора. Ксения Карловна, впрочем, не совсем лгала,— некоторую тяжесть она и в самом деле испытывала, но и кошмары, и кровавые мальчики к ней перешли из той же двадцатилетней груды, в которую материал поступал из самых разных источников. В действительности Карова была от природы совершенно лишена дара воображения и решительно ничего представить себе не могла.

Работа ее имела преимущественно письменный характер; Ксения Карловна читала, обсуждала и подписывала бумаги с ровными большими полями, с аккуратно отбитыми, пристойными, привычными фразами. Пишущие машины очень облегчали работу. Слова: «слушали», «постановили», «к высшей мере наказания», отбивались ровно и четко, что в разрядку, что в особую строку, всегда на надлежащем месте, на равном расстоянии, по одному вертикальному уровню. В первый раз подписаться под такой

бумагой было нелегко, потом стало привычнее и проще. А теперь трудно было уследить даже за тем, чтобы по каждому делу была составлена бумага, чтобы не перепутали фамилий и имен. За этим Карова следила очень строго.

Лишь в самые редкие минуты она точно просыпалась от сна: это и в самом деле обычно бывало ночью. В ту пору внезапно откуда-то выскользнуло и разнеслось по России слово «чекист»; официально полагалось говорить: «разведчик», — это название было хорошее, военное, что всегда очень ценилось в партии. В новом же слове был чрезвычайно неприятный оттенок: нечто порочное и хихикающее. Впервые при Ксении Карловне произнес, с кривой усмешечкой, это слово один из ее сотрудников; оно сразу ей не понравилось. Ночью Карова внезапно проснулась, со словом «чекистка» в мозгу, и без всякой причины, ровно ничего себе не представляя, затряслась, как в лихорадке. Ксения Карловна скоро собой овладела: и глупые слова, и клеветнические выпады контрреволюционеров не могли иметь никакого значения. Однако то же самое с ней призошло еще раза два. Потом прошло и это. Она переменила обстановку и переселилась из «Паласа» на Гороховую, — на переезды уходило драгоценное время. О Каровой в партийных кругах говорили: «работает, как угорелая, восемнадцать часов в сутки»; то же самое говорили о многих других видных работниках, — почему-то всегда указывали именно «восемнадцать часов». Это было сильным преувеличением, но действительно Ксения Карловна почти все вечера проводила на Гороховой за работой.

В ее отделе тишина нарушалась сравнительно редко. Работа имела большей частью спокойный будничный характер. Никаких садистов, кокаинистов, сумасшедших Карова в Чрезвычайной Комиссии не встречала. Водку пили очень многие, достать ее там было легко; но и водку пили не до полного опьянения (этого главное начальство не потерпело бы). В общем дух был напряженной деловитости, **стальной или железной**, как везде в партии, — только с более выраженной беспокойной усмешечкой, с легким подмигиваньем друг другу, приблизительно означавшим: в случае чего всем все равно болтаться на веревочке. Ксении Карловне очень не нравилось, что среди сослуживцев и подчиненных были наглые люди, были взяточники, были бывшие охранники. В одном из своих докладов она прямо писала: «наряду с испытанными и драгоценными элементами в органы В.Ч.К., к сожалению, по отсутствию кадров, проникли элементы патологические, делающие возможными нежелательные и компрометирующие партию эксцессы». Но на верхах, как оказалось, это знали, — сам Ильич со смешком признавал, что тут ничего не поделаешь: нужны, нужны и такие, потом и до них доберемся.

Так и в эту сентябрьскую ночь, читая бумагу за подписью комиссара Железнова о новых лицах, к которым

должна быть применена высшая мера наказания, Карова невольно подумала, что Железнов человек ненадежный, что он в партии всего лишь с прошлого года. В эти дни, после раскрытия английской организации в Москве, после налета на посольство, настроение на Гороховой было особенное, одновременно торжествующее и растерянное; и стальной характер работы, и усмешечка с подмигиванием обозначились еще сильнее.

Приехавший из Москвы комиссар тревожно-весело рассказывал, как попался на удочку английский полномочный представитель. Ксения Карловна, прислушиваясь к рассказу, бегло читала доклад Железнова. Фамилия Яценко в бумаге что-то ей напоминала, но задуматься было некогда, и рассказ ее развлекал.

— У артисточки все и нашли... Вот тебе и Художественный Театр!..

— Так разве она жила на Хлебном?

— Да нет же, в Хлебном это Локерт жил, или как его там? А Константин в Шереметьевском.

— Где это Хлебный? Кажется, на Поварской? Хорошие места...

— Это что англичане! Далеко англичане! А вот не нравится мне, товарищи, что и германский представитель присоединился к протесту дипломатического корпуса против террора.

— Ну и пусть присоединяется. Не очень мы испугались!

— Собака лает, ветер носит...

— Так-то оно так, и в нашей конечной победе не может быть сомнений, однако товарищ Ленин прямо говорит, что империалисты всех стран могут расчудесно между собой сговориться...

— Понятное дело, как до кармана дойдет... На это тоже не надо закрывать глаза, товарищи.

«В самом деле, — подумала Ксения Карловна. — Нет, теперь не время миндальничать, когда Ильич лежит с пулей в груди, а агенты мировой буржуазии сговариваются на наш счет...» — Она бегло дочитала бумагу до конца, сверила номера с главной книгой, вздохнула и сбоку на полях сделала помстку «К. Кар.», с особым штрихом, который от «р» снизу вверх, справа налево, красиво огибал букву К.

III

Револьвер, приобретенный Витей в самом начале революции, мирно пролежал полтора года в спальной Натальи Михайловны. После первых мартовских дней родители отняли его у Вити, ссылаясь на то, что народ уже одержал полную победу. Витя возражал: быть может, еще придется отстаивать завоевания революции с оружием в руках. Но

возражал он сбивчиво, без достаточного напора; револьвер был отобран и помещен в большой шкаф Натальи Михайловны, как в наиболее укрепленное место квартиры. Железного шкафа у Николая Петровича не было. Не было никогда в доме и оружия. Николай Петрович, правда, говорил, что в молодости охотился и что хорошо было бы как-нибудь привезти в Петербург прекрасную двустволку бельгийской работы, в свое время им оставленную на хуторе у приятеля. Однако Наталья Михайловна, не любившая огнестрельного оружия, относилась к рассказам мужа и к двустволке неодобрительно-скептически: «Знаем мы вас, охотников! Ладно, поохотился и будет, обойдемся без твоей двустволки»...

Со времени ареста Николая Петровича Витя ни разу не заглядывал на квартиру родителей. В пору своей работы в лаборатории он подумывал о револьвере. Но Браун решительно запретил ему носить оружие.

— Если так вас арестуют, можно будет выпутаться из беды. А найдут оружие — тогда конец.

Довод был сильный, Витя все же согласился с ним неохотно. Он знал вдобавок, что сам Александр Михайлович никогда не расстается с браунингом. Теперь, уезжая, Витя твердо решил захватить с собой револьвер, который при переходе границы очень мог пригодиться. Поэзию оружия Витя по своей юности чувствовал с особенной силой.

В квартире Николая Петровича давно распоряжалась Маруся, все ключи находились у нее. Говорить ей о револьвере было неудобно; Витя решил прибегнуть к хитрости. Дня через два после отъезда Клервилля и Муси он позвонил по телефону Марусе; сказал, что постельного белья у него осталось немного, надо бы взять еще из шкапа. Маруся очень это одобрила.

— Хотите, я вам в субботу принесу? И простыни, и наволочки... Все цело, как при мамс покойнице. Нитки ни одной не пропало.

— Нет, спасибо, я сам зайду... Да вот сегодня в пять часов.

К удивлению Муси, Витя легко согласился уехать за границу и почти без спора принял ее доводы, когда узнал, что на его отъезде настаивает Александр Михайлович и что сам он тоже уезжает.

— Со мной и от отца готов уехать, — потом, как бы раздраженно, говорила Муся Сонечке. — И, разумеется, он на седьмом небе оттого, что мы все узнали об его славной революционной деятельности!

Муся произнесла эти слова с насмешкой, но в душе она гордилась смелостью Вити. Сонечка тоже была поражена.

— Нашел, чем хвастать, мальчишка: экого дурака в сущности свалял!.. Все они его за нос водили.

— А тебе неприятно, что он тоже едет за границу? —

робко спросила Сонечка, вытирая слезы (она плакала теперь постоянно). — Тебе неприятно из-за Вивиана?

— Какие глупости! Я, напротив, страшно рада, что хоть он вырвется отсюда. Лишь бы благополучно проскочил. Но за вас двоих мне теперь так больно!.. Так больно, Сонечка!..

— Что с нами может случиться, Мусенька?.. Притом ведь доктор сказал, что Глаша скоро встанет.

— Да, сказал, иначе я не уехала бы. Но все-таки... Ты помнишь мои инструкции?.. Повтори.

Сонечка плакала все сильнее, смеялась, опять плакала и повторяла инструкции, которые оставляла Муся в предвиденьи разных случайностей.

Маруся торжественно вела Витю по комнатам. Она, видимо, очень гордилась тем, что ничего из вещей не продала. Квартира была та, да не та. В кабинете на ящиках стола виднелись сургучные печати. Везде, уже с передней, пахло бельем и утюгами. Этот запах бедности неприятно поразил Витю, хоть ему было и не до того.

— Скучно вам теперь? — сочувственно улыбаясь, спрашивала Маруся.

— Скучно...

— Ну, ничего.

— Ну, ничего, Бог даст, опять свидетесь... Вот когда кончится война.

«Не когда кончится война, а через неделю», — подумал Витя. День его отъезда и даже час встречи в Гельсингфорсе были заранее назначены и окончательно закреплены шепотом при отходе поезда, на Финляндском вокзале (Мусю и Клервилля провожали все, даже Маруся).

— Бог даст, когда-нибудь, — беззаботно ответил Витя.

Маруся подала ему связку ключей и несколько исписанных листков бумаги.

— По записке все и проверьте: это белье, это посуда... Вот чашку одну я разбила, из тех белых...

— Да бросьте, Маруся, как вам не стыдно!.. Стану я проверять, точно я вас не знаю.

— Уж знаете или не знаете, а вы проверьте, — говорила грубовато-фамильярным тоном Маруся, очень польщенная его словами. — А потом чаю выпьете, я самовар поставила.

— Спасибо, чаю выпью с удовольствием.

— Сахар есть, сейчас принесу. Мне у нотариуса восемь кусков должны, еще вчера хотели отдать... От маминого шкафа этот ключ.

— Да, я знаю...

Витя родился и прожил всю жизнь в этой квартире. Николай Петрович снял ее тотчас после свадьбы и не хо-

тел съезжать, хотя увеличились и семья, и жалованье. Наталья Михайловна не раз заговаривала о том, что квартира тесновата, всего пять комнат, что улица плохая, и парадный ход бедный; но и она не очень настаивала на перемене, так как была суеверна: здесь они жили очень счастливо, а еще Бог ведает, как было бы в другом доме? Рассказы о квартире, о первых днях на ней, о покупке мебели, об его рождении Витя помнил с ранних детских лет. У родителей лица принимали особенное нежное выражение, когда они об этом вспоминали. «Может, папа и мама здесь бы и весь век прожили, если б не революция...» Мысль о том, что можно прожить весь век на одной квартире, прежде привела бы в ужас Витю. Теперь она его умиляла.

Он вошел в спальную и открыл шкап, с которым у него связывались воспоминания раннего детства. Из шкапа повеяло знакомым запахом старого дерева и душистого мыла. Витя вздохнул. Длинный ящик с мягкой ситцевой крышкой стоял на своем месте так же, как и коробочка с дорогими запонками Николая Петровича, надевавшимися только в исключительных случаях. «Тут бедная мама хранила свои сбережения, тут же и бонбоньерка была, что тогда к именинам принес Владимир Иванович... Вот она внизу, бонбоньерка... Я бегал к маме за конфетами пока не вышли все...» Револьвер лежал на самом верху шкапа, прикрытый для верности мохнатыми полотенцами. Николай Петрович в свое время по требованию жены его разрядил; патроны, которых Наталья Михайловна боялась меньше, были положены в пустую баночку от кольдкрема. Витя осторожно попробовал, уже не забыл ли, как заряжают. Относительно предохранителя он не был уверен: не то надо поднять стерженек, не то опустить. Зарядив револьвер, он повертел приятно потрескивавший барабан, полюбовался появлявшимися на стальном фоне желтыми ободками патронов, затем сунул револьвер в карман и подумал, что если сейчас на улице обыщут, то крышка.

Отводя подозрение Маруси, он взял из шкапа несколько полотенец, платков, наволочек и неумело завязал их в простыню... «Разве и запонки тоже взять? Еще обыск будет... Нет, не надо. Лучше только их положить сюда». Он приподнял мягкую крышку коробки и, вместо перчаток, увидел большую, перевязанную ленточками, пачку писем, писанных столь знакомой ему рукою. Первым движением Витя смущенно закрыл коробку. «Однако уж это никак здесь нельзя оставлять. Запечатаю и передам папе, если увидимся... Когда увидимся», — вздрогнув, поправил себя он и бережно спрятал в боковой карман письма, затем запер шкап и вышел в свою комнату.

Здесь было всего больше перемен. По-видимому, в этой комнате устроилась теперь Маруся. На письменном столе стояли утюги. Постель была покрыта не прежним синим стеганым одеялом, а другим. В углу висели платья.

Только полки с книгами были такие же, как прежде. Витя подошел к ним. По этим полкам легко было проследить его биографию. На самый низ были давно положены истрепанные книги, скрываемые от глаз товарищей: уютные томики «Bibliotheque rose» [1], английские школьные повести, Буссенар, «Грозная Туча», «Князь Иллико», «Сын Гетмана». Большую часть полок занимали «полные собрания сочинений», — Наталья Михайловна всегда ворчала, что не нужно тратить столько денег на переплеты и что отлично можно переплетать в одну книгу не два, а три тома. На показной полке стояли «История философии» Виндельбанда, предел премудрости русских гимназистов, Иванов-Разумник и Анатоль Франс, Дрэпер и Сологуб, разные альманахи и «Вестник Знания». Над полками, к стене булавками была приколота фотография молодцеватого матроса, друга Маруси, — это было Вите неприятно. «Да, надо взять книжку на дорогу», — подумал он. Книги верхней полки его не соблазнили; русских классиков он знал наизусть. Витя нагнулся и взял наудачу книгу снизу. На красном потертом и выцветшем с верхнего края переплете, на фоне московских церквей, был изображен опиравшийся на бердыш мрачный бородатый стрелец. Витя с улыбкой перелистал книгу. Боярин Кирилло Полуэхтович пришел за царской невестой, которая волновалась и не хотела следовать за боярином: «Ой, невмоготу... Тягота на мне больно великая... Плечи давит... Ноги вяжет... К земле так и клонит, ровно веригами гнетет, матушка родимая...» Но матушка ничего не желала знать: «Али ты спятила, государыня-царица, моя доченька... И молчи, нишкни... Што за речи пустяшные... Значитца, так надоть... Ну, на меня обоприся, не молода, а выдержу... И не досадуй ты, не зли ты меня, слышь, Наталья... Царицушка, моя дочушка, шагай, шагай, порожек тута...» Люди усадили Наталью в каптанку царскую, которая здесь же была изображена на глянцевитом вкладном листе. На передней лошади, раздирая ей рот удилами чуть не до ушей, сидел воинственный стрелец, которому в свое время Витя удлинил красными чернилами бороду. Витя засмеялся и вздохнул. Теперь и ему надо было уезжать, правда не в каптанке и не верхом на резвом коне.

— Что же вы? Чай подан в кабинете, — сказала, появившись на пороге, Маруся. — Я теперь у вас устроилась, а то у меня очень темно. Постельное белье свое взяла... Идите же чай пить.

Она чувствовала себя хозяйкой квартиры, а его как бы гостем, которого надо угощать и занимать. Витя перешел в кабинет. Увидев завязанный им сверток с бельем, Маруся захохотала.

---

[1] «Розовая библиотека» (*фр.*) — серия детских книг, выходившая во Франции.

— Вот так завернул! — сказала она.— Все сейчас же вывалится... Дайте, я сделаю, где уж вам!.. А вы чай пейте, пока горячий.

— Спасибо.

— Что ж так мало белья взяли? Дайте ключ, я еще прибавлю.

— Нет, не надо, я скоро опять зайду... В другой раз.

«Проверять хочет почаще... В маменьку пошел», — подумала Маруся. Она, впрочем, нисколько не обиделась: Маруся относилась к Вите с материнским чувством.

— В другой раз само собой... Все будет цело, будьте спокойны, — многозначительно заметила она, показывая, что разгадала его тайное намеренье. — И ключ можете у себя оставить...

— Да нет же!.. Вы, Маруся, не стесняйтесь: если вам нужно, продавайте. Ведь я понимаю, что и вам теперь трудно жить... Папа, я уверен, ничего не скажет.

— Ну вот, продавайте! Какие глупости! — с возмущением ответила Маруся, недоверчиво и насмешливо глядя на Витю. По ее мнению, и сам он не имел права распоряжаться оставшимся на квартире имуществом.

— Я вам разрешаю, — повторил Витя. При всем своем демократизме он был задет ее словами: «Какие глупости!» Маруся тотчас это заметила, — сама чувствовала, что не позволила бы себе так выразиться прежде, даже тогда, когда Витя был еще значительно моложе.

— Как же это: продавать! — сказала она. — И Николаю Петровичу понадобится, да и вы не всегда будете жить у барышень... Папу, верно, скоро выпустят, — добавила она совершенно таким тоном, каким говорят старикам на их золотой свадьбе: «Ну, мы еще и на вашей бриллиантовой попляшем». Не получив ответа, Маруся тяжело вздохнула.

— Дайте мне белье, я все сложу. Веревочка у вас где-то должна быть... Сахару я не положила, сами возьмите.

Она вышла. Витя взял из стоявшей на подносе старинной серебряной сахарницы маленький кусок сахару (если б он не взял, Маруся обиделась бы) и сел на диван, все время чувствуя в правом кармане что-то новое, тяжелое и страшное. «А то положить сюда?.. Так выхватить будет легче. Только бы не прорвал подкладку...» Опять немного полюбовавшись револьвером, Витя положил его во внутренний карман пиджака, отхлебнул глоток чаю и поставил стакан на табурет. Все, подстаканник, поднос, сахарница, было так ему знакомо, и все теперь его умиляло. «Да, у них была настоящая жизнь, органическая», — подумал о родителях Витя. Слово было книжное, но он ясно чувствовал, что такое органическая жизнь. В это понятие входили и сахарница, и подстаканник, и письма, пе-

ревязанные шелковой ленточкой, и шкап с запахом старинной шкатулки, и его собственные книги с картинками, и блины на Масленицу, и общие поездки в Музыкальную Драму, в Александринский театр, и вся эта небогатая, милая и уютная квартира, освещенная даже теперь прошедшей в ней жизнью хорошей, образованной русской семьи. Витя смутно, инстинктом, чувствовал, что у него, у его сверстников уже не будет этой органической жизни. «В столовой прачешная, — что сказала бы мама! Папа в крепости, а я сам не Витя Яценко! Вот кто я...» Он вынул из внутреннего кармана свой фальшивый паспорт, раскрыл и в сотый раз представил себе предстоящий переход границы в Белоострове. «Bitte»[1], — с чистейшим немецким акцентом хладнокровно сказал он советскому разведчику. Однако и тут в кабинете, очень далеко от Белоострова, при этом «Bitte» у Вити мурашки пробежали по спине. К первой странице новенького, пахнувшего клеем паспорта был неровно прикреплен зажимом пропуск из Смольного Института. «Интересно, как они достали пропуск? Смотреть гадко... Не странно ли, что я бегу с немецким паспортом!.. После всего», — подумал Витя, разумея свою четырехлетнюю патриотическую ненависть к Германии. «Да, паспорт знаю назубок... «Familienname»... «Vorname»... «Ständiger Wohnsitz mit Adresse»... «Beruf»[2]»... Все-таки досадно, что написали гимназист, могли написать студент». «Danke sehr»[3], — вслух сказал Витя, получая паспорт от одураченного разведчика. «Немцы говорят так нараспев: «Danke sehr, danke schön»... Нет, это кажется, больше кельнеры... Надо просто флегматично бросить «danke». А если у них возникнут подозрения? Если спросят? — «Wie meinen Sie? Ich verstehe nicht russisch»...[4] И тогда уже готовиться, следить за каждым движением... Предположим самое худшее, сразу распознают, что он тогда может сказать? Благоволите следовать за нами...» Или, если нарвешься на грубиянов: «Знаем мы тебя, какой ты немец! Ты матерой русский контрреволюционер!» — «Ах, знаете? Ну, тем лучше, получайте... Раз-два!..» — Витя выхватил из кармана револьвер и направил его на шкаф с книгами. — «Предохранитель, разумеется, перед Белоостровом переведу... Двух-трех могу ухлопать... Последний выстрел себе в лоб... Или лучше в рот? Но так, чтоб сразу смерть: нельзя им отдаться живым... Официального сообщения, верно, не будет, но из газетной хроники они все узнают: «Кровавое дело в Белоострове... Отчаянное сопротивление переодетого видного контррево-

---

[1] Пожалуйста *(нем.)*.

[2] Фамилия... имя... адрес постоянного места жительства... профессия... *(нем.)*

[3] Большое спасибо *(нем.)*.

[4] Что вы имеете в виду? Я не понимаю по-русски *(нем.)*.

люционера...» «Впрочем, довольно ребячиться!» — с сожалением подумал Витя.

Он спрятал снова револьвер, паспорт, взял стакан с мокрого блюдечка и поставил его на газетный лист, которым был накрыт табурет. На запыленном листе образовался не сомкнувшийся в круг ободок. Помешивая ложечкой в стакане, Витя рассеянно прочел справа от ободка:

«По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в Зимний Дворец, подвергнуто было поименному голосованию. Все без исключения гласные, фамилии которых назывались, отвечали: «Да, иду умирать» и т. п.».

IV

Николай Петрович в недоумении остановился на пороге. В комнате, в которую его ввели латыши-разведчики, было темно. Только одна маленькая матовая лампочка горела у короткой стены, слабо освещая стул и небольшую часть пола. На другом, неосвещенном конце длинной комнаты с трудом можно было разглядеть стол. Яценко не столько увидел, сколько почувствовал, что за столом сидит человек «Верно это он и есть, Железнов», — подумал Николай Петрович, беспокойно оглядываясь на выходивших из комнаты разведчиков. Дверь за ними закрылась. Стало еще темнее. «Ну, что ж, мне совершенно все равно, — подумал Яценко. — Один конец, и слава Богу...»

Николай Петрович действительно в последнее время думал, что жизнь его пришла к концу. Из Трубецкого бастиона каждую ночь, около трех часов, уводили людей на расстрел. До наступления террора Яценко никак не предполагал, что его могут расстрелять; он и самый арест свой приписывал непонятному недоразумению. Перспектива близкой смерти надвинулась на Николая Петровича внезапно и вначале именно своей внезапностью его потрясла. Особенно страшна была вторая ночь: в первую — он еще неясно понимал, что такое происходит в крепости. Потом стало легче. «Да, я внутренно был вполне подготовлен», — думал с удовлетворением и гордостью Яценко. Все же в пятом часу, с рассветом, когда становилось ясно, что, если и расстреляют, то уж никак не в эту ночь, Николай Петрович испытывал необыкновенное облегчение, которого он стыдился: «Вот и подготовлен!.. Слабое животное человек...» На самом деле он все-таки не верил, что его казнят, — юрист в нем сидел твердо. Яценко знал из исторических книг, что в пору революций людей часто казнили без всякой вины; но отнести к себе такую возможность ему было трудно Никаких приготовлений он не делал, чувствуя, что готовиться по-настоящему можно только в самую

последнюю минуту, когда ни сомнений, ни надежды больше не останется. Николай Петрович заставлял себя заполнять день так же, как прежде, однако, шахматные партии у него не выходили. Читал он теперь только философские и религиозные книги, а в них самые важные, трагические главы. Это чтение его успокаивало; но иногда, в худшие минуты, ему казалось, что успокоение от книг было не настоящим, искусственным, порою чисто словесным. Так, ненадолго доставила ему утешение мысль греческого мудреца: «Пока ты существуешь, нет смерти; когда приходит смерть, ты больше не существуешь; значит бояться тебе нечего». Потом Николай Петрович подумал, что мысль — эффектная и фальшивая. «Все равно, как я твердо знаю, что Ахиллес догонит черепаху, чтобы они там ни говорили. Вот здесь, в камере, и я существую, и смерть существует рядом со мной... Нет, не так успокаивают куранты...»

Часто думал Яценко и о том, что он обязан соблюсти до конца достоинство, — обязан и перед собой, и перед памятью Наташи, и перед Витей, хоть Витя, верно, никогда о том не узнает. Он чувствовал ответственность и перед всей своей прошлой деятельностью, перед русским государством, перед тем ведомством, в котором прошла вся его жизнь: несмотря на свои новые мысли, Николай Петрович свою службу вспоминал с гордостью.

На допрос его позвали в первом часу ночи. Для расстрела час был слишком ранний, и Яценко поверил, что зовут именно на допрос. «Наконец-то хватились!» — с радостным и тревожным чувством думал он, следуя за латышами в канцелярию крепости.

— Садитесь, пожалуйста, — негромко сказал сидевший за столом человек. Яценко вздрогнул. Он сел на стул под матовой лампой.

«Ни к чему все это, старые фокусы, знаю», — подумал Николай Петрович . Он знавал, особенно в провинции, следователей, которые при допросе устраивались так, что на допрашиваемых падал свет, а допрашивающий оставался в тени, — и очень верили в этот школьно-романтический прием. «Все-таки у Скобцова в Саратове не было в камере так темно. Этот, вероятно, еще мальчишка... Да мне совершенно все равно. Неужели, однако, так и разговаривать с разных концов комнаты?.. — Глаза Николая Петровича немного привыкли к темноте, но разглядеть комиссара он не мог. — Нет, не мальчишка, кажется, длинная борода... Хорошо, дальше что?» — спросил он себя с неловким чувством, — так непривычно было сидеть у стены на стуле, без стола. Не зная, что делать с руками, он положил их на колени и немного наклонился вперед.

— Ваша фамилия? — спросил комиссар.

— Яценко, — ответил Николай Петрович, не сразу соразмерив звук голоса с непривычно большим расстоянием от собеседника.

— Имя-отчество?

— Николай Петрович.

— Николай Петрович Яценко, — повторил голос в темноте. Николай Петрович вдруг почувствовал легкое сердцебиение. — Вы были действительным статским советником в пору царизма? — поспешно спросил комиссар и, не дожидаясь ответа, добавил: — Что вы можете сказать по делу, по которому вы обвиняетесь?.. Предупреждаю, что на уличающие вас вопросы вы можете не отвечать.

Сердце у Николая Петровича как будто без причины забилось еще сильнее. — «Не случился бы нервный припадок!.. Надо ответить... Что ж это, он пародирует наш суд?.. Пускай, мне все равно. Только бы сердце успокоилось... Что такое он спросил?» — Яценко воспроизвел в памяти звук заданного ему вопроса: «...по делу, по которому вы обвиняетесь...»,

— Мне неизвестно, по какому делу я обвиняюсь, — ответил он.

— Вот как?.. Ничего неизвестно?

— Ничего.

— Ничего... Так-с...

Комиссар помолчал.

— Вы привлекаетесь к ответственности по делу о контрреволюционной Федосьевской организации, — сказал он наконец.

— Виноват, какой организации?

— Федосьевской... Федосьевской контрреволюционной организации, — повторил комиссар.

— Я о такой организации сейчас в первый раз в жизни слышу.

— В первый раз в жизни слышите?

— Да, в первый раз от вас слышу.

— Ах, от меня в первый раз слышите? Может быть, от других слыхали прежде?

«Ну да, шулер! — подумал Яценко. — Или он издевается? И тон как будто издевательский... Конечно, мне все равно... Как колотится, однако, сердце... Не упасть бы в обморок...»

— Нет, и от других никогда не слыхал, — равнодушным тоном ответил он, справившись с дыханием.

— И от других никогда не слыхали?.. Так-с...

— Не слыхал.

— А о господине Сергее Федосьеве вы слышали? — спросил, опять помолчав, комиссар.

— О том, который при старом строе ведал политической полицией?

— О нем самом.

— Да, о нем слышал.

— О нем слышали... Может, и лично знали?

— Да, знал и лично.

— Его знали и лично... Так-с... Когда вы его видели в последний раз?

— Давно... Года полтора-два тому назад.

— Ах, года полтора-два тому назад? Стало быть, еще при царизме?

— Да, при старом строе.

— С тех пор ни разу не видали?

— Нет, с тех пор ни разу не видал.

— Так-с... На какой почве состоялось ваше знакомство?

— У нас раз возникли деловые служебные отношения, — ответил, с трудом дыша, Яценко. Непонятная тревога росла у него с каждой минутой. «Надо отвечать коротко... Так легче...»

— Деловые служебные отношения? Письменные?

— Как?.. Нет, устные.

— Только устные?

— Да, только устные.

— Федосьев никогда вам не писал?

— Никогда...

— Ни разу?

— Ни разу... Дайте, однако, вспомнить... Нет, ни разу.

— В этом уверены?

— Совершенно уверен.

— Нам, напротив, известно, что он вам писал, гражданин Яценко.

— Вы ошибаетесь.

— Вспомните... Постарайтесь вспомнить...

— Я твердо помню: Федосьев никогда мне не писал.

— Так-с... Где находится ваш служебный архив?

— В ту пору, когда я был следователем по важнейшим делам, мой архив находился в здании суда на Литейном (Николай Петрович передохнул после длинного предложения). И потом вместе с этим зданием сгорел... После февральской революции я получил другое назначение, и с тех пор мои бумаги...

— Тогда сгорел весь ваш архив? — перебил его комиссар.

— Да, тот архив весь.

— Разве вы никогда не уносили служебных бумаг из здания суда?

— Иногда уносил ненадолго на дом для работы... Но затем немедленно возвращал назад.

— Всегда и все?

— Разумеется, всегда и все, — повторил Яценко. «Что за странный допрос! Что ему нужно?..»

— В вашей частной квартире действительно при обыске никаких служебных бумаг найдено не было, — несколько более мягким тоном сказал комиссар. — Но, вероятно, вы хранили их еще и в другом месте?

— Где же еще? Хранил в своем кабинете в здании суда... Там все и сгорело.

— Так что и переписка ваша с Федосьевым сгорела во время пожара?

— Я вам сказал и повторяю, что у меня... никакой переписки с Федосьевым не было... Впрочем, погодите: один раз я ему действительно писал.

— Ах, один раз писали? — резко сказал комиссар. — Но вы только что утверждали, что не писали никогда, ни разу, что вы твердо это помните!

— Я утверждал, и продолжаю утверждать, что он мне никогда, ни разу не писал... Но я ему раз действительно писал по одному делу, которое...

— Где же находится это ваше письмо? — еще резче перебил его комиссар.

— Должно быть, в архиве Федосьева.

— А где находится архив Федосьева?

— Этого я не знаю.

— Как не знаете? По той должности, которую вы занимали до октября, вы не можете этого не знать!

— Совершенно не знаю... Мне не было никакого дела ни до Федосьева, ни до его архива. Вероятно, его архив находится там, где был его кабинет... Или, может быть, его куда-нибудь оттуда перевезли... Ведь всем этим занялись историки. А часть полицейских бумаг, помнится, была уничтожена... в первые дни революции... Тогда много документов должно было погибнуть. Так, по крайней мере, говорили. Во всяком случае я ничего об этом не знаю... И никакого отношения к этому я не имел.

— Вы однако же хотите меня уверить в том, что вы после революции не поддерживали никаких отношений с Федосьевым?

— Не знаю, удастся ли мне вас уверить... но это именно так: я никаких отношений с ним не поддерживал... Да ведь он и исчез из Петрограда в первые же дни революции.

— Нам доподлинно известно, что он находится в Петрограде.

— Возможно... Об этом я ничего знать не могу... Хотя бы потому, что давно сижу в крепости.

— Хотя бы потому? Значит, вы признаете, что до вашего ареста вы поддерживали отношения с Федосьевым?

— Послушайте, — сказал, бледнея, Яценко (сердце у него колотилось страшно). — Так совершенно бесполезно допрашивать... Я сам был всю жизнь следователем... И если вы думаете, что меня можно поймать... при помощи таких приемов... вы ошибаетесь... Я вам говорю, что...

— Мои приемы стоят ваших, гражданин Яценко! — сказал, поднимая голос, комиссар. Николай Петрович замер.

— Я вам говорю, что ни разу... не видал после революции Федосьева, — едва выговорил он. — Хотите верьте этому, хотите нет... Ни о какой организации я... понятия не имею!.. И если...

— Но вы сами признали, что работали при царизме совместно с Федосьевым! Этого достаточно!

— Достаточно... для чего?

— Достаточно для того, чтобы привлечь вас к ответу перед революцией, господин Яценко!

— Так и говорите!.. Тогда, по крайней мере, не выдумывайте... контрреволюционных организаций!..

— Но вы состояли и состоите в Федосьевской организации!

— Нет, не состоял и не состою!.. Если вообще такая организация существует...

— Вы говорите неправду, господин Яценко! — привстав из-за стола, вскрикнул изменившимся голосом комиссар. В комнате резко прозвучал звонок.

Николай Петрович открыл рот, тоже привстал и вдруг откинулся на спинку стула. «Ну да, это он!..»

— Вы Загряцкий! — сказал, задыхаясь, Николай Петрович.

— Отведите его! — прокричал вошедшим разведчикам комиссар.

V

В стеклянном кубе у входа плавали золотые рыбки, но их и разглядеть было трудно в грязной мутной воде. Чахлая пальма у машины шевелила запыленными пальцами, когда мимо нее проходили люди. Это был собственно не ресторан и не трактир, и не кабачок. Больше всего заведение походило на декорацию портового притона в передовом театре, где руководит постановками режиссер, умеющий создавать настроение. Видало оно всякие виды и, быть может, помнило времена, когда за границу ездили морем и Петербург был настоящим портом. В последние годы перед войной опытные люди, не любившие вокзальных буфетов, поздно ночью приезжали сюда запивать кахетинским вином шашлык или селянку. Владелец, весело-глупый человек, встречал дикими возгласами завсегдатаев и яростно кричал половым: «Рабы, режьте лучшего козленка!.. Рабы, тащите жареных павлинов!»... Из кухни торжественно выходил человек с кинжалом у пояса, принимал заказы и, мрачно-сочувственно улыбаясь, кивал головой в ответ на указания тех гостей, которые имели личные взгляды на шашлык, а селянку называли «селяночкой», потирая руки и улыбаясь светлой улыбкой. Хозяин приносил

старательно запыленные бутылки, пил с гостями и с хохотом рассказывал общеизвестные анекдоты, выдавая их за истории, случившиеся с ним или с одним его приятелем.

Заведение очень опустилось с войною. Умер хозяин, ушел воинственный человек, которого завсегдатаи, с непонятной гордостью, называли осетином. Революция совсем подорвала дело. Гастрономы приуныли и перестали приезжать, последнего полового рассчитал новый владелец, публика стала много хуже, — разве изредка забредет наблюдать **нравы ночного притона** компания литераторов или какой-нибудь молодой провинциальный турист, втайне воображающий себя Фаустом. Пришли в упадок шашлык и селянка, но кахетинское вино подавалось по-прежнему, — говорили, что новый хозяин имеет связи.

Пахло рыбой, капустой, табаком и керосином. Окна передней комнаты были плотно завешены. Публики было немного, — из-за событий в городе или оттого, что весь вечер шел проливной дождь. Застрявшая компания матросов невесело пила и, зевая, играла в карты. На них подозрительно поглядывал хозяин, грузный рябой и косой человек в высоких шершавых сапогах, как нельзя более подходивший наружностью к декорации портового притона. Он не был уверен, что ему заплатят. Матросы уже понемногу теряли положение знати нового строя, однако ссориться с ними не приходилось.

Женщина в платке, следившая за игрой, встала и допила вино в стаканах, стоявших перед ней и перед ее соседом. Матрос выругался крепко, но без оживления.

— Много лакаешь!..

— Двенадцатый час... Спать хочу, — сказала женщина.

— Куда ж в такую погоду?.. Сейчас пойдем.

— Отчего мотора не взяли? Я говорила...

— Потом будете языком чесать, — сердито сказал другой игрок. — Я говорю: ва!

— Ишь, задается! Если ва, то деньги на бочку.

Женщина изобразила презрительную улыбку на помятом, крашеном, еще красивом лице.

— Скучно мне с вами... Граммофон бы пустить, песню какую-нибудь, — сказала она, натягивая продранные перчатки, видимо, главную свою гордость.

— Не время теперь песни играть, — угрюмо отозвался хозяин. Матрос к нему повернулся.

— А для буржуев было время? — грозно спросил он.

— Ладно, пустим, — равнодушным тоном ответил хозяин и вышел во вторую комнату, где стоял граммофон.

За столом гость в дорожном плаще что-то писал при свете керосиновой лампы. Перед ним стояла пустая бутылка. Больше в комнате никого не было.

— Дождь идет? — спросил Браун, отрываясь от тетради.
— Идет, — ответил хозяин с виноватым вздохом.
— Дайте, пожалуйста, еще бутылку.
— Карданаха прикажете?
— Да, карданаха.
— Сейчас принесу... Вас граммофон не обеспокоит? — понижая голос, спросил хозяин. — Матросня требует...
— Не обеспокоит.
Хозяин поставил пластинку. Женщина из двери с любопытством на них смотрела. Браун встретился с ней глазами. Извилистая трубка мембраны впилась в пластинку и завертелась. Женский голос завыл: «Прощайте, други, я уезжаю...»
— Закусить ничего не желаете?
— А что у вас есть?
— Горячего ночью ничего нет. Есть колбаса.
— И хлеб?
— Хлеба, извиняюсь, нет.
— Что ж, дайте.
— Сию минуту.
Хозяин вышел и в дверях столкнулся с женщиной.
— Это кто? Буржуй? — радостным, истосковавшимся шепотом спросила она.
— А я почем знаю? Мы паспортов не требуем. Только бы платили, не то, чтобы жулье какое-нибудь.
Женщина оглянулась на игроков и вошла во вторую комнату.
— Мусье, угостите девочку вином, — привычным тоном, как автомат, произнесла она классическую фразу, которую по лени никогда не меняла. Браун оглядел ее с ног до головы. Она почувствовала, что дело может выйти, и нацепила привычную вызывающую улыбку, хоть гость показался ей неприятным. «Ах, ша-рабан мой, амери-канка... — запела она вполголоса, вторя граммофону. Хозяин вошел с откупоренной бутылкой и скользнул по ним опытным внимательным взглядом. — ...А я девчонка, ды хулиганка!..»
— Закуску сию минуту подам. И сухари нашлись.
— Спасибо.
— Матросы сейчас уходят, — многозначительно сказал хозяин и отошел к граммофону. — «...Ды болит мое сердце, ды болит пе-чонка...» — пела женщина, поплясывая на месте и глядя на Брауна. Граммофон захрипел. Хозяин поднял трубку, приблизившуюся к красному кружку. — «...Ах, что поделал со мной мальчонка!»...
— Ты с ними уходи и назад возвращайся, — прошептал хозяин.
«...Единственно для пользы дела имею честь представить товарищам членам коллегии В.Ч.К., что наружное наблюдение за арестованным 31-го числа августа месяца

контрреволюционером б. князем Алексеем Андреевичем Горенским было с самого начала поставлено неудовлетворительно и поверхностно как вследствие недостаточного числа предоставленных в распоряжение отдела разведчиков, так и в силу их полного незнакомства с делом, требующим опыта, размышления и навыка. О вышесказанном я неоднократно имел честь докладывать товарищам членам коллегии В.Ч.К., в частности в моих письменнных донесениях за №№ 1 и 7...»

«Этот фрукт хочет нас учить,— морщась, подумала Ксения Карловна.—Достаточно того, что его самого пока терпят...»

«При надлежащей постановке дела и при наличии опытных наблюдателей обязательно должны быть замечаемы все связи и знакомства лица, принятого в наблюдение (первоначально было написано «принято в мушку», но потом вместо «мушки» поставлено слово «наблюдение»). Это требование позволяю себе назвать азбукой разведочного дела. Между тем обращаю внимание товарищей членов коллегии В. Ч. К. на то обстоятельство, что контрреволюционер б. князь Горенский был отмечен Инфагом наружному наблюдению еще 25-го числа августа месяца. Однако товарищ разведчик наружного наблюдения, принявший б князя Горенского, потерял связь с принятым и не сумел даже выяснить, где именно б. князь Горенский провел последние ночи и с кем он встречался, что само по себе достаточно свидетельствует о явно ненормальной и дефективной постановке всей службы наружного наблюдения в Аго...»

«К сожалению, в этом он прав... На Аго надо будет обратить особое внимание»,—подумала Ксения Карловна и сделала пометку: NB

«...В силу доверия, оказанного мне товарищами членами коллегии В.Ч.К., считаю себя обязанным обратить их внимание на этот прискорбный факт. Наружному наблюдению удалось, правда, установить, что 30-го числа августа месяца в семь часов вечера принятый в наблюдение б. князь Горенский встретился на Каменноостровском проспекте в доме № 74 с лицом, в котором, путем сопоставления некоторых имеющихся у Инфага данных, удалось с большой вероятностью признать известного товарищам членам коллегии В.Ч.К. по моему предыдущему докладу за № 16 контрреволюционера Александра Михайловича Брауна...»

Бумага задрожала в руках Ксении Карловны.

«Однако, в результате той же неопытности товарищей разведчиков наружного наблюдения и их полного незнакомства с делом, означенное лицо не было тотчас принято в наблюдение, а самое сообщение было мне сделано с опозданием непозволительным и недопустимым, каковое обстоятельство еще раз свидетельствует о той же дефектив-

ной неналаженности службы наружного наблюдения в Аго. Немедленно принятые меры уже не могли привести к цели, так как означенное лицо, проявляющее не в пример более осторожности и осмотрительности в действиях, чем б. князь Горенский, в указанном выше доме более не появлялось. Свои предположения о роли контрреволюционера Александра Брауна я имел честь изложить на устном докладе от 26-го числа августа месяца члену коллегии В.Ч.К. товарищу Каровой и получил предписание выяснить общую картину дела, воздерживаясь от преждевременного ареста означенного лица, если бы к такому аресту представился случай.

Не позволяя себе входить в обсуждение видов и намерений коллегии В.Ч.К., считаю себя обязанным указать, что в настоящее время общая картина дела может уже считаться выясненной, главным образом на основании внутреннего освещения в так называемой второй десятке Федосьевской организации. Преступное контрреволюционное сообщество, во главе которого стоял б. действительный статский советник Сергей Васильевич Федосьев, готовило центральный террористический акт, известный товарищам членам коллегии В.Ч.К. по моему докладу за № 16. Есть все основания предполагать, что контрреволюционер Александр Браун, химик по профессии, ведал в злоумышленной организации делом изготовления взрывчатых веществ. Однако внутреннее освещение, исходящее из второй десятки, а равно и из других источников, известных товарищам членам коллегии В. Ч. К., пока не дало, к сожалению, возможности установить, где, как и при чьем участии производилось это изготовление.

В силу арестов, произведенных 31-го числа августа месяца и 1-го и 2-го числа сего сентября месяца, злоумышленная организация может считаться вполне освещенной и в значительной мере ликвидированной. Арестованные по этому делу, согласно распоряжения, переданы в ведение товарища Железнова. Позволяю себе надеяться, что коллегия В.Ч.К. оценит труд лиц, этому со всем служебным рвением способствовавших, как равно и общую активность отдела.

Как известно коллегии В.Ч.К., несмотря на все усилия отдела, наиболее опасные деятели преступного сообщества до сих пор не арестованы и об их планах и местопребывании внутреннее освещение никаких сведений или хотя бы наводящих указаний дать не могло. Вполне вероятно, что злоумышленники попытаются в ближайшие дни скрыться за границу или на юг России, находящийся во власти контрреволюции. Почитаю долгом в самом спешном порядке обратить внимание коллегии В. Ч. К. на полную неудовлетворительность постановки наблюдения и контроля на пограничных пунктах, как сухопутных, так в особенности морских. При надлежащей энергии, распорядитель-

ности и быстроте действий попытки бегства могут быть, однако, еще пресечены, и в этом случае были бы все основания надеяться на арест злоумышленников в самом ближайшем будущем. В связи с указанным выше устным распоряжением, объявленным мне 26-го числа августа месяца членом коллегии В. Ч. К. товарищем Каровой, и признавая картину дела в настоящее время совершенно установленной, имею честь покорнейше просить коллегию В. Ч. К. о безотлагательном разрешении отделу, в порядке собственной инициативы, не теряя ни минуты времени и не сносясь для каждого отдельного действия с коллегией В. Ч. К., принять все меры к скорейшему задержанию скрывшихся руководителей преступной организации. Одновременно, считаясь также с вполне реальной возможностью вооруженного сопротивления с их стороны, настоятельнейшим образом прошу о немедленном предоставлении в распоряжение отдела нового контингента разведчиков, причем повторно и единственно для пользы дела ходатайствую о разрешении мне выбирать сотрудников самостоятельно, из лиц мне известных, не считаясь с их прошлой службой. Долгом чести почитаю заверить товарищей членов коллегии В. Ч. К., что новые завербованные мною разведчики, в сознании печальных ошибок своего прошлого и счастливые доверием, оказанным им правительством рабочих, крестьян и солдат, с удвоенной энергией, не за страх, а за совесть, будут служить на знакомом им поприще делу строительства великого пролетарского государства».

Лицо Ксении Карловны было смертельно бледно. Минут десять она сидела за столом, то перепечатывая доклад, то откладывая его в сторону. Затем ее глаза наполнились слезами. Она поспешно взяла бумагу, сунула ее в боковой ящик и, захлопнув ящик, два раза повернула ключ в замке.

Пахнуло сырым ветром. Боковая дверь открылась. Вошел Федосьев. У него в руке был небольшой электрический фонарь. Он остановился на пороге, окинул взглядом комнату и сел, расстегнув пальто.

— Выспались? — спросил Браун.

— Не то чтобы выспался, а часика три подремал, — ответил, зевая, Федосьев. Он потушил фонарь и сунул его в карман. — А вы неужто так и не ложились?

— Негде было.

— Как негде? Вам хозяин предлагал вторую постель... Скверные, однако, у него постели.

— Да, меня они не соблазнили.

— Все же лучше было поспать, чем так сидеть всю ночь, только нервы расстраивать.

— Да и вы рано встали.

— Еще часа полтора ждать. Приехать надо к самому

отходу парохода, так выгоднее. Конечно, можно было бы полежать еще немного... Нравятся вам мои мохнатые усы?

— Ничего. Немцы теперь больше бритые.

— Всякие бывают, я под кайзера... Все-таки, врать не стану: спалось не очень хорошо, — сказал Федосьев, потягиваясь и улыбаясь. — А вы винцо пили?

— Пил. Недурное вино.

— По-видимому: две бутылки выпили. Второй стакан вы для меня припасли?

— Для вас.

— Но ни единой капли мне не оставили... Смотрите, Александр Михайлович, все будет на пристани зависеть от вас и от вашего самообладания.

— Надеюсь, вы окажетесь достойным партнером.

— С той оговоркой, что немецким языком я владею плохо. Вы, наверное, лучше сойдете за немца.

— Говорите наудачу «Jawohl» [1] или «Ach, so!» [2] — это всегда можно.

— Буду по возможности помалкивать. Во всяком случае я очень рад, что вы согласились бежать вместе со мной. По правилам конспирации нам следовало бы разделиться.

— Напротив, им в голову не придет, что мы с вами можем путешествовать вместе.

Федосьев засмеялся.

— О, вы психолог! Как же выходит по психологии: проскочим мы или нет?

— Не знаю. Но я стою на своем: проще нам было уехать по железной дороге. Паспорта надежные.

— Нет, уж в этом вы на меня положитесь: по моим сведениям, надзор на пограничных вокзалах много серьезнее, чем на пристани. Этому вашему юному помощнику можно по железной дороге, но не нам с вами. Уж меня-то и в Белоострове, и в Орше хорошо знают в лицо. Там гримом не отделаешься, да и грим у нас с вами неважный.

— Тогда и на пристани арестуют, — сказал Браун. Он рассеянно взялся за бутылку и тотчас поставил ее на стол: в ней в самом деле не было ни капли.

— Все возможно. Игра: пан или пропал. Вы не игрок?

— Я? О нет.

— А я почему-то думал, что вы игрок... Хозяин пошел спать?

— Да, как только матросы ушли, пошел спать. Сказал, что в четыре часа лошадь будет подана... Он из ваших бывших, этот Спарафучиле?

— Из них самых. Всем мне обязан.

— Это, конечно, ценная гарантия! А помните, вы меня попрекали тем, что я доверяю молодому Яценко?

[1] Конечно (*нем.*).
[2] Ах, так! (*нем.*)

— Мой расчет надежнее. Вы ставили на честность, а я на страх. Какой ему смысл меня предавать? Ведь я тогда могу кое-что рассказать и о нем.

— За такой подарок, как вы, ему все простят.

— Может, простят, а может, и не простят. Здесь же дело простое, выгодное: и меня сплавил за границу, и деньги с нас получил. У него, правда, наружность прямо для корчмы из «Риголетто», но человек он простой, милый и радушный, как очень многие жуликоватые люди.. Риск, бесспорно, есть, однако что же мне было делать? Я теперь нигде не нашел бы убежища, в гостиницах постоянные облавы, квартира моя выслежена.

— Та, адрес которой вы, по вашим словам, сообщали только самым надежным?

— Да, та самая, — с досадой ответил Федосьев — Знаете, если мне еще иногда хочется прийти к власти, то преимущественно для того, чтобы кое-кого вывести на чистую воду.

— И повесить.

— Разумеется, и повесить.

— А дело наше, правду сказать, кончилось довольно бесславно. По каким причинам, Сергей Васильевич? Задумано все было хорошо, люди были неробкие, неглупые, опытные. Почему все так провалилось?

— Провалилось по случайности. Вследствие недостатка средств, вследствие глупости союзников, вследствие болтливости рядовых юнцов, вследствие неосторожности вашего Горенского. Более глубоких причин не ищите: их нет.

— С такими причинами нельзя показаться на глаза историку-социологу.

— А черт с ним, с историком-социологом! Я правду говорю, — сказал Федосьев Он взглянул на часы. — Господи! Еще только четверть третьего.

— А вдруг есть и более глубокие причины?

Федосьев опять широко зевнул и потянулся

— Спать хочется, — сказал он. — Спорить можно будет на пароходе, если, Бог даст, проскользнем... Тогда всему подведем итоги. Я напишу мемуары, а вы «Ключ». Закончите его каким-нибудь таким философским эффектом, вот как поэты самый эффектный стишок всегда приберегают под конец стихотворения... Ужасно спать хочу... Так какая же глубокая причина?

«Ну, теперь все кончено, — подумал Яценко, оставшись один в камере, — ясно, сегодня и расстреляют, чтобы я никому не мог о нем рассказать!..»

Он подошел к умывальнику и стал умываться: у него осталось от допроса ощущение — точно от прикосновения к кому грязи. Руки у Николая Петровича тряслись, сердце колотилось. «Боюсь?.. Да, конечно, боюсь... Но все же

не так страшно, как думают, как описано... Где это описано?.. У Гюго?.. Или у Достоевского?.. Да, у Достоевского...— Ему тотчас показалось диким, что на краю могилы он вспоминает о каких-то романах.— Да, это очень странно... Даже, пожалуй, смешно... Книжная натура... Русский интеллигент...— Огрызок мыла в руках Николая Петровича трясся все сильнее.— И то, что я об этом говорю «русский интеллигент», это еще более смешно и книжно... Не надо думать о пустяках, когда жить осталось несколько часов... Может быть, даже несколько минут?.. Нет, больше: уводят в четвертом часу... Когда меня к нему потребовали, было двадцать минут второго. А теперь?..» Николай Петрович хотел было вынуть часы, но не мог прикоснуться к ним мокрыми руками. «Больше незачем беречь часы... Да, я сейчас вытру... О чем же теперь думать? Чистое белье надеть? Сегодня все надел... Помолиться? Это в самую последнюю минуту... Что же?.. Да, надо торопиться, надо торопиться»,— бессмысленно повторил он вслух, вытирая руки чистым краем полотенца. «Вот, так... Двадцать минут третьего. Значит, еще есть время, много времени!.. Да, часы я оставлю Вите... Несчастный Витя! Написать ему надо... Разумеется!..» — вспомнил Николай Петрович.

Он сел на кровать, взял лист бумаги с доски, служившей ему столом, и быстро, трясущейся рукой, написал: «Милый, ненаглядный мой Витя, когда ты прочтешь эти строки, меня уже не будет в...» И тотчас он подумал, что и эти слова — выдуманные, чужие, ненужные. «Так всегда пишут осужденные или самоубийцы... И «когда ты прочтешь», и «ненаглядный»... Так и умираем во власти чужих слов... Так и я прожил всю жизнь,— только в последний год и жил своим умом... Да, все прогадал, все просмотрел!.. Что же я могу сказать Вите? Последний завет? Учить его, как жить? Если я сам так удачно прожил свой век!.. Притом опасно в такие дни напоминать им о Вите. И не доставят они ни письма, ни часов. Нет, не надо, ничего не надо...» Николай Петрович разорвал лист на мелкие клочья и почему-то сунул их под подушку.— «Что же нужно сделать? Разве о нем написать правду: кто он такой. Кому написать? Ему ведь и бумаги передадут, он только будет смеяться... Он для этого и меня вызывал, чтоб посмеяться... Все мои тогдашние слова повторял,— думал, вздрагивая, Николай Петрович.— Но я допрашивал честно: я думал, что он убил Фишера... А он прекрасно знает, что я ни в чем не виноват... Конечно, месть, гнусная месть подлеца... Рассчитывал, что я его не узнаю? Да, я не сразу его узнал и мог не узнать совсем в темноте, он отрастил бороду... Теперь он уже ничем и не рисковал: отсюда меня поведут прямо на расстрел... Или застучать в дверь, потребовать, чтоб тотчас повели к коменданту для важного сообщения? Так он и встанет ночью!.. Да и тот, конеч-

но, отдал распоряжения... Теперь понятно, почему меня столько времени держали в одиночке, почему никого ко мне не пускали. Он ждал своей минуты и дождался: теперь риска почти нет... Если бы он боялся, он не вызвал бы меня на допрос, мог ведь обойтись и без допроса. Или если б вызвал, то не стал бы повторять мои слова... А прямо себя назвать все-таки не решился: в подлой душонке страх боролся со злобой... И насчет Федосьева он хотел узнать: не осталось ли писем? Если б я сдержался и не назвал его по имени, было бы, конечно, то же самое...»

Яценко лег на постель и закрыл глаза. Зубы у него стучали. «Нет, в последние минуты, на краю могилы, не надо и думать о таком человеке... Пусть живет, мне все равно... Да, теперь совершенно все равно... Лампа режет глаза... О чем же я не успел подумать?.. Руки трясутся, ногам холодно, но это нервное: нет, я не боюсь... Все это выдумано: и кричать не хочется от ужаса, и на стену не хочется лезть. Хочется, чтобы скорее все кончилось — и только...» Он передвинулся на постели и накрылся одеялом. «Снять воротничок? Нет, сейчас придут... Почему же надо в воротничке? Да, на краю могилы», — сказал он и вдруг совершенно отчетливо представил себе могилу, ее край, окровавленную землю, червей. «Вероятно, здесь же где-нибудь у стены и расстреляют... Лишь бы сразу, наповал... И главное, чтоб не зарыли еще живого... — Николай Петрович задохнулся от ужаса. — Едва ли: они из нагана стреляют в затылок, верно и череп разлетается... У Вити тоже был револьвер. Теперь лежит в Наташином шкапу... А может быть, все-таки написать Вите?.. Нет, не надо... Не передадут, не передадут», — проговорил вслух Яценко. Он быстро приподнялся, затем снова лег и закрыл одеялом и голову. «Да, какой подлец! Какие подлецы!»

Николай Петрович вдруг вспомнил свой давний разговор с Федосьевым, выражение лица, интонацию Федосьева, когда тот говорил: «Дайте им власть, и перед ними опричнина царя Ивана Васильевича покажется пустой забавой...» — «Да, он был прав, но прав в плоском понимании жизни. А в другом понимании прав я... А этот доктор Браун, он при чем еще тут был? Он убил Фишера... Или не убивал его, все равно... Все это — в плоском понимании жизни... Но что же в этом, не в плоском? До чего я возвысился за час до смерти? Не возвысился ни до чего... Нет, нечего сказать и Вите... Витя узнает не скоро... В один год потерять отца и мать!.. Кременецкие его не оставят, дай им Бог счастья!.. А, может, когда-нибудь, как-нибудь до него дойдет... Для него я обязан крепиться...»

Дрожь у него ослабела, плечи свело, колени, ступни ног одеревенели. Стало теплее. «Так хорошо... Так бы лежать долго, долго... Да, что же будет там?.. Если правда, сегодня увижу Наташу... Нет, не может этого быть! Не надо думать об этом... Скоро, скоро все буду знать...»

Он лежал неподвижно несколько минут, вдавив в шершавую простыню пальцы рук. Вдруг нервный удар потряс его. «Что ж это? Неужели жить осталось полчаса?» — подумал, задыхаясь, Николай Петрович, точно лишь теперь он впервые понял, что настал конец. Он сбросил с себя одеяло и сел, глядя перед собой неподвижным взглядом. «Сейчас расстреляют... За что? Почему? Потому, что Загряцкий оказался у них следователем... Но ведь и еще десятки людей будут сегодня расстреляны!.. Я не один... Не за что цепляться! Нет, не за что, не так она хороша, жизнь... Только бы не опоздать, не пропустить! Вспомнить то, о чем надо подумать...— Николай Петрович напрягал все усилия, но ничего вспомнить не мог.— Нет, если не писать Вите, то и нет ничего такого... Ничего я не забыл... Жизнь, жизнь надо удержать в памяти! Все, все...» — думал Яценко, переводя взгляд с одного предмета на другой. Так он во время своих путешествий старался запечатлеть в памяти знаменитые здания или особенности пейзажа, окидывая их в момент отъезда последним взглядом. «Что же запечатлеть-то?.. Вот эту камеру... Сырое пятно на стене... Это окно... Кажется, чуть-чуть светлеет... Это лежит «Круг чтения»... Заглянуть в последний раз?.. Может, с **ним** будет легче? Нет, не надо...»

Легкий шум был еще очень далеко. Однако Николай Петрович тотчас понял, что это идут за ним. Сердце у него остановилось. «Вот, вот когда нужно самообладание... Да, это сюда... Ну, вот и конец... Раньше даже, чем я думал... Только бы справиться с дыханием...» Шум приближался. «Сейчас они на углу коридора... Повернули... Так и есть...»

Дверь открылась, и в камеру вошло несколько человек. В их появлении не было решительно ничего трагического или торжественного. У одного из них был в руке фонарь. Оружия не было ни у кого. Вид вошедших людей был совершенно будничный, скучающий; у некоторых лица были сонные. Человек с фонарем кратко предложил Николаю Петровичу следовать за ними и, сказав, равнодушно на него посмотрел, как бы спрашивал: «Этот что еще будет выделывать?»

— Я давно готов,— ответил Николай Петрович. Он справился с дыханием, голос у него не дрогнул, и слова эти были сказаны спокойно, именно так, как он хотел. Его спокойствие не произвело никакого впечатления на вошедших людей, как нисколько на них не подействовало бы, если б Яценко забился в истерике. У них уже не было не только человеческих чувств, но и желания играть в человеческие чувства.

Они вышли из Трубецкого бастиона и быстрым шагом направились куда-то в сторону. «Как странно, что дождь, такой тихий, тихий дождь... И как все просто!.. Вот и

смерть... Витя сейчас спит... Несчастный Витя!.. Да, скорей все запомнить о земной жизни»,— подумал Николай Петрович. Но и запомнить было нечего.

Вдали чернели тени. Где-то сверкнул красный огонек. Яценко почувствовал, что он спокойнее, чем был у себя в камере. Он пытался даже сообразить, где будет происходить расстрел. Ориентироваться в темноте было очень трудно. Николаю Петровичу казалось, что они идут к реке. «Почему же они без оружия? В карманах, что ли, наганы? При свете фонаря расстреливать не могут. Значит, там будет свет. . Ничего не видно... Хороший какой дождь... Вот сейчас и дождя не будет... Где же другие?.. Неужели сегодня я один!.. Еще запомнить небо», — вспомнил Николай Петрович. Небо было черное и суровое. «Может быть, сейчас сзади выстрелят в затылок?» — подумал он и, вздрогнув, поспешно оглянулся. Шедший сзади человек как будто дремал на ходу, заложив руки в рукава и вдавив шею. «Зароют, верно, тут же... Жидкая грязь, поглубже бы... Ведь сейчас должны быть ворота?..» Капля дождя упала ему на шею и поползла за воротник. Они очутились перед стеной. Стало совсем темно. «Кажется, своды... Значит, выходим!.. Что такое!..» Капля проникла под рубашку, Николай Петрович, морщась, выгнул спину. Вдруг спереди заблестели огни. Он увидел перед собой Неву. Внизу, у ярко горевшего фонаря, чуть покачивалась на воде лодка. Вдали чернела большая баржа. «Да, может, и не на расстрел ведут! Увозят куда-нибудь?.. В Шлиссельбург?..» — подумал Николай Петрович. В нем засветилась необыкновенная, невероятная радость. «Нет, не может быть!.. — сказал он себе. — Что же это такое!..»

Сзади послышалась музыка, столь знакомая Николаю Петровичу. Только здесь она звучала так, как в камере никогда не звучала. «Ну, слава Богу!.. Еще раз довелось услышать!.. В такую минуту!..» — подумал Николай Петрович, едва сдерживая рыданья и стараясь сохранить в душе звуки курантов.

— . .Большевики назвали тюрьму изолятором, а смертную казнь — высшей мерой социальной защиты. Сделали они это, собственно, просто по глупости, но глупость оказалась символической, и символ стал убийственным не для одних большевиков... Несчастье нашей эпохи в том, что никаких твердых, подлинных ценностей у нас нет и не было: были звонкие слова, к содержанию которых не было ни настоящей любви, ни настоящей ненависти. Сократ и люди, угостившие его цикутой, исходили из прочных моральных ценностей, — в сущности одних и тех же. В Варфоломеевскую ночь и убийцы, и жертвы одинаково твердо верили в Бога, в вечное спасенье, в загробную жизнь. Все войны в истории велись за право, за справедливость, за веру, за родину, и даже хитрецы, для

своей выгоды посылавшие на смерть простых честных людей, врали только наполовину, — даром их разоблачает глубокомысленный историк, все видящий насквозь... Я очень далек от того, чтобы идеализировать прошлое. Но тогда была вера в будущее. У нас и этого нет. У нас ничего нет, Сергей Васильевич...

— Базаров, тот, помнится, хоть в лягушку верил, а?

— У нас нет и лягушки. Должно быть, эта вера в лягушку и останется последней твердой верой просвещенного человечества. Ничего у нас нет, ничего! Мы точно спросонья говорили... Или под наркозом: так не проснувшимся или пьяным людям кажется, будто они говорят дело, но слова их ничего не значат и бессмысленно виснут в пустоте. Такие у нас были слова: свобода, самовластие, гуманность, деспотизм, родина, человечество и много, много других звонких слов... Что не было обманом, то было самообманом. С какой легкостью на смену «человечеству» пришли и «Gott strafe England» и «les sales boches» [1], и Козьма Крючков, насадивший на пику сразу тринадцать швабов. С какой легкостью горячие русские патриоты оказались на наших глазах независимыми украинцами, независимыми литовцами, независимыми грузинами. И как незаметно-благозвучно тюрьма превратилась в изолятор, а «Столыпинский галстух» в «высшую меру»...

— Красно говорите, Александр Михайлович, — сказал с удовольствием Федосьев. — Много в этом и правды... Хоть на мой взгляд, чуть поверхностны ваши слова, уж вы меня извините: что ж так все валить в одну кучу, без логических разграничений, без политического анализа! В этом есть неуважение к чужой вере... А человек, неизлечимо больной демократическими взглядами, пожалуй, вам скажет: «Parlez pour vous» [2] — и по-своему он тоже будет прав: у них ведь строго по части либерального мундира и знаков отличия за беспорочную службу демосу. Демос их послал к черту, но они беспорочную службу продолжают. Казалось бы, теперь слепому ясно, что демосу наплевать и на чужое право, и на чужую свободу. Может быть, ему наплевать даже и на свою собственную свободу, но уж на чужую наверное. Иными словами, демократия сама себя укусила за хвост. Это, разумеется, неприятно; если же в такой невыгодной позе сохранять величественно-спокойную улыбку: ничего, мол, не случилось, то, пожалуй, и несколько смешно, а?

— Меня особенно трогает ваше уважение к чужой вере, — сказал Браун. — Не мешало бы иметь уважение и к чужому неверию... Да и вообще я часто замечал: люди, очень горячо отстаивающие уважение к вере, всякую не-

---

[1] Боже, покарай Англию *(нем.)*; грязные боши *(фр.)*.
[2] Говорите за себя *(фр.)*.

приятную им политическую или философскую веру готовы смешать с грязью.

— Однако, согласитесь, Александр Михайлович, что четыреххвостку нельзя приравнивать к религии. Во всяком случае на людей с такой религией скоро во всем мире будут пальцами показывать: нельзя же в самом деле разгуливать по бирже в костюме эдемского ангела!

— Да ведь в этом-то, повторяю, и драма: старые ценности умерли, новых нет. Мир три тысячи лет держался своего рода предустановленной гармонией, о, не в философском, не в лейбницевском, а в самом обыкновенном житейском смысле слова: по счастливому стечению обстоятельств, человек всегда рождался в той самой вере, которую всю свою жизнь единой спасительной и считал. Потом дьявол искусил. нет, ты подумай, да сравни, да поищи... Чего уж тут ждать хорошего? То, что могло дать жизни не пошлый и не временный смысл, давно стало анахронизмом... Жить надо было либо вечно, либо очень недолго.

— Уточните понятие анахронизма. Европа от римского папы теперь пришла к передовому фармацевту: папу разоблачила, но фармацевта признала. Значит ли это, что история мысли на фармацевте и остановится?

Браун безнадежно развел руками.

— Все шуточки, скептические шуточки, — сказал он. — И Победоносцев ваш скептически шутил, и Валуев скептически шутил, и Тютчев скептически шутил... Одни Россию проболтали, другие Россию прошутили... Урожай на Монтеней был у нас почти такой же обильный, как на Дантонов. А нужен был Энвер и его не нашлось. Мы с вами неудачные кандидаты. Не в этом дело... Я где-то читал: когда в Японии умирает император, его тело под гробовую музыку отвозят в усыпальницу в колеснице, запряженной черными волами. Потом этих волов умерщвляют голодом... Мы черные волы, Сергей Васильевич!

— Судя по предыдущему, я этого не вижу. Вам и на кладбище-то провожать было нечего.

— На землю надвигается тьма, — не слушая Федосьева, говорил Браун, — густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак не реакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может: большая дорога истории шла именно сюда, мировой прогресс подготовлял именно это! История прогрессивно готовила штамп прогрессивной обезьяны, и мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира.

— Нет, уж на историю, пожалуйста, не взваливайте. История, как нотариус, она любой акт зарегистрирует, ей что! Это вы, господа, готовили злую штампованную обезьяну, для которой мы, грешные, держали про запас клетку.

А вышло так, что мы-то все же были изверги и обскуранты, а вот мы умницы и идеалисты. Может быть, немного заблуждавшиеся по своему идеализму, но такие хорошие, такие милые, — со злобой сказал Федосьев. — Памятник не памятник, а так небольшую статуэтку и вам всем поставить не худо... Заметьте, ведь мы-то никому ничего особенного и не обещали. По моим понятиям, государственный деятель в нормальное время должен делать то, что делает хороший городовой на перекрестке оживленных улиц: он регулирует движение, пропускает то одну людскую волну, то другую, стараясь никого не раздражать, когда нужно поднимает палочку. Разумеется, если у него на глазах не горит дом и не работает шайка разбойников... Наше дело маленькое. Это опять-таки ваши друзья, по своей любезности, так щедро раздавали обещания за чужой счет. Ах, да что об этом рассуждать, я об этом и говорить не могу спокойно.

— Да и я, признаюсь, не хочу об этом говорить, особенно с вами, столь случайный мой собеседник и попутчик. Что до памятников и статуэток... Послушайте, та женщина, которая стреляла в Ленина... Вы думаете, через сто лет на месте покушения будет ей стоять памятник? Нет, памятник будет Ленину! Обезьяна поставит ему!

— Не понимаю в таком случае, зачем вы готовили бомбы, — сказал Федосьев, пожимая плечами.

— Отчего же не взорвать князя тьмы?

— Ох, какие слова! Это бы вы тоже приберегли для «Ключа», — смеясь, заметил Федосьев. — Впрочем, вы и так, верно, пробуете на мне отрывки из своего шедевра. Уж очень красноречиво.

— Слова самые обыкновенные, — ответил хмуро Браун. — Я об этой тьме говорю, о тьме, надвигающейся на мир по строгим законам исторического прогресса.

— Но как бороться против того, что по-вашему должно восторжествовать?

— Отчего же нельзя? Большинство людей живет положительными идеями, — пусть худосочными, пусть дешевыми, но положительными. У интеллигенции для видимости вера в прогресс, по существу вера в личное счастье: и обман положительный, а самообман тоже положительный А я, Сергей Васильевич, могу связать свою жизнь только с отрицательной идеей. В истории началась великая борьба, настоящая борьба на истощение, — что кому опротивеет раньше: культурному миру его фасадный порядок или миру большевистскому его хаос в хамстве? Мой выбор сделан прочно, сделан навсегда и без оглядки. Быть может, за тем фасадом пустыня, с разбросанными по ней балаганами. Но в ней есть хоть пещеры, последние пещеры, куда могут укрыться от обезьяны последние свободные люди. Здесь же нет ничего, кроме хамства, рабства и тупости. Любить мне больше некого, нечего и не за что.

А ненавидеть, оказалось, еще могу, — и слава Богу! Этому стоит посвятить остаток дней.

Лицо его было очень бледно, глаза блестели. Федосьев смотрел на него, насторожившись. «Или это две бутылки вина? — спросил себя он. — А то попробовать? Самое время, на краю гибели...»

— Чем же вы жили до сих пор?

— Жил из любопытства. Или просто по инерции. При минимуме любви к жизни развил максимум жизненной энергии: формула нелогичная, но мыслимая.

— И динамит готовили из любопытства?

— Нет, повторяю, это по ненависти. Да еще из уважения к самому себе.

— Выдуманное чувство, Александр Михайлович, выдуманное: его английские сквайры изобрели.

VI

— ...Да, об этом говорить трудно, потому что говорить можно только тяжелыми страшными словами, а они, вдобавок, все давно сказаны, и это дает еще лишний повод для того, чтобы от них отмахнуться с настоящей или деланной скукой. Вопрос передо мной стоял тот же, что перед тысячами других людей до меня: как найти такое — не говорю, миропонимание, но такое ощущение жизни, при котором она имела бы сколько-нибудь разумный смысл? В сущности именно этого я искал двадцати лет от роду — и снова к этому вернулся на пятом десятке. Эти вопросы впервые возникают тогда, когда еще «новы все впечатления бытия», затем вторично после того, как впечатления бытия успеют достаточно опротиветь. Я тридцать лет жил напряженно: очень был любопытен и очень мне тогда хотелось жить. Однако жил я, как и все, по программе, составленной другими... Знаете, как в больших музеях перед наиболее знаменитыми картинами ставят особые скамейки для заранее предусмотренного восхищенья. Вот такие скамейки неизвестно кем, неизвестно зачем, были расставлены наперед и по моей жизни. И я послушно посидел на каждой... Добавлю, что я достиг в жизни почти всего, чего мог достигнуть: приобрел имя, состояние у меня было и я следовательно был избавлен от того, что заполняет жизнь громадного большинства людей, от борьбы за деньги. О власти у нас говорить не приходилось. В своей науке тоже я сделал большую часть того, что мог сделать. И я с ужасом увидел, что у меня ничего нет. Это называется, кажется, моральным банкротством? Скорее это моральная нищета: я не банкрот, потому что и обязательств за собой не знаю, — кем они установлены, где проверены, где закреплены, наши человеческие обязательства? И я, наконец, послал к черту все эти скамейки. Заодно и некоторые картины... Не все, но многие! К черту!

— Верно, в это время вы и познакомились с Фишером?

Браун вздрогнул и мрачно уставился на Федосьева. Язычок пламени лизал копотью стекло. Федосьев прикрутил фитиль. Стало темнее.

— Вы, однако, человек сумасшедший, — сказал Браун.

— Александр Михайлович, какие уж теперь секреты? Может, через час и вас, и меня убьют, независимо от наших достоинств и недостатков, заслуг и преступлений. Скажите, ради Бога, правду: мне не хотелось бы умереть, так ее и не выяснив.

— Какую правду?

— Скажите, ради Бога: вы убили Фишера?

Браун смотрел на него, медленно, с сокрушением, кивая головой.

— Лечитесь, — сказал он. — Это навязчивая идея!

— Нет, в самом деле: вы убили Фишера, Александр Михайлович?

— Да бросьте вы, полноте! — вскрикнул Браун. — Как вам не стыдно!

— Значит, не убивали? — протянул Федосьев, глядя на Брауна. Он наклонился и провел пальцем по столу, на который медленно оседала копоть.

— Успела накоптить лампа... Как это мы не заметили?

— Не заметили.

Они помолчали.

— В свое время вы мне довольно подробно разъяснили вашу гипотезу о Пизарро. Выходило довольно складно. Пизарро так Пизарро. Но тогда вы предполагали, что я работаю на большевиков. Кажется, с тех пор вы имели возможность убедиться в том, что эта ваша гипотеза была не совсем удачной. Как же вам не стыдно? Что, собственно, вы предполагаете?

Федосьев слегка развел руками.

— Я и сам теряюсь в догадках. Конечно, я очень преувеличивал и вашу связь с революцией, и вашу связь с Каровой. Но все-таки... Может, что-нибудь литературное? Какой-нибудь Диоген Лаэртский, с равноценными ощущеньями? Или вообще поиски новых ощущений? Или, быть может, желание проявить торжество своей воли над другими? Вы мне как-то говорили об этой поразившей вас мысли Гегеля. Хоть вы, собственно, и не из тех людей, которые живут по книжкам.

— Господи, какая ерунда! — сказал Браун. — Право, и отвечать стыдно.

— А вы преодолейте стыд.

Федосьев встал, подошел к окну и отодвинул штору. За окном было черно. Раздражающе медленно падали капли дождя.

— Дождь не прекращается, — сказал он, вернувшись на место.

— Уж если так, — спросил Браун, — то объясните мне вы, откуда, собственно, возникла у вас эта навязчивая идея?

— Возникла в результате строго логического хода мысли.

— Если не секрет, какого? Ну, хоть отправная точка? Да, собственно, почему вы вообще интересовались Фишером?

— Как почему? Должен вам сказать, что половина России была у меня под наблюдением. Я к своему делу относился любовно, как заботливый хозяин. Ночами не спал...

— Все думали в бессонные ночи, за кем бы еще установить слежку?

— Именно. А для наблюдения за Фишером я имел причины. Самые разные причины, начиная с его взглядов.

— Какие же у него были взгляды! Просто был циник, как большинство разбогатевших людей.

— Цинизм, Александр Михайлович, понятие довольно неопределенное: очень много оттенков. Фишер был циник с революционным уклоном. Быть может, он считал a priori мошенником всякого человека, однако к революционерам, я думаю, он относился особо: тоже мошенники, конечно, но по-иному, по-новому. Поверьте мне, все наши революционные меценаты были именно таковы. Человек он был, вдобавок, широкий, щедрый, шальной. Он легко мог отвалить на революцию несколько сот тысяч, а то и больше. Добавьте к этому немецкую фамилию, роль, которую он играл. Добавьте и главное: дочь у него большевичка... Одним словом, я приставил к нему секретного сотрудника.

— Кого?

— Это все равно, кого, — улыбаясь, ответил Федосьев.

— Да ведь дело прошлое.

— Ничего не значит: мы секретных сотрудников не называем.

— А вот Спарафучиле назвали.

— Он не секретный.

— Уж не Загряцкого ли вы приставили к Фишеру?

— Загряцкого? — с удивлением протянул Федосьев. — Того, что обвинялся в убийстве?.. С чего вы это взяли?

— Были о нем какие-то темные слухи незадолго до революции. Потом он, кажется, исчез.

— Чего только люди не говорят! — сказал Федосьев со вздохом. — Нет, разумеется, Загряцкий тут ни при чем... Поселил я в «Паласе» филера, который следил за каждым шагом Фишера. И вот, из донесений я узнал о вашем знакомстве с ним... Вами, как вы знаете, я интересовался

давно. Выходило довольно занимательно: с дочерью дружен, с отцом тоже дружен. Странная, казалось бы, дружба? Уж вы не сердитесь, Александр Михайлович, сами говорите, дело прошлое...

— Одним словом, вы установили наблюдение и за мной?

— Так точно.

— Что же оно выяснило?

— Выяснило, что вы бывали на той квартире.

Снова наступило молчание.

— Дальше?

— Становилось все занятнее. Знаменитый ученый и этакая квартира! Выяснилось также, что у вас есть от нее свой ключ. Вдруг разрывается бомба: Фишер отравлен на этой самой квартире! Согласитесь, Александр Михайлович, что и менее подозрительный человек, чем я, мог тогда вами заинтересоваться чрезвычайно. В разносторонних способностях революционеров я никогда не сомневался... Извините меня еще раз, вашу комнату осмотрели, — будьте спокойны, совершенно незаметно, техника у нас, слава Богу, была недурная. Ничего предосудительного найдено не было. Разве только одно странное обстоятельство: того ключа не нашли, — сказал Федосьев, с любопытством глядя на Брауна. — Прежде лежал в среднем ящике стола, а, помнится, дня через два после дела его уже не нашли. Так и не знаю, куда делся ключ? — добавил он полувопросительно. — Должен сказать, больше с той поры я ничего добиться не мог. Ничего решительно, хоть за вами следил до самой своей отставки. Сделал было еще одно изыскание, но оно дало отрицательные результаты.

— Какое изыскание?

— Дактилоскопическое, не стоит рассказывать.

— Милые нравы! — сказал, пожимая плечами, Браун.

— Чьи нравы? Ах, полицейские нравы? — с улыбкой спросил Федосьев.

— Все это вы делали с ведома следователя?

Федосьев засмеялся.

— С ведома Яценко? О нет, я ему ничего не говорил. Почтенный Николай Петрович и по сей день обо всем этом не имеет ни малейшего представления. Но надо сознаться, и я выяснил не больше, чем он. Так с тех пор и стою дурак дураком перед этой загадкой: вы или не вы? Вскоре после того меня уволили, дело давно потеряло практическое значение, но интерес к загадке у меня остался: вы или не вы?

Браун смотрел на него, качая головой.

— Вот какие у нас были реалисты и практики! — сказал он. — В этой фантастической стране главой полиции мог быть маньяк!.. Значит, я отравил Фишера для того, чтобы его миллионы достались товарищу Каровой? Которая, через час, быть может, нас с вами расстреляет?

Федосьев вынул часы.

— Пять минут четвертого. Очень может быть, что через час нас убьют. Не расстреляют: я живым не дамся, и вы, верно, тоже... Да, да, я именно это предполагал. Теперь это кажется нелепостью — по крайней мере отчасти, — но, согласитесь, тогда дело представлялось в другом виде: теперь все вверх дном. Может быть, тогда вы и рады были бы дать полезное революционное назначение наследству Фишера? Так ли уж это было немыслимо? Теперь все вверх дном, — повторил Федосьев. — Заметьте, что и это фантастическое наследство оказалось как бы мифом, каким-то черным символом: ведь миллионы Фишера растаяли под секвестром. И деньги его, и акции, и что там еще, все теперь совершенно обесценилось, конфисковано, национализировано, все пропало, все досталось им... Очень странная история, — сказал он, помолчав. — Все мы на них работали: боролись, мучились, уничтожали друг друга — с тем, чтобы все досталось им... Ну, да это философия... Так не вы? Значит, не вы?.. Кто же убил Фишера? — спросил Федосьев и вдруг вспомнил, что об этом когда-то его растерянно спрашивал Яценко.

— Мое мнение вам известно.

— Известно? Мне? Ах, тот ваш рассказ: умер от злоупотребления возбуждающими средствами. Да, вы мне это тогда говорили в «Паласе».

— Мы тогда обменялись гипотезами. И в сущности, мы оба были почти правы, — сказал медленно Браун.

— Как же так: оба правы? Вы с этой басней... с этой гипотезой, а я с Пизарро?

— А вы с тем объяснением, которое вы под конец дали мотивам действий... Пизарро.

— Этого я что-то не пойму. Значит Фишер отравился... Вы тогда называли вещество, но я не помню, какое?

— Кантаридин.

— Почему вы так уверенно говорите?

— Потому, что он меня расспрашивал об этом веществе.

— Когда? — спросил, встрепенувшись, Федосьев. — Там? На той квартире?

— Да, и там, на той квартире, — повторил медленно Браун.

— ...И вот, тогда я себе сказал, что кругом обманул своего биографа! Для этой грязи, для этих женщин, для этих вечеров он никакой главы отвести не мог бы. А я, старый дурак, я гордился своей биографией! Это было всего глупее. Да, я весь проникнут был тем, что вы только что назвали выдумкой английских сквайров, — ведь вы двойник того худшего, что есть во мне. Но себя обманывать я не мог и не хотел: я увидел, что и я тот же Фишер.

— Нескромный вопрос: ведь это были очень молодые женщины?

Браун смотрел на него с ненавистью.

— Да, молодые. Однако, не радуйтесь: не настолько молодые, чтобы вызвать интерес к делу прокуратуры. Но я тогда ясно понял, что и я не лучше Фишера... У меня все иллюзии исчезли приблизительно в одно время.

— Но чем же кончилась та ночь? Вино, молоденькие женщины... Вы, кажется, сказали, и музыка? Откуда же взялась музыка? Ах, то механическое пианино?

— Да, играло пианино... Вторую сонату Шопена. Знаете?

— Нет, не знаю... Значит, тогда он заговорил о кантаридине?

— И соната была отвратительная, и женщины, — говорил Браун, не слушая Федосьева, глядя мимо него на окно. — Все было отвратительно! Самое отвратительное был, конечно, он сам. И в нем, как в зеркале, я тогда впервые увидел себя... Очень страшно!.. Очень страшно, — проговорил он вполголоса.

«Верно и выпито было немало... Как и сейчас, — подумал Федосьев. — Или это у него тихая экзальтация? Не стоило затевать такой разговор, когда через час все будет зависеть от крепости его нервов. Ну, да теперь все равно...»

— И вы, уходя, назвали ему дозу этого кантаридина?

— Какую дозу? Что вы несете? Я не врач.

— Может быть, не ту дозу назвали?

— Оставьте, Сергей Васильевич! Право, это становится скучно.

— Не ту дозу назвали? По ошибке? Или из отвращения?

— Бросьте ерунду!

— Если это ерунда, то во всем деле нет ровно ничего страшного. Я думал, в конце концов моральное начало, как водится, за себя отомстило. Но моральному началу, значит, не за что было мстить?

— Разумеется, не за что! Это вы из меня почему-то хотели сделать кающегося преступника.

— Однако вы сами, кажется, сказали...

— Я даже и похожего ничего не говорил.

Федосьев смотрел на него озадаченно.

— ...Потом вы ушли, а он остался с женщинами?

— Да... Впрочем, кажется, и женщины уже собирались уходить.

— Но следствие пришло к выводу, что на этот раз он не успел пригласить своих женщин.

— Следствие пришло также к выводу, что Фишера отравил белладонной Загряцкий.

— И больше вы ничего не знаете? Кроме того, что случайно влопались в историю, о которой лучше молчать.

— И больше я ничего не знаю.

— Но вы предполагаете, что Фишер умер от этой дозы кантаридина... быть может, чрезмерной?

— Умер от разрыва сердца.

— Но разрыв сердца вызвала эта доза?

— Или просто его развлечения.

— Так, так... Значит, не вы, — протянул с усмешкой Федосьев.

— ...Все-таки странная у вас жизнь. То кабинет ученого, то гарем Фишера, то динамитная мастерская... А впереди?

— Впереди у всех одно и то же. Так у Рафаэля, на «Spasimo di Sicilia» ведут Христа и разбойников. Конец пути уже виден вдали: на вершине Голгофы возвышаются одинаковых три креста.

VII

Они прислушались. Задребезжали колеса. Федосьев вынул часы.

— Ровно четыре. Пора.

— Спарафучиле аккуратен. Вашей школы, — глухо откликнулся Браун.

В первой комнате открылась дверь, послышались неверные шаркающие шаги. Хозяин, чиркая спичкой, бормотал ругательства. Коптящий огонек задрожал у двери.

— Что, готово? — спросил Федосьев.

— Так точно, — ответил с порога хозяин. — Эх, весь керосин сожгли, — проворчал он, вдвигая в лампу стекло. Так точно, готова лошадь... — Он невнятно добавил что-то похожее на «ваше превосходительство».

— Мы тоже готовы, — сказал Федосьев. — Ну, теперь пожалуйте сюда, надо за все расплатиться.

— Да, надо за все расплатиться, — повторил, вставая, Браун. Федосьев искоса на него взглянул. «Только бы не нашла на него какая-нибудь депрессия или меланхолия, — с беспокойством подумал он, — совсем будет теперь некстати... При тусклом свете лампы лицо Брауна было мертвенно-бледно и страшно. Впоследствии Федосьеву казалось, что оба они, несмотря на внешнее спокойствие и привычный шутливый тон, были не вполне нормальны в эту долгую странную ночь.

— За сегодняшнее сколько? — спросил он хозяина и принялся отсчитывать ассигнации. Хозяин внимательно за ним следил, поверяя на лету счет. Выражение его лица становилось все более почтительным.

— Вот, получайте, — сказал Федосьев, называя цифру. — Так?

— Так точно...

— Это за гостеприимство и за хлеб-соль... Теперь, как было сказано, для вас приготовлено еще семь тысяч. Их вы получите, когда приедем... Вот они, — добавил Федосьев, показывая пачку ассигнаций. — Пять тысяч царскими, и две облигациями Займа Свободы... Облигации

верные. Как раз и доход по ним подошел, видите: 16 сентября срок платежа?

— Царскими бы лучше,—ответил, почтительно улыбаясь, хозяин.

— Вот тебе раз!.. Не верит Займу Свободы! — веселым тоном обратился Федосьев к Брауну, который угрюмо молчал. — Да вы прочтите только, что на них написано, — сказал он. — Вот: «...Чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды...» Видите? Как же вам не стыдно!..

— Царскими вернее, — в тон ему, с легким смешком, повторил хозяин.

— Вы дураку и купоны сбудете, их я вам дарю.

Браун нетерпеливо застучал слегка по столу. Федосьев посмотрел на него с веселым недоумением. «Мило шутят охранники», — так перевел он выражение лица Брауна.

— Ладно, все получите царскими, — переменив тон, сказал Федосьев. — Чемоданы вынесли?

— Так точно. Все снес из вашей комнаты, как вы приказали.

— Едем.

Они вышли. Еще не рассвело. Капал редкий скучный дождь. Было холодно, сыро и тоскливо. У фонаря стоял старый извозчичий фаэтон, на вид непосильный для клячи, которая мотала головой, косясь на вышедших из дому людей.

— Не опоздаем? — вполголоса спросил Браун.

— Никак нет, к самому отходу попадете, — оживленным полушепотом говорил хозяин, укладывая чемоданы. Он, видимо, был очень доволен отъездом гостей. — Здесь вас не обеспокоит? Этот я на козлы возьму... Пожалуйте, садитесь...

— Как бы только нас всех не задержали по дороге, — сказал Федосьев, глядя в упор на хозяина. — Или на пристани... И нам будет неприятно, да и вам тоже: не дай Господи, еще добрались бы до старых грешков, а?

— Не должны задержать... Бог милостив, — ответил, изменившись в лице, хозяин.

— Я тоже думаю, не должны... Едем.

Они сели. Хозяин застегнул мокрый фартук фаэтона и, ступив на переднее колесо, вскочил на козлы.

— «На началах равенства и правды», — пробормотал Федосьев, застегивая пальто. — «Завершить строение...» Да, эти завершили!..

Он не вытерпел и вставил крепкое слово.

Огромная плавучая пристань, прикрепленная к берегу цепями, была разделена во всю длину высоким дощатым, недавно поставленным забором. Вдоль него расхаживали солдаты с ружьями. В конце пристани малиновыми квадратами горели окна большой будки. У наклонно спускавших-

ся к берегу мостков за столом сидел сонный чиновник и пересчитывал квитанции. На столе слабо светилась лампочка без абажура.

Со стороны мостков раздался громкий, уверенный, смеющийся голос. Чиновник с неудовольствием повернул голову. В полосу света вступили три человека. Носильщик, тяжело ступая, взошел на пристань, сбросил на дощатый пол мокрые чемоданы и с испуганным видом оглянулся на будку.

— Так нельзя, граждане, приходить в последнюю минуту... Пароход отходит, — сердито сказал чиновник.

— Was ist los[1]? — спросил Браун, поднимая брови. Он протянул чиновнику паспорт и билеты. Услышав немецкую речь, чиновник поднялся и поспешно взял бумаги.

— Билеты покажете на пароходе... Потрудитесь подождать, — сказал он и направился к будке.

— Подождать... Подождать надо, — медленно-вразумительно сказал пассажирам носильщик, показывая глазами на будку. — Чрезвычайная Комиссия, — шепотом добавил он.

Браун с недоумением оглянулся на Федосьева, как бы спрашивая, не понимает ли он Федосьев пожал плечами.

— Schlechtes Wetter[2], — громко сказал Браун.

— Jawohl[3], — ответил Федосьев.

За дверью забора, у которой стоял часовой, слышался неясный шум. Издали доносились голоса. Наверху над забором ветер рвал черный дым, то унося за пристань, то придавливая клубы дыма к воде. «Верно, сейчас отходит», — подумал Федосьев. — «Как противно покачивается пристань!..» Он зевнул, отошел к скамейке и сел.

Намотанная на бревно, рядом со скамейкой, длинная цепь то вытягивалась над водою, то, изогнувшись, погружалась в воду срединой, к которой пристал пучок соломы. «Вот теперь это дуга», — думал Федосьев, представляя себе огромный вертикальный круг, дугой которого была бы шедшая к берегу цепь. «Вон-вон где сомкнулось бы...» Слабо блестели звезды. Дождь прекратился. Едва начинало рассветать. С моря дул резкий ветер. «Формула круга, кажется, два пи эр... Или пи эр квадрат?. Эта туча похожа на Белое море... Еще каплет... Нет, это с брезента... Сейчас все сомкнется. Был Сергей Федосьев, нет Сергея Федосьева... Хорошо, что пристань плохо освещена... Долго просматривают... Бумаги чистые, но мог поступить и донос...»

Из будки вышли два человека: тот же чиновник, за ним немолодой разведчик в плаще поверх черной куртки. Они направились к столу.

---

[1] Что случилось? *(нем.)*
[2] Скверная погода *(нем.)*.
[3] Согласен *(нем.)*.

— Извольте подождать, — сказал Брауну чиновник. Разведчик повернул выключатель, пристань залило ярким светом.

— Was? Verstehe kein Wort [1], — щурясь, пренебрежительно сказал Браун.

— Просят подождать, — повторил чиновник. Браун развел руками с видом полного непонимания.

— Так и в самом деле можно опоздать, — по-немецки сказал он капризным тоном избалованного туриста. «Jawohl», — хотел было ответить Федосьев, но решил, что неудобно повторять во второй раз те же слова, и проворчал: «Ach», неопределенно пожимая плечами. «Да, он на высоте положения... Хладнокровный человек... Разведчик едва ли из моих... А впрочем, кто его знает? Очень неприятный...» Не повернувшись в сторону разведчика, он снова зевнул, улыбнулся и забарабанил пальцами по сырому шершавому борту скамейки. Разведчик прошел мимо них и задержался взглядом на Федосьеве. «Вот-вот... Кажется, пропал», — решил Федосьев, барабаня пальцами чуть быстрее прежнего. Вдруг за дощатым забором отчаянно и страшно завыл свисток.

Дверь будки раскрылась настежь. Из нее вышло еще несколько человек. Один из них, во френче и в высоких желтых сапогах, держал в руке паспорта. Федосьев потянулся и встал. «Сорвалось! — сказал себе он, оглядываясь в сторону мостков. — Может, пора взяться за револьвер?.. Еще с минуту можно подождать...» Разведчик что-то тихо докладывал человеку в желтых сапогах. Тот на ходу кивнул головой и подошел вплотную к Брауну. «Если к нему подошел, а не ко мне, то, быть может, и не сорвалось...» Порыв ветра сдвинул пристань, цепь натянулась. Опять закапал редкий слабый дождь.

— Ваша фамилия? — резко спросил Брауна человек во френче. — Переведи, — приказал он стоявшему с ним штатскому. Штатский на дурном немецком языке задал вопрос Брауну. Услышав ответ, человек во френче пренебрежительно кивнул головой.

— Имя-отчество?

Штатский поспешно сказал ему вполголоса несколько слов.

— Ну, нет отчества, так пусть скажет место рождения... На этом-то и попадаются, — добавил он. Узнав место рождения Брауна, человек во френче проверил по паспорту и повернулся к Федосьеву. — Ваше имя и фамилия?

«Сказать разве: Сергей Васильевич Федосьев?.. Его тогда разобьет удар, все-таки это будет приятно...» — Дождавшись перевода, Федосьев назвал имя и фамилию. «Неужели сходит?.. Тот, однако, очень интересуется чемоданами... Неприятный человек... Ох, как бы не из моих!..»

---

[1] Что? Ни слова не понимаю (*нем.*).

Немолодой человек подошел к группе и шепотом заговорил с товарищами.

— Что ж, что чемодан русский, — проворчал другой разведчик. — И немцы здесь покупают. Им дешево, у кого валюта.

— Не понимаю, зачем осматривать вещи, — недовольным тоном сказал Браун, вынимая из кармана ключи. — Ведь мы уезжаем, а не приезжаем... Все открыть?

«Переигрывает немного, но хорошо... Мастер... Кажется, сошло!..» — Федосьев поспешно вынул и свои ключи. — «Костюмы тоже петербургские...»

— Скажи ему, чтобы этот открыл и не разговаривал, — приказал переводчику начальник, ткнув пальцем в сторону того чемодана, который лежал подальше. Федосьев повернул ключ в замке, носильщик поднял крышку. В чемодане Федосьева поверх простыни и ремней лежала немецкая книжка в желтой бумажной обложке. Из книжки торчала аккуратно сложенная газета, виднелись буквы заглавия: «...geblatt» [1]. «Это очень хорошо вышло: geblatt... Подействовало... Кажется, на geblatt'е и выедем»... Носильщик, опустившись на колени, поспешно расстегивал ремни. Один из разведчиков приподнял костюмы, ткнул рукой в разные углы чемодана. Человек во френче кивнул головой, видимо, удовлетворенный тем, что заставил немца показать багаж.

— Schon gut [2]? — с усмешкой спросил Браун.

— Гут, гут, — повторил, махнув рукой, начальник и отдал паспорта. — Пропустить, — приказал он подчиненным. Носильщик радостно принялся затягивать ремни. За забором послышался новый свисток. Он теперь прозвучал совершенно иначе.

— Скорей... Едва с ними не опоздали, — сказал Браун, вынимая с тем же сердитым видом часы. — «Переигрывает... Как бы тот не обозлился... А все-таки молодец!...» — оценил игру Федосьев. Человек во френче слегка кивнул им головой и пошел назад к будке в сопровождении своей свиты. Чиновник с завистью вздохнул, повернул выключатель, оставив одну лампу, и снова сел за свой голый некрашеный стол.

— Идем, барин, идем, — сказал носильщик, взваливая на плечи чемоданы. Часовой посторонился. Носильщик открыл дверь в дощатом заборе.

Впереди прямо перед ними, сцепившись мостиком с широкой пристанью, сверкал огнями шведский пароход. На палубе суетились люди. По столбику медленно разматывали канат. Сбоку рванул холодный ветер.

— Скорей, скорей, барин! — закричал носильщик, ускоряя тяжелые шаги. — Деньги приготовьте!

---

[1] Видимо, окончание заглавия «Tageblatt» *(нем.)*.

[2] Все в порядке? *(нем.)*

Матросы отвязывали веревки мостика. Носильщик сбросил на палубу чемоданы. Браун сунул ему деньги. Носильщик побежал назад. Мостик скользнул на пристань.

Элегантный стюард в белом кителе приветливо приподнял фуражку.

— Die Herrschaften kommen etwas spät [1], — с твердым шведским акцентом сказал он, показывая улыбкой, что понимает причину опоздания и не одобряет русских порядков. — Каюты шестая и восьмая, — добавил стюард, заглянув в книжечку. — Вниз по этой лесенке и сейчас налево.

Лампа вспыхнула и ярко осветила красное дерево, овальное зеркало, начищенные до блеска ручки умывальника, белоснежную подушку, графин и стакан в стойке, полотенца на подвижном стержне.

— Чемоданы сейчас будут принесены в каюту, — сказал стюард, раскрывая складной стул. — Над койкой есть второй выключатель... Звонок здесь.

— Благодарю вас.

— Ресторан сейчас закрыт, но если господам угодно выпить кофе или закусить, я могу принести сюда. К сожалению, есть только холодный буфет.

— Да... Нет, не надо... Благодарю.

Стюард пожелал доброй ночи и вышел на цыпочках. Увидев Федосьева, он придержал дверь и пропустил его в каюту.

Браун сел на койку и засмеялся легким, чуть истерическим смехом.

— Хорошо? — спросил он Федосьева, — хорошо?..

Голос его сорвался.

— Тсс! — прошептал Федосьев, показывая рукой в сторону коридора. Он закрыл дверь. — Не говорите громко по-русски, на пароходе еще может быть проверка.

Федосьев сел на складной стул. Он внезапно почувствовал страшную усталость, такую, какой, быть может, никогда не испытывал в жизни. С минуту они молча смотрели друг на друга. Федосьев глубоко вздохнул и перекрестился.

— В сущности, контроль был детский, — не без труда выговорил он и протянул руку к графину. Зеркало отразило измученное лицо, глаза больного человека.

— Детский... Этот дурак в цирковых сапогах!

— Еще не успели наладить... Не все сразу... Я вам говорил...

Оба они овладели собой.

— Говорили... Знаете ли вы, что у меня в кармане?

— Динамит?

— Не динамит, но в этом роде: моя рукопись «Ключ».

— Это Бог знает что такое! — с искренним возмущением сказал Федосьев.

---

[1] Несколько поздновато, господа *(нем.)*.

— Вы инсинуируете, что я мог бы вывезти из России более нужные вещи? Все-таки жаль было выкидывать..

— Я инсинуирую, что вы ради своего шедевра могли бы не рисковать хотя бы моей головой, уж если не собственной!

— Да ведь при нас все равно револьверы. Если б дело дошло до личного обыска...

— Немецкие путешественники могут иметь при себе револьверы, но никак не русскую рукопись! А стрелять мы условились только в последней крайности... Это Бог знает что такое!.. Хотите воды?

— Дайте...

Протяжно завыл свисток. Браун расплескал воду. Пароход задрожал и тронулся.

— Пошли?

— Пошли... Слава Тебе, Господи!..

— Могут еще остановить у канала.

— Нет, это маловероятно.

— Пошли!..

Браун взглянул в иллюминатор. В черно-серой пустоте плыли редкие, уже тускнеющие огни. Малиновые окна будки удалялись.

— Ну, как сошло?.. Что же вы молчите?..

— Вы играли божественно!.. Выпейте все-таки воды...

— Скажите тост!

— С удовольствием. Повод есть. . Я все-таки не предполагал, Александр Михайлович, что вы так хорошо владеете собой!

— Не предполагали?

— Нет, нет...

— А вы сами?.. «Jawohl»... — Он снова захохотал. — Вы сами-то, а? «Jawohl»?

— Что ж говорить о старом воробье? Я не философ, я фараон.

— Ваше здоровье, фараон!

— Спасибо... Самообладание у вас поразительное... Нет, что бы вы там в трактире ни говорили, вы убили Фишера, — весело сказал Федосьев. — Не иначе как вы убили Фишера, Александр Михайлович.

VIII

Муся встретила Витю на перроне Гельсингфорского вокзала. Поезд еще не остановился, когда они увидели друг друга. Муся радостно вскрикнула и побежала к медленно подходившему вагону. Витя, с маленьким чемоданом в руке, спрыгнул с площадки. Они бросились друг другу в объятия, хотя расстались всего лишь дней десять тому назад.

— Слава Богу!.. Ну, слава Богу!.. Я так волновалась!.. Так беспокоилась!..

— Напрасно... Напрасно, — повторял счастливый, сияющий Витя, не зная, куда девать затруднявший его чемодан.

— Но как же все сошло?.. Благополучно? Гладко?

— Как видишь, совершенно благополучно... И рассказывать нечего, просто неловко!

— Что же было?.. Да говори, несносный!.. Это все твои вещи?.. Но сначала скажи, что Сонечка?.. Что Глаша? Как ее здоровье? Да говори же!

— Я так не могу, не все сразу... У меня в вагоне большой чемодан... Все благополучно... А у тебя?

— Ну, слава Богу!.. Я сейчас позову носильщика... — закричала она.

— Здесь что, совсем Германия?

— Почти Германия...

Носильщик подкатил тележку, вежливо поклонился, взял у Вити ручной чемодан и побежал в вагон.

— Да рассказывай же! Что было в Белоострове?

— Право, ничего особенного. Посмотрели на мой паспорт, порылись в каких-то бумагах... Потом в вагоне говорили, что это списки: кого велено задержать.

— Воображаю, как у тебя душа ушла в пятки!

— Удовольствие среднее, что и говорить.

— Я, однако, была убеждена, что ты проедешь!

— Отчего же ты волновалась?

— Какой ты глупый!.. Почти все проезжают через Белоостров благополучно.

— Далеко не все, осмотр был очень строгий, — обиженно возразил Витя, хотя только что утверждал обратное. — Одних лишь немцев пропускали сравнительно легко, а всех других обыскивали, допрашивали. Потом говорили, что искали какого-то важного контрреволюционера...

— Нет, правда?

— Однако мой германский паспорт произвел магическое действие...

— Или, скорее, твой возраст.

— Возраст здесь ни при чем! И денег у нас, у немцев, не отобрали... Вот только чемодан самому пришлось тащить через мост.

— Бедняжка! Ты очень устал?

— Нисколько... Какая ты, однако, элегантная!.. Мистер Клервилль здесь?

— Вивиан уехал по делу в Выборг, вернется сегодня ночью. Он очень просил тебе кланяться... Так что же Сонечка и Глаша?

— Сонечка три дня плакала, не переставая. Теперь немного успокоилась.

— Бедненькая!.. Я тоже так по ней скучаю, так скучаю!.. А здоровье Глаши?

У Муси лицо стало испуганным. Витя вздохнул.

— Неважно.

— Что?.. Что?.. Ей хуже?
— Нет, не хуже, но так же, как было.
— Какая температура?
— К вечеру поднимается. Вчера было 38,9...
— Господи!.. Доктор был?
— Но к утру падает... Доктор приходил два раза. Утром 36.
«Да ведь это и есть самое ужасное, если так скачет температура! Это туберкулез!» — хотела сказать Муся.
— Григорий Иванович к вам переехал?
— Еще на прошлой неделе... Однако здесь совершенная Европа!
— Совершенная! Я тоже в первый день не понимала, что все это значит... Но постой, как же... Я так рада!
Носильщик вынес из вагона старый ободранный чемодан и поставил его на тележку. По-видимому, уважения у носильщика убавилось. Он спросил на ломаном русском языке, куда нести вещи.
— У меня внизу экипаж.
— Как экипаж? — изумленно спросил Витя.
Муся засмеялась.
— Вот и я в первый день не понимала: как экипаж? Теперь привыкла... Идем за ним... Но как я счастлива, что ты приехал!
— А я-то!
Они спустились по лестнице, беспорядочно разговаривая, расспрашивая, перебивая друг друга. Проходившие люди смотрели на них не слишком доброжелательно. Чиновник у выхода отобрал билеты, тоже явно не одобряя русскую речь.
— Здесь нас теперь не очень любят.
— Чухонцы? Правда?..
— Тсс... Глупый!.. Все русские вывески замазаны... Ты голоден?
— Как собака!
— Сейчас я тебя накормлю, будешь доволен после Петербурга... Но что же сказал доктор?
— Сказал, что у нее начало легочного процесса.
— Боже!
— Да... Какая чистота! Это после наших-то улиц!
— Она знает?
— Мы не сказали, но, кажется, она догадывается.
— Бедная Глаша! Она очень убита?.. О князе, разумеется, ничего не слышно?
— Ничего. И о папе тоже ничего...
— Ну да, так и должно быть, это в порядке вещей. Не слышно, значит все хорошо... Вот этот экипаж, — сказала Муся носильщику и вынула из сумочки несколько монет.
— У меня есть мелочь. Я разменял в Териоках, только еще не разбираю их денег.

— Хорошо, хорошо, садись... Ну, а Григорий Иванович что?.. Вот вам, спасибо...

Носильщик снял фуражку и поклонился. Коляска на резиновых шинах тронулась.

— Что за великолепие! Это экипаж гостиницы?.. Григорий Иванович? Такой же, как был. Все так просили тебе кланяться... Точнее, не кланяться, а поцеловать...

— Так исполняй же поручение, глупый!

Они опять заключили в объятия друг друга.

— Ты знаешь...— сказала Муся слегка изменившимся голосом.

Витя вдруг от нее отшатнулся.

— Мистер Клервилль тоже живет в этой гостинице?

— Где же ему жить? Какой ты смешной,— сказала Муся и засмеялась. Ее смущенный смех сразу все сказал Вите. Как он ни приучал себя к этой мысли, она его поразила. «Повенчались!.. И это уже было»,— подумал он, вглядываясь в Мусю с внезапной острой тоской и с жадным любопытством.

Через полчаса, выкупавшись в ванне, где простым поворотом крана можно было получить горячую воду, переодевшись в свой второй костюм, который был немного лучше дорожного, Витя спустился вниз по покрытой ковром лестнице в сверкающий чистотой вестибюль гостиницы. Он все не мог прийти в себя. Швейцар почтительно сказал ему: «Good evening, Sir» [1] — но и этот «Sir» не доставил Вите полного удовлетворения.

— Готов? Иди сюда, я здесь, в читальной,— негромко окликнула его из-за колонн Муся. На ней было другое платье, которого Витя не знал. Она сидела в мягком кресле, держа перед собой на коленях черную папку с иллюстрированным журналом. «Совсем другая... Английская дама»,— тоскливо подумал он. Витя неловко подошел, ступая по мягкому ковру, и смущенно остановился перед Мусей.

Муся не читала, она «занималась самоанализом»,— это выражение она прежде всегда произносила с подчеркнутой насмешкой. Теперь самоанализом занималась новая, опытная, рассудительная Муся. Думала она о своих делах,— о будущем больше, чем о прошлом: Муся вырабатывала конституцию своей супружеской жизни. «Да, я страстно, безумно люблю его»,— искренно говорила себе она. Всего лишь десять дней тому назад, когда она, плача, расставалась с Петербургом, с друзьями, с тем, что в кружке называлось шутливо первой главой ее биографии, Мусе казалось, что она почти ненавидит Клервилля: как-никак, он разлучал ее со всем этим. Потом было другое, то, в чем еще не могла разобраться и новая, рассудительная Муся. Из этого теперь ясно выделилось одно;

[1] Добрый вечер, сэр *(англ.)*.

«Да, страстно, безумно люблю его, люблю еще гораздо больше, чем полтора года тому назад, когда он был только сказочной мечтою... Ревнива ли я?» — спрашивала себя Муся. Этого она и сама не знала; обычно говорила друзьям, что нет ничего глупее ревности: «Вот уж мне было бы совершенно все равно!» Однако Муся и сама не очень этому верила. «Да, могут быть неожиданности... Во всяком случае, ему никогда и вида не надо подавать...» — Это было очень важным пунктом конституции. — «Вообще он должен **думать,** что он совершенно свободен. И в мелочах, Боже упаси, в чем-либо его стеснять: пусть уходит, когда хочет, приходит, когда хочет, как в свое холостое время, и дома его всегда должна окружать приятная, дружелюбная атмосфера, никаких упреков, никаких сцен, это только дуры делают!..» — советовала себе Муся, все-таки заранее чувствуя некоторое раздражение против Вивиана. «Хорошо, но если не в мелочах, если будет серьезное, что тогда? Тоже делать вид, будто мне совершенно все равно? (раздражение в ней росло). Об этом рано думать. Может, ничего серьезного и не будет... А я сама? Да, конечно, я безумно его люблю... Но неужели за всю жизнь только с ним, с ним одним!.. Все-таки это несправедливо: почему мужчины могут? А что, если в один прекрасный день эта несправедливость мне надоест?.. Но теперь об этом глупо и стыдно думать: надо сейчас, сию минуту, выбить эти мысли из головы... Тот офицер? Ну, о нем и вспоминать смешно: просто был красивый англичанин в моем вкусе: нет ничего дурного в том, чтобы им в ресторане «пополоскать глаз» (Муся очень любила это сомнительное парижское выражение). — «Нет, офицер **так**... А не **так** **что?**» — спросила она себя и сразу с ужасом и наслаждением почувствовала, что и спрашивать не надо: в душе у нее прозвучала фраза «Заклинания цветов». — «Да, с ним это могло бы быть, если может быть вообще... Не теперь, конечно: теперь думать об этом гадко! Скорее всего, я больше никогда его не увижу... А вдруг мы встретимся где-нибудь в Европе, через несколько лет, без войны, без большевиков?.. Я скажу ему: «Знаете ли вы, что я когда-то была почти влюблена в вас?..» Нет, это плоско! Я скажу: «У вас глаза недобрые и с сумасшедшинкой, — это и сводит меня с ума!..» Еще глупее!.. Но он что скажет? — ...«Чтоб и не заглядывала туда, куда ходил до сих пор»... (а я, как дура, повторила)... «Привет и пожелания скорейшего выздоровления»... «Извините, что взволновала вас», — замирая, вспоминала она. Он опять скажет что-нибудь в этом роде, точно таким же ровным, бесстрастным голосом: «Очень рад, что с вами встретился... Как поживает мистер Клервилль?.. А ваши родители?..» — Вот только глаза его говорят совсем другое, с этим он ничего не поделает...» — подумала Муся и увидела на лестнице Витю. «Этого я страшно люблю, его люблю вполне чисто, как брата!..

Разумеется... Я так счастлива, что он спасся, что я сейчас поведу его в ресторан... Бедный мальчик!»

Она, улыбаясь, его оглядела.

— Теперь молодцом. Пойдем обедать... Где ты хочешь обедать, здесь или на Эспланаде?

— На каком Эспланаде? Мне все равно. Как ты всегда...

— Мы обыкновенно завтракаем в гостинице, а обедаем на Эспланаде, это здешний Невский. Но сегодня можно здесь и пообедать. Кормят вполне прилично. Гельсингфорс, конечно, провинция, но хорошая провинция, эта гостиница почти как в Европе. Хочешь здесь?

— Прекрасно.

Господин, писавший за столиком письмо, оглянулся на них с недовольным видом, хотя они говорили негромко. Муся отложила твердую черную папку с золоченой надписью «The Graphic».

— Немножко рано еще для обеда, но ничего, можно, — сказала она, вставая. — Сюда.

В ресторане были заняты только два столика. За одним из них сидели немецкие офицеры в полной походной форме. Витя с удивлением на них смотрел. В первую минуту ему даже показалось, что он ошибся: уж не финские ли мундиры? «Нет, конечно, немцы!..» При всей своей ненависти к немцам, он невольно почувствовал престиж этих людей, стоявшей за ними страшной государственной машины. Моноклей у офицеров не было, — Витя думал, что все германские офицеры носят монокли.

— Мне тоже в первую минуту показалось дико, — сказала Муся. — Но они здесь очень вежливы, надо отдать им справедливость... Смотри, за тем столом, на другом конце зала, в штатском, это французские офицеры. Правда, странно? Война кажется какой-то несерьезной!.. Но мне нравится после большевистского стиля: в этом есть что-то рыцарское, они уважают друг друга.

— Как же все-таки это возможно? — проговорил изумленно Витя. Ему казалось, что эти люди должны тотчас броситься друг на друга.

— Месяца четыре тому назад, когда немцы здесь появились, они и были, говорят, полные хозяева. Теперь их дела на западе идут плохо, и финны, естественно, стараются поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами... Где бы нам сесть?

— Все равно... Только подальше от немцев!

— Вот этот столик тебе нравится? Четвертый от тевтонского, по-моему, расстояние достаточное.

Метрдотель почтительно отодвигал перед ними стол. На белоснежной скатерти лежала переплетенная книжка. Муся и Витя уселись рядом на диване.

— Ты когда-нибудь пил коктейль?

— Никогда.

— Позор!.. Я тоже в первый раз попробовала в понедельник. Меня Вивиан научил, — сказала Муся, искоса взглянув на Витю. — Они с этого начинают обед.

— Вкусно?

— Не очень вкусно, но потом приятное кружение в голове. У них целый каталог коктейлей, вот он... Дайте нам два Manhattan'a, — по-английски сказала она метрдотелю, который, слыша русскую речь, тоже несколько убавил на лице почтения.

— Два Manhattan'a, — повторил метрдотель. Он подал Мусе карту без переплета и отошел к французскому столу. Сидевшие за этим столом люди с любопытством смотрели на Мусю. Витя заметил, что один из них скользнул взглядом по немецким офицерам и тотчас отвернулся.

— Супа, я думаю, мы есть не будем? Здесь удивительные закуски. «Сексер», что ты, вероятно, знаешь?

— Да, конечно. Мы ведь бывали на Иматре.

— Значит, закуска... Потом ты что будешь есть? Я закажу sole frite[1] и утку, это они недурно готовят... Но, может быть, ты не любишь sole frite?

Она звонко-весело засмеялась, так что с обоих столов оглянулись.

— Ты удивляешься, что я после Петербурга вдруг стала такой гастрономкой! Но ты и представить себе не можешь, как быстро возвращаешься в нормальные человеческие условия!.. Я в первый день тоже на все здесь смотрела, как баран на новые ворота, после селедки и бифштексов из конины, которыми нас кормила Глаша... Бедная Глаша, мне так ее жаль!.. Какое ты вынес впечатление из слов доктора? Это опасно?

— Он прямо мне сказал, что если...

— Постой, по случаю твоего приезда я хочу выпить шампанского. Да, да! У них есть французское. Собственно, напитки запрещены, но здесь все можно... Вот он идет... Что же это я все заказываю, это неприлично, ты уже большой. Закажи ему ты, а я, кстати, послушаю, как ты говоришь по-английски.

Витя выдержал экзамен с честью.

— Недурно, — сказала Муся. — Это очень важно, потому что мы тебя везем в Англию.

— Как это, вы меня везете?

— Да так, очень просто. Вивиан еще не получил инструкции, но, вероятно, мы скоро отсюда уедем... Впрочем, об этом мы еще успеем поговорить... А что, кстати, если б ты, хоть из вежливости, спросил меня, как поживают папа и мама? — смеясь сказала Муся.

— Ах, ради Бога, извини! Я совершенно забыл... Но разве ты могла с ними снестись? Я просто не подумал!

[1] Жаренная в масле морская рыба-соль *(фр.)*.

— Верю. Конечно, могла снестись. Кажется, папа занимает теперь при гетмане какой-то важный пост, — какой, не помню, но важный. Я это не очень одобряю, однако им там виднее. Притом я ничего не смыслю в политике... Ты тоже ничего не смыслишь, поэтому молчи. Писем я еще не имею, но получила две длинных телеграммы. И представь, шли всего шесть-семь часов!

— Что же они телеграфируют?

— Они так счастливы, что мы сюда вырвались... Собственно, в телеграммах говорилось только об этом (Муся не сказала, что вторая телеграмма была восторженно-поздравительной в ответ на ее извещение о свадьбе). Да еще папа сообщает, что послал мне чек на Стокгольм. У него в Стокгольме есть деньги. Это очень кстати, конечно... Вивиан тоже получил здесь деньги от своей тетки, он ведь ее наследник, — сказала Муся, опять бегло взглянув на Витю. — Вот несут наши Manhattan'ы. И шампанское... Как жаль, что здесь нет музыки! Я люблю в ресторанах плохую музыку.

— А я не люблю... И потому, что плохая, и потому, что нельзя разговаривать.

Они выпили коктейль.

— Твое здоровье!.. Нравится тебе? Невкусно, но увидишь, как будет приятно потом!

— Нет, и на вкус хорошо, — солгал Витя. — Твое здоровье, Мусенька!

Коктейль скоро ударил в голову. Разговаривать стало легче: они только теперь почувствовали, что до того было не очень легко.

— Смотри, сколько подали закусок.

— Да, я этого давно не видал... Господи!..

— Кажется, нечего тебе желать доброго аппетита? Ешь, голубчик... О чем мы говорили? Да, кстати, о деньгах, — вскользь добавила она. — Или, вернее, не совсем кстати. Быть может, это тебя тревожит, мой друг? Правда? Так вот я хотела тебе сказать, что об этом ты совершенно не должен беспокоиться...

— У меня есть деньги, — поспешно сказал Витя.

— Да, эти три тысячи марок, конспиратор? На это далеко не уедешь, — смеясь сказала Муся. — Но я тебе открываю неограниченный кредит... Из моих денег, — подчеркнула она, — из тех, что я получу от папы... Хотя и Вивиан мне говорил то же самое. Он тебя так любит...

Витя покраснел до корней волос. Муся весело на него смотрела. Вид того, как он ел, доставлял ей удовольствие.

— Спасибо, но мне не нужно... Я думаю, этих трех тысяч мне хватит для того, чтобы пробраться на юг России.

— Куда? На юг России? Ты с ума сошел!

— Нет, не сошел. Я твердо решил...

— Какой вздор! Тебя только там не видали! Тебе учиться надо, а не воевать... Но мы все это еще обсудим с Вивианом...

— И обсуждать нечего,— мрачно ответил Витя, подумав, что, если он с кем-либо не станет этого обсуждать, то именно с Клервиллем.

— Хорошо, хорошо... К тому же, ты и не можешь ехать на юг России до тех пор, пока не выпустят Николая Петровича. Подумай только, что с ним может быть, если они узнают, что его сын в этих южных армиях! — По изменившемуся лицу Вити она увидела, что нашла настоящий довод, которым и надо будет пользоваться. — Ну, да обо всем этом еще рано говорить.

— Да, рано... Хотя почему же рано?.. Значит, по-твоему, надо сидеть так, сложа руки, и ждать, пока им угодно будет освободить папу, Алексея Андреевича, всех...

— Витенька, но что же делать? Мы из Англии будем хлопотать, у Вивиана там большие связи... Все-таки, если кто может оказать протекцию, то скорее всего англичане.

— Они уже оказали протекцию капитану Кроми, твои англичане!

— Это дело еще не кончено. Я уверена, английское правительство так этого не оставит!.. Витенька, повторяю, что же делать? Во всяком случае отсюда ты сможешь посылать Николаю Петровичу провизию. Там ведь ничего нет. Согласись, для одного этого стоило уехать.

— Ты думаешь, это возможно? Мне и то совестно есть все это,— сказал Витя.— В то время, как там...

— Я думаю, скоро будет возможно. Ведь я и нашим буду все посылать. Глаше, Сонечке, Никонову...

— Да, им, вероятно, можно будет, но в крепость, как ты думаешь?.. Вы здесь ничего не слышали о заключенных? У нас ходят всякие слухи!.. Вы ничего не слышали?

— Ничего, решительно ничего,— сказала Муся. Витя беспокойно на нее взглянул: его встревожило это повторение: «решительно ничего».

— Наверное? Ты меня не обманываешь?

— Какой ты странный! Что же я могу здесь в Гельсингфорсе знать?

Муся действительно ничего по-настоящему не знала. Однако как раз накануне завтракавший с ними английский офицер, только что приехавший с русской границы, рассказывал, что у Лисьего Носа большевики расстреляли и затопили в северном Кронштадтском фарватере несколько барж с заключенными, вывезенными из петербургских тюрем. Клервилль был чрезвычайно недоволен тем, что его товарищ рассказал это при Мусе,— так на нее подействовал рассказ.

— Что я могу знать? — повторила Муся.— «Нет, это верно неправда»,— сказала себе она.— Нам говорили, будто все эти слухи распускаются ими нарочно, чтобы запугать...

— Ты думаешь? Правда?

— Это очень правдоподобно... Возьми и грибков, они

очень вкусные. Правда, хорошая закуска?.. Но скажи, ты рад, что приехал?.. Я так рада! А ты?

Он посмотрел на нее, — спрашивать было не нужно.

— Налей мне шампанского.

— Как, к закуске? Еще не достаточно холодное. Пусть остынет, — сказал Витя, тоже очень быстро становившийся гастрономом.

— Все равно... Спасибо... Но постой, ты начал говорить о Глаше, что тогда сказал доктор. А я тебя прервала, сама не знаю, как...

На этот раз смутилась и покраснела Муся. Витя смотрел на нее с улыбкой.

— Я знаю, у тебя сейчас обо мне нехорошие мысли, — сказала она, грозя ему пальцем.

— Мусенька! У меня о тебе нехорошие мысли?

— Да, да... Ты думаешь: чуть только она оказалась в Европе, чуть только вернулась прежняя жизнь, и уже ей больше нет никакого дела ни до Глаши, ни до Сонечки, ни до всех тех, кто там остался!.. Гадкий мальчишка, ты врешь!

— Мусенька, но ведь я никогда ничего такого не говорил!

— Но ты это думал, это еще хуже! И это совершенная неправда!

— Да это ты все выдумала!

— Клянусь тебе, Витенька, это неправда, — сказала Муся, взяв его за руку. — Да, я люблю эту жизнь, шампанское, все это, — сказала она, — но ты не думай, что я бессердечная эгоистка! Ты и представить себе не можешь, как я вас всех люблю: и Глашу, и Сонечку, и бедного князя, и Григория Ивановича!.. О присутствующих не говорят... Да, ты себе представить не можешь, как они мне дороги, как я к ним привязана!.. Я всю дорогу плакала, когда мы выехали из Петербурга, даю тебе слово, всю дорогу, так что на нас смотрели в вагоне... Да вот, у меня и теперь слезы... Как глупо!..

У нее в самом деле на глазах были слезы.

— Но ведь я решительно ничего не сказал!

— Вот Глаша, — сказала Муся. — Я знаю, ты думаешь, что я ее не люблю... Это неправда!.. Все равно, какая она, — добавила Муся, — вернее, какая она была... Но у меня душа рвется, когда я о ней вспоминаю... Как она изменилась, Глаша! Признаюсь, я не думала, что она может так любить! Ведь и болезнь ее, и все, это из-за того, что случилось с Алексеем Андреевичем. Чего она только не делала в те дни!.. С опасностью, да, с настоящей опасностью для жизни! Я думаю, она способна была бы бросить бомбу и пойти на смерть, как та, что стреляла в Ленина... Глаша не очень добрая, я гораздо добрее, правда? Но, как человек, она лучше меня, я это отлично знаю. Что ж делать, если я такая...

— Какая?

— Что ж делать, если я не нахожу, что дурно любить нескольких сразу и по-разному, — бестолково говорила Муся (Витя решительно не мог уследить за странным ходом ее мыслей). — А Глаша однолюбка... Сонечка, та нет, та не однолюбка, она скоро Березина разлюбит. Зато, пока она любит Березина, для нее никто другой не существует... Она однолюбка на год, — сказала, засмеявшись, Муся. Витя смотрел на нее с нежностью.

— Но ведь ты же мне сама сказала, — начал он, — с месяц тому назад...

— Ты думаешь, я помню то, что я говорила месяц тому назад? Или ты думаешь, что я чувствую теперь так, как месяц тому назад?.. Налей мне еще. Правда, чудное шампанское?

— Очень хорошее. Настоящее.

— Клоп! «Настоящее» — передразнила Муся. — Шведы, когда пьют, говорят «сколль!» и потом с минуту смотрят молча друг на друга. Так у них полагается... Сколль, Виктор Николаевич. Отвечай то же самое. Живо!

— Сколль, Мусенька.

— Ну, хорошо... Но что же все-таки сказал о Глаше доктор? Мы все сбиваемся, — сказала она. Оба они засмеялись и им тотчас стало стыдно.

Муся и Витя долго стояли в коридоре у дверей Витиной комнаты: они все не могли наговориться. Голова у обоих кружилась.

— У тебя все есть? Пижама?

— Да, все, все...

— Постели здесь идеальные! Сейчас же ложись и спи...

— Зайди ко мне, Мусенька, милая... Ведь всего десять часов. Еще поболтаем...

— Ты устал с дороги, сейчас же ложись... Разве зайти на минуту?

— Зайди, милая!

— Здесь нельзя поздно разговаривать, люди рано ложатся... Нет, нет, марш спать!

— Когда он приезжает?

— Во втором часу.

— Ты будешь его ждать?

— Это тебя не касается!

— Я говорю не об этом, но вообще: все, что касается тебя, касается и меня!

— Вот еще! Какие ты говоришь глупости! — «Этот, правда, за меня в огонь и в воду пойдет»! — подумала Муся с радостью, хоть ей совершенно не было нужно, чтобы кто-либо шел за нее в огонь и в воду. — Нет, в самом деле ты немного поглупел, оставшись без меня больше недели. Но в Англии ты у меня опять поумнеешь.

— Не буду я ни в какой Англии.

— Это мы увидим!.. Где у нас обосновался Григорий Иванович?

— В кабинете Семена Исидоровича. Сказал, что знать ничего не желает и берет себе самую лучшую комнату.— ответил с легким неудовольствием Витя: перед его отъездом Никонов почти насильно отобрал у него револьвер, и этого Витя в душе еще не мог ему простить: с револьвером ушла большая доля поэзии в его путешествии по чужому паспорту.

— Узнаю его! Милый Григорий Иванович, я так его люблю! Нет, ты ничего не понимаешь, ты очень, очень поглупел, Витенька!..

«...Да, она эгоистка! — думал Витя. — То есть в ней есть и эгоистка. Но она, кроме того, что прелестная, она и добрая, по-настоящему добрая. Да, она говорит правду, что нежно любит и Григория Ивановича, и Сонечку, и даже Глашу... «О присутствующих не говорят»... Как ей не стыдно было так сказать об этом! Ведь она знает, что я люблю ее, что мне ничего не нужно, только на нее смотреть... Хотя нет, неправда, нужно и другое!..»

— Так ты ничего не знаешь о твоем шефе? — вдруг спросила Муся, не совсем естественно засмеявшись. — Об Александре Михайловиче?

— Ничего не знаю.

— И ты ни разу его не видел с тех пор?

— Ни разу... Ведь он тогда через тебя же запретил мне искать его.

— Запретил, запретил, — повторила с досадой Муся. — Неужели ты так ничего о нем и не узнал? Не слышал, бежал ли он?

— Ничего не узнал, — хмуро ответил Витя.

Муся вздохнула.

— Это необыкновенный человек, — сказала она мечтательно. — Он земной, о, да, очень земной!.. И вместе с тем у него в глазах есть что-то нездешнее... Кажется, вы так, поэты, говорите: нездешнее?

— Я не поэт, — еще более хмуро возразил Витя. Интонация Муси придавала слову «поэт» явно обидный характер.

— Но и ты это видишь, правда?

— Я вижу только, что коктейли очень сильная вещь.

— Дай Бог, чтобы он спасся! — не слушая Витю, сказала Муся. — Нет, не может быть, чтобы он погиб! Не может быть, Бог этого не допустит!.. — тихо проговорила она, закрыв глаза и мотая головою.

IX

Баржа качалась, кружилась и кренилась, но все не шла ко дну, несмотря на заливавшие ее волны. На Лисьем Но-

су распоряжавшийся казнью человек в шинели и шпорах начинал терять терпение. Неподвижный, как статуя, он стоял у вбитого в землю, по его приказу, факела, любуясь и силой революционного действия, и факелом, и своей позой, и в особенности своими чувствами. В его уме пробегали обрывки скудных исторических воспоминаний,— быть может, благодаря им возникла и самая мысль о расстреле и потоплении баржи с заключенными. Он был человек судьбы. Но очень долго стоять в позе статуи было трудно. Вдобавок шел дождь.

Разведчики выгружали пулеметы из моторных лодок на берег. В одной группе спорили: сколько времени еще продержится баржа, черневшая вдали шатающимся пятном,— ее невозможно было хорошо разглядеть в полутьме.

— Больше пяти минут не продержится.

— Ну, и больше может.

— Никак. Пари?

Вновь поступивший разведчик, впервые в эту ночь откомандированный на казнь, с ужасом смотрел то на баржу, то на пулеметы, то на начальство. Лицо у него изредка сводила судорога.

— На что пари?

— На фальшивую керенку.

Послышался смех. Человек судьбы с неудовольствием оглянулся на подчиненных: смех не соответствовал грозному величию революционной сцены.

— Верно, плохо открыли кингстоны,— отрывисто бросил он, видимо, щеголяя морским термином.— С подрывными бомбами тоже никогда не знаешь.

— Нет, товарищ, все изрешетили... Сейчас потонет, будьте спокойны...

— Отсюда все видно,— говорил один из старших разведчиков, надевая чехол на пулемет.— Вон Финляндия, вон Россия, а вон там будет Швеция.

— Не Швеция, а Европа...

— Много ты знаешь! Швеция и есть Европа.

— Туши фонари, давно пора...

— Где Россия?—рассеянно спросил новый разведчик.

— Вон там,— показал старший. Но там ничего не было видно: стоял туман. Небо меняло цвет. Луна становилась все бледнее. Дождь усиливался. Начинался пасмурный день.

— Ну вот... Тонет!.. Готово... Что я говорил!—сказало сразу несколько голосов.

Действительно баржу захлестнуло совсем. Ее край нелепо поднялся вверх и завертелся. Затем черное пятно исчезло. Разведчики замолчали. Факел зашипел и погас. Человек судьбы высоко поднял руку, медленно опустил ее и, насвистывая «Интернационал», пошел к освещенной брандвахте.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

АЛДАНОВ Марк Александрович

Собрание сочинений
в шести томах

Том III

Редактор тома
Н. А. Крылова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 2468

Сдано в набор 11.12.92. Подписано к печати 29.12 92
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Новая Газетная». Печать высокая.
Усл. печ. л 28,56 Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л 36,07
Тираж 760 000 экз. Заказ 415.
Цена 10 руб.

Набрано и отпечатано в типографии издательства «Пресса»
125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24

Индекс 71201